ЖИЗНЬ ЕСЕНИНА


ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ

ЖИЗНЬ ЕСЕНИНА

РАССКАЗЫВАЮТ СОВРЕМЕННИКИ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1988

84 Р 7
Ж 71

Составитель,
автор вступительной статьи и примечаний
С. П. Кошечкин

Современные фотографии,
репродукции с архивных материалов —
М. И. Савин

Ж $\frac{4702010200-1610}{080(02)-88}$ 1610—88

ЕГО ЗВАЛИ СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

Видные русские литераторы всегда охотно помогали начинающим авторам. В их письмах запечатлено немало раздумий о художественном творчестве, значении образности, своеобычности читательского восприятия стихов и прозы.

Заботливым наставником молодых был и Владимир Галактионович Короленко. Однажды он высказал такую мысль. Для того чтобы на лирика обратили внимание, он должен в нескольких выдающихся стихах заинтересовать читателя особенностями своей поэтической личности. Важно, чтобы читатель узнал поэта в его индивидуальности и полюбил известное лицо. «С тех пор уже все, до этого лица относящееся,— замечает Короленко,— встречает симпатию и отклик, хотя бы это был элементарнейший лирический порыв...» [1].

Эта мысль большого русского писателя приходит на память, когда думаешь о литературной судьбе Сергея Есенина.

В русской поэзии немало памятных дат. Одна из них — 9 марта 1915 года. В этот день безвестный рязанский парень пришел на квартиру знаменитого петербургского поэта Александра Блока и, потряхивая золотистыми кудрями, прочел ему несколько своих стихотворений. Опытный мастер, чью строгость в делах изящной словесности литераторы знали и ценили, сразу же определил в нежданном госте «талантливого крестьянского поэта-самородка». И хотя, по признанию Блока, он и Есенин были «такие... разные», автор «Незнакомки» ввел юношу в круг своих близких знакомых, с интересом встречал его новые публикации.

Вслед за Блоком и тогдашним петербургским читателям — сначала по отдельным стихам, а потом по первой книге «Радуница» — стало ясно, «какая радость пришла в русскую поэзию» (С. Городецкий). Вскоре заговорили о есенинском таланте в провинции. К тому времени относятся слова, сказанные поэтом позже: «Тогда я понял, что такое Русь. Я понял, что такое слава...»

Имя Есенина все чаще и чаще появлялось на страницах журналов, сборников, книг... В стихах певца из Рязани радовалась и печалилась чистая, не тронутая никакими ядами молодая душа, чуткая к дыханию времени, быстротекущей жизни, легкоранимая. Трогало «очарование свежести и мгновенно покоряющей непосредственности», «какое-то первородное, но далекое от всякой грубости здоровье» (В. Чернявский). Подкупали нежность и кротость, но, пожа-

[1] Короленко В. Избранные письма. В 3 т. Т. III. М., Гослитиздат, 1936, с. 17.

луй, еще больше — скрытые за ними сердечная боль, неутоленное желание, безоглядная удаль, готовая выплеснуться и разгуляться на разбойном просторе.

За строчками и строфами, полными радости и грусти, открывался истинно русский поэт, плоть от плоти своего народа, беззаветно влюбленный в отчую землю, ее природу. Открывалась живая самобытная личность, и черты ее характера, драматизм переживаний, чистота стремлений были близки и понятны многим современникам.

Читатели полюбили это лицо, стали следить за его судьбой по стихам, выискивая их среди публикаций других авторов. У Есенина, писал в те годы Александр Воронский, «может быть, нет полной отшлифовки, попадаются невыношенные, невыверенные строки, но все это искупается заразительной душевностью, глубоким и мягким лиризмом и простотой... В образ всегда вложено большое чувство»[1].

Однажды поэт признался: «Мне кажется, я пишу стихи для самых близких друзей». И это было правдой. Ведь только близким людям можно рассказать о своих душевных страданиях, сокровенных думах. Только друзьям можно доверить свои заветные мечты, надежды... Вспоминается зоркое наблюдение Максима Горького: «Настоящее искусство возникает там, где между читателем и автором образуется сердечное доверие друг к другу»[2].

Читая Есенина, читаешь автобиографию души художника, видишь движение характера во времени, само время.

Тихая радость первых встреч с окружающим миром; робкие мысли о неустроенности жизни; милосердие к слабым, бедным, униженным; томление по «нездешним перелескам»; предчувствие небывалой грозы; восторг в дни революционной бури; ожидание скорого «мужицкого рая» и крушение этих надежд; растерянность и тяжкое похмелье в «Москве кабацкой»; минуты счастья с любимой женщиной; обретение веры в новые «путеводительные светы» и горькое сознание: «остался в прошлом я одной ногою...»; трагические раздумья о несовершенстве действительности и собственной души — ни о чем не умолчал поэт. Ничего не скрыл — ни хорошее, ни плохое, все выкладывал, как на духу: «Себя вынимал на испод». Распахнутость — до конца: «Вот такой, какой есть...» Рассказывая о себе, он рассказывал о мире, в котором жил, и его раздумья о мире были раздумьями о нем самом.

Много дум я в тишине продумал,
Много песен про себя сложил...

Но каждый ли из тех, кто слагает песни «про себя», интересен людям?

«Отчего Кантемира читаешь с удовольствием? — спрашивал Константин Батюшков.— Оттого, что он пишет о себе. Отчего Шаликова читаешь с досадой? — Оттого, что он пишет о себе»[3].

Есенину было что сказать. И он умел это сказать на языке поэзии.

Читатель есенинских стихов невольно подпадает под их обаяние,

---

[1] Воронский А. Сергей Есенин. В кн.: С. Есенин. Собрание стихотворений. Т. II. М., Госиздат, 1926, с. L, LI.

[2] Горький М. Собрание сочинений. В 30 т. Т. 24. М., Гослитиздат, 1953, с. 171.

[3] Батюшков К. Нечто о поэте и поэзии. М., «Современник», 1985, с. 183.

а через них — под обаяние самой личности поэта. Они излучают какой-то внутренний свет, которому, пожалуй, трудно найти название.

Опять я теплой грустью болен
От овсяного ветерка.
И на известку колоколен
Невольно крестится рука.

Тонкая, негромкая мелодия, словно подводное течение, захватывает тебя, и ты уже чувствуешь, как притягательна колдовская эта музыка, как привлекательна душа, ее родившая. Любовь нежная — без умиления и сюсюканья. Трепетность сердечная — без патоки и слащавости. Грусть — без надрывной слезливости и так называемой мировой скорби.

«Есенин умеет покорять властно, накрепко и безраздельно»,— гласит одна из записей в книге посетителей Музея-заповедника в Константинове.

«На всю жизнь остался Есенин в сердце»,— говорится в другой.

— Но, может быть, все-таки речь надо вести не о Есенине, а о лирическом герое его поэзии? — спросит иной искушенный в литературоведческих терминах читатель.— Ведь и в лирике действует принцип типизации и, как наставляет теория, литературный образ не адекватен реальному поэту.

По теории все это верно. Но вот на практике...

Как-то не поворачивается язык сказать, например, такое: «Лирический герой Есенина пишет матери: «Ты жива еще, моя старушка...» Да нет же, это сам поэт изливает свою нежность к милому «несказанному свету». Это поэт, а не его заместитель страдает и мучается от «тоски мятежной».

Такой высокий авторитет в поэзии, как Анна Ахматова, пишет в заметках «Пушкин в 1828 году»:

«В 1828 году Пушкин... влюблялся и разлюблял и, как никогда, расширил свой донжуанский список, о чем он сам говорит:

Каков я прежде был, таков и ныне я...» [1]

Пушкин говорит, сам! Он герой его лирики, как герой есенинской лирики — сам Есенин. Поправка на специфику литературы в данном случае существенной роли не играет, хотя помнить о ней надо. И памятную фразу: «Что касается остальных автобиографических сведений,— они в моих стихах» («О себе», 1925) — не следует считать универсальным ключом к каждому есенинскому произведению.

И все же из стихов Есенина мы знаем не только о диалектике его души, но и как в разные годы он выглядел («желтоволосый, с голубыми глазами» или «худощавый и низкорослый»), как одевался («шапку из кошки на лоб нахлобучив» или «в цилиндре и лакированных башмаках»), как ходил («легкая походка» или «иду, головою свесясь»), где бывал («нынче вот в Баку» или «стою я на Тверском бульваре»), с кем дружил («Поэты Грузии! Я нынче вспомнил вас» или «в стихию промыслов нас посвящает Чагин»), как звали собаку его друга («Дай, Джим, на счастье лапу мне»)...

Деталь за деталью, штрих за штрихом — и возникает образ поэта во всей жизненной реальности. Вот он идет луговой долиной, кому-то приветливо машет рукой, вот он беседует с сестрой, стоит

[1] Ахматова А. Сочинения. В 2 т. Т. II, М., «Художественная литература», 1986, с. 173.

перед памятником Пушкину; приехав в родительский дом, сбрасывает ботинки, греется у лежанки...

Есенин говорил о стихотворцах-ремесленниках:

— Все они думают так: вот — рифма, вот — образ, и дело в шляпе: мастер. Черта лысого — мастер... А ты сумей улыбнуться в стихе, шляпу снять, сесть; вот тогда ты — мастер!

Сам он умел не только «улыбнуться в стихе»...

Всем нам, читателям и почитателям Есенина, известно о нем и его времени многое. Но мы хотим знать еще больше. Нам интересно знать, например, как он относился к тем или иным событиям, не отраженным в его стихах, как работал, как читал свои произведения со сцены, каким книгам и писателям отдавал предпочтение, как его воспринимали современники... Словом, все: от мелочей быта до самых высоких материй, касающихся творчества поэта, тогдашней жизни народа и страны.

И тут незаменимыми источниками разнообразных свидетельств могут быть воспоминания родственников, а также людей, близко знавших поэта в те или иные периоды его жизни. И потому книги с такими материалами не залеживаются ни в магазинах, ни на библиотечных полках.

Конечно, современник всегда субъективен, он смотрит на выдающуюся личность со своей точки зрения. Увидеть большое с близкого расстояния дано не каждому. И тут важно чувствовать психологическую достоверность рассказа, умение отделить явно надуманное от неточного, правду от правдоподобия. Но и неглубокие, содержащие фактические ошибки мемуары не должны быть оставлены без внимания. И они — документ времени, которое наложило свой отпечаток и на мемуариста, и на того, о ком он вспоминает.

«Мемуарная биография» Есенина начала писаться сразу же после его гибели. Тогда же Маяковский в стихотворении «Сергею Есенину» по этому поводу сказал так:

Вам
    и памятник еще не слит,—
где он,
        бронзы звон
                    или гранита
                              грань? —
а к решеткам памяти
                    уже
                        понанесли
посвящений
            и воспоминаний дрянь.

Действительно, были опубликованы воспоминания мелкие, поверхностные, нередко основанные на разного рода слухах, предположениях, превратных суждениях. Иные мемуаристы, используя момент, пытались примазаться к славе знаменитого поэта, опускали его до своего уровня, окутывали его жизнь почти детективными «черными тайнами».

Но тогда же печатались и материалы, рисующие образ поэта любовно и правдиво. Среди их авторов были видные прозаики, поэты, критики: Сергей Городецкий и Николай Тихонов, Александр Воронский и Софья Виноградская, Всеволод Рождественский и Николай Асеев... Собственно, с них-то и началась мемуарная Есениниана...

«Сергей Александрович Есенин. Воспоминания» — так называлась первая книга, целиком составленная из мемуаров. Она была

выпущена Госиздатом в 1926 году. Ее подготовил верный друг поэта, редактор Собрания сочинений Есенина писатель Иван Евдокимов.

В том же году появились сборники «Есенин. Жизнь. Личность. Творчество» и «Памяти Есенина», изданные соответственно «Работником просвещения» и Всероссийским союзом поэтов. Часть каждой книги занимали воспоминания.

1926—1927 годами помечены отдельные брошюры и книги с воспоминаниями С. Виноградской, И. Грузинова, И. Розанова, В. Наседкина, А. Мариенгофа...

К 70-летию со дня рождения поэта (1965) издательство «Московский рабочий» предприняло выпуск объемистого тома «Воспоминания о Сергее Есенине» (составители и авторы примечаний А. Есенина, Е. Есенина, К. Зелинский, А. Козловский, С. Кошечкин, Ю. Прокушев; общая редакция Ю. Прокушева. В 1975 году книга с небольшими изменениями была переиздана). С рассказами о встречах с поэтом на страницах книги выступило более пятидесяти авторов — его сестры, друзья, знакомые... «Живой Есенин» — так назвал свою статью об этом сборнике замечательный русский поэт и прозаик Николай Рыленков.

Отдельным изданием выпущены «Воспоминания родных» («Московский рабочий», 1985. Составители Т. Флор, Н. Есенина, С. Митрофанова). Среди материалов сборника — рассказ дочери поэта Татьяны Есениной о ее матери Зинаиде Николаевне Райх и отце, рассказ, которого любители поэзии давно ждали.

Наиболее полным собранием мемуаров о поэте стал двухтомник «С. А. Есенин в воспоминаниях современников» (1986). Он пополнил осуществляемую издательством «Художественная литература» серию литературных мемуаров. Составитель двухтомника А. Козловский включил в него более шестидесяти воспоминаний. Немалое число материалов ранее в такого рода издания не входило. Ряд мемуаров дан в бо̀льшем объеме, чем в прежних публикациях. Воспоминания обстоятельно прокомментированы, что значительно поднимает научную ценность издания.

Один из важнейших вопросов, встающих перед составителями подобных сборников,— в каком порядке размещать воспоминания?

В двухтомнике композиция строилась — с определенными отклонениями — по датам первого знакомства с Есениным. Составители тома «Московского рабочего» стремились так отобрать и расположить материал, чтобы перед читателем предстал жизненный путь поэта. Такой же принцип положен в основу «Воспоминаний родных».

Настоящая книга задумана тоже как повествование о всей жизни Сергея Есенина, ведущееся современниками поэта. Но в отличие от прежних сборников ее композиция выдержана — с небольшими отступлениями — в строго хронологическом ключе.

Многие авторы воспоминаний встречались с поэтом на протяжении нескольких лет, о чем и рассказали в своих записках. Семь разделов этой книги, соответствующие различным периодам жизни Есенина, включают в себя фрагменты мемуаров, относящиеся именно к тому отрезку времени. Перед читателем проходит жизнь поэта от детских лет до трагической гибели в 1925 году.

О жизни поэта рассказывают самые разнообразные люди — от безвестной константиновской крестьянки до всемирно прославленного писателя или артиста. Люди разных вкусов, характеров, возрастов, уровней образования. Их голоса не похожи один на другой, в их речах нетрудно обнаружить расхождения, невольные ошибки памяти. Но, пожалуй, никто из авторов не задается целью навести

«хрестоматийный глянец», приукрасить или подогнать тот или иной факт под существующие стандарты. И еще одно достоинство: воспоминания написаны с любовью к Есенину, деликатностью по отношению к его человеческим слабостям и опрометчивым поступкам.

Начинается книга воспоминаниями о детстве и отрочестве поэта. У каждого почитателя Есенина на памяти строки из стихотворения «Мой путь»:

Изба крестьянская.
Хомутный запах дегтя,
Божница старая,
Лампады кроткий свет.
Как хорошо,
Что я сберег те
Все ощущенья детских лет.

Как хорошо, что сберег... Можно ли оценить выше то, что дало поэту детство? Дало не на год, не на два — на всю молодость, на всю жизнь.

Может быть, Есенину досталось какое-то необыкновенное детство? Может, рос он в каких-то особых условиях?

Словно предвидя эти вопросы, Есенин заметил в одном автобиографическом наброске: «Детство такое же, как у всех сельских ребятишек».

Именно этим, самым обычным деревенским детством и был он богат, и это богатство стало благодатной почвой для развития его удивительного таланта.

Первая глава по сравнению с другими невелика по объему, в ней нет интригующих ситуаций и подробностей. Но она важна для понимания истоков есенинской поэзии, ее тем, ее образности. Атмосфера, в которой родился поэт и где началось формирование его мироощущения, выявлена здесь во всей своей реальности.

Слово «Константиново» Есенин ни разу не упомянул ни в стихах, ни в поэмах. Но, когда, например, читаешь: «Вспомнил я деревенское детство, вспомнил я деревенскую синь» или «Я посетил родимые места, ту сельщину, где жил мальчишкой», сразу же мысленно переносишься в Константиново. Там поэт не только родился, там прошли его детство и отрочество, туда не раз приезжал в зрелые годы.

Тропками памяти ведут нас в родное село Есенина его сестры — Александра Александровна и Екатерина Александровна. Они до мелочей знали крестьянский быт своих односельчан, их заботы, взаимоотношения. Обе сестры (особенно Екатерина Александровна) обладали литературным даром и о пережитом смогли поведать с редкой простотой и проникновенностью.

Из их уст мы узнаем, какими были в жизни их родители, как они воспитывали своих детей.

«Родился я с песнями»,— сказал поэт. В самом деле, песня была постоянной спутницей жизни Есениных. И сколь благотворно действовала она на детскую душу! Народные песни открывали перед мальчиком красоту окружающего мира, пробуждали любовь к людям, отчему дому, родному селу, к тропинкам, убегавшим за дальнюю околицу...

Эх, песня,
Песня!
Есть ли что на свете
Чудесней? —

выплеснется позже в стихах Есенина.

Народное песенное слово, впервые услышанное в Константинове, поэт ставил у истоков собственного творчества. И свои стихи он часто сравнивал с песнями: «В первый раз я запел про любовь...», «Пел и я когда-то далеко...», «Мое степное пенье...».

Здесь не отдавалась дань традиции: стихи Есенина по мелодичности, богатству, гибкости ритма — кровная родня народной песне. Музыка, заложенная в них, помогает наиболее полно проявиться чувствам и мыслям в словесном движении. Звуковая организация его стихов тонка и гармонична, что идет от врожденного чувствования отчего языка, всех его оттенков.

Слова «Родился я с песнями...» — начало четвертой строфы есенинского стихотворения «Матушка в Купальницу по лесу ходила...». Вся строфа-двустишие звучит так:

Родился я с песнями в травном одеяле.
Зори меня вешние в радугу свивали.

Рядом с песнями — травное одеяло, вешние зори... Они как бы открылись ему одновременно — песни и природа. Музыка слова слилась с музыкой земли — шорохом трав, шелестом листьев на деревьях, тишиной вечерних полей и лугов...

Воспоминания друзей детства, школьных приятелей Есенина открывают перед нами жизнь деревенских детей вне родного дома. «Сверстники мои были ребята озорные,— писал поэт позже.— С ними я лазил вместе по чужим огородам. Убегал дня на 2—3 в луга и питался вместе с пастухами рыбой...» («Автобиография», 1924).

Село Константиново и его окрестности Есенин знал как свою избу. И, может, с василька или колокольчика, с зеленокосой березки или смолистой сосны, с жеребенка или рыжей дворняжки для него начиналось чувствование родной земли, ощущение родства человека и окружающего его мира природы.

Читая свидетельства товарищей Есенина по учебе, преподавателя второклассной Спас-Клепиковской школы Евгения Михайловича Хитрова, видишь, как поэзия природы, крестьянского труда, народных праздников сливалась с образным словом, услышанным из уст учителя или прочитанным в книжке.

В Спас-Клепиках Есенин понял значение слова, его силу и красоту. Пусть самые первые строчки, набросанные в школьной тетрадке, подражательны, вялы — «свое» еще не пробудилось. Но уже появилось ощущение: «готов все чувства изливать, и звуки сами набегают». И определен идеал: служение народу. Тут мудрыми наставниками были Пушкин и Лермонтов, Кольцов и Некрасов...

Незабываем образ Есенина-ученика, слушающего чтение Хитровым произведений Пушкина: «Он впивался в меня глазами, глотал каждое слово. У него первого заблестят от слез глаза в печальных местах, он первый расхохочется при смешном»...

Из Константинова и Спас-Клепиков виделось: «И мне широкий путь лежит, но он заросший весь в бурьяне».

В Москве он ступил на этот путь.

В первом московском периоде жизни Есенина существенны несколько моментов, так или иначе отраженных в воспоминаниях. Это его непосредственное знакомство с демократическими кругами, рабочими, участие в общественной деятельности, приобщение к литературной среде...

Для него не прошли бесследно и пребывание в типографии Сытина, и работа как члена Суриковского литературно-музыкального кружка, и занятия в Народном университете имени А. Л. Шанявско-

го. Это, несомненно, в значительной мере помогло ему глубже заглянуть в реку жизни, преодолеть внутреннюю «разлаженность» (его слово), с какой он начал городское бытие.

Вот что говорил Есенин о своем состоянии в письме, посланном задушевному другу Грише Панфилову по приезде в Москву:

«Ну ты подумай, как я живу, я сам себя даже не чувствую. «Живу ли я, или жил ли я?» — такие задаю себе вопросы после недолгого пробуждения. Я сам не могу придумать, почему это сложилась такая жизнь, именно такая, чтобы жить и не чувствовать себя, то есть своей души и силы, как животное» (написано до 18 августа 1912 года).

И несколько строк из письма от февраля 1914 года: «...Ни минуты свободной... Распечатался я во всю ивановскую. Редактора принимают без просмотра... Я очень изменился».

Между этими письмами — полтора года. Но по тональности они совершенно разные. По второму письму видно, что молодой человек обрел себя, к нему пришло ощущение собственного «я». Пришло понимание серьезности его призвания, нужности людям его стихов. Это было, пожалуй, самое главное.

Для каждого начинающего автора его первое появление в печати — событие волнующее, праздничное. Надо полагать, те же чувства охватили и Есенина, когда в первом номере журнала «Мирок» за 1914 год он увидел свое первое напечатанное стихотворение «Береза». Подписано оно было псевдонимом — «Аристон».

В воспоминаниях друга юности Есенина Николая Сардановского есть разъяснение этого слова — механический музыкальный ящик. Действительно, такого рода «механизм» тогда существовал. В рассказе И. Бунина «Я все молчу», опубликованном в 1913 году, описывается, как на свадебном пиру в господском доме «захлебывался охрипший аристон то «Лезгинкой», то «Вьюшками»...» Один из персонажей того же рассказа с дочерьми станового танцевал «под аристон».

И все-таки, мне думается, название музыкального ящика никакого отношения к есенинскому псевдониму не имеет. Слово «Аристон» молодой поэт заимствовал из другого источника — поэтического, а именно из стихотворения Гавриила Романовича Державина «К лире».

В этом стихотворении поэт укоряет своих современников, что они стали «чужды красот доброгласья», «к злату, к сребру лишь стремятся», «помнят себя лишь одних»... Подобные мысли близки раздумьям Есенина о людях его времени, людях черствых, гоняющихся за деньгами, равнодушных к своим собратьям.

Державин продолжает стихотворение:

Души все льда холоднея.
В ком же я вижу Орфея?
Кто Аристон сей младой?
Нежен лицом и душой,
Нравов благих преисполнен?

Вот откуда есенинский псевдоним! Державин называет Аристоном греческого философа Платона, сына Аристона. Впрочем, это для Есенина значения не имело: важна была суть поэтического образа — благородство, великодушие, готовность бороться со злом. Он, начинающий поэт Сергей Есенин, во многом похож на юношу из державинского стихотворения. Как и Аристон, он молод, «нежен лицом и

душой, нравов благих преисполнен». Почему бы это имя и не взять псевдонимом?

Именем «Аристон» Есенин подписал только «Березу». Вскоре, как сообщал он Грише Панфилову, редакторы псевдоним сняли и посоветовали подписывать стихи своей фамилией. И хорошо сделали!

Из того, что было напечатано Есениным в 1914 году, особо надо сказать о стихотворении «Кузнец». К сожалению, в воспоминаниях оно даже не называется. Стихотворение написано с искренним воодушевлением, в духе тогдашних риторических произведений суриковцев:

Куй, кузнец, рази ударом,
Пусть с лица струится пот.
Зажигай сердца пожаром,
Прочь от горя и невзгод! —
Закали свои порывы,
Преврати порывы в сталь
И лети мечтой игривой
Ты в заоблачную даль.

«Кузнеца» опубликовала газета «Путь правды» — под таким названием в Петрограде выходила тогда большевистская «Правда». Стихотворение было помещено в разделе «Жизнь рабочих России» рядом со стихотворением Демьяна Бедного «Быль».

Публикация в большевистской газете стояла в одном ряду с распространением письма рабочих, поддерживавших большевистскую «шестерку» в Государственной думе, с участием в нелегальных сходках, с установлением надзора царской охранки... Все это характеризовало молодого Есенина как человека, чувствующего политическую атмосферу тех лет, стремившегося быть ближе к борцам за народное дело, помогать им. Однако, замечает современник, главными мотивами его стихов все же оставались деревня и природа; «революционного порыва» в них не было.

«Революционный порыв» будет позже...

Немаловажную роль в формировании миропонимания, расширении культурного кругозора Есенина сыграл Народный университет имени А. Шанявского. В краткой автобиографии «О себе» (1925), написанной для трехтомного «Собрания сочинений», он посчитал нужным заметить: «В Университете я познакомился с поэтами Семеновским, Наседкиным, Колоколовым и Филипченко».

Воспоминания товарищей по университету дают возможность увидеть некоторые стороны студенческой жизни Есенина. Она не замыкалась в стенах аудиторий. Молодой поэт охотно посещал творческие собрания сотрудников журнала «Млечный путь», художественные выставки... Не праздное любопытство привело его в дом старого гусляра Федора Александровича Кислова. Характерно свидетельство Анны Изрядновой, ставшей в 1914 году гражданской женой Есенина: «Все свободное время читал, жалованье тратил на книги, журналы, нисколечко не думая, как жить».

Из воспоминаний Г. Деева-Хомяковского можно сделать вывод, что Есенина уговорил уехать в город на Неве кто-то из петербургских писателей. Других источников, подтверждающих этот факт, на нынешний день не установлено.

Судя по всему, о переезде в Петербург Есенин начал помышлять еще осенью 1913 года. «Думаю во что бы то ни стало удрать в Питер..,— писал он Грише Панфилову.— Москва не есть двигатель литературного развития, а она всем пользуется готовым из Петербурга».

В начале 1915 года Есенин вновь возвращается к той же теме (в разговоре с «шанявцем» Н. Ливкиным):

— Нет! Здесь, в Москве, ничего не добьешься. Надо ехать в Петроград.

В автобиографии «О себе» (1925) читаем: «Восемнадцати лет я был удивлен, разослав свои стихи по журналам, тем, что их не печатают, и поехал в Петербург».

День его приезда в столицу уже назывался — 9 марта 1915 года.

В Москве Есенин, образно говоря, топтался в прихожей русской поэзии.

В Петрограде он смело вошел в ее горницу.

Веселым парнем,
До костей весь пропахший
Степной травой,
Я пришел в этот город с пустыми руками,
Но зато с полным сердцем
И не пустой головой.

Эти слова произносит один из персонажей неоконченной драматической поэмы Есенина «Страна негодяев» (1922—1923). Но их можно отнести и к самому поэту. Правда, появился он в тогдашней российской столице не с пустыми руками: привез стихи.

Из воспоминаний современников явствует, что жизнь свела поэта здесь с людьми самых разных умонастроений. В одних он обрел искренних друзей, в других — тайных недоброжелателей, завистников. Увидел юродствующих во Христе мистиков, лицемерно распинающихся в «любви к русскому мужичку». Это они, говоря словами Горького, встретили талантливого юношу «с тем восхищением, как обжора встречает землянику в январе».

Поэт позже признавался литературоведу Ивану Розанову, что, живя в Петрограде, он, Есенин, «много себе уяснил». Уяснил он, в частности, и антинародный характер войны с Германией. Войны, прославляемой на все лады многими столичными поэтами, среди которых были и близкие к Есенину Сергей Городецкий и Николай Клюев. Ведь поначалу дань ура-патриотизму отдал и Есенин:

Ой, мне дома не сидится,
Размахнуться б на войне.
Полечу я быстрой птицей
На саврасом скакуне.

Угар войны быстро прошел, и вскоре Есенин предложил в горьковский журнал «Летопись» свое большое стихотворение, направленное против царизма, развязанной им кровавой бойни. Публикация его не состоялась по не зависящим ни от автора, ни от редактора причинам. «...Вчера цензор зарезал длинное и недурное стихотворение Есенина «Марфа Посадница», назначенное в февраль...» — сообщал Горький Ивану Бунину в письме от 24 февраля 1916 года.

Среди авторов воспоминаний, вошедших в третью главу,— люди, принявшие самое близкое участие в его судьбе.

Здесь одним из первых должен быть назван Сергей Митрофанович Городецкий. «Он встретил меня весьма радушно»,— отметил Есенин в «Автобиографии» (1924).

Автору этих строк в начале шестидесятых годов посчастливилось довольно часто видеться с Городецким, подолгу беседовать с ним о Есенине, литературном окружении Есенина в предреволюционные годы. В одной из бесед я коснулся вопроса, который имеет

отношение и к помещенным в этом разделе воспоминаниям Городецкого.

«Что я дал ему в этот первый, решающий период? Положительного — только одно: осознание первого успеха, признание его мастерства и права на работу, поощрение, ласку и любовь друга. Отрицательного — много больше...: эстетику рабской деревни, красоту тлена и безвыходного бунта». Так пишет Городецкий в своих воспоминаниях «О Сергее Есенине» (они впервые были напечатаны в журнале «Новый мир», № 2 за 1926 г.).

Дореволюционные книги Городецкого мне довелось прочитать в студенческие годы, запомнился мне и доброжелательный отзыв Блока о его сборнике «Ярь». Когда мне в руки попал номер журнала с воспоминаниями о Есенине и я прочитал выше приведенные строки, они меня удивили. Да, были в стихах Городецкого языческая древность, славянская мифология: Перун, Стрибог, Веснянки, в его строках дышала первородная сила, жило ощущение полноты жизни. Но при чем тут «эстетика рабской деревни», «красота тлена»? Поэт наговаривает на себя, да и только. Об этих своих мыслях я и сказал однажды Городецкому.

— Вы знаете,— ответил Сергей Митрофанович, помолчав,— я и сам сейчас чувствую, что тогда я краски сгустил. Как говорится, переборщил — по-нынешнему — в самокритике. Такое с нашим братом бывает...

Надо отдать должное Городецкому: он для своего юного друга сделал многое. И не случайно в автобиографиях Есенина имени Городецкого сопутствуют добрые дела.

Именно Городецкий свел Есенина с Клюевым, редким знатоком жизни крестьян русского Севера, художником широкого дыхания, мастером образа самобытного, кряжистого. Связь между поэтами продолжалась до смерти Есенина. Между ними было всякое: любовь сменялась враждой, отчуждение — дружбой. Но до конца дней своих каждый в глубине души оставался верным первому чувству.

Клюев предостерегал Есенина от тлетворного влияния салонных писателей: «...Мы с тобой козлы в литературном огороде и только по милости нас терпят в нем... в этом огороде есть немало колючих кактусов, избегать которых нам с тобой необходимо для здравия как духовного, так и телесного» [1].

О Клюеве много говорилось неверного, одностороннего. Не всегда справедливы к Клюеву и авторы этой книги, рисующие образ человека внешне и внутренне неприятного, отталкивающего (например, воспоминания Галины Бениславской). Поэт трагической судьбы, Клюев в самом начале пути своего друга сказал пророческое:

Изба — питательница слов —
Тебя взрастила не напрасно:
Для русских сел и городов
Ты станешь Радуницей красной.

Со страниц первой книги «Радуница», поэм «Русь», «Марфа Посадница», повести «Яр», написанных Есениным в предреволюционные годы, вставала Русь обильная и убогая, сильная и немощная, радостная и печальная. Русь, полная тревог и ожиданий, неизбывной тоски и надежд на будущее. И не случайно первые же раскаты революционных событий поэт встретил светлой и радостной песней:

О Русь, взмахни крылами...

---

[1] Есенин и современность (сб.). М., «Современник», 1975, с. 239.

Как пишет В. Чернявский, «в февральскую эпоху» в Есенине произошла «большая перемена. Он казался мужественнее, выпрямленнее, взволнованно-серьезнее».

Под гром событий поэт одну за одной пишет свои, как он их называл, «маленькие поэмы»: «Певущий зов», «Товарищ», «Отчарь», «Октоих».

Петр Орешин запечатлел чтение Есениным «Товарища»: «Голос его гремел по всей квартире, желтые кудри стряхивались на лицо».

В книге (раздел четвертый) есть еще один рассказ о чтении «Товарища». Это было годом позже, но поэт читал стихи с такой страстью и подъемом, как будто они только написаны и он еще не остыл от работы над ними.

«Товарищ» в отличие от остальных трех «маленьких поэм» написан в более реалистическом ключе. Не случайно это произведение входило во многие революционные «Чтецы-декламаторы» тех лет, исполнялось со сцены в рабочих и красноармейских клубах.

Жаль, что не осталось мемуарных свидетельств о службе Есенина в военно-санитарном поезде № 143, о его поездке летом 1917 года на Север, где в одной из деревень Вологодского уезда был зарегистрирован его брак с Зинаидой Николаевной Райх, о его самовольном уходе из армии Керенского... Судя по отдельным крупицам, рассыпанным по разным источникам, дни и недели исторического года были насыщены важными для поэта событиями.

«Преображение» — так назвал он свою поэму — первый отклик на Великую Октябрьскую революцию. Поэт обращается к образам возвышенным, планетарным, его слово звучит как вдохновенное слово пророка, объявляющего радостную весть о пришествии «светлого гостя». «Есенин,— вспоминает Орешин,— принял Октябрь с неописуемым восторгом, и принял его, конечно, только потому, что внутренне был уже подготовлен к нему, что весь его нечеловеческий темперамент гармонировал с Октябрем».

Литераторы, встречавшиеся с Есениным в те бурные дни, пишут о его внутренней энергии, о его стремлении быть среди народа, впитывать в себя все, что волновало людей, открывших сердца ветру революции.

Первые послереволюционные годы жизни Есенина сравнительно полно отражены в воспоминаниях. И, пожалуй, как ни о каком другом периоде, об этом отрезке времени написано немало противоречивого, взаимоисключающего. С особой наглядностью это проявилось в освещении темы — Есенин и имажинизм.

Городецкий, например, полагал, что имажинизм сыграл немаловажную роль в развитии Есенина: «Имажинизм был для Есенина своеобразным университетом, который он сам себе строил». Владимир Кириллов считал: имажинизм — «это тот же жест, необходимый, как «скандал» для молодого таланта». Другие говорили о пагубности имажинистского влияния на Есенина.

В критической литературе уже высказывалось мнение, что не следует ни преувеличивать, ни вообще отвергать значение имажинизма в творческом развитии Есенина... «На определенном историческом этапе,— справедливо замечал Николай Рыленков,— имажинизм был для него не только средством закрепления и утверждения нового стиля, получавшего иногда крайнее выражение, а и формой размежевания... со всеми теми, кто отводил ему в литературе роль пастушка, идиллического Леля» [1].

---

[1] Рыленков Н. Душа поэзии. М., «Советский писатель», 1969, с. 147.

В прокрустово ложе имажинизма Есенина, разумеется, не уложить. Он прошел сложный период как мастер, знающий свое дело. Это было для него проверкой сил.

«Пугачев» с его органическими, хотя и усложненными образами, «сгущенной» образностью убедительно показал широту творческих возможностей Есенина.

В отличие от некоторых современников сам поэт считал трагедию своей удачей. Отрывки из нее он охотно читал в дружеском кругу (об одном таком чтении рассказывает Максим Горький) и, выпустив тремя отдельными изданиями, включил ее в трехтомное Собрание стихотворений.

И все-таки «Пугачев» не стал венцом творческих поисков поэта. Они продолжались. Друзья слышали от него все чаще и чаще: «Писать надобно как можно проще. Это трудней».

Хотя и «Пугачев» дался ему нелегко...

Об имажинизме спорил Есенин с Александром Ширяевцем, когда приехал весной 1921 года в Ташкент. Об этой поездке вспоминает Валентин Вольпин. Первая встреча Есенина с Востоком была кратковременной, но оставившей заметный след в душе поэта. В туркестанских впечатлениях, в разговорах с Ширяевцем о своеобразном колорите восточной поэзии, вероятно, следует искать исток тех тем, которые воплотились спустя три года в знаменитых «Персидских мотивах».

Есенин вернулся в Москву в июне, а осенью того же, 1921 года познакомился со знаменитой американской танцовщицей, ирландкой по происхождению, Айседорой Дункан. Она отправилась в голодную и холодную страну не ради какой-то корысти или праздного любопытства. «Я прибыла в Россию... для того, чтобы наблюдать и строить новую жизнь,— заявила артистка.— В Москве родилось новое чудо. И я приехала туда для того, чтобы учить детей Революции, детей Ленина новому выражению жизни».

Думается, читатель пятого раздела этой книги с интересом познакомится с воспоминаниями очевидцев о посещении Владимиром Ильичем Лениным концерта Айседоры Дункан в Большом театре 7 ноября 1921 года, в день празднования четвертой годовщины Великого Октября.

По свидетельству Ильи Шнейдера, директора школы-студии Дункан, Есенин, не пропускавший ни одного выступления артистки, был в Большом театре с группой своих друзей...

Человек, презревший буржуазный мир и смело устремившийся к революционной нови... Прославленная артистка, утверждавшая своим искусством бессмертие Октября... Нет, не могла она быть злым гением Есенина, оказывать на него, скажем так, неблагоприятное влияние, о чем пишут некоторые мемуаристы и литературоведы. «Часто вспоминаю тебя со всей моей благодарностью тебе» — с такими словами к чуждым людям не обращаются (письмо Есенина к Дункан от 20 августа 1923 года).

Весной 1922 года Дункан была приглашена на гастроли в страны Западной Европы и Америки. Вместе с нею выехал и Есенин — с целью «издания книг: своих и примыкающих ко мне группы поэтов», как писал он в заявлении на имя А. В. Луначарского.

Из мира, где «в страшной моде Господин доллар», где душу «сдали за ненадобностью под смердяковщину», он яснее увидел смысл преобразований в Советской России. «...Жизнь не здесь, а у нас»,— писал он из Германии своему московскому другу.

По письмам Есенина, по воспоминаниям людей, встречавшихся с ним в городах Европы и Америки, можно судить, в каком подавленном душевном состоянии находился поэт во время этой поездки. «...Весь он встревожен, рассеян, как человек, который забыл что-то важное и даже неясно помнит — что именно забыто им?» — таким в Берлине видел Есенина Горький.

Очерк великого писателя о поэте, тревожная судьба которого искренне его волновала,— лучшее, что есть в мемуарной Есениниане. Это здесь сказаны точные и мудрые слова о чуде русской литературы: «...Сергей Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой «печали полей» [1], любви ко всему живому в мире и милосердия, которое — более всего иного — заслужено человеком».

Мимо внимания Горького не прошла отчужденность, с какой Есенин вглядывался в жизнь общества стяжательства и чистогана. Это мир не для искусства, не для поэзии.

Первыми словами, которые поэт сказал дома, были: «Доволен больше всего тем, что вернулся в Советскую Россию».

Эпиграфом к двум заключительным разделам книги можно бы поставить строки Есенина: «Учусь постигнуть в каждом миге Коммуной вздыбленную Русь».

Как справедливо отметил Маяковский, Есенин вернулся из-за границы «с ясной тягой к новому». Поэт старался стать ближе к тому, что появилось и постепенно утверждалось в жизни молодой страны. Его «напоенный сердцем взгляд» тянулся в завтрашний день.

После поездки за рубеж Есенин прожил недолго: около двух с половиной лет. Но то, что за этот небольшой период было написано, свидетельствовало о новом взлете есенинского таланта, обретении им новых сил для творческого горения. Большие поэмы «Песнь о великом походе», «Анна Снегина», цикл «Персидские мотивы»... Двадцать, как он называл, «маленьких поэм», среди которых такие вещи, как «Возвращение на родину», «Русь советская», «Поэтам Грузии», «Баллада о двадцати шести», «Письмо к женщине», «Мой путь»... Более шестидесяти лирических стихотворений, «Сказка о пастушонке Пете, его комиссарстве и коровьем царстве», «Поэма о 36»...

«Так много и легко пишется в жизни очень редко» — слова из его батумского письма от 20 декабря 1924 года.

Когда думаешь о последних годах жизни Есенина, его пребывании в Азербайджане и Грузии, вспоминаешь самое удачливое время и в жизни Лермонтова, Некрасова, «болдинскую осень» Пушкина...

О Есенине этих лет пишут Всеволод Рождественский и Петр Чагин, Дмитрий Фурманов и Тициан Табидзе, Юрий Либединский и Иван Евдокимов... Мы вслушиваемся в их слова с сердечной радостью и болью.

Как отрадны страницы, где рассказывается о Есенине — «товарище бодрым и веселым», о его выступлении у памятника Пушкину, о встречах с рабочими нефтяных промыслов, с партийными руководителями Азербайджана, о его дружбе с грузинскими поэтами. Не забудется лицо Есенина, каким его увидел Качалов: «...спокойное (без гримас, без напряжения, без аффектации актеров, без мертвой монотонности поэтов), спокойное лицо, но в то же время живое, отражающее все чувства, какие льются из стихов».

---

[1] Слова С. Н. Сергеева-Ценского. *(Прим. М. Горького).*

И горько читать последние страницы летописи его жизни...

Весной 1925 года Есенин публикует стихотворение «Мой путь», где есть такие строки:

Ну что же?
Молодость прошла!
Пора приняться мне
За дело,
Чтоб озорливая душа
Уже по-зрелому запела.

Но для того, чтобы запеть по-зрелому, по-новому, мало одного желания. Нужны решительные шаги к упорядочению во многом неустроенной, безалаберной жизни. Надо отмежеваться от всего нездорового, что, накапливаясь годами, тяготило, разъедало душу. Черный человек, воплощающий в себе все ложное, мерзкое, должен быть оставлен в прошлом — навсегда...

И Есенин делает эти шаги.

Он возвращается к поэме «Черный человек», написанной за границей в период с июня 1922 года по февраль 1923 года. Из текста, в частности, убираются строки, связанные с длительностью болезненных переживаний («Далеко еще нам до прихода дня»), с боязнью будущего («Знаю я, ты боишься идущего дня»).

Новый вариант поэмы Есенин в ноябре 1925 года отдает в журнал «Новый мир». С. Толстая-Есенина пишет, что это было сделано в связи с отсутствием у поэта новых произведений. Думается, главное не в этом. Отправка поэмы в журнал как бы символизировала решение Есенина порвать с прошлым, преодолеть настроения тоски, безнадежности, наполняющие некоторые стихи последних лет (вспомним строки: «Песню тлен пропел и мне...», «...На сердце изморозь и мгла», «Сердце остыло и выцвели очи...»).

Отправив рукопись поэмы в редакцию журнала, Есенин ложится в клинику Первого Московского государственного университета — подлечить расшатанные нервы и отдохнуть. Здесь он принимает решение о смене своего жизненного уклада. Спасительную гавань он видит в городе, где началась его слава,— в городе на Неве.

«Немедленно найти две-три комнаты, 20 числах переезжаю жить Ленинград». Эта телеграмма от 7 декабря, отправленная Есениным своему другу, говорит о многом.

«Он забрал с собою все свое имущество, рукописи, книжки, записки,— вспоминал Г. Устинов.— Он ехал в Ленинград не умирать, а работать». Близкой знакомой поэт говорил, что он «из Москвы уехал навсегда, будет жить в Ленинграде и начнет здесь новую жизнь». Сюда же вскоре должны были переехать сестры поэта, муж Екатерины Александровны Василий Наседкин.

Утром 24 декабря Есенин приехал в Ленинград и остановился в гостинице «Англетер». Судя по свидетельствам друзей поэта, встречавшихся с ним в те дни, ничто не предвещало трагедии.

Но она произошла в ночь с 27 на 28 декабря 1925 года. Черный человек пришел к поэту и на новом месте...

На долю Есенина выпало суровое время, когда, по словам Василия Федорова, «души поэтов подвергаются... многократным перегрузкам. Поэтов к ним не готовят, как готовят нынче космонавтов. Душа поэта могла изнемочь в желании соединить несоединимое: Русь уходящую с Русью советской. Душевно поэт пережил раскол,

приняв сторону Руси советской, но перегрузки, видимо, потом сказались...»[1]. Да, сказались.

В череде дней, в новых поворотах жизни наши глаза и сердца обретают все бо́льшую зоркость и мудрость.

Нам нужны не только «Баллада о двадцати шести», «Персидские мотивы», «Анна Снегина», но и «Черный человек», «Москва кабацкая»... Каждая строчка есенинская нужна, каждое слово, так же, как каждая строчка Пушкина и Маяковского, Лермонтова и Блока...

Стремление почувствовать и понять поэта во всех его связях с действительностью, во всей его психологической сложности и глубине, со всеми его тревогами и болями, сомнениями и ошибками, услышать биение его сердца, вместе с ним горевать и радоваться — вот что движет читателями — друзьями художника.

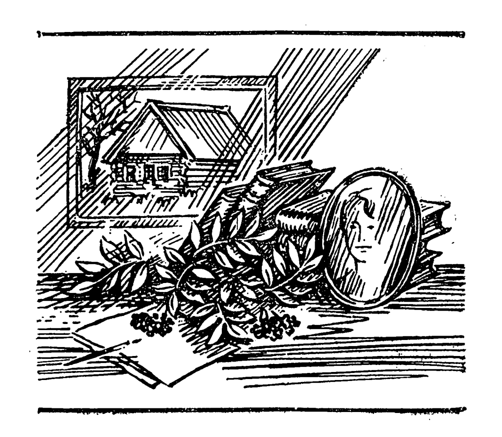
Такими друзьями великий русский лирик богат неисчислимо.

И всё, до Сергея Есенина относящееся, не оставляет их равнодушными...

СЕРГЕЙ КОШЕЧКИН

---

[1] Федоров В. Слово о Сергее Есенине. В кн.: Сергей Есенин. Собрание сочинений. В 3 т. Т. 2. М., «Правда», 1970, с. 13.



ЖИЗНЬ ЕСЕНИНА

КОНСТАНТИНОВО. СПАС-КЛЕПИКИ

1895—1912

Родина наша — село Константиново Рыбновского района Рязанской области.

Широкой прямой улицей пролегло наше село, насчитывающее около шестисот дворов, вдоль крутого, холмистого правого берека Оки. Не прерывая этой улицы, подошла вплотную к Константинову деревня Волхона, а дальше — большое село Кузьминское. Проезжему человеку, не живущему в этих местах, не понять, где кончается одно село и где начинается другое. Эта улица тянется на несколько километров...

Наше Константиново было тихое, чистое, утопающее в зелени село. Основным украшением являлась церковь, стоящая в центре. Белая прямоугольная колокольня, заканчивающаяся пятью крестами — четыре по углам и пятый, более высокий, в середине, купол, выкрашенный зеленой краской, придавали ей вид какой-то удивительной легкости и стройности.

В проемах колокольни видны колокола: большой, средний и четыре маленьких. Стройные многолетние березы с множеством грачиных гнезд служили убранством этому красивому и своеобразному памятнику русской архитектуры.

Вдоль церковной ограды росли акация и бузина. За оградой было несколько могил церковнослужителей и константиновского помещика Кулакова. За церковью на высокой крутой горе — старое кладбище.

В правом углу кладбища, у самого склона горы, среди могильных камней, покрытых зеленоватым мхом и заросших крапивой, стояла маленькая каменная часовня, крытая тесом. Рядом с ней лежал старинный памятник— плита. На этой плите любил сидеть Сергей. Отсюда открывался чудесный вид на наши приокские раздолья.

С церковью, с колокольным звоном была тесно связана вся жизнь села. Зимой, в сильную метель, когда невозможно было выйти из дома, когда «как будто тысяча гнусавейших дьячков, поет она плакидой — сволочь-вьюга», раздавались редкие удары большого колокола. Сильные порывы ветра разрывали и разбрасывали его мощные звуки. Они становились дрожащими и тревожными, от них на душе было тяжело и грустно. И невольно думалось о путниках, застигнутых этой непогодой в поле или в лугах и сбившихся с дороги. Это им, оказавшимся в беде, посылал свою помощь этот мощный колокол.

Этот же колокол извещал и о другой беде — о пожаре, но не в нашем, а в соседнем селе. Тогда удары его в один край часты и требовательны. Но люди наши, привыкшие к частым пожарам, не особенно страшатся их. Выйдя из дома посмотреть, какое село горит, постоят, поговорят с соседями и, если видно, что пожар несильный, спокойно расходятся по домам. На помощь в соседние села бегут только при сильных пожарах и в том случае, если там живут родственники.

В воскресные и праздничные дни этим колоколом сзывали народ к обедне и всенощной.

О пожаре в нашем селе извещал колокол средний. Звук его какой-то жалобный, беспокойный. Чтобы бить в него, не нужно подниматься на колокольню, к его языку была привязана веревка, спадающая вниз, на землю. В сильные пожары били попеременно то в большой, то в средний колокол, и такие удары создавали большую тревогу.

Этим же колоколом, но редкими ударами, сзывали народ к обедне и вечерне в будние дни, церковный сторож отбивал часы, но отбивал он их неправильно и нерегулярно, и нередко можно было насчитать вместо двенадцати тринадцать, четырнадцать ударов.

Медленным, грустным перебором всех колоколов провожали человека в последний путь.

Церковь тогда выполняла обязанности загса. Здесь при крещении получал имя каждый новорожденный, венчались новобрачные и здесь же отпевали умерших.

Влево от церкви, напротив церковных ворот, в глубине села стоял один из двух домов нашего священника. Обитый тесом, крытый железом, выкрашенный красной краской, с белыми ставнями, он мало был виден со стороны села, так как был окружен яблонями и высокими вишнями. Зимой в доме никого не было, но летом здесь

весело и шумно проводила свой отдых учащаяся молодежь, которую любил и охотно принимал у себя священник Иван Яковлевич Смирнов, или, как его многие звали, отец Иван Попов.

Завсегдатаями в доме отца Ивана были две сестры Сардановские, Анна и Серафима, и их брат Николай, родственники отца Ивана, две сестры Северцевы, Тимоша Данилин — сын константиновской вдовы-нищенки, благодаря хлопотам отца Ивана поступивший в рязанскую гимназию и получавший стипендию, Клавдий Воронцов — круглый сирота, племянник отца Ивана, и наш Сергей. Кроме того, сюда частенько приходила молодежь из соседних сел — Кузьминского и Федякина.

На линии села, посеревший от времени, с такою же серой тесовой крышей, немного вросший в землю, окруженный палисадником, заросшим большими кустами сирени и жасмина, стоял второй — основной дом отца Ивана. Рядом с ним — дом дьякона, далее дьячка, а затем крестьянские дома.

За церковью, внизу у склона горы, на которой расположено старое кладбище, стоял высокий бревенчатый забор, вдоль которого росли ветлы. Этот забор, тянувшийся почти до самой реки, огораживающий чуть ли не одну треть всего константиновского подгорья, отделял участок, принадлежавший помещице Л. И. Кашиной. Имение ее вплотную подходило к церкви и тянулось по линии села.

Л. И. Кашина была молодая, интересная и образованная женщина, владеющая несколькими иностранными языками. Она явилась прототипом Анны Снегиной, ей же было посвящено Сергеем стихотворение «Зеленая прическа...», а слова в поэме «Анна Снегина»

Приехали.
Дом с мезонином
Немного присел на фасад.
Волнующе пахнет жасмином
Плетневый его палисад —

относятся к имению Кашиной.

До 1911 года это имение принадлежало отцу Кашиной — И. П. Кулакову. Это его могила находилась за церковной оградой. Имение было очень красивое, но небогатое и небольшое, хотя владелец его был очень богатым человеком, имевшим свои ночлежные дома в Москве на Хитровом рынке и получавшим от них огромные до-

ходы. Ночлежные дома Кулакова описывает В. А. Гиляровский в своей книге «Москва и москвичи».

На опушке леса, на крутом песчаном берегу Старицы, отделяющей луг от леса, стоял еще небольшой хутор, также принадлежавший Кулакову. Этот хутор назывался Яр. Он послужил названием повести Сергея.

После смерти Кулакова принадлежавший ему хутор Яр и леса, протянувшиеся на десятки километров в глубь Мещеры, достались в наследство его сыну, а имение на селе и заливные луга — дочери Л. И. Кашиной.

Белый каменный двухэтажный кашинский дом утопал в зелени. На сравнительно маленьком участке разместились липовые аллеи, фруктовые сады, причем один из них, видимо, был опытным, так как посажен он был в искусственной низине, а со стороны села его защищал высокий земляной вал. Сосны, тополя, березы, дубы, клены, ясени — каких только деревьев здесь не было!

Богатый деревьями, кустарниками, густыми травами, сад привлекал к себе неисчислимое множество пернатых жителей. Летом целыми днями за забором слышалась неугомонная щебетня и посвисты хлопотливых пичуг, а по ночам на все село раздавались истошные крики сов, дикий хохот филинов и искусные соловьиные трели.

Барская часть подгорья была также очень красива. Все горы были засажены деревьями, и всюду росла буйная трава.

Внизу, между четырьмя горами,— пруд, над которым задумчиво склонились березы и ивы. Вода в этом пруду была прозрачна и холодна, так как поступала в него из родников.

Нам, деревенским ребятам, это имение казалось сказочным. Дух захватывало при виде огромных кустов расцветшей сирени или жасмина, окружающих барский дом, дорожек, посыпанных чистым желтым песком, барыни, проходившей в красивом длинном платье, или ее детей в соломенных шляпах с большими полями, резвящихся на этих дорожках.

Но видеть все это удавалось не часто. Высокие ворота и калитка редко открывались, а бревна высокого забора так плотно прилегали друг к другу, что трудно было найти щелочку для глаза. Из мальчишек иногда находился смельчак, который залезал на этот забор, но стоило кому-либо крикнуть: «Кулак, Кулак, лови, лови», как храбрец кубарем скатывался вниз. Лишь одно упоминание имени прежнего владельца имения — Кулако-

ва — оказывало магическое действие еще долгие годы после его смерти.

Приезжая летом в деревню, Сергей бывал в барском доме: он дружил с Л. И. Кашиной. Из барского сада он приносил домой букеты жасмина и сирени.

На противоположной стороне села выстроились в ряд ничем не примечательные, обыкновенные крестьянские избы, за дворами которых тянулись узкие полоски приусадебных огородов или садов. В числе этих домов, против церкви, стоял и наш дом. Вот в этом селе мы родились и жили, здесь прошли молодые годы Сергея...

Дедушка наш Никита Осипович Есенин, был человеком набожным и в молодости готовился уйти в монастырь, за что и получил прозвище «Монах». Это прозвище перешло на все его потомство да так и осталось за нашей семьей. До самой смерти Сергея нас почти не называли по фамилии, мы все были Монашкины. Да и теперь, когда в нашем селе стало много Есениных, объясняя, из каких мы Есениных, говорят: «Это тетки Тани Монашкиной».

Прожив холостым до двадцати восьми лет и так и не собравшись уйти в монастырь, дедушка женился на шестнадцатилетней девушке.

После женитьбы дедушка отделился от своих родных и в 1871 году купил небольшой приусадебный участок земли без огорода против церкви. Приобрести огород он не смог до самой своей смерти, и его прикупал уже наш отец.

Покупая усадьбу, дедушка наш одновременно составил завещание: «В случае моей, Есенина, смерти, то все устроенное на оной усадьбе строение с находящимся в оном имуществом должно поступить в вечное и потомственное владение жены моей Аграфены Панкратьевой и наследникам моим по конец...»

Последним наследником усадьбы дедушки Никиты стал Сергей. С открытием в нашем доме мемориального музея за ним «по конец» и осталась эта усадьба, расположенная на одном из красивейших мест села.

На приобретенном участке дедушка выстроил двухэтажный дом, верх которого был жилым помещением, а низ складским, так как даже амбара дедушке поставить было негде. Этот дом простоял примерно до 1909—1910 года. Затем за ветхостью его сломали, а на его месте выстроили новый. Из нашей семьи в старом доме родились отец, Сергей и моя сестра Катя.

Прожил дедушка Никита недолго, оставив бабушку с кучей маленьких детей, из которых старшей девочке было четырнадцать, нашему отцу двенадцать лет. И еще двое ребят были моложе нашего отца.

Растить такую ораву ребятишек без мужа бабушке было трудно, поэтому, когда нашему отцу исполнилось тринадцать лет и он окончил трехклассную сельскую школу, бабушка через знакомых определила его в «мальчики» в один из московских магазинов. Затем и его младшего брата Ивана она вынуждена была отправить на заработки.

Но помощи от них бабушка не имела, так как «мальчикам» жалованья не платили и работали они только за хлеб и одежду. Чтобы прокормиться с остальными детьми, бабушке пришлось пускать к себе на квартиру живописцев, каменщиков, маляров, которые работали в это время в церкви и часовне, стоявшей против церкви среди села, наискосок от нашего дома.

Через три-четыре года бабушке было уже легче. Подросшие сыновья стали высылать ей свое небольшое жалованье, а те, что остались дома, помогали ей в работе.

Наши родители поженились очень рано, когда нашему отцу было восемнадцать, а матери шестнадцать с половиной лет.

Сыграв свадьбу, отец вернулся в Москву, а мать осталась в доме свекрови. С первых же дней они невзлюбили друг друга, и сразу же начались неприятности. Полной хозяйкой была бабушка. В доме ее по-прежнему жили постояльцы, их было много, и для них нужно было готовить, стирать, носить воду, за всеми убирать. Много работы легло на плечи матери, а в награду она получала ворчание и косые взгляды свекрови. По-прежнему наш отец высылал свое жалованье бабушке.

Вскоре положение еще более осложнилось: женился второй сын бабушки, Иван. Его жена Софья сумела поладить со свекровью и была ее любимицей.

Вспоминая свою жизнь в эти годы в доме Есениных, мать рассказывала о том, как бабушка иногда даже молока не давала ее детям, и мать, чтобы купить молоко, продавала вещи из своего приданого.

Так продолжалось около восьми лет. За это время у нашей матери родилось двое детей, одним из которых был Сергей. Но первый ребенок прожил недолго и умер. Когда Сергею было около четырех лет, забрав его, наша мать вернулась в родительский дом.

На другом конце села, носящего название Матово, жил наш дедушка по матери Федор Андреевич Титов. Он был умный, общительный и довольно зажиточный человек. В молодости он каждое лето уезжал на заработки в Питер, где нанимался на баржи возить дрова. Проработав несколько лет на чужих баржах, он приобрел в конце концов свои и стал получать от них приличный доход.

Семья у дедушки была довольно большая: жена — наша бабушка Наталья, дочь Татьяна — наша мать и три сына — наши дяди: дядя Ваня, дядя Саша и дядя Петр.

Дедушка наш был человеком с большим размахом, любил повеселиться и погулять. Возвращаясь из Питера, он устраивал гулянье на несколько дней. Ведрами выставлялось вино — пей сколько хочешь и кто хочет. И пьет и гуляет чуть не все село. Игра на гармонях, песни, пляски, смех не смолкали иной раз по неделе. Но потом, когда отгуляет, дедушка начинал подсчитывать каждую копейку и, по словам нашей матери, ворчать, что «много соли съели, много спичек сожгли».

А. Есенина

Дедушка с Сергеем спали на печке. Из окна на печку светила луна.

— Дедушка, а кто это месяц на небе повесил?

Дедушка все знал и, не задумываясь, отвечал.

— Месяц? Его туда Федосий Иванович повесил.

— А кто такой Федосий Иванович?

— Федосий Иванович сапожник, вот поедем с тобой во вторник на базар, я тебе покажу его — толстый такой.

Часто Сергей напевал припев одной из детских песенок, которую пел ему дедушка:

Нейдет коза с орехами,
Нейдет коза с калеными.

Когда мать ушла от Есениных, дедушка взял Сергея к себе, но послал в город добывать хлеб себе и сыну, за которого он приказал ей высылать три рубля в месяц.

Е. Есенина

Наша мать была единственной девочкой в доме Титовых и поэтому была любимицей. Она была стройна, красива, лучшая песенница на селе, играла на гармони, уме-

ла организовать веселую игру. Вообще в доме Титовых молодежь жила весело, и сам дедушка поощрял это веселье. Мать рассказывала, что одних гармоний у них стояло несколько корзин (гармони тогда были маленькие — «черепашки»).

Совершенно иной жизнью в своей семье жила бабушка Наталья. Она была человеком тихим, кротким, добрым и ласковым. Была она набожна и любила ходить по церквам и монастырям. Часто она брала с собой и Сергея.

В одной из своих автобиографий Сергей писал: «Помню лес, большая канавистая дорога. Бабушка идет в Радовецкий монастырь, который от нас верстах в 40. Я, ухватившись за ее палку, еле волочу от усталости ноги, а бабушка все приговаривает: «Иди, иди, ягодка, бог счастья даст».

Часто собирались у нас дома слепцы, странствующие по селам, пели духовные стихи о прекрасном рае, о Лазаре, о Миколе и о женихе, светлом госте из града неведомого.

К тому времени, когда в эту семью вернулась наша мать, женились дядя Ваня и дядя Саша и у дяди Саши уже были дети. Чтобы не быть обузой, мать оставила Сергея дедушке, а сама ушла на заработки. В это время дедушка наш был уже разорен. Две его баржи сгорели, а другие затонули, и все они были не застрахованными. Теперь дедушка занимался только сельским хозяйством.

Неграмотная, беспаспортная, не имея специальности, мать устраивалась то прислугой в Рязани, то работницей на кондитерской фабрике в Москве. Но несмотря на трудную жизнь, на маленький заработок, из которого она выплачивала по три рубля в месяц дедушке за Сергея, она все время просила у нашего отца развод. Любя нашу мать и считая развод позором, отец развода ей не дал, и, промучившись пять лет, мать вынуждена была вернуться к нему. Через год у матери народилась моя сестра Катя...

Я рано научилась петь. Я пела все, что пела наша мать, а она во время любой работы пела часто, и песни ее были разнообразные. Это были и русские народные песни, и романсы, а в предпраздничные вечера и праздничным утром она пела молитвы из церковной службы. Она, как и бабушка, много ходила по церквам и монастырям и все службы знала наизусть...

Небольшая деревянная школа стояла среди села недалеко от нашего дома. Она была разделена на две половины: одну половину занимали учителя — Иван Матвеевич и Лидия Ивановна Власовы, муж и жена, во второй половине размещались друг против друга два класса — маленький и большой. В большом обычно занимались первый и третий классы вместе, в маленьком занимались второй и четвертый. После революции учились в две смены. Переоборудовали под класс помещение, которое раньше было учительской кухней.

В 1904 году, когда Сергею исполнилось 9 лет, он начал учиться в этой школе. Учился он хорошо, но за шалости в третьем классе был оставлен на второй год. Окончил он школу в 1909 году и за отличную успеваемость был награжден похвальным листом. Этот похвальный лист много лет висел у нас на стене в застекленной раме.

А. Есенина

Татьяна Федоровна была неграмотной. Но многие стихи сына знала наизусть. Она никогда не читала их вслух, а только пела, и каждое стихотворение на свой лад. С поразительно тонкой музыкальной чуткостью подбирала она мотивы напевов к есенинским текстам, и мы только диву давались ее творческой изобретательности...

И. Шухов

Родилась я в 1909 году в селе Константинове и училась там в сельской школе вместе с сестрой Есенина Александрой. С детских лет слышала я много разговоров среди односельчан о Сергее Есенине. От своей тетки Аграфены Васильевны Зиминой я узнала, что Есенин сочинял стихи, когда ему было всего восемь или девять лет. Придут к Есениным в дом девушки — Сережа на печке. Попросят его: «Придумай нам частушку». Он почти сразу сочинял и говорил: «Слушайте и запоминайте». Потом эти частушки распевали на селе по вечерам.

А. Зимина

Я на год старше его, и учились мы в разных классах, но дружили, как же. Артельный он был парень, веселый, бедовый! Много друзей имел, ну и я среди них. Любили

мы раков ловить. Соберемся ватагой — шум, гам — и за Оку, в луга. Так в протоке, между старицами, раки просто кишели. Трава в воде высокая росла, сунешь в нее руку и уж непременно рака схватишь. Большие, черные, они висели на траве, как яблоки на дереве. Набросаем их вон какую кучу, распалим костер, наварим ведерко и пируем... И домой, конечно, приносили. В глазах все стоит, как будто вчера это было...

Благодатью заокской я редко наслаждался, так как рос без матери, а мачеха помыкала мной, как хотела, да и с отцом недружно жила. А он, когда я еще в начальной школе учился, в лесу замерз. Кончилось мое ученье, и трудовая жизнь началась. Разошлись наши стежки-дорожки с Сергеем.

И. Копытин

В то время, когда он учился в сельской школе, учился в ней и я. Здесь и завязалась у нас с ним дружба, которая прервалась лишь с его смертью.

Среди учеников он всегда отличался способностями и был в числе первых учеников. Когда кто-нибудь не выучит урока, учитель оставлял его без обеда готовить уроки, а проверку проводить поручал Есенину.

Он верховодил среди ребятишек и в неучебное время. Без него ни одна драка не обойдется, хотя и ему попадало, но и от него вдвое. Его слова в стихах: «средь мальчишек всегда герой», «И навстречу испуганной маме я цедил сквозь кровавый рот», «забияки и сорванца» — это быль, которую отрицать никто не может. Помню, как однажды он зашел с ребятами в тину и начал приплясывать, приговаривая: «Тина-мясина, тина-мясина». Чуть не потонули в ней. Любимые игры его были шашки, кулючки (хоронички), городки, клюшки (котлы). Увлекаясь разными играми и драками, он в то же время больше интересовался книгами. В последнем классе сельской школы была у него масса прочитанных книг. Если он у кого-нибудь увидит еще не читанную им книгу, то никогда не отступится. Обманет — так обманет, за конфеты — так за конфеты, но все же выманит.

К. Воронцов

Утром я редко видела Сергея дома. Скучно тянулся день. Я играла в куклы, забавлялась с кошкой — матери некогда было интересоваться мною, она даже в избе мало бывала. Подруг у меня еще не было. Если я выходила гулять, то только около избы, недалеко от матери.

Каждый день я ждала Сергея из школы: тогда мать придет в избу собирать обед, будет разговаривать с ним, и мне веселее будет.

Сергей никогда не играл со мной, он всегда дразнил меня, и все-таки я любила, когда он был дома. Весной и летом Сергей пропадал целыми днями в лугах или на Оке. Он приносил домой рыбу, утиные яйца, а один раз принес целое ведро раков. Раки были черные, страшные и ползали во все стороны. Рассказывал, где и с кем он их ловил, смеялся, и мать становилась веселей.

Неожиданно приехал отец из Москвы, привез гостинцев и две красивые рамки со стеклом. Одну для похвального листа, другую для свидетельства об окончании сельской школы. Это награда за отличную успеваемость Сергея в школе. Похвальный лист редко кто имел в нашем селе. Отец снял со стены портреты, а на их место повесил похвальный лист и свидетельство, ниже повесил оставшиеся портреты. Когда пришел Сергей, отец с улыбкой показал ему свою работу. Сергей тоже улыбнулся в ответ.

Потом позвали в гости отца Ивана и тетю Капу. За столом шла беседа о том, куда определить Сергея. Отец Иван и тетя Капа посоветовали учить его дальше и указали, где надо учиться. Отец наш пробыл три дня у нас и опять уехал. После отъезда отца мать часто ходила к Поповым, что-то шила, принесла маленький сундучок и уложила туда вещи Сергея. Потом к нашей избе подъехала лошадь, вошел чужой мужик, молились богу, и мать с Сергеем уехали, оставив меня дома с соседкой. Сергей уехал учиться во второклассную учительскую школу в Спас-Клепики.

Зимой жили мы вдвоем с матерью. Мать много рассказывала мне сказок, но сказки все были страшные и скучные. Скучными они мне казались потому, что в каждой сказке мать обязательно пела. Например, сказка об Аленушке. Аленушка так жалобно звала своего братца, что мне становилось невмочь, и я со слезами просила мать не петь этого места, а просто рассказывать. Мать много рассказывала о святых, и святые тоже у нее пели.

К рождеству на каникулы приехал Сергей, он показался мне очень высоким и совсем не таким, как раньше. Когда он вошел в избу в валенках, в поддевке и рыжем башлыке, запорошенный снегом, он походил на девушку.

Как всегда, он почти не говорил со мной, а читал или говорил с матерью. Однажды мы остались с ним вдвоем, он читал, я была уже в кровати. Громкий хохот Сергея заставил меня подняться. Он хохотал до слез, я удивленно глядела на него, в избе никого не было, в это время вернулась мать и немедленно приступила с допросом:

— Ты что смеешься-то?

— Да так, смешно,— ответил Сергей.

— И ты часто так смеешься, один-то?

— А что? — спросил Сергей.

— Вот так в Федякине дьячок очень читать любил, все читал, читал и до того дочитался, что сошел с ума. А отчего? Все книжки. Дьячок-то какой был!

Сергей засмеялся.

— Я вот смотрю, ты все читаешь и читаешь. Брось ты свои книжки, читай, что нужно, а пустоту нечего читать.

Прошли каникулы. Сергей неохотно стал собираться в Спас-Клепики. Мать наказывала терпеть, слушаться учителей и советовалась после его отъезда с хромой Марфушей.

— Как быть, кума? Очень дерутся там в школе-то, ведь изуродуют, чем попало дерутся.

— Пусть, кума, потерпит, а тут что? Сама съездий,— говорила Марфуша.

Матери становилось легче.

Вскоре после каникул Сергей приехал с нашими мужиками обратно. Сначала он сказал, что распустили всю школу, а на другой день заявил матери, что больше учиться не будет.

Мать очень перепугалась: как отец на это посмотрит? Они долго думали и наконец решили написать обо всем отцу. Сергей с надеждой, что скоро вернется, поехал в школу.

Школа Сергея в Спас-Клепиках, казалось мне, стоит где-то посреди воды, и в половодье дорога там очень опасна.

— Ах ты, господи, страсть-то какая, как они будут переправляться через воду? Спаси его господи, перенеси, царица небесная, через эту напасть! — ахала мать, зажигая лампадку.

Сергей приезжал к пасхе домой. В Спас-Клепиках у Сергея был большой друг Гриша Панфилов, и он рассказывал матери о семье Панфилова, о своих школьных товарищах.

Е. Есенина

Я был старше Есенина на три года и узнал его, когда учился уже во втором классе. Появился он в школе с кем-то из родных с деревянным сундучком и постельными принадлежностями (казенное белье не выдавалось). В школьном общежитии жили ученики разных классов, и койка Есенина оказалась рядом с моей. Близко к нам располагались Павел Жуков и Михаил Уткин. Все мы скоро крепко подружились.

Надо сказать, что к Есенину тянулись многие: был он аккуратным, опрятным и скромным пареньком, но в то же время веселым, жизнерадостным. Он учился весело, как бы шутя. Даже старшего учителя Евгения Михайловича Хитрова расположил к себе так, что тот ему во многом потворствовал, например, чаще других отпускал из общежития в город.

Кажется, с первого дня знакомства я убедился в том, что Есенин очень любил читать книги. Часто он оставался после занятий в классе и сидел в углу с книжкой. Читал и в общежитии, когда товарищи зубрили уроки. Школьная библиотека переставала его удовлетворять, и нередко он звал меня: «Пойдем, Павлуша, в городскую!» Помню, он брал сочинения классиков, в основном Пушкина, Лермонтова, Некрасова... Приключенческую литературу Сергей не любил.

Иногда после занятий, когда в классе оставались друзья Есенина, он предлагал нам почитать хорошие стихотворения. Мы соглашались. Сергей выходил на середину класса к учительскому столу и взволнованно читал какое-нибудь стихотворение Пушкина или Лермонтова. Читал без жестов, по-школьному. Свои стихи в моем присутствии не читал, и я не знал, что уже тогда он их писал.

Но между тем был случай, когда он на оборотной стороне классной доски написал мелом печатными буквами четверостишие-эпиграмму на учителя географии Николая Михайловича, фамилию которого я, к сожалению, забыл. В тот день я был дежурным по классу. Не успел прочитать стихотворение, как подошел учитель Хит-

ров и спросил, кто это написал. Я не знал и ничего не мог объяснить. Но, вероятно, ничего обидного в эпиграмме не было, и взыскание я не получил. В тот же день вечером Есенин признался мне, что это он написал четыре стихотворные строчки на «птичку божию», как мы звали Николая Михайловича. Этот случай не показался необычным, потому что стихи писали многие ученики.

Я хорошо знал Гришу Панфилова, высокого ростом, крепкого телосложением, и меня позже удивило, что он слишком рано умер. У меня в памяти он остался как хороший товарищ. Есенин был особенно близок к нему и ходил в дом, где Гриша жил с родителями.

Конечно, всех нас, учеников, тяготила казенная обстановка в школе: классные занятия с восьми до четырех часов дня, подготовка уроков вечером под надзором дежурных учителей, а там еще наши дежурства по классу, на кухне, церковная служба и т. п. Поэтому всегда хотелось вырваться в город, на простор. Организатором всяких мероприятий в этом роде чаще был Есенин. В зимнее время по воскресеньям в общежитии раздавался его веселый звонкий голос: «Кто на каток? Пошли!» И он первый бежал на речку Совку. Видно было, что он больше других любил кататься на коньках, и хотя я был сильнее его, но Сергей на льду почти всех перегонял. Он отставал лишь от одного нашего товарища — Ивана Лапочкина, очень рослого и сильного.

С наступлением весны мы занимались рыбной ловлей. Тут уж верховодил неугомонный рыболов Михаил Уткин, мать которого, кстати сказать, работала кухаркой в школе, готовила нам пищу и стирала белье. Мы сами делали себе удочки из ниток, а крючки покупали в магазине.

Особенного азарта в рыбной ловле я у Есенина не замечал. Иногда он не хотел вставать рано или оставался читать книги. Рыбачили мы в основном на Пре за мостом с правой стороны, где ловили язей поплавочными удочками в проводку. Рыба попадалась хорошо на гусениц шелкопряда, которых было много там же на деревьях. Наловив с ведерко рыбы, мы шли в свою столовую, где нам варили уху, которую мы ели с большим аппетитом, тем более что казенное питание было довольно скудное.

Хорошо помню, как дважды мы ездили с Есениным к моим родителям в Порошино, чтобы отдохнуть там в воскресные дни, отоспаться и подкрепиться сытной деревенской пищей. Мы вдвоем выезжали из Клепиков в

субботу по узкоколейной железной дороге, сходили на станции Потапово и шли пешком до деревни. Там мы проводили много времени в саду за домом, где, как всегда, Есенин не расставался с какой-нибудь книжкой.

П. Хобочев

Религиозность мало или почти совсем к нам не прививалась. Нам вменялось в обязанность читать шестипсалмие в церкви во время всенощной по очереди. Сергей Есенин обычно сам не читал, а нанимал за 2 копейки своего товарища Тиранова. Один раз Тиранов почему-то отказался читать шестипсалмие, и Есенину пришлось самому читать. Между прочим, мы надевали стихарь и выходили читать перед царскими вратами на амвон. Сергей Есенин долго не выходил. Священник стал волноваться и хотел уже поручить читать другому. Оказывается, Сергей Есенин в это время никак не мог надеть стихарь, и, когда его поторопили, он надел его задом наперед и в таком виде вышел к верующим читать шестипсалмие. Конечно, не все заметили это, но священник-то заметил и впредь запретил ему читать шестипсалмие. Есенин этим был мало огорчен.

А. Чернов

Когда он в летнее время приезжал на каникулы, то увлекался ловлей руками из нор в Оке раков и линей. В этом он отличался смелостью, ловил преимущественно в глубине, где никто не ловил, и всегда налавливал больше всех. В жаркое летнее время он просиживал в воде целыми днями. Не меньше чем этим он увлекался ловлей утят руками. За это ему один раз чуть было не попало от помещика Кулакова. Однажды пошли мы с ним ловить утят, как вдруг появились сын помещика и управляющий. Они бросились за ним, а Сергей в это время только поймал утенка и не хотел отдавать его им. Пришлось нам с ним голыми бежать по лугу, чтобы скрыться. Бывали и такие случаи, когда ребята ловят утят и никак не поймают, а он разденется, кинется в воду, и утенок его. За это ему от ребят попадало. Помню, как его товарищ Цыбин К. В. за это побил его. Не был Сергей и против ловли рыбы бреднем. В этом ему тоже везло. Как ни пойдет ловить, так несет, в то время как прочие — ничего. Иногда днем приметит, кто где расставил верши

(это снасти, которыми ловится рыба), а вечером оттуда повытаскает все, что там есть. Одним словом, без проделок ни на шаг.

Вечерами иногда мы игрывали в карты, в «козла». Эту игру он любил больше, чем другие картежные игры. В летнее время дома у себя он и не бывал. Как только поест или попьет, так и утекает. Спали мы с ним в одном доме, который никем не был занят. Там бывала и игра в карты.

Во время учебы во второклассной школе Сергей стал сочинять стихи, но не публиковал их. Мне в то время стихи его нравились, и я просил его, чтобы он больше писал. Помню, например, такое стихотворение:

Милый друг, не рыдай,
Не роняй слез из глаз
И душой не страдай:
Близок счастья тот час
и т. д.

Стихов в то время у него было много. Они до настоящего времени не печатались.

Когда он учился в Спас-Клепиках, мне часто приходилось вместе с ним ездить из дома. Я оставался в Рязани, а он, переночевав, уезжал на пароходе.

К. Воронцов

Приходилось мне во время каникул жить в доме дальнего моего родственника — священника села Константинова, Ивана Смирнова. Необычайная приветливость его хозяев очаровывала всякого, кто туда попадал. Вот в такой-то обстановке впервые я увидел приятного и опрятного одиннадцатилетнего мальчика — Сережу, который был на два с половиной года моложе меня. Тихий был мальчик, застенчивый, кличка ему был — Серега-монах.

Примерно спустя год после нашего знакомства Сергей показал мне свои стихотворения. Написаны они были на отдельных листочках различного формата. Помнится, тема всех стихотворений была — описание сельской природы. Хотя для деревенского мальчика подобное творчество и было удивительным, но мне эти стихи показались холодными по содержанию и неудовлетворительными по форме изложения.

В то время я сам преуспевал в изучении «теории словесности», а поэтому охотно объяснил Сергею сущность рифмования и построения всяческих дактилей и амфи-

брахиев. Удивительно трогательно было наблюдать, с каким захватывающим вниманием воспринимал он всю эту премудрость.

И зимой и летом в каникулярное время мы с Сережей постоянно и подолгу виделись. Много времени проходило в играх: лото, крокет, карты (в «козла»). Летом он часто и ночевал с нами во втором, новом, доме дедушки. Приходилось вместе работать на сенокосе или на уборке ржи и овса. Особенно красочно проходило время сенокоса. Всем селом выезжали в луга, по ту сторону Оки; там строили шалаши и жили до окончания сенокоса. Сенокосные участки делились на отдельные крупные участки, которые передавались группам крестьян. Каждая такая группа носила название «выть» (Сергей утверждал, что это от слова «свыкаться»).

Возвращаясь с сенокоса, переедем на пароме Оку и — купаться. Отплывем подальше, ляжем на спину и поем «Вниз по матушке, по Волге...». Пел Сергей плоховато.

В числе товарищей его были: Клавдий, приемыш дедушки, и Тимоша Данилин — сын бедной вдовы, который при содействии дедушки был принят на стипендию в Рязанскую гимназию Зелятрова. Все любили этого Тимошу. Бесконечно добродушный, с широкой, нескладной фигурой, с исключительно темным цветом лица, густыми, курчавыми, черными волосами, с мясистыми губами и курносым носом, Тимоша все же был очень мил.

И другая картина мне представляется. На высоком берегу Оки, за ригой, в усадьбе дедушки, на маленькой, узенькой скамеечке в летний вечерний час сидим мы трое: в середине наш общий любимец дедушка, по краям мы с Сергеем. Необыкновенно милый старик нас поучает: «Бывает так, что мысль свою человек выскажет простыми словами, а иногда скажет человек такое слово, о котором много лет раздумываешь...»

Любили мы в то время читать произведения писателя А. И. Куприна. Дедушка выписывал журнал «Нива», а к этому журналу приложение было Полное собрание сочинений А. И. Куприна. Сергей обратил мое внимание на следующие строки в рассказе «Суламифь»: «И любил Соломон умную речь, потому что драгоценному алмазу в золотой чаше подобно хорошо сказанное слово».

Сам Есенин, как видно, очень пристально следил за разговорной речью окружающих. Неоднократно он высказывал свое восхищение перед рассказчиками сказок, которые ему приходилось слушать ночами во время се-

нокоса. Помню и его восторг, когда получалась неожиданная игра слов в нашей компании.

В юношеские годы Сергей Есенин поражал необыкновенной памятью на стихотворные произведения: он мог наизусть прочесть «Евгения Онегина», а также свое любимое «Мцыри» М. Ю. Лермонтова.

Н. Сардановский

Село Спас-Клепики — торговое. Здесь еженедельно собирались большие базары. Родители учеников, желая повидаться со своими детьми, обычно приноравливали поездки к базарным дням. В такие дни наши ученики один за другим отпрашивались «на базар», то есть повидаться с родственниками. Есенин, приезжал ли кто к нему или не приезжал, непременно шел на базар и там пропадал надолго.

За школьной усадьбой протекала маленькая речка Совка, и наши ученики зимой устраивали на ней каток. Есенин любил кататься. Как только кончались уроки, он направлялся на каток и там оставался до ночи, пропускал обед, чай — все забывал.

Стихи Есенин начал писать в первый год своих занятий. Об этом говорили его товарищи по классу. Но мне он стал приносить их только со второго года обучения. В школе было много стихотворцев, некоторые были чрезвычайно плодовиты, закидывали меня ворохами своих «произведений». Часто приходилось принимать особые меры, чтобы умерить их пыл, особенно когда чувствовалась охота смертная, да участь горькая. Поэтому и Есенина я слегка поощрял, но относился к его стихам поначалу сдержанно. Стихи его были короткими, сначала все на тему о любви. Это мне не особенно нравилось. А на другие темы стихи были, как мне казалось, бессодержательными. К тому же главные свои занятия по литературе и стилистике я относил к третьему году обучения. Вот тогда Есенин и выдвинулся среди других школьных стихотворцев.

Он стал особенно усердно заниматься литературой. Занятия его были шире положенной программы. Он много читал. Особенно он любил слушать мое классное чтение. Помню, я читал «Евгения Онегина», «Бориса Годунова» и другие произведения в течение нескольких часов, но обязательно все целиком. Ребята очень любили эти чтения. Но, пожалуй, не было у меня такого жадного слушателя, как Есенин. Он впивался в меня глазами,

глотал каждое слово. У него первого заблестят от слез глаза в печальных местах, он первый расхохочется при смешном. Сам я очень любил Пушкина. Пушкиным больше всего занимался с учениками, читал его, разбирал и рекомендовал как лучшего учителя в литературе. Есенин полюбил Пушкина. В начале года он подражал разным писателям, ни на чем долго не останавливаясь. Мне долго казалось, что его произведения легкомысленны, представляют собой лишь набор рифмованных предложений без поэтического значения. Но уже одно то, что он легко справлялся с рифмами и ритмом, выделяло его из среды товарищей.

Первое произведение, которое меня поразило у Есенина, было стихотворение «Звезды». Помню, я как-то смутился, будто чего-то испугался. Несколько раз вместе с ним прочел стихотворение. Мне стало совестно, что я недостаточно много обращал внимания на Есенина. Сказал ему, что стихотворение это мне очень понравилось, что его можно даже напечатать.

Вскоре к нам в школу приехал со своей обычной ревизией епархиальный наблюдатель Рудинский. Я показал ему стихотворение Есенина. Рудинский в классе, при всех расхвалил поэта и дал ему несколько советов. В результате этого у Есенина появилось новое стихотворение «И. Д. Рудинскому».

Обладая хорошими способностями, Есенин порой к занятиям готовился на ходу, прочитывая задания в перемену. За хорошими ответами не гонялся. Большинство же его товарищей были более усидчивы и исполнительны. Вот над теми, кто был особенно усерден и прилежен, он часто прямо-таки издевался. Иногда дело доходило до драки. В драке себя не щадил и часто бывал пострадавшим. Но никогда не жаловался, тогда как на него жаловались часто. Бывало, приходят и говорят: «Есенин не дает заниматься». Вхожу в класс поговорить с ним. Где он? Никто не знает. Проходит некоторое время. Все уже успокоились. Но вот в моей квартире отворяется дверь, и тихо входит кто-то. Оказывается, это Есенин с листком бумаги. На листке стихи. Конечно, мое дело начать с «проборции»: «Стихи стихами, а зачем людям заниматься мешаешь?» Смиренно молчит, всегда молчит. В конце концов мы примиряемся, и он вылетает из квартиры снова радостный, светлый.

У нас был обычай: выпускной класс фотографировался вместе с учителями на память. У меня таких снимков

много. Но нет фотографии выпуска 1912 года. Класс был недружный. Однако Есенин снялся с выпуском 1911 года, то есть за год до своего окончания. Эта фотография у меня сохранилась.

Есенин приносил мне много своих стихотворений, которые я складывал в общий ворох ученических работ. Все они были написаны на отдельных листках. Перед окончанием Есениным нашей школы я попросил его переписать стихи в отдельную тетрадь. Есенин принес мне одну тетрадь с четырьмя стихотворениями. Я сказал, что этого мало. Тогда он принес еще тетрадь с пятью стихотворениями. Эти две его тетради у меня сохранились. Есть в них и поразившие меня когда-то «Звезды».

Когда Есенин окончил курс и мы с ним расставались, я ему советовал поселиться в Москве или в Питере и там заниматься литературой под чьим-нибудь хорошим руководством. Совет мой он принял и выполнил, и я довольно скоро имел удовольствие читать его стихи в «Ниве». Еще большее удовольствие он мне доставил тем, что прислал мне первый свой сборник стихов «Радуница» с надписью: «Доброму старому учителю Евгению Михайловичу Хитрову от благодарного ученика, автора этой книги». Но я оказался слишком невежлив и неделикатен. Он от меня не получил ни ответа ни привета. Как это случилось — до сих пор не даю себе отчета... Есенин, конечно, обиделся на меня. И все-таки в 1924 и 1925 годах он присылал мне поклоны с кем-нибудь из знакомых. Обещал даже приехать в Спас-Клепики. Летом 1925 года он приезжал к себе на родину в село Константиново и, когда уехал оттуда, снова прислал мне поклон и сожаление, что не заехал в Спас-Клепики...

Просматривая сейчас списки выпускного класса спас-клепиковской второклассной школы за 1912 год, не могу удержаться, чтобы не сообщить, как наша школа официально аттестовала Есенина. Аттестация у него была самая элементарная, без всяких характеристик, лишь при помощи цифр пятибалльной системы. И вот мы видим, что в 1912 году вместе с Есениным окончили курс нашей школы шестнадцать человек. У четверых почти все пятерки, у двоих почти все четверки, и у остальных десяти четверки чередуются с тройками. Есенин принадлежит ко второй группе. У него все четверки, кроме пения и церковнославянского языка. Большое значение имела графа «поведение». С четверкой в поведении кому-либо мы ни разу не составляли журнала: все равно

журнал не получил бы утверждения со стороны епархиального учительского совета. В ведомости выпускного класса 1912 года в графе «поведение» все ученики имеют круглые пятерки за исключением одного Сергея Есенина, у которого стоит пять с двумя минусами.

Е. Хитров

Окончив второклассную школу, он стал на жизнь смотреть серьезнее. Существовавший строй ему был не по душе. Поэтому он всегда вступал в споры против религии и в политическом отношении, надо сказать, считался неоспоримым. Еще в 1912, 1913, 1914 годах он снял с себя крест и не носил его, за что его ругали домашние. Если кто его называл «безбожником», а это слово в тогдашнее время было самым оскорбительным, он усмехался и говорил: «Дурак».

Спустя немного времени после окончания школы Сергей уехал в Москву.

К. Воронцов

Весной 1912 года я окончила гимназию в Рязани и получила назначение на должность учительницы в школу деревни Волхона, которая находилась между Константиновом и Кузьминским.

Заранее, еще в июне, отправилась я к месту назначения, чтобы освоиться с новой обстановкой до начала учебного года. Оказалось, что помещение школы еще не было готово для занятий (школа открывалась впервые), не было и жилплощади для меня. Поселилась я на первое время в квартире радушно принявших меня учителей Константиновской школы Ивана Матвеевича Власова и его жены Лидии Ивановны. У них я и познакомилась с Сергеем Есениным.

Иван Матвеевич представил мне однажды бывшего ученика и дал ему при этом такую лестную характеристику, что тот, я заметила, смутился. Был Есенин в сером костюме, ботинках и в белой рубашке с галстуком. Я узнала, что он недавно окончил Спас-Клепиковскую учительскую школу, и спросила его:

— Значит, как и я, будете детей учить?

— Родители этого хотят, но я не хочу. Им бы еще учительский институт окончить — вот была бы радость! А не по мне все это...

— Какой же теперь перед вами путь?

— Путь мой широкий, но весь в бурьяне,— уклончиво ответил он.

Я была лишь на два года старше Есенина, и мы скоро подружились. Этот совсем еще юный красивый паренек привлекал меня своей начитанностью и воспитанностью. Даже меня он неизменно называл по имени и отчеству.

— Приходите, Полина Сергеевна, в дом к отцу Ивану,— как-то пригласил он меня.— Хорошо у него, не пожалеете.

В один из вечеров мне случилось побывать в доме священника Ивана Яковлевича Смирнова и его дочери Капитолины Ивановны, необыкновенно гостеприимных хозяев. Там я узнала друзей Есенина: Тимошу Данилина, Клавдия Воронцова, Сергея Соколова и Владимира Орлова. В доме отца Ивана видела я сестер Сардановских — Анну и Серафиму. Тогда же молодежь затеяла разыграть сцену в корчме из «Бориса Годунова». Мне была поручена роль хозяйки, а Есенину — роль пристава. К игре на импровизированной сцене он отнесся добросовестно. Ему где-то достали подходящий для спектакля костюм, Есенин немного загримировался. Собралось на наше представление человек пятнадцать зрителей — родные и знакомые священника.

После спектакля друзья стали просить Есенина прочитать свои стихи. Сначал он отказывался, потом прочитал два-три стихотворения. Ему аплодировали...

К середине июля я переселилась в школу, где для меня была выделена комнатка. По школьным делам (перевод некоторых учащихся из Константиновской школы в Волхонскую) мне приходилось часто бывать у Власовых, где, как и прежде, я иногда встречала Есенина. Я пригласила его навестить меня, он охотно согласился и несколько раз приходил ко мне. Любил он говорить о природе, о жизни простого народа, а больше всего о поэзии. Он показался мне очень интересным собеседником, и я рассказала о нем знакомым учительницам из Кузьминской школы. Они попросили меня прийти вместе с ним в Кузьминское.

Помню, в одно из воскресений Есенин и я пришли к моим подругам. Сергей всем понравился своей находчивостью во время игры в «почту». Один из играющих выполнял роль почтальона и раздавал остальным номера. Получивший определенный номер мог предложить любому играющему что-нибудь выполнить: спеть, продекла-

мировать стихотворение, сыграть на каком-нибудь инструменте и т. д. Есенин отвечал на вопросы в стихотворной форме, остроумно и с юмором.

Однажды, узнав, что мне необходимо поехать в Рязань за учебниками, книгами для школьной библиотеки и учебными принадлежностями, он предложил свои услуги:

— Вместо кучера буду, да и в Рязанъ надо съездить.

Дня через два мы собрались в Рязань. Деревенский староста выделил нам по наряду лошадь и был доволен, что нашелся добровольный кучер, к тому же и умелый. Староста положил на телегу охапку сена и сказал:

— Ну, в путь добрый!

Мы поехали проселочной дорогой через поля и луга. В моей памяти встает яркий июльский день, стаи птиц над зеленой равниной и гулкий звон колоколов Богословского монастыря.

— Раздолье, раздолье-то какое! — радовался Есенин.— У Фета есть слова: «От лип душистым медом тянет». И тут, в лугах, тоже медом тянет... Нет, не один мед! Полынью пахнет, горькой полынью...

На мою просьбу почитать свои стихи он ответил согласием. Прочитал мне два стихотворения, первое я не помню, а восемь строк второго запали в память на всю жизнь:

Сыплет черемуха снегом,
Зелень в цвету и росе.
В поле, склоняясь к побегам,
Ходят грачи в полосе.

Никнут шелковые травы,
Пахнет смолистой сосной.
Ой вы, луга и дубравы,—
Я одурманен весной...

Когда мы проехали полпути, на горизонте появилась темная туча.

— Хорошо бы к нам! — весело сказал Есенин.— Гроза! Как будто участвуешь в сражении со злыми силами.

— Что вы, намокнем...

— Пустяки!

Туча прошла стороной.

— Ушла, желанная,— с сожалением произнес Есенин.— А жарища-то какая! — Он снял пиджак и спрыгнул с телеги. В белой рубашке, светловолосый, долго шел рядом, управляя лошадью.

Показались очертания Успенского собора и колокольни. Вот и город. Низкие деревянные домики, дворики и

сады. Навстречу нам, поднимая пыль, брели коровы. В центре города мы выехали на мостовую, и телега запрыгала и загремела по булыжнику. Замелькали вывески магазинов. Кое-где приказчики, выйдя на улицу, зазывали покупателей.

Остановились мы на Краснорядской улице. Есенин завел лошадь на постоялый двор (на Краснорядской было два или три постоялых двора, как, впрочем, и на Соборной улице).

Я отправилась по своим делам, а Есенин ушел на Новый базар (теперь это площадь Ленина). У меня оказалось столько хлопот, что я даже не заглянула к своим родителям, которые жили рядом, на улице Почтовой (теперь — улица Подбельского).

Был базарный день, и мне пришлось переходить через шумевшую площадь, которую я хорошо помню с ранних детских лет. Между каменными торговыми рядами была толкотня, слышался шум, крики легковых и ломовых извозчиков, звуки гармоники и даже шарманки. Парни и девушки грызли орехи и подсолнухи. Бродили и сидели в пыли нищие. За порядком наблюдали стоявшие на перекрестках улиц городовые...

В эту-то суету и ушел Есенин. Вернулся он помрачневшим, со связкой книг под мышкой. Мы купили что-то из съестного, уложили вещи и выехали из города. Признаться, я торопилась в обратный путь, чтобы засветло приехать в школу. Есенин ехал молча, глядя в синеву неба. Прошло с полчаса. Он стал говорить, что жизнь его скоро круто изменится: отец зовет к себе в Москву, где он с тринадцати лет работает мясником у купца.

— И меня хочет в купеческую контору определить, по счетной части, что ли... Незавидный жребий! — произнес он, волнуясь.

Я принялась успокаивать его, но неожиданно услыхала:

— Прокатимся под уклон, Полина Сергеевна, чтобы в ушах звенело, а? — И погнал лошадь, крича: — И какой же русский не любит быстрой езды!

Я схватила его за руку:

— Сережа, потише, книги растеряем!

Он замедлил бег лошади, усмехнулся:

— Нашлась русская, которая не любит быстрой езды!

Возвратились мы в Волхону в сумерках, а через несколько дней Есенин уехал в Москву.

П. Гнилосырова

МОСКВА

1912—1915

Появился он в Москве весной 1912 года.

Он приехал из деревни, без гроша денег и пришел к поэту С. Н. Кошкарову-Заревому.

Сергей Николаевич тогда был председателем Суриковского кружка писателей.

Привело Есенина к т. Заревому, близкому другу и ученику т. Бонч-Бруевича, желание найти пути в литературу.

Литературная буржуазная Москва встретила холодно белокурого смельчака.

Некоторое время он жил у Кошкарова и посещал собрания кружка писателей.

В 1912 году кружок являлся самой мощной организацией пролетарско-крестьянских писателей.

Деятельность кружка была направлена не только в сторону выявления самородков-литераторов, но и на политическую работу.

Лето после Ленских расстрелов было самое живое и бурное. Наша группа конспиративно собиралась часто в Кунцеве, в парке бывшем Солдатенкова, близ села Крылатского, под заветным старым вековым дубом. Там, под видом экскурсий литераторов, мы впервые и ввели Есенина в круг общественной и политической жизни.

Там молодой поэт впервые стал публично выступать со своим творчеством.

Талант его был замечен всеми собиравшимися.

Решено было его устроить куда-либо на службу.

После ряда хлопот его устроили через социал-демократическую группу в типографию бывшую Сытина на Пятницкой улице.

Сережа был очень ценен в своей работе на этой фабрике не только как работник экспедиции, но и как уме-

лый и ловкий парень, способствовавший распространению нелегальной литературы.

Заработок дал ему возможность окрепнуть и обосноваться в Москве.

Первые его литературные опыты поместили в детских журналах «Мирок» и «Доброе утро».

Фабрика с ее гигантскими размахами и бурливой живой жизнью произвела на Есенина громадное впечатление. Он был весь захвачен работой на ней и даже бросил было писать. И только настойчивое товарищеское воздействие заставляло его время от времени приходить в кружок с новыми стихами.

Правда, стихи его по содержанию были далеки от общественного движения. В них было много сказочного, былинного, но не было революционного порыва.

Главными мотивами его стихов все же были деревня и природа.

Он удивительно схватывал картины природы и преподносил их в ярких образах.

В течение первых двух лет Есенин вел непрерывную работу в кружке.

Казалось нам, что из Есенина выйдет не только поэт, но и хороший общественник. В годы 1913—1914 он был чрезвычайно близок кружковой общественной работе, занимая должность секретаря кружка. Он часто выступал вместе с нами среди рабочих аудиторий на вечерах и выполнял задания, которые были связаны с значительным риском.

В это же время в кружок вошел и другой талантливый поэт, Ширяевец. Он писал нам из далекой Южной Азии, где он работал в почтовой конторе одной из станций железной дороги в качестве телеграфного монтера, и стремился в Москву.

Не имея лишних средств, кружок все же решил в это время заняться издательством.

Издательская работа подвигалась трудно. Есенина волновало последнее обстоятельство. После ряда совещаний мы написали теплые письма известному критику, тогда социал-демократу Л. М. Клейнборту, приложив рукописи Есенина, Ширяевца и ряда других товарищей.

Л. М. Клейнборт откликнулся. Обещал активное содействие молодым писателям и поместил обстоятельную статью в «Современном мире».

В конце 1914 года было решено издавать журнал «Друг народа», который должен был повести борьбу с

человеческой бойней, борьбу за интернациональное объединение трудящихся.

В августе социал-демократическая группа выпустила литературное воззвание против войны. Есенин написал небольшую поэму «Галки», в которой отобразил ярко поражение наших войск, бегущих из Пруссии, и плач жен по убитым.

Есенин был секретарем журнала и с жаром готовил первый выпуск. Денег не было, но журнал выпустить необходимо было. Собрались в редакции «Доброе утро». Обсудили положение и внесли по 3—5 руб. на первый номер.

— Распространим сами,— говорил Есенин.

Выпущено было воззвание о журнале, в котором говорилось: «Цель журнала быть другом интеллигента — народника, сознательного крестьянина, фабричного рабочего и сельского учителя...» Этим хотели привлечь всех тех, кто, как нам казалось, хотя в малой степени был настроен против войны.

Есенина тяготило безденежье кружка. Он стал выказывать некоторую нервозность. Сданная в печать его поэма «Галки» была конфискована еще в наборе.

Из Петрограда ему слали хвалебные письма. Но все же первый номер «Друг народа» был выпущен.

Г. Деев-Хомяковский

До конца 1912 года во главе суриковцев стоял Максим Леонович Леонов, отец известного советского писателя Леонида Леонова. После же отъезда М. Л. Леонова в Архангельск, где он стал редактировать прогрессивную газету «Северное утро», председателем кружка на 1912 год был избран поэт Сергей Николаевич Кошкаров (Сергей Заревой), присяжный поверенный, выходец из народа.

Собственного помещения суриковцы не имели, и собрания членов происходили то на квартире Кошкарова, то в литературно-художественном кружке, а то просто в каком-нибудь трактире.

Вот тогда-то и появился Сергей Есенин. Поэту было лет шестнадцать — семнадцать. Он приехал из дебрей Рязанской губернии, вскоре после окончания двухклассной школы. Есенин казался почти мальчиком, затерявшимся в городе. Одет он был, если не изменяет память, в подержанную деревенскую поддевку. На ногах — акку-

ратные кожаные сапоги. Немного кудрявый, белый, синеглазый. Таким он запомнился по первой встрече.

Помню, собрание членов, на которое впервые пришел Сергей, происходило в одном из номеров меблированных комнат — «подворья» (нечто вроде гостиницы для приезжих), где-то на Петровке.

С. Н. Кошкаров, у которого поэт накануне был на квартире, познакомил собравшихся с гостем, назвав Есенина «молодым крестьянином Рязанской губернии, пишущим стихи». Все очень заинтересовались юношей и сейчас же стали просить его что-либо прочитать.

Голос у подростка Есенина был очень приятный, певучий, но почти детский. И читал он совсем по-особенному, растягивая слова:

О родина, счастливый
И неисходный час.
Нет лучше, нет красивей
Твоих коровьих глаз.
Тебе, твоим туманам
И овцам на полях
Несу, как сноп овсяный,
Я солнце на руках...
О Русь, о степь и ветры,
И ты, мой отчий дом...
На золотой повети
Гнездится вешний гром...

Казалось, он не читает, а поет стихи, напоминая Константина Бальмонта. Бальмонт вот так же пел свои стихи о маори, о Полинезии, когда он выступал в Политехническом музее, вскоре по возвращении из путешествия по южноокеанским островам.

Крестьянскую тематику разрабатывали и до Есенина, мы знали много «крестьянских» стихов, но здесь все показалось таким новым, таким смелым. Чтение еще долго продолжалось. Многое, что читал молодой поэт, им было значительно переработано впоследствии, а кое-что он и вовсе не помещал в своих позднейших сборниках, но в памяти на долгие годы осталось то неизгладимое впечатление от своеобразия и свежести юношеских стихов, которые он, может быть, в первый раз тогда прочитал в кругу литераторов.

Иные из присутствующих старых суриковцев — Филипп Шкулев, Михаил Савин, Егор Нечаев, Иван Морозов, Василий Миляев — тоже в своих стихах воспевали и крестьянский быт, и красоту деревенских раздолий, правда, в обычной манере поэтов «из народа». Они, искушен-

ные поэты, просто пожимали плечами в крайнем недоумении и смущении.

Под конец Есенин так ошарашил присутствующих, что многие сидели буквально с разинутыми ртами, глядя с недоумением на худенького мальчика-поэта, как на пришельца из другого, неведомого мира.

А когда он кончил читать, то все смотрели друг на друга, не зная, что сказать, как реагировать на совсем непохожее, что приходилось слышать до сих пор.

Есенин же, вытирая вспотевшее лицо платочком, смирненько сидел и, казалось, с какой-то хитрецой наблюдал за смущенными лицами слушателей. Думаю, что он и тогда, правда, может быть, инстинктивно, сознавал свое значение, ощущал значительность своего дарования. Мне показалось, хотя я был только на четыре года старше его, что Есенин пришел к нам именно затем, чтобы удивить, поразить, а вовсе не затем, чтобы выслушать наше мнение о своем творчестве и просить какого-то содействия в напечатании стихов. (Тогда Суриковский кружок издавал небольшие сборники стихов своих членов.)

Е. Шаров

В моем представлении решающим рубежом в жизни Сергея был переезд его в Москву.

Это произошло в 1913 году — на восемнадцатом году его жизни. В этом же году и я, окончив среднюю школу, поступил в Московский Коммерческий институт (ныне Институт им. Плеханова). Сергей работал корректором в типографии И. Д. Сытина на Пятницкой улице и жил в маленькой комнатке в одном из домов купца Крылова — Б. Строченовский пер., д. 24. Приходилось нам с ним живать в одной комнате, а когда жили отдельно, то все же постоянно виделись друг с другом. Городская жизнь, конечно, была значительно бледнее, чем деревенская.

В свободное время от работ часто бывал он у своего отца, который жил в другом доме на том же дворе. Там была «молодцовская», то есть общежитие для работников хозяина — Крылова. Отец Есенина был старшим и по молодцовской. В маленькой комнатке Есенина мы могли лишь с восторгом вспоминать о раздолье на константиновских лугах или на Оке.

Время проводили в задушевных беседах. То он с упоением рассказывал, как видел приезжавшего в типогра-

фию Максима Горького, то описывал, как изящно оформлял свои рукописи модный в то время поэт Бальмонт.

Часто он мне читал свои стихи и любил слушать мое любимое стихотворение «Василий Шибанов» А. К. Толстого. А мою незатейливую игру на скрипке он мог слушать без конца и особо восторгался мелодичной «Славянской колыбельной песней» композитора Неруды. Впоследствии он неоднократно предлагал мне «работать» вместе, то есть он составлял бы стихи, а я делал бы к ним музыку.

В начале своей деятельности поэта Сергей обдумывал, какое наименование ему лучше присвоить. Вначале он хотел подписываться «Օристон» (в то время были механические музыкальные ящики «Аристон»). Потом он хотел называться «Ясенин», считая, что по-настоящему правильная его фамилия от слова «ясный».

Он считал, что поэт — это самая почетная личность в обществе. Горячо доказывал мне, что А. С. Пушкин бесспорно самый выдающийся человек в истории России и потому он пользуется самой большой известностью. Мне приходилось несколько охлаждать пыл своего приятеля, и я высказывал соображения, что подчас и довольно ничтожные личности имеют большую известность, вот, к примеру, царь Николай. Обратились с вопросом к его квартирной хозяйке Матрене Ивановне, и, к нашему полному недоумению, оказалось, что про Пушкина она ничего не знает.

Мне помнится, что первое его стихотворение было напечатано в петербургском детском журнале «Проталинка». Полученный гонорар он целиком истратил на подарок своему отцу. Вообще в этот период я наблюдал, что отношения Сергея с отцом были вполне хорошими.

Конечно, вначале Александр Никитич неодобрительно относился к литературным занятиям Сергея, но свое мнение он высказывал без всякой резкости, а потом у него стало проскальзывать даже довольство тем обстоятельством, что его сын стал получать известность. В первые годы своей московской жизни Есенин вел довольно простой образ жизни. Частенько проводил время в молодцовской, где резался с ребятами в «козла». Любил он и наши студенческие компании. Обычно в неучебные дни мы, студенты, собирались небольшой компанией и проводили время главным образом в пении хоровых украинских песен.

К этому же времени относится учеба Сергея в университете Шанявского (этот университет назывался, кажется, народным). Мне Сергей говорил, что он посещал там исключительно лекции по литературе. Этот предмет читали наиболее видные профессора того времени: Айхенвальд, автор книги «Силуэты русских писателей», и Сакулин. Однажды взволнованный Есенин сообщил мне, что он добился того, что профессор Сакулин обещает беседовать с ним по поводу его стихов. Вскоре Сергей с восторгом рассказывал мне свои впечатления о разговоре с профессором. Особенно одобрил он стихотворение «Выткался на озере алый свет зари...»

Между прочим, я, неспециалист в этом деле, услыхав это стихотворение, почувствовал впервые, что в стихах Есенина появляется подлинная талантливость. Однако я долго недоумевал, как мог профессор одобрить стихотворение Есенина, которое поэт посвятил мне:

Упоенье — яд отравы.
Не живи среди людей,
Не меняй своей забавы
На красу бесцветных дней...

Н. Сардановский

Познакомилась я с С. А. Есениным в 1913 году, когда он поступил на службу в типографию товарищества И. Д. Сытина в качестве подчитчика (помощника корректора). Он только что приехал из деревни, но по внешнему виду на деревенского парня похож не был. На нем был коричневый костюм, высокий накрахмаленный воротник и зеленый галстук. С золотыми кудрями он был кукольно красив, окружающие по первому впечатлению окрестили его вербочным херувимом. Был очень заносчив, самолюбив, его невзлюбили за это. Настроение было у него угнетенное: он поэт, а никто не хочет этого понять, редакции не принимают в печать. Отец журит, что занимается не делом, надо работать, а он стишки пишет. Был у него друг, Гриша Панфилов (умер в 1914 году), писал ему хорошие письма, ободрял его, просил не бросать писать.

Ко мне он очень привязался, читал стихи. Требователен был ужасно, не велел даже с женщинами разговаривать — они нехорошие. Посещали мы с ним университет Шанявского. Все свободное время читал, жалованье

тратил на книги, журналы, нисколько не думая, как жить.

В типографии Сытина работал до середины мая 1914 года. «Москва неприветливая — поедем в Крым». В июне он едет в Ялту, недели через две должна была ехать и я, но так и не смогла поехать. Ему не на что было там жить. Шлет мне одно другого грознее письма, что делать, я не знала. Пошла к его отцу просить, чтобы выручил его, отец не замедлил послать ему денег, и Есенин через несколько дней в Москве. Опять безденежье, без работы, живет у товарищей.

В сентябре поступает в типографию Чернышева-Кобелькова, уже корректором. Живем вместе около Серпуховской заставы, он стал спокойнее. Работа отнимает очень много времени: с восьми утра до семи часов вечера, некогда стихи писать. В декабре он бросает работу и отдается весь стихам, пишет целыми днями. В январе печатаются его стихи в газете «Новь», журналах «Парус», «Заря» и других.

В конце декабря у меня родился сын. Есенину пришлось много канителиться со мной (жили мы только вдвоем). Нужно было меня отправить в больницу, заботиться о квартире. Когда я вернулась домой, у него был образцовый порядок: везде вымыто, печи истоплены, и даже обед готов и куплено пирожное, ждал. На ребенка смотрел с любопытством, все твердил: «Вот я и отец». Потом скоро привык, полюбил его, качал, убаюкивая, пел над ним песни. Заставлял меня, укачивая, петь: «Ты пой ему больше песен».

А. Изряднова

Я познакомился с Есениным зимой 1915 года в Московском народом университете им. Шанявского.

Университет Шанявского был для того времени едва ли не самым передовым учебным заведением страны.

Широкая программа преподавания, лучшие профессорские силы, свободный доступ — все это привлекало сюда жаждущих знания со всех концов России.

И кого только не было в пестрой толпе, наполнявшей университетские аудитории и коридоры: нарядная дама, поклонница модного Юлия Айхенвальда, читавшего историю русской литературы XIX века, и деревенский парень в поддевке, скромно одетые курсистки, стройные горцы, латыши, украинцы, сибиряки. Бывали тут два бу-

рята с кирпичным румянцем узкоглазых плоских лиц. Появлялся длинноволосый человек в белом балахоне, с босыми ногами, красными от ходьбы по снегу.

На одной из вечерних лекций я очутился рядом с миловидным пареньком в сером костюме. Он весь светился юностью, светились его синие глаза на свежем лице с девически-нежной кожей, светились пышные волосы, золотистыми завитками спускавшиеся на лоб.

Лекция кончилась. Не помню, кто из нас заговорил первый, но только через минуту мы разговаривали, как старые знакомые.

Юноша держался скромно и просто. Доверчивая улыбка усиливала привлекательность его лица.

Он рассказал, что работает корректором в издательстве Сытина, пишет стихи и печатается в журналах для детей. В доказательство он раскрыл пахнущий свежей краской номер журнала. Стихи мне понравились. Были в них какие-то необычные изгибы и повороты поэтической фразы. Под стихами стояла подпись: «Сергей Есенин».

Вокруг нас, двигаясь к выходу, шумела публика. Мы тоже вышли из аудитории и продолжали разговор в коридоре.

Есенину было лет девятнадцать с чем-то, он был моложе меня только года на полтора, но казался мне почти мальчиком...

Из шанявцев-литераторов Есенин, по его словам, никого не знал.

— Познакомился здесь только с поэтом Николаем Колоколовым,— говорил он,— бываю у него на квартире. Сейчас он — мой лучший друг.

Когда Есенин назвал фамилию Колоколова, у меня мелькнула мысль, не тот ли это Николай Колоколов, вместе с которым два года назад мы были исключены из Владимирской духовной семинарии за забастовку?

Действительно, это был он, в чем я убедился, отправившись на другой день по адресу, который дал мне Есенин.

Когда нас уволили из семинарии, Колоколову было шестнадцать лет. За полудетский облик товарищи назвали его Колокольчиком. За два года он почти не изменился и даже не вырос,— по крайней мере, семинарская тужурка с выцветшим голубым кантом была ему еще впору. По-прежнему задорно торчал над его лбом клок белокурых волос. Прежними оставались в нем и холодноватые голубые глаза, которым противоречил горячий характер.

Маленькая, узкая комнатка, которую занимал Колоколов, была завалена дешевыми журналами, рукописями, полосками бумаги.

— Вот поступил учиться в университет Шанявского,— весело рассказывал он,— только все некогда на лекции ходить. Много пишу.

И начал показывать номера журналов со своими стихами, рассказами, литературными обозрениями, рецензиями:

— Берут все и даже деньги платят!..

Пришел раскрасневшийся от холода Есенин, разделся и повесил пальто на гвоздик. Было видно, что здесь он чувствует себя своим человеком.

Перед этим Колоколов получил гонорар и решил по случаю встречи устроить маленький пир. На столе красовались разные вкусные вещи, лежали хорошие папиросы.

За окном глухо гудела и возилась огромная многолюдная Москва, а у нас по-домашнему мурлыкал самовар, располагая к дружеским разговорам. Колоколов и я вспомнили Владимир, семинарию, товарищей. Есенин сказал:

— А знаете, ведь и я — семинарист.

До приезда в Москву из Рязанской губернии он тоже учился в семинарии, только не в духовной, а в учительской. И говорил он по-рязански мягко, певуче.

Перелистывая книжку «Журнала для всех», Есенин встретил в ней несколько стихотворений Александра Ширяевца,— стихи были яркие, удалые. В них говорилось о катанье на коньках, на санках, о румяных щеках и сахарных сугробах. Есенин загорелся восхищением.

— Какие стихи! — горячо заговорил он.— Люблю я Ширяевца! Такой он русский, деревенский!

Оказалось, что Есенин печатается не только в детском «Мирке» и «Добром утре». Он писал лирические стихи, пробовал себя в прозе и, по примеру Колоколова, тоже печатался в мелких изданиях.

Говорили о журналах, редакторах и редакторских требованиях. Самой жгучей темой тогдашней журнальной литературы была война с Германией. Ни один журнал не обходился без военных стихов, рассказов, очерков. Не могли остаться в стороне от военной темы и мои приятели.

Наутро Колоколов накупил в соседнем киоске свежих газет и журналов. В одном еженедельнике или двух-

недельнике мы нашли статью Есенина о горе обездоленных войной русских женщин, о Ярославнах, тоскующих по своим милым, ушедшим на фронт. Помнится, статья, построенная на выдержках из писем, так и называлась: «Ярославны». Кроме нее в номере были есенинские стихи «Грянул гром, чашка неба расколота...», впоследствии вошедшие в поэму «Русь», тоже проникнутую сочувствием к солдатским матерям, женам и невестам.

Искренние и сердечные строки молодого поэта выгодно отличались от ура-патриотических стихов многих именитых авторов. Органически, кровно Есенин был связан с тем миром, из которого он вышел, с полевым привольем, с деревней. И живя в большом городе, впитывая его культуру, Есенин оставался певцом этого родного ему мира. Он писал о сенокосах, цветистых гулянках, рекрутах с гармошками. Говорил:

— Напишу книжку стихов под названием «Гармоника». В ней будут отделы: «Тальянка», «Ливенка», «Черепашка», «Венка».

Как-то среди разговора о стихах Есенин сказал:

— Я теперь окончательно решил, что буду писать только о деревенской Руси.

И спросил меня:

— А ты как?

Мои тогдашние стихи тоже были о деревне, о родине. Стихи Есенину были близки. Нас роднила любовь к народному творчеству, к природе, к меткому и образному деревенскому языку.

Комната Колоколова на некоторое время стала моим пристанищем. Приходил Есенин. Обсуждались литературные новинки, читались стихи, закипали споры. Мои приятели относились друг к другу критически, они придирчиво выискивали один у другого неудачные строки, неточные слова, чужие интонации. Оба горячились, наскакивали друг на друга, как два молодые петуха, готовые подраться.

По-прежнему встречал я Есенина и в университете, а иногда мы с ним бродили по улице. С просторной Миусской площади, где находился наш университет, к Тверской вели тихие улицы и переулки с галками на седых деревьях за заборами и с ярлычками о сдаче комнат в окнах домов. Было приятно шагать по нешироким тротуарам, дышать зимним воздухом и разговаривать.

Чуть ли не в самом начале нашего знакомства Есенин сказал мне о своем намерении переселиться в Петроград.

Мы шли по Тверской, мимо нас мчались лихачи, проносились, отсвечивая черным лаком, редкие автомобили. Есенин говорил:

— Весной уеду в Петроград. Это решено.

Ему казалось, что там, в центре литературной жизни, среди борьбы различных течений, легче выдвинуться молодому писателю. Звал с собой и меня:

— Поедем? Вдвоем в незнакомом городе легче, веселее. А денег достанем, заработаем...

Он словно предчувствовал свой будущий успех. Было жаль расставаться с этим славным юношей, с которым у нас завязались такие хорошие отношения. Но Петроград нисколько не манил меня,— и я промолчал. Есенин же, должно быть, принял мое молчание за согласие и стал всерьез считать меня товарищем предстоящего путешествия за славой и признанием.

Запомнилось, как в другой раз, сойдясь в университете, мы с Есениным пошли в буфетную комнату, где всегда было много народу. Помешивая ложечкой чай, Есенин говорил кому-то из подсевших к нам знакомых:

— Достану к весне денег и поеду в Петроград. Возьму с собой Семеновского...

Здесь, в буфетной комнате, я читал Есенину свою поэму.

Была она не лучшим моим творением, но я гордился тем, что ее перепечатала из «Старого владимирца» какая-то другая провинциальная газета. Есенину поэма, должно быть, тоже нравилась, по крайней мере при удачных строках он издавал одобрительные восклицания и его глаза сияли.

К этому времени Есенин знал, кажется, всех литераторов-шанявцев. То были люди разных возрастов, вкусов, взглядов.

Самым авторитетным среди них считался автор социальных поэм Иван Филипченко, человек в пенсне, с тихим голосом и веским словом. Молодой брюнет с живыми, улыбчивыми глазами на матовом тонком лице, Юрий Якубовский был художником и поэтом. Писали стихи: сибиряк Янчевский и приехавший из Баку Федор Николаев, сын крестьянина с Урала Василий Наседкин и дитя богемы, голубоглазая, с желтыми локонами, падавшими из-под бархатного берета, Нелли Яхонтова.

Среди этой компании Есенин сразу получил признание. Даже строгий к поэтам непролетарского направле-

ния Филипченко, пренебрежительно говоривший о них: «Мух ловят»,— даже он, прочитав за столиком буфетной комнаты свежие и простые стихи Есенина, отнесся к ним с заметным одобрением.

Обаяние, исходящее от Есенина, привлекало к нему самых различных людей. Где бы ни появлялся этот симпатичный, одаренный юноша, всюду он вызывал у окружающих внимание и интерес к себе. За его отрочески нежной наружностью чувствовался пылкий, волевой характер, угадывалось большое душевное богатство.

Жил Есенин у дальних родственников.

Однажды вечером мы с Колоколовым зашли за ним, чтобы куда-то вместе пойти.

Понизив голос и опасливо поглядывая на дверь, которая вела в хозяйскую половину, Есенин говорил, что давно уехал бы отсюда, но хозяева заняли у него крупную сумму денег и не отдают.

— Вот и живу тут!..

Втроем мы ходили фотографироваться. По дороге Есенин оживленно говорил:

— Нам надо издать коллективный сборник стихов. Выпустим его с нашими портретами и биографиями. Я берусь это устроить.

Снялись мы пока на общей карточке, отложив фотографирование для задуманного сборника на будущее.

Сборники писателей из народа с портретами и биографиями авторов были тогда в ходу. Издавали их сами авторы в складчину. Наиболее крупным объединением писателей из народа был литературно-музыкальный кружок имени Сурикова. Выяснилось, что Есенин хорошо знаком с суриковцами.

Он повел меня к ним и познакомил с председателем кружка поэтом С. Кошкаровым, дородным мужчиной в очках с золотой оправой.

Был солнечный мартовский день — и мы от Кошкарова пошли к жившему в Замоскворечье гусляру-суриковцу Ф. А. Кислову.

— Хороший старик,— говорил по пути Есенин.— Я у него бывал. Ласковый такой!..

Дул влажный, совсем весенний ветер. По-весеннему гулко гремели и звонили трамваи.

На извозчичьих стоянках стаи голубей клевали вытаявший навоз. Разомлевшие от горячего солнца извозчики в толсто наверченных длиннополых кафтанах, сидя на облучках санок, лениво переговаривались, а их взлохма-

ченные лошадки дремали над подвязанными к мордам торбами с овсом.

Есенин разрумянился от ходьбы, от весеннего воздуха. Расстегнув верхние пуговицы зимнего пальто и сдвинув на затылок круглую шапку с плисовым верхом, он щурился от солнца, от ослепительно блестевшего снега с синими тенями и что-то напевал.

На крыльце одноэтажного дома мы позвонили. Нас встретил седобородый старичок в длинном сюртуке. Он весь лучился добротой, радушием. Увидев Есенина, обрадовался:

— Сережа, милости просим!..

Раздевшись в прихожей, мы попали в небольшой зал. Солнце пробивалось сквозь кисейные занавески и листву комнатных цветов, клало на стены и крашеный пол золотые пятна. От рисунчатых изразцов по-зимнему натопленной печи веяло жаром. Гусли были большие, стояли на черной лакированной подставке. Музыкант уселся на табуретку, старчески негнувшимися пальцами прикоснулся к зазвеневшим струнам, взял аккорд и слегка дребезжащим голосом запел:

Среди долины ровныя
На гладкой высоте...

Песни, которые исполнялись Ф. А. Кисловым, Суриковский кружок издал отдельной книжечкой с портретом старого гусляра на обложке.

Добрый старик дал нам по книжечке на память.

Перебирая струны, он предложил Есенину:

— Хочешь, Сережа, научу тебя играть на гуслях?

Были в репертуаре гусляра и старинные русские песни, и плач Иосифа Прекрасного, и псалом царя Давида, переложенный в стихи Димитрием Ростовским. Была в книжечке и песня о гуслярах, написанная, видимо, кем-то из поэтов-суриковцев:

Гусли-самогудочки звонко-голосистые,
Спойте-ка мне песенку, что былой порой
Струны ваши тонкие, звуки ваши чистые
Разносили по полю, по земле родной...

Пока мы слушали музыку, в соседней комнате, где блестели серебряные оклады божницы, румяная старушка, жена гусляра, ставила на стол чайную посуду, тарелки с нарезанным пышным и румяным пирогом...

Простившись с хлебосольными хозяевами, мы вышли на улицу и вскочили на подножку проходящего трамвая.

В почти пустом вагоне Есенин встретил знакомого, тоже, кажется, суриковца — везло нам в этот день на встречи с ними. Это был юноша рабочего вида, поэт Устинов. Сидя напротив нас, он доверительно рассказывал Есенину о своих делах. Напечатал первую книжку стихов, и тут же за нецензурность она была конфискована. Удалось спасти только несколько экземпляров.

Есенин посочувствовал поэту. А в вагоне так пахло хмельным воздухом весны, что и сам Устинов не мог долго печалиться о конфискованной книжке. С улыбкой махнул рукой и пошел к выходу.

Он сошел, а мы поехали на Арбат. Пустой вагон мотался и гремел, за полуоттаявшими окнами проплывали здания, вывески, фонари, прохожие.

Мы решили навестить Юрия Якубовского. Жил он вместе с молодой женой Марианной и недавно родившейся дочкой.

В студенческой комнате Якубовских было много развешанных по стенам рисунков работы хозяина, занимавшегося живописью, и совсем мало мебели. Все же кое-как уселись. Марианна видела Есенина впервые и захотела познакомиться с его стихами. Есенин начал читать. И оттого ли, что в его сердце все еще звенела весенняя радость, или от сочувственного внимания слушателей, читал он охотно и много. Его не приходилось упрашивать. Прочитав одно стихотворение, Есенин тут же переходил к другому.

— Он пел, как птица,— говорил потом Якубовский, вспоминая наше посещение.

Ходили мы на творческие собрания сотрудников журнала «Млечный Путь». Этот маленький литературно-художественный журнал, издававшийся поэтом-приказчиком А. М. Чернышевым, стал для многих начинающих авторов путем в большую литературу.

Алексей Михайлович Чернышев был замечательным человеком. Весь свой заработок он тратил на журнал. Сам тоже писал стихи. Его брат, художник Николай Михайлович, украшал журнал рисунками и был одним из виднейших знатоков фрески.

Сотрудники журнала получали корреспондентские билеты с русским и французским текстом.

Печатались в журнале молодые безымянные писатели. Среди них Есенин был едва ли не самым юным, и все

собиравшиеся в редакции «Млечного Пути» относились к нему особенно любовно и ласково.

Сидя за большим столом, поэты и беллетристы читали свои произведения. Читал и Есенин:

Выткался на озере алый свет зари.
На бору со звонами плачут глухари.
Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.
Только мне не плачется — на душе светло.

Светла была душа поэта. Верилось, что ни одно облачко не омрачает ее.

Подчас Есенин казался проказливым мальчишкой. Беспричинное веселье так и брызгало из него. Он дурачился, делал вид, что хочет кончиком галстука утереть нос, сочинял озорные частушки.

То ли в шутку, то ли всерьез ухаживал за некрасивой поэтессой, на собраниях садился с ней рядом, провожал ее, занимал разговором. Девушка охотно принимала ухаживания Есенина и, может быть, уже записала его в свои поклонники.

Но однажды мы вчетвером — Есенин, Колоколов, я и наша поэтесса — сидели в гостях у поэта Ивана Коробова. Хозяин зачем-то вышел, оставив в комнате нас одних. Мы знали, что наша спутница считает себя певицей, и кто-то из нас попросил ее спеть. Девушка запела. Слушать ее было невозможно. Голос у певицы был носовой, слух отсутствовал.

Мои приятели, прячась за стоявший на столе самовар и закрывая лицо руками, давились от смеха.

Я боялся, что их неуместная веселость бросится певице в глаза. Но, увлеченная пением, она ничего не замечала — и романс следовал за романсом.

Через несколько дней девушка пригласила поэтов «Млечного Пути» к себе.

— Завтра у меня день рожденья, приходите!

Пошли Есенин, Колоколов, Николаев и я.

Сидели за празднично убранным столом. Старшая сестра поэтессы познакомилась с нами и скромно ушла в соседнюю комнату. Бутылка легкого вина повысила наше настроение. Виновница торжества светилась радостным оживлением, мило улыбалась и обносила гостей сладким пирогом. С ней произошла волшебная перемена. Куда девалась ее некрасивость! Она принарядилась, казалась женственной, похорошевшей.

Футурист-одиночка Федор Николаев, носивший черные пышные локоны и бархатную блузу с кружевным воротником, не спускал с нее глаз. Уроженец Кавказа, он был человек темпераментный и считал себя неотразимым покорителем женских сердец. Подсев к девушке, Николаев старался завладеть ее вниманием. Я видел, что Есенину это не нравится.

Когда поэтесса вышла на минуту в комнату сестры, он негодующе крикнул Николаеву:

— Ты чего к ней привязался?

— А тебе что? — сердито ответил тот.

Произошла быстрая, энергичная перебранка. Закончилась она тем, что Есенин запальчиво бросил сопернику:

— Вызываю тебя на дуэль!

— Идет, — ответил футурист.

Драться решили на кулаках.

Вошла хозяйка. Все замолчали. Посидев еще немного, мы вышли на тихую заснеженную улицу. Шли молча. Зашли в какой-то двор с кучами сгребенного снега, смутно белевшими в ночном сумраке.

Враги сбросили с плеч пальто, засучили рукава и приготовилась к поединку. Колоколову и мне досталась роль секундантов.

Дуэлянты сошлись. Казалось, вот-вот они схватятся. Но то ли снежный воздух улицы охладил их пыл, то ли подействовали наши уговоры, только дело кончилось примирением.

После этой несостоявшейся драки я понял, что ласково улыбавшийся рязанский паренек умеет и постоять за себя.

Д. Семеновский

Из Москвы Сергей часто приезжал домой.

Дома он погружался в свои книги и ничего не хотел знать. Мать и добром и ссорами просила его вникать в хозяйство, но из этого ничего не выходило.

Когда Сергей, одевшись в свой хороший, хоть и единственный, костюм, отправлялся к Поповым, мать не отрывая глаз смотрела в окно до тех пор, пока Сергей скрывался в дверях дома Поповых. Она была довольна его внешностью и каждый раз любовалась им. Много девушек заглядывалось на наш небольшой уютный дом.

— Если ты женишься в Москве и без нашего благословения, не показывайся со своей женой в наш дом, я ее ни за что не приму,— наставляла мать.— Задумаешь жениться, с отцом посоветуйся, он тебе зла не пожелает и зря перечить не будет...

Спал Сергей в амбаре. Ключ от него он носил с собой всегда. Потом и я стала спать в амбаре.

Один раз я долго играла с ребятами и поздно пошла спать. Сергея не оказалось в амбаре: он ушел к Поповым. Ночь была чудесная, лунная, я села у амбара и стала ждать. Вишни и высокие плети картошки были серебристо-голубого цвета. Мне было жутко одной вдалеке от жилья, но небо с миллионами звезд было так прекрасно, что мне на всю жизнь запомнилась эта ночь. Наконец заскрипела калитка.

— Ты давно здесь? — спросил Сергей.

Потом он сел на мое место, и я заснула под насвистывание какой-то нежной песенки.

Я любила Сергея. С ним у нас дома было веселее, сам он был красивый, нарядный. Но, мне казалось, он меня не любил. Сестру Шуру любили все. Когда ей было три-четыре года, Сергей с удовольствием носил ее к Поповым и там долго пропадал с ней.

Он плел ей костюмы из цветов (он умел из цветов с длинными стеблями делать платья и разных фасонов шляпы) и приносил ее домой всю в цветах. Я охотно бежала смотреть, как играют у Поповых в крокет, но, стоило появиться Сергею,— он немедленно прогонял меня.

— Я не пойду домой,— заявляла я.

— Посмотри, на кого ты похожа, сейчас же иди домой,— тихо говорил он.

Иногда, жалея его, я уходила. Я понимала: ему стыдно, что у него такая сестра. Одевала нас мать в одинаковые платья с Шурой. Но моя беда в том, что платья эти часто висели на мне лохмотьями, а Шура всегда была опрятна и нарядна.

Кусты акаций каймою облегали невысокий старинный дом со створчатыми ставнями. Направо — церковь, белая и стройная, как невеста, налево — дом дьякона, дальше — дьячка. Большие сады позади этих домов как бы сплелись между собою и, полные разных яблок и ягод, были соблазнительно хороши. В старинном доме с акациями

жил наш священник, отец Иван. Невысокого роста, с крупными чертами лица, с умными черными глазами, он так хорошо умел ладить с людьми, что не было во всей округе человека, который мог что-нибудь сказать плохое об отце Иване.

Больше пятидесяти лет отец Иван служил в нашей церкви. Он приехал к нам совсем молодым с маленькой дочерью. Несмотря на вдовство, мужики никогда не могли упрекнуть его в волокитстве за бабами. Правда, случалось, что иногда задерживалась обедня из-за того, что поп наш еще из гостей не приехал, но мужики понимали и не взыскивали с него.

Семья отца Ивана состояла из двух человек: дочери Капитолины Ивановны, девицы, и сына умершей сестры Клавдия. В доме отца Ивана всегда было еще много людей, которые ввиду долголетней службы у него считались тоже вроде своих.

Молоденькая девушка Настя, исполнявшая обязанности горничной, из-за бедности родителей выросшая в доме отца Ивана, хромая Марфуша-экономка, Тимоша Данилин (сын нищей вдовы), при содействии отца Ивана ставший студентом Московского университета, кухарка и работник.

Утонувший в зелени дом был очень удобен. Он состоял из трех частей. Первой частью была горница. Вторая часть называлась «сени» — это самое веселое место в доме, здесь зимой и летом до утра играли в лото, в карты, играли на гармонии и гитаре. Здесь рассказывали были и небылицы, здесь спевались певчие — словом, вся жизнь протекала в сенях.

Сергей был почти ежедневным посетителем Поповых сеней, дома он только спал и работал, весь свой досуг проводил у Поповых. В саду у отца Ивана был еще другой дом, и Сергей иногда ночевал там вместе с загулявшейся до свету молодежью, которая, как пчелы к улью, слеталась к отцу Ивану со всех концов.

Просторный дом отца Ивана всегда был полон гостей, особенно в летнюю пору.

Каждое лето приезжала к нему одна из его родственниц — учительница, вдова Вера Васильевна Сардановская. У Веры Васильевны было трое детей — сын и две дочери, и они по целому лету жили у Поповых. Сергей был в близких отношениях с этой семьей, и часто, бывало, в саду у Поповых можно было видеть его с Анютой Сардановской (младшей дочерью Веры Васильевны).

Мать наша через Марфушу знала о каждом шаге Сергея у Поповых.

— Ох, кума,— говорила Марфуша,— у нашей Анюты с Сережей роман. Уж она такая проказница, ведь скрывать ничего не любит. «Пойду,— говорит,— замуж за Сережку», и все это у нее так хорошо выходит.

Потом, спустя несколько лет, Марфуша говорила матери:

— Потеха, кума! Увиделись они, Сережа говорит ей: «Ты что же замуж вышла? А говорила, что не пойдешь, пока я не женюсь». Умора, целый вечер они трунили друг над другом.

Однажды к именинам тети Капы готовили домашний спектакль. Сергей должен был играть возлюбленного молоденькой учительницы. Но сам он ни о чем дома не говорил, а Марфуша, как всегда, доложила матери.

— Ты приди, кума, поглядеть, уж есть хорошо, есть хорошо у них получается, оба они молодые, красивые. Сначала все целоваться стеснялись, а потом понравилось.

Я заранее стала приставать к матери, чтобы она и меня взяла с собой посмотреть представление.

Настал день именин. Санки, одни за другими, подъезжали к дому Поповых. Я сидела и смотрела в окно, как гости вылезали из санок. Вечером весь дом у Поповых засветился, и я очень боялась, что представление начнется без нас, а мать медлила, ей не хотелось, чтобы я шла с нею.

Наконец мать собралась идти. Мы пришли на кухню, где мать решила побыть до начала представления, чтобы не попасть на глаза Сергею. Когда началось представление, Марфуша повела нас в горницу.

В горнице было много народу, все сидели на стульях и смотрели в спальню тети Капы. В спальне горели две лампы, на стене были намалеваны деревья. Вдруг я увидела красивую девушку с длинными черными косами. Девушка играла в большой мяч и что-то пела. Я забыла обо всем, забыла, где я, и жадно смотрела на красивую девушку. Неожиданно мать потянула меня за руку, я оглянулась и увидела сердитого Сергея.

— Сейчас же уходите домой,— потребовал Сергей.

— Мы тебе что, мешаем? — спросила мать.

— Уходите сейчас же, иначе я уйду отсюда,— говорил Сергей.

Мы пошли домой. На крыльце встретилась Марфуша.

— Прогнал нас Сергей. Стесняется. Молодой,— сказала мать.

Много хороших дней в юности провел Сергей у Поповых. С годами он стал бывать у них реже. Но в каждый свой приезд в село он обязательно, как и в старое время, первым долгом направлялся к ним.

Однажды у нас шел разговор о колдунах. Разговор зашел потому, что бабы стали бояться ходить рано утром доить коров, так как около большой часовни каждое утро бегает колдун во всем белом.

— Это интересно,— сказал Сергей,— сегодня же всю ночь просижу у часовни, ну и намну бока, если кого поймаю.

— Что ты, в уме! — перепугалась мать.— Ты еще не пуганый? Рази можно связываться с нечистой силой. Избавь боже. Мне довелось видеть раз, и спаси господи еще встретить.

— Расскажи, где ты видела колдунов? — попросил Сергей.

— Видела,— начала мать.— Я видела вместе с бабами, тоже к коровам шли. Только спустились с горы, а она тут и есть, во всем белом скачет на нас. Мы оторопели, стоим, ни взад, ни вперед; глядим, с Мочалиной горы тоже бабы идут. Мы кричать, они к нам бегут, ну, мы осмелели, бросили ведры да за ней. Она от нас, а мы с шестами за ней, догнали ее до реки, а она там и скрылась в утреннем тумане.

Вечером Сергей пошел к часовне. Мать упросила его взять с собой большой колбасный нож, на всякий случай. На рассвете Сергей вернулся домой, бабы-коровницы разбудили его у часовни, так он и проспал всех колдунов.

Этим же летом случилась еще оказия. По селу прошел слух, что к кому-то летает огненный змей. Каждую ночь бабы видят его летящим над барским садом. Разговору по этому поводу было много. Перебрали всех молодых вдовых баб.

— Господи, и какие бесстрашные, принимают нечистую силу, и хоть бы что.

— А ты узнаешь, что это нечистая сила-то?

— Ну, знать-то, понятно, все знают, только ты вот что скажи, не скоро справишься с ней.

И бабы рассказывали:

— Вот к Авдотье-то летал почти целый год. И если бы тетка Агафья не увидела, пропала бы совсем. Она встала на двор, только собралась выходить из избы-то, как вдруг все окна осветились; она к окну и видит, что у них в проулке он весь искрами рассыпался и идет прямо к Авдотье в избу, ну ни дать ни взять Микитка ее.

Отец Нюшки Меркушкиной в это время караулил барский сад. На следующий день Нюшка позвала меня за яблоками. Был уже глубокий вечер, когда мы направились с ней к барскому саду. Высокий забор не служил нам преградой. Привыкшие ко всяким приключениям, мы с ней не уступали в ловкости мальчишкам. Спустившись в сад, мы оказались в другом царстве. Высоко-высоко горели звезды. Яблони, поникшие под тяжестью плодов, казалось, дремали, невдалеке пылал костер. Семка, брат Нюшки, и его товарищ пекли картошку, отец в шалаше спал. «Вон яблоки, выбирайте из того вороха»,— указал Семка. Набрав яблок, мы уселись около костра и за разговорами не заметили, сколько прошло времни. «Петухи-то кукарекали, ай нет?» — спросил Семкин товарищ. «Рано еще»,— сказал Семка, и они продолжали спокойно лежать у костра на рваной дерюге. Вдруг петухи запели. Семкин товарищ поднялся, надел рукавицы и вытащил из костра горевшую головню. Повертев ею над головой, он закинул ее высоко в небо. Головня взвилась, падая, она ударялась о верхушки яблонь и рассыпалась искрами.

— Видела? — обратилась ко мне Нюшка.— Вот тебе змей огненный.

— А вы — ни гугу,— погрозил кулаком Семка,— мы хоть теперь уснем, а то бабы как чуть, так в сад лезут.

Дома я рассказала, как видала огненного змея.

Сергей хохотал до слез:

— Вот молодцы, додумались, и караулить не надо.

А мать ворчала:

— Паршивые, чего придумали, людей пугать понапрасну.

На троицын день мать разбудила меня к обедне. Нарядившись и собрав букет цветов, я пошла в церковь.

В церкви я стояла недолго. За время обедни я вместе с моими сверстницами лазила в барский сад за цветами. Потом мы долго гуляли, и, когда кончилась обедня, я со всеми вместе пошла домой.

Дома у нас все было убрано березой. В открытые окна вместе с весной лился праздничный звон с нашей колокольни.

Мать ждала конца обедни, чтобы собрать завтрак.

Самовар уже кипел давно.

Весна была чудесная, день был солнечный, и праздник был в избе и на улице. В окно я увидела, что к нам прямо из церкви идет Хаичка*. Мать не поверила, когда я сказала:

— Хаичка к нам идет.

— Это она к Ерофеевне. К нам ей незачем,— проговорила мать.

Но Хаичка пришла к нам.

— Здравствуйте, с праздником вас,— сладко заговорила Хаичка.

— Поди, здорово,— отвечала мать, с любопытством глядя на Хаичку.

— Уж есть хорошо вы живете-то,— запела Хаичка,— и изба хорошая, и храм божий рядом.

— Ты проходи, садись,— приглашала мать.— Да, у нас хорошо,— ответила она на хвалу.

— А где же, Таня, у тебя еще-то твои? — усаживаясь, спросила Хаичка.

— Мы все тут,— улыбнулась мать, оглядывая нас.— Сергей спит в амбаре.

— Хорошо, хорошо вы живете. Сынка-то женить не думаешь?

— Да нет, рано еще, не думали.

— Ну где же рано, ровесники его давно поженились, пора и ему.

— Не знаю, мы волю с него не снимаем, как хочет сам.

— А вы не давайте зря волю-то, женить пора. Вот Дарье-то желательно Соню к тебе отдать,— прибавила она другим тоном,— и жени! Девушка сама знаешь какая. Что красавица, что умница. Другой такой во всей округе нет.

— Девка хорошая, что говорить. Я поговорю с ним,— сказала мать.

— Ты поговори, а потом мне скажешь.

— Ладно, поговорю. Давай чай пить с нами.

Хаичка отказалась от чая.

После ее ухода мать послала меня будить Сергея. Сергей уже проснулся. Дверь амбара была открыта, и

* Прозвище бабы, которая жила у нас в селе.

он, задрав ноги на кровати, пел. «Уж и жених»,— мелькнуло у меня в голове.

— Иди чай пить,— сказала я.

— Как? Обедня отошла уже? — спросил он.

— Да́вно,— ответила я и побежала домой.

За столом мать сказала Сергею о посещении Хаички.

— Я не буду жениться,— сказал Сергей.

Когда я пошла на улицу, мать остановила меня:

— Ты смотри, ничего никому не говори.

Хаичке мать ответила:

— Отец не хочет женить сейчас, еще, говорит, молод. Годок подождать надо.

Е. Есенина.

Впервые я встретился с Есениным в 1915 году в редакции московского журнала «Млечный Путь». Это был ежемесячный журнал, где охотно печатали молодых. Больше всего там было стихов. Отнес туда три своих стихотворения и я, тогда студент Московского университета. Стихи были напечатаны, и я был включен в список постоянных сотрудников.

Редактором и издателем «Млечного Пути», первый номер которого вышел в январе 1914 года, был Алексей Михайлович Чернышев. Самоучка, не получивший в школьные годы даже начального образования, он рано начал писать стихи. Самостоятельно занимаясь своим образованием, он вступил в кружок «Писатели из народа», а затем стал выпускать свой журнал, вкладывая в него бескорыстно порядочные средства и все свое свободное время.

В 1915 году в литературном отделе журнала сотрудничали: И. Бурмистров-Поволжский, Спиридон Дрожжин, Николай Колоколов, Иван Коробов, Надежда Павлович, Дм. Семеновский, Евгений Сокол, Игорь Северянин, П. Терский, Илья Толстой, Федор Шкулев. Еще в 1914 году с рассказом «На вахте» в журнале выступил А. С. Новиков-Прибой, в 1915 году Н. Ляшко опубликовал в «Млечном Пути» свои короткие рассказы «Казнь», «На дороге», «Степь и горы». Свое доброе слово журнал сказал о молодом Маяковском.

В начале 1915 года в «Млечном Пути» появляется стихотворение Есенина «Кручина», а затем — «Выткался на озере алый свет зари».

Молодежь, группировавшаяся вокруг журнала, весьма охотно посещала литературные «субботы» «Млечного Пути». Они проходили обычно живо и интересно.

За столом писатели, поэты, художники, скульпторы, артисты. Все, кто хотел, могли прийти на эти «субботы», и всех ждал радушный прием. Читали стихи и рассказы, обменивались мнениями, спорили, беседовали о новых книгах, журналах, картинах.

На одной из «суббот» меня познакомили с очень симпатичным, простым и застенчивым, золотоволосым, в синей косоворотке пареньком.

— Есенин,— сказали мне.

Я уже читал его стихи, напечатанные в «Млечном Пути», и они мне понравились.

В этот вечер Есенин принес новые стихи. Читал тихо, просто, задушевно. Кончив читать, он выжидающе посматривал. Все молчали.

— Это будет большой, настоящий поэт! — воскликнул я.— Больше всех нас, здесь присутствующих.

Есенин благодарно взглянул на меня.

Однажды, поздно вечером, мы шли втроем — я, поэт Николай Колоколов и Есенин — после очередной «субботы». Есенин возбужденно говорил:

— Нет! Здесь, в Москве, ничего не добьешься. Надо ехать в Петроград. Ну что! Все письма со стихами возвращают. Ничего не печатают. Нет, надо самому... Под лежачий камень вода не течет. Славу надо брать за рога.

Мы шли из Садовников, где помещалась редакция, по Пятницкой. Остановились у типографии Сытина. В 1913—1914 годах Есенин работал здесь помощником корректора. Говорил один Сергей:

— Поеду в Петроград, пойду к Блоку. Он меня поймет...

Мы расстались. А на следующий день он уехал. И все вышло так, как он говорил. Славу он завоевал... Блок, а затем Городецкий оценили его стихи с первой встречи, помогли «встать на ноги». Уже в апреле 1915 года стихи Есенина появились в столичных журналах. За первыми публикациями последовали другие, а затем и отдельный сборник «Радуница».

Мне трудно вспомнить сейчас, при каких обстоятельствах однажды в моих руках оказался «Новый журнал для всех», издаваемый в Петрограде, где было стихотворение Есенина «Кручина», до этого напечатанное в «Млечном Пути».

Должен заметить, что в те годы я относился к «Новому журналу для всех» особенно ревностно. Еще в 1910 году, когда я, ученик реального училища далекого провинциального городка Уральска, напечатал в местной газете свои первые стихи, мне выписали «Новый журнал для всех». Я читал его запоем. Он очень много дал мне для общего развития и литературной учебы. Я мечтал, чтобы мои стихи напечатали в этом журнале. Как-то я набрался смелости и послал их. Ответ пришел скоро. В нем был подробный отзыв о моих стихах и указаны недостатки. Шло время. Я приехал в Москву, поступил в университет, стал печататься в журналах и альманахах «Сполохи», «Огни», «Млечный Путь», «Жизнь для всех», «Ежемесячный журнал» и в других. Но по-прежнему не оставлял я свою мечту о «Новом журнале для всех», продолжая посылать туда свои стихи. Увы! Безрезультатно! Когда я увидел в этом журнале стихи Есенина, уже знакомые мне по «Млечному Пути», я сгоряча, ни о чем толком не подумав, заклеил в конверт несколько своих и чужих стихотворений, напечатанных в «Млечном Пути», и послал их в редакцию «Нового журнала для всех». При этом я написал, что это, очевидно, не помешает вторично опубликовать их в «Новом журнале для всех», так как напечатанные в нем недавно стихи Есенина тоже были первоначально опубликованы в «Млечном Пути». К сожалению, в тот момент я думал только о том, чтобы мои стихи попали наконец в дорогой моему сердцу журнал. И совсем упустил из виду, что вся эта история может подвести Есенина. В то время вторично печатать уже опубликованные стихи считалось неэтичным.

И действительно, мое письмо поставило Есенина в несколько стесненное положение перед редакцией «Нового журнала для всех», он был мной незаслуженно обижен.

Можно было бы не вспоминать об этом прискорбном для меня случае, если бы не одно важное обстоятельство.

Я уже забыл о злополучном своем письме, проводил летние каникулы в родном Уральске. Вдруг получаю письмо от редактора «Млечного Пути» А. М. Чернышева, поразившее меня, как гром. В это время, при активном содействии Чернышева, готовилась к изданию моя первая книга стихов — «Инок». Анонсы о ней уже появились в журналах и газетах.

Узнав о выходе моей книги, Есенин прислал Чернышеву письмо, в котором сообщал, что если Ливкин и

дальше, после своего неблаговидного поступка, будет оставаться в «Млечном Пути», то он печататься в журнале не будет и просит вычеркнуть его имя из списка сотрудников.

Еще более взволнованно и резко по поводу моей необдуманной выходки он говорил с Чернышевым при встреча в Москве. Правда, в конце разговора он немного отошел. Обо всем этом и сообщил мне Чернышев. «Есенин,— писал он,— очень усиленно убеждал меня не издавать в М. П. («Млечном Пути».— *Н. Л.)* Вашу книгу, но, когда натолкнулся на мое решительное противодействие, перестал меня убеждать, и в конце концов мы с ним договорились до того, что... если бы Вы первый написали ему и выяснили все это недоразумение, он с удовольствием пошел бы Вам навстречу по пути ликвидации этого неприятного инцидента. Я с своей стороны очень советовал бы Вам непосредственно списаться с ним, ведь Вам делить нечего...»

Надо ли говорить, что я немедленно написал письмо Есенину с извинениями и объяснениями. Неожиданно для себя я получил от Есенина товарищеское, дружески откровенное письмо. Оно и обрадовало, и успокоило, и взволновало меня. Оно открыло мне многое в Есенине, его характере, поступках, отношении к окружающим, взглядах на литературу. Из письма я узнал впервые, какой далеко небезоблачной была поначалу жизнь Есенина в Петрограде. Собственно, ради этого письма, бесконечно для меня дорогого, я и вспоминаю всю эту грустную для меня историю с «Новым журналом для всех». Письмо Есенина датировано: «12 августа 16 г.» «Сегодня я получил Ваше письмо... Мне даже смешным стало казаться, Ливкин, что между нами, два раза видящих друг друга, вышло какое-то недоразумение, которое почти целый год не успокаивает некоторых. В сущности-то ничего нет. Но зато есть осадок какой-то мальчишеской лжи, которая говорит, что вот-де Есенин попомнит Ливкину, от которой мне неприятно. Я только обиделся, не выяснив себе ничего, на вас за то, что вы меня и себя, но больше меня, поставили в неловкое положение. Я знал, что перепечатка стихов немного нечестность, но в то время я голодал, как, может быть никогда, мне приходилось питаться на 3—2 коп. Тогда, когда вдруг около меня поднялся шум, когда мережковские, гиппиусы и Философов открыли мне свое чистилище и начали трубить обо мне, разве я, ночующий в ночлежке, по вокзалам, не мог не перепечатать стихи...

Я был горд в своем скитании, то, что мне предлагали, отпихивал. Я имел право просто взять любого из них за горло и взять просто, сколько мне нужно, из их кошельков. Но я презирал их и с деньгами, и со всем, что в них есть, и считал поганым прикоснуться до них, поэтому решил перепечатать просто стихи старые, которые для них все равно были неизвестны.

Сейчас уже утвердившись во многом и многое осветив с другой стороны, что прежде казалось неясным, я с удовольствием протягиваю Вам руку примирения перед тем, чего между нами не было, а только казалось, и вообще между нами ничего не было бы, если бы мы поговорили лично... Вообще между нами ничего не было, говорю вам теперь я, кроме опутывающих сплетен. А сплетен и здесь хоть отбавляй и притом они незначительны. Ну, разве я могу в чем-нибудь помешать вам как поэту? Да я просто дрянь какая-то после этого был бы, которая не литературу любит, а потроха выворачивает...»

Казалось бы, после этого письма все встало на свое место. Но должен сказать откровенно, что я никогда не мог простить себе сам своего необдуманного поступка.

Н. Ливкин

Познакомился я с Есениным весной 1915 года. Но еще до того я знал о нем.

«Издательская работа подвигалась трудно,— пишет о суриковцах Деев-Хомяковский.— Есенина волновало это обстоятельство. После ряда совещаний мы написали теплые письма известному критику Л. М. Клейнборту, приложив рукописи Есенина, Ширяевца и ряда других товарищей». С Ширяевцем, заброшенным в одну из наших дальних окраин, я уже состоял в переписке. Об Есенине же я слышал в первый раз.

По совету С. Н. Кошкарова, у которого он жил, Есенин и сам переслал мне тетрадь своих стихов. Он писал мне, что родом он из деревни Рязанской губернии, что в Москве с 1912 года, работает в типографии Сытина; что начал он с частушек, затем перешел на стихи, которые печатал в 1914 году в журналах «Мирок» и «Проталинка». Позднее печатался в журнале «Млечный Путь». Когда возник «Друг народа» — двухнедельный журнал Суриковского кружка, С. Д. Фомин мне писал: «В редакционную комиссию избраны: «Кошкаров, Деев, Фомин, Есенин, Щуренков и др.». Наконец в январе 1915 года я полу-

чил и первый номер журнала со стихами Есенина «Узоры».

Первое представление о Есенине связалось у меня, таким образом, с суриковцами. И не об одном Есенине. О Клюеве существует мнение, что до «Сосен перезвон» он не печатался; его же стихи либо устно, либо в списках переходили из местности в местность. Однако это не так. Клюев получил крещение там же, где Есенин, только пораньше, и не в «Друге народа», а в «Доле бедняка». Я напомнил как-то об этом самому Клюеву. Он смотрел на меня так, точно я о нем открывал ему вещи, которых он сам не знал. Нет, это было так. Ширяевец, в свою очередь, начинает с того, что вступает в Суриковский кружок. В том же «Друге народа» помещены и его стихи.

Все это не удивительно. Но вот что удивительно: ни стихов Клюева, ни стихов Ширяевца тех лет не выделишь из всей груды виршей, которыми заполнялись все эти издания. И то же должно сказать о тетради, присланной мне Есениным. Ничто, почти ничто не отличало его от поэтов-самоучек, певцов-горемык. Чтобы дать представление о ней, привожу одно из них. Речь идет о девушках в светлицах, что вышивают ткани в годину уже начавшейся войны:

Нежный шелк выводит храброго героя,
Тот герой отважный — принц ее души.
Он лежит, сраженный в жаркой схватке боя,
И в узорах крови смяты камыши.

Кончены рисунки. Лампа догорает.
Девушка склонилась. Помутился взор.
Девушка тоскует. Девушка рыдает.
За окошком полночь чертит свой узор.

Траурные косы тучи разметали,
В пряди тонких локон впуталась луна.
В трепетном мерцанье, в белом покрывале
Девушка, как призрак, плачет у окна.

И другие стихи были не лучше, например «Пороша», «Пасхальный благовест», «С добрым утром!», «Молитва матери», «Сиротка», «Воробышки». Без сомнения, лучшее из них было «Сыплет черемуха снегом...», напечатанное позднее в «Журнале для всех» (1915, № 6), затем «Троицыно утро, утренний канон...». Что говорило о будущем Есенина в этих стихах — это местный колорит,

местные рязанские слова. Недаром этих стихотворений поэт не ввел впоследствии ни в один из своих сборников, насколько мне известно *.

— Лев Максимович? — обратился ко мне паренек, подходя со стороны калитки: совсем юный, в пиджаке, в серой рубахе, с галстуком, узкоплечий, желтоволосый. Запахом ржи так и пахнуло от волос, остриженных в кружок.

— Есенин,— сказал он своим рязанским говорком.

Я сидел в саду своего загородного дома в Лесном. Тихие сумерки уже заволакивали и скамейку, на которой я сидел, и калитку, в которую он вошел. Но в воздухе, сухом и легком, ничто еще не сдавалось, и зво́нок был крик диких птиц где-то в высоте.

— Вы обо мне писали в «Северных записках».

Синие глаза, в которых было больше блеска, чем тепла, заулыбались.

Я поднял на него глаза. Черты лица совсем девичьи. В то время как волосы его были цвета ржи, брови у него были темные. Он весь дышал здоровьем... Не успел он, однако, сесть, как откуда-то взялась моя собака, с звонким лаем кинувшись на него.

— Трезор! — прикрикнул я. Но это лишь раззадорило ее.

— Ничего,— сказал он, не тронувшись с места. Затем каким-то движением привлек собаку к себе и стал с ней на короткой ноге.

— Собака не укусит человека напрасно.

Он знал, видимо, секрет, как подойти к собаке. Более того, он знал и секрет, как расположить к себе человека. Через короткое время он уже сидел со мной на балконе, тихий сельский мальчик, и спрашивал:

— Круглый год здесь живете?

— И зимой, и летом.

— В городе-то душно уже.

Потом сочувственно:

— Житье здесь! Воздух легкий, цветочки распускаются.

Ему здесь все напоминало деревню.

— У нас теперь играют в орлянку, поют песни, бьются на кулачки.

---

* Стихи эти появились лишь в четвертом томе собрания сочинений, вышедшем уже после того, как были написаны мои «Встречи».

Во всем, что он говорил, было какое-то неясное молодое чувство, смутная надежда на что-то, сливавшаяся с молодым воздухом лета. Хотя он происходил из зажиточной (крестьянской) семьи, помощи от родных, видимо, у него не было. Приехал на средства кружка. Но что кружок мог ему дать? Очевидно, уверенности, что не уедет назад, у него не могло быть.

Он рассказывал мне об университете Шанявского, в котором учился уже полтора года, о суриковцах, о «Друге народа», о том, что он приехал в Петроград искать счастья в литературе.

— Кабы послал господь хорошего человека,— говорил он мне прощаясь.

Опять пришел: выходила ему какая-то работа, нужна была связь. И вот он рассчитывал тут на меня. Принес несколько брошюр, только что вышедших в Москве,— сборничков поэтов из народа, отчеты университета Шанявского и секции содействия устройству деревенских и фабричных театров, ряд анкет, заполненных писателями из народа. Принес и цикл своих стихов «Маковые побаски», затем «Русь», еще что-то.

— На память вам,— сказал он. Но мысль у него была другая.

Я предложил ему их самому прочесть. Читал он нараспев, не глядя на меня, как читают частушки, песни. Читал и сам прислушивался к ритму своих стихов. Стихи уже резко отличались от тех, которые я знал. Суриковцы, вообще говоря, грешили против непосредственности, исходя из образцов, данных Кольцовым, Никитиным, Суриковым. Есенин же здесь уже не был поэтом-самоучкой. Правда, кольцовское еще звучало в «Маковых побасках». «Ах развейтесь кудри, обсекись коса, // Без любви погинет девичья краса...» Это было еще под лубок. Однако в молодых таких стихах была травяная свежесть какая-то.

Я передал часть из них М. К. Иорданской, ведавшей беллетристическим отделом в «Современном мире», часть Я. Л. Сакеру, редактору «Северных записок». Сказал об Есенине и М. А. Славинскому, секретарю «Вестника Европы», мнение которого имело вес и значение в журнале. «Северные записки» взяли все стихи, «Современный мир» — одно. Это сразу окрылило его.

Затеяв работу о читателе из народа *— работу, опубликованную целиком уже в годы революции,— я разослал ряд анкет в культурно-просветительные организации, библиотеки, обслуживавшие фабрику и деревню, в кружки рабочей и крестьянской интеллигенции. Объектом моего внимания были по преимуществу Горький, Короленко, Лев Толстой, Гл. Успенский. Разумеется, я не мог не заинтересоваться, под каким углом зрения воспринимает этих авторов Есенин, и предложил ему изложить свои мысли на бумаге, что он и сделал отчасти у меня на глазах.

Он, без сомнения, уже тогда умел схватывать, обобщать то, что стояло в фокусе литературных интересов. Но читал он, в лучшем случае, беллетристов. И то, по-видимому, без системы. Так, Толстого он знал преимущественно по народным рассказам, Горького — по первым двум томам издания «Знания», Короленко — по таким вещам, как «Лес шумит», «Сон Макара», «В дурном обществе». Глеба Успенского знал «Власть земли», «Крестьянин и крестьянский труд». Еще хуже было то, что он не любил теорий, теоретических рассуждений.

— Люблю начитанных людей,— говаривал он, обозревая книжные богатства, накопленные на моих книжных полках.

А вслед за тем:

— Другого читаешь и думаешь: неужели в своем уме?

Он всем существом был против «умственности». Уже в силу этого моя просьба не могла быть ему по душе. Однако он то и дело углублялся в сад, лежа на земле вверх грудью то с томом Успенского, то с томом Короленко. За ним бежал Трезор, с которым он был уже в дружбе. Правда, пишущим я его не видел. Все же, однако, он мне принес наконец рукопись в десять — двенадцать страниц в четвертую долю листа.

Писал же он вот что.

О Горьком он отзывался как о писателе, которого не забудет народ. Но в то же время убеждения, проходившего через писания многих и многих из моих корреспондентов, что Горький человек свой, родной человек, здесь

* См.: Клейнборт Л. Русский читатель-рабочий. Ленинград, Изд. Губ. Проф. Совета, 1924.

не было и следа. В отзыве бросалась в глаза сдержанность. Так как знал он лишь произведения, относящиеся к первому периоду деятельности Горького, то писал он лишь об их героях — босяках. По его мнению, самый тип этот возможен был «лишь в городе, где нет простору человеческой воле». Посмотрите на народ, переселившийся в город, писал он. Разве не о разложении говорит все то, что описывает Горький? Зло и гибель именно там, где дыхание каменного города. Здесь нет зари, по его мнению. В деревне же это невозможно.

Из произведений Короленко Есенину пришлись по душе «За иконой» и «Река играет», прочитанные им, между прочим, по моему указанию. «Река играет» привела его в восторг. «Никто, кажется, не написал таких простых слов о мужике»,— писал он. Короленко стал ему близок «как психолог души народа», «как народный богоискатель».

В Толстом Есенину было ближе всего отношение к земле. То, что он звал жить в общении с природой. Что его особенно захватывало — это «превосходство земледельческой работы над другими», которое проповедовал Толстой, религиозный смысл этой работы. Ведь этим самым Толстой сводил счеты с городской культурой. И взгляд Толстого глубоко привлекал Есенина. Однако вместе с тем чувствовалось, что Толстой для него барин, что какое-то расхождение для него с писателем кардинально. Но оригинальнее всего он отозвался об Успенском. По самому воспроизведению деревни он выделял Успенского из группы разночинцев-народников. Как сын деревни, вынесший долю крестьянина на своих плечах, он утверждал, что подлинных крестьян у них нет, что это воображаемые крестьяне. В писаниях их есть фальшь. Вот у Успенского он не видел этой фальши. Особенно пришелся ему по вкусу образ Ивана Босых. Он даже утверждал, что Иван Босых — это он. Ведь он, Есенин, был бы полезнее в деревне. Ведь там его дело, к которому лежит его сердце. Здесь же он делает дело не свое. Иван Босых, отбившись от деревни, спился. Не отравит ли и его город своим смрадным дыханием!

Повторяю, все это было малограмотно, хаотично. Но живой смысл бил из каждого суждения рыжего рязанского паренька.

Л. Клейнборт

Когда мне было лет тринадцать, значит, в 1915 году, я уже хорошо знала Сергея Есенина. На станцию Дивово приезжали крестьяне соседних селений, в том числе из Константинова и Кузьминского. Провожали близких в Москву, в Рязань, встречали приехавших поездом. Заходили в чайную, где перед отправкой и прибытием пассажирских поездов всегда было шумно. Я постоянно находилась в чайной и слышала громкий разговор константиновских и кузьминских жителей. От них-то и узнала, что Есенина, приезжавшего из Москвы, иной раз встречал его дедушка, высокий старик с бородой *. Я видела, как он подъезжал на телеге к чайной, привязывал лошадь на коновязи и заходил к нам выпить чашку чаю. С прибытием московского поезда он появлялся уже с внуком, которого называл Сергеем, а тот его — дедушкой. Сергей нравился мне и сестрам своей красивой внешностью и добрым к нам отношением. Может быть, он замечал, как дядя Гриша, толстый, лысый, с длинными усами украинца, сердито ворчал на нас, да и его жена обычно была нами недовольна. Думаю, поэтому Есенин шутил с нами, старался развеселить.

Он приезжал к родным в Константиново на рождество и пасху, а дедушка встречал и провожал его. Однажды мы с подругой Настей Логиновой забежали в чайную и увидели Есенина с дедушкой. Они сидели за столом, Сергей что-то писал. Вдруг он сердито ударил кулаком по столу. Мы испугались и выбежали из чайной. Вслед за нами и он вышел на крыльцо, сказал: «Извините, девочки, я, вижу, напугал вас? Но пугать вас я совсем не хотел: писал, а у меня не получалось, вот и разозлился».

После Октябрьской революции я видела Сергея Есенина еще два или три раза в этой чайной. И дедушку его, и сестер, Катю и Шуру.

Не знаю, в каком году снесло бурей крышу с дома Галишникова. Но второй этаж сломали, и стала чайная одноэтажной. Неизвестно мне также, в какое время в этой бывшей чайной поселилась чья-то семья. Когда я теперь еду на поезде через Дивово, то смотрю в окно на знакомое мне с детских лет здание, где столько раз видела Сергея Есенина...

Л. Полуэктова

---

* Федор Андреевич Титов.

ПЕТРОГРАД

1915—1918

Есенин появился в Петрограде весной 1915 года. Он пришел ко мне с запиской Блока. И я и Блок увлекались тогда деревней. Я, кроме того, и панславизмом. В незадолго перед этим выпущенном «Первом альманахе русских и инославянских писателей» — «Велесе» уже были напечатаны стихи Клюева. Блок тогда еще высоко ценил Клюева. Факт появления Есенина был осуществлением долгожданного чуда, а вместе с Клюевым и Ширяевцем, который тоже около этого времени появился, Есенин дал возможность говорить уже о целой группе крестьянских поэтов.

Стихи он принес завязанными в деревенский платок. С первых же строк мне было ясно, какая радость пришла в русскую поэзию. Начался какой-то праздник песни. Мы целовались, и Сергунька опять читал стихи. Но не меньше, чем прочесть стихи, он торопился спеть рязанские «прибаски, канавушки и страдания»... Застенчивая, счастливая улыбка не сходила с его лица. Он был очарователен со своим звонким озорным голосом, с барашком вьющихся льняных волос,— которые он позже будет с таким остервенением заглаживать под цилиндр,— синеглазый. Таким я его нарисовал в первые же дни и повесил рядом с моим любимым тогда Аполлоном Пурталесским, а дальше над шкафом висел мной же нарисованный страшный портрет Клюева. Оба портрета пропали вместе с моим архивом, но портрет Есенина можно разглядеть на фотографии Мурашева.

Есенин поселился у меня и прожил некоторое время. Записками во все знакомые журналы я облегчил ему хождение по мытарствам.

Что я дал ему в этот первый, решающий период? Положительного — только одно: осознание первого успеха, признание его мастерства и права на работу, поощре-

ние, ласку и любовь друга. Отрицательного — много больше: все, что воспитала во мне тогдашняя питерская литература: эстетику рабской деревни, красоту тлена и безвыходного бунта. На почве моей поэзии, так же как Блока и Ремизова, Есенин мог только утвердиться во всех тональностях «Радуницы», заслышанных им еще в деревне. Стык наших питерских литературных мечтаний с голосом, рожденным деревней, казался нам оправданием всей нашей работы и праздником какого-то нового народничества.

Иконы Нестерова и Васнецова, картины Билибина и вообще все живописное искусство этого периода было отравлено совершенно особым подходом к земле, к России — подходом, окрашенным своеобразной мистикой и стремлением к стилизации. Мы очень любили деревню, но на «тот свет» тоже поглядывали. Многие из нас думали тогда, что поэт должен искать соприкосновения с потусторонним миром в каждом своем образе. Словом, у нас была мистическая идеология символизма.

Но была еще одна сила, которая окончательно обволокла Есенина идеализмом. Это — Николай Клюев.

К этому времени он был уже известен в наших кругах. Религиозно-деревенская идеалистика дала в нем благодаря его таланту самый махровый сгусток. Даже трезвый Брюсов был увлечен им.

Клюев приехал в Питер осенью (уже не в первый раз). Вероятно, у меня он познакомился с Есениным. И впился в него. Другого слова я не нахожу для начала их дружбы. История их отношений с того момента и до последнего посещения Есениным Клюева перед смертью — тема целой книги. Чудесный поэт, хитрый умник, обаятельный своим коварным смирением, творчеством, вплотную примыкавший к былинам и духовным стихам севера, Клюев, конечно, овладел молодым Есениным, как овладевал каждым из нас в свое время. Он был лучшим выразителем той идеалистической системы, которую несли все мы. Но в то время как для нас эта система была литературным исканием, для него она была крепким мировоззрением, укладом жизни, формой отношения к миру. Будучи сильней всех нас, он крепче всех овладел Есениным. У всех нас после припадков дружбы с Клюевым бывали приступы ненависти к нему. Приступы ненависти бывали и у Есенина. Помню, как он говорил мне: «Ей-богу, я пырну ножом Клюева!»

Тем не менее Клюев оставался первым в группе крестьянских поэтов. Группа эта все росла и крепла. В нее входили, кроме Клюева и Есенина, Сергей Клычков и Александр Ширяевец. Все были талантливы, все были объединены любовью к русской старине, к устной поэзии, к народным песенным и былинным образам. Кроме меня, верховодил в этой группе Алексей Ремизов и не были чужды Вячеслав Иванов, весьма сочувственно относившийся к Есенину, и художник Рерих. Блок чуждался этого объединения. Даже теперь я не могу упрекнуть эту группу в квасном патриотизме, но острый интерес к русской старине, к народным истокам поэзии, к былине и частушке был у всех нас. Я назвал всю эту компанию и предполагавшееся ею издательство — «Краса». Общее выступление у нас было только одно: в Тенишевском училище — вечер «Краса». Выступали Ремизов, Клюев, Есенин и я. Есенин читал свои стихи, а кроме того, пел частушки под гармошку и вместе с Клюевым — страдания. Это был первый публичный успех Есенина, не считая предшествовавших закрытых чтений в литературных собраниях. Был объявлен сборник «Краса» с участием всей группы. В неосуществившемся же издательстве «Краса» были объявлены первые книги Есенина: «Рязанские побаски, канавушки и страдания» и «Радуница».

«Краса» просуществовала недолго. Клюев все больше оттягивал Есенина от меня. Кажется, он в это время дружил с Мережковскими — моими «врагами». Вероятно, бывал там и Есенин.

Весной и летом 1916 года я мало виделся с Клюевым и Есениным. Угар войны проходил, в Питере становилось душно, и осенью 16-го года я уехал в турецкую Армению на фронт. В самый момент отъезда, когда я уже собрал вещи, вошли Клюев и Есенин. Я жил на Николаевской набережной, дверь выходила прямо на улицу, извозчик ждал меня, свидание было недолгим. Самое неприятное впечатление осталось у меня от этой встречи. Оба поэта были в шикарных поддевках, со старинными крестами на груди, очень франтовитые и самодовольные. Все же я им обрадовался, мы расцеловались и после медоточивых слов Клюева попрощались. Как оказалось, надолго. С Есениным — до 21-го года, а с Клюевым — и того больше...

С. Городецкий

Родилась я в селе Кузьминском в многодетной семье Василия Ивановича Орлова. У меня были сестра и семь братьев. Отец наш любил читать книги, дружил с константиновским священником Иваном Яковлевичем Смирновым, бывал в доме у помещицы Лидии Ивановны Кашиной. Помню, однажды, вернувшись от нее, сказал восхищенно: «Какая это образованная, интересная женщина!» Видела и я Лидию Ивановну — цветущую, красивую, стройную,— когда она в костюме амазонки выезжала на породистой лошади на прогулку в поле. Хорошо запомнилась шляпа-цилиндр на ее голове и длинный, прозрачный, развевающийся шарф. Рядом гарцевал сопровождавший ее черкес.

В 1915 году, одиннадцатилетней девочкой, я вместе со своей двоюродной сестрой Ольгой Ивановной Брежневой (она тоже из села Кузьминского) готовилась к поступлению в Рязанское женское епархиальное училище. Занимался с нами учитель Константиновской школы Иван Матвеевич Власов. Как сейчас, вижу его: среднего роста, прямой, в сорочке с галстуком, бородка клинышком... Строгий был необычайно, но учил нас замечательно. Надолго, если не на всю жизнь, запомнили мы его объяснения по арифметике и русскому языку. Ходили мы к нему летом почти ежедневно, и там, в школе, я впервые увидела Сергея Есенина. Пришел он к Ивану Матвеевичу опрятно одетым, в белой рубашке. Был солнечный день, и его волнистые светлые волосы горели золотом. Это меня удивило: ни у кого я таких волос не видела. После недолгой беседы Иван Матвеевич проводил Есенина до двери. Называл он его ласково — Сережей.

В. Калашникова

Из автобиографии Сергея Есенина известно, что первый, к кому он пришел в Петербурге, был Александр Александрович Блок, который и направил его к Сергею Городецкому и ко мне. Я в то время близко стоял к некоторым редакциям журналов.

Вот что писал мне А. Блок:

«Дорогой Михаил Павлович!

Направляю к Вам талантливого крестьянского поэта-самородка. Вам, как крестьянскому писателю, он будет ближе, и Вы лучше, чем кто-либо, поймете его.

Ваш *А. Блок*.

P. S. Отобрал 6 стихотворений и направил с ними к С. М. (Городецкому.— *М. М.*). Посмотрите и сделайте все, что возможно.— *А. Б.*»

С этого дня начинается мое знакомство с Есениным, а впоследствии тесная дружеская связь.

Как сейчас, помню тот вечер, когда в первый раз пришел ко мне Сергей Александрович Есенин, в синей поддевке, в русских сапогах, и подал записку А. А. Блока. Он казался таким юным, что я сразу стал к нему обращаться на «ты». Я спросил, обедал ли он и есть ли ему где ночевать? Он сказал, что еще не обедал, а остановился у своих земляков. Сели за стол. Я расспрашивал про деревню, про учебу, а к концу обеда попросил его прочесть свои стихи.

Есенин вынул из сверточка в газетной бумаге небольшие листочки и стал читать. Вначале читал робко и сбивался, но потом разошелся.

Проговорили долго. Время близилось к полуночи. Есенин заторопился. Я его удержал и оставил ночевать. Наутро я ему дал несколько записок в разные редакции и, прощаясь, предложил временно пожить у меня, пока он не подыщет комнату.

Спустя некоторое время он рассказал мне, что перед приездом в Петроград жил в Москве, учился в университете Шанявского и уже имеет жену и сына.

Первые месяцы жизни поэта в Петрограде не были плодотворными: рассеянный образ жизни и небывалый успех на время выбили его из колеи. Помню, он принимался писать, но написанное его не удовлетворяло. Обычно Есенин слагал стихотворение в голове целиком и, не записывая, мог читать его без запинки. Не раз, бывало, ходит, ходит по кабинету и скажет:

— Миша, хочешь послушать новое стихотворение?

Читал, а сам чутко прислушивался к ритму. Затем садился и записывал.

Интересно было наблюдать за поэтом, когда его стихотворение появлялось в каком-нибудь журнале. Он приходил с номером журнала и бесконечное количество раз перелистывал его. Глаза блестели, лицо светилось.

На второй или на третий месяц пребывания в Петрограде Сергей вдруг заявил мне:

— Михаил, мне надо съездить в деревню.

Уехал. Из деревни писал:

«У вас хорошо в Питере, а здесь в миллион раз лучше».

Возвращаясь из деревни, поэт всегда писал много. Прочитанное вслух стихотворение казалось вполне законченным, но когда Сергей принимался его записывать, то делал так: напишет строчку — зачеркнет, снова напишет — и опять зачеркнет. Затем напишет совершенно новую строчку. Отложит в сторону лист бумаги с начатым стихотворением, возьмет другой лист и напишет почти без помарок. Спустя некоторое время он принимался за обработку стихов; вначале осторожно. Но потом иногда изменял так, что от первого варианта ничего не оставалось.

Есенин очень много внимания уделял теории стиха. Он иногда задавал себе задачи в стихотворной форме: брал лист бумаги, писал на нем конечные слова строк — рифмы — и потом, как бы по плану, заполнял их содержанием. В то время он много читал классиков, как русских, так и иностранных. Особенно любил все вновь выходящие книги Джека Лондона. Из современных поэтов любил Белого и Блока.

Раз как-то зашел ко мне Александр Александрович Блок и принес два стихотворения для сборника (в то время я готовил для одного издательства литературный альманах). Затем мы вместе ушли. Без меня пришел Есенин. На столе нашел стихи Блока, прочел и написал записку, а внизу приписал:

«Ой, ой, какое чудное стихотворение Блока! Знаешь, оно как бы светит мне!»

Есенин очень любил стихи Блока и часто читал их на память.

Есенин зорко следил за журналами и газетами, каждую строчку о себе вырезал. Бюро вырезок присылало ему все рецензии на его стихи. Он очень прислушивался к хорошей критике, но литературная болтовня его злила.

В 1915 году мне с трудом удалось провести в жизнь устав литературно-художественного общества под названием «Страда». Есенин предлагал назвать его «Посев», но потом сам отказался от этого названия. Организационное собрание общества состоялось на квартире Сергея Городецкого.

Есенин развивал широкие планы по созданию крестьянского журнала, хотел вести отдел «Деревня», чтобы познакомить читателя с тем, как живет, чем болеет крестьянин.

— Я бы стал писать статьи,— сказал Есенин,— и такие статьи, что всем чертям было бы тошно!

Журнал организовать нам не удалось, но сборник собрали скоро. Сергей поместил в нем стихотворение «Теплый вечер», которое только что привез из деревни.

Вскоре после издания сборника «Страда» вышла первая книга стихотворений Есенина — «Радуница». Получив авторские экземпляры, Сергей прибежал ко мне радостный, уселся в кресло и принялся перелистывать, точно пестуя первое свое детище. Потом, как бы разглядев недостатки своего первенца, проговорил:

— Некоторые стихотворения не следовало бы помещать.

Я взял книгу, разрезал упругие листы плотной бумаги и перечитывал давно знакомые строчки стихов:

Пахнет рыхлыми драченами;
У порога в дежке квас,
Над печурками точеными
Тараканы лезут в паз.

. . . .

А в окне на сени скатые,
От пугливой шумоты,
Из углов щенки кудлатые
Заползают в хомуты.

Ставя книги на полку, Есенин со вздохом произнес:

— Надо приниматься за поэмы.

На книге, оставленной на моем письменном столе, Есенин написал: «Другу славных дел о Руси «Страде великой» Михаилу Павловичу Мурашеву на добрую память. *Сергей Есенин.* 4 февраля 1916 г. Петроград».

Весна 1916 года. Империалистическая война в полном разгаре. Весной и осенью призывали в армию молодежь. После годовой отсрочки собирался снова к призыву и Есенин. Встревоженный, пришел он ко мне и попросил помочь ему получить железнодорожный билет для поездки на родину, в деревню, а затем в Рязань призываться. Я стал его отговаривать, доказывая, что в случае призыва в Рязани он попадет в армейскую часть, а оттуда нелегко будет его вызволить. Посоветовал призываться в Петрограде, а все хлопоты взял на себя. И действительно, я устроил призыв Есенина в воинскую часть при петроградском воинском начальнике. Явка была назначена на 15 апреля.

Хотя поэт немного успокоился, но предстоящий призыв его удручал.

Есенин стал чаще бывать у меня. Я старался его успокоить и обещал после призыва перевести из воинской части в одно из военизированных учреждений морского министерства.

В одно из таких посещений, 15 марта 1916 года, придя домой с работы, я застал Сергея за моим письменным столом.

Он писал стихи на подвернувшихся под руку моих личных бланках.

Зная его скрытность в вопросах творчества, я немного схитрил — принес полотенце, мыло и сказал:

— На, иди мой руки. Сейчас обедать будем.

Он повиновался, а я в это время заглянул в написанное. Передо мной лежало уже законченное и переписанное стихотворение «Деревня», взятое мною потом для сборника «Творчество», в редакции которого я принимал деятельное участие.

Тут же были наброски, начальные строки других стихотворений...

Устал я жить в родном краю
В тоске по гречневым просторам...

Перед уходом в армию Сергей принес мне на сохранение свои рукописи, а черновые наброски на моих бланках передал мне со словами:

— Возьми эти наброски, они творились за твоим столом, пусть у тебя и остаются.

За обедом мы много говорили о петроградской литературной жизни. Сергей в этот раз рассказал о своих литературных замыслах, он готовился к написанию большой поэмы.

После обеда, когда перешли в кабинет, он прочел несколько новых стихотворений и в заключение преподнес мне свой портрет, написав на нем:

Дорогой дружище Миша,
Ты, как вихрь, а я, как замять,
Сбереги под тихой крышей
Обо мне любовь и память.

Сергей Есенин. 1916 г., 15 марта.

Принимая подарок, я сказал:

— Спасибо, дорогой Сергей Александрович, за дружески теплую надпись, но сохранить о себе память должен просить тебя я, так как я старше тебя намного и, естественно, должен уйти к праотцам раньше твоего.

— Нет, друг мой,— грустно ответил Сергей,— я недолговечен, ты переживешь меня, ты крепыш, а я часто трушу перед трудностями. Ты умеешь бороться с жизнью.

Сергей Есенин стал звать меня с собой к Блоку.

— Уж больно хочется повидать Александра Александровича, а я уже с месяц не видал. Миша, позвони ему по телефону, может быть, у него найдется полчаса для нас.

Позвонил. Ответили, что Блока нет дома, но ждут с минуты на минуту, к обеду. Прошел час или полтора, но ответного звонка не было.

Чтобы успокоить Сергея, я предложил пойти к Блоку на авось. Он жил недалеко. В квартире Александра Александровича нам сказали, что он звонил и приедет домой очень поздно.

Обратно пошли мы по набережной реки Пряжки. Несмотря на раннюю весну, вечер был теплый. Солнце сползало за силуэты мрачных корпусов судостроительных заводов. Гигантские краны, точно жирафы, вытянули свои шеи. Где-то ухали паровые молоты.

Прошли набережную реки Мойки, вышли к Новому адмиралтейству и завернули на Английскую набережную. Особняки петербургской знати хранили молчание. Только за зеркальными стеклами парадных подъездов изредка виднелись парчовые галуны бородатых швейцаров.

Прошли Николаевский мост, вышли к Сенатской площади. Обе набережные Большой Невы в вечерних лучах солнца казались удивительно прекрасными, их архитектурный ансамбль был строг и величествен. Лед на Неве почернел, переходы по нему закрыты.

— По этой набережной любил ходить Александр Сергеевич Пушкин,— задумчиво промолвил Есенин.

В то время я собирал материал для литературных альманахов «Дружба» и «Творчество». У меня встречались писатели, участвовавшие в редактировании сборников. Одно из таких литературных совещаний было назначено на 3 июля. Я пригласил и Сергея Есенина.

Все собрались. Пришел Есенин. Ждали Блока, но он почему-то опаздывал.

В это время, возвращаясь с концерта на Павловском вокзале, зашел ко мне скрипач К. Вслед за ним пришел

художник Н., только что вернувшийся из-за границы, откуда он привез мне в подарок репродукцию с картины Яна Стыки «Пожар Рима». Эта картина вызвала такие споры, что пришлось давать высказываться по очереди. Причиной споров была центральная фигура картины, стоящая на крыше дворца с лирой в руках, окруженная прекрасными женщинами и не менее красивыми мужчинами, любующимися огненной стихией и прислушивающимися к воплям и стонам своего народа. Горячо высказывались писатели, возмущенно клеймили того, кто совмещал поэзию с пытками. Есенин молчал. Скрипач К.— тоже. Обратились к Есенину и попросили высказаться.

— Не найти слов ни для оправдания, ни для обвинения — судить трудно,— тихо сказал Есенин.

Потребовали мнения К.

— Разрешите мне сказать музыкой,— произнес он.

Все разом проговорили: «Просим, просим!»

К. вынул скрипку и стал импровизировать. Его импровизация слушателей не удовлетворяла. Он это почувствовал и незаметно для нас перешел на музыку Глинки «Не искушай» и «Сомнение». Эти звуки дополняли яркие краски картины.

В этот момент по телефону позвонил А. Блок. Услышав музыку, он спросил, что за концерт. Я рассказал, в чем дело. Он изъявил желание послушать музыку. К., зная, что его слушает А. А. Блок, сыграл еще раз «Не искушай». Блок благодарил К., извинился перед собравшимися, что не может присутствовать на сегодняшнем совещании из-за болезни, и просил отложить заседание на следующий день.

Сергей Есенин подошел к письменному столу, взял альбом и быстро, без помарок написал следующее стихотворение:

«СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

16 г 3 июля.

Слушай, поганое сердце,
Сердце собачье мое.
Я на тебя, как на вора,
Спрятал в руках лезвие.

Рано ли, поздно всажу я
В ребра холодную сталь.
Нет, не могу я стремиться
В вечную сгнившую даль.

Пусть поглупее болтают,
Что их загрызла мета
Если и есть что на свете —
Это одна пустота.

Прим(ечание). Влияние «Сомнения» Глинки и рисунка «Нерон, поджигающий Рим» *С. Е.*»

Я был поражен содержанием стихотворения. Мне оно казалось страшным, и я тут же спросил его:

— Сергей, что это значит?

— То, что я чувствую,—ответил он с лукавой улыбкой.

Через десять дней состоялось деловое редакционное совещание, на котором присутствовал А. Блок. Был и Сергей Есенин.

Я рассказал Блоку о прошлом вечере, о наших спорах и показал стихотворение Есенина.

Блок медленно читал это стихотворение, очевидно и не раз, а затем покачал головой, подозвал к себе Сергея и спросил:

— Сергей Александрович, вы серьезно это написали или под впечатлением музыки?

— Серьезно,— чуть слышно ответил Есенин.

— Тогда я вам отвечу,— вкрадчиво сказал Блок.

На другой странице этого же альбома Александр Александрович написал ответ Есенину — отрывок из поэмы «Возмездие», над которой в то время работал и которая еще нигде не была напечатана:

«ИЗ ПОЭМЫ «ВОЗМЕЗДИЕ»

Жизнь — без начала и конца.
Нас всех подстерегает случай.
Над нами — сумрак неминучий,
Иль ясность божьего лица.
Но ты, художник, твердо веруй
В начала и концы. Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай.
Тебе дано бесстрастной мерой
Измерить все, что видишь ты,
Твой взгляд — да будет тверд и ясен,
Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен.

Александр Блок.

13.VII—1916 г.»

М. Мурашев

Март 1915 года. Петроград. Зал Дома армии и флота. Литературный вечер, один из тех, которые устраивались в ту пору очень часто. Война, начавшаяся в 1914 году, не только не мешала устройству таких вечеров, но скорее даже способствовала, так как давала повод не только частным импресарио, но и многочисленным общественным организациям приобщаться к «делу обороны страны», объявляя, что доход с вечера идет «в пользу раненых», «на подарки солдатам» и т. п.

В антракте подошел ко мне юноша, почти еще мальчик, скромно одетый. На нем был простенький пиджак, серая рубаха с серым галстучком.

— Вы Рюрик Ивнев? — спросил он.

— Да,— ответил я немного удивленно, так как в ту пору я только начинал печататься и меня мало кто знал.

Всматриваюсь в подошедшего ко мне юношу: он тонкий, хрупкий, весь светящийся и как бы пронизанный голубизной.

Вот таким голубым он и запомнился на всю жизнь.

Мне хотелось определить, понимает ли он, каким огромным талантом обладает. Вид он имел скромный, тихий. Стихи читал своеобразно. Приблизительно так, как читал их и позже, но без того пафоса, который стал ему свойствен в последующие годы. Казалось, что он и сам еще не оценил самого себя. Но это только казалось, пока вы не видели его глаз. Стоило вам встретиться взглядом с его глазами, как «тайна» его обнаруживалась, выдавая себя: в глазах его прыгали искорки. Он был опьянен запахом славы и уже рвался вперед. Конечно, он знал себе цену. И скромность его была лишь тонкой оболочкой, под которой билось жадное, ненасытное желание победить всех своими стихами, покорить, смять.

Помню хорошо его манеру во время чтения перебирать руками концы пиджака, словно он хотел унять руки, которыми впоследствии потрясал свободно и смело.

Как выяснилось на этом же вечере, Есенин был прекрасно знаком с современной литературой, особенно со стихами. Не говоря уже о Бальмонте, Городецком, Брюсове, Гумилеве, Ахматовой, он хорошо знал произведения других писателей. Многие стихи молодых поэтов знал наизусть.

В этот вечер все познакомившиеся с Есениным поняли, каким талантом обладает этот на вид скромный юноша.

Один Федор Сологуб отнесся холодно к Есенину. На мой вопрос: почему? — Сологуб ответил:

— Я отношусь недоверчиво к талантам, которые не прошли сквозь строй «унижений и оскорблений» непризнания. Что-то уж больно подозрителен этот легкий успех!

Литературная летопись не отмечала более быстрого и легкого вхождения в литературу. Всеобщее признание свершилось буквально в какие-нибудь несколько недель. Я уже не говорю про литературную молодежь. Но даже такие «мэтры», как Вячеслав Иванов и Александр Блок, были очарованы и покорены есенинской музой.

Недели через две после первой встречи с Есениным я решил, что можно и нужно познакомить с его творчеством более широкий круг моих друзей и знакомых. Но для этого надо было найти помещение более обширное, чем подвал Ляндау.

Я жил в ту пору на Большой Сампсониевской улице, около Литейного проспекта, снимал комнату на «полном пансионе» у родителей моего друга детства Павлика Павлова. Квартира Павловых занимала целый этаж. Я попросил их уступить на «вечер в честь Есенина» большой библиотечный зал. Они не только охотно согласились, но Анастасия Александровна Павлова взяла на себя обязанность «невидимой хозяйки» готовить чай и угощение, не показываясь гостям, чтобы «не мешать молодежи».

Я разослал по почте приглашения.

В назначенный час публика начала съезжаться.

Есенин, Чернявский, Ляндау и Струве пришли ко мне задолго до этого и встречали гостей вместе со мной. Сначала мы расположились в моей комнате, а когда гости съехались, перешли в библиотечный зал. Здесь Есенин, взобравшись на складную библиотечную лестницу, начал читать стихи.

Выступление юного поэта в тот памятный вечер было только началом его триумфального пути. Все присутствовавшие не были связаны никакими «школами» и искренне восхищались стихами Есенина только потому, что любили поэзию, — ведь то, что они услышали, было так не похоже на все, что им приходилось до сих пор слышать. Неизменным спутником успеха в то время являлась зависть, которой были одержимы более других сами по себе далеко не заурядные поэты Георгий Иванов и Георгий Адамович. Я нарочно не пригласил их.

В тот вечер я сделал все, чтобы даже тень зависти и недоброжелательства не проскользнула в помещение, где Есенин читал свои стихи.

Но не обошлось и без маленького курьеза.

Когда я почувствовал, что Есенин начал уставать, я предложил сделать перерыв. Есенин и наиболее близкие мне друзья снова перешли в мою комнату. Я носился между библиотекой и столовой Павловых, помогая Анастасии Александровне по хозяйству, так как она, верная своему «обету», не показывалась гостям. Вдруг раздался звонок. Пришел запоздалый гость, которого я пригласил специально для Есенина, зная, что Есенин очень любит стихи Баратынского. Запоздалый гость был правнуком поэта Евгением Георгиевичем Геркен-Баратынским. Мы задержались на минуту в передней.

В это время я услышал громкий хохот, доносившийся из моей комнаты, и сейчас же открыл дверь. Меня встретило гробовое молчание. В комнате было темно, электричество выключено. Я включил свет. Есенин, лукаво улыбаясь, смотрел на меня невинными глазами. Струве засмеялся и тут же, взяв всю вину на себя, объяснил мне, что Есенин по его просьбе спел несколько деревенских частушек, которые неудобно было исполнять публично.

Стены моей комнаты, отделявшие ее от столовой, были фанерные. Я посмотрел на Есенина и глазами показал ему на стену. Он сразу все понял, виновато заулыбался своей необыкновенной улыбкой и прошептал:

— Ну не буду, не буду!

В это время вошел Геркен-Баратынский. Я познакомил его с Есениным и сказал:

— Вот правнук твоего любимого поэта.

Есенин тут же прочел несколько стихотворений Баратынского.

Потом мы снова перешли в библиотечный зал, и Есенин продолжал чтение своих стихов.

После вечера в «библиотеке Павлова» наши встречи с Есениным продолжались в подвале «Лампы Аладдина», где Есенин читал все свои новые стихотворения.

Никому из нас не приходила в голову мысль устраивать какой-либо «литературный кружок» и читать там свои стихи. Мы так были увлечены творчеством Есенина, что о своих стихах забыли. Я думал только о том,

как бы скорее услышать еще одно из его новых стихотворений, которые ворвались в мою жизнь, как свежий весенний ветер.

Под впечатлением наших встреч я написал и посвятил ему стихотворение, которое «вручил» 27 марта 1915 года.

Два дня спустя, 29 марта, Есенин ответил мне стихотворением «Я одену тебя побирушкой».

С этих пор наша дружба была скреплена стихами.

Если я и продолжал выступать на литературных вечерах, когда получал приглашение, то делал это как бы механически. Сейчас меня удивляет, как я мог остаться самим собой и не попасть под его влияние, настолько я был заворожен его поэзией. Может быть, это произошло потому, что где-то в глубине души у меня тлело опасение, что если я сверну со своей собственной дороги, то он потеряет ко мне всякий интерес.

Слушая стихи, Есенин всегда высказывал свое откровенное мнение, не пытаясь его смягчать, если оно было отрицательным. Больше того, если он даже хотел это сделать, то не смог бы. Он не умел притворяться, когда речь шла об оценке стихов. Это хорошо знали мои друзья по «Лампе Аладдина» и потому не пытались представить на «суд Есенина» свои стихи. Что касается меня самого, то, хотя его просьба в первый день нашего знакомства прочесть ему свои стихи давала мне повод думать, что они ему нравились, я начал читать только тогда, когда убедился, что, несмотря на разные темы и разные «голоса», ему не чуждо мое творчество.

Когда Есенину что-либо нравилось, он высказывал свое одобрение не только словами. Первыми реагировали глаза, в которых загорались какие-то особенные, ему одному свойственные искорки, затем появлялась улыбка, в которой просвечивала радость, а потом уже с губ слетали слова.

Есенин очень любил шутить и балагурить. У него было удивительное умение перевести на «шутливые рельсы» самый серьезный разговор и, наоборот, шутливый разговор незаметно перевести в серьезный. Иногда, как бы тасуя карты разговора, он, хитро улыбаясь, нащупывал мнение собеседника быстрыми вопросами, причем сразу нельзя было понять, говорит он серьезно или шутит. Как-то беседуя с ним, я сказал, что у него хитрые глаза. Он засмеялся, зажмурился, потом открыл свои повеселевшие глаза и спросил улыбаясь:

— Хитрые? Ты находишь, что они хитрые? Значит, считаешь, что я хитрый? Да?

Он очень огорчился, когда я ему ответил, что хитрые глаза совсем не означают, что он хитрый.

— Пойми меня,— объяснил я ему,— что хитрость в том и заключается, чтобы о ней никто не догадывался. А если хитрость сама вылезает наружу, сияет в глазах и как бы довольна, что ее замечают, какая же это хитрость?

Но Есенин не сдавался, он не скрывал своего огорчения моим «разъяснением» и продолжал:

— Но как могут глаза быть хитрыми, если сам человек не хитер?

— Значит, я неправильно выразился. Не хитрые, а кажущиеся хитрыми.

— Нет, нет,— не унимался Есенин,— вот ты хитришь со мной. Назвал хитрым, а теперь бьешь отбой.

— Можно подумать, что ты цепляешься за хитрость, как за высшую добродетель.

— Нет, нет, ты мне отвечай на вопрос: я хитрый? Да?

— Нет, ты совсем не хитрый. Но хочешь казаться хитрым.

— Значит, я все же хитрый, раз хочу быть хитрым.

— Самый хитрый человек — это тот, о хитрости которого никто не подозревает. Хитер тот, о хитрости которого узнают только после его смерти, а какая же это хитрость, если о ней все знают при жизни?

Есенин слушал меня внимательно. Над последней фразой он задумался. Потом, тряхнув головой, засмеялся:

— Ты думаешь одно, а говоришь о другом. Сам знаешь, что таких хитрецов не существует. Шила в мешке не утаишь.

Р. Ивнев

Весна 1915 года была ранняя, дружная — не в пример многим петербургским веснам. Город дымился синеватым, хмельным отстоем свежести и тревожных ожиданий.

Я с трудом открыл тяжелую дубовую дверь редакции и начал подниматься по лестнице, с каждым этажом замедляя шаги. Мне казалось, что все спускающиеся навстречу подозрительно поглядывают на карман мо-

его студенческого пальто, откуда предательски торчит аккуратно свернутая в трубочку рукопись.

В просторной комнате «толстого» журнала было уже немало народу. На двух низких кожаных диванах, на десятке венских стульев сидели и начинающие, и привычные, терпеливо ожидая редакторского приема. Хлопотливо и деловито торопились проследовать в кабинет маститые. Их узнавали, с любопытством оборачивались им вслед. Табачный дым, пронизанный солнцем, слоился и плыл вдоль стены. Прямо против входа горела в пятне заката тяжелая рама, из которой сумрачно и строго глядело скуластое длиннобородое лицо желчного и чем-то недовольного великого сатирика.

Изредка бесшумно приоткрывалась дверь редакторского кабинета, и юркая фигурка секретаря делала еле уловимый знак кому-нибудь из присутствующих. Счастливец тотчас же поднимался с места. Минуты тянулись как часы. Все молчали. Казалось, что находишься на приеме у знаменитого врача, где надо терпеливо и чинно дожидаться своей очереди.

Я отыскал свободный стул и сел в стороне. Прошло полчаса, а может быть, и больше. Входили и выходили посетители. Число ожидающих почти не убывало. Скрипнула дверь. Посередине комнаты остановилась странная фигура.

Это был паренек лет девятнадцати, в деревенском тулупчике, в тяжелых смазных сапогах. Когда он снял высокую извозчичью шапку, его белокурые, слегка вьющиеся волосы на минуту загорелись в отсвете вечереющего солнца. Серые глаза окинули всех робко, но вместе с тем и не без некоторой дерзости.

Он стоял в недоумении. Сесть было некуда. Никто из находившихся на диване не пожелал дать ему места. На него поглядывали равнодушно. Очевидно, приняли за рассыльного или полотера.

Паренек заметил мою потертую студенческую тужурку и решительно направился ко мне через всю комнату.

— Не помешаю? — спросил он просто.— Может, вдвоем поместимся? А?

Я подвинулся, и мы уселись рядом на одном стуле. Мой сосед неторопливо размотал пестрый домотканый шарф и покосился на меня. Широкая, приветливая улыбка раздвинула его губы, сузила в веселые щелочки чему-то смеющиеся, чуть лукавые глаза.

— Стихи? — спросил он шепотом и ткнул пальцем в рукопись, оттопыривавшую мой карман.

— Стихи,— ответил я, тоже почему-то шепотом и не мог удержать ответной улыбки.

— Ну, и я того же поля ягода. С суконным рылом да в калашный ряд.

И он подмигнул в сторону ожидающих.

Начался разговор.

Так как на моем лице, видимо, написано было удивление, сосед поторопился рассказать, что в городе он совсем недавно, что ехал на заработки куда-то на Балтийское побережье и вот застрял в Петербурге, решив попытать литературного счастья. И добавил, что зовут его Есениным, а по имени Серега, и что он пишет стихи («Не знаю, как кому, а по мне — хорошие»). Вытащил тут же пачку листков, исписанных мелким, прямым, на редкость отчетливым почерком. И та готовность, с которой он показывал свои стихи, сразу же располагала в его пользу. Некоторая свойственная ему самоуверенность отнюдь не казалась навязчивой, а то, что он сам хвалил себя, выходило у него так естественно, что никто не мог бы заподозрить автора в излишнем самомнении. Да это и не вязалось бы с его простонародным, как сказали бы тогда, видом.

Я отвечал Есенину откровенностью на откровенность. Не прошло и нескольких минут, как мы разговорились по-приятельски.

А время между тем текло. Уже несколько раз выглядывал из двери секретарь и быстро обегал глазами оставшихся в комнате. На нас он даже не взглянул.

Вошел редакционный сторож с огромным подносом и привычно обнес сотрудников стаканами чаю и легкой закуской. Есенин протянул было руку к соблазнительному бутерброду с ветчиной, но сторож ловким ныряющим движением отвел поднос в сторону.

Нас не хотели замечать. Есенин вздохнул и с покорным видом уселся обратно. Комната постепенно пустела.

— Ну вот наконец и наша очередь,— сказал мой сосед и подтолкнул меня в бок. Появившийся секретарь остановился около стола и начал собирать какие-то папки.

— Теперь мы? — спросил Есенин неожиданно оробевшим голосом.

Секретарь поглядел недовольно и устало.

— Господа, на сегодня прием закончен. Редактор уже

уехал. Если хотите видеть его лично, приходите в пятницу.

И тотчас же снова уткнулся в свои бумаги.

Мы минуту постояли молча, взглянули друг на друга и пошли прочь.

Когда были уже на лестнице, Есенин не выдержал и фыркнул себе в ладонь.

— Ловко! — сказал он почти в восхищении.— И выходит, вправду — в «калашный ряд». А мы-то сидели, мы-то ждали рая небесного! Вот тебе и рай! Ну да ладно! Я еще своего добьюсь. Стихи у меня хорошие. Будут Есенина печатать! Слово даю!

Мы шли к Неве, и упругий порывистый ветер бил нам в лицо. Небо казалось широко развернутым алым парусом. Темная глыба Исаакия, синея, висела в воздухе.

— Люблю, когда просторно! — вздохнул Есенин.— В Москве теснота и сутолочь! А здесь — во как! — И он обвел рукою полгоризонта.

Перешли Николаевский мост. Начался бесконечный ряд еще оголенных деревьев Конногвардейского бульвара. Не помню, как разговор снова вернулся к стихам.

— Хочешь, свои почитаю? — спросил мой спутник (он сразу же стал говорить мне «ты», и это, видимо, было его привычной манерой).— Неужели *таких* стихов они печатать не будут? Нет, шалишь, напечатают. Это ведь о России. В самую сердцевину сейчас — на второй-то год войны.

И он начал читать — сначала тихо, а потом с бóльшим и бóльшим одушевлением:

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

Стихи действительно были непривычно свежими, живыми. Но я все же не удержался от критического глубокомыслия:

— Хорошо-то хорошо, но уж очень иконописно — «рать святая», «рай»... Ладаном пахнет.

— А что, это плохо?

— Как кому. Вот у Блока тоже о России, но совсем иначе — мужественнее, проще.

— Да ведь то Блок! Он передо мною игумен. Не удивляйся «божественным» сравнениям — меня в цер-

ковно-приходской школе грамоте учили. Он игумен, а я кто? Послушник, да и то расстрига.

Он лукаво подмигнул мне:

— Божественности во мне мало. Вот увидишь, утеку из монастыря, а тогда поминай как звали! Это я так, притворяюсь только смиренником. Что, не веришь? — И неожиданно, вложив два пальца в рот, залился оглушительным озорным свистом. Два-три прохожих, испуганно вздрогнув, обернулись в нашу сторону. Есенин засмеялся.

— Ну,— кивнул он на соседнюю улицу,— мне сюда. Будь здоров. Не поминай лихом. А встретимся — стихи почитаем. К тому времени новые будут. Я теперь, как скворец, с утра на ветке горло деру.

Вс. Рождественский

Есенина я увидел впервые 28 марта 1915 года. Развертывалось второе полугодие войны. Чувствительный тыл под сенью веселого трехцветного флага заметно успокаивался и удовлетворенно улыбался. Запах крови из лазаретов мешался с духами дам-патронесс, упаковывающих в посылки папиросы, шоколад и портянки. На улицах, в киосках басистые студенты возглашали знаменитое: «Холодно в окопах».

В пунктах сбора пожертвований, на возбужденном Невском, пискливые поэтессы и женственные поэты — розовые и зеленолицые, окопавшиеся и забракованные — читали трогательные стихи о войне и о своей тревоге за «милых». Некоторые оголтелые футуристы, не доросшие до Маяковского, но достаточно развязные и бойкие, играли на созвучиях пропеллера и смерти. Достигший апогея модности Игорь Северянин пел под бурные рукоплескания про «Бельгию — синюю птицу» (папиросы «Король Альберт» еще не вышли из моды). Патриотическое суворинское «Лукоморье» печатало на лучшей бумаге второсортные стихи о Реймском соборе под портретами главнокомандующих.

В Зале армии и флота был большой вечер поэтов. Читал весь цвет стихотворчества. Седовласый Сологуб, явясь публике в личине добродушия, славословил «Невесту — Россию». И неожиданно, не в лад с другими, весь сдержанный и точно смущенный появился на эстраде — в черном сюртуке — Александр Блок. Его встретили и проводили рукоплесканиями совершенно иного звука

и оттенка, нежели те, с которыми только что обоняли запах северянинской пачули. Волнуясь, он тоже прочел стихи о России, о своей России и о человеческой глупости, прочел обычным, холодноватым и все-таки страстным, слегка дрожащим голосом, раза два схватившись рукою за сердце. Был уже на этих вечерах под знаком патриотизма гнетущий налет.

Не то в перерыве, не то перед началом чтений я, стоя с молодыми поэтами (Ивневым и Ляндау) у двери в зал, увидел подымающегося по лестнице мальчика, одетого в темно-серый пиджачок поверх голубоватой сатиновой рубашки, с белокурыми, почти совсем коротко остриженными волосами, небольшой прядью завившимися на лбу. Его спутник (кажется, это был Городецкий) остановился около нашей группы и сказал нам, что это деревенский поэт из рязанских краев, недавно приехавший. Мальчик, протягивая нам по очереди руку, назвал каждому из нас свою фамилию: Есенин*.

В течение вечера он так и оставался с нами троими. Несколько друзей присоединились к нам. Мы плохо слушали то, что доносилось с эстрады, и интересовались только нашим гостем, стараясь отвечать на его удивительно ласковую улыбку как можно приветливее. Гость был по тому времени необычный и взволновал нас совсем поновому.

На торопливые наши расспросы он отвечал очень охотно и просто. Мы услышали, как чуть ли не прямо с вокзала он пришел с узелком своим к Блоку, узнав его адрес в первой попавшейся редакции, как тот направил его к Городецкому, что стихи его, кажется, приняты в толстый и важный журнал, что он читал уже многих петербургских поэтов, со всеми хочет познакомиться и поделиться тем, что привез.

Говорил он о своих стихах и надеждах с особенной застенчивой, но сияющей гордостью, смотря каждому прямо в глаза, и никакой робости и угловатости деревенского паренька в нем не было. Но в произношении его слышалось настойчивое «оканье» и нет-нет попадались непонятные, по-видимому, рязанские словечки, звучавшие, казалось нам, пленительной наивностью. Блок принял его со свойственными ему немногословием и сдержанностью, но это, видимо, не смутило его:

---

* Нам послышалось не Есенин, а «Ясенин», и мы невольно произвели эту фамилию не то от «ясности», не то от «ясеня», не подозревая, что она означает «осенний» (есень).

— «Я уже знал, что он хороший и добрый, когда прочитал стихи о Прекрасной Даме...»*

И сам, идя навстречу нашему любопытству, он, не уходя с площадки лестницы, где мы стояли, успел многое рассказать о своей жизни в деревне, интерес к которой угадал, вероятно, не в нас первых, и о том, как писал свои стихи:

— «Уйдешь рыбу удить, да так и не вернешься домой два месяца: только на бумагу денег и хватало!»

Чем больше он говорил, тем больше сияли окружившие его кольцом умиленного внимания несколько человек. И не только потому, что принадлежали к сентиментальному тылу, а потому, что с первых минут знакомства ощутили в пришедшем, прослушав на ходу несколько коротких его стихов, новое для них очарование свежести и мгновенно покоряющей непосредственности. В нем повеяло им какое-то первородное, но далекое от всякой грубости здоровье. В нем так и золотилась юность — не то тихая, не то озорная, веющая запахом далекой деревни, земли, который показался почти спасительным. И весь облик этого неизвестного, худенького чужака, ласковый и доверчивый, располагал к нему всякого, кроме заядлых снобов, с которыми ему пришлось столкнуться позднее.

Едва дождавшись окончания вечера, мы, компанией из семи-восьми человек, все жившие и дышавшие стихами, отставив кое-кого из привязавшихся скептиков, пошли вместе с Есениным в хорошо известный многим «подвал» на Фонтанке, 23, близ Невского. Там квартировал молодой библиофил и отчасти поэт К. Ю. Ляндау, устроивший себе уютное жилье из бывшей прачечной, с заботливостью эстета завесив его коврами и заполнив своими книгами и антикварией. Этот таинственный подвал, где живал и я, часто видел в своих недрах Сергея. Ничего общего с публичными подвалами богемы это логово не имело, но некоторые ее представители нередко стучались сюда — прямо в окно с решеткой,— и тут постоянно звучали споры и стихи.

Есенина, которого все называли уже просто по имени, посадили посреди комнаты у круглого стола, а большинство гостей устроились в полумраке на диванах, чтобы его слушать. На парче под настольной лампой появился шар-

* Эти и нижеследующие буквальные слова Есенина (они поставлены в кавычки), а также даты я беру из собственных моих писем к другу моему, поэту В. В. Гиппиусу, находившемуся на фронте.

трез и венецианские рюмки. Помню, было жарко, и Сергей, сняв пиджачок, остался в своей голубой рубашке. Ему не понравился шартрез, он выпил и поморщился.

— «Что, не понравилось?»

— «Поганый!»

Такого рода замечаний им было сдалано немало, а когда присутствующие улыбались, сам Сергей, поглядывая вокруг, тоже отвечал им улыбкой, немного сконфуженной и немного лукавой: такой, мол, как есть.

Про него в тот приезд говорили недоброжелатели, что его наивность и народный говор — нарочитые. Но для нас, новых его приятелей, все в нем было только подлинностью и правдой. Мы, пожалуй, преувеличивали его простодушие и недооценивали его пристальный ум. Конечно, мы замечали: Есенин не мог не чувствовать, что его местные обороты и рязанский словарь помогают ему быть предметом общего внимания, и он научился относиться к этому своему оружию совершенно сознательно. Но мы видели также, как в первые недели его выхода в большой свет, когда иронически посмеивающиеся «наблюдатели» доводили его до краски в лице и ощущения неловкости, эти корявые словечки вырывались у него совсем естественно, от души. Нам верилось, что иначе он и не должен говорить. И тогда, и впоследствии для нас оставалось несомненным,— и мы готовы были ревностно это защищать,— что руководили им не наигрыш, не кокетство, а прямая гордость за отеческий язык, в красоту которого он сам яростно верил.

В нашем небольшом кругу ему все «полюбилось» и ничто его не коробило. Таким, знаю, и остался этот вечер в памяти Сергея и нашей. С радостью начал он чтение стихов, вошедших после в «Радуницу». Первое впечатление нас совершенно пронзило — новизной, трогательностью, настоящей плотью поэтического чувства. Он читал громче, чем говорил, в обычной, идущей прямо к сердцу «есенинской» манере, которую впоследствии только усовершенствовал, потряхивая своей мальчишеской желтой головой, и немного напевно. Но протяжной вкрадчивой клюевской тонировки в этом чтении не было и помину, простые ритмы рубились упрямо и крепко, без всякой приторности.

Ему не давали отдохнуть, просили повторять, целовали его, чуть не плакали. И менее, и более экзальтированные чувствовали, что тут, в этих чужих и близких, не

очень зрелых, но теплых и кровных песнях,— радостная надежда, настоящий народный поэт.

После стихов он принялся за частушки: они были его гордостью не меньше, чем стихи; он говорил, что набрал их до 4000 и что Городецкий непременно обещал устроить их в печать. Многие частушки были уже на рекрутские темы; с ними чередовались рязанские «страдания», показавшиеся слушателям менее красочными. Но Сергей убежденно защищал их, жалея только, что нет тальянки, без которой они не так хорошо звучат. Пел он по-простецки, с деревенским однообразием, как поет у околицы любой парень. Но иногда, дойдя до яркого образа, внезапно подчеркивал и выделял его с любовью, уже как поэт.

Ему пришлось разъяснять свой словарь, мы ведь были «иностранцы», и ни «паз», ни «дежка», ни «улогий», ни «скатый» не были нам понятны. Попутно он опять весело рассказывал о своей жизни в селе, о ранней любви своей к бродяжничеству, об исключении из учительской семинарии, про любимого старого деда и пр. Брошенные вскользь слова о пребывании в Москве мы пропустили мимо ушей — так нам хотелось видеть в нем поэта без вчерашнего дня, только что «от сохи».

Говорили и о современных поэтах. Не только к Блоку и поколению старших, но и ко многим едва печатавшимся у него было определенное отношение. Он читал их с зорким и благожелательным вниманием, предпочитая чистую лирику. Зато о Брюсове отозвался, как о ликере: «поганый». С умилением и чуть-чуть с хитрецою вспомнил, как на ближайших днях Блок беседовал с ним об искусстве.

— «Не столько говорил, сколько вот так, объяснял руками. Искусство — это, понимаете... (он сделал несколько подражательных кругообразных жестов). А сказать так и не умел...»

В этот вечер кое-кто побратался с Сергеем надолго и прочно. Наш приятельский «орден» постепенно сблизился с ним в частых товарищеских встречах, постоянных чтениях стихов, прогулках по улицам, пока его не стали звать повсюду нарасхват и пока не появился около него Ник. Ал. Клюев, без которого впоследствии почти нельзя было видеть Есенина. Называть себя он сам предложил «Сергуней», как звали его дома*.

Еще два характерных вечера из периода этих первых шагов. 30 марта редакция «Нового журнала для всех»

---

* У меня, у Ляндау, в семье писательницы З. Д. Бухаровой, крайне тепло и чутко относившейся к Сергею.

созвала литературную молодежь на очередную вечеринку в свое маленькое помещение, где умели принимать по-семейному, тепло и скромно. (Имя Елены Гуро и культ ее мироощущения были знаменем некоторых членов редакции.) Не помню, с кем пришел туда Сережа.

Гости были разные, из поэтов по преимуществу молодые акмеисты, охотно посещавшие вечера «с чаем». Читали стихи О. Мандельштам (признанный достаточно, кандидат в мэтры), Г. Иванов, Г. Адамович, Р. Ивнев, М. Струве и другие. Наибольший успех был у Мандельштама, читавшего, высокопарно скандируя, строфы о ритмах Гомера («голову забросив, шествует Иосиф» — говорили о нем тогда). Попросили читать Есенина. Он вышел на маленькую домашнюю эстраду в своей русской рубашке и прочел помимо лирики какую-то поэму (кажется, «Марфу Посадницу»).

В таком профессиональном и знающем себе цену обществе он несколько проигрывал. Большинство смотрело на него только как на новинку и любопытное явление. Его слушали, покровительственно улыбаясь, добродушно хлопали его «коровам» и «кудлатым щенкам», идиллические члены редакции были довольны, но в кучке патентованных поэтов мелькали очень презрительные усмешки.

Кончив чтение, он отошел к печке и, заложив пальцы за пояс, окруженный, почтительно и добросовестно отвечал на расспросы. Его готовы были снисходительно приручить. Тем, кто уже был тогда в бессознательном, но полном влюбленности «заговоре» с Сергеем, было ясно, как он относился к этому обращению. В нем светилась какая-то приемлющая внимательность ко всему, он брал тогда все как удачу, он радовался победе и в толстых и в тоненьких журналах, тому, что голос его слышат. Он ходил как в лесу, озирался, улыбался, ни в чем еще не был уверен, но крепко верил в себя *.

Памятен и другой вечер у поэта Ивнева, нашего общего с Сергеем приятеля, причисляемого в то время по бездомности к футуристам и жившего при библиотеке на Симеоновской ул., д. 5, вечер безалаберно-богемный и очень характерный. Тут была поэтическая разноголосица, с некоторым шипением друг на друга. Читал сре-

* Из приведенного в конце этого очерка письма видно, до чего напряженно занимал Сергея начавшийся вокруг его имени в журнальной сфере шум, который он деловито оценил как путь к славе «знаменитого русского поэта».

ди прочих с невероятным апломбом бойкий и кричавший о себе тогда, а после исчезнувший Илья Зданевич, Есенину отведено было почетное место, он был «гвоздем» вечеринки.

В обществе преобладали те маленькие снобы, те иронические и зеленолицые молодые поэты, которые объединялись под знаком равнодушия к женщине — типичнейшая для того «александрийского времени» фаланга. Нередко они бывали остроумны и всегда сплетничали и хихикали. Их называли нарицательно «юрочками». Среди них были и более утонченные, очень напудренные эстеты, и своего рода мистики с истерией в стихах и развинченном теле, но некоторые были и порозовее, только что приехавшие с фронта.

Такой состав присутствующих был неорганизованным, случайным, но удивить никого не мог: это было обычное в младших поэтических кругах, даже традиционное «бытовое явление».

Пожалуй, никому из «юрочек» и маленьких денди не пришелся по вкусу Есенин: ни его стихи, ни его наружность. То, что их органически от него отталкивало, объяснялось и петербургским снобизмом, и зародившейся в них несомненной завистью (настаиваю на этом) к тому, что было у него, а им не хватало: подлинности, здоровья, поэтической «внешкольности». Их цех ощерился в защиту хорошего вкуса.

Но это была не литературного порядка зависть, хотя они и поспешили нацепить на Есенина ярлык «кустарного петушка», сусального поэта в пейзанском стиле. Ярлык этот был закреплен некоторыми акмеистами старшего призыва *.

Есенин, не казавшийся нелепым в этом кругу только потому, что там ничто не могло быть странным и все могло быть забавным, принимал их прилично затушеванную язвительность за питерскую любезность. Щебечущий и ласковый хозяин, с восторгом относившийся к Сергею, смягчал прорывавшуюся неловкость.

В маленькой комнате, куда собрались после летучего чтения стихов и холостого беспорядочного чая, усе-

* Целая группа царскосельских поэтов ультимативно отказалась участвовать в изящном альманахе изд-ва «Фелана» (1916), если на страницы его будут допущены кустарные Клюев и Есенин. Клюев, однако, еще раньше печатался в «Гиперборее» (органе «Цеха поэтов»), и его формальные качества (при изощренной «глубинности») находили большее признание. Поколение символистов ценило его высоко.

лись очень тесно — кто на подоконнике, кто на столе, кто на полу. На полу у стенки присел Есенин, которого немедленно попросили петь частушки, напоминая, что у него есть, как он сам признался, и «похабные». Погасили для этой цели электричество. По обыкновению, Сергей согласился очень охотно, с легкой ухмылочкой. Но простая черноземная похабщина не показалась слушателям особенно интересной. В углах шушукались и посмеивались не то над Есениным, не то на свои интимные темы. Начав уверенно, Сергей скоро стал петь с перерывами, нескладно и невесело, ему, видимо, было не по себе. И когда голос футуриста, читавшего перед тем свою поэму об аэропланах, вдруг громко произнес непристойно-специфическую фразу, пение оборвалось на полуслове, словно распаялось. По общему внезапному молчанию можно было заключить, что многим стало неловко и что это развлечение в темноте не будет продолжаться. Зажгли свет, и некоторые гости, в том числе и Есенин, стали расходиться.

Так Сергей, попав сначала, по счастью, к поэтам старшим, познакомился лично со многими сверстниками по перу. Но шероховатости этого знакомства точно не коснулись его тогда; он, конечно, все видел, но, казалось, ничего серьезно не различал и не принимал к сердцу, по простоте ли, потому ли, что, упорно пробивая себе путь в этом прихотливом интеллигентском лесу, ему не интересно и *не надо* было ничего замечать.

В Петербурге он пробыл после этого весь апрель*. Его стали звать в богатые буржуазные салоны, сынки и дочки стремились показать его родителям и гостям. Это особенно усилилось с осени, когда он приехал вторично. За ним ухаживали, его любезно угощали на столиках с бронзой и инкрустацией, торжественно усадив посреди гостиной на золоченый стул. Ему пришлось видеть много анекдотического в этой обстановке, над которой он еще не научился смеяться, принимая ее доброжелательно, как все остальное. Толстые дамы с «привычкой к Лориган» лорнировали его в умилении, и солидные папаши,

---

* В конце марта он снялся с двумя спутниками в плохой уличной фотографии. Крайне типичный снимок; в пиджаке на нескладно торчащей рубахе, но уже в новой фетровой шляпе того фасона, которому он не изменил и в Париже, Сергей вышел на карточке «разбойным и веселым» парнишкой с чертами хулигана. Та пастушья нежность, которой все восхищались, не нашла здесь отражения.

ни бельмеса не смыслящие в стихах, куря сигары, поощрительно хлопали ушами.

Стоило ему только произнести с упором на «о» — «корова» или «сенокос», чтобы все пришли в шумный восторг. «Повторите, как вы сказали? Ко-ро-ва? Нет, это замечательно! Что за прелесть!»

Наша приятельская сентиментальность выливалась в гротескные, пристыжающие нас формы, а Сережа, терпеливо мигая смеющимися не без хитрецы глазами, спрашивал иногда без всякой обиды: «Чего они не поняли?» — и вежливо повторял требуемое слово.

В то время он еще не носил своих знаменитых кудрей, но за трогательную и действительно «нездешнюю» наружность и «золотые флюиды» его наперерыв называли «пастушком», «Лелем», «ангелом», и всякий по-своему норовил его «по шерсти бархатной потрогать».

В его обхождении с этими людьми, которых он еще вовсе не хотел называть «вылощенным сбродом», была патриархальная крестьянская благовоспитанность и особая ласковая жалость, но сквозь них, как непокорная прядь из-под скуфейки, изредка пробивался и подмигивал приятелям озорной и лукавый огонек, напоминавший, что «кудлатый щенок» не всегда будет забавлять их так кротко и незлобиво.

Помню, немного позднее (во второй приезд) случилось мне быть спутником Сергея в очень аристократическом доме, где все было тихо и строго. Его позвали прочесть стихи старому, очень почтенному академику, знатоку литературы и мемуаристу.

В чопорной столовой хозяйка дома тихонько выражала удивление, что он такой «чистенький и воспитанный», несмотря на простую ситцевую рубашку, что он как следует держит ложку и вилку и без всякой мещанской конфузливости отвечает на вопросы.

Но Сережа все-таки слегка робел перед сановным академиком и норовил стоять, когда тот вел с ним беседу, так что мне приходилось тихонько дергать его сзади за рубашку, чтобы он сел. Старик слушал снисходительно, кое-что одобрял, но вносил свои стилистические поправки.

— Милый друг, а Пушкина вы читали? Ну, так вот, подумайте сами, мог ли сказать Пушкин, что рука его крестится *«на известку* колоколен»?

Последовало длинное поучение о грамматике и чистоте великого русского языка, окончательно вогнавшее в краску вытянувшегося в струнку Сергея.

Не бывая лично у Мережковских, где, конечно, со своей точки зрения были заинтересованы Есениным, человеком от земли, и куда Сергею было небесполезно приходить ввиду большой влиятельности хозяев в журнальном и критическом мире, я помню, как отзывался о них Сергей.

К Философову он относился очень хорошо. Тот пленил его крайним вниманием к его поэзии, авторитетным, барственно мягким тоном джентльмена *. Сам Мережковский казался ему сумрачным, «выходил редко, больше все молчал» и как-то стеснял его. О Гиппиус, тоже рассматривавшей его в усмешливый лорнет и ставившей ему испытующие вопросы, он отзывался с все растущим неудовольствием. «Она меня, как вещь, ощупывает!» — говорил он.

К женщинам из литературной богемы Сергей относился с вежливой опаской и часто потешал ближайших товарищей своими впечатлениями и сомнениями по этой части. С наивным юмором, немного негодуя, он рассказывал об учащающихся посягательствах на его любовь. Ему казалось, что в городе женщины непременно должны заразить его скверной болезнью («Оне, пожалуй, тут все больные»). Их внешняя культурность не рассеивала этого предубеждения.

На первых порах ему пришлось со смущением и трудом избавляться от упорно садившейся к нему с ласками на колени маленькой поэтессы, говорящей всем о себе тоненьким голосом, что она живет в мансарде с «другом и белой мышкой». Другая, сочувствующая адамизму, разгуливала перед ним в обнаженном виде, и он не был уверен, как к этому отнестись; в Питере и такие штуки казались ему в порядке вещей. Третья, наконец, послужила причиной его ссоры с одним из приятелей, оказавшись особенно решительной. Он ворчал шутливо: «Я и не знал, это у вас в Питере эдак целуются. Так присосалась, точно всего губами хочет вобрать». Но вся эта женская погоня за неискушенным и, конечно, особенно

---

* Философов редактировал небольшой художественный журнал «Голос жизни», где Сергей печатался с почетом. Впоследствии его отношение к Философову изменилось: он почувствовал его отчужденность еще до революции. Посвящения под заголовками стихов были вычеркнуты.

привлекательным для гурманок «пастушком» — так, по словам Сергея, ничем и не кончилась до первой его поездки в качестве эстрадного поэта в Москву.

Такова была среда, в которой поневоле вращался Сергей и с которой он инстинктивно был не менее осторожен, чем доверчив. Говорили, что его неминуемо «развратят» («Подлинный цветок и столько бесов вокруг»,— заметил один дружеский голос). Но за него, оказалось, бояться было нечего: ему удалось без хитрости перехитрить «иностранцев».

С шутливым недоверием относясь к богемной эротике, он, помню, рассказывал, сидя вечером с товарищами в нашем милом «подвале», какова бывает любовь в деревне, лирически ее идеализируя.

Тут было дело не в личных признаниях (хотя он говорил, а пожалуй, и фантазировал о собственных ранних чувствах там, на родине). Эта тема была только поводом вспомнить о рязанских девушках и природе. Ему хотелось украсить этим лиризмом самые родные ему и навсегда любимые предметы, образы, пейзажи — в глазах тех, кто не может знать их так, как он. От этого полубытового мечтательного рассказа о деревенской любви и всего, что с нею связано, у меня в памяти твердо остался только образ серебрящихся ночью соломенных крыш*.

29 апреля несколько друзей проводили Сережу на вокзал. Он уехал на родину с «большими ожиданиями», зная, что еще вернется и что в Питере он уже начал побеждать. Это радовало и веселило его, он был благодарен каждому, кто его услышал и признал.

В литературных кругах он сумел стать проблемой дня и предметом прений, еще независимо от Клюева. А в среде его новых приятелей, если отмести тех, кто не шел дальше туповатой «меценатской» покровительственности, замечалось уже чувство, похожее на то, какое при-

* К деревне и к дому он возвращался в разговорах постоянно, до последнего года жизни. Он говорил об этом с внезапным приливом нежности и мечтательности, точно отмахивался от всего, что вьется и путается вокруг него в беспокойном сне. Ни в коем случае не была для него деревня только «основной лирической темой». Это был действительно самый почвенный уголок его внутреннего мира, реальнейшая точка, определяющая его сознание. Мать, сестры (особенно младшая), родина, дом — многие помнят, я думаю, как говорил о них Есенин не только в стихах.

знанный поэт Есенин, перешагнув через столько изломов и кругов, оставил во многих сердцах после своей смерти.

Мы и тогда, думается, чувствовали, что он, Сережа, этой весной прошел среди нас огромными и фантастически легкими шагами по воздуху, как бывает во сне; прошел, найдя немало приятелей (первые десятки из будущих сотен!) и, может быть, ни одного друга, весь еще в туманности наших иллюзий: золотоголовый крестьянский мальчик, с печатью непонятного обаяния, всем чужой и каждому близкий.

В июне пронесся слух, что Есенина на родине забрали в солдаты. Он оказался не до конца верным. Сергей, временно освобожденный, мирно провел лето 1915 года в селе Константинове.

В конце июля я получил от него первое письмо, которое привожу полностью:

«Дорогой Володя! Радехонек за письмо твое. Жалко, что оно меня не застало по приходе. Поздно уже я его распечатал. Приезжал тогда ко мне К. Я с ним пешком ходил в Рязань и в монастыре были, который далеко от Рязани. Ему у нас очень понравилось. Все время ходили по лугам, на буграх костры жгли и тальянку слушали. Водил я его и на улицу. Девки ему очень по душе. Полюбилось так, что еще хотел приехать. Мне он понравился еще больше, чем в Питере.

Сейчас я думаю уйти куда-нибудь.

От военной службы меня до осени освободили. По глазам оставили. Сперва было совсем взяли.

Стихов я написал много. Принимаюсь за рассказы, 2 уже готовы. К. говорит, что они ему многое открыли во мне. Кажется, понравились больше, чем надо. Стихов ему много не понравилось, но больше восхитило. Он мне объяснял о моем *пантеизме* и собирался статью писать.

Интересно, черт возьми, в разногласии мнений. Это меня не волнует, но хочется знать, на какой стороне Философов и Гиппиус. Ты узнай, Володя. Меня беспокоит то, что я отослал им стихи, а ответа нет.

Черновиков у меня, видно, никогда не сохранится. Потому что интересней ловить рыбу и стрелять, чем переписывать.

За июнь посмотри «Северные записки». Там я уже напечатан, как говорит К. Жду только «Русскую мысль».

Читал в «Голосе жизни» Струве. Оба стиха понравились. Есть в них, как и в твоих, «холодок скептической печали».

Стихов я тебе скоро пришлю почитать. Только ты поторопись ответом. Самдели уйду куда-нибудь.

Милый Рюрик! Один он там остался.

Городецкий мне все собирается писать, но пока не писал. Писал Клюев, но я ему все отвечать собираюсь. Рюрику я пишу, а на Костю осердился. Он не понял как следует. Коровы хворают, люди не колеют.

Вот стишок тебе один.

Я странник улогой
В кубетке сырой.
Пою я про бога,
Как сыч за горой.

На шолковом блюде
Опада осин.
Послухайте, люди,
Ухлюпы трясин.

Ширком в луговины,
Целуя сосну,
Поют быстровины
Про рай и весну.

Я странник улогой,
Лишь в песнях живу,
Зеленой дорогой
Ложуся в траву.

Покоюся сладко
Меж росновых бус.
На сердце лампадка,
А в сердце Исус.

Извести, каков стих, и я пойму о других. Перо плохое. Чернила высохли. Пишешь, только болото разводишь. Пока прости.

Любящий тебя *Сережа*».

Небольшое письмо, помеченное 22. VII. 15 (Кузьминское, Ряз. губ.), почти аналогичное первому:

«Дорогой Володя! Порадуйся со мной вместе. Осенью я опять буду в Питере. К адресу ты прибавь еще село Константиново. Письмо я твое получил на покосе, поэтому писать мне было негде. Стихов я тебе пришлю тут как-нибудь скоро. Я очень жалею, что «Голос жизни» закрылся. Знаешь ли ты причины? В «Ежемесячном жур-

нале» Миролюбова были мои стихи. Городецкий недавно прислал письмо, но еще почему-то не отвечает, по-видимому, он очень занят. Это письмо пока предварительно. Я ведь жду от тебя полного ответа. Как Костя и Рюрик? Видел ли их?

Любящий тебя крепко *С. Есенин*».

В том, что рассказано выше, намечаются начальные вехи двойственного пути, казавшегося некогда Сереже широким, непочатым простором. За их забытыми тенями проступает с некоторой ясностью бытовой фон литературной жизни, на котором он начал расти как поэт. Если тут есть предостережения, то лишь очень смутные.

Во второй половине 1915 года и в 1916 году Сергей на поверхностный взгляд мало менялся, продолжая пассивно осваиваться с новым миром и разбираясь в «разногласии мнений». Не колебался и строй его песни, навсегда чужой ежедневности. «Подвиг» его лишь в том, как он нес и защищал эту песню: в этой защите развертывалась и крепла его личность. Податливый только на те влияния, которые не сбивали его с органического пути, он не изменял ничему изначальному своему. Нельзя было ни убить его иронией, ни захвалить — ни то, ни другое его не пронзало. Он знал себе цену, но помалкивал о ней: к откликам прислушивался с детской радостью, преувеличивая их искренность; на шипение не плевал, а скорее улыбался. С резкими выпадами еще не боролся, притихал. Но стремление по-своему оценивать людей и вещи, входящие в круг его ближайших интересов, проявлялось в нем сильно. Он судил обо всем уже определенно, решительно, «буйственно». Его смирение было чисто внешним. Никакая рефлексия не размягчала его здоровых мускулов.

Если иногда на миру, в обществе так называемых «культурных людей», его вовлекали в щекотливый литературный спор, он старался не теряться. Но его нестройный разговорный язык не ассонировал с академической речью и над ним смеялись.

Начиная развивать свое мнение на отвлеченную тему и ища обобщающих формул, он впадал в косноязычие и орудовал одними народными образами первобытного «имажинизма», облекая в них все понятия. Он хотел говорить, как поэт.

На эту удочку его легко было поймать и, когда он сбивался, не менее легко было почесать языки по поводу

некультурности «черноземного паренька». Нечего и говорить, что Сергей не любил этих бесед.

Но в своей компании, где тянулись к нему нити дружбы, где перестали помнить, что он чужой и «гость», он спорил с азартом и отстаивал свои мнения упрямо, по-мальчишески поругиваясь, пересыпая свои доказательства неизменным: «Понимаешь? Да ты пойми!» Был он всегда весел, и, когда вносил свою незабываемую «Сергунькину» улыбку на порог комнаты, мы все становились еще моложе, чем были. Он часто смеялся, не очень громко, погыкивая, высоким добрым смешком, до щелочек сощуривая свои озорные глаза, делая меткие сравнения и всех заражая своим задором. Хорошо было веселой гурьбой — с ним в центре — гулять по улицам. Тогда, помнится, никакими «кабаками» это не кончалось. В «Привале комедиантов», открывшемся весной 1916 года, я его видел лишь случайным гостем.

В наружности Сергея — под разными последовательными влияниями — скоро появился внешне профессиональный отпечаток. Его старшие начетчики с самыми лучшими намерениями старались стилизовать его на разные лады. В этом он был более всего пассивен и сам колебался в вопросе, какие прикрасы ему больше к лицу.

Некоторые советовали ему, отпустив подлиннее свои льняные кудри, носить поэтическую бархатную куртку под Байрона. Но народный поддевочный стиль восторжествовал; его сторонником был главный наставник Сергея — Клюев, о котором пришлось бы говорить непрерывно, вспоминая общий дух его «трудов и дней» в 1916 году.

Его отношения с Городецким, принявшим его восторженно и деятельно помогавшим ему выйти в свет, известны мне только по беглым отзывам самого Сергея. В 1915 году он, во всяком случае, хвалил Городецкого, был за многое ему благодарен и очень опирался на него, живя притом временно под его кровом. Личного «человеческого» влияния на Сергея Городецкий, однако, почти не имел, их сближало только единство фронта в недолговечном неонародническом лагере.

В строении его индивидуальности в ту эпоху значительную роль играли Клюев и, отчасти, Блок (что он и сам подтверждает в своей лаконической автобиографии). О некоторых моих впечатлениях я могу упомянуть.

В Петербург Сережа вернулся в средних числах октября 1915 года и 25 октября выступил в организован-

ном Городецким большом вечере (в Тенишевском зале) под названием «Краса». Тут он вынес наконец на эстраду свою родную тальянку. Кроме него и Клюева — поэтов крестьянства, выступали и представители города — Алексей Ремизов и сам Городецкий. В основу этого нарочито «славянского» вечера была положена погоня за народным стилем, довольно приторная. Этот пересол не содействовал успеху вечера; публика и печать не приняли его всерьез, и искусственное объединение «Краса» с этих пор само собой заглохло. Но та белая с серебром рубашка, которую посоветовали надеть на этот вечер Есенину, положила начало театрализации его выступлений*, приведшей потом к поддевкам и сафьяновым сапогам, в которых он и Клюев ездили показаться москвичам.

В ноябре Сергей по частным причинам отошел от Городецкого, и с этих пор его ближайшим другом, учителем и постоянным спутником становится Николай Клюев и начинается полоса их общей работы, прошедшей под знаком верности народным «истокам» и той расприи, о которой писал впоследствии Сергей.

Эти сложные взаимоотношения двух индивидуально ярких поэтов, о которых опасно говорить в коротких словах, неизбежно станут большой и, вероятно, загадочной темой для будущего исследователя; она потребует тонкого и бережного анализа, которому не пришло еще время. Но во всяком случае, влияние Клюева на Есенина в 1915—1916 годах было огромно.

Не всегда относясь к Клюеву положительно, подымая иногда бунт против его авторитета и мистагогии, инстинктивно и упорно стремясь отстоять и утвердить свою личную самобытность, Есенин благоговел перед Клюевым как поэтом. В часы, когда тот читал с большим искусством свои тяжелые, многодумные, изощренно-мистические стихи и «беседные наигрыши», Сергей не раз молча ука-

* Не отказываясь от своеобразной обрядности и эстрадной костюмировки, перешедших потом в дендизм другого рода, Сергей, внимательный только к литературному слову как таковому, очень равнодушно относился к театру (многие частности культурной жизни подобно этой его не затрагивали). Он не умел быть «публикой». Исключения же, однако, бывали. На представлении «Китежа» (декабрь 1915 г.), где мы тоже были втроем (с ним и Клюевым), Сергей восторгался и оперой и исполнением Ершова. В 1916 году я помню его тоже почти сияющим от удовольствия на спектакле «Передвижного театра» Гайдебурова. Его тронула проникновенность и «духовность» актерского исполнения, а форма лирической драмы (Тагор) вообще могла быть ему близка.

зывал на него глазами, как бы говоря: вот они, каковы стихи!

В 1916 году беседы Клюева, его узорчатый язык, его завораживающие рассказы об олонецких непроходимых лесах и старообрядческих скитах, о религиозной культуре севера вообще производили большое впечатление на слушателей.

К единству своего пути с судьбой Есенина, к их общей крестьянской миссии Клюев относился крайне ревниво, настойчиво опекая Сергея, неотступно следя за ним глазами и иногда в лицо говоря «интеллигентам», что они Есенину не нужны и ничего, кроме засорения, не принесут в его жизнь и поэзию.

В тонкую, обоюдоострую систему клюевской морали естественно входила и ложь как единственное оружие их — подлинных людей из народа — против интеллигентов. К лагерю этих святых лжецов он недвусмысленно стремился присоединить и послушного ему на некоторое время Сергея.

Принимая отчасти ту классовую правоту, которую можно было расслышать в недоговоренных словах Клюева, видя постоянное сотрудничество и, казалось, преданную любовь к нему Сергея, невольно приходилось смотреть на них как на нечто единое. Ни у кого из петербургских попутчиков Есенина не было достаточно прав считать себя более близким ему человеком, чем у Клюева: этот песенный союз сурово обволакивала чуждая малым городским поэтам избяная стихия.

В начале 1916 года Сергей, кажется, впервые заговорил со мной откровенно о Клюеве, без которого даже у себя дома я давно его не видел. С этих пор, не отрицая значение Клюева как поэта и по-прежнему идя с ним по одному пути, он не сдерживал своего мальчишески-сердитого негодования. В этой порывистой брани подчас звучало больше горячности и злобы, чем их было в сердце Сергея. В иной, более глубокой сфере сознания он, конечно, не переставал считать Клюева своим другом и, несмотря на все дальнейшее охлаждение и разъединение, не покинул его внутренне до последних дней.

В 1918 году, когда он обрушивался на многих современников с запальчивостью огульного отрицания, преодолевая подгнившие авторитеты и уже окончательно не признавая прав на первенство и учительство за «нежным апостолом» Клюевым, Сергей после уничтожающих ти-

рад прибавлял, на минуту задумываясь: «Но все-таки — какой поэт!»

В ином свете рисуются отношения Есенина с Блоком. Их внешние проявления незначительны, их рамки узки. С 1916 года, да и раньше, поэты встречались не часто. Блока почти нельзя было видеть на рядовых литературных сборищах, где Сергей был постоянным гостем. В практической жизни писательского круга Есенин от Блока не зависел, но изредка по невольному влечению приходил поговорить с ним. Это случилось в те дни, когда он (после Октябрьской революции) упорно настаивал на том, что «Блок — плохой поэт». Если не ошибаюсь, был только один случай, правда, резкий и надрывный, даже решающий, когда, явясь к Блоку, он держал себя с ним, по собственному признанию, вызывающе и дерзко, а потом, вернувшись домой, нахмуренный, объявил, что у него с Блоком—кончено и что больше он к нему не пойдет. Это был период, когда он в яростном напряжении молодых сил и самоуверенности ничего не видел, кроме рождения «новой России» в *мужичьих* яслях.

То, что в Блоке было похоже на холод и сухость, его углубившаяся «от дней войны, от дней свободы» замкнутость, всегда несколько отшатывало и уводило от него Есенина. Не мне одному приходилось слышать в его порою недобрых словах нечто подобное отвращению к педантизму и выдержанности Блока. Но инстинкт иного порядка долго заставлял Сергея не терять его из виду и искать новых встреч, к которым относился не просто, с каким-то волнением. «К Блоку только сначала подойти трудно»,— говорил он мне в 1916 году. Преодолев это наплывающее на него каждый раз чувство отчуждения, он вновь начинал видеть в Блоке родного ему поэта, первого, к кому он пришел, и пришел не случайно.

В памяти моей неизгладимо запечатлелось, как неподвижные и несколько надменные черты Блока вдруг прояснялись самой ребяческой, так и не сходившей с лица улыбкой, когда читал свои стихи Сергей. Из своего одиночества Блок лучше, чем кто-либо, предупреждал его об опасности хождения по буржуазным салонам и общения с литературными дегенератами, советуя ему хранить себя и углубленно работать. Сергей ценил эти советы и часто с любовью повторял его слова. Помню, как он наставительно и серьезно уговаривал меня заниматься науками, шутливо прибавляя: «Ну, запрись ты хоть на время от баб. Ты сиди, сиди, как Блок сидит...»

О конечной судьбе этих неустойчивых, как многое в жизни Сергея, отношений свидетельствует фраза из письма его ко мне, написанного за год до смерти из Тифлиса: «Отними...., ..., Клюева, Блока, ...,— что же у меня останется? Хрен да трубка, как у турецкого святого» *.

В. Чернявский

В первый раз я его встретил в лаптях и в рубахе с какими-то вышивками крестиками. Это было в одной из хороших ленинградских квартир. Зная, с каким удовольствием настоящий, а не декоративный мужик меняет свое одеяние на штиблеты и пиджак, я Есенину не поверил. Он мне показался опереточным, бутафорским. Тем более что он уже писал нравящиеся стихи и, очевидно, рубли на сапоги нашлись бы.

Как человек, уже в свое время относивший и отставивший желтую кофту, я деловито осведомился относительно одежи:

— Это что же, для рекламы?

Есенин отвечал мне голосом таким, каким заговорило бы, должно быть, ожившее лампадное масло.

Что-то вроде:

— Мы деревенские, мы этого вашего не понимаем... мы уж как-нибудь... по-нашему... в исконной, посконной...

Его очень способные и очень деревенские стихи нам, футуристам, конечно, были враждебны.

Но малый он был как будто смешной и милый.

Уходя, я сказал ему на всякий случай:

— Пари держу, что вы все эти лапти да петушки-гребешки бросите!

Есенин возражал с убежденной горячностью. Его увлек в сторону Клюев, как мамаша, которая увлекает развращенную дочку, когда боится, что у самой дочки не хватит сил и желания противиться.

В. Маяковский

---

* По словам К. А. Соколова, жившего с Сергеем несколько месяцев под одной кровлей и помнящего его день за днем, он писал это письмо в совершенно трезвое, «размышляющее» утро. Наряду с приведенными именами еще три частных дружеских имени. В начале письма слова: «Черт знает, когда свидимся. Я уезжаю в Персию». Остальной текст письма личного характера. Даты нет (приблизительно, ноябрь 1924 г.).

...Н. Клюев бывал у меня. Он нуждался и жил вместе с Сергеем Есениным, о котором всегда говорил с большой нежностью, называя его «златокудрым юношей». Талант Есенина он почитал высоко.

Однажды он привел ко мне «златокудрого». Оба поэта были в поддевках. Есенин обличьем был настоящий деревенский щеголь...

Сначала Есенин стеснялся, как девушка, а потом осмелел и за обедом стал трунить над Клюевым. Тот ежился и, втягивая голову в плечи, опускал глаза и разглядывал пальцы, на которых вместо ногтей были поперечные, синеватые полоски.

— Ах, Сереженька, еретик,— говорил он тишайшим голосом.

Н. Плевицкая

21 января 1916 года я узнал, что в Москву приехал Николай Клюев и вечером будет выступать в Обществе свободной эстетики. Я не очень любил это общество и почти никогда там не бывал, но Клюева мне хотелось послушать и посмотреть. Уже четыре года, как он обратил на себя всеобщее внимание. Он уже успел выпустить три книги стихов, и я был ими очень заинтересован.

Собрание Общества свободной эстетики на этот раз происходило в помещении картинной галереи Лемерсье на Петровке. Я прибыл в назначенное время, но тут всегда запаздывали, и я долго слонялся по залам, увешанным картинами, терпеливо ожидающими себе покупателей. Галерея Лемерсье была чем-то вроде художественно-комиссионной конторы. Потом я очутился в одной из последних комнат, где расставлены были стулья рядами и собралось уже порядочно публики. Я нашел знакомых, с которыми ранее уговорился встретиться. Стали дожидаться вместе. Наконец раздался шепот: «Приехал!»

И вот между пиджаками, визитками, дамскими декольте твердо и уверенно пробирается Николай Клюев. У него прямые светлые волосы; прямые, широкие, спадающие, «моржовые» усы. Он в коричневой поддевке и высоких сапогах. Но он не один: за ним следом какой-то парень странного вида. На нем голубая шелковая рубашка, черная бархатная безрукавка и нарядные сапожки. Но особенно поражали пышные волосы. Он был совершенно белоголовый, как бывают в деревнях малые ребята. Обы-

кновенно позднее такие волосы более или менее темнеют, а у нашего странного и нарядного парня остались, очевидно, и до сих пор. Они были необычайно кудрявы.

Распорядитель объявил, что стихи будет читать сначала Клюев, потом... последовала незнакомая фамилия. «Ясенин» послышалось мне. Это легко осмысливалось: «Ясень», «Ясюнинские»... И когда через полгода я купил только что вышедшую «Радуницу», я не без удивления увидал, что фамилия автора начинается с «е» и что происходит она не от «ясень», а от «осень», по-церковнославянски «есень».

Сначала Клюев читал большие стихотворения, что-то вроде современных былин, потом перешел к мелким, лирическим. Помню, как читал он свой длинный «Беседный наигрыш. Стих доброписный». Содержание было самое современное:

Народилось железное царство
Со Вильгельмищем, царищем поганым.—
У него ли, нечестивца, войска — сила,
Порядового народа — несусветно...

Клюев поражал своею густою красочностью и яркою образностью.

Очередь за другим поэтом. Он также начал с эпического. Читал о Евпатии Рязанском. Этой былины я нигде потом в печати не видел и потому плохо ее помню. Во всяком случае, тут не было того воинствующего патриотизма, которым отличались некоторые вещи Клюева. Если тут и был патриотизм, то разве только краевой, рязанский. Потом Есенин перешел к мелким стихам, стихам о деревне. Читал он их очень много, разделял одно от другого короткими паузами, читал, как помнится, еще не размахивая руками, как было впоследствии. «Жарит, как из пулемета»,— сказал мой сосед слева. Большинство прочитанного поэтом вошло потом частью в «Радуницу», частью в «Голубень».

— Это что-то вроде Кольцова или Некрасова, которых я терпеть не могу! — сказала моя соседка справа, художница-футуристка, щеголявшая своей эксцентричностью.

Потом был перерыв, потом опять читали в том же порядке. В перерыве и по окончании в гардеробной слушатели обменивались впечатлениями о стихах и о наружности поэтов. Сосед мой слева, поклонник Тютчева, одобрял Клюева:

— Какая образность! Например: «солнце-колокол». Помните у Тютчева: «Раздастся благовест всемирный победных солнечных лучей».

Другой поэт, деревенский парень, ему не понравился.

Еще резче отнеслась к нему моя соседка справа, художница. Когда на лестнице к ней подошел Клюев, с которым она уже была раньше знакома, и спросил: «Ну как?», она с дерзостью избалованной женщины отвечала:

— Сначала я слушала, а потом перестала: ваш товарищ мне совсем не понравился.

— Как? Такой жавороночек? — И в тоне Клюева послышалась ласковость к своему «сынку» и сожаление.

— Впрочем, о вкусах не спорят,— смягчила свою резкость художница.— Может быть, кому-нибудь другому он и пришелся по вкусу.

Впоследствии, глядя на Есенина, я не раз вспоминал это определение Клюева: «жавороночек».

Но среди слушателей раздавались и голоса, отдававшие предпочтение безвестному до сих пор в Москве Есенину перед гремевшим в обеих столицах Клюевым. Я жадно прислушивался к этим толкам. Мне лично Клюев показался слишком перегруженным образами, а местами и прямо риторичным. Нравились отдельные прекрасные эпитеты и сравнения, но ни одно стихотворение целиком. Есенина я, как и многие другие, находил проще и свежее. Тут были стихотворения, понравившиеся мне целиком, например «Корова», где уже сказалась столь характерная для позднейшего Есенина нежность к животным. «Песня о собаке», написанная на однородную тему, конечно, лучше, но и здесь типичный мотив: «Для зверей приятель я хороший».

Не дали матери сына,
Первая радость не впрок.
И на колу под осиной
Шкуру трепал ветерок.

Кажется, в первый раз в русской литературе поэт привлекал внимание к горю коровы.

Еще более произвело на меня впечатление «В хате» («Пахнет рыхлыми драченами...»), а особенно три последние строчки:

От пугливой шумоты,
Из углов щенки кудлатые
Заползают в хомуты.

И ночью, уже ложась спать, я все восхищался этой «пугливой шумотой» и жалел, что не могу припомнить всего стихотворения.

Это о стихах. Сами же поэты, главным образом их наряды, особенно внешность Есенина, возбудили во мне отрицательно ироническое отношение. Костюмы их мне показались маскарадными, и я определил их для себя словами: «опереточные пейзане» и «пряничные мужички». Тогда-то и вспомнился мне римский кинематограф и русские революционеры в кучерских кафтанах, остриженные в кружок. Конечно, не в таком костюме ходил Есенин, когда год или полтора тому назад посещал университет Шанявского, где, кажется, усердно занимался.

Впоследствии к этой стилизации я отнесся более терпимо. Надо принять во внимание, каково было большинство публики, перед которой они выступали. Тут много было показного, фальшивого и искусственного. Были тут, между прочим, какие-то грассирующие, лощеные юноши, у которых весь ум ушел в пробор, увильнувшие от призыва на войну «белобилетники», как их тогда называли; были разжиревшие и обрюзгшие меценаты с бриллиантовыми перстнями и свиными глазками.

Летом 1916 года вышла «Радуница», а вслед за тем в «Вестнике Европы» — первая критическая статья о Есенине профессора П. Н. Сакулина под заглавием «Народный златоцвет». Эта статья очень характерна для отношения критики к Есенину первого периода. Как и следовало ожидать, Есенин рассматривается вместе с Клюевым и последнему уделяется гораздо больше внимания.

И. Розанов

Вновь встретился я с Есениным уже после того, как он вышел из «царскосельского плена». Это было недели через две после февральской революции. Был снежный и ветреный день. Вдали от центра города, на углу двух пересекающихся улиц, я неожиданно встретил Есенина с тремя, как они себя именовали, «крестьянскими поэтами»: Николаем Клюевым, Петром Орешиным и Сергеем Клычковым. Они шли вразвалку и, несмотря на густо валивший снег, в пальто нараспашку, в каком-то особенном возбуждении, размахивая руками, похожие на возвращающихся с гулянки деревенских парней.

Сначала я думал, они пьяны, но после первых же слов убедился, что возбуждение это носит иной характер. Первым ко мне подошел Орешин. Лицо его было темным и злобным. Я его никогда таким не видел.

— Что, не нравится тебе, что ли?

Клюев, с которым у нас были дружеские отношения, добавил:

— Наше времечко пришло.

Не понимая, в чем дело, я взглянул на Есенина, стоявшего в стороне. Он подошел и стал около меня. Глаза его щурились и улыбались. Однако он не останавливал ни Клюева, ни Орешина, ни злобно одобрявшего их нападки Клычкова. Он только незаметно для них просунул свою руку в карман моей шубы и крепко сжал мои пальцы, продолжая хитро улыбаться.

Мы простояли несколько секунд, потоптавшись на месте, и молча разошлись в разные стороны.

Через несколько дней я встретил Есенина одного и спросил, что означал тот «маскарад», как я мысленно окрестил недавнюю встречу. Есенин махнул рукой и засмеялся.

— А ты испугался?

— Да, испугался, но только за тебя!

Есенин лукаво улыбнулся.

— Ишь как поворачиваешь дело.

— Тут нечего поворачивать,— ответил я.— Меня испугало то, что тебя как будто подменили.

— Не обращай внимания. Это все Клюев. Он внушил нам, что теперь настало «крестьянское царство» и что с дворянчиками нам не по пути. Видишь ли, это он всех городских поэтов называет дворянчиками.

— Уж не мнит ли он себя новым Пугачевым?

— Кто его знает, у него все так перекручено, что сам черт ногу сломит. А Клычков и Орешин просто дурака валяли.

Прошло месяца три. Как-то мы шли с Есениным по Большому проспекту Петроградской стороны. Указывая глазами на огромные красивые афиши, возвещавшие о моей лекции в цирке «Модерн», он подмигнул мне и сказал: «Сознайся, тебе ведь нравится, когда твое имя... раскатывается по городу?»

Я грустно посмотрел на Есенина, как бы говоря: если друзья не понимают, тогда что уж скажут враги?

Он сжал мою руку:

— Не сердись, ведь я пошутил.

После небольшой паузы добавил, опять заулыбавшись:

— А знаешь, все-таки это приятно. Но ведь в этом нет ничего дурного. Каждый из нас утверждает себя,

без этого нельзя. Афиша ведь — это то же самое, если бы ты размножился и из одного получилось двести или... сколько там афиш бывает? Триста или больше?

Спустя некоторое время я поделился с ним моими огорчениями, что мои друзья и знакомые отшатываются от меня за то, что я иду за большевиками. Вот, например, Владимир Гордин, редактор журнала «Вершины», любивший меня искренне и часто печатавший мои рассказы, подошел ко мне недавно на лекции и сказал: «Так вот вы какой оказались? Одумайтесь, иначе погибнете!»

— А ты плюнь на него. Что тебе, детей с ним крестить, что ли? Я сам бы читал лекции, если бы умел. Да вот не умею. Стихи могу, а лекции — нет.

— Да ты не пробовал,— сказал я.

— Нет, нет,— ответил Есенин с некоторой даже досадой,— у меня все равно ничего не получится, людей насмешу, да и только. А вот стихи буду читать перед народом.

Вдруг он громко рассмеялся:

— Вот Клюева вспомнил. Жаловался он мне, что народ его не понимает. Сам-де я из народа, а народ-то меня не понимает. А я ему на это: да ведь стихи-то твои ладаном пропахли. Больно часто ты таскал их по разным «церковным салонам».

— А он?

— Обозлился на меня страшно.

В другой раз Есенин рассказал мне о своей встрече с Георгием Ивановым:

— На улице. Подошел ко мне первый: «Здравствуйте, Есенин». Губы поджал и прокартавил: «Слышали, ваш друг Ивнев записался в большевики? Ну что же, смена вех. Вчера футурист, сегодня — коммунист. Даже рифма получается. Правда, плохая, но все же рифма...» Язвит, бесится. Я ему отвечаю: «Знаете что, Георгий Иванов, упаковывайте чемоданы и катитесь к чертовой матери». И тут вспомнил слова Клюева и ляпнул: «Ваше времечко прошло, теперь наше времечко настало!» Он все принял за чистую монету и отскочил от меня, как ошпаренный кот.

Р. Ивнев

Когда мне хочется вспомнить самое крепкое из дальнейшей жизни Сергея, я вспоминаю конец семнадцатого года. Перед этим в памяти почти годовой неясный мне пе-

рерыв. Ни о царскосельском периоде, ни о дисциплинарной высылке солдата Есенина на юг я не могу сказать ничего (сам я жил тогда вне Петербурга, да, по-видимому, и недостаточно думал о Сергее).

В февральскую эпоху мы продолжали быть в разброде. Нечетко помнится мне Сергей — в гимнастерке, гладко выстриженный — на вечере поэтов в Тенишевском зале, во времена Керенского. Мелькает еще один «богемный» вечер у одного адвоката (Литейный, 29), где я впервые видел Сережу совершенно пьяным. Зато поздней осенью мы встретились с ним неожиданно вечером на улице, радостно обнялись и точно нашли друг друга вновь. После этого мне пришлось почти полгода провести с ним в постоянном общении. Правда, предательница-память сохранила об этих днях мало конкретного, никаких «частностей»: все сроки плясали в глазах, слова и впечатления расточались в воздухе. Мои воспоминания ведут меня к дому № 33 по Литейному. В этом доме провел Есенин первые месяцы своего брака с Зин. Ник. Райх (тогда вовсе не актрисой, а просто молодой редакционной работницей, красивой, спокойной, мягким движением кутавшейся в теплый платок).

Первое время, впрочем, Сергей жил еще в доме № 49 близ Симеоновской, куда и повел меня за собой. Там в общей столовой, похожей на склад литературы, сидели за чаем, видимо, партийно связанные друг с другом жильцы с типичной наружностью работников печати, недавних подпольщиков. Кажется, Сергей говорил мне о своей причастности к партии левых с.-р., но, вероятно, мне и тогда подумалось, что прямого участия в политической работе он не принимал. В первый раз я видел его в таком кругу: его золотая голова поэта и широкая улыбка сияли среди черных блуз и угрюмых глаз, глядящих из-за очков.

Но была в нем большая перемена. Он казался мужественнее, выпрямленнее, взволнованно-серьезнее. Ничто больше не вызывало его на лукавство, никто не рассматривал его в лорнет, он сам перестал смотреть людям в глаза с пытливостью и осторожностью. Хлесткий сквозняк революции и поворот в личной жизни освободили в нем новые энергии.

С оживлением сообщил он мне о своем желании устроить, как можно скорее, самостоятельный вечер стихов. Ему хотелось действовать на свой страх и уже не ради простого концертного успеха; он верил в свою личную популярность и значительность *голоса поэта Есенина* в гро-

мах событий. Тем не менее организовал он свое выступление не вовремя и достаточно наивно.

Он настаивал, чтобы вступительное слово («присловье», как впоследствии по его желанию было напечатано в афише) читал я,— не присяжный критик, но зато свой человек. Напрасны были мои уверения, что это будет с моей стороны возмутительным дилетантством и что крестьянская линия в поэзии недостаточно мною осознана. Сергей и слышать ничего не хотел.

Через несколько дней я принес ему мою работу с новым отказом ее огласить. Но Сергею непритязательная статья моя очень понравилась. Кажется, ему особенно по душе был анализ соприкосновения его поэзии со стихами Клюева и выводы в пользу полнсй самобытности Есенина. «Вот дурной! Да пойми сам, что ты лучше всех меня понимаешь». Мы вместе вышли на улицу посмотреть на только что развешанные афиши: «В среду, 22-го ноября 1917 года состоится вечер поэзии Сергея Есенина: автор прочтет стихи из книг «Радуница» и «Голубень», поэмы «Октоих» и «Пришествие». Сергей был уже в прекрасной меховой шапке («соболий мех») и хорошей шубе, с румянцем на щеках, очень крепкий и светлый...

Правда, и тогда бывали минуты, когда в глазах его появлялась грустная сосредоточенность и голос начинал звучать тихим «уходом в себя», но говорил он о будущем всегда с дерзкой, веселой верой в свою силу и требовательно грозил в пространство кулаком, похожим на длань пророка и щенячью лапу...

Мы полюбовались на афиши и пошли бродить. Сергей говорил о революции — по-своему, сумбурными образами и метафорами, радостно и крепко «доказывая», объясняя свой уклон. И, конечно, читал новые стихи, в ритмах и символах которых я должен был уловить необъяснимое словами. В полузимней слякоти — без уличных фонарей, с редкими огнями в окнах и лужах — стоял над нами Октябрь, веселый и мрачный, беспокойный и необыкновенный. Пели уже вокруг «черный вечер, белый снег...»

В такой черный вечер отправились мы и на выступление Сергея в Тенишевское училище. Публики было очень мало, вся она сбилась в передних рядах: с десяток-другой людей от литературы и общественности, несколько друзей, несколько солдатских шинелей, да какие-то районные жильцы (иначе в те дни и быть не могло).

При скудном освещении, один на эстраде, в белой русской рубашке, Сергей был очень трогателен и хорош. Читал он с успехом, так что отсутствие публики в результате его не очень огорчило. «Радуница» действовала, как всегда, беспроигрышно, поэмы были приняты слабее. В артистическую собрались слушатели-общественники, и в отдельных кучках было настроение диспутирующее. Доклад мой поругивали. Неизвестный молодой критик взял его в карман для ознакомления и потом так и не вернул. Сергей очень рассердился на меня и долго вспоминал об этом хищении, уверяя, что этот мазурик, наверное, будет пользоваться моим материалом.

В доме № 33 по Литейному молодые Есенины наняли во втором этаже две комнаты с мебелью, окнами во двор. С ноября по март был я у них частым, а то и ежедневным гостем. Жили они без особенного комфорта (тогда было не до того), но со своего рода домашним укладом и не очень бедно. Сергей много печатался, и ему платили как поэту большого масштаба. И он, и Зинаида Николаевна умели быть, несмотря на начавшуюся голодовку, приветливыми хлебосолами. По всей повадке они были настоящими «молодыми». Сергею доставляло большое удовольствие повторять рассказ о своем сватовстве, связанном с поездкой на пароходе, о том, как он «окрутился» на лоне северного пейзажа. Его, тогда еще не очень избалованного чудесами, восхищала эта неприхотливая романтика и тешило право на простые слова: «У меня есть жена». Мне впервые открылись в нем черточки «избяного хозяина» и главы своего очага. Как-никак тут был его первый личный дом, закладка его собственной семьи, и он, играя иногда во внешнюю нелюбовь ко всем «порядкам» и ворча на сковывающие мелочи семейных отношений, внутренне придавал укладу жизни большое значение. Если в его характере и поведении мелькали уже изломы и вспышки, предрекавшие непрочность этих устоев,— их все-таки нельзя было считать угрожающими.

В требующей, бегучей атмосфере послеоктябрьских дней этот временный кров Сергея и его нежная дружба были притягательны своею несхожестью ни с чем и ни с кем другим. В молодых литературных кругах распылилось и растерялось многое, а он, еще сохранявший тогда первоначальную целостность, переживал революцию по преимуществу внутри себя и своей поэзии и оставался на посту поэта и созерцателя «не от мира сего». Но то, что у другого могло казаться только чахлым и пассивным

эстетизмом, у него оборачивалось молодым, буйным огнем, в котором выковывалась его творческая индивидуальность. И прежде всего — он был еще по-рязански здоров, он был «крестьянский сын», и на лире его были натянуты живые крепкие мускулы.

Бывало, заходил я к ним около полудня. Сергей нередко вставал поздно и долго мылся и терся полотенцем в маленькой спальне. Но иногда я с утра заставал его в большой «приемной» комнате за столом и, не отрывая его от работы, тихонько беседовал с его женой.

Исправив строчку или найдя нужный ему образ (неизменно космический!), Сергей, нежно поприветствовав гостя — меня или другого,— начинал без разбору распоряжаться: «Почему самовар не готов?» или: «Ну, Зинаида, что ты его не кормишь?», или: «Ну, налей ему еще!»

У небольшого обеденного стола близ печки, в которой мы трое по вечерам за тихими разговорами (чаяниями и воспоминаниями) пекли и ели с солью революционную картошку, нередко собирались за самоваром гости. Из них в то время очень желанными и «своими» были, насколько я помню, А. Чапыгин, П. Орешин и художник К. Соколов (все трое не изменили Сергею в преданной дружбе).

Чапыгин — спокойный, укладистый, уютный, с отеческим юмором, самый старший; Петр Орешин — неразговорчивый, бледный, сумрачный, точно уязвленный, по виду — типичный городской пролетарий; Константин Соколов — наш общий с Сергеем друг — кидающийся, всклокоченный, в очках, очень русский художник и человек; меня за некоторые мои слабости Сергей именовал «русским Гамлетом» и находил, что у меня «пронзенный ум».

К. Соколов пытался приходить по утрам рисовать Сергея. Но работал он кропотливо, не сразу нашел нужную трактовку форм своей натуры, и Сергей, постоянно сбегавший от его карандаша куда-нибудь по редакционным делам, не дал ему сделать ничего, кроме нескольких набросков своей кудрявой головы.

Помнится, под праздник или после получения гонорара Сергей приносил иногда бутылку-другую вина, которое нетрудно было добыть из-под полы. Но от пьянства он был совершенно далек и выпивал только «ради случая».

В эти месяцы были написаны одна за другой все его богоборческие и космические поэмы о революции. Их немного, но тогда казалось, что они заполняют его время словесной лавиной. Идея избранничества томила его руку зудом мировых размахов, эсхатология крестьянской Валгаллы, где собственный дед дожидается его «под Маврикийским дубом», где мать его прядет лучи заката, была его единственной религией; он был весь во власти образов своей «есенинской Библии»; его пророческое животное — рязанская красная корова, именем которой он поражал салоны,— с растущим задором возводится им в символ божества. В редко роняемые им лирические стихи западает символика этих мужичьих пророчеств.

За чайным столом, едва положив перо и не трогая еды (ел он вообще мало), Сергей, страстно сосредоточенный, насупившись, читал только что написанное своим друзьям, тряс головой и бил кулаком по скатерти. В таком непрерывно созидающем состоянии я его раньше никогда не видел. Прочитав, он, довольный собой, улыбчиво и просто спрашивал как всегда: «Ну что, нравится тебе?» Но недооценка его стихов таким критиком, как я (а может быть, и другими), его нисколько не трогала, а на мелкие стилистические и метрические поправки он ни за что не соглашался и, немного подумав, отвечал на замечание хитрой улыбкой: сам, мол, знаю, что хорошо и что худо.

Про свою «Инонию», еще никому не прочитанную и, кажется, только задуманную, он заговорил со мной однажды на улице как о некоем реально существующем граде и сам рассмеялся моему недоумению: «Это у меня будет такая поэма... Инония — иная страна».

В дни, когда он был так творчески переполнен, «пророк Есенин Сергей» с самой смелой органичностью переходил в его личное «я». Нечего и говорить, что его мистика не была окрашена нездоровой экзальтацией; но это все-таки было бесконечно больше, чем литература; это было без оговорок — почвенно и кровно, без оглядки — мужественно и убежденно, как все стихи Есенина *. Его любимыми книгами в это время были Библия, в растрепанном, замученном виде лежавшая на столе, и «Слово о полку Игореве». Он по-новому открыл их для себя, носил

* Весь словарь его поэм («Инонии» в первую голову) при тогдашней его фанатической вере в самодовлеющее слово-образ определяет в своих сгустках напряжение его личного темперамента. Характерны его глаголы: «не устрашусь, вздыбливаю, выплевываю, раскушу, проклюю, вылижу, вытяну, придавлю».

их в сердце и постоянно возвращался к ним в разговорах, восторженно цитируя отдельные куски, проникновенно повторяя: «О, русская земля, ты уже за горою!»

С наступлением революции он уже по свободному почину, крупными шагами шел навстречу большой интеллектуальной культуре, искал приобщающих к ней людей (тяга к Андрею Белому, Иванову-Разумнику, чтение, правда, очень беспрядочное, поиски теоретических основ, авторство некоторых рецензий и пр.).

Но одновременно именно в эти дни прорастала в нем подспудная потребность распоясать в себе, поднять, укрепить в стихиях этой культуры все корявое, соленое, мужичье, что было в его дотоле невозмущенной крови, в его ласковой, казалось, не умеющей обидеть «ни зверя, ни человека» природе.

Этот крепкий деготь бунтующей, нежданно вскипающей грубости, быть может, брызнул и в личную его жизнь и резко отразился на некоторых ее моментах. И причина, и оправдание этой двойственности опять-таки в том, что он и тогда — такой юный и здоровый — был до мучительности, с головы до ног поэт, а «дар поэта — ласкать и карябать».

С Блоком в то время было у него внутреннее расхождение, о котором я упоминал выше. В холоде, который он почувствовал к Блоку и в Блоке, замешалась, думается мне, прямая ревность к праву на голос «первого русского поэта» в период Октября, а в скифской плеяде таковым был именно Блок. Ни «Скифы», ни «Двенадцать», казалось, не тронули Сергея.

Не помню подробностей общения его с Белым, с которым я не был знаком. Но зато к новым книгам и стихам Белого он относился с интересом и иногда с восхищением. Нравился ему и, как ни странно, казался лично близким «Котик Летаев». Некоторую кровную связь с Белым он хотел закрепить, пригласив его в крестные отцы своего первого, тогда ожидаемого, ребенка. Но впоследствии крестным его дочки Тани, родившейся после отъезда Есениных из Петрограда, записан был я. Белый крестил второго «есененка» — Котика.

С большим уважением и любовью относился Сергей к Иванову-Разумнику, с которым неизменно встречался по делам практическим и душевным. «Иду к Разумнику, покажу Разумнику, Разумнику понравилось»,— слышалось постоянно. Статьи Р. В. Иванова, принимавшего Есенина целиком, как большого *поэта революции*, совер-

шенно удовлетворяли и поддерживали Сергея. Такой «отеческой щедрости» он, наверное, ни позже, ни раньше не находил ни у кого из авторитетных критиков.

...Не считаю себя вправе говорить сейчас и судить вообще о тогдашней интимной жизни Сергея. Но повторяю, что вся эта эпоха запомнилась мне как еще очень здоровая и сравнительно счастливая. Ни о каком глубоком разочаровании и надрыве не могло быть и речи. Только изредка вспыхивали при мне в Сергее беспокойная тоска и внезапное сомнение в своей мирной удовлетворенности. Чаще всего эти маленькие срывы, эти острые углы пробивались в наших разговорах на улице, когда мы провожали куда-нибудь друг друга. Но перелом в жизни Сергея произошел не на моих глазах: им начался предстоящий ему бурный московский период.

В. Чернявский

В молодые годы я часто бывал у одного из моих петербургских приятелей Кости Ляндау. Как большинство тогдашней молодежи, Ляндау бредил поэзией и даже пробовал помещать стихи в журналах. Поэта из него не вышло, но это был весьма начитанный для своего возраста человек с хорошим вкусом, и в его небольшой комнате на набережной Фонтанки у Аничкова моста чуть не каждый вечер собирались страстные поклонники поэзии.

Отец Ляндау, или, как его шутливо величали Костины сверстники, «старый Юлиан», был не то биржевиком, не то коммерсантом. Обладая солидными средствами, он ни в чем не стеснял своего сына и, бывали случаи, поддерживал материально его поэтических друзей.

У Ляндау-младшего, жившего отдельно от родителей, в холостяцкой обстановке, было собрание редких книг, главным образом, произведений русских и иностранных поэтов. Комната Ляндау помещалась в нижнем этаже типично петербургского дома, из окон которого виднелся мощный ансамбль Екатерининского института и силуэт вздыбленных клодтовских коней. Старинная обстановка: мебель, полки с книгами и гравюры на стенах — делали ее похожей на интерьер первой половины прошлого века, а вечерние сборища, происходившие в ней,— на собрания пылких «архивных юношей» пушкинской поры. В «кружке Ляндау» до хрипоты спорили о поэзии и не

раз раздавался густой голос Осипа Мандельштама, читавшего свои стихи.

Здесь же впервые я услышал и незнакомое мне до тех пор имя Сергея Есенина, а затем встретился с начавшим входить в моду «крестьянским», как его тогда называли, поэтом.

О Есенине в тогдашних литературных салонах говорили как о чуде. И обычно этот рассказ сводился к тому, что нежданно-негаданно, точно в сказке, в Петербурге появился кудрявый деревенский паренек, в нагольном тулупе и дедовских валенках, оказавшийся сверхталантливым поэтом. Прибавлялось, что стихи Есенина уже читал сам Александр Блок и что они ему понравились. Рассказ этот я слышал в различных вариантах, но всегда в одном и том же строго выдержанном стиле. Так, о Есенине никто не говорил, что он приехал, хотя железные дороги действовали исправно, Есенин пешком пришел из рязанской деревни в Петербург, как ходили в старину на богомолье. Подобная версия казалась гораздо интереснее, а главное, больше устраивала всех. Есенин так или иначе, но попал в Петербург в 1915 году и был совершенно осязаем, а не бесплотен, как его пытались изображать столичные снобы.

Он сидел рядом со мной у Кости Ляндау и довольно прозаически пил чай, старательно дуя на блюдечко, как это делали где-нибудь на окраине завсегдатаи извозчичьих чайных. Белесо-желтые, точно выгоревшие на деревенском солнцепеке, подстриженные в кружок кудрявые волосы и застенчивая улыбка, изредка появлявшаяся на его нежно-розовом лице, делали Есенина похожим на мальчугана, хотя он уже и вышел из отроческого возраста. Вообще, цвет — первое, что бросилось мне в глаза при взгляде на молодого Есенина. Говорил он при посторонних мало, с большими паузами, почти совсем не прибегая к жестикуляции. И лишь время от времени, как бы для пущей важности, тихо покашливал в кулак. А когда слушал, неожиданно вскидывал на собеседника такие же мелкие, как и остальные черты есенинского лица, василькового цвета глаза. «Приказчик, певец из народного хора, полотер. А может быть, трактирный половой»,— мелькнуло в моей голове при взгляде на нового знакомца. Но это внешнее впечатление быстро исчезло, стоило мне узнать Есенина ближе.

Происходило это в самые первые дни появления Есенина в Петербурге, и очень многое из того, что он видел

вокруг, было для него новым и необычным. Отсюда возникали его смущение и любопытный взгляд исподтишка, с каким он, стараясь быть незамеченным, рассматривал незнакомые ему лица. Отсюда же проистекала постоянная настороженность молодого Есенина и та пытливая жадность, с которой он прозревал новизну. Быть может, даже там, где ее и не было. Он творил ее.

— Алеша Ка-га-ма-зов,— как-то презрительно бросил, пристально разглядывая Есенина, один ныне покойный эстет.

С Алешей у Есенина было действительно нечто общее. Как Алеша, он был розов, застенчив, малоречив, но в нем не было ни тени «достоевщины», в бездну которой Есенина в те годы усиленно толкали Мережковские.

Не прошло и нескольких недель с момента нашего знакомства с Есениным, как он уже был со мной «на ты». Чувствовалось, что ему легче говорить так, да и наши с ним отношения приняли по-настоящему дружеский характер. Есенин стал иногда заходить ко мне. Чаще же мы встречались с ним на людях или бродили вдвоем по городу.

Петербург в такие минуты владел всеми нашими помыслами. Акварельные фасады лимонно-желтых и нежно-фисташковых зданий, отражающиеся в темной глади Невы, каналы, тенистые сады, ажурный взлет мостов и казавшаяся гигантской фигура Медного всадника, простершего свою длань над городом, будили в нас поэтические чувства. Помню, раз после одной из таких длинных прогулок стеклянным петербургским вечером мы остановились с Есениным на набережной Невы. Он вспоминал родную Оку, что-то говорил о своем будущем, и нам было отрадно думать, что когда-то здесь, быть может, стоял и Пушкин. Петербург, Пушкин, пушкинская эпоха были в центре художественных интересов тогдашней литературной молодежи. К ним присоединялось увлечение петербургскими повестями Гоголя, ранним Достоевским и Аполлоном Григорьевым.

Есенин много лет спустя, вспоминая годы нашей общей молодости, часто называл те же самые имена. Что касается Гоголя, то в зрелый период творческой жизни поэта его любовь к автору «Мертвых душ» еще больше окрепла. «Вот мой единственный учитель»,— сказал мне Есенин в двадцатых годах, ласково поглаживая стопку книг любимого писателя.

В период наших ранних встреч с Есениным прошлое во всех его видах интересовало горсточку рафинированных столичных поэтов больше, чем настоящее. Оно казалось им заманчивее окружающей действительности. И главное, не пугало грозными предвестиями неизбежных перемен. Это сказывалось не только в тогдашней поэзии, среди представителей которой вращался Есенин, но и в других областях жизни. Ставились спектакли, до мелочей воспроизводившие античные и средневековые постановки, писались романы на исторические темы, устраивались выставки старинных портретов, фарфора, мебели и гравюр. В стиле прошлых веков были обставлены особняки и квартиры меценатствующей буржуазии, модных артистов, писателей и художников. Подражание прошлому сказывалось даже во внешнем виде: костюме, прическе, придававших реальному облику людей XX века маскарадное обличье.

Вскоре же после того как Есенин приехал в Петербург, он подпал под влияние окружавшей его художественной среды. И я помню, как удивился, впервые встретив его наряженным в какой-то сверхфантастический костюм. Есенин сам ощущал нарочитую «экзотику» своего вида и, желая скрыть свое смущение от меня, задиристо кинул:

— Что, не похож я на мужика?

Мне было трудно удержаться от смеха, а он хохотал еще пуще меня, с мальчишеским любопытством разглядывая себя в зеркале. С завитыми в кольца кудряшками золотистых волос, в голубой шелковой рубахе с серебряным поясом, в бархатных навыпуск штанах и высоких сафьяновых сапожках, он и впрямь выглядел засахаренным пряничным херувимом.

Что только ни делали с Есениным в те годы услужливые «друзья», чтобы затянуть его в свой лагерь, но для многих, в том числе и для меня, он как был, так и оставался прежним Сергунькой. Несмотря на всю откровенность, с какой Есенин говорил о себе, некоторая сторона его жизни долго оставалась для меня неизвестной. Я почти ничего не знал о его пребывании перед тем в Москве, и большинство рассказов Есенина сводилось к детским годам, проведенным в родной рязанской деревне. Вспоминая со мной о своем деревенском прошлом, молодой Есенин радостно и весело раскрывал себя. И самые слова, произносимые им по этому поводу, были тоже какими-то особенными, солнечными, лучезарными, не похо-

жими на обычные будничные слова. А голос чистым и звонким.

— Весенний! Есенин! — невольно как-то вырвалось у меня при взгляде на его сияющее улыбчивое лицо.

И он тотчас же на лету подхватил мою шутку.

— Весенний! Есенин! Ловко ты это придумал, хотя и не сам, сознайся, а Лев Толстой. Есть у него в «Войне и мире» что-то вроде. Люблю и боюсь я этого старика. А отчего, не знаю. Даже во сне вижу. Махонький такой, мохнатенький, вроде лесовика. Идет, палкой суковатой постукивает. И вдруг как заорет: «Серега! Зачем дом бросил!»

Слова Есенина вспыхивают и тотчас же гаснут, как зарницы, и сам он, через минуту уже забыв, о чем только что говорил, по-детски фыркнув, спрашивает меня:

— Хочешь, спляшу? Или, думаешь, не умею? Вот гармонь. Деньги получил и купил.

Я пытаюсь что-то рассказать ему, но вижу, что Есенин не слушает меня. Мысли его витают где-то далеко-далеко.

— Сережа! — пробую я вывести его из оцепенения. Есенин сперва ничего не отвечает, а затем раздраженно бурчит:

— Сережа! Сережа! Сам знаю, что Сережа. Или не видишь — плакать хочется. (Это было тогда его любимым словцом.)

В такие минуты с есенинского лица вмиг исчезала «улыбка радостного счастья», глаза темнели и сам он как-то весь съеживался в комок.

Вскоре вслед за появлением Есенина в Петербурге за ним всюду по пятам стал ходить поэт Николай Клюев. Среднего роста, плечистый человек, с густо напомаженной головой, сладкой, витиеватой речью и елейным обхождением, он казался насквозь пропахнувшим лампадным маслом. Одевался Клюев в темного цвета поддевку и носил поскрипывавшие на ходу сапоги бутылками. Хотя в обществе Клюев держался важно и даже степенно, что-то хищное время от времени проглядывало в нем. Клюев всячески пытался скрыть эту сторону своей натуры, то улыбочкой, то ласковым взглядом заметая следы своего истинного отношения к людям. И надо сказать, что это часто удавалось ему. На Есенина он произвел неотразимое впечатление. И его влияние на молодого поэта вскоре приобрело характер власти.

Близость к Есенину льстила Клюеву, так как юный поэт к этому времени стал одной из заметных фигур в литературном мире. Его баловали, приглашали нарасхват в самые модные великосветские салоны, и бывать с ним повсюду вместе,— значило оказаться на виду. В свою очередь, на Есенина произвели сильное впечатление поэтическая настроенность и стихотворные образы Клюева, близкие его собственным настроениям в юные годы.

Были, кроме Клюева, у Есенина и другие друзья, чаще всего его сверстники. Клюев же и годами превосходил их, и писательским опытом обладал в большей степени.

Близко дружил Есенин с Володей Чернявским, а через него и с небольшой группой лиц, в той или иной степени причастных к искусству. Сам Чернявский был студентом-филологом, но основными увлечениями его являлись поэзия и театр. Через нашего общего приятеля, племянника В. Ф. Комиссаржевской, Антона Врангеля, Чернявский познакомился с актерской средой театра на Офицерской, числился в ряду страстных обожателей Веры Федоровны и не расставался с ее портретом в роли метерлинковской сестры Беатрисы. Кроме Комиссаржевской, его кумиром была Рашель. Чернявский хорошо знал классический репертуар, декламировал Корнеля и Расина, а в области поэзии, помимо того что сам пописывал стишки, боготворил, как и все мы, Александра Блока.

У Чернявского и у меня, как у более старших по возрасту, намечалась и другая линия интересов. Чернявский, а одно время и я, имели касательство к Народному дому Паниной, где передовой группой актеров во главе с П. Гайдебуровым и Н. Ф. Скарской (сестрой Комиссаржевской) ставились для рабочей аудитории пьесы северных драматургов. Я уже не первый год писал в «Современнике», а затем в «Новой студии» и читал лекции на частных женских архитектурных курсах, что, естественно, еще больше расширяло мой кругозор.

Театр был основной стихией не одного только Чернявского, а многих из наших общих с Есениным друзей. Вдохновителем их был В. Э. Мейерхольд, обладавший исключительной способностью привлекать к себе молодежь. В его кружок входили мои близкие товарищи студенты-филологи, сын известного философа Сергей Радлов, В. Соловьев, Б. Алперс и более старшие по возрасту, но примыкавшие к молодым, Б. Мосолов и актер с

довольно солидным стажем В. Лачинов. У Мейерхольда я впервые встретился с А. Грипичем, братьями Бонди, К. Кузьминым-Караваевым и еще целым рядом лиц, позднее вошедших в состав мейерхольдовской студии на Бородинской улице, а затем и в число сотрудников издававшегося Всеволодом Эмильевичем театрального журнальчика «Любовь к трем апельсинам». Все это, и деятельность студии, и издание журнала, проходило под знаком нашего общего увлечения волшебным сказочником и музыкантом Теодором Гофманом и Карло Гоцци. Мейерхольд очень тонко и умело подогревал эту нашу молодую страсть, отклик на которую мы в то время находили в поэзии Кузмина, драмах Ауслендера, живописи Судейкина и Сапунова.

Сейчас мне было бы трудно сказать, в какой степени Есенин был ввергнут в общий поток наших художественных увлечений. Но, конечно, он не мог избежать их, ежедневно присутствуя при наших спорах, читая и слушая чтение стихов, просиживая ночи в «Бродячей собаке». Театр, поэзия, музыка полностью поглощали нас в те годы.

Есенина главным образом, конечно, интересовал кружок поэтов, но, повторяю, он не мог не соприкасаться, как и все мы, с остальными только что перечисленными лицами, часть которых — Чернявский, С. Радлов, К. Ляндау, М. Струве, Рюрик Ивнев писали стихи. У поэтов была своя жизнь, но и в их среде господствовали интересы, общие для всей тогдашней художественной молодежи — привитое с легкой руки Кузмина элегическое любование прошлым, романтические порывы и наивная вера в игрушечность и сказочность, якобы свойственные окружающему миру. Это отражалось не только на нашем чтении, но и на наружности некоторых из нас, подражавших в своем костюме и прическе прославленным денди прошлого века. Подобный уайльдизм вполне уживался с модным тогда религиозно-философским увлечением, так же, как и все остальное, имевшим характер своеобразной и довольно жуткой игры и маскарада.

В «Бродячей собаке», где мы часто бывали с Есениным и где было всегда шумно, но не всегда весело, кроме уже перечисленных лиц, встречалось великое множество самых разнообразных людей, начиная с великосветских снобов и кончая маститыми литераторами и актерами. Кажется, только один Блок не жаловал это артистическое логовище, не вынося царившего в нем богемного духа.

Зато «Собаку» почти ежедневно посещали поэты-царскоселы во главе с Гумилевым и Ахматовой, «Жоржики», как называли тогда двух неразлучных аяксов сюсюкающих Георгия Иванова и Георгия Адамовича, и целая свора представителей «обойной» поэзии, получившей такую злую кличку после того, как сборник стихов этой группы вышел напечатанным на обойной бумаге. В «Собаке» играли, пели, сочиняли шуточные экспромты, танцевали, рисовали шаржи друг на друга самые знаменитые артисты и художники. И если бы только сохранился архив этого своеобразного учреждения, многое из того, что кажется необъяснимым сегодня в русской художественной жизни начала нашего века, получило бы ясность и правильное истолкование.

Здесь, в «Бродячей собаке», культивировавшей вопреки всему направлению тогдашней эпохи «веселой легкости безумное житье», было можно встретить неизменно сидящего за одним и тем же столиком саженного Маяковского, похожего на фарфоровую статуэтку или игрушечного барабанщика Судейкина, Евреинова, Мейерхольда, Карсавину. Здесь играл совсем юный Прокофьев, и, лениво перебирая клавиши, напевал вполголоса свои песенки жеманно улыбавшийся Кузмин. Встречались здесь и такие монстры, как способный молодой поэт Шилейко, выглядевший весьма ветхим сгорбленным стариком. Тогда еще студент университета, он обнаружил в хранилищах Эрмитажа два письма вавилонского царя Хаммурапи и получил справедливое признание как ученый-востоковед.

Здесь, в подвале, я много раз слышал Маяковского, Игоря Северянина, Есенина, читавших впервые свои новые стихи. Именно утром, после бурно проведенной в спорах ночи, а не вечером, когда этому чтению могли помешать «провизоры» — так называли почему-то в «Собаке» приглашенных со стороны гостей, всю ту денежную публику, которая косвенно субсидировала это предприятие.

Вскоре появился сборник стихов Есенина «Радуница». О нем много писали. И мне отрадно сейчас вспоминать, что я знал его в самые счастливые дни его золотой юности. В это время Есенин часто выступал с чтением своих стихов.

Читал их он с каким-то самозабвенным упоением, мерно покачиваясь всем своим гибким телом. И в середине чтения, точно боясь, что упадет, судорожно сжимал обеими руками спинку стула. В самом финале он отпу-

скал ее. И кончал читать, не держась ни за что, как бы оторвавшись от земли и пребывая в свободном полете. Это впечатление плавного парения усугублялось тем, что манере есенинского чтения была присуща некая волнообразность ритмического колебания вверх и вниз, неотразимо действовавшая на слушателей.

Когда Есенин читал, глядя на него, мне всегда казалось почти невероятным, что где-то глубоко-глубоко внутри этого щуплого с виду паренька с лукаво бегающими глазками и типичной повадкой деревенского жителя струится неиссякаемый родник кристально чистой поэзии. В самом характере есенинского чтения была особая, свойственная ему певучесть. И конец каждого произнесенного им слова, прежде чем замереть, вздрагивал, как звук туго натянутой струны.

Разбуди меня завтра рано,
О моя терпеливая мать!
Я пойду за дорожным курганом
Дорогого гостя встречать.

Есенин читал, как пел. Легко и свободно, чуть оттеняя иногда отдельные слова. Так, слово «мать» он произнес иначе, чем остальные, легкой, едва заметной паузой выделив его среди других и сообщив ему каким-то едва заметным придыханием особую мягкую ласковую окраску. Но что больше всего покоряло в есенинском чтении, так это слитность музыки стиха с живой образностью. Нечто подобное тому, что можно встретить только в устной народной поэзии, где звучность и красота слова никогда не заслоняют внутреннего глубокого содержания.

Кончил читать Есенин как-то сразу, внезапно оборвав на полуслове. Будто вздохнул и затих. Странно, но мне показалось в эту минуту, что в комнате стало темно, до такой степени звуковое впечатление от его чтения неразрывно слилось в моем представлении с чем-то светлым, зримым и сияющим. Все сидели словно завороженные. И только один он продолжал стоять, смущенно улыбаясь, точно не сознавая того, что произошло. Затем устало опустился на стул, налил дрожащей от волнения рукой стакан вина и, одним взмахом опрокинув его, по-хозяйски утер широким рукавом губы.

В первую мировую войну Есенина не сразу взяли на военную службу. А когда дошла его очередь, он устроился вместе с нашим общим приятелем художником П. С. Наумовым и рядом других знакомых лиц в сани-

тарную часть в Царском Селе. Вскоре после этого мы встретились с Есениным на улице, и он, сняв фуражку с коротко остриженной головы, ткнул пальцем в кокарду и весело сказал:

— Видишь, забрили? Думаешь, пропал? Не тут-то было.

Глаза его лукаво подмигивали, и сам он напоминал школяра, тайком убежавшего от старших.

М. Бабенчиков

Началась война. Сергея призвали в армию.

Худой, остриженный наголо, приехал он на побывку. Отпустили его после операции аппендицита.

— Какая тишина здесь,— говорил Сергей, стоя у окна и любуясь нашей тихой зарей.

В армии он ездил на фронт с санитарным поездом, и его обязанностью было записывать имена и фамилии раненых. Много тяжелых и смешных случаев с ранеными рассказывал он. Ему приходилось бывать и в операционной. Он говорил об операции одного офицера, которому отнимали обе ноги.

Сергей рассказывал, что это был красивый и совсем молодой офицер. Под наркозом он пел «Дремлют плакучие ивы». Проснулся он калекой...

Через несколько дней Сергей уехал в Питер.

В этот приезд Сергей написал стихотворение «Я снова здесь, в семье родной...».

После операции Сергей не мог ехать на фронт. Его оставили служить в лазарете в Царском Селе. Дважды он приезжал оттуда на побывку. Полковник Ломан, под начальством которого находился Сергей, позволял ему многое, что не полагалось рядовому солдату. Поездки в деревню домой тоже были поблажкой полковника Ломана. Отец и мать с тревогой смотрели на Сергея: «Уж больно высоко взлетел!» Да и Сергей не очень радовался своему положению. Поэтому его приезды домой, несмотря на внешнее благополучие, оставили что-то тревожное.

Но вот и до нашего отца дошла очередь идти в солдаты. Он приехал из Москвы домой на призыв. Простившись с нами, отец уехал в Рязань на медицинскую комиссию. В Рязани отец наш случайно оказался вместе с отцом Гриши Панфилова, который тоже был призван в армию. Отец Гриши, услышав знакомую фамилию,

спросил его, не родня ли он Сережи Есенина. Встреча нашего отца с отцом Гриши Панфилова совпала с решающим моментом в жизни Сергея: ему было предложено написать стихи в честь Николая II. Это было в конце 1916 года. Канун революции. Сергей не мог писать стихи в честь царя и мучительно искал предлог для отказа. И в этот момент он получил от отца письмо, в котором тот сообщал о встрече с отцом Гриши Панфилова. С Гришей у Сергея были связаны все его свободолюбивые, революционные мечты, и это напоминание о Грише явилось «перстом указующим» в принятом Сергеем решении.

И вот в Константиново пришло письмо:

«Дорогая мамаша, свяжи, пожалуйста, мне чулки шерстяные и обшей по пяткам. Здесь в городе не достать таких. Пошли мне закрытое письмо и пропиши, что с Шуркой и как учится Катька. Отец мне недавно прислал письмо, в котором пишет, что он лежит с отцом Гриши Панфилова. Для меня это какой-то перст указующий заколдованного круга. Пока жизнь моя течет по-старому, только все простужаюсь часто и кашляю. По примеру твоему натираюсь камфарой и кутаюсь.

Сергей Есенин».

Открытка эта была последней из Царского Села. На следующий день мать пошла в Кузьминское послать посылку. Мы долго не получали ничего от Сергея, но в начале весны 1917 года он приехал домой на все лето. Из армии он с началом революции самовольно ретировался.

Барский сад с двухэтажным домом занимал у нас часть села и подгорье почти до самой реки. Вся усадьба была огорожена высоким бревенчатым забором, и ничей любопытный глаз не мог увидеть, что делается за высокой оградой. Высокие деревья, росшие по краям ограды, делали усадьбу красивой и таинственной. В годы моего детства владельцем этой усадьбы был Иван Петрович Кулаков, хозяин богатый и строгий. Ему принадлежал лес и половина наших лугов.

«Барин», «барское», «Кулаково» — то и дело склонялось мужиками и бабами. Для детей Кулаков был страшнее черта. Красная рябина, свисавшая через забор, соблазняла и манила сорвать ее. Смельчаки залезали на забор за рябиной, но, стоило кому-нибудь крикнуть: «Кулак, Кулак, лови», отважные похитители ку-

барем ссыпались с забора. Мне Кулаков казался чудовищем с черными длинными руками, и, когда кричали: «Кулак, лови», у меня мороз пробегал по спине. И вдруг новость: Кулак умер. Нам с Нюшкой очень хотелось видеть хоть мертвого барина, и мы в день похорон с утра дежурили у церкви. Было холодно и скучно. Мы внимательно осмотрели могилу барина, выложенную всю кирпичом, и не могли понять, для чего могилу сделали как погреб. «Это чтобы дольше не сгнил»,— объяснила мне потом мать.

После Кулакова барская усадьба перешла по наследству к его дочери Кашиной Лидии Ивановне. При молодой барыне усадьба стала гораздо интересней. Каждое лето Кашина с детьми приезжала в Константиново. Мужа с ней не было. Говорили, что муж ее очень важный генерал, но она ни за что не хочет с ним жить. Молодая красивая барыня развлекалась чем только можно. В усадьбе появились чудные лошади и хмурый, уродливый наездник. Откуда-то приехал опытный садовник и зимой выращивал клубнику.

Кучер, горничная, кухарка, прачка, экономка и много разного люда появилось в усадьбе. К молодой барыне все относились с уважением. Бабы бегали к ней с просьбой написать адрес на немецком языке в Германию пленному мужу.

Каждый день после полдневной жары барыня выезжала на своей породистой лошади кататься в поле. Рядом с ней ехал наездник.

Тимоша Данилин, друг Сергея, занимался с ее детьми.

Однажды он пригласил с собой Сергея. С тех пор они стали часто бывать по вечерам в ее доме.

Матери нашей очень не нравилось, что Сергей повадился ходить к барыне. Она была довольна, когда он бывал у Поповых. Ей нравилось, когда он гулял с учительницами. Но барыня? Какая она ему пара? Она замужняя, у нее дети.

— Ты нынче опять у барыни был? — спрашивала она.

— Да,— отвечал Сергей.

— Чего же вы там делаете?

— Читаем, играем,— отвечал Сергей и вдруг заканчивал сердито: — Какое тебе дело, где я бываю!

— Мне, конешно, нет дела, а я вот что тебе скажу: брось ты эту барыню, не пара она тебе, нечего и ходить к ней. Ишь ты,— продолжала мать,— нашла с кем играть.

Сергей молчал и каждый вечер ходил в барский дом.

Однажды за завтраком он сказал матери:

— Я еду сегодня на яр с барыней.

Мать ничего не сказала. День был до обеда чудесный. После обеда поползли тучи, и к вечеру поднялась страшная гроза. Буря ломала деревья, в избе стало совсем темно. Дождь широкой струей хлестал по стеклам. Мать забеспокоилась. «Господи,— вырвалось у нее,— спаси его, батюшка Николай Угодник».

И как нарочно в этот момент послышалось за окнами: «Тонут! Помогите! Тонут!» Мать бросилась из избы. Мы остались вдвоем с Шурой. На душе было тревожно и страшно. Чтобы отвлечься, я стала сочинять стихи о Сергее и барыне:

Не к добру ветер свистал,
Он, наверно, вас искал,
Он, наверно, вас искал
Окол свешнековских скал.

Этой строфой начиналось и заканчивалось мое стихотворение.

Две средние строфы говорили о том, что бог послал нарочно бурю, чтобы разогнать Сергея и Кашину в разные стороны.

Мать вернулась сердитая. Оказалось, оборвался канат и паро́м понесло к шлюзам, где он мог разбиться о щиты. Паром спасли, Сергея на нем не было. Желая развеселить мать, я прочитала свое стихотворение. Оно ей понравилось.

Настала ночь. Мать несколько раз ходила на барский двор, но Кашина еще не возвращалась. Мало того, кучер Иван, оказалось, вернулся с дороги, и Сергей с барыней поехали вдвоем.

— Если бы Иван с ними был, мужик он опытный, все бы спокойней было,— ворчала мать.

Поздно ночью вернулся Сергей.

Утром мать рассказала ему о моем стихотворении. Сергей смеялся, хвалил меня, а через несколько дней написал стихотворение, в котором он как бы отвечал на мои стихи:

Не напрасно дули ветры,
Не напрасно шла гроза.
Кто-то тайный тихим светом
Напоил мои глаза.

Мать больше не пробовала говорить о Кашиной с Сергеем. И когда маленькие дети Кашиной, мальчик

и девочка, приносили Сергею букеты из роз, только качала головой. В память об этой весне Сергей написал стихотворение Л. И. Кашиной «Зеленая прическа...».

Е. Есенина

С Сергеем Александровичем Есениным я познакомилась в 1915 году, когда он только что приехал в Петроград, еще почти нигде не печатался, не был известен даже в литературных кругах, и как бы стоял в преддверии и своего поэтического пути, и будущей шумной известности.

Мы жили на окраине, на Черной речке, которая сочетала в себе своеобразие суровой рабочей Выборгской стороны и старомодный уют Лесного, объединяя «век нынешний и век минувший». Дом отца на Головинской улице походил на зимнюю дачу. В первом этаже была кухня и большая высокая светлая столовая, она же гостиная, вмещавшая при условии сильного уплотнения до сорока человек гостей; во втором этаже, куда вела чугунная винтовая лестница, находились спальни и кабинет отца.

По воскресным дням к отцу по традиции собирались гости — человек пятнадцать — двадцать. Публика была довольно пестрая. Приходили литераторы и художники, среди них — угасавшие и потухшие звезды, такие, как публицисты-народники М. А. Протопопов, А. И. Фаресов, помнившие в лицо Салтыкова-Щедрина, Всеволода Гаршина, Надсона и Полонского. Бывали и звезды еще сиявшие, может быть, и не очень ярко: поэт и критик Петр Быков, критик А. А. Измайлов, поэт Аркадий Кондратьев, писательница Тэффи, переводчик Поляков и многие другие. Среди художников интересным человеком был пейзажист Писахов, страстно влюбленный в народное творчество и природу северного края, начинающий скульптор Эрьзя, художник Зимин, расписывавший вазы на фарфоровом заводе. Изредка захаживал скульптор Коненков. Художник Илья Ефимович Репин с женой, проповедницей вегетарианства, Нордман-Северовой приезжал только днем, в будни. Несколько раз посетил отца Геворк Башинджагян, подаривший ему одно из своих полотен — пейзаж «Лунная ночь».

Бывали и будущие звезды, которые еще не излучали света, но надеялись найти свой путь к искусству. Многим из них так и не суждено было засиять.

Такова была обстановка, в которой я встретила поэта Сергея Есенина. Его привез к нам Сергей Митрофанович Городецкий, которого я помню с детских лет. Городецкий приехал к нам после большого перерыва. К этому времени он стал крупной величиной у акмеистов.

Все наши домочадцы любили живого, деятельного и остроумного поэта и поскорее проскользнули в столовую, желая познакомиться с его спутником.

Сергей Городецкий рекомендовал Есенина отцу как молодого, нигде не печатавшегося поэта с крестьянской тематикой и образами.

— У Есенина крупный поэтический талант, и ему нужно открыть дорогу,— говорил Сергей Митрофанович.

Городецкий покровительствовал Есенину, поместил его у себя на квартире. Первые месяцы после приезда Есенин часто бывал у нас в будние дни, заходил запросто, обедал, делился своими впечатлениями и как-то особенно задушевно и наивно беседовал с моей мачехой Клавдией Ивановной, женщиной чуткой и умной, которая лет на семнадцать была старше его и хорошо знала закулисную жизнь писателей.

Помню, как волновался Есенин накануне назначенного свидания с Анной Ахматовой: говорил о ее стихах и о том, какой он ее себе представляет и как странно и страшно, именно страшно увидеть женщину-поэта, которая в печати открыла сокровенное своей души.

Вернувшись от Ахматовой, Есенин был грустным, заминал разговор, когда его спрашивали о поездке, которой он так ждал. Потом у него вырвалось:

— Она совсем не такая, какой представлялась мне по стихам.

Он так и не смог объяснить нам, чем же не понравилась ему Анна Ахматова, принявшая его ласково, гостеприимно. Он не сказал определенно, но как будто жалел, что поехал к ней.

Мы знали, что, приехав в Петроград, Есенин прямо с вокзала явился к Блоку, и осторожно спросили, не разочаровал ли его Блок при личном свидании? Ведь Блок, говорили мы, такой гордый или самоуглубленный, не поймешь, ходит высоко подняв голову, не замечая простых людей. Я именно таким запомнила Блока. Както поздним зимним вечером он приезжал к отцу с Натальей Потапенко, спросил меня ледяным голосом: «Дома ли Иероним Иеронимович? Если никого нет,

я пройду к нему, а если кто-нибудь есть,— мы уедем...» И просил, чтобы никто не входил.

Помнится, как горячо стал Есенин защитать Блока:

— Тут другое... Блок не только такой, как его стихи, он намного лучше своих стихов.

Есенин говорил, что Александру Блоку он бы простил все.

Осенью, не помню точно когда, только деревья стояли оголенные и было пасмурно, Есенин появился с Николаем Клюевым, и с тех пор они почти всегда приходили вместе.

Мне показалось, что Клюев был вдвое старше Есенина, хотя на самом деле разница в возрасте равнялась всего восьми годам. Николай Клюев, по-видимому, уже «понаторел» в хождении по писательским кружкам и гостиным: он успел выработать нарочитую манеру держаться степенно, говорить нараспев глуховатым тенорком и одеваться под «ладожского дьячка». Ходил он в очень длинной, почти до колен, бумазейной широкой кофте, темной старушечьей расцветки с беленькими крапинками-цветочками и подпоясывался шелковым пояском с кистями.

Рядом с Клюевым Есенин, простой, искренний, производил чарующее впечатление: в его внешности было что-то легкое и ясное. Блондин с почти льняными, светлыми волосами, слегка вьющимися, Есенин был довольно коротко острижен (отпускать волосы он стал позднее), глаза голубовато-серые, очень живые и серьезные, внимательные, но с какими-то удивительно озорными искорками, которые то вспыхивали, то вновь исчезали. Вообще он был красив типичной неброской, славянской красотой, довольно распространенной на севере; надо приглядеться, чтобы заметить ее. Казалось, Есенину не хотелось, чтобы обращали внимание на его внешность. Позже, в Москве, в 1918—1920 годах он стал иным, даже любил покрасоваться.

Сергей Есенин был очень собранным: все его движения были грациозны, бесшумны и четки. Навсегда запомнилась мне походка поэта — свободная и легкая. Когда позднее он писал:

...В переулках каждая собака
Знает мою легкую походку,—

это было метко и верно.

Мои воспоминания о внешнем облике С. Есенина не совпадают с тем, что писал о юноше поэт Максим Горь-

кий: «Кудрявенький и светлый, в голубой рубашке, в поддевке и сапогах с набором, он очень напоминал слащавенькие открытки Самокиш-Судковской, изображавшей боярских детей, всех с одним и тем же лицом». Горький отмечал также, что Есенин был мал ростом и выглядел «мальчиком 15—17 лет». Мне, сверстнице Есенина, молодой поэт показался немного старше своих лет, ему можно было дать и двадцать один год: на лице лежала печать озабоченности, житейского опыта. Он был немного выше среднего роста. Одевался по-европейски и никакой русской поддевки не носил. Костюм, по-видимому, купленный в магазине готового платья, сидел хорошо на ладной фигуре, под костюмом — мягкая рубашка с отложным воротничком. Носил он барашковую шапку и черное пальто. Так одевались тогда в Питере хорошо зарабатывавшие молодые рабочие.

Есенин имел городской вид и отнюдь не производил впечатления провинциала, который «может потеряться в большом городе». Держался он со скромным достоинством и не отличался застенчивостью. Чувствовалось, что он новичок в литературной среде, к которой приглядывался с жадным любопытством. Поэтому у нас, на Черной речке, Есенину было интересно. Когда собирались гости, говорили много, чаще всего об искусстве, внимательно следили за ростом молодых писательских сил, спорили о направлениях. Истинное наслаждение доставляли рассказы стариков, в том числе и моего отца, о старине, о встречах с Тургеневым и Гончаровым, с Салтыковым-Щедриным и Всеволодом Гаршиным, с Сергеем Атавой (Терпигоревым). Врезались в память рассказы о Софье Перовской и о Кибальчиче, участниках убийства Александра II в 1881 году. Тут даже мелочи были дороги. Конечно, говорили и о войне, о правительственных перемещениях, воровстве в армии и о кризисе самодержавия. О политике говорили бестолково и сумбурно. Отец был «пораженцем», а называл себя анархистом, последователем Петра Кропоткина, с которым ряд лет действительно поддерживал переписку.

Надо сказать, что Есенин в этой новой для него среде никогда не терял самообладания. Самостоятельность чувствовалась и во взаимоотношениях его с Николаем Клюевым. Многим приходилось читать о том, что Клюев и Есенин в Петрограде очень дружили, а потом Есенин охладел к старшему другу. (Клюев уже после смерти Есенина и устно, и в печати клялся, что, если бы друж-

ба продлилась, он сумел бы предотвратить самоубийство.) На самом же деле их взаимоотношения не были основаны на дружеском расположении, а были навязаны, заданы, как актеру дается роль, да и то не всегда по душе.

У Клюева было какое-то снисходительное, покровительственное и вместе с тем заискивающее отношение к Есенину. Он часто публично демонстрировал свою якобы влюбленность в молодого поэта, например, садился рядом с ним, когда хвалили стихи Есенина, начинал гладить его по спине, приговаривая: «Сокол ты мой ясный, голубень-голубарь» и тому подобное. Однажды моя подруга, не выдержав комизма этой сценки, задала Есенину очень непосредственный вопрос:

— Как вам приходится этот дядя? Он — родственник или земляк?

Есенин сразу ничего не ответил, сделал «скучное лицо», а затем, улучив момент, когда внимание Клюева было отвлечено, почти одними губами, насмешливо, прошептал:

— Вроде «дядьки»... приставлен ко мне.

Вскоре, в один из воскресных дней, Есенин и Клюев читали у нас свои стихи. Эти чтения повторялись несколько раз. Читал Есенин такие произведения: «В хате» («Пахнет рыхлыми драченами...»), «Корова», «Песня о собаке», «Лисица», «Край любимый...», «На небесном синем блюде...» и другие стихи. Есенин для чтения отбирал такие стихи, в которых чувствовался «крестьянский дух» и, по-видимому, те, что нравились Сергею Городецкому (стихи, в которых было много предметности). Они были встречены восторженно, их обсуждали и разбирали. Отец, ссылаясь на примеры русских классиков, советовал строго соблюдать правила русской грамматики. Советовал Есенину заменить такие слова, как «крячет» (о цапле), возражал против сочетания «жуткая выть», ссылаясь на словарь Владимира Даля, где указан глагол «выть», а имя существительное «вытье». Также говорил, что нельзя отсекать слоги в словах и в падежных окончаниях, хотя у классиков, например, у Лермонтова встречаем: «из пламя и света рожденное слово». Есенин же отстаивал право поэта на диалектизмы, на изменение окончаний слов, хотя осуждал «заумь»

футуристов. О стихах Н. Клюева говорить избегали, он уже печатался, хотя был мало известен.

Печататься тогда, в условиях военного времени, было трудно, поэтому решили организовать вечер чтения стихов Есенина и Клюева. У нас, на Черной речке, в узком кругу литераторов, стихи Есенина оценили как новаторские, оригинальные, а главное, русские, и это сулило успех Сергею Есенину. Поэтому, естественно, обращали большое внимание на форму, чтобы не дать повода злостным критикам для нападок и насмешек в прессе.

Подробно обсуждалась и есенинская манера читать стихи. Их надо было «подать» для большой аудитории любителей поэзии, которые в течение полутора десятков лет воспитывались главным образом символистами и понимали поэзию прежде всего как звучащее слово, по известной формуле французского поэта Поля Верлена: «Музыка, музыка прежде всего». Столичная публика, посещавшая «поэзо-концерты», была избалована: она знала различные и очень разнообразные способы «подачи» поэзии с эстрады у символистов, акмеистов, эгофутуриста Игоря Северянина и у кубофутуристов. Широкая публика, в поисках «изюминки» заглядывавшая в подвал «Бродячей собаки», уже заинтересовалась чтением Маяковского, утверждая, что в его манере «что-то есть». Таким образом, у Есенина было много соперников. Учитывая это, поэту давали всевозможные советы, тренировали, некоторые строфы просили повторить. На Черной речке Есенин как бы имел последнюю репетицию перед публичным выступлением.

И надо сказать, Сергей Есенин выдержал экзамен с честью! Манера чтения у него уже была выработана. Позднее он только отделывал детали, научился модулировать и управлять голосом, но главное — постановка голоса, певучесть с некоторым усилением ее в конце строки — все это уже было, и было свое, ни у кого не заимствованное. Читал Есенин уже тогда изумительно хорошо, свободно, с упоением. Когда читал — преображался, жестикулировал, увлекался сам и увлекал других. Жесты его были как бы аккомпанементом, хотя и не соответствовали ритму стиха, в то же время он заметно раскачивался в такт. Эта манера чтения значительно усиливала впечатление от стихов.

Припоминаю, как читали тогда другие поэты. В. Я. Брюсов читал чеканным голосом, дикция у него была безупречной, он стоял на эстраде неподвижно, затяну-

тый в черный сюртук, часто со скрещенными на груди руками, как бы «приневоливая себя к бесстрастию». Это была аристократическая, как тогда говорили, «парнасская» манера чтения. А когда читал Есенин, в нем ничего не было ни от гордого парнасца, ни манерного кафешантанного кривлянья Игоря Северянина.

Первый вечер, когда Есенин выступал вместе с Клюевым, состоялся в зале Тенишевского училища на Моховой улице. Этот зал пользовался солидной репутацией: там читали публичные лекции для молодежи Поссе, Георгий Чулков, профессора Жаков, Сперанский и другие. За несколько дней до вечера, когда все было готово и билеты распроданы, возник сложный вопрос — как одеть Есенина. Клюев заявил, что будет выступать в своем обычном «одеянии». Для Есенина принесли взятый напрокат фрак. Однако он совершенно не подходил ему. Тогда С. М. Городецкому пришла мысль нарядить Есенина в шелковую голубую рубашку, которая очень шла ему. Костюм дополняли плисовые шаровары и остроносые сапожки из цветной кожи, даже, кажется, на каблучках.

В этом костюме Есенин и появился на эстраде зала Тенишевского училища. В руках у него была балалайка, на которой он, читая стихи, очень неплохо и негромко себе аккомпанировал. Балалайка была и у Клюева, но никак не вязалась с его манерой держаться и «бабушкиной» кофтой. Волнистые волосы Есенина к этому времени сильно отросли, но из зрительного зала казалось, что по ним прошлись шипцы парикмахера. Голубая рубашка, балалайка и особенно сапожки, напоминавшие былинный стих «возле носка хоть яйцо прокати, под пятой хоть воробей пролети»,— все это изменило обычный облик Есенина. В строгий зал, предназначенный для лекций, диссонансом ворвалась струя театральности. Когда раздались с эстрады звуки балалайки, многим из публики показалось, что выступят русские песельники. Оперный костюм, о котором упоминает в своем очерке Максим Горький, и был причиной заблуждения части слушателей. Однако публика, привыкшая в то время к разным экстравагантным выходкам поэтов, скоро освоилась, поняв, что это «реклама» в современном духе и надо слушать не балалайку, а стихи поэтов.

Читал Есенин на этом первом вечере великолепно. Он имел успех. Вечер был отмечен в печати.

Раза три отец поручал мне проводить Есенина до остановки к разным линиям трамвая со стороны или Новой деревни, или Лесного, обычно по кратчайшим дорогам, неизвестным жителям центра. С Есениным обычно уходило несколько человек попутчиков, дороживших обществом молодого поэта.

Однажды я провожала Есенина к Новой деревне и по дороге, как гид, рассказывала о литературных достопримечательностях Черной речки. На даче, в Лесном, летом 1844 года, совместно проживали В. Г. Белинский и И. С. Тургенев. За Удельным парком, на поляне, в сторону Коломяг лежит небольшой черный, совершенно необтесанный камень, «дикий», без всякой надписи — здесь происходила дуэль Пушкина с Дантесом. Есенин собирался посетить это место, и я объясняла, как проехать и пройти туда. Не знаю, успел ли Есенин выполнить свое намерение.

На Строгановской набережной, на берегу Невки, я показала Есенину дачу графа Строганова — красивый, двухэтажный барский дом, выкрашенный светлой охрой, с белыми наличниками. Здесь в тридцатых годах прошлого века жил на даче Пушкин с женой и детьми. Мы подошли близко к дому. На нем, конечно, тоже не было мемориальной доски. Обширный парк, выходивший также и на набережную узкой и вонючей Черной речки, до войны содержался в большом порядке. Теперь он был наполовину вырублен. В парке появились новые временные постройки, где разместились военные склады. Все вокруг было захламлено. В доме помещалась воинская часть, и нам не разрешили проникнуть внутрь. Есенин был искренно огорчен тем, что в столице разрушаются литературные памятники, а ему так хотелось «походить по тем комнатам, где Пушкин жил с женой», услышать, как скрипят половицы в старинном доме.

Есенин был литературно образован. Он многое успел прочесть.

Тогда я узнала от него, что он в Москве жил года три, работал и учился в народном университете Шанявского. Он мне говорил, что печатался в детском журнале и напечатал одно стихотворение в газете «Правда». Он сказал, что в университете Шанявского было интересно, и спрашивал нас, где находятся курсы для взрослых при реальном училище Черняева, как поставлены там занятия и стоит ли посещать эти курсы.

В 1916 году, насколько мне помнится, Есенин был призван на военную службу и зачислен в один из царскосельских госпиталей санитаром. Он редко появлялся у нас и приходил в штатском, а не военном костюме. Одевался он в это трудное время с иголочки и преображался в настоящего денди, научился принимать вид томный и рассеянный. Он был уже вполне уверен в себе, а временами даже самоуверен. Раньше, когда читали и разбирали его стихи, он внимательно прислушивался к критике или, по крайней мере, делал вид, что слушает. Теперь он обиделся, когда ему посоветовали переделать строку «пляшет девок корогод» на более понятное — «хоровод». Есенин быстро отпарировал того критика, который указал ему за год до этого, что в словарях великорусского языка нет слова «выть» в качестве существительного. Теперь Есенин сослался на словарь Владимира Даля, где слово «корогод» в значении «хоровод» действительно можно найти.

— Пишите просто, к этому вы все равно придете, милочка. Читайте больше Пушкина, читайте и перечитывайте Пушкина по два часа ежедневно,— советовал Есенину отец.

— Что мне Пушкин! — возразил Есенин.— Разве я не прочел Пушкина? Я буду больше Пушкина...

Это было на заседании кружка имени К. Случевского.

После я упрекнула Есенина за эту демонстрацию самоуверенности. Никого из литераторов на этот раз не было. Думала, что Есенин обидится на меня, и ждала, что он ответит надменно и насмешливо. Ничуть не бывало: он сказал подчеркнуто мягко:

— Если бы Иероним Иеронимович упрекнул меня наедине... сказал бы с глазу на глаз... А то сидит Федор Сологуб с бородавкой на щеке и думает, что я не читал Пушкина. А я Пушкина люблю. Но сейчас России нужны другие стихи, иная поэзия.

В 1916 году, по рекомендации отца, на собрании, состоявшемся на Черной речке, Есенин был принят в общество поэтов имени Константина Случевского. После смерти Случевского, в 1904 году, участники кружка — это стало традицией — собирались в доме то одного, то другого поэта. Чтения сопровождались ужином с вином. На заседаниях кружка было несколько чопорно и торжественно: мужчины являлись во фраках и визитках,

поэтессы в вечерних туалетах. В 1916 году отец дважды принимал у себя участников кружка, один раз зимой, другой — поздней весной. Оба раза присутствовал и читал стихи Есенин. На первом из этих заседаний его приняли в члены кружка. В назначенный день на Черной речке, у нас, появился официант во фраке и в белых перчатках, ужин доставили из известного ресторана «Вилла Родэ» в Новой деревне. Отец на оплату счета из ресторана «ухнул» гонорар за какой-то роман и вышел с честью из положения. Доставать продукты становилось все труднее — начиналась разруха.

Мне как-то странно было видеть Есенина в окружении поэтов кружка Случевского. По возрасту это были люди солидные, преобладали лысые. Половина из них служила в каких-то министерствах, получая чины, в журналах их имена встречались редко, и книжечки своих стихотворений они издавали за свой счет. На общем фоне выделялись писатели-профессионалы: Федор Сологуб и Гумилев. Тогда Есенин, очевидно, впервые увидев Гумилева, так и впился в него. Гумилев с его стройной фигурой, высокий, широкоплечий и худощавый, с бледным до синевы лицом, как бы припудренным пеплом, походил на рыцаря, успевшего снять доспехи и сошедшего с какого-то гобелена или с средневековой картины Эрмитажа. Серо-свинцовые глаза Гумилева смотрели напряженно и чуть презрительно, а на высокий лоб падали гладко зачесанные пряди пепельных волос, подстриженных в виде челки, спускавшейся до самых бровей. А челка тогда была модной женской прической.

Когда принимали Есенина в члены кружка, он держался довольно свободно, Гумилева рассматривал дерзко-внимательно, несколько раз перевел глаза с челки «вождя» акмеистов, скрывавшей его лоб, на челку хорошенькой молоденькой поэтессы. Я перехватила взгляд Есенина: в глазах его вспыхнуло насмешливо-озорное, знакомое мне выражение и угасло. Есенина попросили читать стихи. Он вышел, как-то особенно лихо тряхнув головой, будто говоря про себя: «Ну что ж, сразимся с рысаками». Он выбрал для чтения стихи о природе. Есенина приняли в общество. Гумилев не выступал с критикой, он только читал стихи. Федор Сологуб не слушал.

Конечно, Есенин был чужд этой среде модных поэтов, лениво и небрежно открывших ему свои объятия. Все наигранное, фальшивое Есенин презирал.

Только год прошел с тех пор, как Есенин, огорченный и смущенный, говорил нам, что «Ахматова не такая, как ее стихи». А теперь он уже научился применяться к среде. С этого времени я заметила в его манере поведения и обращения с людьми какую-то раздвоенность. Есенин часто брал на себя роль, которую на людях, чуждых ему по духу, по складу мыслей и характеру, добросовестно разыгрывал; попадая же в общество простых людей, он сам становился искренним и естественным.

Есенин был во власти больших ожиданий политических перемен, которые в корне должны изменить жизнь России. Вспоминается мне один знаменательный разговор, происходивший осенью 1916 года в присутствии молодого писателя Пимена Карпова, выпустившего роман из жизни сектантов-хлыстов «Пламень».

Есенин был у нас. Он был в плохом настроении. Торопился попасть к назначенному сроку в район Литейного проспекта, хотя и говорил, что очень не хочется туда ехать, но необходимо. Я вызвалась проводить Есенина и П. Карпова через огороды к новой трамвайной линии на Лесной проспект, что давало значительный выигрыш во времени.

Пошли краткой дорогой. Отодвинув доски, пролезли в расщелину забора. Наши собаки проворно выпрыгнули и увязались за нами. Они, конечно, чуяли, что предстоит великолепная прогулка, и не пожелали упустить случая. Шутя я сказала, что наши собаки «литературные» и не прочь познакомиться с автором «Песни о собаке».

Я сказала, что «Песня о собаке» мне очень нравится, я вижу в ней глубокий социальный смысл.

Этот ребяческий разговор и простор питерских окраин вдруг резко изменили настроение Есенина. Он оживился. Стали болтать на разные темы, и между прочим зашел разговор о долголетии. Я сказала, что боюсь смерти, хочу своими глазами увидеть жизнь после революции. У нас дома в тот вечер много говорилось о похождениях Григория Распутина.

Есенин так и загорелся:

— Только короткая жизнь может быть яркой. Жить — значит отдать всего себя революции, поэзии. Отдать всего себя, без остатка. Жить — значит сгореть.

Он привел в пример Лермонтова и сказал:

— Жить надо не дольше двадцати пяти лет!

Есенин вообще не любил говорить много и долго, но уж если начинал говорить, то говорил веско и убедительно, хотя и выслушивал возражения со вниманием.

П. Карпов тоже напал на меня: он стоял на той же точке зрения, что и Есенин. Но Пимену Карпову было лет за тридцать, а потому его высказывания не казались мне убедительными.

Есенин стал отвергать мой довод: хочу жить долго, чтобы посмотреть, как революция изменит жизнь.

— Да ведь для этого не надо жить долго,— говорил поэт,— революция будет завтра или через три месяца. Какие настроения на фронте! Об этом говорят солдаты в лазаретах и госпиталях.

Я рассказала ему о митингах-летучках в Психоневрологическом институте, где и мне довелось побывать.

Мы шли по огородным грядкам. Урожай был уже убран — торчали только, как маленькие пенечки, срезанные у корня капустные кочерыжки. Налево виднелись туманные очертания деревянных домов и растрепанные безлистные ивы, а с правой стороны громоздились высокие здания заводов с ярко освещенными окнами и дымили фабричные трубы. Есенин обратил внимание на эти контрасты «века нынешнего и века минувшего»:

— А вот съедает Выборгская сторона вашу Черную речку.

— Ну что ж, съест и не подавится,— весело ответила я, указав поэту на растущие как грибы, на Черной речке, в Языковом переулке и на Головинской улице доходные многоэтажные дома с «дешевыми» квартирами для рабочих. Только затянувшаяся война приостановила строительство.

Есенин спросил, приходилось ли мне бывать в домах новой стройки и в каких домах, новых или старых, жить рабочему дешевле и здоровее. Тогда мне показалось, что Есенин экзаменует меня, и я постаралась привести побольше известных мне примеров «за» и «против» новых домов. Есенин как будто проверял какие-то свои наблюдения над бытовыми условиями жизни питерских рабочих, связывая с этим вопрос о близости и возможности революции. Пимен Карпов рассказывал, как в 1906—1907 годах в деревнях жгли помещичьи усадьбы. Есенин горячо поддерживал его мысль о том, что революция близка и победит.

— Начало революции положит питерский рабочий и солдат, отведавший фронта, и «вся Россия» пойдет за ними.

З. Ясинская

Однажды зимой, в среду, писатель Иероним Ясинский приехал в Пенаты с одним юношей. Нельзя было не обратить внимания на его внешность. Свежее лицо, прямо девичьей красы, с светлыми глазами, с вьющимися кудрями цвета золотистого льна, элегантно одетый в серый костюм. За круглым столом при свете ламп проходил обед. Потом обратились к пище духовной. Вот тут-то Ясинский представил всем молодого русского поэта — Сергея Есенина. Есенин поднялся и, устремив светлый взор вдаль, начал декламировать. Голос его был чистый, мягкий и легкий тенор. В стихах была тихая грусть и ласка к далеким деревенским полям, с синевой лесов, с белизной нежных березок, бревенчатых изб... Так живо возникали лирические образы у нас, слушавших чтение. Репин аплодировал, благодарил поэта. Все присутствующие выражали свое восхищение.

А. Комашка

Шел декабрь 1916 года. Я уже давно сменил студенческое пальто на шинель вольноопределяющегося. Жить приходилось в казарме, но в предпраздничные дни, с увольнительной запиской в кармане, я свободно бродил по улицам города, стараясь, впрочем, по возможности меньше попадаться на глаза офицерам, чтобы не подвергать их соблазну сделать мне какое-либо замечание. Особенно сторонился я новоиспеченных прапорщиков. Все же, гуляя по городу, трудно было не заглянуть на Невский. А в толпе на его тротуарах то и дело поблескивали золотые и серебряные погоны. Тут уж приходилось держать ухо востро. И вот торопясь миновать Морскую, я неожиданно столкнулся с такой же робкой и быстрой фигурой в серой солдатской шинели. На меня поглядели знакомые насмешливые глаза.

— Сергей!

— Я самый. Разрешите доложить: рядовой санитарной роты Есенин Сергей отпущен из части по увольнительной записке до восьми часов вечера.

Мы оба расхохотались — так необычна была наша встреча — и тут же свернули на Мойку, чтобы никто не мог помешать нашему разговору.

Я глядел на Есенина и не узнавал его. В грубой, не по росту большой шинели с красными матерчатыми крестиками на солдатских погонах, остриженный наголо, осунувшийся и непривычно суетливый, он казался мальчиком-подростком, одетым в больничный халат. Куда девались его лихие кудри, несколько надменная улыбка?

Он рассказал мне, что ему удалось устроиться санитаром в дворцовом госпитале Царского Села.

— Место неплохое,— добавил он,— беспокойства только много. И добро бы по работе. А то начнешь что налаживать — глядь, какие-то важные особы пожаловали. То им покажи, то разъясни — ходят по палатам, путают, любопытствуют, во все вмешиваются. А слова поперек нельзя сказать. Стой навытяжку. И пуще всего донимают царские дочери — чтоб им пусто было. Приедут с утра, и весь госпиталь вверх дном идет. Врачи с ног сбились. А они ходят по палатам, умиляются, образки раздают, как орехи с елки. Играют в солдатики, одним словом. Я и «немку» два раза видел. Худая и злющая. Такой только попадись — рад не будешь. Доложил кто-то, что вот есть здесь санитар Есенин, патриотические стихи пишет. Заинтересовались. Велели читать. Я читаю, а они вздыхают: «Ах, это все о народе, о великом нашем мученике-страдальце...» И платочек из сумочки вынимают. Такое меня зло взяло. Думаю — что вы в этом народе понимаете?

Так разговаривая, шли мы по темнеющим улицам.

— Да,— протянул задумчиво Есенин,— какие-то стихи будем мы писать после войны? Опять начнутся «розы» и «мимозы»? И неужели нельзя будет говорить о народе так, как он этого заслуживает? Я так думаю, что ему никто и спасибо за эту войну не скажет.

Мы долго бродили в тот день в зимних морозных сумерках. Заходили погреться в какую-то чайную, слушали заливистого гармониста. Есенин пел мне вполголоса заунывные рекрутские частушки. Уже при свете вспыхнувших вдоль Загородного проспекта фонарей я проводил его на Царскосельский вокзал.

Вторично встретились мы уже после февральской революции, и тоже на Невском, в праздничной, шумной суете.

На этот раз мы шли свободно и весело, чувствуя себя полными хозяевами города. Мимо нас проходила какая-

то часть, по-видимому, недавно прибывшая с фронта. Есенин долго вглядывался в серые, утомленные лица солдат. Он заметно помрачнел.

— Когда же кончится эта проклятая война! Здесь по улицам с песнями и флагами ходят, а раненых все везут и везут. Керенский таким воякой оказался, что не дай боже.

Мы невесело помолчали. Проклятый вопрос, как кончить с войной, мучил в то время каждого, кто имел возможность хоть на минуту выключить себя из стихийного ликования, бушевавшего на улицах, и внимательно оглядеться вокруг. В сущности, исчезли только полицейские шинели и царские флаги. Многое осталось по-старому, и толстый Родзянко с балкона Государственной думы призывал продолжать войну почти в тех же выражениях, как это делалось и в старой казарме.

Мы продолжали молчать, пока не поравнялись с большим книжным магазином Вольфа.

— Зайдем! — предложил Есенин.

В огромном помещении, до потолка заполненном книгами, было пусто. Широкие прилавки пестрели свежими обложками. В огромных папках, на специальных стеллажах, пухло покоились гравюры и литографии. Томный, с иголочки одетый приказчик почтительно наклонял гладко расчесанный пробор над грузным черепом какого-то старика, утонувшего в низком кожаном кресле. Старик, сдвинув очки на широкий лоб и приблизив к самым глазам маленький старинный томик, тоненьким капризным голосом ворчал на что-то и изредка постукивал по странице сухим, костлявым пальцем. Какая-то дама лениво перелистывала желтые французские книжки.

Мы подошли к прилавку. У нас в глазах зарябило от множества цветных обложек.

— Нет, ты только послушай, как заливается этот индейский петух!

И, раскрыв пухлый том Бальмонта, громко и высокопарно, давясь подступавшим смехом, Есенин прочитал нараспев и в нос какую-то необычайно звонкую и трескучую строфу, подчеркивая внутренние созвучия. И тут же схватился за лежавший рядом сборник Игоря Северянина.

— А этот еще хлестче! Парикмахер на свадьбе!

Мы так увлеклись, что и не заметили выросшего рядом приказчика.

— Молодые люди,— сказал он вежливо и спокойно,— вы шли бы прогуляться. Погода хорошая, и вам на улице будет гораздо интереснее. А тут вы только книги ворошите. Ведь все равно ничего не купите. Денег-то, вероятно, нет?

Есенин вскипел:

— Денег нет, это верно. Тут уж ничего не скажешь. Да зато есть вот это!

И он выразительно хлопнул ладонью по собственному лбу.

— А если я, как курица, везде по зернышку клюю, то это уж мое дело. Никому от этого убытка нет.

И, презрительно вздернув голову, направился к выходу. Но когда мы очутились за дверью, не выдержал и рассмеялся на всю улицу.

— А ведь он и вправду думал, что мы книжки украдем. Это я-то Бальмонта буду красть? Чудеса!

Веселое настроение не покидало его всю дорогу.

Вс. Рождественский

Познакомился у Иванова-Разумника с С. Есениным. В Есенине сочетание озорства с большою утонченностью. Иногда — почти декадентно. Есть строки нелепые, есть строки, приближающиеся по спокойной силе к классикам. Иванов-Разумник балует Есенина.

Хорошо читает Есенин, поет, сжав брови, опустив долу глаза. Тогда — совсем мальчик. Он — крестьянин. И поет, как ветер, тонко, слегка однообразно, стихийно. Вкус к мифу. Это сильно — в революционной поэзии: и — правильно.

Е. Лундберг

Часов около девяти вечера слышу — кто-то за дверью спрашивает меня.

Дверь без предупреждения открывается, и входит Есенин.

Было это в семнадцатом году, осенью, в Петрограде, когда в воздухе уже попахивало Октябрем. Я сидел за самоваром, дописывал какое-то стихотворение. Есенин подошел ко мне, и мы поцеловались. На нем был серый, с иголочки костюм, белый воротничок и галстук синего цвета. Довольно щегольской вид. Спрашивает улыбаясь:

— С Клюевым ты как... знаком?

— Нет.

— А с Городецким? А с Блоком?

— Нет.

Попросил чаю.

— Вот чудак! А ведь Блок и Клюев... хорошие ребята!.. Зря ты так, в стороне...

Засунул обе руки в карманы, прошелся по большой комнате, по ковру, и тут я впервые увидел «легкую походку» — есенинскую. Никто так легко не умел ходить, как Есенин, и в первые дни нашего знакомства мне все казалось, что у него ноги длиннее, чем следует. На цветистом ковре, под электрической лампочкой, в прекрасно сшитом костюме, Есенин больше походил на изящного джентльмена, чем на крестьянского поэта, воспевающего тальянку и клюевскую хату, где «из углов щенки кудлатые заползают в хомуты». Потом поглядел на меня так, поглядел этак и сел за стол:

— А Клычкова знаешь?

— И Клычкова не знаю.

— Ну, ладно... я не за тем пришел... Это я так... Хорошая у тебя комната!.. А Ширяевца знаешь?

— Никогда не видал.

Смеется.

— Вот чудак!

Поглядел я на него: хорош! Свежее юношеское лицо, светлый пушок над губами, синие глаза и кудри — все то, о чем потом все мы читали в его позднейших стихах: «Я сыграю на тальяночке про синие глаза», которые «кто-то тайный тихим светом напоил», о которых говорил он в последние годы: «Были синие глаза, да теперь поблекли». Ему всего двадцать два года, от всей его стройной фигуры веяло уверенностью и физической силой, и по его лицу нежно светилась его розовая молодость: «Глупое, милое счастье, свежая розовость щек». Если бы я не видел его воочию, я никогда не поверил бы, что «свет от розовой иконы на златых моих ресницах» — написано им про самого себя.

А когда он встряхивал головой или менял положение головы, я не мог не сказать ему, что у него хорошие волосы, и опять он вместо ответа улыбнулся и заговорил о стихах. После я понял эту его улыбку, которая говорила: «А ты думаешь, я не знаю, что хорошо и что плохо... отлично знаю!» И действительно, разве мы не читали потом: «старый клен головой на меня похож», «ах, увял головы моей куст», или «тех волос золотое сено превраща-

ется в серый цвет», или «запрокинулась и отяжелела золотая моя голова».

В комнате было холодно, пришлось подогреть самовар и достать из-за гардины с подоконника запасную колбасу и хлеб. За окном висел густой петроградский туман. Самовар крутился горячим паром к самому потолку. Я сидел на диване. Есенин под электрической лампочкой, на середине комнаты читал стихи, взмахивая руками и поднимаясь на цыпочки.

Но вот под тесовым
Окном —
Два ветра взмахнули
Крылом;

То с вешнею полымью
Вод
Взметнулся российский
Народ.

Голос его гремел по всей квартире, желтые кудри стряхивались на лицо. Гляжу: дверь слегка приоткрывается... Что такое? Оказывается, вся хозяйская семья, человек шесть, кроме ребят, столпились возле двери — послушать Есенина. Читка его в те времена была еще не такая роскошная, какую мы слышали позже, но уже и тогда он умел отточить каждое слово, оттенить каждый образ и приковать к себе внимание слушателей. По крайней мере, хозяйская семья, толпившаяся за дверью, потом уже вся постепенно влезла в комнату и простояла около часа, пока Есенин не кончил читать. Окончив чтение, Есенин сел на стул и вздернул на коленях отлично выутюженные брюки и вопросительно прищурил глаза.

— Очень хорошо! — сказал я.

От всей моей колбасы и от всего самовара через каких-нибудь два-три часа ничего не осталось. За эти два-три часа мы переворошили всю современную литературу, основательно промыли ей кости и нахохотались до слез.

— Вот дураки! — захлебываясь, хохотал Есенин.— Они думали, мы лыком шиты... Ведь Клюев-то, знаешь... я неграмотный, говорит! Через ó... неграмòтный! Это в салоне-то... А думаешь, я не чудил? А поддевка-то зачем?.. Хрестьянские, мол!.. Хотя, знаешь, я от Клюева ухожу... Вот лысый черт! Революция, а он «избяные песни»... На-ка-за-ние! Совсем старик отяжелел. А поэт огромный! Ну, только не по пути...— И вдруг весело и громко, на всю квартиру:— А знаешь... мы еще и Блоку и Белому загнем

салазки! Я вот на днях написал такое стихотворение, что и сам не понимаю, что оно такое! Читал Разумнику, говорит — здóрово, а я... Ну, вот хоть убей, ничего не понимаю!

— А ну-ка...

Я думал, что Есенин опять разразится полным голосом и закинет правую руку на свою золотую макушку, как он обыкновенно делал при чтении своих стихов, но Есенин только слегка отодвинулся от меня в глубину широкого кожаного дивана и наивыразительнейше прочитал одно четверостишие почти шепотом:

Облаки лают,
Ревет златозубая высь...
Пою и взываю:
Господи, отелись!

И вдруг громко, сверкая глазами:

— Ты понимаешь: господи, отелись! Да нет, ты пойми хорошенько: го-спо-ди, о-те-лись!.. Понял? Клюеву и даже Блоку так никогда не сказать... Ну?

Мне оставалось только согласиться, возражать было нечем. Все козыри были в руках Есенина, а он стоял передо мной, засунув руки в карманы брюк, и хохотал без голоса, всем своим существом, каждым своим желтым волосом в прихотливых кудрявинках, и только в синих глазах, прищуренных, был виден светлый кусочек этого глубокого внутреннего хохота. Волосы на разгоряченной голове его разметались золотыми кустами, и от всего его розового лица шел свет. Я совершенно искренне сказал ему, что этот образ «господи, отелись» мне тоже не совсем понятен, но тем не менее, если перевести все это на крестьянский язык, то тут говорится о каком-то вселенском или мировом урожае, размножении или еще что-то в этом же роде. Есенин хлопнул себя по коленке и весело рассмеялся.

— Другие говорят то же! А только я, вот убей меня бог, ничего тут не понимаю...

Я увидел, что Сережа хитрит, но перевести разговор на другую тему не мог. Ведь он был очень большой и настойчивый говорун, и говор у него в ту пору был витиеватый, иносказательный, больше образами, чем логическими доводами, легко порхающий с предмета на предмет, занимательный, неподражаемый говор. Сам он был удивительно юн. Недаром его звали — Сережа. Юношеское горение лица не покидало его до самой смерти. Но пока он кудря-

вился в разговорах, я успел сообразить кое-что такое, чему невозможно было не оправдаться.

Я понял, что в творчестве Сергея Есенина наступила пора яркого и широкого расцвета. В самом деле, до сей поры Есенин писал, подражая исключительно Клюеву, изредка прорываясь своими самостоятельными строками и образами. У него была и иконописная символика, заимствованная через Клюева в народном творчестве: «Я поверил от рожденья в богородицын покров». Или: «Пойду в скуфье смиренным иноком иль белобрысым босяком». Но кто же не видит, что «пойду в скуфье смиренным иноком» — это целиком клюевская строчка, а «иль белобрысым босяком» — строчка совершенно самостоятельная, строчка есенинская, из которой в дальнейшем и развилась его поэзия. Вот его детство, написанное уже впоследствии, в пору ясного самосознания и расцвета:

Худощавый и низкорослый,
Средь мальчишек всегда герой,
Часто, часто с разбитым носом
Приходил я к себе домой.

И навстречу испуганной маме
Я цедил сквозь кровавый рот:
«Ничего! Я споткнулся о камень,
Это к завтраму все заживет».

Вот где настоящий Есенин. Но этот настоящий Есенин уже сквозил и в те первые революционные дни. Выслушав целый ряд революционных стихотворений, написанных уже не по-клюевски, я увидел, что Есенин окончательно порывает всякую творческую связь и с Клюевым, и с Блоком, и с Клычковым, и с многими поэтами того времени конца семнадцатого года, когда поэты и писатели разбивались на группы и шли кто вправо, кто влево. Есенин круто повернул влево. Но это вовсе не было внезапное полевение. Есенин принял Октябрь с неописуемым восторгом, и принял его, конечно, только потому, что внутренне был уже подготовлен к нему, что весь его нечеловеческий темперамент гармонировал с Октябрем, что, по существу, он никогда не был Клюевым. Клюеву, а вместе с Клюевым и многим в то время он говорит:

Тебе о солнце не пропеть,
В окошко не увидеть рая,
Так мельница, крылом махая,
С земли не может улететь.

Видя в первый раз Есенина в глаза, я изумлялся его энергии и удивлялся его внешнему виду. В нем было то,

что дается человеку от рождения: способность говорить без слов. В сущности, он говорил очень мало, но зато в его разговоре участвовало все: и легкий кивок головы, и выразительнейшие жесты длинноватых рук, и порывистое сдвигание бровей, и прищуривание синих глаз... Говорил он, обдумывая каждое слово и развивая до крайних пределов свою интонацию, но собеседнику всегда казалось, например мне, что Есенин высказался в данную минуту до самого дна, тогда как до самого дна есенинской мысли на самом деле никогда и никто донырнуть не мог! Одну и ту же тему, один и тот же разговор он поворачивал и так и этак и по существу высказывался всегда одинаково, только с разных сторон, разными образами и приемами. Например, если он в семнадцатом году, сказал: «Господи, отелись!», то потом, в восемнадцатом году, он, продумав до конца свою мысль, развил этот образ до его совершенно логического оформления, и получилось вот что:

И невольно в море хлеба
Рвется образ с языка:
Отелившееся небо
Лижет красного телка.

Что это за «красный телок», можно легко догадаться. Но ведь и не в этом дело, как Есенин принял Октябрь, а в том, как его совершенно крестьянская психология художественно реагировала на события и какими путями Сергей Есенин в конце концов пришел к «Руси советской» и к своей знаменитой «Песне о великом походе», в которых он окончательно выявил свое поэтическое и человеческое лицо.

В комнате стоял густой и душный табак. Ночь затянулась, и первое наше знакомство сразу перешло в дружбу. Есенин уже готов был сидеть хоть до утра. Задорный смех и гневные вспышки в сторону «современных старцев» в литературе меняли Есенина: в одну и ту же минуту Есенин был грозен и прекрасен своей неподражаемой смешливой юностью.

— А знаешь,— сказал он, после того как разговор об отелившемся господе был кончен,— во мне... понимаешь ли, есть, сидит эдакий озорник! Ты знаешь, я к богу хорошо относился, и вот... Но ведь и все хорошие поэты тоже... Например, Пушкин... Что?

Было около четырех часов утра, когда мы разошлись. Есенин надел меховой пиджак и шляпу. Я предложил ему заночевать у меня, но он отказался.

— А жену кому?.. Я, брат, жену люблю! Приходи к нам... Да вообще... так нельзя... в одиночку!

И тут, уже готовый к выходу, Есенин прочитал мне несколько стихотворений об одиночестве. Память у него была огромная, и поэтов-классиков он знал наизусть и читал превосходно. Проводив Есенина, я вернулся в свою большую холодную комнату, отнес пустой ледяной самовар на кухню, вздохнул об уничтоженной колбасе и лег спать.

После этого вечера мы виделись часто и подолгу. Я бывал у Есенина, Есенин бывал у меня. Я встречал его в редакциях газет и журналов и, к моему удивлению, видел, как быстро вширь и в глубину расцветает Есенин.

П. Орешин

Первая моя встреча с Есениным произошла в Петрограде в декабре 1917 года. Я состоял в то время секретарем Московско-Заставского райкома большевиков. Нашей культкомиссией был организован «концерт-митинг» в театре завода Речкина. Начался концерт. Я находился на сцене, ожидая своего выступления. Тут появился один из устроителей концерта и сообщил:

— Приехали известные поэты — Есенин и Орешин. Они выступят сейчас со своими стихами.

Затем на сцену вышел невысокий молодой человек, белокурый, вихрастый, франтовски одетый,— почему-то запомнились ботинки с серыми гетрами. Следом за ним показался другой, но постарше, с темными короткими волосами, в пиджаке поверх косоворотки и в больших русских сапогах. Кто-то объявил:

— Слово предоставляется поэту Орешину.

Человек в русских сапогах достал из кармана исписанные листки бумаги и начал читать доклад о крестьянской поэзии. Читал долго и не особенно внятно. В публике началось движение, кашель и даже разговоры.

Потом выступил Есенин. Он, словно почувствовав неблагоприятную обстановку для чтения, подошел к рампе и обратился к публике:

— Художественное слово требует большого внимания. Прошу соблюдать тишину.

Потом он прочитал стихотворение «О Русь, взмахни крылами...». Читал хорошо, но стихотворение по своей теме осталось чуждым рабочей аудитории, она вяло реагировала на чтение, и, когда поэт окончил, раздались весьма

жидкие хлопки. Есенин был смущен холодным отношением и, прочитав еще одно стихотворение, ушел за кулисы. Орешин совсем не читал стихов. Я хотел было познакомиться с поэтами, но они, быстро одевшись, уехали на автомобиле.

Имя Зинаиды Николаевны Райх редко упоминается рядом с именем Сергея Есенина. В годы революции личная жизнь поэта не оставляла прямых следов в его творчестве и не привлекала к себе пристального внимания.

В. Кириллов

Актриса Зинаида Райх хорошо известна тем, кто связан с историей советского театра, ее сценический путь прослеживается месяц за месяцем. Но до 1924 года такой актрисы не существовало (свою первую роль она сыграла в возрасте 30 лет). Образ молодой Зинаиды Николаевны Есениной, жены поэта, трудно восстановить документально. Ее небольшой личный архив пропал в годы войны. До того возраста, когда охотно делятся воспоминаниями, Зинаида Николаевна не дожила. Я не много знаю из рассказов матери.

Мать была южанкой, но к моменту встречи с Есениным уже несколько лет жила в Петербурге, сама зарабатывала на жизнь, посещала Высшие женские курсы. Вопрос «кем быть?» не был еще решен. Как девушка из рабочей семьи, она была собранна, чужда богеме и стремилась прежде всего к самостоятельности.

Дочь активного участника рабочего движения, она подумывала об общественной деятельности, среди ее подруг были побывавшие в тюрьме и ссылке. Но в ней было и что-то мятущееся, был дар потрясаться явлениями искусства и поэзии. Какое-то время она брала уроки скульптуры. Читала бездну. Одним из любимых ее писателей был тогда Гамсун, что-то было близкое ей в странном чередовании сдержанности и порывов, свойственном его героям.

Она и всю жизнь потом, несмотря на занятость, много и жадно читала, а перечитывая «Войну и мир», кому-нибудь повторяла: «Ну как же это он умел превращать будни в сплошной праздник?»

Весной 1917 года Зинаида Николаевна жила в Петрограде одна, без родителей, работала секретарем-машинисткой в редакции газеты «Дело народа». Есенин печатался здесь. Знакомство состоялось в тот день, когда

поэт, кого-то не застав, от нечего делать разговорился с сотрудницей редакции.

А когда человек, которого он дожидался, наконец пришел и пригласил его, Сергей Александрович, со свойственной ему непосредственностью, отмахнулся:

— Ладно уж, я лучше здесь посижу...

Зинаиде Николаевне было 22 года. Она была смешлива и жизнерадостна.

Есть ее снимок, датированный 9 января 1917 года. Она была женственна, классически безупречной красоты, но в семье, где она росла, было не принято говорить об этом, напротив, ей внушали, что девушки, с которыми она дружила, «в десять раз красивее».

Со дня знакомства до дня венчания прошло примерно три месяца. Все это время отношения были сдержанными, будущие супруги оставались на «вы», встречались на людях. Случайные эпизоды, о которых вспоминала мать, ничего не говорили о сближении.

В июле 1917 года Есенин совершил поездку к Белому морю («Небо ли такое белое или солью выцвела вода?»), он был не один, его спутниками были двое приятелей (увы, не помню их имен *) и Зинаида Николаевна. Я никогда не встречала описаний этой поездки.

Уже на обратном пути, в поезде, Сергей Александрович сделал матери предложение, сказав громким шепотом:

— Я хочу на вас жениться.

Ответ: «Дайте мне подумать» — его немного рассердил. Решено было венчаться немедленно. Все четверо сошли в Вологде. Денег ни у кого уже не было. В ответ на телеграмму «Вышли сто, венчаюсь» — их выслал из Орла, не требуя объяснений, отец Зинаиды Николаевны. Купили обручальные кольца, нарядили невесту. На букет, который жениху надлежало преподнести невесте, денег уже не было. Есенин нарвал букет полевых цветов по пути в церковь — на улицах всюду пробивалась трава, перед церковью была целая лужайка.

---

* Слова «не помню их имен» справедливы для того времени, когда эта статья печаталась в сб. «Есенин и современность» (изд-во «Современник», 1975). Теперь я могу назвать одного из спутников — это был приятель моего отца поэт А. А. Ганин. Эта фамилия не «всплыла» в памяти сама собой. В ЦГАЛИ хранится план воспоминаний моей матери о Есенине. Воспоминания написаны не были, а с планом я познакомилась сравнительно недавно. Ганин упомянут в том пункте, где речь идет о поездке к Белому морю.

Вернувшись в Петроград, они некоторое время жили врозь, и это не получилось само собой, а было чем-то вроде дани благоразумию. Все-таки они стали мужем и женой, не успев опомниться и представить себе хотя бы на минуту, как сложится их совместная жизнь. Договорились поэтому друг другу «не мешать». Но все это длилось недолго, они вскоре поселились вместе, больше того, отец пожелал, чтобы Зинаида Николаевна оставила работу, пришел вместе с ней в редакцию и заявил:

— Больше она у вас работать не будет.

Мать всему подчинилась. Ей хотелось иметь семью, мужа, детей. Она была хозяйственна и энергична.

Душа Зинаиды Николаевны была открыта навстречу людям. Помню ее внимательные, все замечающие и все понимающие глаза, ее постоянную готовность сделать или сказать приятное, найти какие-то свои, особые слова для поощрения, а если они не находились — улыбка, голос, все ее существо договаривали то, что она хотела выразить. Но в ней дремали вспыльчивость и резкая прямота, унаследованные от своего отца.

Первые ссоры были навеяны поэзией. Однажды они выбросили в темное окно обручальные кольца (Блок — «Я бросил в ночь заветное кольцо») и тут же помчались их искать (разумеется, мать рассказывала это с добавлением: «Какие же мы были дураки!»). Но по мере того как они все ближе узнавали друг друга, они испытывали порой настоящие потрясения. Возможно, слово «узнавали» не все исчерпывает — в каждом время раскручивало свою спираль. Можно вспомнить, что само время все обостряло.

С переездом в Москву кончились лучшие месяцы их жизни. Впрочем, вскоре они на некоторое время расстались. Есенин отправился в Константиново, Зинаида Николаевна ждала ребенка и уехала к своим родителям в Орел...

Я родилась в Орле, но вскоре мать уехала со мной в Москву и до одного года я жила с обоими родителями. Потом между ними произошел разрыв, и Зинаида Николаевна снова уехала со мной к своим родным. Непосредственной причиной, видимо, было сближение Есенина с Мариенгофом, которого мать совершенно не переваривала. О том, как Мариенгоф относился к ней, да и вообще к большинству окружающих, можно судить по его книге «Роман без вранья».

Спустя какое-то время Зинаида Николаевна, оставив меня в Орле, вернулась к отцу, но вскоре они опять расстались...

Осенью 1921 года она стала студенткой Высших театральных мастерских. Училась не на актерском отделении, а на режиссерском, вместе с С. М. Эйзенштейном, С. И. Юткевичем.

С руководителем этих мастерских — Мейерхольдом она познакомилась, работая в Наркомпросе. В прессе тех дней его называли вождем «Театрального Октября». Бывший режиссер петербургских императорских театров, коммунист, он тоже переживал как бы второе рождение. Незадолго перед этим он побывал в Новороссийске в белогвардейских застенках, был приговорен к расстрелу и месяц провел в камере смертников.

Летом 1922 года два совершенно незнакомых мне человека — мать и отчим — приехали в Орел и увезли меня и брата от деда и бабки. В театре перед Всеволодом Эмильевичем многие трепетали. Дома его часто приводил в восторг любой пустяк — смешная детская фраза, вкусное блюдо. Всех домашних он лечил — ставил компрессы, вынимал занозы, назначал лекарства, делал перевязки и даже инъекции, при этом сам себя похваливал и любил себя называть «доктор Мейерхольд».

Из тихого Орла, из мира, где взрослые говорили о вещах, понятных четырехлетнему ребенку, мы с братом попали в другой мир, полный загадочного кипенья. Я принадлежала к тому многочисленному сонму девочек, которые непрестанно подпрыгивают и мечтают о балете. Но, несмотря на все свое легкомыслие, тосковала по Орлу и не переставала удивляться людям, которые могут часами говорить о непонятном. Мать была из их числа, я к ней еще не привыкла и ничем с ней не делилась. А «почемучный» возраст брал свое, и, не решаясь ежесекундно почемукать, я решила своими силами выяснить, о чем Мейерхольд подолгу говорил со своими помощниками. Как-то я заранее приготовила себе скамеечку, чтобы спокойно посидеть и уловить начало разговора,— я вообразила, что тогда сумею распутать всю нить. Увы, в самый ответственный момент меня что-то отвлекло, и опыт не удался.

Внутренняя лестница вела из нашей квартиры в нижний этаж, где располагались и театральное училище и общежитие. Можно было спуститься вниз и поглазеть на занятия по биомеханике. Временами вся наша квар-

тира заполнялась десятками людей, и начиналась считка или репетиция. За обедом мать заливалась смехом, вспоминая какую-нибудь реплику из пьесы. Она была вся в приподнятом настроении, с утра до ночи на ногах — каждая минута ее была чем-то заполнена. К нам вскоре перебралась родня из Орла, в доме всегда кто-то подолгу гостил, Зинаида Николаевна возглавила хозяйство многолюдного дома, налаживала режим. Квартира, лишенная поначалу самого необходимого, стала быстро приобретать жилой вид. Мать успевала даже сочинить для детей специальное «меню» и вывесить его в детской. Рано выучившись читать и вечно страдая отсутствием аппетита, я с тоской глядела на это «меню» и, прочитав строчку вроде: «8 час. вечера — чай с печеньем», заранее принималась пищать: «Я не хочу печенья». В Москве нас быстро избаловали. Позднее нам наняли учителей и стали приучать к дисциплине. А покуда мы полдня проводили с нянькой на бульваре.

Адрес наш, по старой памяти, звучал еще так: «Новинский бульвар, тридцать два, дом бывший Плевако». В свое время и наш дом и несколько соседних строений были собственностью знаменитого адвоката. Когда в 1927 году у нас случился пожар, об этом написала «Вечерняя Москва», и мы узнали из газеты, что дом наш построен еще до наполеоновского нашествия и был одним из уцелевших в пожар 1812 года. Входная деревянная лестница изгибалась винтом, комнаты были разной высоты — из одной в другую вела либо одна, либо несколько ступенек. Маленькие окна сложным способом предохранялись от ледяных узоров — между рамами ставили на зиму зловещий стакан с серной кислотой, под подоконником висела бутылочка — в нее опускали конец бинта, вбиравшего стекающую с окон влагу.

Напротив, на другой стороне бульвара, стояло очень похожее здание с мемориальной доской — в нем жил Грибоедов. Кто из его современников бродил по нашим комнатам — такими вопросами в двадцатые годы как-то не задавались.

Новинский был оживленным местом — неподалеку шумел Смоленский рынок с огромной барахолкой, где престарелые дамы в шляпках с вуалью распродавали свои веера, шкатулочки и вазочки. По бульвару ходили цыгане с медведями, бродячие акробаты. Приезжие крестьяне, жмурясь от страха, перебегали через трамвайную линию — в лаптях, домотканых армяках, с котомками за плечами.

На бульваре мы нежданно-негаданно познакомились со своим сводным братом — Юрой Есениным. Он был старше меня на четыре года. Его как-то тоже привели на бульвар, и, видно, не найдя для себя другой компании, он принялся катать нас на санках. Мать его, Анна Романовна Изряднова, разговорилась на лавочке с нянькой, узнала, «чьи дети», и ахнула: «Брат сестру повез!» Она тут же пожелала познакомиться с нашей матерью. С тех пор Юра стал бывать у нас, а мы — у него.

Анна Романовна принадлежала к числу женщин, на чьей самоотверженности держится белый свет. Глядя на нее, простую и скромную, вечно погруженную в житейские заботы, можно было обмануться и не заметить, что она была в высокой степени наделена чувством юмора, обладала литературным вкусом, была начитанна. Все связанное с Есениным было для нее свято, его поступков она не обсуждала и не осуждала. Долг окружающих по отношению к нему был ей совершенно ясен — оберегать. И вот — не уберегли. Сама работящая, она уважала в нем труженика — кому как не ей было видно, какой путь он прошел всего за десять лет, как сам себя менял внешне и внутренне, сколько вбирал в себя — за день больше, чем иной за неделю или за месяц.

Они с матерью симпатизировали друг другу. С годами Анна Романовна становилась человеком все более близким нашей семье. С сыном своим она рассталась в конце тридцатых годов и, не зная о его гибели, десять лет ждала его — до последнего своего вздоха.

Есенин не забывал своего первенца, иногда приходил к нему. С осени 1923 года он стал навещать и нас.

Зрительно я помню отца довольно отчетливо.

В детскую память врезаются не повседневность, а события исключительные. Я, например, сама для себя родилась в тот день, когда мне в полуторагодовалом возрасте прищемили палец дверью. Боль, вопль, суматоха — все озарилось, зашевелилось, и я стала существовать.

С приходом Есенина у взрослых менялись лица. Кому-то становилось не по себе, кто-то умирал от любопытства. Детям все это передается.

Первые его появления запомнились совершенно без слов, как в немом кино.

Мне было пять лет. Я находилась в своем естественно-прыгающем состоянии, когда кто-то из домашних схватил меня. Меня сначала поднесли к окну и показали на

человека в сером, идущего по двору. Потом молниеносно переодели в парадное платье. Уже одно это означало, что матери не было дома — она не стала бы меня переодевать.

Помню изумление, с каким наша кухарка Марья Афанасьевна смотрела на вошедшего. Марья Афанасьевна была яркой фигурой в нашем доме. Глуховатая, она постоянно громко разговаривала сама с собой, не подозревая, что ее слышат. «Вы котлеты пережарили»,— скажет ей мать в ухо. Она удалялась, ворча, под общий хохот:

— Пережарила... Сама ты пережарила! Ничего. Сожрут. Актеры все сожрут.

Старуха, очевидно, знала, что у хозяйских детей есть родной отец, но не подозревала, что он так юн и красив.

Есенин только что вернулся из Америки. Все у него с головы до ног было в полном порядке. Молодежь тех лет большей частью не следила за собой — кто из бедности, кто из принципа.

Глаза одновременно и веселые и грустные. Он рассматривал меня, кого-то при этом слушая, не улыбался. Но мне было хорошо и от того, как он на меня смотрел, и от того, как он выглядел.

Когда он пришел в другой раз, его не увидели из окна. Дома была и на звонок пошла открывать Зинаида Николаевна.

Прошли уже годы с тех пор, как они расстались, но им доводилось иногда встречаться. В последний раз они виделись перед отъездом отца за границу, и эта встреча была спокойной и мирной.

Но сейчас поэт был на грани болезни. Зинаида Николаевна встретила его гостеприимной улыбкой, оживленная, вся погруженная в настоящий день. В эти месяцы она репетировала свою первую роль.

Он резко свернул из передней в комнату Анны Ивановны, своей бывшей тещи.

Я видела эту сцену.

Кто-то зашел к бабушке и вышел оттуда, сказав, что «оба плачут». Мать увела меня в детскую и сама куда-то ушла. В детской кто-то был, но молчал. Мне оставалось только зареветь, и я разревелась отчаянно, во весь голос.

Отец ушел незаметно.

И сразу вслед за этим возникает другая сцена, вызывающая совершенно другое настроение. На тахте сидят трое. Слева курит папиросу Всеволод Эмильевич,

посередине облокотилась на подушки мать, справа сидит отец, поджав одну ногу, опустив глаза, с характерным для него взглядом не вниз, а вкось. Они говорят о чем-то таком, что я уже отчаялась понимать.

В шесть лет меня стали учить немецкому, заставляли писать. Я уже знала, что Есенину принадлежат стихи «Собрала пречистая журавлей с синицами в храме...», что он пишет другие стихи и что жить с нами вовсе не должен.

У нас появилась первая «бонна» — Ольга Георгиевна. До революции она работала в той же должности ни больше ни меньше, как у князей Трубецких, в том великолепном особняке, который стоял на Новинском рядом с нашим домом и где потом расположилась Книжная палата.

Ольга Георгиевна была суховата, грубовата и начисто лишена чувства юмора. А по ночам она рыдала над детскими книгами. Как-то я проснулась от ее всхлипываний. Над книгой она держала полотенце, мокрое от слез, и бормотала: «Господи, как безумно жаль мальчишек».

Детской нам служила просторная комната, где мебель почти не занимала места, посередине лежал красный ковер, на нем валялись игрушки и возвышались сооружения из стульев и табуреток.

Помню — мы с братом играем, а возле сооружений сидят Есенин и Ольга Георгиевна. Так было раза два. Ему не по себе рядом с ней, он нехотя отвечает на ее вопросы и не пытается себя насиловать и развлекать нас. Он оживился, лишь когда она стала расспрашивать о его планах. Он рассказал, что собирается ехать в Персию, и закончил громко и вполне серьезно:

— И там меня убьют.

Только в ресницах у него что-то дрожало. Я тогда не знала, что в Персии убили Грибоедова и что отец втихомолку издевается над княжеской бонной, которая тоже этого не знала и, вместо того чтобы шуткой ответить на шутку, поглядела на него с опаской и замолчала.

Один только раз отец всерьез занялся мной. Он пришел тогда не один, а с Галиной Артуровной Бениславской. Послушал, как я читаю. Потом вдруг принялся учить меня фонетике. Проверял, слышу ли я все звуки в слове, особенно напирал на то, что между двумя согласными часто слышен короткий гласный звук. Я спорила и говорила, что, раз нет буквы, значит, не может быть никакого звука.

Как-то до Зинаиды Николаевны дошли слухи, что Есенин хочет нас «украсть». Либо сразу обоих, либо кого-нибудь одного. Я видела, как отец подшучивал над Ольгой Георгиевной, и вполне могу себе представить, что он кого-то разыгрывал, рассказывая, как украдет нас. Может быть, он и не думал, что этот разговор дойдет до Зинаиды Николаевны. А может быть, и думал...

И однажды, забежав к матери в спальню, я увидела удивительную картину. Зинаида Николаевна и тетка Александра Николаевна сидели на полу и считали деньги. Деньги лежали перед ними целой горкой — запечатанные в бумагу, как это делают в банке, столбики монет. Оказывается, всю зарплату в театр выдали в тот раз трамвайной мелочью.

— На эти деньги,— возбужденно прошептала мать,— вы с Костей поедете в Крым.

Я, конечно, гораздо позже узнала, что шептала она во имя конспирации. И нас, действительно, срочно отправили в Крым с Ольгой Георгиевной и теткой — прятать от Есенина. В доме было много женщин, и было кому сеять панику. В те годы было много разводов, право матери оставаться со своими детьми было новшеством, и случаи «похищения» отцами своих детей передавались из уст в уста.

В 1925 году отец много работал, не раз болел и часто покидал Москву. Кажется, он был у нас всего два раза.

Ранней осенью, когда было еще совсем тепло и мы бегали на воздухе, он появился в нашем дворе, подозвал меня и спросил, кто дома. Я помчалась в полуподвал, где находилась кухня, и вывела оттуда бабушку, вытиравшую фартуком руки,— кроме нее, никого не было. Есенин был не один, с ним была девушка с толстой темной косой.

— Познакомьтесь, моя жена,— сказал он Анне Ивановне с некоторым вызовом.

— Да ну,— заулыбалась бабушка,— очень приятно...

Отец тут же ушел, он был в состоянии, когда ему было совершенно не до нас. Может, он приходил в тот самый день, когда зарегистрировал свой брак с Софьей Андреевной Толстой?

В декабре он пришел к нам через два дня после своего ухода из клиники, в тот самый вечер, когда поезд вот-вот должен был увезти его в Ленинград. Спустя неделю, спустя месяцы и даже годы родные и знакомые несчетное число раз расспрашивали меня, как он тогда

выглядел и что говорил, потому и кажется, что это было вчера.

В тот вечер все куда-то ушли, с нами оставалась одна Ольга Георгиевна. В квартире был полумрак, в глубине детской горела лишь настольная лампа, Ольга Георгиевна лечила брату синим светом следы диатеза на руках. В комнате был еще десятилетний сын одного из работников театра, Коля Буторин, он часто приходил к нам из общежития — поиграть. Я сидела в «карете» из опрокинутых стульев и изображала барыню. Коля, угрожая пистолетом, «грабил» меня. Среди наших игрушек был самый настоящий наган. Через тридцать лет я встретила Колю Буторина в Ташкенте, и мы снова с ним все припомнили.

На звонок побежал открывать Коля и вернулся испуганный:

— Пришел какой-то дядька, во-от в такой шапке.

Вошедший уже стоял в дверях детской, за его спиной.

Коля видел Есенина раньше и был в том возрасте, когда это имя уже что-то ему говорило. Но он не узнал его. Взрослый человек — наша бонна — тоже его не узнала при тусклом свете, в громоздкой зимней одежде. К тому же все мы давно его не видели. Но главное было в том, что болезнь сильно изменила его лицо. Ольга Георгиевна поднялась навстречу, как взъерошенная клушка:

— Что вам здесь нужно? Кто вы такой?

Есенин прищурился. С этой женщиной он не мог говорить серьезно и не сказал: «Как же это вы меня не узнали?»

— Я пришел к своей дочери.

— Здесь нет никакой вашей дочери!

Наконец я его узнала по смеющимся глазам и сама засмеялась. Тогда и Ольга Георгиевна вгляделась в него, успокоилась и вернулась к своему занятию.

Он объяснил, что уезжает в Ленинград, что поехал уже было на вокзал, но вспомнил, что ему надо проститься со своими детьми.

— Мне надо с тобой поговорить,— сказал он и сел, не раздеваясь, прямо на пол, на низенькую ступеньку в дверях. Я прислонилась к противоположному косяку. Мне стало страшно, и я почти не помню, что он говорил, к тому же его слова казались какими-то лишними, например, он спросил: «Знаешь ли ты, кто я тебе?»

Я думала об одном — он уезжает и поднимется сейчас, чтобы попрощаться, а я убегу туда — в темную дверь кабинета.

И вот я бросилась в темноту. Он быстро меня догнал, схватил, но тут же отпустил и очень осторожно поцеловал руку. Потом пошел проститься с Костей.

Дверь захлопнулась. Я села в свою «карету», Коля схватил пистолет...

В гробу у отца было снова совершенно другое лицо.

Мать считала, что, если бы Есенин в эти дни не оставался один, трагедии могло не быть. Поэтому горе ее было безудержным и безутешным и «дырка в сердце», как она говорила, с годами не затягивалась...

Т. Есенина

В 1915 году в Екатеринодаре появилась новая газета либерального направления — «Кубанская мысль». Редактором этой газеты был брат известного поэта Сергея Городецкого — Борис Митрофанович Городецкий.

Я был знаком с Б. М. Городецким с 1908 года, когда он редактировал журнал «На Кавказе», в котором я сотрудничал и был секретарем редакции. И теперь он предложил мне работать в новой газете.

Осенью 1915 года к Борису Митрофановичу ненадолго приехал погостить его брат Сергей Городецкий.

Узнав, что я работаю в «Кубанской мысли», Сергей Митрофанович дал мне прочесть несколько стихотворений неизвестного мне поэта — Сергея Есенина.

Меня заинтересовал молодой поэт, и я написал статью в № 60 «Кубанской мысли» от 29 ноября 1915 года «Поэты из народа». Она оказалась одним из первых печатных откликов на стихи молодого поэта.

Когда я писал статью о Есенине, я не мог предполагать, что судьба столкнет меня с поэтом и что я буду с ним дружен.

В том же номере газеты «Кубанская мысль» было помещено и стихотворение Сергея Есенина «Плясунья», переданное в редакцию С. Городецким.

После Великой Октябрьской революции я переехал в Петроград и работал в Народном комиссариате продовольствия.

В конце января 1918 года вновь назначенный нарком продовольствия А. Д. Цюрупа поручил мне прикрепить к секретариату коллегии несколько машинисток из числа тех, которые только что были набраны для комиссариата.

Через два-три дня ко мне подошла одна из новых машинисток, молодая интересная женщина, и спросила:

— Товарищ Кузько, не писали вы когда-нибудь в газете о поэте Сергее Есенине?

Я ответил, что действительно в 1915 году я написал о Есенине статью в газете «Кубанская мысль».

Протягивая мне руку и радостно улыбаясь, она сказала:

— А я жена Есенина, Зинаида Николаевна.

В тот же вечер я уже был на квартире у Есениных, которые жили где-то неподалеку от комиссариата.

Сергей Александрович встретил меня очень приветливо.

Был он совсем молодым человеком, почти юношей. Блондинистые волосы лежали на голове небрежными кудряшками, слегка ниспадая на лоб. Он был строен и худощав.

Беседуя, мы вспомнили с ним о моей статье в «Кубанской мысли» и о его стихотворении «Плясунья». Вспомнили и о Сергее Городецком.

Беседа наша затянулась допоздна. Разговор шел главным образом о поэзии и известных поэтах того времени. Деталей разговора я, конечно, не помню. Когда я собрался уходить, Сергей Александрович встал из-за стола, взял с книжной полки книжечку и, сделав на ней надпись, протянул ее мне.

— Это вам в подарок.

Книжечка была «Исус-младенец». Обложка ее разрисована красками. Отвернув обложку, я увидел надпись: «Петру Авдеевичу за теплые и приветливые слова первых моих шагов. *Сергей Есенин.* 1918».

Мы распрощались, выразив надежду, что будем часто встречаться.

Уже в московский период наших встреч Сергей Александрович сделал мне дарственные записи — на одном из первых двух сборников «Скифы» и на книжках «Пугачев», «Голубень» и «Исповедь хулигана». На сборнике «Скифы» Есенин сделал мне такую дарственную надпись: «Милому Петру Авдеевичу Кузько на безлихвенную память. *С. Есенин.* 1918, май. Москва».

После моего первого посещения Сергея Александровича началась наша дружба.

По характеру своей работы в Комиссариате продовольствия я уже побывал раза два или три в Смольном —

в Совнаркоме, где мне посчастливилось близко видеть и слышать великого Ленина. Я не мог не поделиться с Сергеем Александровичем своей радостью.

Он с большим интересом стал расспрашивать меня: как выглядит Ленин, как говорит, как держится с людьми? Я ему рассказал о Ленине все, что сам мог тогда подметить во время напряженных деловых заседаний.

В конце февраля 1918 года мы были с Есениным на вечере в зале Технологического института, на котором выступал А. А. Блок.

Блок был восторженно встречен многочисленной аудиторией. Он читал любимые публикой — «Незнакомку», «На железной дороге», «Прошли года», «Соловьиный сад», «В ресторане».

Во время чтения Блок стоял, слегка прислонившись к колонне с высоко поднятой головой, в военном френче.

Читал он спокойным голосом, выразительно, но без всяких выкриков отдельных слов. Он был бледен и, по-видимому, утомлен. Сидевший рядом со мной в одном из первых рядов Есенин любовно поглядывал на Блока, иногда пытливо посматривал и на меня, желая узнать мое впечатление. Один раз он не выдержал и шепнул мне на ухо:

— Хорош Блок!

По окончании концерта мы все вышли на улицу. Блока сопровождала большая толпа почитателей его таланта. Мы с Есениным, держась вместе, не упускали Блока из виду и понемногу к нему проталкивались. Когда мы остались втроем, Есенин познакомил меня с Александром Александровичем. Мы пошли провожать его домой.

Несмотря на блестящий успех своего выступления, Блок был несколько мрачноват.

По каким улицам мы шли, я сейчас не помню, я еще тогда мало знал Петроград. Одно время шли по какой-то набережной, прошли по железному мостику.

Когда постепенно разговорились, Есенин сказал Блоку, что я член коллегии Комиссариата продовольствия и литературный критик, написавший о нем статью в далеком Екатеринодаре, «где живет брат Городецкого»,— пояснил Сергей Александрович. Поговорив немного о заградительных отрядах Наркомпрода и о продовольственном положении Петрограда, мы коснулись и вопроса об отношении интеллигенции к революции. Блок оживился. Это было время, когда он написал свою знамени-

тую поэму «Двенадцать». Все его мысли в это время были сосредоточены на вопросе об отношении интеллигенции к революции. Вопрос этот был тогда очень злободневным, тревожащим всех. Блок только что (в январе 1918 года) опубликовал на эту тему свою известную статью «Интеллигенция и революция».

В ней он призывал интеллигенцию обратиться лицом к революции. Я читал эту статью и хорошо ее помнил. Блок, весь насыщенный этой сложной проблемой, во время разговора подчеркивал, что в шуме, который он вокруг себя слышит, звучит новая музыка. Он также говорил о мире и братстве народов как о знаке, под которым проходит русская революция...

Проводив Блока, мы с Есениным отправились по домам, делясь по дороге своими впечатлениями о поэте.

Эти три месяца, проведенные в Петрограде, останутся в моей памяти навсегда.

В начале марта 1918 года Советское правительство переехало в Москву.

К этому времени наши отношения с Есениным стали настолько дружескими, что он, узнав о моем отъезде 8 марта в Москву, сам предложил мне две рекомендательные записки к своим московским друзьям-писателям. Я не могу удержаться, чтобы не процитировать эти письма, которые характеризуют Есенина как заботливого и внимательного к людям человека. Одна из этих записок была адресована Белому:

«Дорогой Борис Николаевич!

Направляю к Вам жаждущего услышать Вас человека Петра Авдеевича Кузько.

Примите и обогрейте его.

Любящий Вас

Сергей Есенин».

Другая записка была написана к поэтессе Л. Столице:

«Дорогая Любовь Никитична!

Верный Вам в своих дружеских чувствах и всегда вспоминающий Вас, посылаю к Вам своего хорошего знакомого Петра Авдеевича Кузько.

Примите его и обогрейте Вашим приветом. Ему ничего не нужно, кроме лишь знакомства с Вами, и поэтому я был бы рад, если бы он нашел к себе отклик в Вас.

Человек он содержательный в себе, немного пишет, а общение с Вами кой в чем (чисто духовном) избавило бы его от одиночества, в которое он заброшен по судьбе России.

Любящий Вас

Сергей Есенин».

Вместе с секретариатом Наркомпрода выехала в Москву и Зинаида Николаевна Есенина, а Сергей Александрович задержался в Петрограде на несколько дней.

П. Кузько

МОСКВА. ПОЕЗДКА В ТУРКЕСТАН

1918—1921



Весной восемнадцатого года мы перекочевали из Петрограда в Москву, и для Есенина эта весна и этот год были исключительно счастливыми временами. О нем говорили на всех перекрестках литературы того времени. Каждое его стихотворение находило отклик. На каждое его стихотворение обрушивались потоки похвал и ругательств. Есенин работал неутомимо, развивался и расцветал своим великолепным талантом с необыкновенной силой. Его Октябрь в творчестве стал окончательно вырываться наружу.

Осенью восемнадцатого года в московских «Известиях» были напечатаны его стихи:

Небо — как колокол,
Месяц — язык,
Мать моя — родина,
Я — большевик.

П. Орешин

В Москве служащие Наркомпрода разместились в нескольких гостиницах по Тверской улице. Нарком, члены коллегии и несколько ответственных работников поместились в гостинице «Красный флот» (бывш. «Лоскутная»), что находилась в снесенном теперь квартале на Манежной площади. Зинаида Николаевна поселилась тоже в одной из гостиниц на Тверской.

В Москве весны еще не чувствовалось. Снег окончательно не сошел с тротуаров, в гостиницах было сыро и неуютно.

Довольно часто Есенин приходил к нам вместе с женой, мои дети привыкли к нему и называли «дядя Сережа»...

Когда Есенин заходил ко мне в «Лоскутную», он говорил:

— Петр Авдеевич, а я написал новое стихотворение. Прочитать?

Я, конечно, выражал желание прослушать новое стихотворение и, усевшись за стол, клал перед собой чистый лист бумаги и карандаш.

Обычно записанные мною стихотворения * я передавал на машинку у себя в канцелярии Зинаиде Николаевне.

Когда Есенин прочитал у меня в «Лоскутной» «Инонию», она произвела на меня очень сильное впечатление.

Нужно сказать, что о поэзии мы в то время разговаривали очень мало, а если и говорили, то только о стихотворениях Есенина.

Темой наших разговоров в это время были Октябрьская революция, ее значение и, конечно, Ленин.

Мне выпало большое счастье слышать выступления Ленина не только на заседаниях Совнаркома, но и на съездах партии, где решались очень важные вопросы.

Я говорил Есенину, что выступления Ленина незабываемы, что они поражают изумительной глубиной мысли и необыкновенной силой логики. Я рассказывал также Есенину о необычайной скромности Ленина и его простоте в отношениях с людьми и в своей личной жизни. И здесь, как и в Петрограде, Есенин с повышенным интересом расспрашивал меня о моих впечатлениях о Ленине.

Одной из постоянных тем нашего разговора была также продовольственная политика Наркомпрода, и Есенин часто спорил со мною, защищая мешочничество и ругая заградительные отряды. Есенин не всегда понимал жесткую продовольственную политику большевиков, его очень тревожило положение страны — голод, разруха.

Как-то во время одной из наших бесед (это было летом 1918 года) я рассказал Есенину о том, какую огромную организаторскую работу по снабжению населения продуктами первой необходимости выполняет А. Д. Цюрупа и его коллегия и как скромно живут нарком и его помощники. Народный комиссар продовольствия А. Д. Цюрупа обедал вместе со своими сослуживцами в наркомпродовской столовой (бывш. ресторан Мартьяныча

---

* Так происходило и с поэмами Есенина «Пантократор», «Сельский часослов» и др. Одна из таких поэм — «Инония», записанная моей рукой, сейчас находится в Центральном архиве литературы и искусства, о чем говорится в примечании к «Инонии» во втором томе пятитомного собрания сочинений Есенина.

в том же здании в Торговых рядах), причем частенько без хлеба.

Есенин попросил познакомить его с Цюрупой. Будучи секретарем коллегии, я легко устроил эту встречу.

Цюрупа был внимателен и приветлив с Есениным. Во время короткого разговора Цюрупа сказал, что он рад познакомиться с поэтом, что он о нем слышал и читал некоторые его стихотворения, которые ему понравились. При прощании Александр Дмитриевич просил передать привет Зинаиде Николаевне, которая в это время уже не работала в комиссариате. Сергей Александрович был очень доволен этим свиданием.

По характеру своей работы мне приходилось бывать в кабинете у Председателя ВЦИК Я. М. Свердлова, который иногда беседовал со мной о положении продовольственного дела на местах и о крестьянстве. Однажды мы заговорили и о Есенине. Я рассказал Якову Михайловичу о своем знакомстве с поэтом. Оказалось, что Свердлов знал о Есенине и ценил его талант, хотя ему не нравилось есенинское преклонение перед патриархальной Русью.

Те два рекомендательных письма, которые дал мне в Петрограде Есенин на имя А. Белого и Л. Столицы, я все как-то не удосуживался использовать — некогда было. Месяца через три после приезда в Москву в Доме союзов состоялся литературный вечер, на котором выступал и Андрей Белый. Есенин познакомил меня с ним.

В Москве у Есенина появилось много новых друзей, в числе которых были Мариенгоф, Шершеневич, Колобов.

Есенин и Мариенгоф открыли книжный магазин на Никитской улице, который назывался магазином «Артели художественного слова».

Когда я заходил в магазин, я всегда заставал Есенина за чтением книг. Меня интересовало, что он читает. Оказалось, это были почти всегда книги древнерусской литературы, как, например, «Слово о полку Игореве», «Послание Даниила Заточника» и др. Есенин говорил мне, что чтение таких книг обогащает его творчество. (Вспомним его книгу «Ключи Марии».)

П. Кузько

Перед тем как написать «Небесного барабанщика», Есенин несколько раз говорил о том, что он хочет войти в Коммунистическую партию. И даже написал заявление, которое лежало у меня на столе несколько недель... Только немного позднее, когда Н. Л. Мещеряков написал на оригинале «Небесного барабанщика», предназначавшегося мною для напечатания в «Правде»: «Нескладная чепуха. Не пойдет. Н. М.»,— Есенин окончательно бросил мысль о вступлении в партию. Его самолюбие было ранено...

Г. Устинов

Мастерская на Пресне, которую до меня арендовал скульптор Крахт, была всем хороша: простор для работы, уединенность (уютный деревянный флигель стоял в глубине зеленого двора, среди зарослей сирени, жасмина и шиповника), возможность устраивать во дворе подсобные службы. Как показала жизнь, студия на Пресне — это готовый выставочный зал.

Ранней весной 1914 года стал переезжать на Пресню и обживаться на новом месте. В апреле мы с Григорием Александровичем вскопали пустырь вокруг флигеля и посеяли рожь с васильками. Мастерская на Пресне стала местом родным и желанным. Я с головой ушел в работу.

Еще перед поездкой в Грецию я в Караковичах целыми днями слушал монотонное, под аккомпанемент лиры пенье слепцов, расспрашивал их, лепил из глины их лица и постоянно размышлял об их доле. Захотелось мне поведать людям об этих сирых, убогих людях. Забрезжила в сознании идея «Нищей братии». К осуществлению замысла я приступил только в пресненской мастерской. И снова, как и прежде, я выискивал интересных с точки зрения моего замысла слепых бродяг, приводил их в студию. Лепил их и вырубал из дерева. Один из них, по фамилии Житков, стал прототипом «Старичка-кленовичка». Просил их петь, сказывать сказки. Тогда в Караковичах один слепой, долго живший в нашем доме и сроднившийся со мной, подарил мне лиру и научил меня нехитрой премудрости обращения с этим древним инструментом. Я подыгрывал моим пресненским натурщикам на лире и узнал, пожалуй, все жалостливые песнопенья российских нищих-горемык.

При таких-то вот обстоятельствах и познакомился я с Сережей Есениным, которого привел ко мне в мастер-

скую мой друг со времен баррикадных боев 1905 года поэт Сергей Клычков. Как они передавали потом, перед дверью Есенин услышал звучание лиры и поющие голоса и придержал своего провожатого.

— Стой, Сережа. Коненков поет и играет на лире.

Дослушав до конца песню, они вошли. Передо мной предстал светловолосый, стриженный в скобку мальчишка в поддевке.

— Поэт Есенин. Очень хороший поэт,— заторопился с похвалой Клычков, видя на лице моем удивление крайней молодостью незнакомца.

— Сережа знает и любит ваши произведения,— продолжал аттестовать друга Клычков, а Есенин, не дождавшись конца затянувшегося объяснения, порывисто, с подкупающей искренностью вставил свое слово в строку.

— Очень нравится мне и пенье ваших слепых. Я знаю некоторые из этих песен.

Клычков — в критическом обиходе именовавшийся не иначе как крестьянским поэтом — лучше нас мог пропеть Лазаря. Я взял в руки отложенную было в сторону лиру, и мы втроем довольно стройно спели песню об «Алексии божьем человеке, о премудрой Софии и ее трех дочерях Вере, Надежде, Любови».

Вдруг Сережа сделался грустным и сам предложил:

— Я вам почитаю стихи.

Наша вера не погасла,
Святы песни и псалмы.
Льется солнечное масло
На зеленые холмы.

Верю, родина, я знаю,
Что легка твоя стопа,
Не одна ведет нас к раю
Богомольная тропа.

Все пути твои — в удаче,
Но в одном лишь счастья нет:
Он закован в белом плаче
Разгадавших новый свет.

Там настроены палаты
Из церковных кирпичей;
Те палаты — казематы
Да железный звон цепей.

Не ищи меня ты в боге,
Не зови любить и жить...
Я пойду по той дороге
Буйну голову сложить.

— Хорошо! Читайте еще.

И он весь напружинился, посветлел лицом и молодым, ломающимся, но сильным голосом стал читать нам веселые стихи о Руси, что тропой-дорогой разметала по белу свету свой наряд.

На плетнях висят баранки,
Хлебной брагой льет теплынь.
Солнца струганые дранки
Загораживают синь.

Мы стали друзьями. Трио наше еще не раз пробовало свои силы. Есенину очень нравилась моя пресненская обитель. Во ржи и васильках, с поленницей дров возле сарая, с дневавшими и ночевавшими тут знаменитыми музыкантами и мудрыми слепцами. Он всегда появлялся неожиданно и бесшумно: старался застать живую песню. Мои знакомые передавали изустный рассказ Есенина про то, как однажды он, пройдя в калитку, не замеченный дядей Григорием, сквозь кусты сирени наблюдал и слушал, как Коненков, сидя на пеньке возле сарайчика в глубине двора и подыгрывая себе на гармошке-двухрядке, пел очень печальную песню.

Владимиру Ильичу принадлежит инициатива создания мемориала в память павших героев Октябрьской революции. В постановлении Совнаркома от 17 июля 1918 года записано: «Обратить особое внимание Народного комиссариата по просвещению на желательность постановки памятников павшим героям Октябрьской революции и, в частности в Москве, сооружения, кроме памятников, барельефа на Кремлевской стене, в месте их погребения».

В августе Моссовет предложил шести скульпторам и архитекторам принять участие в конкурсе. Среди этих шести был и я. В середине сентября жюри рассмотрело проекты. Четыре из них — скульпторов Бабичева, Гюрджана, Мезенцева и художника Нивинского — были отвергнуты. Мой проект и проект архитектора Дубинецкого при голосовании получили равное число голосов. После открытого обсуждения комиссия избрала мой проект.

Никогда я не работал с таким увлечением. Один набросок следовал за другим. Зрелище освобожденного Кремля, заря над Москвой, гобелен, вышитый еще во времена крепостного права,— эти виденья возбуждали

фантазию, в бесчисленных карандашных рисунках слагались в патетический образ. Во время работы над реальной доской он уточнялся, вбирая в себя все новые краски жизни, возбуждая в нас революционное чувство.

В октябрьские дни 1918 года, когда Советская республика готовилась отметить первую годовщину своей жизни, на улицах звучали революционные песни, и мне так хотелось, чтобы на древней Кремлевской стене зазвучал гимн в честь грядущей победы и вечного мира.

Во время установки мы дневали и ночевали у Кремлевской стены. Во время работы ночью стояла охрана и горел костер. Проходившие спрашивали: «Что тут происходит?» А одна старушка поинтересовалась:

— Кому это, батюшка, икону ставят?

— Революции,— ответил я ей.

— Такую святую я слышу в первый раз.

— Ну что ж, запомни!

Наконец все готово.

Торжественный красный занавес скрыл широкими складками доску, которую должен был открыть Владимир Ильич. Возле доски возвышался помост, а чуть в стороне — высокая, со многими ступенями трибуна.

С утра 7 ноября 1918 года Красная площадь начала заполняться делегациями заводов и фабрик, красноармейских частей. День ясный, холодный.

Было известно, что Владимир Ильич прибудет на Красную площадь вместе с колонной делегатов VI съезда Советов. Выглядывая долгожданную колонну, я несколько растерялся, когда увидел Ленина, идущего к Сенатской башне. На нем было пальто с черным каракулевым воротником и черная каракулевая шапка-ушанка. Он поздоровался со всеми присутствующими, со мной, как со старым знакомым, сказав: «Помню, помню нашу беседу в Совнаркоме».

Началась короткая церемония открытия.

К стенке была приставлена небольшая лесенка-подставка, на которую должен был взойти Владимир Ильич, чтобы разрезать ленточку, соединявшую полотнища занавеса. Ленточка была запечатана.

Я держал в руке специально сделанную мной ко дню открытия живописную шкатулку, в которой лежали ножницы и выполненная мною деревянная печатка. На ней значилось: «МСРКД» (Московский Совет рабоче-крестьянских депутатов).

Владимир Ильич обратил внимание на шкатулку и на печатку:

— А ведь это надо сохранить. Ведь будут же у нас свои музеи,— взял и стал внимательно рассматривать печатку, а потом передал шкатулку с печаткой одному из товарищей, стоявшему рядом.

— Передайте в Моссовет. Это надо сохранить,— сказал Владимир Ильич.

Я передал ножницы Владимиру Ильичу. Он разрезал красную ленту. Когда раскрылся занавес, заиграл военный духовой оркестр и хор Пролеткульта исполнил кантату, написанную специально ко дню открытия. Автором музыки был композитор Иван Шведов, слова написали поэты Есенин, Клычков и Герасимов.

Спите, любимые братья.
Снова родная земля
Неколебимые рати
Движет под стены Кремля.

Новые в мире зачатья,
Зарево красных зарниц...
Спите, любимые братья.
В свете нетленных гробниц.

Солнце златою печатью
Стражем стоит у ворот...
Спите, любимые братья,
Мимо вас движется ратью
К зорям вселенским народ.

Под звуки кантаты все собравшиеся у Кремлевской стены в молчании внимательно рассматривали мемориальную доску.

Крылатая фантастическая фигура Гения олицетворяет собой Победу. В одной ее руке — темно-красное знамя на древке с советским гербом; в другой — зеленая пальмовая ветвь. У ног фигуры — поломанные сабли и ружья, воткнутые в землю. Они перевиты траурной лентой. А за плечами надмогильного стража восходит солнце, в золотых лучах которого написано:

ОКТЯБРЬСКАЯ 1917 РЕВОЛЮЦИЯ

На мемориальной доске, внизу, начертаны слова:

ПАВШИМ В БОРЬБЕ ЗА МИР И БРАТСТВО НАРОДОВ

Эти слова были девизом моей работы, и мне радостно сознавать, что они были одобрены и утверждены В. И. Лениным.

В пятитомнике собрания сочинений Сергея Есенина опубликован любопытный архивный документ:

«Заведующему отделом изобразительных искусств
Комиссариата народного просвещения

Заявление

Просим о выдаче нам, Сергею Клычкову и Сергею Есенину, работающим над монографией о творчестве Коненкова, размером в два печатных листа, по расчету в тысячу рублей лист, аванс в 1 тысячу (одну) рублей.

Сергей Клычков, Сергей Есенин

19 октября 1918».

Не знаю, удалось ли моим друзьям получить аванс, но об их добром намерении написать монографию мне было доподлинно известно. Больше того, не раз и не два друзья-поэты били по рукам: «Завтра с утра начнем, а сегодня... сегодня давайте песни петь!»

Народных песен оба знали великое множество, кое-что им неведомое мог предложить и я. Есенинские стихи, ставшие народными песнями, нынешняя молодежь знает наперечет, но мало кто знает, что всем известную удалую песню «Живет моя отрада» сочинил Сергей Клычков. И надо было видеть и слышать, как два Сергея разделывали этот любовный разбойничий романс. В мастерской стояли «Степан Разин с ватагою» — они были подходящей декорацией для певцов-удальцов.

Монографию обо мне два Сергея, два друга — метель да вьюга, так и не собрались написать. Скорее всего потому, что дело это, по существу, им было не свойственно. Монографию написал известный художественный критик Сергей Глаголь. Она вышла в петроградском художественном издательстве «Светозар» вскоре после смерти Глаголя, который умер летом двадцатого года. Клычков, Есенин и приставший к ним Петр Орешин написали заявление о необходимости крестьянской секции в Пролеткульте, которое они назвали манифестом. Поскольку обсуждение такого манифеста проходило у меня в студии, я, конечно же, участвовал во всех разговорах, под этим документом стоит и моя подпись.

«Великая Российская революция, разрушившая коренные устои старого буржуазного мира,— говорилось в нем,— вызвала к жизни творческие силы, таящиеся в

русских городах и деревнях. Сам живой голос жизни поставил на очередь вопрос об образовании особых организаций, которые могли бы повести великое дело собирания и выявления этих скрытых в массовой толпе творческих возможностей».

Есенин и был той огромной творческой силой, которая проявлялась у меня на глазах. Я любовался им, относился к нему как к сыну. Он платил дружеской привязанностью. Его постоянно тянуло ко мне на Пресню.

Весной двадцатого года Есенин позировал мне для портрета. Сеансы продолжались с неделю. Я вылепил из глины бюст, сделал несколько карандашных рисунков. Но несмотря на быстроту, с какой я справился с трудным портретом (надо сказать, работа эта увлекла меня настолько, что я вошел в азарт и не давал себе передышки), мои поэты заскучали и в один прекрасный день исчезли, как духи: куда-то уехали, кажется, в Самарканд.

Есенинский бюст я переводил в дерево без натуры, корректируя сделанный с натуры портрет по сильному впечатлению, жившему во мне с весны восемнадцатого года. Тогда на моей пресненской выставке перед толпой посетителей Есенин читал стихи. Возбужденный, радостный. Волосы взъерошены, наморщен лоб, глаза распахнуты.

Звени, звени, златая Русь,
Волнуйся, неуемный ветер!
Блажен, кто радостью отметил
Твою пастушескую грусть.
Звени, звени, златая Русь...

Пока я работал над бюстом, все время держал в памяти образ поэта, читающего стихи рабочим прохоровской мануфактуры — они тогда пришли экскурсией на выставку. Читая стихи, Есенин выразительно жестикулировал. Светлые волосы его рассыпались. Поправляя их, он поднял руку к голове и стал удивительно искренним, доверчивым, милым.

Нет, наши отношения с Есениным не были идиллическими. Мы, случалось, спорили и громко, и рьяно, но никогда не переступали при этом границ взаимного дружеского расположения. Обычным предметом столкновения была космогония, к которой я в поисках смысла мироздания испытывал неукротимый интерес, Есенин же был человеком истинно чтившим все земное, да к тому он успел всерьез рассориться с богом, подведя итог же-

стокой строкой: «Не молиться тебе, а лаяться научил ты меня, господь».

Как ни в ком из поэтов того времени, жила в нем глубокая и чистая любовь к родине, к России. С какой искренностью и задором сказано им:

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

Случалось, Есенин без предупреждения надолго пропадал и появлялся столь же неожиданно. Как-то за полночь стук в дверь. На улице дождь, сверкает молния. «Наверное, Сергей»,— подумал я.

— Кто там?

— Это я — Есенин. Пусти!

По голосу понял, что друг мой помимо дождя где-то изрядно подмок. И теперь вот среди ночи колобродит. Дай, думаю, задам ему загадку, решил я спросонья, совершенно упустив из виду, что человек под дождем стоит.

— Скажи экспромт — тогда пущу.

Минуты не прошло, как из-за двери послышался чуть с хрипотцой, громогласный в ночи есенинский баритон:

Пусть хлябь разверзнулась!
Гром — пусть!
В душе звенит святая Русь,
И небом лающий Коненков
Сквозь звезды пролагает путь.

Пришлось открывать. Вечер поэта Сергея Есенина во флигеле дома номер девять на Пресне закончился на рассвете. Ночи не было.

Читал он так, что душа замирала. Строки его стихов о красногривом жеребенке сердце каждого читающего переполняют жалостливым чувством, а вы попробуйте представить, какую глубокую сердечную рану наносил он своим голосом, когда одновременно сурово и нежно, неторопливо выговаривал трогательные слова:

Милый, милый, смешной дуралей,
Ну куда он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?

С Есениным мы ходили на журавлиную охоту. Завидя нас, когда мы были за версту от них, журавли поднимались. А баб, которые жали рожь в подмосковном

поле в пятидесяти шагах от них, не боялись. Какие догадливые птицы журавли! А мы, хоть и издалека их увидели, и тому рады. Не зря десять верст прошагали.

С. Коненков

В первый раз я встретил Есенина в 1918 году в Пролеткульте на литературном собеседовании в нарядной гостиной морозовского особняка. Кого только не перебывало на этих собеседованиях! Рядом с седовласым поэтом Вячеславом Ивановым — молодой пекарь Федор Киселев, против угрюмого Александровского — восторженный, жестикулирующий Андрей Белый, Казин, Орешин, Шершеневич. Все они называли друг друга «товарищ». Только В. Иванову да Белому делались иногда исключения: называли их по имени-отчеству. Не помню, кто читал стихи, когда вошел Есенин. Я ни разу не видел его прежде и сразу был поражен его видом. Как ни типичны были все другие фигуры, на нем прежде всего у всякого остановились бы и застыли глаза.

Он был одет в шелковую белую вышитую длинную русскую рубаху и широкие штаны. Костюм сельского пастушка с картины восемнадцатого века. Да и сама наружность его: волосы цвета спелой ржи, как будто кипевшие на точеной красивой голове, пышные, волнистые; черты лица тонкие, почти девичьи; голубые глаза, блестевшие необычной улыбкой. Думалось — как мог появиться здесь такой человек в годы пулеметной трескотни, гудящих аэропланов, голодного пайка? Я решил, что, наверное, это артист, пришел читать чьи-нибудь стихи, но, нечаянно услышав фамилию Есенин, я подумал: «А как он все-таки похож на свои стихи!» Но и первое мое предположение, как я потом убедился, было верно: в этом большом, глубоко волнующем поэте, на редкость искреннем,— были черты театральности.

В этот же вечер Есенин прочел нам несколько своих стихотворений, из которых мне запомнились «Зеленая прическа» и «Вот оно, глупое счастье». Читал он необычайно хорошо. В Москве он читал лучше всех. Недаром молодые поэты читали по-есенински:

Вот оно, глупое счастье
С белыми окнами в сад!
По пруду лебедем красным
Плавает тихий закат!

Возможно ли было в четырех строчках нарисовать полнее картину вечера, дать этой картине движение, настроение. «Березка» его так и звенела в ушах звоном осеннего прощального ветра. В этом юноше — ему тогда было двадцать три года — мы сразу увидели большого мастера. Нечего и описывать наше удивление и восторг. Когда вечером я возвращался домой с одним старым восторженным коммунистом, он беспрерывно повторял мне:

— Подумайте только, какая сила прет из рабочей и крестьянской среды: Александровский, Казин и, наконец, такая красота — Есенин!

Познакомившись с Есениным, я узнал, что он живет тут же, в Пролеткульте, с поэтом Клычковым, в ванной комнате купцов Морозовых, причем один из них спит на кровати, а другой — в каком-то шкафу на чем-то для спанья совсем непригодном. Чем они жили, довольно трудно было сказать,— тогда и все-то неизвестно на какие средства жили, но были веселы и стихи писали, как никогда.

В этом же году я был в гостях у одного студийца Пролеткульта, куда был приглашен и Есенин. Семья, к моему величайшему тогда изумлению, оказалась буржуазной: богатая обстановка, рояль, дочь с высшим музыкальным образованием. Есенин к такому обществу и такой обстановке, казалось, уже давно привык и держался свободно, как избалованный ребенок. По просьбе хозяев он довольно охотно читал стихи, те же самые, что и в Пролеткульте, и, странное дело, за чайным столом их приятнее было слушать. Дочь хозяев очень долго и хорошо играла нам на рояле, причем Есенин особенно просил играть Вертинского. На мое удивление, что ему нравится в Вертинском, он сказал:

— Вот странно — нравится, да и все!

На вопрос дочери хозяина, нет ли у него нот на его собственные стихи, он беззаботно отвечал:

— Мне подарил N (он назвал одного известного и модного композитора) ноты, но они где-то запропастились.

Обычно говорил он мало, отрывистыми фразами, стараясь отвечать более жестами и улыбкой красивых глаз, в которой больше было любезности и блеска, чем ласки и внимания. Видно было, что эта обстановка, эти люди были привычны для него и нимало его не удивляли. Одет он был на этот раз в костюм, как всегда хороший, что

называется — с иголочки. Помню, я все удивлялся: крестьянский сын, двадцати всего лет,— и уже он известный поэт, он небрежно теряет ноты известного композитора, сочиненные на его стихи, он снисходительно любезно обращается с барышнями с высшим музыкальным образованием. Мы возвращались из гостей вместе: я — в свое молчаливое, как могила, Дорогомилово, он — в ванную купцов Морозовых. А кругом была вьюга, на тротуарах непроходимые горы снега. Было все непонятно и хорошо. Был восемнадцатый год. Ели мерзлую картошку, но голову не вешали. Говорили мы с ним о литературе. Я спросил его, чем он сейчас больше всего интересуется.

— Изучаю Гоголя. Это что-то изумительное!

Есенин даже приостановился, а потом неподражаемо прочел несколько гоголевских фраз из описаний природы. Он, видимо, затруднялся объяснить красоту того или другого выражения и старался передать ее мне голосом, интонацией, жестами, всеми средствами своего мастерского чтения. Вся его театральность куда-то исчезла. Передо мною вырос человек, до самозабвенья любящий красоту русского слова.

Кафе поэтов «Домино». В нем были два зала: один для публики, другой для поэтов. Оба зала в эти года, когда все и везде было закрыто, а в «Домино» торговля производилась до двух часов ночи, были всегда переполнены. Здесь можно было разного рода спекулянтам и лицам неопределенных профессий послушать музыку, закусить хорошенько с «дамой», подобранной с Тверской улицы, и т. д. Поэты, как объяснил мне потом один знакомый, были здесь «так, для блезиру», но они, конечно, этого не думали. Наивные, они и не подозревали, как за их спиной набивали карманы содержатели всех этих кафе, да поэтам и деваться было некуда. Спекулянты и дамы их, шикарно одетые, были жирны, красны, много ели и пили. Бледные и дурно одетые поэты сидели за пустыми столами и вели бесконечные споры о том, кто из них гениальнее. Несмотря на жалкий вид, они сохранили еще прежние привычки и церемонно целовали руки у своих жалких подруг. Стихи, звуки — они все любили до глупости. Вот обстановка, в которой в 1919 году царил С. Есенин. Нас, молодых, выдвигавшихся тогда поэтов из Пролеткульта, пригласили читать стихи в «Домино». Есенин тогда гремел и сверкал. и мы очень обрадовались, узнав, что и он в этот вечер будет читать стихи. Он

стоял, окруженный неведомыми миру «гениями» и «знаменитостями», очаровывая всех своей необычной улыбкой. Характерная подробность: улыбка его не менялась в зависимости от того, разговаривал ли он с женщиной или с мужчиной, а это очень редко бывает. Как ни любезно говорил он со всеми, было заметно, что этот «крестьянский поэт» смотрел на них как на подножие грядущей к нему славы. Нервности и неуверенности в нем не было. Он уже был «имажинистом» и ходил не в оперном костюме крестьянина, а в «цилиндре и в лакированных башмаках». Я полюбил его издалека, чтобы не обжечься. В этот вечер он сделал очередной большой скандал.

Когда мои товарищи читали, я с беспокойством смотрел на них и на публику. Они робели, старались читать лучше и оттого читали хуже, чем всегда, а публика, эта публика в мехах, награбленных с голодающего населения, лениво побалтывала ложечками в стаканах дрянного кофе с сахарином и даже переговаривалась между собой, нисколько не стесняясь. Мне пришлось читать последнему. После меня объявляют Есенина. Он выходит в меховой куртке, без шапки. Обычно улыбается, но вдруг неожиданно бледнеет, как-то отодвигается спиной к эстраде и говорит:

— Вы думаете, что я вышел читать вам стихи? Нет, я вышел затем, чтобы послать вас к...! Спекулянты и шарлатаны!..

Публика повскакала с мест. Кричали, стучали, налезали на поэта, звонили по телефону, вызывали «чеку». Нас задержали часов до трех ночи для проверки документов. Есенин, все так же улыбаясь, веселый и взволнованный, притворно возмущался, отчаянно размахивал руками, стискивая кулаки и наклоняя голову «бычком» (поза дерущегося деревенского парня), странно, как-то по-ребячески морщил брови и оттопыривал красные, сочные красивые губы. Он был доволен.

Когда этот «скандалист» работал — трудно было себе представить, но он работал в то время крепко. Тогда были написаны лучшие его вещи: «Сорокоуст», «Исповедь хулигана», «Я последний поэт деревни...».

В публике существует мнение, что поэта сгубили имажинисты. Это неверно. Я с Казиным, Санниковым или Александровским часто заходил к имажинистам и сравнительно хорошо их знаю. Правда, это были ловкие и хлесткие ребята. Они открыли (или за них кто-нибудь

открыл) кафе «Стойло Пегаса», открыли свой книжный магазин «Лавка имажинистов» и свое издательство. К стихам они относились чисто с формальной стороны, совершенно игнорируя их содержание. Но повлиять на Есенина они не могли.

Все эти два или три года Есенин продолжал работать, часто скандалил, но, кажется, не пил. Захожу я как-то в «Лавку имажинистов». Есенин, взволнованный, счастливый, подает мне, уже с заготовленной надписью, свою только что вышедшую книжку «Исповедь хулигана». Я тут же залпом прочитываю ее, с удивлением смотрю на этого человека, шикарно одетого, играющего роль вожака своеобразной «золотой молодежи» в обнищалой, голодной, холодной Москве и способного писать такие блестящие, глубокие стихи.

— Знаешь, Полетаев, уже на немецкий, английский и французский перевод есть! Скоро пришлют — и с деньгами! — говорит Есенин с мальчишеской, хвастливой улыбкой.

А я не могу оторваться от книги. Я уже не здесь, в голодной Москве, я там — в есенинской деревне, как будто он какой волшебной силой перенес меня туда.

— Зачем ты даже в такие стихи вносишь похабщину? — говорю я.

Он долго нескладно убеждает меня, что это необходимо, что это его стиль. Возмущенный, говорю ему, что все «выверты» и все «скандалы» его — только реклама,— и ничего больше. Он утверждает, что реклама необходима поэту, как и солидной торговой фирме, и что скандалить совсем не так уж плохо, что это обращает внимание дуры-публики.

— Ты знаешь, как Шекспир в молодости скандалил?

— А ты что же, непременно желаешь быть Шекспиром?

— Конечно.

Я не мог спорить, я сказал, что если Шекспир и стал великим поэтом, то не благодаря скандалам, а потому, что много работал.

— А я не работаю?

Есенин сказал это с какой-то даже обидой и гордостью и стал рассказывать, над чем и как усиленно он сейчас работает.

— Если я за целый день не напишу четырех строк хороших стихов, я не могу спать.

Это была правда. Работал он неустанно.

Н. Полетаев

Литературная студия московского Пролеткульта в 1918 году была притягательным местом для молодых поэтов и прозаиков из среды московских рабочих. Первыми слушателями студии были тогда Казин, Санников, Обрадович, Полетаев, Александровский и другие, вошедшие позднее в первое пролетарское литературное объединение «Кузница». Слушателем студии был и я.

Бродя однажды по широким коридорам особняка Морозова, в котором с удобством расположился Пролеткульт, я наткнулся на спускавшихся по внутренней лестнице дома двух молодых людей. Одного из них я знал. Это был недавно поступивший на службу в канцелярию Пролеткульта крестьянский поэт Клычков. Он остановился и, кивнув на стоявшего с ним рядом молодого парня в длиннополой синей поддевке, сказал:

— Мой друг — Сергей Есенин!

Рядом с высоким, черноволосым, с резко выраженными чертами лица Клычковым — худощавый, светлолицый, невысокого роста Есенин казался женственно-хрупким и слабым на вид подростком. Это первое впечатление еще более усилилось, когда он улыбнулся и певуче произнес:

— Сергей Антонович меня здесь приютил у вас,— и он указал куда-то неопределенно вверх.

Позднее я к ним заглянул. Они ютились в получердачном помещении, под самой крышей. Большая, с низким потолком комната была вся уставлена сборной мебелью: столами, тумбами, табуретками и мелкой древесной всячиной. По-видимому, эта комната служила складочным местом для ненужного и лежащего внизу хлама. Здесь, у Клычкова, и поселился недавно переехавший из Петрограда Есенин.

По приезде в Москву Есенин очутился в затруднительном положении. С Зинаидой Николаевной Райх он разошелся, и собственного угла у него не было. Толстые журналы были закрыты, и печататься было негде. Голод в Москве давал себя чувствовать все сильнее и сильнее. Надо было что-то предпринимать.

После одной долгой беседы мы пришли к мысли открыть собственное издательство. Мы разработали устав, согласно которому членами этого кооперативного издательства могут быть только авторы будущих книг. Из чистой прибыли двадцать пять процентов отчисляются в основной фонд издательства, а остальные семьдесят пять поступают в распоряжение автора книги. Есенин взял на

себя подбор родственных по духу лиц для организации этого дела.

Первым он пригласил Андрея Белого. Как позднее он объяснил в своей автобиографии: «Белый дал мне много в смысле формы». В лице Белого он хотел продолжить связь с символистами, занимавшими тогда господствующее положение в русской поэзии. К символистам, в частности к Александру Блоку, он определенно тяготел в предоктябрьскую пору своих поэтических исканий:

О Русь — малиновое поле
И синь, упавшая в реку,—
Люблю до радости и боли
Твою озерную тоску.

Холодной скорби не измерить,
Ты на туманном берегу.
Но не любить тебя, не верить —
Я научиться не могу.

(«Запели тесаные дроги...»)

Конечно, эти строки — от Блока, а не от... Алексея Кольцова, которого он, ради «чести рода», называет своим старшим братом.

Кроме того, Белый, вместе с Блоком и Брюсовым, открыто приветствовал Октябрьскую революцию, которую Есенин в ту пору еще окрашивал в радужные цвета своей долгожданной «Инонии».

На первом организационном собрании будущего издательства нас было пять человек: Есенин, Клычков, Петр Орешин, Андрей Белый и я. Название издательству было подобрано легко и без споров: «Трудовая артель художников слова». Роли членов «Артели» были распределены так: заботы о финансовой стороне дела были возложены на меня; ведение переговоров с типографией и книжными магазинами взяли на себя Есенин и Клычков; что-то было поручено Орешину, а Андрей Белый, восторженно закатывая глаза, взволнованно заявил:

— А я буду переносить бумагу из склада в типографию!

Есенин тихонько мне шепнул:

— Вот комедиант... И глазами и словами играет, как на сцене...

Когда возникли долгие споры и разговоры о том, как достать бумагу для первых двух книжек, Есенин вдруг решительно произнес:

— Бумагу я достану, потом узнаете как...

Все запасы бумаги в Москве были конфискованы и находились на строжайшем учете и контроле. Есенин все же бумагу добыл. Добыл тем же способом, какой он несколько позднее применял в новом своем издательстве «Имажинисты». Способ этот был очень прост и всегда давал желаемые результаты. Он надевал свою длиннополую поддевку, причесывал волосы на крестьянский манер и отправлялся к дежурному члену Президиума Московского Совета. Стоя перед ним без шапки, он кланялся и, старательно окая, просил «Христа ради» сделать «божескую милость» и дать бумаги для «крестьянских» стихов. Конечно, отказать такому просителю, от которого трудно было оторвать восхищенный взор, было немыслимо.

И бумагу мы получили.

Первой была напечатана книжка стихов Есенина «Радуница». В нее вошли циклы: «Радуница», «Песня о Миколе», «Русь» и «Звезды в лужах». Вслед за «Радуницей» вышли в свет «Голубень», «Сельский часослов», «Преображение», «Ключи Марии» *.

Намечены были к изданию, как гласило объявление на последней странице «Преображения», книжки стихов Клычкова, Орешина, Ширяевца, Повицкого, Кузько, Спасского и других. Однако даже ненапечатанные книги «имеют свою судьбу»: издательство неожиданно «лопнуло». Пришли ко мне Есенин и Клычков и объявили, что в кассе «Артели» нет ни копейки денег, купить бумаги не на что, и, следовательно, «Артель» ликвидируется.

Есенин взволнованно и резко обвинял во всем Клычкова, утверждая, что тот, будучи «казначеем», пропил или растратил весь наш основной фонд. Клычков не признавал за собой вины и приводил какие-то путаные объяснения. Так или иначе, но продолжать дело нельзя было. Издательство «Трудовая артель художников слова» перестало существовать. После распада «Артели» материальное положение Есенина снова ухудшилось. Он временами переживал подлинный голод.

Характерен в этом отношении следующий случай.

Однажды Есенин с Клычковым пришли ко мне на квартиру в «Петровских линиях», где я тогда проживал. Поговорили о том, о сем, и я предложил гостям поужинать. Оба охотно согласились. Я вышел в кухню для

* По предложению Есенина мы ввели новое летосчисление и на обложках наших книжек можно было читать: «2-й год 1-го века».

некоторых приготовлений. Возвращаюсь, «сервирую» стол и направляюсь к буфету за продуктами. Там хранился у меня, как особенно приятный сюрприз, довольно большой кусок сливочного масла, недавно полученный мною от брата из Тулы. Ищу масло в буфете и не нахожу.

Оборачиваюсь к гостям и смущенно говорю:

— Никак масла не найду...

Оба прыснули со смеху. Есенин признался:

— А мы не выдержали, съели все без остатка.

Я удивился:

— Как съели? Ведь в буфете хлеба не было!

— А мы его без хлеба, ничего — вкусно! — подтверждали оба и долго хохотали, любуясь моим смущенным видом.

Конечно, только буквально голодные люди могут наброситься на масло и съесть его без единого кусочка хлеба.

Я решил временно увезти Есенина из голодной Москвы. Я уехал с ним в Тулу к моему брату. Продовольственное положение в Туле было более благополучным, чем в Москве и мы там основательно подкормились. Для Есенина это была пора не только материального достатка, но и душевного покоя и отдыха. Ни один вечер не проходил у нас впустую.

Брат, человек музыкальный, был окружен группой культурных людей, и они тепло встретили молодого поэта. Ежевечерне Есенин читал свои стихи. Все написанное им он помнил наизусть. Читал он мастерски. Молодой грудной тембр голоса, выразительная смысловая дикция, даже энергичная, особая, чисто есенинская, жестикуляция придавали его поэтическому слову своеобразную значимость и силу.

Иногда он имитировал Блока и Белого. Блока он читал серьезно, с уважением. Белого — с издевкой, утрируя как внешнюю манеру читки Белого, так и содержание его потусторонних мистических «прорицаний».

Часто Есенин пускался в долгие филолого-философские споры с собравшимися, причем философические его искания были довольно туманного порядка, типа рассуждений об «орнаменте в слове», несколько позднее изложенных им в «Ключах Марии».

Доставляли огромное наслаждение музыка его речи, душевная взволнованность, напряженность мысли, глубокая убежденность в правоте своих исканий, необычная

для того времени тема его откровений. Спорщики в конце концов затихали и сами с интересом вслушивались в густо насыщенную образностью и старорусской песенностью импровизацию на тему об орнаменте в слове и в быту.

Днем мы с Есениным шатались по базару. На это уходило время между завтраком и обедом. Есенин с азартом окунался в базарную сутолоку, вмешивался в дела базарных спекулянтов и завсегдатаев рынка.

— Да ты посмотри, мил человек, что за сало! Не сало, а масло! Эх, у нас бы в Москве такое сало!

— Отчего же не купишь, если так расхваливаешь?— спрашивали любопытные.

— А где мне такие «лимоны» достать? — отвечал Есенин к общему удовольствию публики.

«Лимонами» тогда на базаре называли миллионы.

За обедом он делился рыночными впечатлениями, тут же дополняя их собственными вымыслами и необычайными подробностями. Все слушали его с удовольствием.

Все нравилось Есенину в этом доме: хозяева, их гости, уютные небольшие комнаты, распорядок дня и ночи. Но в искренний восторг он приходил от одного, будто маловажного обстоятельства. К завтраку, обеду или ужину нас никогда не звали. Приглашение к столу заменяла музыка: сигналом к завтраку служила «Марсельеза», к обеду — «Тореадор», к ужину — какая-нибудь популярная ария из оперы или оперетты. Есенин уверял, что он только потому и ест с аппетитом, что он сам, как корова, очень отзывчив на «пастушью дудку».

Иногда мы посещали местный театр. Нам подавали заводские просторные сани-розвальни, и мы валились на них по 5—6 человек. Есенин стоя помогал возчику править. Он оглушительно гикал, свистел и восторженно оглашал улицу криками: «Эй, берегись! Право! Лево!»

Игра артистов доставляла ему меньшее удовольствие...

Вернувшись в Москву, он часто рассказывал друзьям о «тульских неделях», по обыкновению приукрашивая и расцвечивая недавнюю быль.

Л. Повицкий

В 1918 году я была секретарем литературного отдела московского Пролеткульта, а Михаил Герасимов заведовал этим отделом. Жил он там же в бывшей ванной —

большой, светлой комнате с декадентской росписью на стенах; ванну прикрыли досками, поставили письменный стол, сложили печурку.

Бывая в Пролеткульте, в эту комнату заходили к Герасимову Есенин, Клычков, Орешин, а Есенин иногда оставался ночевать.

В то время наиболее видными московскими пролетарскими поэтами были Герасимов, Александровский и Полетаев. Я же была молодой, но уже печатавшейся с 1913 года писательницей из буржуазной среды. В те годы я всецело находилась под влиянием Блока, его поэзии, его статей об интеллигенции и революции. Я страстно принимала его поэму «Двенадцать», и она сыграла большую роль в моем собственном признании революции и сближении с пролетарскими поэтами...

Все мы были очень разными, но все мы были молодыми, искренними, пламенно и романтически принимали революцию — не жили, а летели, отдаваясь ее вихрю. Споря о частностях, все мы сходились на том, что начинается новая мировая эра, которая несет преображение (это было любимое слово Есенина) всему — и государственности, и общественной жизни, и семье, и искусству, и литературе.

Обособленность человеческая кончается, индивидуализм преодолеется в коллективе. Вместо «я» в человеческом сознании будет естественно возникать «мы». А как же будет с художественным творчеством, с поэзией?

Можно ли коллективно создавать литературные произведения? Можно ли писать втроем, вчетвером? Об этом мы не раз спорили и решили испытать на деле. Так появились и киносценарий «Зовущие зори», написанный Есениным, Герасимовым, Клычковым и мной, и «Кантата», написанная Есениным, Герасимовым и Клычковым.

Эти юношеские опыты для сегодняшнего читателя и наивны и несовершенны, но в них отразились и эпоха, и наши тогдашние художественные искания, и мы сами, до некоторой степени явившиеся прототипами отдельных персонажей. Материалом для «Зовущих зорь» послужил и московский Пролеткульт, и наши действительные разговоры, и утопические мечтания, и прежде всего сама эпоха, когда бои в Кремле были вчерашним, совсем свежим воспоминанием.

Мы были и ощущали себя прежде всего поэтами, оттого и в списке авторов помечено — «поэты». Свой реа-

листический материал мы хотели дать именно в «преображении» поэтическом; одна из частей сценария так и названа — «Преображение». Для Есенина был особенно дорог этот высокий, преображающий строй чувств и образов. Исходил он из реального, конкретного, не выдумывая о человеке или ситуации, но как бы видя глубоко заложенное и только требующее поэтического раскрытия.

Для Есенина, как и для нас — его соавторов, было важно показать ритм и стремительность этого преображения действительности. Так, Саховой — деревенский увалень — становится одним из безымянных героев революции, офицер Рыбинцев переходит к большевикам, его жена Вера Павловна становится другим человеком и уходит вместе с женой рабочего Наташей на фронт.

Некоторые собственные психологические и даже биографические черты мы вложили в героев сценария. В Назарове, «рабочем, бывшем политэмигранте, с ярко выраженной волей в глазах и складках рта, высокого роста», есть черты Михаила Герасимова, который после революции вернулся из политэмиграции. Правда, Герасимов — сын железнодорожного рабочего, спокойный, сильный и красивый человек, крепко ходящий по земле,— совсем не был похож на «вихревую птицу», как значится в сценарии. Все сравнения его с птицей, относящиеся к «преображению», задуманы Есениным. Некоторые черты Веры Павловны Рыбинцевой навеяны моим тогдашним обликом. Я была романтической интеллигенткой, попавшей в «железный» Пролеткульт. Но, конечно, отчасти узнавая себя в Рыбинцевой, я никак не могу отождествлять себя с этим персонажем сценария.

Все развитие образа Рыбинцевой — это попытка показать в художественной форме революционное перевоспитание человека, пусть вышедшего из других социальных слоев, но ставшего на сторону революции.

Разработка образа Рыбинцевой как бы по молчаливому уговору (ему и книги в руки!) была предоставлена Герасимову, но основная наметка дана всеми.

Наташа Молотова в основном разработана мной. Ее образ имеет непосредственную связь с образом Тани из моей поэмы «Серафим». Обе они вышивают алое знамя, обе уходят на демонстрацию, а потом в бой.

Саховой ближе Клычкову: от Есенина тут может быть только налет мягкого юмора. А сцены в Кремле, арест и бегство Рыбинцева должны быть отнесены главным

образом к Есенину. Вся эта часть сценария идет под знаком есенинского «преображения».

Эпизоды 13, 14, 15, 16—23 мы придумывали в столовой на Арбате, куда часто ходили все вместе обедать из Пролеткульта. Я помню голые деревянные доски стола, облупленную посуду, оловянные ложки, прокуренную комнату. Отсюда как противопоставление — «величественный зал, роскошная сервировка и изобилие пищи», как это дается в картинах будущего в сценарии. В картине рабочего праздника фон — «фабричные трубы» — был данью вкусам Герасимова. Кадры «работа будет нашим отдыхом» предложены тоже Герасимовым.

Начало IV части «На фронт мировой революции» в основном принадлежит Есенину и Клычкову, а конец — Гера́симову. Его же — образ «мадонны на фоне моря».

Возникает вопрос: был ли этот сценарий случайным для Есенина? Едва ли.

Весь этот непродолжительный период сближения с пролетарскими поэтами был существен для его пути. В тогдашней литературе шел сложный процесс отмирания старого и возникновения нового. Было ясно одно, что по-прежнему писать уже нельзя, что надо искать каких-то иных форм.

Есенин не мог не видеть недостатков нашего незрелого детища, но он своей рукой переписывает большую часть чистого экземпляра сценария, не отрекаясь от него, желая довести до печати.

Н. Павлович

В первые годы после революции мне часто приходилось иметь связь с Московским Пролеткультом, который находился в бывшем особняке Маргариты Морозовой на Воздвиженке (ныне ул. Калинина). В этом же здании проживали некоторые пролетарские поэты. Поэт М. Герасимов жил в ванной комнате, одно время вместе с ним жил и Сергей Есенин. Частым гостем у них был поэт Сергей Клычков.

В этой же ванной комнате зародилась «Московская трудовая артель художников слова». «Трудовая артель» начала издавать книжечки своих членов.

Как-то, придя на заседание московского совета Пролеткульта, я встретил в зале Сергея Есенина, который, увидав меня, радостно проговорил:

— Вот и хорошо, что пришел, помоги нам в издательских премудростях. Нам надо выбрать шрифт, формат.

Он сунул тощую книжечку образцов шрифтов типографии Меньшова и добавил:

— Входи к нам в артель.

Я дал согласие и предложил ему заходить ко мне на Волхонку в ЦК Пролеткультов...

Дней через десять Есенин с Клычковым пришли ко мне на Волхонку похвастать своими книжечками.

Есенин написал мне на книге «Сельский часослов»: «Милому Михаилу на ядреную ягодь слова русского. *С. Есенин»*.

Через неделю, к концу рабочего дня, часов в пять, пришел ко мне Сергей Есенин, закутанный коричневым шарфом. Только светились глаза яркой лазурью из-за индевелых ресниц. Подсел к топившейся железной печурке, растирая озябшие руки, и стал рассказывать, что переехал из Маргаритиной ванны к Сахарову и приступает к серьезной работе.

Отогревшись, Сергей начал говорить о деле. Сотрудники все ушли, во всем этаже остались мы да уборщицы, подметавшие комнаты.

— Давай решим, каким шрифтом будем набирать,— предлагал Сергей.— Я думаю выбрать «антик».

Видимо, ему это слово нравилось, но шрифт этот вряд ли был ему знаком. Он вынул из кармана свою книжечку «Преображение» и написал на ней «В набор, «антик».

Я заметил Есенину:

—Сергей, так скоропалительно нельзя отдавать в набор. Возьми свои книги, пересмотри, возможно, некоторые стихи удалишь, а новые вставишь, часть следует переработать. Собери все лучшее и побольше, на солидный томик. Я тебе дам набор не в полосах, а в гранках, ты до сдачи в типографию поработай над ними. Понял?

— Понял,— сказал Сергей и на книжке «Преображение» написал:

«Ну, тогда не в набор эту книгу, а лишь в разбор. Много в ней тебе не нравится, присмотрись, гляди, и понравится. Любящий *Сергей.* 18. I—1919г.».

М. Мурашев.

В первый раз я увидел его 1918 году, в середине лета, в одном из тех московских кафе, где состоятельные господа в тот голодный год лакомились настоящим кофе

с сахаром и сдобными булочками. Теперь на том месте, на углу Петровки и Кузнецкого переулка, разбит сквер, и только старожилы помнят дом с полукруглым фасадом, где было это кафе.

Постепенно состоятельные господа перекочевали на Украину, в гетманскую державу, и владельцы кафе для привлечения новых клиентов назвали свое предприятие «Музыкальной табакеркой» и за недорогую плату выпускали на эстраду поэтов. Поэты читали стихи случайной публике — эстетам в долгополых визитках и цветных жилетах, окопавшимся в тылу сотрудникам банно-прачечных отрядов — так называемым земгусарам, восторженным ученицам театральных школ; но приходили сюда и ценители поэзии, главным образом провинциалы — врачи, учителя, студенты...

Словом, в «Табакерке» был обыкновенный вечер, не обещающий ничего замечательного, но вдруг все притихли — из круглого зала донесся молодой, чистый и свежий голос, и в нем было что-то завлекательное, зовущее. Все сгрудились в арке, соединяющей комнату поэтов с залом.

На эстраде стоял стройный, в светлом костюме молодой человек, показавшийся нам юношей. Русые волосы падали на чистый, белый лоб, глаза мечтательно глядели ввысь, точно над ним был не сводчатый потолок, а купол безоблачного неба. С какой-то рассеянной, грустной улыбкой он читал, как бы рассказывая:

Он был сыном простого рабочего,
И повесть о нем очень короткая.
Только и было в нем, что волосы как ночь
Да глаза голубые, кроткие.

— Есенин!

Жизнь Есенина, чудо, случившееся с ним, крестьянским юношей, ставшим одним из первых русских поэтов, наших современников,— все это было хорошо известно. Но как-то странно было видеть его, автора стихов «Русь», внешне ничем не подчеркивающего своей биографии — ни в одежде, ни в повадках. На нем не было поддевки, он не был острижен в скобку, как некоторые крестьянствующие поэты, не было и сапог с лаковыми голенищами. Светло-серый пиджак облегал его стройную фигуру и очень шел ему — такое умение с изящной небрежностью носить городской костюм я видел еще у одного человека, вышедшего из народных низов,— у Шаляпина.

Непринужденно и просто Есенин читал стихи, не подчеркивая их смысла, не нажимая по-актерски на выиг-

рышные строфы, и стихи доходили, что называется, брали за сердце, притом читал он без тени какого-либо местного говора.

С первого взгляда Есенин производил поистине обаятельное впечатление. Я много раз слышал, как читал стихи Маяковский, слышал не раз Блока, Брюсова, Бальмонта, у каждого было что-то свое, волнующее не только потому, что мы слушали произведение из уст автора.

Мне кажется, как бы ни читал автор свои стихи, он всегда читает лучше декламатора, или, как это теперь называется, мастера художественного слова.

Голос у Есенина был тогда чистый, приятный, от этого еще трогательнее звучали проникнутые нежной грустью строфы:

Отец его с утра до вечера
Гнул спину, чтоб прокормить крошку;
Но ему делать было нечего,
И были у него товарищи: Христос до кошка.

Стихи назывались «Товарищ», многие тогда уже знали, что это произведение о Февральской революции, написанное под впечатлением похорон на Марсовом поле жертв уличных боев в Петрограде.

В то время уже немало было написано стихов о революции, свергнувшей царизм, притом разными поэтами, но остались в литературе «поэтохроника» Маяковского «Революция» и «Товарищ» Есенина.

После этого вечера мне случалось довольно часто слушать Есенина, притом в разной обстановке. Надо сказать, что его с особенным вниманием слушали неискушенные люди, в самом чтении Есенина было непостижимое очарование.

В стихах «Товарищ» есть резкая смена ритма:

Ревут валы,
Поет гроза!
Из синей мглы
Горят глаза.

Вместе с этой сменой ритма он сам как-то менялся. Вот блеснули глаза, вскинулась ввысь рука, и трагически, стенящим зовом прозвучало:

Исус, Исус, ты слышишь?
Ты видишь? Я один.
Тебя зовет и кличет
Товарищ твой Мартин!

Отец лежит убитый,
Но он не пал, как трус...

И вслед за этим звонко, восторженно он выкрикнул:

Зовет он нас на помощь,
Где бьется русский люд,
Велит стоять за волю,
За равенство и труд!..

Дошел почти до конца стихотворения и вдруг, рванув воротник сорочки, почти с ужасом крикнул:

Кто-то давит его, кто-то душит,
Палит огнем.

И после долгого молчания, когда вокруг была мертвая тишина, он произнес торжественно и проникновенно:

Но спокойно звенит
За окном,
То погаснув, то вспыхнув
Снова,
Железное
Слово...

И, как долгий отдаленный раскат грома, все усиливающийся, радостно-грозный:

Рре-эс-пу-у-ублика!

Успех он имел большой. Легко спрыгнув с эстрады, сел на место, за столик. Был долгий перерыв — поэты понимали, что невыгодно читать после Есенина. К столу, где сидел Есенин, подсел какой-то, видимо незнакомый ему, человек и упорно допытывался у поэта, почему у него в стихах присутствует Исус. С кошкой этот человек еще мог примириться, но Исус его беспокоил и чем-то мешал.

Заливаясь смехом, Есенин объяснил собеседнику:

— Ну, голубчик... просто висит в углу икона, висит себе и висит.

Потом вдруг зажал уши и по-мальчишески звонко закричал:

— Братцы, спасите! Он меня замучил!

Л. Никулин

1918 год. В селе у нас творилось бог знает что.

— Долой буржуев! Долой помещиков! — неслось со всех сторон.

Каждую неделю мужики собираются на сход.

Руководит всем Мочалин Петр Яковлевич, наш односельчанин, рабочий коломенского завода. Во время революции он пользовался в нашем селе большим авторите-

том. Наша константиновская молодежь тех лет многим была обязана Мочалину, да и не только молодежь.

Личность Мочалина интересовала Сергея. Он знал о нем все. Позднее Мочалин послужил ему в известной мере прототипом для образа Оглоблина Прона в «Анне Снегиной» и комиссара в «Сказке о пастушонке Пете».

В 1918 году Сергей часто приезжал в деревню. Настроение у него было такое же, как и у всех,— приподнятое. Он ходил на все собрания, подолгу беседовал с мужиками.

Однажды вечером Сергей и мать ушли на собрание, а меня оставили дома. Вернулись они вместе поздно, и мать говорила Сергею:

— Она тебя просила, что ль, заступиться?

— Никто меня не просил, но ты же видишь, что делают? Растащат, разломают все, и никакой пользы, а сохранится целиком, хоть школа будет или амбулатория. Ведь ничего нет у нас! — говорил Сергей.

— А я вот что скажу — в драке волос не жалеют. И добро это не наше, и нечего и горевать о нем.

Наутро пришла ко мне Нюшка.

— Эх ты, чего вчера на собрание не пошла? Интересно было.— И Нюшка, волнуясь, с удовольствием продолжала: — Знаешь, Мочалин говорит: надо буржуйское гнездо разорить так, чтобы духу его не было, а ваш Сергей взял слово и давай его крыть. Это, говорит, неправильно, у нас нет школы, нет больницы, к врачу за восемь верст ездим. Нельзя нам громить это помещение. Оно нам самим нужно! Ну и пошло у них.

Через год в доме Кашиной была открыта амбулатория, а барскую конюшню переделали в клуб.

Е. Есенина

Первый раз я увидела Сергея весной 1918 года. Тогда я приехала из Рязани в Константиново к своей замужней сестре. По старому обычаю праздновались пасхальные дни. Вместе с сестрой и Капитолиной Ивановной, дочерью константиновского священника И. Я. Смирнова, я оказалась в толпе молодежи около церкви.

Слышался звон колокола, смех и шутки. Многие смотрели вверх, на колокольню. Я тоже подняла голову и увидела двух парней. Это были Клавдий Воронцов и Сергей Есенин. Клавдий звонил, а Сергей пускал с колокольни бумажных голубей. Я знала, что Есенин писал стихи,

что он известен как одаренный поэт-самородок, но в то время в селе никто не придавал этому серьезного значения.

А. Соколова

Впервые я увидел Сергея Есенина в селе Константинове. Это было летом 1918 года на крестьянской сходке. Разговор шел о мужиках, арестованных якобы за участие в ограблении баржи с продовольствием бандой Михаила Рогожкина. На сходке выступил Есенин. Он обещал мужикам помочь в освобождении из тюрьмы крестьян, непричастных к грабежу, что вызвало шумное одобрение собравшихся.

Вскоре после этого случая мы с матерью Феклой Федоровной переехали жить в Москву к отчиму Ивану Васильевичу Ильину. Моя мать стала работать поваром в столовой. Работал и я. Понемногу собрал нужную сумму и купил старый трофейный мотоцикл, определивший мою судьбу. На этом мотоцикле я совершал поездки в Константиново, и один мой приезд в родное село совпал с пребыванием там Есенина.

Я любил ловить рыбу удочкой и разъезжал по берегу Оки на мотоцикле. Меня тянуло к рыбакам, и однажды я провел весь день с артелью константиновских мужиков, которые загребли неводом много рыбы, в основном лещей. По их поручению я ездил в село с наказом, выслать за рыбой шесть подвод.

Потом мужики попросили меня съездить в Рязань и договориться там, чтобы рыба была принята без проволочек. Я помчался в Рязань, сделал, что требовалось, и подводы с рыбой отправились в город. Мужики остались довольны и мною, и «чертовой железякой», как они называли мотоцикл. Есенин, вероятно, узнал от Лидии Ивановны Кашиной или от крестьян, как я словно угорелый носился по артельным делам, и написал обо мне стихотворение, которое я слышал в пересказе односельчан. Начиналось оно примерно так:

Прикатил на мотоцикле Саша Силкин...

Признаться, мне приятно было слушать это стихотворение, юмористическое по содержанию. Напечатанным или написанным от руки я его, к сожалению, не видел, а записать не догадался. Помню, как несколько позже про-

декламировал мне это стихотворение сельский учитель Сергей Николаевич Соколов, друг Есенина.

В 1919 году молодежь — Клавдий Воронцов, Сергей Брежнев, Сергей Соколов, Петр Ступеньков, Василий Ерошин, Анна Гусева и другие (среди них был и я) — организовали в Константинове так называемый культпросвет и комсомольскую ячейку. В доме бывшей помещицы Кашиной мы оборудовали сцену и своими силами ставили пьесы, чаще всего — А. Н. Островского. Для нашего кружка потребовались костюмы, парики, грим. Вспомнили Есенина. Он жил в Москве, входил в славу как поэт. Не выручит ли нас? Клавдий Воронцов написал Есенину записку. Передать ее было поручено мне.

В Москве я нашел Есенина в книжном магазине писателей на Никитской улице. Уже подходя к магазину, я обратил внимание на книжки его стихов, выставленные в витрине. Приятно было видеть сочинения своего земляка.

В магазине я попросил стоявшего за прилавком продавца показать мне все книжки Есенина. В это время открылась дверь и вошел Есенин. Он сразу узнал меня. «Опять на мотоцикле?» — спросил Есенин улыбаясь. «Да, Сергей Александрович, на мотоцикле,— ответил я.— Дело к вам есть». И передал ему записку Воронцова.

«Пьесы ставите?» — «Ставим».— «Скоро приеду в Константиново, посмотрю».

Есенин куда-то позвонил, потом написал записку и послал меня в костюмерную Большого театра. Уходя от Есенина, я попросил его подарить мне свои стихотворения. Он взял с прилавка две тонкие книжки и на каждой написал: «Земляку Саше Силкину. С. Есенин».

К моему великому огорчению, эти книжки не сохранились. Как-то подвыпив, мой отчим сжег мои книги. Я, по его мнению, слишком много тратил денег на их покупку.

А в Большом театре мне выдали все необходимое для драмкружка. Набрался целый мешок вещей, который я привез на мотоцикле в Константиново.

В апреле или мае 1920 года Есенин появился в Константинове, и я видел его среди зрителей спектакля, поставленного нашим драмкружком в доме Л. И. Кашиной. Никто тогда из нас не догадался попросить его прочитать свои стихи, о чем приходится только жалеть.

А. Силкин

В 1919 году произошла встреча Есенина с Мариенгофом и возник их литературно-бытовой союз. Мариенгоф романтику в стихе сочетал с трезвым реализмом в быту. Время было еще голодное, и Мариенгоф прежде всего позаботился о материальной базе молодого союза. Для этой цели очень пригодным оказался товарищ Мариенгофа по гимназии Молабух (он же «Почем соль»). Этот новоиспеченный железнодорожный чиновник получил в свое распоряжение салон-вагон, разъезжал в нем свободно по железным дорогам Союза и предоставлял в этом вагоне постоянное место Есенину и Мариенгофу. Мало того, зачастую Есенин с Мариенгофом разрабатывали маршрут очередной поездки и без особенного труда получали согласие хозяина салон-вагона на намеченный ими маршрут.

По пути предприимчивым поэтам удавалось наспех, на скорую руку, пользуясь случайными связями, отпечатать какую-нибудь тощую книжечку стихов и тут же прибыльно ее продать. Так в Харькове была ими напечатана «Харчевня зорь» — сборник нескольких стихов Есенина, Мариенгофа и Хлебникова *. Последний, теоретик и основоположник русского футуризма, получил место в сборнике за рекламное стихотворение «Москвы колымага...». Стихотворение в целом представляло собой сумбурный набор рифмованных строк психически больного человека, каковым в то время уже несомненно являлся Хлебников, но оно нужно было воинствующим имажинистам как знак их влияния даже в могущественном лагере футуристов.

В чем, собственно, состояла причина обостренных, резко враждебных, отношений между имажинистами и футуристами?

В «Ключах Марии» Есенин говорит: «Футуризм... крикливо старался напечатлеть нам имена той нечисти (нечистоты), которая живет за задними углами наших жилищ». И далее: «Он сгруппировал в своем сердце все отбросы чувств и разума и этот зловонный букет бросил, как «проходящий в ночи», в наше, с масличной ветвью ноевского голубя, окно искусства».

На мои неоднократные обращения к Есенину за разъяснениями по этому вопросу я получал от него другой, весьма лаконичный ответ: «Они меня обкрадывают».

---

* Харьковская типография, боясь ответственности за неплановую трату бумаги, место издания обозначала «Москва».

Смысл этих слов заключался в том, что Есенин считал себя хозяином и монополистом образного слова в поэзии. Футуристы под иной вывеской прибегали, мол, к тому же имажинистскому методу, насыщая его «для отвода глаз» гиперболоурбанистским содержанием. Это Есенин считал этически недопустимым приемом. Никто и ничто не могло его разубедить в этом, созданном его воображением, своеобразном представлении о «литературной собственности», и вражда к футуристам жила в нем до последних дней.

К критике собственных стихов он прислушивался чутко, хотя внешне старался это не обнаружить. Я на материалах «Радуницы», «Голубени» и «Инонии» дал анализ творчества Есенина как по линии мотивов его поэзии, так и используемых им изобразительных средств. Доклад свой я прочитал на вечере в «Стойле Пегаса», в присутствии Есенина. Он слушал внимательно и по окончании заявил слушателям:

— Много правды сказал обо мне Лёв Осипович. Это я должен признать. Я только несогласен с тем, что революционное творчество будто бы нуждается в обновлении законов рифмы и ритма. Я очень люблю мою старую русскую рубашку, мне в ней легко и удобно,— зачем же мне ее менять?

После чтения он подошел ко мне и попросил рукопись:

— Мы ее скоренько отпечатаем, а у тебя она залежится.

Я отдал ему рукопись в присутствии Мариенгофа и... больше не видел ни рукописи, ни книжки. И Есенин, и Мариенгоф уверяли, что она затерялась не то в типографии, не то у них на квартире.

В начале своего возникновения творческий союз Есенина с Мариенгофом был плодотворным для обоих. У них шло здоровое и полезное обоим соревнование. Мариенгоф работал над «Заговором дураков», Есенин засел за «Пугачева». В эту пору им были написаны «Кобыльи корабли», «Сорокоуст», «Пантократор», ряд лирических стихов: «Душа грустит о небесах...», «Все живое особой метой...», «Не жалею, не зову, не плачу...» и др.

На «Пугачева» Есенин возлагал большие надежды. Очень хотелось ему увидеть свое первое драматическое произведение на сцене. За это дело взялся Мейерхольд. Помню читку «Пугачева» перед коллективом театра Мейерхольда. Мейерхольд представил своей труппе Есенина,

сказал несколько слов о пьесе и предложил начать чтение.

Кто-то из артистов спросил:

— Кто из нас прочтет?

Мейерхольд подчеркнуто произнес:

— Читать будет автор.

И когда Есенин по обыкновению ярко, вдохновенно развертывал перед слушателями ткань своего любимого произведения, я уловил выразительный взгляд Мейерхольда, обращенный к сомневавшемуся артисту:

— Ты прочтешь так, как он?

Из попытки Мейерхольда ничего не вышло.

Неудачей с постановкой «Пугачева» Есенин был очень огорчен.

Л. Повицкий

Стоял теплый августовский день. Мой секретарский стол в издательстве Всероссийского центрального комитета помещался у окна, выходящего на улицу. По улице ровными, каменными рядами шли латыши. Казалось, что шинели их сшиты не из серого солдатского сукна, а из стали. Впереди несли стяг, на котором было написано: «Мы требуем массового террора».

Меня кто-то легонько тронул за плечо:

— Скажите, товарищ, могу я пройти к заведующему издательством Константину Степановичу Еремееву?

Передо мной стоял паренек в светло-синей поддевке. Под поддевкой белая шелковая рубашка. Волосы волнистые, совсем желтые, с золотым отблеском. Большой завиток как будто небрежно (но очень нарочно) падал на лоб. Этот завиток придавал ему схожесть с молоденьким хорошеньким парикмахером из провинции, и только голубые глаза (не очень большие и не очень красивые) делали лицо умнее и завитка, и синей поддевочки, и вышитого, как русское полотенце, ворота шелковой рубашки.

— Скажите товарищу Еремееву, что его спрашивает Сергей Есенин.

В Москве я поселился (с гимназическим моим товарищем Молабухом) на Петровке, в квартире одного инженера.

Пустил он нас из боязни уплотнения, из страха за свою золоченую мебель с протертым плюшем, за массивные бронзовые канделябры и портреты «предков» — так

называли мы родителей инженера,— развешанные по стенам в тяжелых рамах.

Стали бывать у нас на Петровке Вадим Шершеневич и Рюрик Ивнев. Завелись толки о новой поэтической школе образа.

Несколько раз я перекинулся в нашем издательстве о том мыслями и с Сергеем Есениным.

Наконец было условлено о встрече для сговора и, если не разбредемся в чувствовании и понимании словесного искусства, для выработки манифеста.

Последним, опоздав на час с лишним, явился Есенин. Вошел он запыхавшись, платком с голубой каемочкой вытирая со лба пот. Стал рассказывать, как бегал он вместо Петровки по Дмитровке, разыскивал дом с нашим номером. А на Дмитровке вместо дома с таким номером был пустырь; он бегал вокруг пустыря, злился и думал, что все это подстроено нарочно, чтобы его обойти, без него выработать манифест и над ним же потом посмеяться.

У Есенина всегда была болезненная мнительность. Он высасывал из пальца своих врагов, каверзы, которые против него будто бы замышляли, и сплетни, будто бы про него распространяемые.

Мужика в себе он любил и нес гордо. Но при мнительности всегда ему чудилась барская снисходительная улыбочка и какие-то в тоне слов неуловимые ударения.

Все это, разумеется, было сплошной ерундой, и щетинился он понапрасну.

До поздней ночи пили мы чай с сахарином, говорили об образе, о месте его в поэзии, о возрождении большого словесного искусства «Песни песней», «Калевалы» и «Слова о полку Игореве».

У Есенина уже была своя классификация образов. Статические он называл *заставками,* динамические, движущиеся — *корабельными,* ставя вторые несравненно выше первых; говорил об орнаменте нашего алфавита, о символике образной в быту, о коньке на крыше крестьянского дома, увозящем, как телегу, избу в небо, об узоре на тканях, о зерне образа в загадках, пословицах и сегодняшней частушке.

Каждый день часов около двух приходил Есенин ко мне в издательство и, садясь около, клал на стол, заваленный рукописями, желтый тюречок с солеными огурцами.

Из тюречка на стол бежали струйки рассола.

В зубах хрустело огуречное зеленое мясо и сочился соленый сок, расползаясь фиолетовыми пятнами по рукописным страничкам. Есенин поучал:

— Так, с бухты-барахты, не след идти в русскую литературу. Искусную надо вести игру и тончайшую политику.

И тыкал в меня пальцем:

— Трудно тебе будет, Толя, в лаковых ботиночках и с проборчиком волосок к волоску. Как можно без поэтической рассеянности? Разве витают под облаками в брючках из-под утюга! Кто этому поверит? Вот, смотри, Белый. И волос уже седой, и лысина величиной с вольфовского однотомного Пушкина, а перед кухаркой своей, что исподники ему стирает, и то вдохновенным ходит. А еще очень не вредно прикинуться дурачком. Шибко у нас дурачка любят... Каждому надо доставить свое удовольствие. Знаешь, как я на Парнас восходил?..

И Есенин весело, по-мальчишески, захохотал.

— Тут, брат, дело надо было вести хитро. Пусть, думаю, каждый считает: я его в русскую литературу ввел. Им приятно, а мне наплевать. Городецкий ввел? Ввел. Клюев ввел? Ввел. Сологуб с Чебатаревской ввели? Ввели. Одним словом, и Мережковский с Гиппиусихой, и Блок, и Рюрик Ивнев... к нему я, правда, первому из поэтов подошел — скосил он на меня, помню, лорнет, и не успел я еще стишка в двенадцать строчек прочесть, а уж он тоненьким таким голосочком: «Ах, как замечательно! Ах, как гениально! Ах...» — и, ухватив меня под ручку, поволок от знаменитости к знаменитости, свои «ахи» расточая тоненьким голоском. Сам же я — скромного, можно сказать, скромнее. От каждой похвалы краснею, как девушка, и в глаза никому от робости не гляжу. Потеха!

Есенин улыбнулся. Посмотрел на свой шнурованный американский ботинок (к тому времени успел он навсегда расстаться с поддевкой, с рубашкой вышитой, как полотенце, с голенищами в гармошку) и по-хорошему, чистосердечно (а не с деланной чистосердечностью, на которую тоже был мастер) сказал:

— Знаешь, и сапог-то я никогда в жизни таких рыжих не носил, и поддевки такой задрипанной, в какой перед ними предстал. Говорил им, что еду в Ригу бочки катать. Жрать, мол, нечего. А в Петербург на денек, на два, пока партия моя грузчиков подберется. А какие там бочки — за мировой славой в Санкт-Петербург приехал,

за бронзовым монументом... Вот и Клюев тоже так. Он маляром прикинулся. К Городецкому с черного хода пришел на кухню: «Не надо ли чего покрасить?..» И давай кухарке стихи читать. А уж известно: кухарка у поэта. Сейчас к барину: «Так-де и так». Явился барин. Зовет в комнаты — Клюев не идет: «Где уж нам в горницу: и креслица-то барину перепачкаю, и пол вощеный наслежу». Барин предлагает садиться. Клюев мнется: «Уж мы постоим». Так, стоя перед барином в кухне, стихи и читал...

Есенин помолчал. Глаза из синих обернулись в серые, злые. Покраснели веки — будто кто простегнул по их краям алую ниточку.

— Ну, а потом таскали меня недели три по салонам — похабные частушки распевать под тальянку. Для виду спервоначалу стишки попросят. Прочти два-три — в кулак прячут позевотину, а вот похабщину хоть всю ночь зажаривай... Ух, уж и ненавижу я всех этих Сологубов с Гиппиусихами!..

Опять в синие обернулись его глаза. Хрупнул в зубах огурец. Зеленая капелька рассола упала на рукопись. Смахнув с листа рукавом огуречную слезку, потеплевшим голосом он добавил:

— Из всех петербуржцев только и люблю Разумника Васильевича да Сережу Городецкого — даром что Нимфа его (так прозывали в Петербурге жену Городецкого) самовар заставляла меня ставить и в мелочную лавку за нитками посылала.

Стояли около «Метрополя» и ели яблоки. На извозчике мимо с чемоданами художник Дид Ладо.

— Куда, Дид?

— В Петербург.

Бросились к нему через площадь бегом во весь дух. На лету вскочили, догнав клячонку.

В Петербурге весь первый день бегали по издательствам. Во «Всемирной литературе» Есенин познакомил меня с Блоком. Блок понравился своею обыкновенностью. Он был бы очень хорош в советском департаменте, над синей канцелярской бумагой, над маленькими нечаянными радостями дня, над большими входящими и исходящими книгами.

В этом много чистоты и большая человеческая правда.

На второй день в Петербурге пошел дождь.

Мой пробор блестел, как крышка рояля. Есенинская золотая голова побурела, а кудри свисали жалкими писарскими запятыми. Он был огорчен до последней степени.

Бегали из магазина в магазин, умоляя продать нам «без ордера» шляпу.

В магазине, по счету десятом, краснощекий немец за кассой сказал:

— Без ордера могу отпустить вам только цилиндры.

Мы, невероятно обрадованные, благодарно жали немцу пухлую руку.

А через пять минут на Невском призрачные петербуржане вылупляли на нас глаза, «ирисники» гоготали вслед, а пораженный милиционер потребовал документы.

Вот правдивая история появления на свет легендарных и единственных в революции цилиндров, прославленных молвой и воспетых поэтами.

К осени стали жить вместе в Бахрушинском доме. Пустил нас к себе на квартиру Карп Карпович Коротков — поэт малоизвестный читателю, но пользующийся громкой славой у нашего брата.

Карп Карпович был сыном богатых мануфактурщиков, но еще до революции от родительского дома отошел и пристрастился к прекрасным искусствам.

Выпустил он за короткий срок книг тридцать, прославившихся беспримерным отсутствием на них покупателя и своими восточными ударениями в русских словах.

Тем не менее расходились книги довольно быстро, благодаря той неописуемой энергии, с какой раздаривал их со своими автографами Карп Карпович!

Один веселый человек пообещал даже два фунта малороссийского сала оригиналу, у которого бы оказалась книга Карпа Карповича без дарственной надписи.

В те дни человек оказался крепче лошади.

Лошади падали на улицах, дохли и усеивали своими мертвыми тушами мостовые. Человек находил силу донести себя до конюшни, и, если ничего не оставалось больше как протянуть ноги, он делал это за каменной стеной и под железной крышей.

Мы с Есениным шли по Мясницкой.

Число лошадиных трупов, сосчитанных ошалевшим глазом, раза в три превышало число кварталов от нашего Богословского до Красных ворот.

Против Почтамта лежали две раздувшиеся туши. Черная туша без хвоста и белая с оскаленными зубами.

На белой сидели две вороны и доклевывали глазной студень в пустых орбитах. Курносый «ирисник» в коричневом котелке на белобрысой маленькой головенке швырнул в них камнем. Вороны отмахнулись черным крылом и отругнулись карканьем.

Всю обратную дорогу мы прошли молча. Падал снег.

Войдя в свою комнату, не отряхнув, бросили шубы на стулья. В комнате было ниже нуля. Снег на шубах не таял.

Рыжеволосая девушка принесла нам маленькую электрическую грелку. Девушка любила стихи и кого-то из нас.

В неустанном беге за славой и за тормошливостью дней мы так и не удосужились узнать кого. Вспоминая об этом после, оба жалели — у девушки были большие голубые глаза.

Грелка немало принесла радости.

Когда садились за стихи, запирали комнату, дважды повернув ключ в замке, и с видом преступников ставили на стол грелку. Радовались, что в чернильнице у нас не замерзали чернила и писать можно было без перчаток.

Часа в два ночи за грелкой приходил Арсений Авраамов. Он доканчивал книгу «Воплощение» (о нас), а у него, в доме Нерензея, в комнате тоже мерзли чернила и тоже не таял на калошах снег. К тому же у Арсения не было перчаток. Он говорил, что пальцы без грелки становились вроде сосулек — попробуй согнуть, и сломятся.

Электрическими грелками строго-настрого было запрещено пользоваться, и мы совершали преступление против революции.

Все это я рассказал для того, чтобы вы внимательней перечли есенинские «Кобыльи корабли» — замечательную поэму о «рваных животах кобыл с черными парусами воронов»; о солнце, «стынущем, как лужа, которую напрудил мерин», о скачущей по полям стуже и о собаках, «сосущих голодным ртом край зари».

Много с тех пор утекло воды. В Бахрушинском доме работает центральное отопление; в доме Нерензея газовые плиты и ванны, нагревающиеся в несколько минут, а Есенин на другой день после смерти догнал славу.

В самую эту суету со спуском «утлого суденышка» нагрянули к нам на Богословский гости.

Из Орла приехала жена Есенина — Зинаида Николаевна Райх. Привезла она с собой дочку — надо же было показать отцу. Танюшке тогда года еще не минуло. А из Пензы заявился друг наш загадочный Михаил Молабух.

Зинаида Николаевна, Танюшка, няня ее, Молабух и нас двое — шесть душ в четырех стенах!

А вдобавок Танюшка, как в старых писали книжках, «живая была живулечка, не сходила с живого стулечка» — с няниных колен к Зинаиде Николаевне, от нее к Молабуху, от того ко мне. Только отцовского «живого стулечка» ни в какую она не признавала. И на хитрость пускались, и на лесть, и на подкуп, и на строгость — все попусту.

Есенин не на шутку сердился и не в шутку же считал все это «кознями Райх».

А у Зинаиды Николаевны и без того стояла в горле горошиной слеза от обиды на Таньку, не восчувствовавшую отца.

Тайна электрической грелки была раскрыта. Мы с Есениным несколько дней ходили подавленные. Часами обсуждали — какие кары обрушит революционная законность на наши головы. По ночам снилась Лубянка, следователь с ястребиными глазами, черная стальная решетка. Когда комендант дома амнистировал наше преступление, мы устроили пиршество. Знакомые пожимали нам руки, возлюбленные плакали от радости, друзья обнимали, поздравляли с неожиданным исходом и пили чай из самовара, вскипевшего на Николае-угоднике: не было у нас угля, не было лучины — пришлось нащепать старую иконку, что смирехонько висела в уголке комнаты. Один из всех, «Почем соль», отказался пить божественный чай. Отодвинув соблазнительно дымящийся стакан, сидел хмурый, сердито пояснив, что дедушка у него был верующий, что дедушку он очень почитает и что за такой чай годика три тому назад погнали б нас по Владимирке... Есенин в шутливом серьезе продолжил:

И меня по ветряному свею,
По тому ль песку,
Поведут с веревкою на шее
Полюбить тоску...

А зима свирепела с каждой неделей.

Спали мы с Есениным вдвоем на одной кровати, наваливая на себя гору одеял и шуб. Тянули жребий, кому первому корчиться на ледяной простыне, согревая ее своим дыханием и теплотой тела.

После неудачи с электрической грелкой мы решили пожертвовать и письменным столом мореного дуба, и превосходным книжным шкафом с полными собраниями сочинений Карпа Карповича, и завидным простором нашего ледяного кабинета ради махонькой ванной комнаты.

Ванну мы закрыли матрасом — ложе; умывальник досками — письменный стол; колонку для согревания воды топили книгами.

Тепло от колонки вдохновляло на лирику.

Через несколько дней после переселения в ванную Есенин прочел мне:

Я учусь, я учусь моим сердцем
Цвет черемух в глазах беречь,
Только в скупости чувства греются,
Когда ребра ломает течь.

Молча ухает звездная звонница,
Что ни лист, то свеча заре.
Никого не впущу я в горницу,
Никому не открою дверь.

Действительно: приходилось зубами и тяжелым замком отстаивать открытую нами «ванну обетованную». Вся квартира, с завистью глядя на наше теплое беспечное существование, устраивала собрания и выносила резолюции, требующие установления очереди на житье под благосклонной эгидой колонки и на немедленное выселение нас, захвативших без соответствующего ордера общественную площадь.

Мы были неумолимы и твердокаменны.

А. Мариенгоф

Вскоре по приезде в Москву я познакомился с Анатолием Мариенгофом (он работал тогда в издательстве ВЦИК техническим секретарем К. С. Еремеева).

Я часто бывал в издательстве, так как знал Еремеева еще по Петербургу: в 1912 году он был членом редколлегии газеты «Звезда», в которой печатались мои стихотворения.

Бывая у Еремеева, я познакомился ближе с Мариенгофом и узнал от него, что он «тоже пишет стихи». Не помню, как познакомились с Есениным Мариенгоф и Шершеневич, но к 1919 году уже наметилось наше общее сближение, приведшее к опубликованию «Манифеста имажинистов». Если бы в то время мы были знакомы с творчеством великого азербайджанского поэта Низами, то мы назвали бы себя не имажинистами, а «низамистами», ибо его красочные и яркие образы были гораздо сложнее и дерзновеннее наших.

Не буду останавливаться подробно на всем, что связано с возникновением школы имажинистов, так как об этом написано довольно много воспоминаний и литературоведческих исследований. Скажу только, что меня лично привлекла к сотрудничеству с имажинистами скорее дружба с Есениным, чем «теория имажинизма», которой больше всего занимались Мариенгоф и Шершеневич.

В тот период я встречался с Есениным почти ежедневно, и наша взаимная симпатия позволила нам игнорировать всякие «формальности» школы имажинистов, в которой, в сущности говоря, мы были скорее «постояльцами», чем хозяевами, хотя официально считались таковыми.

В январе 1919 года Есенину пришла в голову мысль образовать «писательскую коммуну» и выхлопотать для нее у Моссовета ордер на отдельную квартиру в Козицком переулке, почти на углу Тверской (ныне ул. Горького). В коммуну вошли, кроме Есенина и меня, писатель Гусев-Оренбургский, журналист Борис Тимофеев и еще кто-то, теперь уже не помню, кто именно.

Секрет заключался в том, что эта квартира находилась в доме, в котором каким-то чудом действовало паровое отопление, почти не работавшее ни в одном доме Москвы.

Я долго колебался, потому что предчувствовал, что работать будет очень трудно, если не совсем невозможно, но Есенин так умел уговаривать, что я сдался, тем более что он имел еще одного мощного союзника — невероятный холод моей комнаты в Трехпрудном переулке. Но я все же пошел на «компромисс»: я сказал бывшему попечителю Московского округа, который мною «уплотнялся», что уезжаю на месяц в командировку, и, взяв с собой маленький чемоданчик и сверток белья, въехал в квартиру «писательской коммуны». Таким образом, «тыл» у меня был обеспечен.

Есенин не удивился, что у меня так мало вещей, потому что тогда больше теряли, чем приобретали вещи. Жизнь в «коммуне» началась с первых же дней небывалым нашествием друзей, которые привели с собой друзей своих друзей. Конечно, не обошлось без вина. Один Гусев-Оренбургский оставался верен своему крепчайшему чаю,— других напитков он не признавал.

Здесь надо упомянуть (и это очень важно для уяснения некоторых обстоятельств жизни Есенина после возвращения его из Америки), что в ту пору он был равнодушен к вину, то есть у него совершенно не было болезненной потребности пить, как это было у большинства наших гостей и особенно у милейшего и добрейшего Ивана Сергеевича Рукавишникова. Есенина просто забавляла эта игра в богему. Ему нравилось наблюдать ералаш, который поднимали подвыпившие гости. Он смеялся, острил, притворялся пьяным, умышленно поддакивал чепухе, которую несли потерявшие душевное равновесие собутыльники. Он мало пил и много веселился, тогда как другие много пили и под конец впадали в уныние и засыпали.

Второй и третий день ничем не отличались от первого. Гости и разговоры, разговоры и гости и, конечно, опять вино. Четвертый день внес существенное «дополнение» к нашему времяпрепровождению: одна треть гостей осталась ночевать, так как на дворе стоял трескучий мороз, трамваи не ходили, а такси тогда не существовало. Все это меня мало устраивало, и я, несмотря на чудесную теплоту в квартире, пытался высмотреть сквозь заиндевевшие стекла то направление, по которому, проведя прямую линию, я мог бы мысленно определить местонахождение моего покинутого «ледяного дома». Есенин заметил мое «упадническое» настроение и как мог утешал меня, что волна гостей скоро спадет и мы «засядем за работу». При этом он так хитро улыбался, что я понимал, насколько он сам не верит тому, о чем говорит. Я делал вид, что верю ему, и думал о моей покинутой комнате, но тут же вспоминал стакан со льдом вместо воды, который замечал прежде всего, как только просыпался утром, и на время успокаивался. Прошло еще несколько шумных дней. Как-то пришел Иван Рукавишников. И вот в 3 часа ночи, когда я уже спал, его приносят в мою комнату мертвецки пьяного и говорят, что единственное «свободное место» в пятикомнатной квартире — это моя кровать, на остальных же — заст-

рявшие с вечера гости. Я завернулся в одеяло и эвакуировался в коридор. Есенин сжалился надо мной, повел в свою комнату, хохоча, спихнул кого-то со своей койки и уложил меня около себя.

На другой день, когда все гости разошлись и мы остались вдвоем, мы вдруг решили написать друг другу акростихи. В квартире было тихо, тепло, тишайший Гусев-Оренбургский пил в своей комнате свой излюбленный чай. Никто нам не мешал, и вскоре мы обменялись листками со стихами. Вот при каких обстоятельствах «родился» акростих Есенина, посвященный мне. Это было 21 января 1919 года. Вот почему Есенин к дате добавил «утро».

Дней через десять я все же сбежал из этой квартиры в Козицком переулке, так как нашествие гостей не прекращалось. Я вернулся в свой «ледяной дом», проклиная его и одновременно радуясь, что не порвал с ним окончательно. Есенин понял меня сразу и не рассердился за это бегство, а когда узнал, что я, переезжая в «коммуну», оставил за собой мою прежнюю комнату, то разразился одобрительным хохотом.

Мы продолжали встречаться с ним каждый день. Оба мы сотрудничали в газете «Советская страна», выходившей раз в неделю, по понедельникам. Есенин посвятил мне свое стихотворение «Пантократор», напечатанное впервые в этой газете, я тоже посвятил ему ряд стихов.

Удивительное было время. Холод на улице, холод в учреждениях, холод почти во всех домах — и такая чудесная теплота дружеских бесед и полное взаимопонимание. Когда вспоминаем друзей, ушедших навсегда, мы обычно видим их лица по-разному — то веселыми, то печальными, то восторженными, то чем-то озабоченными, но Есенин с первой встречи до последнего дня передо мной всплывает из прошлого всегда улыбающийся, веселый, с искорками хитринок в глазах; оживленный, без единой морщинки грусти, простой, до предела искренний, доброжелательный.

Мы говорили с Есениным обо всем, что нас волновало тогда, но ни разу ни о «школе имажинистов», в которую входили, ни о теории имажинизма. Тогда в голову не приходила мысль анализировать все это. Но теперь я понимаю, что это было очень характерно для Есенина, ибо весь имажинизм был «кабинетной затеей», Есенину было тесно в любом самом обширном кабинете. Мне кажется, что мы были похожи тогда на авгуров, кото-

рые понимали друг друга без слов. Но дружба с Есениным не помешала мне выйти из группы имажинистов, о чем я сообщил в письме в редакцию, которое было опубликовано 12 марта 1919 года в «Известиях ВЦИК» (№ 58). Это было вызвано тем, что я не соглашался со взглядами Мариенгофа и Шершеневича на творчество Маяковского, которое очень ценил.

Мой разрыв с имажинистами совершенно не повлиял на дружеские отношения с Есениным, мы продолжали встречаться не менее часто.

...Новая моя встреча с Есениным <и Мариенгофом> произошла в конце ноября 1920 года...

Как всегда бывает при первой встрече после долгой разлуки, посыпались вопросы, ответы невпопад, веселая неразбериха.

После окончания вечера они повели меня к себе, и мы до рассвета пили чай и говорили, говорили без конца обо всем, что тогда нас интересовало. Я вкратце рассказал им мои странствия, похожие на страницы из приключенческого романа, они — про свои литературные дела, про свое издательство и свой книжный магазин на Никитской улице, который обещали мне показать завтра же.

И вот на другой день я увидел своими глазами этот знаменитый в то время «книжный магазин имажинистов» на Большой Никитской улице во всем его великолепии. Он был почти всегда переполнен покупателями, торговля шла бойко. Продавались новые издания имажинистов, а в букинистическом отделе — старые книги дореволюционных изданий.

Есенин и Мариенгоф не всегда стояли за прилавками (было еще несколько служащих), но всегда находились в помещении. Во втором этаже была еще одна комната, обставленная, как салон, с большим круглым столом, диваном и мягкой мебелью. Называлась она «кабинетом дирекции».

Как-то раз, когда я зашел в магазин, Есенин встретил меня особенно радостно. Он подошел ко мне сияющий, возбужденный и, схватив за руку, повел по винтовой лестнице во второй этаж, в «кабинет дирекции». По дороге сказал:

— Новое стихотворение, только что написал. Сейчас прочту.

Усадив меня в кресло, он, стоя передо мной, прочел, не заглядывая в листок бумаги, который держал в руке, «Песнь о хлебе», делая особенное ударение на строках:

Режет серп тяжелые колосья,
Как под горло режут лебедей.

Но я забежал вперед. Это было позже. А в первый день моего знакомства с магазином он с явным удовольствием показывал мне помещение с таким видом, как будто я был покупатель, но не книг, а всего магазина.

Мариенгоф в то время стоял за прилавком и издали посылал улыбки, как бы говоря: «Вот видишь, поэт за прилавком!»

После долгой разлуки, при встрече с Есениным и Мариенгофом, не было сказано ни одного слова о моем выходе из группы имажинистов. Радость встречи была так велика, что никому из нас не приходило в голову возвращаться к прошлому и обсуждать причины моего разрыва с имажинистами.

Разумеется, мы читали друг другу свои стихи. Мариенгоф любил только «острые блюда» в стихах. У Есенина был более широкий взгляд на искусство. Любовь к поэзии у Есенина была врожденной, если так можно выразиться. Он необычайно тонко чувствовал, когда стихотворение настоящее, идущее из глубины души, и когда оно «искусственное», надуманное.

Как талантливый композитор не может перенести не только фальшивой ноты, режущей ухо, но и «внутренней фальши», хорошо задрапированной высокой техникой, так и Есенин чувствовал, как никто, малейшее фальшивое звучание. С ним было очень легко и радостно не теоретизировать о стихах, а просто слушать его стихи и читать ему свои.

Однажды Есенин заговорил об издании моих стихов.

Есенин приступил к разговору сразу и неожиданно:

— А знаешь, хорошо бы издать твою книгу.

— Где?

— Как где? В нашем издательстве.

— Но я же... не имажинист. Я вышел из группы.

— Это ничего не значит. Издадим — и все.

Это предложение застало меня врасплох. Я совершенно не думал об издании книги в издательстве имажинистов, тем более что вел уже переговоры с Госиздатом. Я сказал об этом Есенину.

— Улита едет, когда-то будет.

— Ты думаешь?

— Уверен. Пока они раскачаются, мы двадцать книг успеем выпустить.

— Не знаю, право, удобно ли это будет. Тебя и Мариенгофа я люблю не только как поэтов, но и как хороших друзей, но раз я вышел из группы имажинистов.

Есенин перебил меня:

— Все это чепуха. Вот Хлебников дал согласие, и мы его издаем.

Нет поэта, который не хотел бы издать свои стихи, но у меня все же было какое-то чувство неловкости. Я поделился своими сомнениями с Есениным.

— Стихи — главное,— сказал Есенин, ласково и лукаво улыбаясь.— Хорошие стихи всегда запомнят, а как они изданы и при каких обстоятельствах — скоро забудут.

Через несколько дней Есенин снова вернулся в этому разговору уже в присутствии Мариенгофа.

Мариенгоф поддержал его предложение с большой охотой, но только добавил:

— Рюрик должен снова войти в нашу группу.

Я запротестовал:

— Выйти, войти — это не серьезно. Да еще понадобится писать об этом какое-то письмо.

— Зачем официальщина? Напиши письмо, и не в газету, а нам: дорогие Сережа и Толя, я опять с вами. Вот и все.

Есенину это понравилось.

— Молодец, Толя! Просто и... неясно.

Оба рассмеялись, за ними и я.

Так совершилось мое «грехопадение». Я дал согласие.

Есенин рьяно взялся за подбор стихов. И «родилась» моя книга «Солнце во гробе» (название взято из древнерусской молитвы, о существовании которой знал Есенин). Фактически он был единственным редактором книги, причем, в отличие от многих редакторов, он только выбирал стихи, но ни разу не предлагал что-нибудь в них изменить — ни одной строчки, ни одного слова. Мариенгоф установил последовательность. Книга вышла в свет в издательстве имажинистов.

Вскоре в том же издательстве вышла вторая моя книга — «Четыре выстрела в четырех друзей» (опыт параллельной автобиографии). Идея этой книги зародилась у Есенина и была поддержана как Мариенгофом, так и Шершеневичем.

Книга «Солнце во гробе» еще печаталась, когда Есенину пришла в голову мысль устроить необыкновенный литературный вечер, на котором выступали бы поэты всех направлений. Мы долго обсуждали с ним этот вопрос вдвоем, потому что Мариенгоф был против устройства такого вечера «всеобщей поэзии». Он считал, что лучше устроить один «грандиозный вечер имажинистов, только имажинистов», но Есенин был непреклонен. Мариенгоф махнул рукой и сказал:

— Я, во всяком случае, не буду выступать на таком вечере.

На этом его оппозиция и закончилась, а Есенин и я начали вести переговоры с теми поэтами, которых мы считали нужным привлечь, независимо от школ и направлений. Я предложил назвать этот вечер «Россия в грозе и буре». Это название, на мой взгляд, оправдывало участие поэтов разных направлений.

Название Есенину очень понравилось. Поддержал он и мое намерение пригласить на вечер А. В. Луначарского. На другой день я пошел к Анатолию Васильевичу. Он одобрил нашу идею и охотно дал согласие произнести вступительную речь.

Через неделю-две состоялся этот интересный и своеобразный литературный вечер, афиша которого у меня сохранилась.

Р. Ивнев

Приехав в начале 1919 года в Москву, я решил зайти в издательство ВЦИК, чтобы повидаться с работавшим там Б. А. Тимофеевым.

Был яркий морозный денек. Москва тонула в сугробах. На улице попадалось много народу. Пестрели полушубки, солдатские шинели, шапки-ушанки, мешки. Плотно утоптанный снег звонко скрипел под ногами прохожих. Зеркальные стекла витрин на Тверской разрисовал мороз.

В издательство я попал к концу рабочего дня. Тимофеев сидел за своим секретарским столом и писал. Его студенческую шинель сменила кожаная куртка. В годы войны он работал в санитарном фронтовом отряде. Написал первый в русской литературе роман о мировой войне «Чаша скорбная». После февральского переворота ездил в Иркутск освобождать ссыльных революцио-

неров. Вернувшись в Москву, участвовал в октябрьских уличных боях.

После первых же приветственных слов Тимофеев протянул мне книгу в пестром ситцевом переплете:

— Это, брат, мы выпустили «Пролетарский сборник». Тут есть и твои стихи.

И послал меня получать гонорар. Из-за позднего времени денег мне не выдали, и Тимофеев повел меня к себе на квартиру. Дорогой сказал, что живет вместе с Гусевым-Оренбургским и Сергеем Есениным. На мои расспросы о Есенине ответил, что он нигде не служит и живет стихами.

В переулке, выходившем на Тверскую, мы вошли в подъезд большого дома и по лестнице поднялись наверх. На звонок дверь открылась, и я увидел Есенина. Это он и впустил нас в квартиру. Есенин сразу узнал меня, несмотря на мою кроличью шапку, валенки, башлык и короткую ватную тужурку, в которой я имел вид какого-то рекрута.

— Ты одеваешься под деревенского парня,— одобрительно сказал Есенин.

— А это что за крест у тебя на щеке? — спросил он о давнишнем шраме, будто впервые заметив его.

Сам он очень возмужал. Широкогрудый, стройный, с легким румянцем на щеках, он выглядел сильным и здоровым. Есенин показал мне свою комнату. В ней стояли койка, стул с горкой книг на сиденье. На стене я увидел нашитый на кусок голубого шелка парчовый восьмиконечный крест. Служил ли он простым украшением или выполнял другое назначение, я не спрашивал.

Тогдашние стихи Есенина были насыщены церковными словами. Он пользовался ими для того, чтобы говорить о революции. Тут были и Голгофа, и крест, и многое другое. Скоро в стихах Есенина появились иные метафоры, и, может быть, крест на стене был последним его увлечением церковностью.

Тимофеев оставил нас вдвоем. Мы вспомнили знакомых поэтов. Я спросил о Сергее Клычкове. Есенин сообщил, что с Клычковым жил в одной комнате. Рассказал о приезжавшем в Москву Николае Колоколове. Он находился теперь в родном селе, откуда я иногда получал от него письма с новыми стихами.

Я напомнил Есенину о его юношеской повести «Яр», печатавшейся в 1916 году в журнале «Северные записки». Мне хотелось спросить Есенина, откуда он так хорошо

знает жизнь леса и его обитателей? Но Есенин только рукой махнул и сказал, что считает повесть неудачной и решил за прозу больше не браться.

— Читать люблю больше прозу, а писать — стихи.

— Что же ты сейчас читаешь?

— Моление Даниила Заточника.

Разговор перешел на Иваново, на мои дела.

— Говорят, что ты ругал меня в ивановской газете? — спросил Есенин.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю вот.

Оказалось, что в Иванове живут родственники жены Есенина, от них он и узнал о моих писаниях в «Рабочем крае». В рецензии на «Голубень» я писал, что строчка: «Смерть в потемках точит бритву» — вызывает у меня представление о парикмахерской. Впрочем, должно быть, моя критика не задела Есенина.

— А кто это у вас написал на меня пародию? — спросил он.

Автором пародии был тоже я.

— А ну, почитай!

Я начал:

Слава в вышних богу,
Деньгам на земле!
Стало понемногу
Туже в кошеле.

Есенин обиженно перебил:

— Неужели ты думаешь, что я пишу из-за денег?

Я продолжал:

Разве я Есенин?
Я — пророк Илья.
Стих мой драгоценен.
Молодчина я!

Читая, чувствовал, что моей пародии не хватает остроты.

Во время чтения в прихожей раздался звонок. К Есенину пришел гость, поэт Анатолий Мариенгоф.

По просьбе Есенина я еще раз прочитал пародию. Прослушав ее, Мариенгоф сказал:

— Нет, Сережа, трудно тебя пародировать. Ты — сам на себя пародия.

Он звал Есенина в кафе, где по вечерам поэты выступали со стихами. Есенин сначала было согласился, но потом раздумал:

— Лучше я посижу сегодня дома, поработаю.

Мариенгоф ушел. Стемнело. Включили свет.

Есенин сидел за столом и готовил для издательства ВЦИК сборник стихов. Он наклеивал страницы своих прежних книжек на чистые бумажные полосы и складывал их в стопку.

Работа спорилась. Я смотрел, как Есенин с угла на угол проводит кисточкой с клеем по изнанке страницы и, наложив мокрый листок на чистую бумагу, разглаживает его ладонью.

Он хотел дать новому сборнику длинное стилизованное название: «Слово о русской земле» и еще как-то дальше.

Покончив с работой, Есенин взял лежавшую на столе книжку. Это был сборник стихов Н. Клюева «Медный кит». Он прочел первые попавшиеся на глаза строки:

Низкая, деревенская заря,—
Лен с берестой и с воском солома.
Здесь все стоит за царя
Из Давидова красного дома.

Есенин усмехнулся:

— Ах, Николаша! Никак он не может обойтись без царя!

Закрыв книжку, он заговорил о том, что теперь, после революции, нельзя писать по-старому. О новом нужно говорить новыми словами.

— Вот и Клычков пробует писать по-новому,— сказал Есенин.

Д. Семеновский

Знакомство мое с Есениным произошло уже в Москве, зимой 1919 года, в «Кафе поэтов» на Тверской. Вспоминается причудливая роспись стен, фантастические рисунки, карикатуры. Строчки стихов Есенина, Мариенгофа и Шершеневича огромными ковыляющими буквами разбежались до самого потолка. У эстрады покачиваются разноцветные фонарики. В программе вечера выступление поэтов. Один за другим поднимаются на эстраду поэты и поэтессы и читают, читают...

Объявляется выступление Есенина. Вот он на эстраде. Такой же, как и при первой встрече: вихрастые волосы, светлые и пушистые, будто хорошо расчесанный лен, голубые с веселым огоньком глаза. Одет хорошо и тщательно. Читает мастерски, с налетом как бы колдовства или заклинания. Характерно выкидывает руку вперед, словно сообщаясь ею со слушателями. Стихи произво-

дят сильное впечатление, ему горячо и дружно рукоплещут. Сходит с эстрады как бы довольный успехом. Кто-то знакомит меня с ним.

— Владимир Кириллов? Как же, знаю, читал...

Садимся за столик и разговариваем весело и непринужденно, словно давние друзья. Вспомнили о поэте Клюеве, нашем общем знакомом и друге. Есенин рассказал о некоторых встречах с Клюевым. Долго и весело смеялись. Я сказал Есенину:

— Мне кажется, что Клюев оказал на тебя некоторое влияние?

— Может быть, вначале, а теперь я далек от него — он весь в прошлом.

Другой раз, придя в кафе, я увидел Есенина выступающим на эстраде вместе с Мариенгофом и Шершеневичем. Они втроем (коллективная декламация) читали нечто вроде гимна имажинистов. Читали с жаром и пафосом, как бы бросая кому-то вызов. Я запомнил строчки из этого гимна:

Три знаменитых поэта
Бьют в тарелки лун...

Было обидно за Есенина: зачем ему эта реклама?

Хорошо помню Есенина в пору его увлечения имажинизмом. Имажинизм в то время расцветал тепличным, но довольно пышным цветком. Десятки поэтов и поэтесс были увлечены этим модным направлением. Есенин с видом молодого пророка горячо и вдохновенно доказывал мне незыблемость и вечность теоретических основ имажинизма.

— Ты понимаешь, какая великая вещь и-мажи-низм! Слова стерлись, как старые монеты, они потеряли свою первородную поэтическую силу. Создавать новые слова мы не можем. Словотворчество и заумный язык — это чепуха. Но мы нашли способ оживить мертвые слова, заключая их в яркие поэтические образы. Это создали мы, имажинисты. Мы изобретатели нового. Если ты не пойдешь с нами — крышка, деваться некуда.

Я оставался равнодушен к его проповеди,— наоборот, говорил ему, что рано или поздно он тоже уйдет от имажинизма. Мне казалось, что лучшее в Есенине — простой, русский песенный лиризм, а имажинизм, «Кобыльи корабли» и пр.— это тот же жест, необходимый, как «скандал» для молодого таланта.

В. Кириллов

Все это происходило в ту осеннюю пору 1919 года, когда Союз поэтов решил приспособить свое помещение под клуб. Союз находился в бывшем кафе «Домино» на Тверской улице (ныне Горького) дом № 18, напротив улицы Белинского (бывший Долгоруковский переулок). После Октябрьской революции владелец кафе «Домино» эмигрировал за границу, и беспризорное помещение отдали Союзу поэтов.

Переделка под клуб состояла в небольшой перестройке вестибюля и украшении росписью стен первого зала, отделенного от второго аркой. Занимался этим молодой задорный художник Юрий Анненков, стилизуя все под гротеск, лубок, а иногда отступая от того и другого. Например, на стене, слева от арки, была повешена пустая, найденная в сарае бывшего владельца «Домино» птичья клетка. Далее произошло невероятное: первый председатель союза Василий Каменский приобрел за продукты новые брюки, надел их, а старые оставил в кафе. В честь него эти черные с заплатами на заду штаны приколотили гвоздями рядом с клеткой. На кухне валялась плетеная корзина из-под сотни яиц, кто-то оторвал крышку и дал Анненкову. Он прибил эту крышку на брюки Василия Васильевича наискосок. Под этим «шедевром» белыми буквами были выведены строки:

Будем помнить Стеньку,
Мы от Стеньки Стеньки кость.
И пока горяч — кистень куй,
Чтоб звенела молодость!!!

Далее вдоль стены шли гротесковые рисунки, иллюстрирующие дву- и четверостишия поэтов А. Блока, Андрея Белого, В. Брюсова, имажинистов. Под красной лодкой были крупно выведены строки Есенина:

Веслами отрубленных рук
Вы гребетесь в страну грядущего.

В клубе была доступная для всех членов союза эстрада. Редкий литературный вечер обходился без выступления начинающих или старых поэтов.

Присматриваясь к членам союза и прислушиваясь к их читаемым с эстрады стихам, я решил попытать счастья. Я взял с собой номера журнала «Свободный час» с моими напечатанными опусами, шесть стихотворений, на основании которых я был принят в члены «Дворца искусств», помеченный Ю. Айхенвальдом стишок и стихотворение «Странники», которое похвалили в

литературно-художественной «Среде» (председательствовал Ю. А. Бунин). Я отправился в союз к дежурному члену президиума Василию Каменскому и сказал, что хочу вступить в союз, да побаиваюсь. Он засмеялся и ответил, что ничего не может сказать, пока не прочтет мои стихи. Я вынул из кармана мой поэтический багаж и подал ему. Он прочитал, сказал, что поддержит мою кандидатуру, предложил написать заявление и заполнить анкету.

Спустя неделю я пошел в Союз поэтов, чтобы узнать, рассмотрели ли мое заявление. Я открыл дверь президиума, за столом сидел Есенин, а перед ним лежала какая-то напечатанная на машинке бумага.

— Заходи! Заходи! — воскликнул он.

Я поздоровался и объяснил, зачем пришел. Он — в то время член правления союза — сказал, что в союз я принят, и добавил:

— Ты что же это, плохие стихи показал, а хорошее скрыл.

— А какое хорошее?

— «Странники»!

— Я задумал учредить литературное общество,— сказал Есенин,— и хочу привлечь тебя.— Он дал мне напечатанную бумагу.— Читай!

Это был устав «Ассоциации вольнодумцев в Москве». Там было сказано: «Ассоциация» ставит целью «духовное и экономическое объединение свободных мыслителей и художников, творящих в духе мировой революции» и ведущих самое широкое распространение «творческих идей революционной мысли и революционного искусства человечества путем устного и печатного слова». Действительными членами «Ассоциации» могли быть «мыслители и художники, как-то: поэты, беллетристы, композиторы, режиссеры театра, живописцы и скульпторы».

Далее в уставе — очень характерном для того времени — приводился обычный для такого рода организаций порядок созыва общего собрания, выбора совета «Ассоциации», который позднее стал именоваться правлением, а также поступление средств «Ассоциации», складывающихся из доходов от лекций, концертов, митингов, изданий книг и журналов, работы столовой и т. п.

Под уставом стояли несколько подписей: Д. И. Марьянов, Я. Г. Блюмкин, Мариенгоф, А. Сахаров, Ив. Старцев, В. Шершеневич. Впоследствии устав еще подписали М. Герасимов, А. Силин, Колобов, Марк Криницкий.

— Прочитал и подписывай! — заявил Есенин.

— Сергей Александрович! — заколебался я.— Я же только-только начинаю!

— Подписывай! — Он наклонился и, понизив голос, добавил: — Вопрос идет об издательстве, журнале, литературном кафе...

На уставе сбоку стояла подпись Шершеневича: «В. Шерш.». Я взял карандаш и тоже подписался пятью буквами.

— Это еще что такое? — сказал Есенин сердито.

— Я подписался, как Шершеневич.

— Раньше будь таким, как Шершеневич, а потом так же подписывайся.

Он стер мою подпись резинкой, и я вывел фамилию полностью.

24 октября 1919 года под этим уставом стояло:

«Подобные общества в Советской России в утверждении не нуждаются. Во всяком случае, целям Ассоциации я сочувствую и отдельную печать разрешаю иметь.

Народный комиссар по просвещению:

А. Луначарский.

Однажды, проходя по Страстному бульвару, я увидел, как Есенин слушает песенку беспризорного, которому можно было дать на вид и пятнадцать лет, и девять — так было измазано сажей его лицо. В ватнике с чужого плеча, внизу словно обгрызанном собаками, разодранном на спине, с торчащими белыми клочьями ваты, а кой-где просвечивающим голым посиневшим телом,— беспризорный, аккомпанируя себе деревянными ложками, пел простуженным голосом:

Позабыт, позаброшен.
С молодых юных лет
Я остался сиротою,
Счастья-доли мне нет!

Сергей не сводил глаз с несчастного мальчика, а многие узнали Есенина и смотрели на него. Лицо поэта было сурово, брови нахмурены. А беспризорный продолжал:

Эх, умру я, умру я,
Похоронят меня,
И никто не узнает,
Где могилка моя.

Откинув полу своего ватника, приподняв левую, в запекшихся ссадинах ногу, он стал на коленке глухо

выбивать деревянными ложками дробь. Есенин полез в боковой карман пальто за носовым платком, вынул его, а вместе с ним вытащил кожаную перчатку, она упала на мокрый песок. Он вытер платком губы, провел им по лбу. Кто-то поднял перчатку, подал ему, Сергей молча взял ее, положил в карман.

И никто на могилку
На мою не придет,
Только ранней весною
Соловей пропоет.

Спрятав ложки в глубокую прореху ватника, беспризорный с протянутой рукой стал обходить слушателей. Некоторые давали деньги, вынимали из сумочек кусочек обмылка, горсть пшена, щепотку соли, и все это исчезало под ватником беспризорного, очевидно, в подвешенном мешочке. Есенин вынул пачку керенок и сунул в руку мальчишке. Тот поглядел на бумажки, потом на Сергея:

— Спасибо, дяденька! Еще спеть?

— Не надо.

Я шел с рюкзаком за спиной, где лежал паек, полученный в Главном Воздушном Флоте, и вспомнил, что там есть довесок от ржаной буханки. Я снял рюкзак, поставил на покрытую снегом скамейку, раскрыл и дал этот кусок беспризорному. Он схватил его обеими руками, стал рвать зубами большие мягкие куски и, почти не жуя, глотать их.

Я завязал рюкзак, вскинул за спину и подошел к Есенину. Мы поздоровались и зашагали по бульвару молча.

Когда мы стали спускаться вниз по Тверской, Есенин сказал, что завтра открытие кафе «Стойло Пегаса», и пригласил меня в три часа прийти на обед. Будут все имажинисты и члены «Ассоциации вольнодумцев».

«Стойло Пегаса» находилось на Тверской улице, дом № 37 (приблизительно там, где теперь на улице Горького кафе «Мороженое», дом № 17). Раньше в этом же помещении было кафе «Бом», которое посещали главным образом литераторы, артисты, художники. Кафе принадлежало одному из популярных музыкальных клоунов-эксцентриков «Бим-Бом» (Радунский — Станевский). Говорили, что это кафе подарила Бому (Станевскому), после Октябрьской революции уехавшему в Польшу, его богатая поклонница Сиротинина, и оно было оборудова-

но по последнему слову техники и стиля того времени. Когда оно перешло к имажинистам, там не нужно было ничего ремонтировать и ничего приобретать из мебели и кухонной утвари.

Для того чтобы придать «Стойлу» эффектный вид, известный художник-имажинист Георгий Якулов нарисовал на вывеске скачущего «Пегаса» и вывел название буквами, которые как бы летели за ним. Он же с помощью своих учеников выкрасил стены кафе в ультрамариновый цвет, а на них яркими желтыми красками набросал портреты его соратников-имажинистов и цитаты из написанных ими стихов. Между двух зеркал было намечено контурами лицо Есенина с золотистым пухом волос, а под ним выведено:

Срежет мудрый садовник осень
Головы моей желтый лист.

Слева от зеркала были изображены нагие женщины с глазом в середине живота, а под этим рисунком шли есенинские строки:

Посмотрите: у женщин третий
Вылупляется глаз из пупа.

Справа от другого зеркала глядел человек в цилиндре, в котором можно было признать Мариенгофа, ударяющего кулаком в желтый круг. Этот рисунок поясняли его стихи:

В солнце кулаком бац!
А вы там,— каждый собачьей шерсти блоха,
Ползайте, собирайте осколки
Разбитой клизмы.

В углу можно было разглядеть, пожалуй, наиболее удачный портрет Шершеневича и намеченный пунктиром забор, где было написано:

И похабную надпись заборную
Обращаю в священный псалом.

Через год на верху стены, над эстрадой крупными белыми буквами были выведены стихи Есенина:

Плюйся, ветер, охапками листьев,—
Я такой же, как ты, хулиган!

Я пришел в «Стойло» немного раньше назначенного часа и увидел Георгия Якулова, принимающего работы своих учеников.

Георгий Богданович в 1919 году расписывал стены кафе «Питтореск», вскоре переименованного в «Красный

петух», что, впрочем, не помешало этому учреждению прогореть. В этом кафе выступали поэты, артисты, художники, и там Есенин познакомился с Якуловым. Георгий Богданович был очень талантливый художник левого направления: в 1925 году на Парижской выставке декоративных работ Якулов получил почетный диплом за памятник 26 бакинским комиссарам и Гран При за декорации к «Жирофле-Жирофля» (Камерный театр).

Якулов был в ярко-красном плюшевом фраке (постоянно он одевался в штатский костюм с брюками галифе, вправленными в желтые краги, чем напоминал наездника). Поздоровавшись со мной, он, продолжая давать указания своим расписывающим стены «Стойла» ученикам, с места в карьер стал бранить пожарную охрану, запретившую повесить под потолком фонари и транспарант.

Вскоре в «Стойло» стали собираться приглашенные поэты, художники, писатели. Со многими из них я познакомился в клубе Союзе поэтов, с остальными — здесь. Есенин был необычайно жизнерадостен, подсаживался то к одному, то к другому. Потом первый поднял бокал шампанского за членов «Ассоциации вольнодумцев», говорил о ее культурной роли, призывая всех завоевать первые позиции в искусстве. После него, по обыкновению, с блеском выступил Шершеневич, предлагая тост за образоносцев, за образ. И скаламбурил: «Поэзия без образа — безобразие».

Наконец Есенин заявил, что он просит «приступить к скромной трапезе». Официантки (в отличие от клуба Союза поэтов, где работали только официанты, в «Стойле» был исключительно женский персонал) начали обносить гостей закусками. Многие стали просить Сергея почитать стихи. Читал он с поразительной теплотой, словно выкладывая все, что наболело на душе. Особенно потрясло стихотворение:

Душа грустит о небесах,
Она нездешних нив жилица...

20 февраля 1920 года состоялось первое заседание «Ассоциации вольнодумцев». Есенин единогласно был выбран председателем, я — секретарем, и мы исполняли эти обязанности до последнего дня существования организации. На этом заседании постановили издавать два журнала: один — тонкий, ведать которым будет Мариенгоф; другой толстый, редактировать который станет Есе-

нин. Вопрос о типографии для журналов, о бумаге, о гонорарах для сотрудников решили обсудить на ближайшем заседании. Тут же были утверждены членами «Ассоциации», по предложению Есенина — скульптор С. Т. Коненков, режиссер В. Э. Мейерхольд; по предложению Мариенгофа — режиссер А. Таиров; Шершеневич пытался провести в члены «Ассоциации» артиста Камерного театра О., читавшего стихи имажинистов, но его кандидатуру отклонили.

М. Ройзман

Идем по Харькову — Есенин в меховой куртке, я в пальто тяжелого английского драпа, а по Сумской молодые люди щеголяют в одних пиджачках.

В руках у Есенина записочка с адресом Льва Осиповича Повицкого — большого его приятеля.

В восемнадцатом году Повицкий жил в Туле у брата на пивоваренном заводе. Есенин с Сергеем Клычковым гостили у них изрядное время.

Часто потом вспоминали они об этом гощенье, и всегда радостно.

А Повицкому Есенин писал дурашливые письма с такими стихами Крученыха:

Утомилась, долго бегая,
Мóя ворохи пеленок.
Слышит, кто-то, как цыпленок,
Тонко, жалобно пищит:
    пить, пить —
Прислонивши локоток,
Видит, в небе без порток
Скачет, пляшет мил дружок.

У Повицкого же рассчитывали найти и в Харькове кровать и угол.

Спрашиваем у всех встречных:

— Как пройти?

Чистильщик сапог наяривает кому-то полоской бархата на хромовом носке ботинка сногсшибательный глянец.

— Пойду, Анатолий, узнаю у щеголя дорогу.

— Поди.

— Скажите, пожалуйста, товарищ...

Товарищ на голос оборачивается и, оставив чистильщика с повисшей недоуменно в воздухе полоской бархата, бросается с раскрытыми объятиями к Есенину:

— Сережа!

— А мы тебя, разэнтакий, ищем. Познакомьтесь: Мариенгоф — Повицкий.

Повицкий подхватил нас под руки и потащил к своим друзьям, обещая гостеприимство и любовь. Сам он тоже у кого-то ютился.

Миновали уличку, скосили два-три переулка.

— Ну ты, Лев Осипович, ступай вперед и попроси. Обрадуются — кличь нас, а если не очень — повернем оглобли.

Не прошло и минуты, как навстречу нам выпорхнуло с писком и визгом штук шесть девиц.

Повицкий был доволен:

— Что я говорил? А?

Из огромной столовой вытащили обеденный стол и вместо него двуспальный волосяной матрац поставили на пол.

Было похоже, что знают они нас каждого лет по десять, что давным-давно ожидали приезда, что матрац для того только и припасен, а столовая для этого именно предназначена.

Есть же ведь на свете теплые люди.

От Москвы до Харькова ехали суток восемь — по ночам в очередь топили печь, когда спали, под кость на бедре подкладывали ладонь, чтоб было помягче.

Девицы стали укладывать нас «почивать» в девятом часу, а мы и для приличия не противились. Словно в подкованный, тяжелый, солдатский сапог усталость обула веки.

Как уснули на правом боку, так и проснулись на нем (ни разу за ночь не перевернувшись) в первом часу дня.

Все шесть девиц ходили на цыпочках.

В темный занавес горячей ладонью уперлось весеннее солнце.

Есенин лежал ко мне затылком.

Я стал мохрявить его волосы.

— Чего роешься?

— Эх, Вятка, плохо твое дело. На макушке плешинка в серебряный пятачок.

— Что ты?

И стал ловить серебряный пятачок двумя зеркалами, одно наводя на другое.

Любили мы в ту крепкую и тугую юность потолковать о неподходящих вещах — выдумывали январский

иней в волосах, несуществующие серебряные пятачки, осеннюю прохладу в густой горячей крови.

Есенин отложил зеркала и потянулся к карандашу.

Сердцу, как и языку, приятна нежная, хрупкая горечь.

Прямо в кровати, с маху, почти набело (что случалось редко и было не в его тогдашних правилах) написал трогательное лирическое стихотворение.

Через час за завтраком он уже читал благоговейно внимавшим девицам:

По-осеннему кычет сова
Над раздольем дорожной рани.
Облетает моя голова,
Куст волос золотистый вянет.

Полевое, степное «ку-гу»,
Здравствуй, мать голубая осина!
Скоро месяц, купаясь в снегу,
Сядет в редкие кудри сына.

Скоро мне без листвы холодеть,
Звоном звезд насыпая уши.
Без меня будут юноши петь,
Не меня будут старцы слушать.

Из Харькова вернулись в Москву не надолго.

В середине лета «Почем соль» получил командировку на Кавказ.

— И мы с тобой.

— Собирай чемоданы.

Отдельный маленький белый вагон туркестанских дорог. У нас двухместное мягкое купе. Во всем вагоне четыре человека и проводник.

Секретарем у «Почем соли» мой однокашник по Нижегородскому дворянскому институту Василий Гастев. Малый такой, что на ходу подметки режет.

Гастев в полной походной форме, вплоть до полевого бинокля. Какие-то невероятные нашивки у него на обшлаге. «Почем соль» железнодорожный свой чин приравнивает чуть ли не к командующему армией, а Гастев — скромно к командиру полка. Когда является он к дежурному по станции и, нервно постукивая ногтем о желтую кобуру нагана, требует прицепки нашего вагона «вне всякой очереди», у дежурного трясутся поджилки:

— Слушаюсь, с первым отходящим...

С таким секретарем совершаем путь до Ростова мол-

ниеносно. Это означает, что вместо полагающихся по тому времени пятнадцати — двадцати дней мы выскакиваем из вагона на Ростовском вокзале на пятые сутки.

Одновременно Гастев и... администратор наших лекций.

Мы с Есениным читаем в Ростове, в Таганроге. В Новочеркасске после громовой статьи местной газеты, за несколько часов до начала, лекция запрещается.

На этот раз не спасает ни желтая гастевская кобура, ни карта местности на полевой сумке, ни цейсовский бинокль.

Газета сообщила неправдоподобнейшую историю имажинизма, «рокамболические» наши биографии и, под конец, ехидно намекнула о таинственном отдельном вагоне, в котором разъезжают молодые люди, и о боевом администраторе, украшенном ромбами и красной звездой.

С «Почем солью» после такой статьи стало скверно.

Отдав распоряжение «отбыть с первым отходящим», он, переодевшись в чистые исподники и рубаху, лег в своем купе — умирать.

Мы лежали в своем купе. Есенин, уткнувшись во флоберовскую «Мадам Бовари». Некоторые страницы, особенно его восторгавшие, читал вслух.

В хвосте поезда вдруг весело загалдели. От вагона к вагону пошел галдеж по всему составу.

Мы высунулись из окна.

По степи, вперегонки с нашим поездом, лупил обалдевший от страха перед паровозом рыжий тоненький жеребенок.

Зрелище было трогательное. Надрываясь от крика, размахивая штанами и крутя кудлатой своей золотой головой, Есенин подбадривал и подгонял скакуна. Версты две железный и живой конь бежали вровень. Потом четвероногий стал отставать, и мы потеряли его из виду.

Есенин ходил сам не свой.

А в прогоне от Минеральных до Баку Есениным написана лучшая из его поэм — «Сорокоуст». Жеребенок, пустившийся в тягу с нашим поездом, запечатлен в образе, полном значимости и лирики, глубоко волнующей.

В Дербенте наш проводник, набирая воду в колодце, упустил ведро.

Есенин и его использовал в обращении к железному гостю в «Сорокоусте»:

Жаль, что в детстве тебя не пришлось
Утопить, как ведро в колодце.

В Петровском Порту стоял целый состав малярийных больных. Нам пришлось видеть припадки, поистине ужасные. Люди прыгали на своих досках, как резиновые мячи, скрежетали зубами, обливались потом, то ледяным, то дымящимся, как кипяток.

В «Сорокоусте»:

Се изб древенчатый живот
Трясет стальная лихорадка!

На обратном пути в Пятигорске мы узнали о неладах в Москве; будто согласно какому-то распоряжению прикрыты и наша книжная лавка, и «Стойло Пегаса», и книги не вышли, об издании которых договорились с Кожебаткиным на компанейских началах.

У меня тропическая лихорадка — лежу пластом. Есенин уезжает в Москву один, с красноармейским эшелоном.

А. Мариенгоф

1919 г.

Георгиевский пер., д. 7, квартира Быстрова.

Есенин увлекается Меем. Помню книжку Мея, в красной обложке, издание Маркса. Он выбирает лучшие, по его мнению, стихи Мея, читает мне. Утверждает, что у Мея чрезвычайно образный язык. Утверждает, что Мей имажинист.

По-видимому, увлечение Меем было у него непродолжительно. В дальнейшем он не возвращался к Мею, ни разу не упоминал о нем.

«Домино».

Комната правления Союза поэтов. Зимние сумерки. Густой табачный дым. Комната правления по соседству с кухней. Из кухни веет теплынью, доносятся запахи яств. Время военного коммунизма: пища и тепло приятны несказанно.

Беседуем с Есениным о литературе.

— Знаешь ли,— между прочим сказал Есенин,— я очень люблю Гебеля. Гебель оказал на меня большое влияние. Знаешь? Немецкий народный поэт...

— У немцев есть три поэта с очень похожими фамилиями, но с различными именами: Фридрих Геббель, Эмануэль Гейбель и, наконец, Иоганн Гебель — автор «Овсяного киселя».

— Вот. Этот самый Гебель, автор «Овсяного киселя», и оказал на меня влияние.

1920 г. Весна. Георгиевский пер., д. 7, квартира С. Ф. Быстрова.

Желтоватое тихое утро. Низенькая комнатка с маленькими окошками. Обстановка простенькая: стол, кровать, диван, в углу старый книжный шкафик. Есенин сидит за столом против окошка. Делает макет «Трерядницы». Наклеивает вырезки с напечатанными стихами в тетрадку, мелким почерком переписывает новые стихи на восьмушки писчей бумаги: каждая буковка отдельно. Буквы у него всегда отдельно одна от другой, но так как макет этот для типографии, то буквы еще дальше отстоят друг от друга, каждая буква живет своей собственной жизнью — не буквы, а букашки. Работает размеренно. Сосредоточен и молчалив. Озабочен работой. Напоминает сельского учителя, занятого исправлением детских тетрадок. Отдельные неприклеенные листики дает мне:

— Прочти и, если что заметишь, скажи!

Читаю поэму «Пантократор». Предлагаю переделать строку:

Полярный круг — на сбрую.

Спорим. Он не соглашается. Защищает строчку.

В стихотворении «О боже, боже, эта глубь...» предлагаю исправить строку:

В твой в синих рощах скит.

Ему нравится эта строка. Он решает оставить ее неприкосновенной.

Читаю «Кобыльи корабли», обращаю внимание Есенина на предпоследнюю строфу:

В сад зари лишь одна стезя,
Сгложет рощи октябрьский ветр.
Все познать, ничего не взять
В мир великий пришел поэт.

Спрашиваю:

— Куда следует отнести определение «великий» — к слову «мир» или к слову «поэт»?

Ничего не отвечает. Молча берет листик чистой бумаги, пересаживается на диван и, покачивая головою вправо и влево, исправляет строфу.

— Так лучше,— говорит через минуту и читает последнюю строчку строфы:

Пришел в этот мир поэт.

Утро. Вдвоем. Есенин читает драматический отрывок. Действующие лица: Иван IV, митрополит Филипп,

монахи и, кажется, опричники. Диалоги Ивана IV и Филиппа. Зарисовка фигур Ивана IV и Филиппа близка к характеристике, сделанной Карамзиным в его «Истории государства Российского». Иван IV и Филипп, если мне не изменяет память, говорят пятистопным ямбом. Два других действующих лица, кажется, монахи, в диалогах описывают тихую лунную ночь. Их речи полны тончайшего лиризма: Есенин из «Радуницы» и «Голубени» изъясняется из них обоих. В дальнейшем, приблизительно через год, Есенин в «Пугачеве» точно так же описывает устами своих героев бурную дождливую ночь. Не знаю, сохранился ли этот драматический опыт Есенина.

1920 г.

Ночь. Шатаемся по улицам Москвы. С нами два-три знакомых поэта. Переходим Страстную площадь.

— Я не буду литератором. Я не хочу быть литератором. Я буду только поэтом.

Есенин утверждал это спустя четыре года после выхода в свет его повести «Яр», напечатанной в «Северных записках» в 1916 году. Он никогда не говорил о своей повести, скрывал свое авторство. По-видимому, повесть его не удовлетворяла: в прозе он чувствовал себя слабым, слабее, чем в стихах. В дальнейшем он обратился исключительно к стихотворной форме: лирика, поэма, драма, повесть в стихах.

В том же году, после выхода в свет «Ключей Марии», в кафе «Домино» он спрашивает: хорошо ли написана им теория искусства? Нравятся ли мне «Ключи Марии»?

Почему-то не было времени разбираться в его теории искусства по существу, и я ответил, что книжку следовало бы разделить на маленькие главы.

«Домино». Хлопают двери. Шныряют официанты. Поэтессы. Актеры. Актрисы. Люди неопределенных занятий. Поэты шляются целыми оравами.

У открытой двери в комнату правления Союза поэтов Есенин и Осип Мандельштам. Ощетинившийся Есенин, стоя вполуоборот к Мандельштаму:

— Вы плохой поэт! Вы плохо владеете формой! У вас глагольные рифмы!

Мандельштам возражает. Пыжится. Красный от возмущения и негодования.

Осень. «Домино».

В кафе «Домино» два больших зала: в одном зале эстрада и столики для публики, в другом только столики. Эти столики для поэтов. В первый год существования кафе залы разделялись огромным занавесом. Обычно во время исполнения программы невыступающие поэты смотрели на эстраду, занимая проход между двумя залами.

В глубине, за вторым залом, комната правления Союза поэтов.

Есенин только что вернулся в Москву из поездки на Кавказ. У него новая поэма «Сорокоуст». Сидим с ним за столиком во втором зале кафе. Вдруг он прерывает разговор:

— Помолчим несколько минут, я подумаю, я приготовлю речь.

Чтобы дать ему возможность приготовиться к выступлению, я ушел в комнату правления Союза поэтов. Явился Валерий Брюсов.

Через две-три минуты Есенин на эстраде.

Обычный литературный вечер. Человек сто посетителей: поэты и тайнопишущие. В ту эпоху, в кафейный период литературы, каждый день неукоснительно поэты и тайнопишущие посещали «Домино» или «Стойло Пегаса». Они-то и составляли неизменный контингент слушателей стихов. Другая публика приходила в кафе позже — ради скандалов.

На этом вечере была своя поэтическая аудитория. Слушатели сидели скромно. Большинство из них жило впроголодь; расположились на стульях, расставленных рядами, и за пустыми столиками.

Есенин нервно ходил по подмосткам эстрады. Жаловался, горячился, распекал, ругался: он первый, он самый лучший поэт в России, кто-то ему мешает, кто-то его не признает. Затем громко читал «Сорокоуст». Так громко, что проходящие по Тверской могли слышать его поэму.

По-видимому, он ожидал протестов со стороны слушателей, недовольных возгласов, воплей негодования. Ничего подобного не случилось: присутствующие спокойно выслушали его бурную речь и не менее бурную поэму.

Во время выступления Есенина я все время находился во втором зале кафе. После выступления он пришел туда же. Он чувствовал себя неловко: ожидал борьбы и вдруг... никто не протестует.

— Рожаете, Сергей Александрович? — улыбаясь, спрашивает Валерий Брюсов.

Улыбка у Брюсова напряженная: старается с официального тона перейти на искренний и ласковый тон.

— Да,— отвечает Есенин невнятно.

— Рожайте, рожайте! — ласково продолжает Брюсов.

В этой ласковости Брюсова чувствовалось одобрение и поощрение метра по отношению к молодому поэту.

В этой ласковости Брюсова была какая-то неестественность. Брюсов для Есенина был всегда посторонним. Они были чужды друг другу, между ними никогда не было близости. «Сорокоуст» был первым произведением, которое Брюсов хорошо встретил.

На улицах Москвы желтые, из оберточной бумаги, афиши:

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
(Б. Никитская)

В четверг, 4-го ноября с. г.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ
«СУД НАД ИМАЖИНИСТАМИ»

Литературный обвинитель . . .	*Валерий Брюсов*
Подсудимые имажинисты	*И. Грузинов, С. Есенин, А. Кусиков, А. Мариенгоф, В. Шершеневич*
Гражданский истец	*И. А. Аксенов*
Свидетели со стороны обвинения	*Адалис, С. Буданцев, Т. Левит*
Свидетели со стороны защиты	*Н. Эрдман, Ф. Жиц*

12 судей из публики

Начало в $7^1/_2$ час. вечера

Билеты продаются — Зал Консерватории, ежедневно от 11 до 5 час. Театральная касса РТО (Петровка, 5), а в день лекции при входе в зал

Суд над имажинистами — это один из самых веселых литературных вечеров.

Валерий Брюсов обвинял имажинистов как лиц, составивших тайное сообщество с целью ниспровержения существующего литературного строя в России.

Группа молодых поэтов, именующих себя имажинистами, по мнению Брюсова, произвела на существующий литературный строй покушение с негодными средствами, взяв за основу поэтического творчества образ, по преимуществу метафору. Метафора же является частью целого: это только одна фигура или троп из нескольких десятков фигур словесного искусства, давно известных литературам цивилизованного человечества.

Главный пункт юмористического обвинения был сформулирован Брюсовым так: имажинисты своей теорией ввели в заблуждение многих начинающих поэтов и соблазнили некоторых маститых литераторов.

Один из свидетелей со стороны обвинения доказывал, что В. Шершеневич подражает В. Маяковскому, и, чтобы убедить в этом слушателей, цитировал параллельно Маяковского и Шершеневича.

Есенин в последнем слове подсудимого нападал на существующие литературные группировки — символистов, футуристов и в особенности на «Центрифугу», к которой причисляли в то время С. Боброва, Б. Пастернака и И. Аксенова. Последний был на литературном суде в качестве гражданского истца и выглядел в своей роли старшим милиционером.

Есенин, с широким жестом обращаясь в сторону Аксенова:

— Кто судит нас? Кто? Что сделал в литературе гражданский истец, этот тип, утонувший в бороде?

Выходка Есенина понравилась публике. Публика смеялась и аплодировала.

Через несколько дней после «Суда над имажинистами» ими был устроен в Политехническом музее «Суд над русской литературой».

Представителем от подсудимой русской литературы являлся Валерий Брюсов.

Есенин играл роль литературного обвинителя. Он приготовил обвинительную речь и читал ее по бумажке звонким высоким тенором.

По прочтении речи стал критиковать ближайших литературных врагов: футуристов.

На этот раз он, сверх ожидания, говорил удачно и быстро овладел аудиторией.

— Маяковский безграмотен! — начал Есенин.

При этом, как почти всегда, звук «г» он произносил по-рязански. «Яговал», как говорят о таком произношении московские мужики.

И от этого «ягования» подчеркивание безграмотности Маяковского приобретало невероятную четкость и выразительность. Оно вламывалось в уши слушателей, это резкое *згр*.

Затем он обратился к словотворчеству Велемира Хлебникова.

Доказывал, что словотворчество Хлебникова не имеет ничего общего с историей развития русского языка, что словотворчество Хлебникова произвольно и хаотично, что он не только не намечает нового пути для русской поэзии, а, наоборот: уничтожает возможность движения вперед. Впрочем, смягчающим вину обстоятельством был признан для Хлебникова тот факт, что он перешел в группу имажинистов: Хлебников в Харькове всенародно был помазан миром имажинизма.

Вечер. Идем по Тверской. Советская площадь. Есенин критикует Маяковского, высказывает о Маяковском крайне отрицательное мнение.

Я:

— Неужели ты не заметил ни одной хорошей строчки у Маяковского? Ведь даже у Тредьяковского находят прекрасные строки?

Есенин:

— Мне нравятся строки о глазах газет: «Ах, закройте, закройте глаза газет!»

И он вспоминает отрывки из двух стихотворений Маяковского о войне: «Мама и убитый немцами вечер» и «Война объявлена».

Читает несколько строк с особой, свойственной ему нежностью и грустью.

И. Грузинов

В конце лета 1920 года Сергей приехал домой. Это был самый длительный перерыв между его приездами в Константиново.

После бурных дней 1918 года у нас стало тихо, но как всегда после бури вода не сразу становится чистой, так и у людей еще много мутного было на душе. Прекратилась торговля, нет спичек, гвоздей, керосина, ниток, ситца. Живи, как хочешь. Все обносилось, а купить негде.

Здоровье отца пошатнулось крепко, душит астма. Он теперь не работает в учреждении, ухаживает за своей скотиной и делает все, что придется, по общественным делам.

За чаем Сергей спрашивает отца:

— Сколько надо присылать денег, чтобы вы по-человечески жили?

— Мы живем, как и все люди, спасибо за все, что присылал, если у тебя будет возможность, пришли сколько сможешь,— ответил отец.

Как на грех, привязался дождь. Вторые сутки хлещет как из ведра. После чая Сергей долго стоял у окна, по стеклу которого струилась дождевая вода. Потом он пошел к Поповым. Отца Ивана (священника) разбил паралич. Исчезли со стола медовые лепешки, замолкли песни, как вихрем унесло родных и гостей.

Дедушку Сергей застал на печке. Он хворает и ругает власть:

— Безбожники, это из-за них господь людей карает. Консомол распустили, озорничают они над богом, вот и живете, как кроты.

У Софроновых подряд умерли дед Вавила и дед Мысей. Мрут люди. У Ерофевны Ванятку убили на фронте. Тимоша Данилин тоже убит на фронте.

На другой день Сергей опять ходил к Поповым и долго беседовал с тетей Капой, она теперь сама топит печку и убирает по дому, но не унывает.

— Не все коту масленица, будет и великий пост. Вот мы и дожили до поста,— шутила она.— Никто из прежних людей у нас не бывает. Все друзья-приятели до черного дня. Тяжело сейчас всем, не до нас!

На третий день, перед отъездом, Сергей сказал мне, а скорее самому себе:

— Толя говорил, что я ничего не напишу здесь, а я написал стихотворение.

В этот приезд Сергей написал стихотворение «Я последний поэт деревни...».

После обеда я пошла с отцом провожать Сергея на пароход. Шли подгорьем, вдоль берега Оки. Прыгая через лужи, мы смеялись. День прояснился, и на душе стало светло...

Вскоре после отъезда Сергея и я распрощалась с Константиновом. Сергей взял меня к себе в Москву учиться.

Е. Есенина

Мне приходилось неоднократно бывать свидетелем трогательной заботы Есенина о своих родителях и сестрах. В одну из моих поездок в Москву, кажется, это было в 1920 году, отец Есенина Александр Никитич просил передать письмо сыну. Я разыскал Есенина на квартире, в Богословском переулке. Он там жил вместе с Мариенгофом. Когда я пришел, Есенин усадил меня пить чай и стал расспрашивать о жизни в деревне, об отце и матери. Мариенгоф все время молчал. Его явно тяготило мое присутствие. Я передал Есенину письмо от отца. Он его тут же прочитал. Было видно, что он рад весточке от родителей. Есенин сразу написал ответ отцу. Вместе с письмом он передал деньги, которые просил ему вручить.

С. Соколов

Солнечным июльским днем 1920 года в книжную лавку ростовского Союза поэтов (она помещалась на Садовой) вошел стройный светлокудрый человек. Он приветливо улыбнулся, слегка прищуривая синие глаза. Лицо незнакомца, милое своей простотой, сразу располагало к себе.

— Сергей Есенин! — узнал пришельца кто-то из ростовских литераторов, и его тотчас же окружили, засыпали вопросами.

Есенин охотно отвечал: приехал из Москвы вместе с А. Б. Мариенгофом и Г. Р. Колобовым. Цель приезда — пропаганда советской поэзии. Вот мандат за подписью наркома А. В. Луначарского, вот афиши о предстоящем вечере поэзии, которые надо побыстрее расклеить. В подборе помещения для вечера просил помочь.

Прошло немногим более полугода после освобождения Ростова от белогвардейщины. Приезд к нам столичного поэта был свидетельством крепнущих литературных связей с Москвой, становлением нового в культурной жизни города.

В ту пору много ростовских школьников увлекались поэзией, с нетерпением ждали приезда В. В. Маяковского, стихи которого знали наизусть.

Но Есенин — это тоже было здорово! А когда Сергей Александрович рассказал, как вместе с друзьями-поэтами расписал стены Страстного монастыря стихами, мы были совсем покорены.

Вечер с участием С. Есенина состоялся вскоре в помещении кинотеатра «Колизей» (в доме, где теперь кинотеатр «Буревестник»). Сергей Александрович попросил меня прийти пораньше, до начала вечера. Я сидела рядом с ним и по его сжатым губам и напряженному взгляду видела, как серьезно он готовился к выступлению, словно к состязанию, из которого надо обязательно выйти победителем.

— Ведь в зале,— сказал он,— могут оказаться и люди враждебные молодой советской поэзии, всему новому. Таким надо дать бой.

Есенин читал ярко, своеобразно. В его исполнении не было плохих стихов: его сильный гибкий голос отлично передавал и гнев, и радость — все оттенки человеческих чувств. Огромный, переполненный людьми зал словно замер, покоренный обаянием есенинского таланта.

Бурей аплодисментов были встречены «Исповедь хулигана», «Кобыльи корабли», космическая концовка «Пантократора».

Лирическим стихам

Я покинул родимый дом,
Голубую оставил Русь.
В три звезды березняк над прудом
Теплит матери старой грусть

аплодировали так неуемно, что, казалось, Есенину никогда не уйти с эстрады.

Но вот его сменил А. Мариенгоф, прочитавший новую поэму. Г. Колобов не выступал, хотя в афише значился третьим участником вечера. Мы уже знали, что Григорий Романович не поэт, а работник транспорта, в служебном вагоне которого Есенин приехал в Ростов.

Назавтра, встретив Есенина в книжной лавке поэтов, я сказала ему, что стихи его очень хороши и нисколько

не похожи на имажинистские. Он засмеялся и защищать имажинизм не стал.

Почти ежедневно в течение двух недель, проведенных в Ростове, Есенин бывал в доме моего отца по Социалистической улице, № 50. Здесь, окруженный поэтической молодежью, Сергей Александрович читал стихи, рассказывал о своей юности, о своих первых встречах с С. Городецким и А. Блоком.

— Очень люблю Блока,— говорил он,— у него глубокое чувство родины. А это — главное, без этого нет поэзии.

Как-то раз Есенин принес свою «ростовскую» фотографию, он снялся, присев на цоколь решетки городского сада. Ярко светило солнце, и глаза на фотографии получились сильно сощуренными.

Мы побывали в гостях у С. А. Есенина. Он жил на вокзале в том самом служебном вагоне, который доставил его в Ростов. И Колобов, и Мариенгоф были «дома». Все они гостеприимно хозяйничали, угощали нас абрикосами, поили сладким чаем. Ставить самовар пришлось Есенину, была его очередь. Я удивилась, когда увидела, что Сергей Александрович переоделся и вместо серого щегольского пиджака на нем матросская белая блуза с голубым воротником. Мне объяснили: для того, чтобы разжечь самовар, надо добыть полешек, а вокзальная администрация охотнее сговаривается с моряками, чем с поэтами.

Из Ростова Есенин уезжал в Баку. Накануне была устроена прощальная встреча. Мы сдружились с московским гостем, жаль было, что он покидал Ростов. По нашей просьбе Есенин без устали читал свои стихи. Прочел полюбившееся нам, приветствующее революционную новь стихотворение, где есть строки:

Разбуди меня завтра рано,
Засвети в нашей горнице свет.
Говорят, что я скоро стану
Знаменитый русский поэт.

Все были взволнованны, все молчали... И вдруг Есенин по-озорному сказал:

— А ведь есть продолжение!

И прочел:

Расступаются в небе тучи,
Петухи льют с крыльев рассвет...
Давно уже знаю, что я самый лучший,
Самый первый в России поэт!

Эти строки нигде не были напечатаны. Очевидно, экспромту-шутке Есенин не придал никакого значения. Но для нас в нем прозвучала большая доля правды. Посмеялись, пошутили, пожелали «лучшему поэту в России» доброго пути!

Н. Александрова

Меня друзья давно звали в Харьков — город и без того мне близкий по студенческим годам. Я приехал в Харьков и поселился в семье моих друзей. Конечно, в первые же дни я им прочел все, что знал наизусть из Есенина. Девушки, а их было пятеро, были крайне заинтересованы как стихами, так и моими рассказами о молодом крестьянском поэте. Можно себе представить их восторг и волнение, когда я, спустя немного времени, неожиданно ввел в дом Есенина. Он только что приехал в Харьков с Мариенгофом, и я их встретил на улице. Конечно, девушки настояли на том, чтобы оба гостя поселились у нас, а те, разумеется, были этому очень рады, ибо мест в гостиницах для таких гастролеров в то время не было.

Пребывание Есенина в нашем доме превратилось в сплошное празднество. Есенин был тогда в расцвете своих творческих сил и душевного здоровья. Помину не было у нас о вине, кутежах и всяких излишествах. Есенин, как в Туле, целые вечера проводил в беседах, спорах, читал свои стихи, шутил и забавлялся от всей души. Девушки ему поклонялись открыто, счастливые и гордые тем, что под их кровлей живет этот волшебник и маг художественного слова. Есенин из этой группы девушек пленился одной и завязал с ней долгую нежную дружбу. Целомудренные черты ее библейски строгого лица, по-видимому, успокаивающе действовали на «чувственную вьюгу», к которой он прислушивался слишком часто, и он держался с ней рыцарски благородно.

Есенин часто оставался дома. Вечером мы выходили во двор, где стоял у конюшни заброшенный тарантас. Мы в нем усаживались тесной семьей, и Есенин занимал нас смешными и трогательными рассказами из своих детских лет. Изредка к тарантасу подходил разгуливавший по двору распряженный конь, останавливался и как будто прислушивался к нашей беседе. Есенин с нежностью поглядывал на него.

Однажды за обеденным столом одна из молодых девушек, шестнадцатилетняя Лиза, стоя за стулом Есенина, вдруг простодушно воскликнула:

— Сергей Александрович, а вы лысеете! — и указала на еле заметный просвет в волосах Есенина.

Есенин мягко улыбнулся, а на другое утро за завтраком прочел нам:

По-осеннему кычет сова
Над раздольем дорожной рани.
Облетает моя голова,
Куст волос золотистый вянет.

Полевое, степное «ку-гу»,
Здравствуй, мать голубая осина!
Скоро месяц, купаясь в снегу,
Сядет в редкие кудри сына.

Скоро мне без листвы холодеть,
Звоном звезд насыпая уши.
Без меня будут юноши петь,
Не меня будут старцы слушать.

Новый с поля придет поэт,
В новом лес огласится свисте.
По-осеннему сыплет ветр.
По-осеннему шепчут листья.

Девушки просветлели и от души простили свою молодую подругу за ее вчерашнее «нетактичное» восклицание.

Очень заботили Есенина дела издательские. В Москве издаваться становилось все труднее и труднее, и он искал возможностей на периферии. Здесь, в Харькове, ему удалось выпустить небольшой сборничек стихов, о котором я упомянул выше. Стихи были напечатаны на такой бумаге, что селедки бы обиделись, если бы вздумали завертывать их в такую бумагу. Но и это считалось успехом в то нелегкое время.

Воинствующие имажинисты в своих публичных выступлениях применяли в Харькове обычные свои крикливо-рекламные приемы. Пестрые афиши извещали харьковскую публику, что кроме обычного чтения стихов на вечере в городском театре состоится торжественное объявление поэта Хлебникова «Председателем Земного шара». Это «торжество» представляло жалкое и

обидное зрелище. Беспомощного Хлебникова, почти паралитика, имажинисты поворачивали во все стороны, заставляли произносить нелепые «церемониальные» фразы, которые тот с трудом повторял, и делали больного человека посмешищем в глазах ничего не понимавшей и так же бессмысленно глядевшей публики.

Один, без Мариенгофа, Есенин иногда делал более интересные вещи. Утром, в один из дней пасхи, мы с ним вдвоем прогуливались по маленькому скверу в центре города, против здания городского театра. Празднично настроенная толпа, весеннее солнце, заливавшее сквер, вызвали у Есенина приподнятое настроение.

— Знаешь что, я буду сейчас читать стихи!

— Это дело! — одобрил я затею.

Он вскочил на скамью и зычным своим голосом, еще не тронутым хрипотой больничной койки, начал импровизированное чтение. Читал он цикл своих антирелигиозных стихов.

Толпа гуляющих плотным кольцом окружила нас и стала сначала с удивлением, а потом с интересом, слушать чтеца. Однако, когда стихи приняли явно кощунственный характер, в толпе заволновались. Послышались враждебные выкрики. Когда он резко, подчеркнуто, бросил в толпу:

Тело, Христово тело,
Выплевываю изо рта! —

раздались негодующие крики. Кто-то завопил:

— Бей его, богохульника!

Положение стало угрожающим, тем более что Есенин с азартом продолжал свое совсем не «пасхальное» чтение.

Неожиданно показались матросы. Они пробились к нам через плотные ряды публики и весело крикнули Есенину:

— Читай, товарищ, читай!

В толпе нашлись сочувствующие и зааплодировали. Враждебные голоса замолкли, только несколько человек, громко ругаясь, ушли со сквера.

Есенин закончил чтение, и мы вместе с матросами, дружески обнявшись, побрели по праздничным улицам города.

Есенин рассказывал им про Москву, про себя, расспрашивал о их жизни. Расстались мы с матросами уже к вечеру.

Л. Повицкий

Все эти годы, вплоть до 1921-го, Сергей приезжал домой почти каждое лето, но воспоминания о нем у меня слились воедино.

Помню, как к его приезду (если он предупреждал) в доме у нас все чистилось и мылось, всюду наводили порядок. Он был у нас дорогим гостем. В нашей тихой, однообразной жизни с его приездом сразу все менялось. Даже сам приезд его был необычным, и не только для нас, а для всех односельчан. Сергей любил подъехать к дому не на едва трусцой семенящей лошаденке, а на лихом извозчике, которые так и назывались «лихачи», а то и на паре, которая, изогнув головы, мчится как вихрь, едва касаясь земли и оставляя позади себя тучу поднявшейся дорожной пыли. С его приездом в доме сразу нарушался обычный порядок: на полу раскрытые чемоданы, на окнах появлялись книги, со стола долго не убирался самовар. Даже воздух в избе становился другим — насыщенным папиросным дымом, смешанным с одеколоном.

На следующий день происходило переселение. «Зал» (большая передняя комната) отводился Сергею для работы, а в амбаре он спал. В комнате матери, из которой выносили кровать, или в прихожей устраивали столовую. В «зале» Сергей переставлял все по-своему, и, хотя особенно переставлять было нечего, комната все же как-то сразу преображалась. Снимали и выносили стеклянный верх посудного шкафа. Накрыв нижнюю часть шкафа пестрым шелковым покрывалом, Сергей устраивал что-то вроде комода. По-своему переставлял стол. На его столе, за которым он работал, лежали книги, бумаги, карандаши (Сергей редко писал чернилами), стояла настольная лампа с зеленым абажуром, пепельница, появлялись букеты цветов. В его комнате всегда был идеальный порядок.

Остались в моей памяти некоторые песенки, которые он, устав сидеть за столом во время работы напевал, расхаживая по комнате, заложив руки в карманы брюк или скрестив их на груди. Он пел «Дремлют плакучие ивы», «Выхожу один я на дорогу», «Горные вершины», «Вечерний звон».

Помню, как однажды он ездил с рыбаками ловить рыбу и так загорел, что через несколько дней, расположившись на лужайке перед домом, Катя снимала у него со спины лоскуты кожи величиною с ладонь.

Помню, как Сергей ходил легкой, слегка покачивающейся походкой, немного наклонив свою кудрявую голову. Красивый, скромный, тихий, но вместе с тем очень жизнерадостный человек, он одним своим присутствием вносил в дом праздничное настроение.

К отцу и матери он относился всегда с большим уважением. Мать он называл коротко — ма, отца же называл папашей. И мне было как-то странно слышать от Сергея это «папаша», так как обычно так называли отцов деревенские жители и даже мы с Катей звали отца папой.

Я не могу сказать, что Сергей уделял в эти приезды много времени нам, домашним, он всегда был занят работой или уходил в луга, к Поповым, но одно сознание, что он дома, доставляло нам удовольствие.

А. Есенина

Помню Есенина в начале его славы. Его выступления в Политехническом музее. Политехнический музей был в то время средоточием литературной жизни Москвы. Он заменял поэтам и публике книги, журналы — все. Поэты, числом до шестидесяти, выступали здесь. Поэты всяких направлений, всяких фасонов, всяких школ. И, надо сказать, Есенин был здесь первым. Есенин был в самом расцвете. Вещи одна одной лучше выходили из-под его пера. И читал он великолепно,— правда, немного театрально, но великолепно, чудесно читал! Как сейчас вижу его: наклонив свою пышную желтую голову вперед «бычком», весь — жест, весь — мимика и движение, он тщательно оттенял в чтении самую тончайшую мелодию стиха, очаровывая публику, забрасывая ее нарядными образами и неожиданно ошарашивая похабщиной.

Он рос. Критик В. П. Полонский уже тогда на докладах в Доме печати называл его великим русским поэтом. Есенин уже не терпел соперников, даже признанных, даже больших. Как-то на банкете в Доме печати, кажется, в Новый год, выпивши, он все приставал к Маяковскому и чуть не плача кричал ему:

— Россия моя, ты понимаешь,— моя, а ты... ты американец! Моя Россия!

На что сдержанный Маяковский, кажется, отвечал иронически:

— Возьми пожалуйста! Ешь ее с хлебом!

Кто-то из публики пренебрежительно сказал:

— Крестьянин в цилиндре!

В это время он долго и упорно работал над «Пугачевым».

Н. Полетаев

Когда я в 1920 году познакомился с Есениным, он решительно ничем не напоминал того «пряничного мужичка», каким я увидел его впервые четырьмя годами раньше. Я стал присматриваться, и меня более всего поразили его глаза. Постоянно приходится слышать прилагаемый к нему эпитет «голубоглазый». Мне кажется, что это слишком мало передает: надо было видеть, как иногда загорались эти глаза. В такие минуты он становился поистине прекрасным. Эта была красота живая, красота выражения. Чувствовалась большая внутренняя работа, чувствовался настоящий поэт.

1919—1920 годы были для Москвы тяжелыми, голодными. В литературном быту это отразилось на появлении целого ряда книжных лавок писателей. Тогда не разрешали держать книжных магазинов частным лицам, а только организациям политическим или литературным. Кроме «Лавки писателей», старейшей в Москве, появились лавки «Поэтов», «Деятелей искусства», «Художников слова» и др. За книжными прилавками можно было увидеть и известного беллетриста, и уважаемого профессора. Из названных лавок две принадлежали имажинистам. В одной, в Камергерском, торговали Шершеневич и Кусиков, в другой — «Художники слова», близ консерватории,— Есенин и Мариенгоф. Но если поэты из Камергерского действительно торговали, то в лавке «Художники слова» Есенин и Мариенгоф скорее только присутствовали. Есенин был тут вывеской, приманкой. Книжное дело вели другие лица. К поэтам постоянно приходили их знакомые, большей частью тоже поэты, и лавка «Художники слова» превращалась в литературный клуб. В этом клубе царила бодрая, веселая атмосфера.

У Есенина была не только «легкая походка», о чем он говорил в своих стихах, но весь он был легкий, светлый, быстрый и всегда себе на уме. Иногда я заставал его, когда не было посетителей, за словарем Даля или за чтением стихов старых русских поэтов. Мне казалось, что Есенин дорожил своими друзьями-имажинистами, пото-

му что они действительно были товарищами, ловкими и предприимчивыми, и не подавляли его своим авторитетом. Имажинизм давал ему возможность оттолкнуться от своего прошлого. Особенно открещивался он от того периода, когда его имя называли обыкновенно вслед за Клюевым. Он возмущался теми критиками и составителями хрестоматий, которые зачисляли его в крестьянские поэты. Это все равно, говорил он, что зрелого Пушкина продолжать называть «певцом Руслана и Людмилы».

В 1920 и 1921 годах я часто видался с Есениным. Я не был его близким приятелем. Сведения о себе сообщал он мне как человеку, интересующемуся его поэзией, который когда-нибудь будет о нем писать. В то время я работал над вторым томом своей «Русской лирики». Первый вышел в конце 1913 года и посвящен был лирике двадцати пяти старших современников Пушкина. Во втором должны были быть поэты — ближайшее окружение Пушкина. Есенин меня спросил: «О ком вы пишете сейчас?» Я отвечал, что сейчас пишу о забытых поэтах, Катенине и Плетневе, но когда-нибудь дойду и до современных поэтов. Есенин, смеясь, сказал: «Я войду, вероятно, только в ваш десятый том!»

Он много и охотно рассказывал о себе. То, что мне казалось наиболее интересным, я записывал.

Это было время «Сорокоуста», «Исповеди хулигана», работы над «Пугачевым». В эволюции славы Есенина момент довольно важный.

Если признан он был сразу, при первом появлении своем в литературной среде, если первая книга его, «Радуница», уже дала ему заметное имя, то необходимо указать, что им интересовались главным образом как новым социальным явлением, как поэтом из народа, не перепевающим Сурикова и Дрожжина, а с новыми мотивами и настроением.

1920 и 1921 годы важны в поэтической деятельности Есенина тем, что поэт резче, чем раньше, выразил свое поэтическое лицо, показал себя «нежным хулиганом», найдя новую, острую и никем еще не использованную тему.

Вместе с тем он отказался от присущего ему ранее обилия церковных и религиозных образов, с каждым годом терявших для его читателей свою эмоциональную значимость, освободился от той лампадности, которая шла к нему от его деда-старообрядца, которая поддержи-

валась годами учения в закрытой церковно-учительской школе, а потом влиянием Клюева.

Вместе с тем стихи Есенина приобрели большее общественное значение, чем раньше. В «Сорокоусте» (название еще в духе прежнего творчества) ему удалось дать образ необычайный и никому другому не удававшийся в такой степени по силе и широте обобщения: образ старой, уходящей деревянной Руси — красногривого жеребенка, бегущего за поездом.

Ни одно из произведений Есенина не вызвало такого шума, как «Сорокоуст». Истинная слава вообще неотделима от шума и скандала. Одни рукоплещут, другие свистят и шикают. Единодушное признание свидетельствует о том, что в данном произведении нет настоящего творческого дерзания, или это признание приходит позднее, когда страсти поулягутся.

Аудитория Политехнического музея в Москве. Вечер поэтов. Духота и теснота. Один за другим читают свои стихи представители различных поэтических групп и направлений. Многие из поэтов рисуются, кривляются, некоторые как откровения гения вещают свои убогие стишки и вызывают смех и иронические возгласы слушателей. Публика явно утомилась и ищет повода пошуметь... пахнет скандалом. Председательствует сдержанный, иногда только криво улыбающийся Валерий Брюсов.

Очередь за имажинистами. Выступает Есенин. Начинает свой «Сорокоуст». Уже четвертый или пятый стих вызывает кое-где свист и отдельные возгласы негодования. В стихах речь идет о блохах у мерина. Но когда поэт произносит девятый стих и десятый, где встречается слово, не принятое в литературной речи, начинается свист, шиканье, крики: «Довольно!» и т. д. Есенин пытается продолжать, но его не слышно. Шум растет. Есенин ретируется.

Часть публики хлопает, требуя, чтобы поэт продолжал. Между публикой явный раскол. С неимоверным трудом при помощи звучного и зычного голоса Шершеневича председателю удается наконец водворить относительный порядок. Брюсов встает и говорит:

— Вы услышали только начало и не даете поэту говорить. Надеюсь, что присутствующие поверят мне, что в деле поэзии я кое-что понимаю. И вот я утверждаю, что данное стихотворение Есенина самое лучшее из всего,

что появилось в русской поэзии за последние два или три года.

Есенин начинает, по обыкновению размахивая руками, декламировать сначала. Но как только он опять доходит до мужицких слов, не принятых в салонах, поднимается рев еще больше, чем раньше, топот ног. «Это безобразие!», «Сами вы хулиганы — что вы понимаете!» и т. д. Только Шершеневичу удается перекричать ревущую аудиторию. «А все-таки он прочтет до конца!» — кричит Шершеневич. Есенина берут несколько человек и ставят его на стол. И вот он в третий раз читает свои стихи, читает долго, по обыкновению размахивая руками, но даже в передних рядах ничего не слышно: такой стоит невообразимый шум.

А через неделю-две не было, кажется, в Москве молодого поэта или просто любителя поэзии, следящего за новинками, который бы не декламировал «красногривого жеребенка». А потом и в печати стали цитировать эти строки, прицепив к Есенину ярлык: «поэт уходящей деревни».

Когда Есенин оказался в компании имажинистов, многие стали его оплакивать и пророчить гибель таланта. Особенно удивлялись, как четыре имажинистских кита — Есенин, Шершеневич, Мариенгоф и Кусиков — разделились на две пары. Есенин более дружил с Мариенгофом, Шершеневич с Кусиковым. Казалось бы более естественной другая группировка: Шершеневич с Мариенгофом,— большинством они воспринимались как поэты надуманные, как словесные клоуны. Есенин же скорее ассоциировался с Кусиковым. У того и другого находили искренний лиризм, пробивающийся сквозь словесные ухищрения, сквозь чехарду образов.

Однажды я шел по Никитской с одним критиком, писавшим в то время статью об имажинистах. Навстречу — Есенин с Мариенгофом. Остановка.

— Я вас разведу,— сказал критик встретившимся.— Мариенгофа обвенчаю с Шершеневичем, а вам, Есенин, дам новую жену: Кусикова.

— Какой ужас! — засмеялся Есенин.— Нельзя ли кого другого, только не Кусикова.

На следующий день Есенин сказал мне:

— Не знаю, зачем нужно меня с кем-нибудь спаривать: я сам по себе. Достаточно того, что я принадлежу

к имажинистам. Многие думают, что я совсем не имажинист, но это неправда: с самых первых шагов самостоятельности я чутьем стремился к тому, что нашел более или менее осознанным в имажинизме. Но беда в том, что приятели мои слишком уверовали в имажинизм, а я никогда не забываю, что это только одна сторона дела, что это внешность. Гораздо важнее поэтическое мироощущение.

Слава Есенина сделала крупный скачок. Уже многие стали мысленно соглашаться с гордым заявлением его, что сейчас в России он «самый лучший поэт». На таком уровне славы держался Есенин и несколько последующих лет. Даже, может быть, эта слава начала слегка колебаться: его «Пугачев» не имел успеха. Следующий скачок дала «Москва кабацкая», а настоящая, прочная, непроходящая слава связана с выходом в свет его стихов в издании «Круга» в 1924 году; особенное значение имел в книге отдел, озаглавленный «После скандалов». Поэт перерастает себя и как крестьянского поэта и как поэта-хулигана. Он забирается на такие вершины поэзии («Памяти Ширяевца» и т. д.), что оттуда уже недалеко и до обеспечения себе места в тесном и немногочисленном кругу классиков русской литературы.

Необходимо отметить, что Есенин вовсе не был равнодушен к своей славе и беззаботен насчет того, что о нем говорят. Из заграничной поездки он вывез целые ворохи газетных вырезок о себе, появлявшихся в иностранной прессе, даже из японских газет. И конечно, слава ему была дороже жизни. Об этом свидетельствует хотя бы его известное обращение к Пушкину перед памятником великому поэту на Тверском бульваре.

Я умер бы сейчас от счастья,
Сподобленный такой судьбе.

Есенину всегда была присуща высокая самооценка. В своей автобиографии он рассказывает, что, когда в 1915 году появился среди петербургских литераторов, он сразу был признан как талант. К этому он добавляет: «Я знал это лучше всех».

И постепенно он все более рос в своих собственных глазах. Вначале он отводит себе почетное место в ряду крестьянских поэтов. Опуская Никитина, Сурикова и всех других, он устанавливает такую последовательность:

Кольцов, Клюев, и он, Есенин. Но потом ему уже мало быть в числе первых имен из поэтов этой линии, и еще при жизни Блока, которого он очень любил, он называет себя «первым поэтом в России».

Пишущему эти строки Есенин в 1921 году объяснял одно свое преимущество перед Блоком — это «ощущение родины»:

— Блок много говорит о родине, но настоящего ощущения родины у него нет. Недаром он и сам признается, что в его жилах на три четверти кровь немецкая.

Преимущество свое перед Клюевым, которого Есенин считал тоже большим поэтом, он определял так: «Клюев не нашел чего-то самого нужного, и поэтому творчество его становится бесплодным». Другой раз он высказал свою мысль так: «У Клюева в стихах есть только отображение жизни, а нужно давать самую жизнь».

Что же касается до своих друзей имажинистов, с которыми он тесно был связан в течение нескольких лет, то и в самый разгар дружбы с ними Есенин говорил, что нутра у них чересчур мало. «Я же,— добавлял Есенин,— в основу кладу содержание, поэтическое мироощущение».

Однажды Есенин сказал мне:

— Сейчас я заканчиваю трагедию в стихах. Будет называться «Пугачев».

— А знаете ли вы замысел повести Короленко из эпохи Пугачевского бунта?

— Нет.

Я передал, что слышал когда-то от самого Короленко. Главный интерес повесть должна была возбудить трагическою участью одной из жен Пугачева, без вины виноватой. Ей было семнадцать или шестнадцать лет, когда Пугачев взял ее «за красоту» себе в жены, взял насильно: она его не любила; а вскоре потом Пугачев был пойман, а ее, как жену бунтовщика и лжецарицу, что-то очень долго морили в тюрьме.

— Ну, это совсем другое!

— А как вы относитесь к пушкинской «Капитанской дочке» и к его «Истории»?

— У Пушкина сочинена любовная интрига и не всегда хорошо прилажена к исторической части. У меня же совсем не будет любовной интриги. Разве она так необходима? Умел же без нее обходиться Гоголь.

И потом, немного помолчав, прибавил:

— В моей трагедии вообще нет ни одной бабы. Они тут совсем не нужны: пугачевщина — не бабий бунт. Ни

одной женской роли. Около пятнадцати мужских (не считая толпы) и ни одной женской. Не знаю, бывали ли когда такие трагедии.

Я ответил, что тоже таких не припоминаю.

— Я несколько лет,— продолжал Есенин,— изучал материалы и убедился, что Пушкин во многом был неправ. Я не говорю уже о том, что у него была своя, дворянская точка зрения. И в повести и в истории. Например, у него найдем очень мало имен бунтовщиков, но очень много имен усмирителей или тех, кто погиб от рук пугачевцев. Я очень, очень много прочел для своей трагедии и нахожу, что многое Пушкин изобразил просто неверно. Прежде всего сам Пугачев. Ведь он был почти гениальным человеком, да и многие из его сподвижников были людьми крупными, яркими фигурами, а у Пушкина это как-то пропало. Еще есть одна особенность в моей трагедии. Кроме Пугачева, никто почти в трагедии не повторяется: в каждой сцене новые лица. Это придает больше движения и выдвигает основную роль Пугачева.

Он немного помолчал.

— А знаете ли, это второе мое драматическое произведение. Первое — «Крестьянский пир» — должно было появиться в сборнике «Скифы»; начали уже набирать, но я раздумался, потребовал его в гранках, как бы для просмотра, и — уничтожил. Андрей Белый до сих пор не может мне этого простить: эта пьеса ему очень нравилась, да я и сам иногда теперь жалею.

Меня удивляло, что о женщинах Есенин отзывался большею частью несколько пренебрежительно.

— Обратите внимание,— сказал он мне,— что у меня почти совсем нет любовных мотивов. «Маковые побаски» можно не считать, да я и выкинул большинство из них во втором издании «Радуницы». Моя лирика жива одной большой любовью — любовью к родине. Чувство родины — основное в моем творчестве.

Это говорилось в 1921 году. В последние годы любовные мотивы нашли довольно заметное место в его лирике, но общее определение «основного» оставалось, конечно, верным.

— С детства,— говорил Есенин,— болел я «мукой слова». Хотелось высказать свое и по-своему. Но было,

конечно, много влияний и были ошибочные пути. Вот, например, знаете вы мою «Радуницу»?

— Да.

— Какое у вас издание?

— У меня есть и первое и вторсе.

— Ну тогда вы могли это заметить и сами. В первом издании у меня много местных, рязанских слов. Слушатели часто недоумевали, а мне это сначала нравилось. «Что это такое значит,— спрашивали меня:

Я страник *улогий*
В *кубетке* сырой?»

Потом я решил, что это ни к чему. Надо писать так, чтобы тебя понимали. Вот и Гоголь: в «Вечерах» у него много украинских слов; целый словарь понадобилось приложить, а в дальнейших своих малороссийских повестях он от этого отказался. Весь этот местный, рязанский колорит я из второго издания своей «Радуницы» выбросил.

— Но и вообще второе издание, кажется, сильно переработано,— заметил я,— состав стихотворений другой.

— Да, я много стихотворений выбросил, а некоторые вставил, кое-что переделал.

Как-то разговор зашел о влияниях и о любимых авторах.

— Знаете ли вы, какое произведение,— сказал Есенин,— произвело на меня необычайное впечатление? «Слово о полку Игореве». Я познакомился с ним очень рано и был совершенно ошеломлен им, ходил как помешанный. Какая образность! Какой язык! Из поэтов я рано узнал и полюбил Пушкина и Фета. Из современных поэтов я люблю больше других Блока. С течением времени все больше и больше моим любимым писателем становится Гоголь. Изумительный, несравненный писатель. Думаю, что до сих пор у нас его еще недостаточно оценили.

Эти слова Есенина припомнились мне впоследствии, когда я однажды встретил его в книжном магазине «Колос». Он был с Дункан и покупал полное собрание сочинений своего любимого Гоголя.

26 февраля 1921 года я записал только что рассказанную мне перед этим Есениным его автобиографию. Как эта автобиография, так и другие его рассказы о себе, относящиеся большей частью к концу 1920 года, не вполне совпадают с теми сведениями, которые он сообщает в двух автобиографиях, написанных им лично позднее и предназначавшихся тогда же для напечатания. Вот что было мною записано.

«Я — рязанец, и исследователи моей поэзии легко могут это заметить и по моим стихам. Первые мои книги стихов должны были больше говорить моим землякам, чем остальным читателям. Я крестьянин Рязанской губернии, Рязанского же уезда. Родился я в 1895 году по старому стилю 21 сентября, по новому, значит, 4 октября. В нашем краю много сектантов и старообрядцев. Дед мой, замечательный человек, был старообрядским начетчиком.

Книга не была у нас совершенно исключительным и редким явлением, как во многих других избах. Насколько я себя помню, помню и толстые книги в кожаных переплетах. Но ни книжника, ни библиофила это из меня не сделало. Вот и сейчас я служу в книжном магазине, а состав книг у нас знаю хуже, чем другие. И нет у меня страсти к книжному собирательству. У меня даже нет всех мною написанных книг.

Устное слово всегда играло в моей жизни гораздо большую роль. Так было и в детстве, так и потом, когда я встречался с разными писателями. Например, Андрей Белый оказывал на меня влияние не своими произведениями, а своими беседами со мной. То же и Иванов-Разумник.

А в детстве я рос, дыша атмосферой народной поэзии.

Бабка, которая меня очень баловала, была очень набожна, собирала нищих и калек, которые распевали духовные стихи. Очень рано узнал я стих о Миколе. Потом я и сам захотел по-своему изобразить «Миколу». Еще больше значения имел дед, который сам знал множество духовных стихов наизусть и хорошо разбирался в них.

Из-за меня у него были постоянные споры с бабкой. Она хотела, чтобы я рос на радость и утешение родителям, а я был озорным мальчишкой. Оба они видели, что я слаб и тщедушен, но бабка меня хотела всячески уберечь, а он, напротив, закалить. Он говорил: плох он будет, если не сумеет давать сдачи. Так его совсем затрут.

И то, что я был забиякой, его радовало. Вообще крепкий человек был мой дед. Небесное — небесному, а земное — земному. Недаром он был зажиточным мужиком.

Рано посетили меня религиозные сомнения. В детстве у меня были очень резкие переходы: то полоса молитвенная, то необычайного озорства, вплоть до желания кощунствовать и богохульствовать.

И потом и в творчестве моем были такие же полосы: сравните настроение первой книги хотя бы с «Преображением».

Меня спрашивают, зачем я в стихах своих употребляю иногда непринятые в обществе слова — так скучно иногда бывает, так скучно, что вдруг и захочется что-нибудь такое выкинуть. А впрочем, что такое «неприличные слова»? Их употребляет вся Россия, почему не дать им права гражданства и в литературе.

Учился я в закрытой церковной школе в одном заштатном городе Рязанской же губернии. Оттуда я должен был поступить в Московский учительский институт. Хорошо, что этого не случилось: плохим бы я был учителем. Некоторое время я жил в Москве, посещал университет Шанявского. Потом я переехал в Петербург. Там меня более всего своею неожиданностью поразило существование на свете другого поэта из народа, уже обратившего на себя внимание,— Николая Клюева.

С Клюевым мы очень сдружились. Он хороший поэт, но жаль, что второй том его «Песнослова» хуже первого. Резкое различие со многими петербургскими поэтами в ту эпоху сказалось в том, что они поддались воинствующему патриотизму, а я, при всей своей любви к рязанским полям и к своим соотечественникам, всегда резко относился к империалистической войне и к воинствующему патриотизму. Этот патриотизм мне органически совершенно чужд. У меня даже были неприятности из-за того, что я не пишу патриотических стихов на тему «гром победы раздавайся», но поэт может писать только о том, с чем он органически связан. Я уже раньше рассказывал вам о разных литературных знакомствах и влияниях. Да, влияния были. И я теперь во всех моих произведениях отлично сознаю, что в них мое и что не мое. Ценно, конечно, только первое. Вот почему я считаю неправильным, если кто-нибудь станет делить мое творчество по периодам. Нельзя же при делении брать признаком что-либо наносное. Периодов не было, если брать по суще-

ству мое основное. Тут все последовательно. Я всегда оставался самим собой.

Еще о нашей братии, поэтах. Недавно в Союзе поэтов были перевыборы. Забаллотирован Валерий Брюсов. В правление выбраны Андрей Белый, я и другие. Андрей Белый отказался, потому что уезжает в Петербург, я отговорился тем, что мне некогда. Это, конечно, вздор. Время бы нашлось. В действительности же я отказался потому, что я совершенно чужд этому союзу, как и всякому.

Вообще, чем больше я живу, тем более убеждаюсь, что наша братия, поэты,— преотвратительный народ.

Вы спрашиваете, целен ли был, прям и ровен мой житейский путь? Нет, такие были ломки, передряги и вывихи, что я удивляюсь, как это я до сих пор остался жив и цел.

Об этом расскажу вам подробно когда-нибудь другой раз».

Но это так и не случилось.

И. Розанов

1921 г. Весна. Богословский пер., д. 3.

Есенин расстроен. Усталый, пожелтевший, растрепанный. Ходит по комнате взад и вперед. Переходит из одной комнаты в другую. Наконец садится за стол в углу комнаты:

— У меня была настоящая любовь. К простой женщине. В деревне. Я приезжал к ней. Приходил тайно. Все рассказывал ей. Об этом никто не знает. Я давно люблю ее. Горько мне. Жалко. Она умерла. Никого я так не любил. Больше я никого не люблю.

Есенин в стихах никогда не лгал. Рассказывает он об умершей канарейке — значит, вспомнил умершую канарейку, рассказывает о гаданье у попугая — значит, это гаданье действительно было, рассказывает о жеребенке, обгоняющем поезд,— значит, случай с милым и смешным дуралеем был...

Всякая черточка, маленькая черточка в его стихах, если стихи касаются его собственной жизни, верна. Сам поэт неоднократно указывает на это обстоятельство, на автобиографический характер его стихов.

И. Грузинов

Познакомился я с Есениным в конце 1920 года. Я работал тогда в качестве представителя от Туркцентропечати в Москве при главном управлении Центропечати на Тверской. Имажинисты в то время почти монопольно, несмотря на острый бумажный кризис, ухитрялись издавать свои тощие книжки и часто бывали в Центропечати, экспедируя через ее аппарат свои издания в провинцию.

Там я впервые увидел Есенина, пришедшего туда по делу.

Наши встречи стали почти ежедневными. Встречались мы в кафе поэтов «Домино», в кафе имажинистов «Стойло Пегаса», на вечерах в консерватории и в Политехническом музее, в книжной лавке на Никитской, у него на квартире в Богословском пер. (рядом с театром б. Корша), № 3, кв. 48, где жил он вместе с Мариенгофом.

В то время Есенин был бодр. Он казался вождем какой-то воинствующей секты фанатиков, не желающих никому и ни в чем уступать. Особенно он был настроен против футуристов, отрицая за ними всякие заслуги и аттестуя их вождей весьма «крепкими» эпитетами.

Писал он в ту пору много, но выступал все время с одними и теми же вещами, главным образом с «Исповедью хулигана» и некоторыми стихами из «Трерядницы».

Помню, однажды уже перед самым моим отъездом в Ташкент Есенин, как бы по секрету, наклонясь над ухом, сообщил, что у него завтра будут блины, и пригласил меня к себе в Богословский переулок.

Когда я пришел, гости были уже в сборе. Помимо хозяев (Есенина и Мариенгофа), были Г. Р. Колобов, какая-то нарядная женщина — кажется, актриса — и не то родственник, не то земляк Есенина, приехавший из деревни, человек уже пожилой, исправно евший и пивший, но упорно молчавший.

Есенин был в хорошем настроении. Я впервые видел его в роли хозяина, усердно потчующего гостей, и внимательно присматривался к нему. Он был хорошо и со вкусом одет, гладко выбрит, от него пахло духами.

Есенин много ел, пил, в промежутках между едой курил, не забывал подгонять гостей и много говорил, говорил... Рассказывал, что пишет «Пугачева», что собирается поехать в киргизские степи и на Волгу, хочет про-

ехать по тому историческому пути, который проделал Пугачев, двигаясь на Москву, а затем побывать в Туркестане, который, по его словам, давно уже его к себе манит.

— Там у меня друг большой живет, Шурка Ширяевец, которого я никогда не видел,— говорил он оживленно.

После обеда актриса пела песни, затем Есенин вместе с ней пел частушки, читал стихи и рассказывал анекдоты, над которыми все много и долго хохотали.

В то посещение я увидел на столике в комнате Есенина несколько книг о Пугачеве: очевидно, материалы к его трагедии.

Вскоре я уехал в Туркестан. Мы встретились с Есениным через три месяца в Ташкенте.

Есенина манил не «Ташкент — город хлебный», а Ташкент — столица Туркестана. Поездку Есенина в Туркестан следует рассматривать как путешествие на Восток, куда его очень давно, по его словам, тянуло.

Приехал Есенин в Ташкент в начале мая, когда весна уже начала переходить в лето. Приехал радостный, взволнованный, жадно на все глядел, как бы впивая в себя и пышную туркестанскую природу, необычайно синее небо, утренний вопль ишака, крик верблюда и весь тот необычный для европейца вид туземного города с его узкими улочками и безглазыми домами, с пестрой толпой и пряными запахами.

Он приехал в праздник уразы, когда мусульмане до заката солнца постятся, изнемогая от голода и жары, а с сумерек, когда солнце уйдет за горы, нагромождают на стойках под навесами у лавок целые горы «дастархана» для себя и для гостей: арбузы, дыни, виноград, персики, абрикосы, гранаты, финики, рахат-лукум, изюм, фисташки, халва... Цветы в это время одуряюще пахнут, а дикие туземные оркестры, в которых преобладают трубы и барабаны, неистово гремят.

В узких запутанных закоулках тысячи людей в пестрых, слепящих, ярких тонов халатах разгуливают, толкаются и обжираются жирным пилавом, сочным шашлыком, запивая зеленым ароматным кок-чаем из низеньких пиал, переходящих от одного к другому.

Чайханы, убранные пестрыми коврами и сюзане, залиты светом керосиновых ламп, а улички, словно выныр-

нувшие из столетий, ибо такими они были века назад, освещены тысячесвечными электрическими лампионами, свет которых как бы усиливает пышность этого незабываемого зрелища. Толпа разношерстная: здесь и местные узбеки, и приезжие таджики, и чарджуйские туркмены в страшных высоких шапках, и преклонных лет муллы в белоснежных чалмах, и смуглые юноши в золотых тюбетейках, и приезжие из «русского города», и разносчики с мороженым, мишалдой и прохладительными напитками. Все это неумолчно шевелится, толкается, течет, теряя основные цвета и вновь находя их, чтобы через секунду снова расколоться на тысячу оттенков.

И в такую обстановку попал Есенин — молодой рязанец, попал из голодной Москвы. Он сначала теряется, а затем начинает во все вглядываться, чтобы запомнить.

Я помню, мы пришли в старый город небольшой компанией, долго толкались в толпе, а затем уселись на верхней террасе какого-то ош-хане. Вровень с нами раскинулась пышная шапка высокого карагача — дерево, которое Есенин видел впервые. Сверху зрелище было еще ослепительнее, и мы долго не могли заставить Есенина приступить к еде.

В петлице у Есенина была большая желтая роза, на которую он все время бережно посматривал, боясь, очевидно, ее смять.

Когда мы поздно возвращались в город на трамвае, помню то волнение, которым он был в этот день пронизан. Говорил он много, горячо, а под конец заговорил все-таки о березках, о своей рязанской глуши, как бы желая подчеркнуть, что любовь к ним у него постоянна и неизменна.

Литературная колония в Ташкенте встретила Есенина очень тепло и, пожалуй, с подчеркнутым уважением и предупредительностью как большого, признанного поэта, как метра. И это при враждебном к нему отношении как к вождю имажинизма — течению, которое было чуждо почти всей пишущей братии Ташкента.

Особенно часто и остро нападал на Есенина за его имажинизм Ширяевец, видевший в имажинисте Есенине поэта, отколовшегося от их мужицкого стана. Есенин долго и терпеливо объяснял своему другу основы имажинизма и тогда же начал писать письмо Р. В. Иванову-

Разумнику с изложением этих основ, но так и не докончил его, оставив черновик письма Ширяевцу на память *.

С Ширяевцем Есенин встречался чаще, чем с другими. Их связывала почти шестилетняя заочная дружба, поддерживавшаяся редкими письмами, и Есенин не мог с ним наговориться.

Он позже, в Москве, уже после смерти Ширяевца, сильно подействовавшей на него, вспоминал их первую личную встречу и говорил мне, что до поездки в Ташкент он почти не ценил Ширяевца и только личное знакомство и долгие беседы с ним открыли ему значение Ширяевца как поэта и близкого ему по духу человека, несмотря на все кажущиеся разногласия между ними.

Приехал Есенин в Туркестан со своим другом Колобовым, ответственным работником НКПС, в его вагоне, в котором они и жили во все время их пребывания в Ташкенте и в котором затем уехали дальше — в Самарканд, Бухару и Полторацк (бывш. Асхабад).

Ташкентский Союз поэтов предложил Есенину устроить его вечер. Он согласился, но просил организовать его возможно скромнее, в более или менее интимной обстановке. Мы наметили помещение Туркестанской публичной библиотеки.

Вечер вскоре состоялся. Небольшая зала библиотеки была полна. Преобладала молодежь. Лица у всех были напряженны.

Читал Есенин с обычным своим мастерством. На аплодисменты он отвечал все новыми и новыми стихами и умолк, совершенно обессиленный. Публика не хотела расходиться, а в перерыве раскупила все книги Есенина, выставленные Союзом для продажи. На все просьбы присутствовавших прочитать хотя бы отрывки из «Пугачева», к тому времени вчерне уже законченного, Есенин отвечал отказом.

Однако он почти целиком прочитал свою трагедию через два дня у меня на квартире. Долго тянулся обед, затем чай, и, только когда уже начало темнеть, Есенин стал читать. Помнил он всю трагедию на память и читал, видимо, с большим наслаждением для себя, еще не успев привыкнуть к вещи, только что законченной.

---

* Письмо это опубликовано в журнале «Красная новь», № 2 за 1926 г.

Читал он громко, и большой комнаты не хватало для его голоса. Я не знаю, сколько длилось чтение, но знаю, что, сколько бы оно ни продолжалось, мы, все присутствовавшие, не заметили бы времени... Вещь производила огромное впечатление. Когда он, устав, кончил чтение, произнеся заключительные строки трагедии, почувствовалось, что и сам поэт переживает трагедию, может быть, не менее большую по масштабу, чем его герой.

Боже мой!
Неужели пришла пора?
Неужель под душой так же падаешь, как под ношей?
А казалось... казалось еще вчера...
Дорогие мои... дорогие... хор-рошие...

Он кончил... И вдруг раздались оглушающие аплодисменты. Аплодировали не мы, нам это в голову не пришло. Хлопки и крики неслись из-за открытых окон (моя квартира была в первом этаже), под которыми собралось несколько десятков человек, привлеченных громким голосом Есенина.

Эти приветствия незримых слушателей растрогали Есенина. Он сконфузился и заторопился уходить.

Через несколько дней он уехал дальше в глубь Туркестана, завоевав еще один город на своем пути.

В. Вольпин

1921 г. Лето. Богословский пер., д. 3.

Есенин, энергично жестикулируя:

— Кто о чем, а я о корове. Знаешь ли, я оседлал корову. Я еду на корове. Я решил, что Россию следует показать через корову. Лошадь для нас не так характерна. Взгляни на карту — каждая страна представлена посвоему: там осел, там верблюд, там слон... А у нас что? Корова! Без коровы нет России.

1921 г. Есенин только что вернулся из Ташкента. Повидимому, по дороге в Ташкент он хотел ознакомиться с местом действия героя его будущей поэмы «Пугачев». Вскоре после его приезда имажинисты задумали, как это бывало неоднократно, очередной литературный трюк. Глубокой ночью мы расклеили множество прокламаций по улицам Москвы.

«Имажинисты всех стран, соединяйтесь!
Всеобщая мобилизация
поэтов, живописцев, актеров, композиторов, режиссеров и друзей действующего искусства

№ 1

На воскресенье, 12 июня с. г., назначается демонстрация искателей и зачинателей нового искусства.

Место сбора: Театральная площадь (сквер), время: 9 час. вечера.

Маршрут: Тверская, памятник А. С. Пушкина.

Программа

Парад сил, речи, оркестр, стихи и летучая выставка картин.

Явка обязательна для всех друзей и сторонников действующего искусства:

1) имажинистов,
2) футуристов,
3) и других групп.

Причина мобилизации:

Война, объявленная действующему искусству.

Кто не с нами, тот против нас.

Вождь действующего искусства: Центральный Комитет Ордена Имажинистов».

Под прокламацией подписи поэтов, художников, композиторов: Сергей Есенин, Георгий Якулов, Иван Грузинов, Павлов, Анатолий Мариенгоф и др.

Прокламация была расклеена нами без разрешения. На другой день нас вызвали на допрос в соответствующее учреждение. Между прочим Есенин сказал, что прокламацию напечатал он в Ташкенте и оттуда привез в Москву. Затем неожиданно для всех нас стал просить разрешения устроить похороны одного из поэтов. Похороны одного из нас. Похороны его, Есенина. Можно? Ему ответили, что нельзя, что нужно удостоверение от врача в том, что данный человек действительно умер. Есенин не унимался: а если в гроб положить корову или куклу и со всеми знаками похоронных почестей, приличествующих умершему поэту, пронесут гроб по улицам Москвы? Можно? Ему ответили, что и этого нельзя сде-

лать: нужно иметь надлежащее разрешение на устройство подобной процессии. Есенин возразил:

— Ведь устраивают же крестные ходы?

Снова разъясняют: на устройство крестного хода полагается иметь разрешение.

И. Грузинов

Помню первое выступление Есенина с «Пугачевым». Он читал эту поэму в Доме печати. Я был председателем собрания. Как и всегда, Есенин читал прекрасно, увлекая аудиторию мастерством своего чтения. Поэма имела успех. Все выступавшие с оценкой «Пугачева» отметили художественные достоинства поэмы и указывали на ее революционность. Я сказал, что Пугачев говорит на имажинистском наречии и что Пугачев — это сам Есенин. Есенин обиделся и сказал:

— Ты *ничего не понимаешь,* это действительно *революционная* вещь.

Говорил он очень характерно, подчеркивая слова замедлением их произношения.

Вспоминается смерть А. Блока. Я ездил на его похороны в Петроград. Возвратившись обратно в Москву, я вместе с моими друзьями — пролетарскими поэтами устроил вечер памяти Блока в только что открытом тогда клубе «Кузница» на Тверской. Народу было очень много. В конце вечера в зале появился Есенин. Он был очень возбужден и почему-то закричал:

— Это вы, пролетарские поэты, виноваты в смерти Блока!

С большим трудом мне удалось его успокоить. Насколько я помню, к Блоку он относился с большой любовью, особенно ценя его «Двенадцать» и «Скифы».

В. Кириллов

1921 г.

Мы несколько раз посетили с Есениным музеи новой европейской живописи: бывшие собрания Щукина и Морозова.

Больше всего его занимал Пикассо.

Есенин достал откуда-то книгу о Пикассо на немецком языке, со множеством репродукций с работ Пикассо.

Ничевоки выступают в кафе «Домино».

Есенин и я присутствуем при их выступлении. Ничевоки предлагают нам высказаться об их стихах и теории.

С эстрады мы не хотим рассуждать о ничевоках. Ничевоки обступают нас во втором зале «Домино», и поневоле приходится высказываться.

Сначала теоретизирую я. Затем Есенин. Он развивает следующую мысль:

В поэзии нужно поступать так же, как поступает наш народ, создавая пословицы и поговорки.

Образ для него, как и для народа, конкретен.

Образ для него, как и для народа, утилитарен; утилитарен в особом, лучшем смысле этого слова. Образ для него — это гать, которую он прокладывает через болото. Без этой гати — нет пути через болото.

При этом Есенин становится в позу идущего человека, показывая руками на лежащую перед ним гать.

После первого чтения «Пугачева» в «Стойле Пегаса» присутствующим режиссерам, артистам и публике Есенин излагал свою точку зрения на театральное искусство.

Сначала, как почти всегда в таких случаях, речь его была путаной и бессвязной, затем он овладел собой и более или менее отчетливо сформулировал свои теоретические положения.

Он сказал, что расходится во взглядах на искусство со своими друзьями-имажинистами: некоторые из его друзей считают, что в стихах образы должны быть нагромождены беспорядочной толпой. Такое беспорядочное нагромождение образов его не устраивает, толпе образов он предпочитает органический образ.

Точно так же он расходится со своими друзьями-имажинистами во взглядах на театральное искусство: в то время как имажинисты главную роль в театре отводят действию, в ущерб слову, он полагает, что слову должна быть отведена в театре главная роль.

Он не желает унижать словесное искусство в угоду искусству театральному. Ему как поэту, работающему преимущественно над словом, неприятна подчиненная роль слова в театре.

Вот почему его новая пьеса, в том виде, как она есть, является произведением лирическим.

И если режиссеры считают «Пугачева» не совсем сценичным, то автор заявляет, что переделывать его не намерен: пусть театр, если он желает ставить «Пугачева», перестроится так, чтобы его пьеса могла увидеть сцену в том виде, как она есть.

И. Грузинов

Есенин с Мариенгофом жили в Богословском переулке. При посещении в этот раз мне бросилась в глаза записка на дверях квартиры. Было написано приблизительно следующее: «Поэты Есенин и Мариенгоф работают. Посетителей просят не беспокоить». И тут же были указаны дни и часы для приема друзей и знакомых. Не относя себя ни к одной из перечисленных категорий, я долго стоял в недоумении перед дверьми, не рискуя позвонить. Все же вошел. Есенин действительно в эту пору много работал. Он заканчивал «Пугачева».

Когда я пытался обратить внимание Есенина на установленный регламент в его жизни, он мне сказал:

— Знаешь, шляются все. Пропадают рукописи. Так лучше. А тебя, дурного, это не касается.

Усадил меня обедать и начал рассказывать, как они переименовали в свои имена улицы и раскрасили ночью стены Страстного монастыря.

В этот приезд я впервые слышал декламацию Есенина. Мейерхольд у себя в театре устроил читку «Заговора дураков» Мариенгофа и «Пугачева» Есенина. Мариенгоф читал первым. После его монотонного и однообразного чтения от есенинской декламации (читал первую половину «Пугачева») кидало в дрожь. Местами он заражал чтением и выразительностью своих жестов. Я в первый раз в жизни слышал такое мастерское чтение. По-моему, в чтении самого Есенина его вещи много выигрывали. Тотчас же после чтения я выразил ему свое восхищение. Он мне сказал:

— Вот приедешь осенью, услышишь вторую часть «Пугачева». Она должна быть лучше.

Осенью 1921 года я окончательно переселился в Москву. У Мариенгофа тогда же зародилась мысль пригласить меня заведующим «Стойлом Пегаса». Есенин эту мысль всячески поддерживал и однажды определенно высказался за то, чтобы я взялся за это дело. Самим им трудно было каждовечерне присутствовать в «Стойле» —

нужен был свой человек. При переговорах об условиях работы Есениным попутно было предложено мне переселиться жить в их комнату с Мариенгофом в Богословский.

Передавая мне руководство «Стойлом Пегаса», Есенин вводил меня в мельчайшие подробности дела.

Обязанность по составлению программы литературных выступлений в кафе лежала на мне. И мне немало пришлось повоевать с Есениным на этой почве. Есенин неизменно каждый раз, когда я его вставлял в программу и предупреждал утром о предстоящем выступлении, принимал в разговорах со мной официальный тон и начинал торговаться о плате за выступление, требуя обычно втридорога больше остальных участников. Когда я пытался ему доказать, что, по существу, он не может брать деньги за выступление, являясь хозяином кафе, он неизменно мне говорил одну и ту же фразу:

— Мы себе цену знаем! Дураков нет!

Обычный шум в кафе, пьяные выкрики и замечания со столиков при выступлении Есенина тотчас же прекращались. Слушали его с напряженным вниманием. Бывали вечера его выступлений, когда публика, забив буквально все щели кафе, слушала, затаясь при входе в открытых дверях на улице.

Излюбленными вещами, которые Есенин читал в эту зиму, были «Исповедь хулигана», «Сорокоуст», «Песнь о хлебе», глава о Хлопуше из «Пугачева», «Волчья гибель», «Не жалею, не зову, не плачу».

В эту зиму он начал проявлять склонность к вину. Все чаще и чаще, возвращаясь домой из «Стойла», ссылаясь на скуку и усталость, предлагал он завернуть в тот или иной кабачок — выпить и освежиться. И странно, он не столько пьянел от вина, сколько досадовал на чье-нибудь не понравившееся ему в разговоре замечание, зажигая свои нервы, доходя до буйства и бешенства.

Читал Есенин в это время мало и неохотно. Бывало, принесешь книгу из магазина и покажешь ее Есенину. Он ее возьмет в руки, осмотрит со стороны корешка, заглянет на цифру последней страницы и одобрительно скажет:

— Ничего себе книжка.

И тут же спросит:

— Сколько стоит?

Но, видимо, он читал много раньше. «Слово о полку

Игореве» знал почти наизусть. Из писателей самое большое впечатление на него производил Гоголь, особенно «Мертвые души».

— Замечательно! Умереть можно! Как хорошо! — цитировал он целые страницы наизусть.

Разбирая «Бесы» Достоевского, говорил:

— Ставрогин — бездарный бездельник. Верховенский — замечательный организатор.

С особым преклонением относился к Пушкину. Из стихов Пушкина любил декламировать «Деревню» и особенно «Роняет лес багряный свой убор».

— Видишь, как он! — добавлял всегда после чтения и щелкал от восторга пальцами.

Из современников любил Белого, Блока и какой-то двойственной любовью Клюева. Души не чаял в Клычкове и каждый раз обижал его. Несколько раз восторгался «Серебряным голубем» Белого.

— Знаешь, Белый замечательно понимает природу! Удивляться надо! — И читал наизусть описание дороги мимо села Гуголева, восхищаясь плотскими судорогами рябой Матрены.

Из левых своих современников почитал Маяковского.

— Что ни говори, а Маяковского не выкинешь. Ляжет в литературе бревном,— говаривал он,— и многие о него споткнутся.

Возглавляя «Ассоциацию вольнодумцев» и литературную группу имажинистов, считаясь метром возглавляемой им школы, он редко говорил об имажинизме, расценивая его исключительно с точки зрения своего личного творчества. Школе имажинизма он не придавал особого значения в ряде других литературных течений, прекрасно сознавая свою силу и правоту как поэта прежде всего и затем уже как имажиниста. Модернизированную литературу Есенин не любил, разговоры о ней заминал, притворяясь из скромности непонимающим.

К остальным видам искусства относился равнодушно. Концертную музыку не любил, тянуло его к песням, очевидно, по деревенскому наследию.

Пел мастерски, с особыми интонациями и переходами, округляя наиболее выразительные места жестами, хватаясь за голову или разводя руками. Народных частушек и частушек собственного сочинения пел он бесконечное множество. Пел их не переставая, часами, особенно

под аккомпанемент Сандро Кусикова на гитаре и под «зыканье» на губах Сахарова. Любил слушать игру Коненкова на гармонике или на гуслях. О живописи никогда не говорил. Любил коненковскую скульптуру. Восторгался до слез его «Березкой» и однажды, проходя со мной мимо музея по Дмитровке, обратился ко мне с вопросом, был ли я в этом музее. На отрицательный мой ответ сказал:

— Дурной ты! Как же это можно допустить, ведь тут Сергея Тимофеевича «Стенька Разин» — гениальная вещь!

Коненковым была выстругана из дерева голова Есенина. Схватившись рукой за волосы, с полуоткрытым ртом, был он похож, особенно в те моменты, когда читал стихи. В свое время она была выставлена в витрине книжного магазина «Артели художников слова» на Никитской. Есенин не раз выходил там на улицу — проверять впечатление — и умилительно улыбался.

В эту зиму ему на именины был подарен плакатный рисунок (художника не помню) — сельский пейзаж. На рисунке была изображена церковная колокольня с вьющимися над ней стрижами, проселочная дорога и трактир с надписью «Стойло». По дороге из церкви в «Стойло» шел Есенин, в цилиндре, под руку с овцой. «Картинка» много радовала Есенина. Показывая ее, он говорил:

— Смотри, вот дурной, с овцой нарисовал!

Уезжая за границу, он бережно передал ее на сохранение в числе других архивных мелочей, записок и писем А. М. Сахарову.

О творчестве своем распространяться не любил, но обижался, когда его вещи не нравились. Случалось, люди, скверно о нем отзывавшиеся, делались его врагами. Не обижался он только на одного Коненкова, которому считал обязанностью прочитывать все свои новые вещи. Коненков, хватаясь за бороду, подчас обрушивался на него криком,— и к поучениям его Есенин всегда прислушивался.

У Есенина была своеобразная манера в работе. Он брался за перо с заранее выношенными мыслями, легко и быстро облекая их в стихотворный наряд. Если это ему почему-либо не удавалось, стихотворение бросалось. Закинув руки за голову, он, бывало, часами лежал на кровати и не любил, когда его в такие моменты беспокоили. Застав однажды Есенина в таком состоянии, Сахаров его спросил, что с ним. Есенин ответил:

— Не мешай мне, я пишу.

Вот почему мне показалась однажды до поразительности странной та быстрота, с какой было написано (по существу, оформлено на бумаге) стихотворение «Волчья гибель».

Возвратясь домой усталый, я повалился на диван. Рядом со мной сидел Есенин. Не успел я задремать, как слышу, меня кто-то будит. Открываю глаза. Надо мной — склонившееся лицо Есенина.

— Вставай, гусар, послушай!

И прочитал написанную им с маху «Волчью гибель».

Стилистическая отделка записанного стихотворения производилась им уже спустя некоторое время, по мере того, как он прислушивался к собственному голосу в чтении.

В этот же день Есенин читал «Волчью гибель» в «Стойле Пегаса». Возвращаясь домой после чтения, он по дороге сделал замечание:

— Это я зря написал: «Из черных недр кто-то спустит сейчас курки». Непонятно. Надо — «Из пасмурных недр». Так звучит лучше.

И, придя домой, сейчас же исправил.

Сопоставляя два этих эпитета в стилистическом разряде описания травли волка, мы видим, что замена слова «черный» — «пасмурным» действительно оживляет и конкретизирует описание. Таким исправлениям подвергалось почти каждое его стихотворение. Запроданный Есениным в свое время Кожебаткину и не осуществленный издателем первый том собрания его сочинений должен хранить в корректурах следы таких исправлений.

Работал Есенин вообще уединенно и быстро. Бывало, возвращаешься домой и случайно застаешь его изогнувшимся за столом или забравшимся с ногами на подоконник за работой. Он сразу отрывался. В руках застывали листки бумаги и огрызок карандаша. Если стихотворение было хотя бы вчерне и даже частично только написано, Есенин его сейчас же вслух зачитывал целиком, на отзыв, зорко присматриваясь к слушателям.

Однажды он проработал около трех часов кряду над правкой корректуры «Пугачева» и, уходя в «Стойло», забыл корректуру на полу перед печкой, сидя около которой он работал. Возвратившись домой, он стал искать корректуру. Был поднят на ноги весь дом. Корректуры не было. Сыпались отборные ругательства по адресу приятелей, бесцеремонно, по обыкновению, приходивших к

Есенину и рывшихся в его папке. И что же — в конце концов выяснилось, что прислуге нечем было разжигать печку, она подняла валявшуюся на полу бумагу (корректуру «Пугачева») и сожгла ее. Корректура была выправлена на следующий день вновь.

«Пугачев» доставлял ему самое большое удовлетворение. Он долго ожидал от критики заслуженной оценки и был огорчен, когда критика не сумела оценить значительность этой вещи.

— Говорят, лирика, нет действия, одни описания,— что я им, театральный писатель, что ли? Да знают ли они, дурачье, что «Слово о полку Игореве» — все в природе! Там природа в заговоре с человеком и заменяет ему инстинкт. Лирика! Да знают ли они, что человек человека может зарезать в самом наилиричном состоянии? — негодовал Есенин.

Есенин, между прочим, не один раз говорил мне, что им выкинута из «Пугачева» глава о Суворове. На мои просьбы прочитать эту главу он по-разному отнекивался, ссылаясь каждый раз на то, что он запамятовал ее, или просто на то, что она его не удовлетворяет и он не хочет портить общее впечатление. Рукопись этой главы, по его словам, должна находиться у Г. А. Бениславской, которой он ее якобы подарил.

Есенин долго готовился к поэме «Страна негодяев», всесторонне обдумывая сюжет и порядок событий в ней. Мысль о написании этой поэмы появилась у него тотчас же по выходе «Пугачева». По первоначальному замыслу поэма должна была широко охватить революционные события в России с героическими эпизодами гражданской войны. Главными действующими лицами в поэме должны были быть Ленин, Махно и бунтующие мужики на фоне хозяйственной разрухи, голода, холода и прочих «кризисов» первых годов революции. Он мне читал тогда же набросанное вчерне вступление к этой поэме: приезд автора в глухую провинцию метельной ночью на постоялый двор, но аналогичное по схеме начало в «Пугачеве» его смущало, и он этот отрывок вскоре уничтожил. От этого отрывка осталось у меня в памяти сравнение поэта с синицей, которая хвасталась, но моря не зажгла. Обдумывая поэму, он опасался впасть в отвлеченность, намереваясь подойти конкретно и вплотную к описываемым событиям. Ссылаясь на «Двенадцать» Блока, он говорил о том, как легко надорваться над простой с первого взгляда и космической по существу темой. Поэму эту

он так и не написал в ту зиму и только уже по возвращении из-за границы читал из нее один отрывок. Первоначальный замысел этой поэмы у него разбрелся по отдельным вещам: «Гуляй-поле» и «Страна негодяев» в существующем тексте.

Есенин мало заботился о внешности своих книг, не разбирался в шрифтах, не любил рисованных обложек.

Памятью он обладал колоссальной. Схватывал и запоминал прочитанные однажды стихи. В сборнике «Явь» в 1918 году было помещено (единственное, написанное мной) стихотворение. Сидя как-то в компании, он сказал улыбаясь:

— Знаешь, ты самый знаменитый из поэтов. Из каждого поэта я знаю по несколько стихотворений, а твое я помню полное собрание сочинений наизусть.

И тут же прочитал с утрированной манерой мое стихотворение, звонко рассмеявшись.

Не любил он поэтических разговоров и теорий. Отрицал выученность, называя ее «брюсовщиной», полагаясь всем своим поэтическим существом на интуицию и свободную походку слова. Поэтому придавал лишь организующую роль в словесном механизме. Однажды задумался над созданием «машины образов». Говорил о возможности изобретения такого механического приспособления, в котором слова будут располагаться по выбору поэта, как буквы в ремингтоне. Достаточно будет повернуть рычаг — и готовые стихотворения будут выбрасываться пачками. Старался это доказать. Делал из бумаги талоны, раздавал их присутствующим, заставляя писать на каждом талоне по одному произвольно взятому слову. Выпавшие на талонах слова немедленно дополнялись соответствующим содержанием, связывались в грамматические формулы и укладывались в стихотворные строфы. Получалось по-есенински очень талантливо, но не для всех убедительно. Есенин хотел написать о своей «машине образов» целое теоретическое исследование, потом охладел и совершенно забыл об этом.

К сожалению, я не записывал тогда и теперь не помню ни одного механического экспромта.

Возвращаемся однажды на извозчике из Политехнического музея. Разговорившись с извозчиком, Есенин спросил его, знает ли он Пушкина и Гоголя.

— А кто они такие будут, милой? — озадачился извозчик.

— Писатели, знаешь, памятники им поставлены на Тверском и Пречистенском бульварах.

— А, это чугунные-то? Как же, знаем! — отвечал простодушный извозчик.

— Боже, можно окаменеть от людского простодушия. Неужели, чтобы стать известным, надо превратиться в бронзу? — грустно заметил Есенин.

И. Старцев

В голодном двадцать первом году в Москву приехала знаменитая танцовщица Айседора Дункан. Приехала, чтобы основать в Советской России школу пластического танца. На вечеринке у художника Якулова Дункан встретилась с Есениным. Вскоре они поженились.

Под школу-студию отвели дом балерины Балашовой на Пречистенке. Дункан поселилась в одной из раззолоченных комнат этого богатого особняка. Есенин проводил меня туда.

Меня глубоко интересовало искусство Айседоры Дункан, и я часто приезжал в студию на Пречистенку во время занятий. Несколько раз я принимался за работу. «Танцующая Айседора Дункан» — это целая сюита скульптурных портретов прославленной балерины.

В первых числах мая 1922 года Дункан увезла Есенина в Европу, а затем и в Америку. Вернулся он в августе 1923-го.

Появившись у нас на Пресне, сразу же спросил:

— Ну, каков я?

Дядя Григорий без промедления влепил:

— Сергей Александрович, я тебе скажу откровенно — забурел.

И в самом деле, за эти полтора года Есенин раздобрел, стал краситься и пудриться, и одежда на нем была буржуйская.

Но очень скоро заграничный лоск с него сошел, и он стал прежним Сережей Есениным — загадочным другом, российским поэтом.

Стояли последние жаркие дни недолгого московского лета. Большой шумной компанией отправились купаться. На Москве-реке, в Филях, был у меня заветный утес, с которого любо-дорого прыгнуть в воду. Повеселились

вволю. По дороге к дому Есенин, вдруг погрустневший, стал читать неизвестные мне стихи:

Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.
Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое холодком...

Тяжелая тоска послышалась мне в его голосе. Я перебил его:

— Что ты? Не рано ли?

А он засмеялся.

— Ничего,— говорит,— не рано.

И опять Есенин пропал из моего поля зрения. На этот раз — навсегда.

С. Коненков

Сидели в парке Эрмитажа. Подошел Жорж Якулов.

— Хотите с Изадорой Дункан познакомлю?

— Где она?... где? — Есенин даже привскочил со скамьи.

И, как ошалелый, ухватив Якулова за рукав, стал таскать по Эрмитажу из Зеркального зала в Зимний, из Зимнего в Летний. Ловили среди публики, выходящей из оперетты, с открытой сцены.

Есенин не хотел верить, что Дункан ушла. Был невероятно раздосадован и огорчен без меры.

Теперь чудится что-то роковое в той необъяснимой и огромной жажде встречи с женщиной, которую он никогда не видел в лицо и которой суждено было сыграть в его жизни столь крупную, столь печальную и, скажу более, столь губительную роль.

Спешу оговориться: губительность Дункан для Есенина ни в какой степени не умаляет фигуры этой замечательной женщины, большого человека и гениальной актрисы.

Месяца три спустя Якулов устроил вечеринку у себя в студии.

В первом часу ночи приехала Дункан.

Красный, мягкими складками льющийся хитон, красные с отблеском меди волосы, большое тело, ступающее легко и мягко.

Она обвела комнату глазами, похожими на блюдца из синего фаянса, и остановила их на Есенине.

Маленький нежный рот ему улыбнулся.

Изадора легла на диван, а Есенин у ее ног.

Она окунула руку в его кудри и сказала:

— Solotaia golova!

Было неожиданно, что она, знающая не больше десятка русских слов, знала именно эти два.

Потом поцеловала его в губы.

И вторично ее рот, маленький и красный, как ранка от пули, приятно изломал русские буквы:

— Angel!

Поцеловала еще раз и сказала:

— Tschort!

На другой день мы были у Дункан.

Она танцевала нам танго «Апаш».

Апашем была Изадора Дункан, а женщиной — шарф.

Страшный и прекрасный танец.

Узкое и розовое тело шарфа извивалось в ее руках. Она ломала ему хребет, судорожными пальцами сдавливала горло. Беспощадно и трагически свисала круглая шелковая голова ткани.

Дункан кончала танец, распластав на ковре судорожно вытянувшийся труп своего призрачного партнера.

Есенин был ее повелителем, ее господином. Она, как собака, целовала руку, которую он заносил для удара, и глаза, в которых чаще чем любовь горела ненависть к ней.

А. Мариенгоф

ПОЕЗДКА ЗА РУБЕЖ. СНОВА НА РОДИНЕ

1922—1923



Второй приезд Есенина в Ростов в феврале 1922 года был очень коротким. Он провел в нашем городе всего один день в ожидании вагона, который должен был увезти его в Баку.

Настроение у него было неважное, ощущалось, что обстановка, сложившаяся в его личной жизни, тяготила его, что ему очень хотелось уехать куда-нибудь из Москвы.

Есенину не понравилась ростовская погода: подтаявший снег, туманный день.

Он с гордостью рассказывал, как работал над драматической поэмой «Пугачев», как много материалов и книг прочел он тогда. Показал на ладонях рубцы:

— Когда читаю «Пугачева», так сжимаю кулаки, что изранил ладони до крови...

Есенин прочел мне два отрывка из «Пугачева», прочел несколько стихотворений, написанных после первого приезда в Ростов. Стихи были великолепными, по-новому сильными. Особенно глубокое впечатление произвело на меня стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу...». Я даже потеряла дар речи, ничего не смогла сказать. Сергею Александровичу было приятно мое искреннее восхищение. Он сказал:

— А «Пугачев» — это уже эпос, но волнует, волнует меня сильней всего...

«Пугачев», бесспорно, одно из любимых творений Есенина, в которое он вложил всю свою творческую страсть...

Вагона не было, и намеченная Есениным поездка не состоялась.

Н. Александрова

В Петрозаводске в 1922 году я встретил Клюева, проезжавшего вместе со своим новым другом из Вытегры и подарившего мне свой замечательный «Четвертый Рим» с проклятиями цилиндру и лаковым башмакам. С большим сокрушением в первую же минуту нашей беседы на улице он заговорил о Сергее и рассказал мне о его женитьбе на Айседоре Дункан и о том, что вообще «погиб человек» в заразе всяческих кафе и раздушенных европ. Соединение имени Есенина и Дункан, которой я восхищался еще будучи подростком, казалось непостижимым и неприятным парадоксом.

В. Чернявский

В двадцатых годах я увиделся с Есениным уже в Москве, куда мы оба переехали из Петербурга, и, признаюсь, не сразу узнал его. Беспокойный, шумный, глава имажинизма, он внешне походил теперь на молодого купчика. Глядел чуть свысока. Говорил важным тоном и неожиданно придирался к мелочам, открыто идя на ссору. В коридорах издательств и столовке на Арбате Есенин появлялся в сопровождении целой своры досужих прихлебателей и на мой вопрос: «Зачем они тебе?» — неопределенно ответил: «А я знаю?»

Жил я тогда недалеко от Госиздата, и Есенин, как-то раз направляясь туда, зашел ко мне. Меховая шуба его была лихо распахнута, открывая одетый под ней щегольской костюм кофейного цвета и яркую шелковую сорочку. Из-под ставшей уже знаменитой в литературной среде бобровой шапки весело улыбалось порозовевшее на морозе лицо. Да и весь он казался свежим и помолодевшим. Я сказал ему об этом. Мои слова его обрадовали, но он тут же их резко опротестовал:

— Шалишь. Прошла молодость. Сам вижу... Вот скоро тридцать... А (через паузу) успокоиться никак не могу.

Затем наша беседа перешла на воспоминания о первых днях его петербургской жизни, и меня поразило, как Есенин помнил многие подробности, уже совершенно выветрившиеся из моей памяти. В тоне голоса, с которым Есенин вспоминал о прошлом, и в его беспокойных движениях чувствовалась затаенная тревога. Ее не могли скрыть ни его внешне благополучный вид, ни мои попытки несколько сгладить возникшее настроение. Какая-то неотступная мысль сверлила есенинский мозг уже в то

время, заставляя его постоянно возвращаться к одной и той же теме.

— Деревня, деревня,— как бы думая про себя, спрашивал он.— Деревня — жизнь. А город?..

И его мысль тут же повисала в воздухе. Он не развивал ее, а отделывался общими словами:

— Тяжел мне этот разговор. Давит он меня.

Еще до рассказанной встречи с Есениным я неоднократно слышал о его частых кутежах и нашумевшем романе с Дункан. Но прошло некоторое время, прежде чем мне удалось самому навестить его и проверить воочию доходившие до меня слухи. Жил Есенин тогда в особняке на Пречистенке, 20, принадлежавшем когда-то балерине Балашовой. Поднявшись по широкой мраморной лестнице и отворив массивную дверь, я очутился в просторном холодном вестибюле. Есенин вышел ко мне, кутаясь в какой-то пестрый халат. Меня поразило его болезненно-испитое лицо, припухшие веки глаз, хриплый голос, которым он спросил:

— Чудно? — И тут же прибавил: — Пойдем, я тебя еще не так удивлю.

Сказав это, Есенин ввел меня в комнату, огромную, как зал. Посередине ее стоял письменный стол, а на нем среди книг, рукописей и портретов Дункан высилась деревянная голова самого Есенина, работы Коненкова. Рядом со столом помещалась покрытая ковром тахта. Все это было в полном беспорядке, точно после какого-то разгрома.

Есенин, видя мое невольное замешательство, еще больше возликовал:

— Садись, видишь, как живу — по-царски! А там,— он указал на дверь,— Дункан. Прихорашивается. Скоро выйдет.

Проговорил он все это скороговоркой, будто сыпал горох, и потом начал обстоятельно рассказывать, как выступал в модном кабаре и как его восторженно принимала публика.

Вошла Дункан. Я ее видел раньше очень давно и только издали, на эстраде, во время ее гастролей в Петербурге. Сейчас передо мной стояла довольно уже пожилая женщина, пытавшаяся, увы, без особенного успеха, все еще выглядеть молодой. Одета она была во что-то прозрачное, переливавшееся, как и халат Есенина, всеми цветами радуги и при малейшем движении обнажавшее ее вялое и от возраста дряблое тело, почему-то

напомнившее мне мясистость склизкой медузы. Глаза Айседоры, круглые, как у куклы, были сильно подведены, а лицо ярко раскрашено, и вся она выглядела такой же искусственной и нелепой, как нелепа была и крикливо обставленная комната, скорее походившая на номер гостиницы, чем на жилище поэта.

По-русски Дункан знала всего несколько слов: «красный карандаш», «синий карандаш», «яблоко» и «Луначарский», которые произносила, как ребенок, забавно коверкая и заменяя одну букву другой. Поэтому и разговор наш, начатый таким образом, велся ощупью, пока мы не догадались наконец перейти на французский язык. Дункан говорила вяло, лениво цедя слова, о совершенно различных вещах. О том, что какой это ужас, что она пятнадцать минут не целовала Есенина, что ей нравится Москва, но она не любит снег, что один русский артист обещал ей подарить настоящие petit traineau* и еще что-то, все в том же кокетливо-наивном тоне стареющей актрисы. Говоря, она полулежала на широкой тахте, усталая, разморенная заботами прошедшего дня и, как мне показалось, чем-то расстроенная.

Есенин тоже был не в духе. Он сидел в кресле, медленно тянул вино из высокого бокала и упорно молчал, не то с усмешкой, не то с раздражением слушая болтовню Айседоры. Раздались шаги, и появилась приемная дочь Дункан, Ирма. Айседора познакомила меня с ней и предложила пройти рядом в зал послушать игру известного пианиста и посмотреть на ее маленьких учеников.

В аляповато украшенном пышной лепкой зале сидело человек двадцать детей, отражавшихся в зеркалах, вставленных в стены. Дети шумели, и потребовалось немало усилий со стороны воспитательниц, чтобы унять их. Пианист сыграл один из этюдов Скрябина, и Айседора через переводчика спросила детей, в чем содержание музыкальной пьесы. Дети хором ответили: «Драка!» Дункан их ответ очень понравился, так как темой этюда была борьба, и она, улыбнувшись обольстительной улыбкой дивы, сказала мне: «Я хочу, чтобы детские руки могли коснуться звезд и обнять мир...» Слова Дункан показались мне заученной фразой, тем более что только что перед тем я оказался случайным свидетелем ее весьма прозаического разговора со своим администратором.

Есенина в это время в комнате не было, он так и не заходил туда. И Айседора, объясняя его отсутствие, ска-

---

* маленькие сани *(фр.)*.

зала, что Есенин не любит музыки. Меня удивило это неожиданное замечание, и я невольно спросил Дункан, знает ли она, что Есенин крупный поэт, стихи которого полны музыки. Она ответила коротко и полувопросительно: «Да?» — тут же прибавив, что сама не может жить вне звучащей атмосферы. И действительно, просидев с ней часть вечера, я имел случай убедиться, что стоило только беседе замолкнуть, как она тотчас же заводила граммофон или пробовала напевать что-то.

Когда пианист ушел, а Дункан, попрощавшись, вышла в свою комнату, мы остались с Есениным наедине. Так как от окна сильно дуло, нам пришлось перейти ближе к кирпичной времянке, устроившись прямо на ковре. Есенин, сидя на корточках, рассеянно шевелил с трудом догоравшие головни, а затем, угрюмо упершись невидящими глазами в одну точку, тихо начал:

— Был в деревне. Все рушится... Надо самому быть оттуда, чтобы понять... Конец всему.

Говорил Есенин и о Клюеве, причем, слушая его, я убедился, что, несмотря на прошедшие годы, отношения их нисколько не изменились. Клюева Есенин всегда выделял из числа близких лиц, а раз, помнится, даже сказал, что это единственный человек, которого он по-настоящему прочно и долго любил и любит. В этот вечер Есенину неудержимо хотелось говорить. И он говорил мне, как, наверное, говорил бы всякому другому. В доме уже все спали, и только легкое потрескивание дров нарушало ночную тишину. Я слушал рассказ Есенина, боясь проронить хотя бы одно слово. И передо мной сквозь сумрак комнаты плыла бесконечная вереница манящих, упрекающих образов его деда, бабки, товарищей детских игр.

Передать в точности есенинскую речь невозможно. Мне она почему-то напомнила деревянный шар, пущенный детской рукой вниз по каменной лестнице. Шар брошен. Что-то будет? Розовое лицо ребенка улыбается, предвкушая забаву. Дальше испуг... Может быть, даже слезы... Ток... Ток... Шар прыгает все ниже и ниже со ступеньки на ступеньку. Его нельзя остановить ничем. Его неудержимо влечет к черному квадрату земли. А в ушах раздается все то же токанье сухого дерева о камень.

Внезапно вспыхнувшее пламя осветило угол письменного стола и стоявшую на нем неоконченную коненковскую голову Есенина. Мгновение, и из грубого обрубка

векового дерева, из морщин его коры на меня взглянуло лицо прежнего Сережи. И, не в силах удержаться, я взглянул на него самого. Передо мной находились даже не братья, а два смутно похожих друг на друга чужих человека. Первый был ожившая материя, и на его губах играла улыбка пробуждающейся жизни. Судорога прикрывала улыбку второго. Огонь времянки вспыхнул снова, чтобы, дымясь, погаснуть совсем. По стенам поползли длинные черные тени. Скоро не стало и их. Разговор прервался. Есенин встал и, обхватив голову обеими руками, точно желая выжать из нее мучившие его мысли, сказал каким-то чужим, непохожим на свой голосом:

— Шумит как в мельнице, сам не пойму. Пьян, что ли? Или так просто...

Затем, видя, что я собираюсь уходить, и боясь, что кто-то может его услышать, тихо прошептал:

— Хочешь, провожу? Только скорее. А то еще чего доброго, Айседора проснется. Ты ее, брат, не знаешь!

Вообще с Дункан, как я имел возможность не раз убедиться, он бывал резок. Говорил о ней в раздраженном тоне, зло, колюче: «Пристала. Липнет, как патока». И вдруг тут же, неожиданно, наперекор сказанному вставлял: «А знаешь, она баба добрая. Чудная только какая-то. Не пойму ее».

На улице кружил снег. Идти было трудно, и мы барахтались среди снежных бугров. Есенин несколько раз останавливался, пытаясь зажечь спичку, и, наконец закурив, поднял меховой воротник своего модного пальто. Так мы дошли до самого Пречистенского бульвара. И только на углу, когда наступило время прощаться, он будто невзначай сказал мне:

— Скоро в Америку уезжаю. Баста. Или не слыхал?

Я шутливо спросил его:

— Навсегда?

Он безнадежно махнул рукой и попробовал через силу улыбнуться:

— Разве я где могу...

В голосе его прозвучали искренние и больные нотки. Постояв с минуту, Есенин порывисто обнял меня. И удалился легкой юношеской походкой, едва касаясь земли и, по-видимому, окончательно освежившись на вольном воздухе.

Весь этот период (1922 год) Есенин часто жаловался мне на физическое недомогание — болезнь почек — и уг-

нетенное состояние, вызванное ощущением какой-то пустоты и одиночества. Прежние друзья его уже больше не удовлетворяли, а об имажинистах он прямо так и говорил, что у него нет и никогда не было ничего общего с ними. Новых друзей Есенин так и не приобрел. Поэтому все чаще и чаще он обращался к воспоминаниям о своей молодости, тревожно спрашивая меня: «А я очень изменился?» Или же с отчаянным азартом и, как казалось, подчеркнутой акцентировкой принимался читать одни и те же строки из своего «Пугачева»:

Юность, юность! Как майская ночь,
Отзвенела ты...

Может быть, по тем же причинам Есенин тогда увлекался Гоголем и, показывая мне купленное им собрание сочинений любимого писателя, заметил: «Вот теперь это мой единственный учитель».

Мы никогда не разговаривали с Есениным о Западе, и я не знаю, что вынес он из своей поездки за границу, но не могу не вспомнить, как на мое замечание, что ему не мешало бы основательно изучить какой-либо иностранный язык, он ответил:

— Не знаю и не хочу знать — боюсь запачкать чужим свой, родной.

Родину он любил сыновней любовью, восторженно и болезненно воспринимая все, что касалось ее.

М. Бабенчиков

Лютой, ветреной и бесснежной зимой 1921 года я приехал на постоянную работу в Москву. Две недели мы жили в уютном и теплом вагоне, но на дальних рельсах. В первый же день оттуда пешком через пустынную, заледенелую Москву я пришел на Тверскую. День прошел в явках по месту службы. Было уже темно, когда я добрел до «Кафе поэтов». Одиночество сковывало меня. Блок и Верхоустинский умерли. Единственным близким человеком в Москве был Есенин.

Я вошел и, как был в шинели, сел на скамью. Какая-то поэтесса читала стихи. Вдруг на эстраду вышел Есенин. Комната небольшая, людей немного, костюм мой выделялся. Есенин что-то сказал, и я вижу, что он увидел меня. Удивление, проверка впечатления (только что была напечатана телеграмма о моей смерти), и невыразимая нежность залила его лицо. Он сорвался с эстрады,

я ему навстречу — и мы обнялись, как в первые дни. Незабвенна заботливость, с какой он раскинул передо мной всю «роскошь» своего кафе. Весь лед 16-го года истаял. Сергей горел желанием согреть меня сердцем и едой. Усадил за самый уютный столик. Выставил целую тарелку пирожных — черничная нашлепка на подошве из картофеля: «Ешь все, и еще будет». Желудевый кофе с молоком — «сколько хочешь». С чудесной наивностью он раскидывал свою щедрость. И тут же, между глотков, торопился все сразу рассказать про себя — что он уже знаменитый поэт, что написал теоретическую книгу, что он хозяин книжного магазина, что непременно нужно устроить вечер моих стихов, что я получу не менее восьми тысяч, что у него замечательный друг, Мариенгоф. Отогрел он меня и растрогал. Был он очень похож на прежнего. Только купидонская розовость исчезла. Поразил он меня мастерством, с каким научился читать свои стихи.

За эти две недели, что я жил в вагоне и бегал по учреждениям, я с ним виделся часто.

На другой же, вероятно, день я был у него в магазине на Никитской. Маленький стол был завален пачками бумажных денег. Торговал он недурно. Тут же собрал все свои книги и сделал нежнейшие надписи: на любимой тогда его книге «Ключи Марии» — «С любовью крепкою и вечною»; на «Трерянице» — «Наставнику моему и рачителю». Вероятно, в этот же день состоялась большая эскапада. Он повез меня вместе с Клычковым и еще кем-то к Коненкову. Там пили, пели и плясали в промерзлой мастерской. Оттуда в пятом часу утра на Пречистенку к «Дуньке» (так он в шутку называл Дункан), о которой он мне говорил уже как о факте, который все знают. Скажу наперед, что по всем моим позднейшим впечатлениям это была глубокая взаимная любовь. Конечно, Есенин был влюблен столько же в Дункан, сколько в ее славу, но влюблен был не меньше, чем вообще мог влюбляться. Женщины не играли в его жизни большой роли.

Припоминаю еще одно посещение Айседорой Есенина при мне, когда он был болен. Она приехала в платке, встревоженная, со сверточком еды и апельсином, обмотала Есенина красным своим платком. Я его так зарисовал, он называл этот рисунок — «В Дунькином платке». В эту домашнюю будничную встречу их любовь как-то особенно стала мне ясна.

Это было в Богословском переулке, где Есенин жил вместе с Мариенгофом. Там я был у него несколько раз, и про один надо рассказать. Я застал однажды Есенина на полу, над россыпью мелких записок. Не вставая с пола, он стал мне объяснять свою идею о «машине образов». На каждой бумажке было написано какое-нибудь слово — название предмета, птицы или качества. Он наугад брал в горсть записки, подкидывал их и потом хватал первые попавшиеся. Иногда получались яркие двух- и трехстепенные имажинистские сочетания образов. Я отнесся скептически к этой идее, но Есенин тогда очень верил в возможность такой «машины».

О моем вечере стихов, о встрече с Брюсовым в «Кафе поэтов» и другом не буду говорить — это сейчас стороннее.

Из всех бесед, которые у меня были с ним в то время, из настойчивых напоминаний — «Прочитай «Ключи Марии» — у меня сложилось твердое мнение, что эту книгу он любил и считал для себя важной. Такой она и останется в литературном наследстве Есенина. Она далась ему не без труда. В этой книге он попытался оформить и осознать свои литературные искания и идеи. Здесь он определенно говорит, что поэт должен искать образы, которые соединяли бы его с каким-то незримым миром. Одним словом, в этой книге он подходит вплотную ко всем идеям дореволюционного Петербурга. Но в то же самое время, когда он оформил свои идеи, он создал движение, которое для него сыграло большую роль. Это движение известно под именем имажинизма.

В страстной статье в «Красной газете» Борис Лавренев обрушился на тогдашнюю компанию Есенина, на имажинистов, называя их «дегенератами», а Есенина «казненным» ими. Это не совсем верная концепция, и даже совсем неверная. Конечно, и тогдашний (и позднейший) быт Есенина сыграл свою роль в его преждевременной гибели. Близоруко видеть в имажинизме и имажинистах только губительный быт. Имажинизм сыграл гораздо более крупную роль в развитии Есенина. Имажинизм был для Есенина своеобразным университетом, который он сам себе строил. Он терпеть не мог, когда его называли пастушком, Лелем, когда делали из него исключительно крестьянского поэта. Отлично помню его бешенство, с которым он говорил мне в 1921 году о подобной трактовке его. Он хотел быть европейцем. Словом, его талант не умещался в пределах песенки де-

ревенского пастушка. Он уже тогда сознательно шел на то, чтобы быть первым российским поэтом. И вот в имажинизме он как раз и нашел противоядие против деревни, против пастушества, против уменьшающих личность поэта сторон деревенской жизни.

В имажинизме же была для Есенина еще одна сторона, не менее важная: бытовая. Клеймом глупости клеймят себя все, кто видит здесь только кафе, разгул и озорство.

Быт имажинизма нужен был Есенину больше, чем желтая кофта молодому Маяковскому. Это был выход из его пастушества, из мужичка, из поддевки с гармошкой. Это была его революция, его освобождение. Здесь была своеобразная уайльдовщина. Этим своим цилиндром, своим озорством, своей ненавистью к деревенским кудрям Есенин поднимал себя над Клюевым и над всеми остальными поэтами деревни. Когда я, не понимая его дружбы с Мариенгофом, спросил его о причине ее, он ответил: «Как ты не понимаешь, что мне нужна тень». Но на самом деле в быту он был тенью денди Мариенгофа, он копировал его и очень легко усвоил еще до европейской поездки всю несложную премудрость внешнего дендизма. И хитрый Клюев очень хорошо понимал значение всех этих чудачеств для внутреннего роста Есенина. Прочтите, какой искренней злобой дышат его стихи Есенину в «Четвертом Риме»: «Не хочу укрывать цилиндром лесного черта рога!», «Не хочу цилиндром и башмаками затыкать пробоину в барке души!», «Не хочу быть лакированным поэтом с обезьяньей славой на лбу!». Есенинский цилиндр потому и был страшнее жупела для Клюева, что этот цилиндр был символом ухода Есенина из деревенщины в мировую славу.

Моя ошибка и ошибка всей критики, которая, впрочем, тогда почти не существовала, что «Ключи Марии» не были взяты достаточно всерьез. Если б какой-нибудь дельный — даже не марксист, а просто материалист, разбил бы имажинистскую, идеалистическую систему этой книги, творчество Есенина могло бы взять другое русло.

Это другое русло он судорожно искал все последние годы. В рамках лирического стихотворения ему было уже тесно. Лирика разрешается или в театр, или в эпос. Есенин брал и тот и другой путь. Опыт выхода в театр он проделал в «Пугачеве».

На этой книге не написано, что́ это: драма или поэма в диалоге. Вернее всего, Есенин не до конца продумал форму, когда писал «Пугачева». Но я помню, как он увлекался им. Много раз я слышал его великолепную декламацию отрывков из драмы. С широкими жестами, исступленным шепотом: «Вы с ума сошли, вы с ума сошли...» Особенно он любил читать конец. И такое же у него было властное требование отклика, как и на «Ключи Марии». На этот раз отклик я ему дал такой же полнозвучный, как и при первом его приходе ко мне. Своим пафосом темного бунта «Пугачев» захватил меня. Я сказал Есенину то же, что написал в № 75 «Труда» (22 г.): «Критика спит. Только этим можно объяснить, что крупные явления нашей литературы остаются не отмеченными. Это лучшая вещь Есенина. Она войдет в сокровищницу нашей пролетарской литературы». Однако в широкой прессе «Пугачев» не был замечен, не был поставлен на сцене, напечатан был только в тысяче экземпляров. На первую свою большого размаха работу Есенин не получил надлежащего отклика. Не увидев «Пугачева» на сцене, он больше не возвращался к драматургическому творчеству. А все данные для работы в этом направлении у него были.

Оставался путь в эпос. Очередной работой была «Страна негодяев». Ею Есенин увлекался так же, как и «Пугачевым», и говорил мне о ней, как о решающей своей работе.

С. Городецкий

1922 г.

Есенин в кафе «Домино» познакомил меня с Айседорой Дункан. Мы разместились втроем за столиком. Пили кофе. Разглядывали надписи, рисунки и портреты поэтов, находящиеся под стеклянной крышкой столика. Показывали Дункан роспись на стенах «Домино».

Разговор не клеился. Была какая-то неловкость. Эта неловкость происходила, вероятно, потому, что Дункан не знала русского языка, а Есенин не говорил ни на одном из европейских языков.

Вскоре начали беседу о стихах. И время от времени обращались к Айседоре Дункан, чтобы чем-нибудь показать внимание к ней; по десять раз предлагали то кофе, то пирожное.

В руках у Есенина был немецкий иллюстрированный журнал. Готовясь поехать в Германию, он знакомился с новейшей немецкой литературой.

Он предложил мне просмотреть журнал, и мы вместе стали его перелистывать. Это был орган немецких дадаистов.

Есенин, глядя на рисунки дадаистов и читая их изречения и стихи:

— Ерунда! Такая же ерунда, как наш Крученых. Они отстали. Это у нас было давно.

Я возразил:

— У нас и теперь есть поэтические группы, близкие к немецким дадаистам: фуисты, беспредметники, ничевоки. Ближе всех к немецким дадаистам, пожалуй, ничевоки.

В творчестве Есенина наступил перерыв. Он выискивал, прислушивался, весь насторожившись. Он остановился, готовясь сделать новый прыжок.

За границей прыжок этот был им сделан: появилась «Москва кабацкая».

Для «Москвы кабацкой» он взял некоторые элементы у левых эротических поэтов того времени, разбавил эти чрезмерно терпкие элементы Александром Блоком, вульгаризировал цыганским романсом.

Благодаря качествам, которые Есенин придал с помощью Блока и цыганского романса изысканной и малопонятной левой поэзии того времени, она стала общедоступней и общеприемлемей.

Перед отъездом за границу Есенин спрашивает А. М. Сахарова:

— Что мне делать, если Мережковский или Зинаида Гиппиус встретятся со мной? Что мне делать, если Мережковский подаст мне руку?

— А ты руки ему не подавай! — отвечает Сахаров.

— Я не подам руки Мережковскому,— соглашается Есенин.— Я не только не подам ему руки, но я могу сделать и более решительный жест... Мы остались здесь. В трудные для родины минуты мы остались здесь. А он со стороны, он издали смеет поучать нас!

И. Грузинов

Много написали и наговорили о Есенине — и творил-то он пьяным, и стихи лились будто бы из-под его пера без помарок, без труда и раздумий...

Все это неверно. Никогда, ни одного стихотворения в нетрезвом виде Есенин не написал.

Он трудился над стихом много, но это не значит, что мучительно долго писал, черкал и перечеркивал строки. Бывало и так, но чаще он долго вынашивал стихотворение, вернее, не стихи, а самую мысль. И в голове же стихи складывались в почти законченную форму. Поэтому, наверно, так легко и ложились они потом на бумагу.

Я не помню точно его слов, сказанных по этому поводу, но смысл их был таким: «Пишу, говорят, без помарок... Бывают и помарки. А пишу не пером. Пером только отделываю потом...»

Я не раз видел у Есенина его рукописи, особенно запомнились они мне, когда он собирал и сортировал их перед отъездом в Берлин. Они все были с «помарками» (он вез в Берлин и беловые автографы, и гранки, и вырезки — «для сборников»).

Разбирая как-то тонкую пачку, в которой был и листок со стихотворением «Не жалею, не зову, не плачу...», тогда уже опубликованным, Есенин, зажав листок между пальцами и потряхивая им, сказал: «О, моя утраченная свежесть!..» — и вдруг дважды произнес: «Это Гоголь, Гоголь!» Потом улыбнулся и больше не сказал ни слова, погрузившись в разборку рукописей. На мою попытку расшифровать его слова ответил: «Перечитайте «Мертвые души».

Я вспомнил об этом разговоре много лет спустя, наткнувшись во вступлении к 6-й главе «Мертвых душ» на следующие строчки: «...то, что пробудило бы в прежние годы живое движенье в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои недвижные уста. О моя юность! о моя свежесть!»

Над «Пугачевым» Есенин работал много, долго и очень серьезно. Есенин очень любил своего «Пугачева» и был им поглощен. Еще не кончив работу над поэмой, хлопотал об издании ее отдельной книжкой, бегал и звонил в издательство и типографию и однажды ворвался на Пречистенку торжествующий, с пачкой только что сброшюрованных тонких книжечек темно-кирпичного цвета, на которых прямыми и толстыми буквами было оттиснуто: «Пугачев».

Он тут же сделал на одной из них коротенькую надпись и подарил книжку мне. Но у меня ее очень быстро стащил кто-то из есенинской «поэтической свиты». Я заметил эту пропажу лишь тогда, когда Есенин и Дункан уже колесили по Европе. Было очень досадно, тем более что я не запомнил текста дарственной надписи. Такая же участь постигла и книжку, подаренную Есениным Ирме Дункан.

Айседоре на экземпляре «Пугачева» Есенин сделал такую дарственную надпись: «За все, за все, за все тебя благодарю я...» (Есенин любил Лермонтова, прекрасно знал его стихи, и такая интерпретация лермонтовской строки шла не от незнания текста).

В этом экземпляре Есенин подчеркнул заключительные строки:

Дорогие мои... дорогие... хор-рошие...

Я только один раз видел Есенина пишущим стихи. Это было днем: он сидел за большим красного дерева письменным столом Айседоры, тихий, серьезный, сосредоточенный.

Писал он в тот день «Волчью гибель». Когда я через некоторое время еще раз зашел в комнату, он, без присущих ему порывистых движений, как будто тяжело чем-то нагруженный, поднялся с кресла и, держа листок в руках, предложил послушать...

На письменном столе Айседоры лежали «Эмиль» Жан-Жака Руссо в ярко-желтой обложке и крохотный томик «Мыслей» Платона. Томик этот она часто брала в руки и, почитав, надолго задумывалась.

Однажды я видел, как Айседора Дункан, сидя с книжкой на своей кровати, отложила ее и, нагнувшись к полу, чтобы надеть туфлю, подняла руку и погрозила кулаком трем ангелам со скрипками, смотревшим на нее с картины, висевшей на стене.

Впрочем, может быть, этот жест имел свою причину: Айседора утверждала, что один из трех ангелов — вылитый Есенин. Действительно, сходство было большое.

А Есенин, сидя в комнате Айседоры, за ее письменным столом, в странном раздумье, подул несколько раз на огонь настольной лампы и, зло щелкнув пальцем по стеклянной груше, погасил ее.

С Есениным иногда было трудно, тяжело.

Вспоминаю, как той, первой их весной я услышал дробный цокот копыт, замерший у подъезда нашего особняка, и, подойдя к окну, увидел Айседору, подъехавшую на извозчичьей пролетке.

Дункан, увидев меня, приветливо взмахнула рукой, в которой что-то блеснуло. Взлетев по двум маршам мраморной лестницы, остановилась передо мной все такая же сияющая и радостно-взволнованная.

— Смотрите,— вытянула руку. На ладони заблестели золотом большие мужские часы.— Для Езенин! Он будет так рад, что у него есть теперь часы!

Айседора ножницами придала нужную форму своей маленькой фотографии и, открыв заднюю крышку пухлых золотых часов, вставила туда карточку.

Есенин был в восторге (у него не было часов). Беспрестанно открывал их, клал обратно в карман и вынимал снова, по-детски радуясь.

— Посмотрим,— говорил он, вытаскивая часы из кармнчика,— который теперь час? — И удовлетворившись, с треском захлопывал крышку, а потом, закусив губу и запустив ноготь под заднюю крышку, приоткрывал ее, шутливо шепча: — А тут кто?

А через несколько дней, возвратившись как-то домой из Наркомпроса, я вошел в комнату Дункан в ту секунду, когда на моих глазах эти часы, вспыхнув золотом, с треском разбились на части.

Айседора, побледневшая и сразу осунувшаяся, печально смотрела на остатки часов и свою фотографию, выскочившую из укатившегося золотого кружка.

Есенин никак не мог успокоиться, озираясь вокруг и крутясь на месте. На этот раз и мой приход не подействовал. Я пронес его в ванную, опустил перед умывальником и, нагнув ему голову, открыл душ. Потом хорошенько вытер ему голову и, отбросив полотенце, увидел улыбающееся лицо и совсем синие, но ничуть не смущенные глаза.

— Вот какая чертовщина...— сказал он, расчесывая пальцами волосы,— как скверно вышло... А где Изадора?

Мы вошли к ней. Она сидела в прежней позе, остановив взгляд на белом циферблате, докатившемся до ее ног. Неподалеку лежала и ее фотография. Есенин рванулся вперед, поднял карточку и приник к Айседоре. Она опустила руку на его голову с еще влажными волосами.

— Холодной водой? — Она подняла на меня испуганные глаза.— Он не простудится?

Ни он, ни она не смогли вспомнить и рассказать мне, с чего началась и чем была вызвана вспышка Есенина.

Чувство Есенина к Айседоре, которое вначале было еще каким-то неясным и тревожным отсветом ее сильной любви, теперь, пожалуй, пылало с такой же яркостью и силой, как и любовь к нему Айседоры.

Оба они решили закрепить свой брак по советским законам, тем более что им предстояла поездка в Америку, а Айседора хорошо знала повадки тамошней «полиции нравов», да и Есенин знал о том, что произошло в Соединенных Штатах с М. Ф. Андреевой и А. М. Горьким только потому, что они не были «повенчаны».

Ранним солнечным утром мы втроем отправились в загс Хамовнического Совета, расположенный по соседству с нами в одном из пречистенских переулков.

Загс был сереньким и канцелярским. Когда их спросили, какую фамилию они выбирают, оба пожелали носить двойную фамилию — «Дункан-Есенин». Так и записали в брачном свидетельстве и в их паспортах. У Дункан не было с собой даже ее американского паспорта — она и в Советскую Россию отправилась, имея на руках какую-то французскую «филькину грамоту». На последней странице этой книжечки была маленькая фотография Айседоры, необыкновенно там красивой, с глазами живыми, полными влажного блеска и какой-то проникновенности. Эту книжечку вместе с письмами Есенина я передал весной 1940 года в Литературный музей.

— Теперь я — Дункан! — кричал Есенин, когда мы вышли из загса на улицу.

Накануне Айседора смущенно подошла ко мне, держа в руках свой французский «паспорт».

— Не можете ли вы немножко тут исправить? — еще более смущаясь, попросила она.

Я не понял. Тогда она коснулась пальцем цифры с годом своего рождения. Я рассмеялся — передо мной стояла Айседора, такая красивая, стройная, похудевшая и помолодевшая, намного лучше той Айседоры Дункан, которую я впервые, около года назад, увидел в квартире Гельцер.

Но она стояла передо мной, смущенно улыбаясь и закрывая пальцем цифру с годом своего рождения, выписанную черной тушью...

— Ну, тушь у меня есть...— сказал я, делая вид, что не замечаю ее смущения.— Но, по-моему, это вам и не нужно.

— Это для Езенин,— ответила она.— Мы с ним не чувствуем этих пятнадцати лет разницы, но она тут написана... и мы завтра дадим наши паспорта в чужие руки... Ему, может быть, будет неприятно... Паспорт же мне вскоре не будет нужен. Я получу другой.

Я исправил цифру.

Насколько быстро были выполнены все паспортные формальности советскими учреждениями, настолько долго тянули с визами посольства тех стран, над которыми Дункан и Есенину предстояло пролетать.

Отлет с московского аэродрома был назначен на ранний утренний час.

Есенин летел впервые и заметно волновался. Дункан предусмотрительно приготовила корзинку с лимонами:

— Его может укачать, если же он будет сосать лимон, с ним ничего не случится.

В те годы на воздушных пассажиров надевали специальные брезентовые костюмы. Есенин, очень бледный, облачился в мешковатый костюм, Дункан отказалась.

Еще до посадки, когда мы все сидели на траве аэродрома в ожидании старта, Дункан вдруг спохватилась, что не написала никакого завещания. Я вынул из военной сумки маленький голубой блокнот. Дункан быстро заполнила пару узеньких страничек коротким завещанием: в случае ее смерти наследником является ее муж — Сергей Есенин-Дункан.

Она показала мне текст.

— Ведь вы летите вместе,— сказал я,— и, если случится катастрофа, погибнете оба.

— Я об этом не подумала,— засмеялась Айседора и, быстро дописав фразу: «А в случае его смерти моим наследником является мой брат Августин Дункан»,— поставила внизу странички свою размашистую подпись, под которой Ирма Дункан и я подписались в качестве свидетелей.

Наконец супруги Дункан-Есенины сели в самолет, и он, оглушив нас воем мотора, двинулся по полю. Вдруг в окне (там были большие окна) показалось бледное и встревоженное лицо Есенина, он стучал кулаком по стеклу. Оказалось, забыли корзину с лимонами. Я бросился к машине, но шофер уже бежал мне навстречу. Схватив корзинку, я помчался за самолетом, медлен-

но ковылявшим по неровному полю, догнал его и, вбежав под крыло, передал корзину в окно, опущенное Есениным.

Легонький самолет быстро пробежал по аэродрому, отделился от земли и вскоре превратился в небольшой темный силуэтик на сверкающем голубизной небе.

И. Шнейдер

На Есенине был смокинг, на затылке — цилиндр, в петлице — хризантема. И то, и другое, и третье, как будто бы безупречное, выглядело на нем по-маскарадному. Большая и великолепная Айседора Дункан, с театральным гримом на лице, шла рядом, волоча по асфальту парчовый подол.

Ветер вздымал лиловато-красные волосы на ее голове. Люди шарахались в сторону.

— Есенин! — окликнула я.

Он не сразу узнал меня. Узнав, подбежал, схватил мою руку и крикнул:

— Ух ты... Вот встреча! Сидора, смотри кто...

— Qui est ce? * — спросила Айседора. Она еле скользнула по мне сиреневыми глазами и остановила их на Никите, которого я вела за руку.

Долго, пристально, как бы с ужасом, смотрела она на моего пятилетнего сына, и постепенно расширенные атропином глаза ее ширились все больше, наливаясь слезами.

— Сидора! — тормошил ее Есенин.— Сидора, что ты?

— Oh,— простонала она наконец, не отрывая глаз от Никиты.— Oh, oh!..— И опустилась на колени перед ним, прямо на тротуар.

Перепуганный Никита волчонком глядел на нее. Я же поняла все. Я старалась поднять ее. Есенин помогал мне. Любопытные столпились вокруг. Айседора встала и, отстранив меня от Есенина, закрыв голову шарфом, пошла по улицам, не оборачиваясь, не видя перед собой никого,— фигура из трагедий Софокла. Есенин бежал за нею в своем глупом цилиндре, растерянный.

— Сидора,— кричал он,— подожди! Сидора, что случилось?

Никита горько плакал, уткнувшись в мои колени.

---

* Кто это? *(фр.)*

Я знала трагедию Айседоры Дункан. Ее дети, мальчик и девочка, погибли в Париже, в автомобильной катастрофе, много лет тому назад.

В дождливый день они ехали с гувернанткой в машине через Сену. Шофер затормозил на мосту, машину занесло на скользких торцах и перебросило через перила в реку. Никто не спасся.

Мальчик был любимец Айседоры. Его портрет на знаменитой рекламе английского мыла Pears'a известен всему миру. Белокурый голый младенец улыбается, весь в мыльной пене. Говорили, что он похож на Никиту, но в какой мере он был похож на Никиту, знать могла одна Айседора. И она это узнала, бедная.

Н. Крандиевская-Толстая

Через шесть-семь лет я увидел Есенина в Берлине, в квартире А. Н. Толстого. От кудрявого, игрушечного мальчика остались только очень ясные глаза, да и они как будто выгорели на каком-то слишком ярком солнце. Беспокойный взгляд их скользил по лицам людей изменчиво, то вызывающе и пренебрежительно, то, вдруг, неуверенно, смущенно и недоверчиво. Мне показалось, что в общем он настроен недружелюбно к людям. И было видно, что он — человек пьющий. Веки опухли, белки глаз воспалены, кожа на лице и шее — серая, поблекла, как у человека, который мало бывает на воздухе и плохо спит. А руки его беспокойны и в кистях размотаны, точно у барабанщика. Да и весь он встревожен, рассеян, как человек, который забыл что-то важное и даже неясно помнит — что именно забыто им.

Его сопровождали Айседора Дункан и Кусиков.

— Тоже поэт,— сказал о нем Есенин, тихо и с хрипотой.

Около Есенина Кусиков, весьма развязный молодой человек, показался мне лишним. Он был вооружен гитарой, любимым инструментом парикмахеров, но, кажется, не умел играть на ней. Дункан я видел на сцене за несколько лет до этой встречи, когда о ней писали как о чуде, а один журналист удивительно сказал: «Ее гениальное тело сжигает нас пламенем славы».

Но я не люблю, не понимаю пляски от разума, и не понравилось мне, как эта женщина металась по сцене. Помню — было даже грустно, казалось, что ей смертель-

но холодно, и она, полуодетая, бегает, чтоб согреться, выскользнуть из холода.

У Толстого она тоже плясала, предварительно покушав и выпив водки. Пляска изображала как будто борьбу тяжести возраста Дункан с насилием ее тела, избалованного славой и любовью. За этими словами не скрыто ничего обидного для женщины, они говорят только о проклятии старости.

Пожилая, отяжелевшая, с красным, некрасивым лицом, окутанная платьем кирпичного цвета, она кружилась, извивалась в тесной комнате, прижимая ко груди букет измятых, увядших цветов, а на толстом лице ее застыла ничего не говорящая улыбка.

Эта знаменитая женщина, прославленная тысячами эстетов Европы, тонких ценителей пластики, рядом с маленьким, как подросток, изумительным рязанским поэтом являлась совершеннейшим олицетворением всего, что ему было не нужно. Тут нет ничего предвзятого, придуманного вот сейчас; нет, я говорю о впечатлении того тяжелого дня, когда, глядя на эту женщину, я думал: как может она почувствовать смысл таких вздохов поэта:

Хорошо бы, на стог улыбаясь,
Мордой месяца сено жевать!

Что могут сказать ей такие горестные его усмешки:

Я хожу в цилиндре не для женщин —
В глупой страсти сердце жить не в силе —
В нем удобней, грусть свою уменьшив,
Золото овса давать кобыле.

Разговаривал Есенин с Дункан жестами, толчками колен и локтей. Когда она плясала, он, сидя за столом, пил вино и краем глаза посматривал на нее, морщился. Может быть, именно в эти минуты у него сложились в строку стиха слова сострадания:

Излюбили тебя, измызгали...

И можно было подумать, что он смотрит на свою подругу, как на кошмар, который уже привычен, не пугает, но все-таки давит. Несколько раз он встряхнул головой, как лысый человек, когда кожу его черепа щекочет муха.

Потом Дункан, утомленная, припала на колени, глядя в лицо поэта с вялой, нетрезвой улыбкой. Есенин по-

ложил руку на плечо ей, но резко отвернулся. И снова мне думается: не в эту ли минуту вспыхнули в нем и жестоко и жалостно отчаянные слова:

Что ты смотришь так синими брызгами?
Иль в морду хошь?
...Дорогая, я плачу,
Прости... прости...

Есенина попросили читать. Он охотно согласился, встал и начал монолог Хлопуши. Вначале трагические выкрики каторжника показались театральными.

Сумасшедшая, бешеная кровавая муть!
Что ты? Смерть?

Но вскоре я почувствовал, что Есенин читает потрясающе, и слушать его стало тяжело до слез. Я не могу назвать его чтение артистическим, искусным и так далее, все эти эпитеты ничего не говорят о характере чтения. Голос поэта звучал несколько хрипло, крикливо, надрывно, и это как нельзя более резко подчеркивало каменные слова Хлопуши. Изумительно искренно, с невероятной силою прозвучало неоднократно и в разных тонах повторенное требование каторжника:

Я хочу видеть этого человека!

И великолепно был передан страх:

Где он? Где? Неужель его нет?

Даже не верилось, что этот маленький человек обладает такой огромной силой чувства, такой совершенной выразительностью. Читая, он побледнел до того, что даже уши стали серыми. Он размахивал руками не в ритм стихов, но это так и следовало, ритм их был неуловим, тяжесть каменных слов капризно разновесна. Казалось, что он мечет их, одно — под ноги себе, другое — далеко, третье — в чье-то ненавистное ему лицо. И вообще все: хриплый, надорванный голос, неверные жесты, качающийся корпус, тоской горящие глаза — все было таким, как и следовало быть всему в обстановке, окружавшей поэта в тот час.

Совершенно изумительно прочитал он вопрос Пугачева, трижды повторенный:

Вы с ума сошли?

— громко и гневно, затем тише, но еще горячей:

Вы с ума сошли? —

И наконец совсем тихо, задыхаясь в отчаянии:

Вы с ума сошли?
Кто сказал вам, что мы уничтожены?

Неописуемо хорошо спросил он:

Неужель под душой так же падаешь, как под ношею?

И, после коротенькой паузы, вздохнул, безнадежно, прощально:

Дорогие мои...
Хор-рошие...

Взволновал он меня до спазмы в горле, рыдать хотелось. Помнится, я не мог сказать ему никаких похвал, да он — думаю — и не нуждался в них.

Я попросил его прочитать о собаке, у которой отняли и бросили в реку семерых щенят.

— Если вы не устали...

— Я не устаю от стихов,— сказал он и недоверчиво спросил:

— А вам нравится о собаке?

Я сказал ему, что, на мой взгляд, он первый в русской литературе так умело и с такой искренней любовью пишет о животных.

— Да, я очень люблю всякое зверье,— молвил Есенин задумчиво и тихо, а на мой вопрос, знает ли он «Рай животных» Клоделя, не ответил, пощупал голову обеими руками и начал читать «Песнь о собаке». И когда произнес последние строки:

Покатились глаза собачьи
Золотыми звездами в снег —

на его глазах тоже сверкнули слезы.

После этих стихов невольно подумалось, что Сергей Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой «печали полей» *, любви ко всему живому в мире и милосердия, которое — более всего иного — заслужено человеком. И еще более ощутима стала ненужность Кусикова с гитарой, Дункан с ее пляской, ненужность скучнейшего бранденбургского города Берлина, ненужность всего, что окружало своеобразно талантливого и законченно русского поэта.

---

* Слова С. Н. Сергеева-Ценского.

А он как-то тревожно заскучал. Приласкав Дункан, как, вероятно, он ласкал рязанских девиц, похлопав ее по спине, он предложил поехать:

— Куда-нибудь в шум,— сказал он.

Решили: вечером ехать в Луна-парк.

Когда одевались в прихожей, Дункан стала нежно целовать мужчин.

— Очень хороши рошен,— растроганно говорила она.— Такой — ух! Не бывает...

Есенин грубо разыграл сцену ревности, шлепнул ее ладонью по спине, закричал:

— Не смей целовать чужих!

Мне подумалось, что он сделал это лишь для того, чтоб назвать окружающих людей чужими.

Безобразное великолепие Луна-парка оживило Есенина, он, посмеиваясь, бегал от одной диковины к другой, смотрел, как развлекаются почтенные немцы, стараясь попасть мячом в рот уродливой картонной маски, как упрямо они влезают по качающейся под ногами лестнице и тяжело падают на площадке, которая волнообразно вздымается. Было неисчислимо много столь же незатейливых развлечений, было много огней, и всюду усердно гремела честная немецкая музыка, которую можно было назвать «музыкой для толстых».

— Настроили — много, а ведь ничего особенного не придумали,— сказал Есенин и сейчас же прибавил: — Я не хаю.

Затем, наскоро, заговорил, что глагол «хаять» лучше, чем «порицать».

— Короткие слова всегда лучше многосложных,— сказал он.

Торопливость, с которой Есенин осматривал увеселения, была подозрительна и внушала мысль: человек хочет все видеть для того, чтоб поскорей забыть. Остановясь перед круглым киоском, в котором вертелось и гудело что-то пестрое, он спросил меня неожиданно и тоже торопливо:

— Вы думаете, мои стихи — нужны? И вообще искусство, то есть поэзия — нужна?

Вопрос был уместен как нельзя больше,— Луна-парк забавно живет и без Шиллера.

Но ответа на свой вопрос Есенин не стал ждать, предложив:

— Пойдемте вино пить.

На огромной террасе ресторана, густо усаженной веселыми людями, он снова заскучал, стал рассеянным, капризным. Вино ему не понравилось:

— Кислое и пахнет жженым пером. Спросите красного, французского.

Но и красное он пил неохотно, как бы по обязанности. Минуты три сосредоточенно смотрел вдаль; там, высоко в воздухе, на фоне черных туч, шла женщина по канату, натянутому через пруд. Ее освещали бенгальским огнем, над нею и как будто вслед ей летели ракеты, угасая в тучах и отражаясь в воде пруда. Это было почти красиво, но Есенин пробормотал:

— Всё хотят как страшнее. Впрочем, я люблю цирк. А — вы?

Он не вызывал впечатления человека забалованного, рисующегося, нет, казалось, что он попал в это сомнительно веселое место по обязанности или «из приличия», как неверующие посещают церковь. Пришел и нетерпеливо ждет, скоро ли кончится служба, ничем не задевающая его души, служба чужому богу.

М. Горький

Айседора и Есенин занимали две большие комнаты в отеле «Адлен» на Унтер ден Линден. Они жили широко, располагая, по-видимому, как раз *тем* количеством денег, какое дает возможность пренебрежительного к ним отношения. Дункан только что заложила свой дом в окрестностях Лондона и вела переговоры о продаже дома в Париже. Путешествие по Европе в пятиместном «бьюике», задуманное еще в Москве, совместно с Есениным, требовало денег, тем более что Айседору сопровождал секретарь-француз, а за Есениным увязался поэт Кусиков. Автомобиль был единственным способом передвижения, который признавала Дункан. Железнодорожный вагон вызывал в ней брезгливое содрогание; говорят, что она никогда не ездила в поездах.

Айседора вообще была женщина со странностями. Несомненно умная, по-особенному, своеобразно, с претенциозным уклоном удивить, ошарашить собеседника. Эту черту словесного озорства я наблюдала позднее у другого ее соотечественника, блестящего Бернарда Шоу.

Айседора, например, утверждала: «Большинство общественных бедствий оттого, что люди не умеют двигаться. Они делают много лишних и неверных движений».

Мысли эти она развивала в форме забавних афоризмов, словно поддразнивая собеседника. Узнав, что я пишу, она усмехнулась недоверчиво:

— Есть ли у вас любовник, по крайней мере? Чтобы писать стихи, нужен любовник.

Отношение Дункан ко всему русскому было подозрительно восторженным. Порой казалось: пресыщенная, утомленная славой женщина не воспринимает ли и Россию, и революцию, и любовь Есенина, как злой аперитив, как огненную приправу к последнему блюду на жизненном пиру?

Ей было лет сорок пять. Она была еще хороша, но в отношениях ее к Есенину уже чувствовалась трагическая алчность последнего чувства.

Однажды ночью к нам ворвался Кусиков, попросил взаймы сто марок и сообщил, что Есенин сбежал от Айседоры.

— Окопались в пансиончике на Уландштрассе,— сказал он весело,— Айседора не найдет. Тишина, уют. Выпиваем, стихи пишем. Вы смотрите не выдавайте нас.

Но Айседора села в машину и объехала за три дня все пансионы Шарлотенбурга и Курфюрстендама. На четвертую ночь она ворвалась, как амазонка, с хлыстом в руке в тихий семейный пансион на Уландштрассе. Все спали. Только Есенин в пижаме, сидя за бутылкой пива в столовой, играл с Кусиковым в шашки. Вокруг них в темноте буфетов на кронштейнах, убранных кружевами, мирно сияли кофейники и сервизы, громоздились хрустали, вазочки и пивные кружки. Висели деревянные утки вниз головами. Солидно тикали часы. Тишина и уют, вместе с ароматом сигар и кофе, обволакивали это буржуазное немецкое гнездо, как надежная дымовая завеса, от бурь и непогод за окном. Но буря ворвалась и сюда в образе Айседоры. Увидя ее, Есенин молча попятился и скрылся в темном коридоре. Кусиков побежал будить хозяйку, а в столовой начался погром.

Айседора носилась по комнатам в красном хитоне, как демон разрушения. Распахнув буфет, она вывалила на пол все, что было в нем. От ударов ее хлыста летели вазочки с кронштейнов, рушились полки с сервизами. Сорвались деревянные утки со стены, закачались, зазвенели хрустали на люстре. Айседора бушевала до тех пор,

пока бить стало нечего. Тогда, перешагнув через груды че́репков и осколков, она прошла в коридор и за гардеробом нашла Есенина.

— Quittez ce bordel immèdiatement,— сказала она ему спокойно,— et suivez-moi *.

Есенин надел цилиндр, накинул пальто поверх пижамы и молча пошел за ней. Кусиков остался в залог и для подписаниия пансионного счета.

Этот счет, присланный через два дня в отель Айседоре, был страшен. Было много шума и разговоров. Расплатясь, Айседора погрузила свое трудное хозяйство на два многосильных «мерседеса» и отбыла в Париж, через Кельн и Страсбург, чтобы в пути познакомить поэта с готикой знаменитых соборов.

Н. Крандиевская-Толстая

Это было в то время, когда я вместе со своей женой переводил его стихи. Я видел его каждый день то в небольшом особняке Айседоры на улице Помп, то в отеле «Крийон», где супружеская чета спасалась от сложностей домашнего быта. Если в «Крийоне» Есенин производил впечатление человека светского, нисколько не выпадающего из той среды, которая казалась столь мало для него подходящей, то в будничной обстановке маленького особняка он представал передо мной в своем более естественном облике, и, во всяком случае, на мой взгляд, выглядел человеком более интересным и более располагающим к себе. Я имел также возможность с некоторым смущением наблюдать этот союз молодого русского поэта и уже клонившейся к закату танцовщицы, показавшийся мне сначала, как я уже говорил, почти чудовищным. Я думаю, что ни одна женщина на свете не понимала свою роль вдохновительницы более по-матерински, чем Айседора. Она увезла Есенина в Европу, она, дав ему возможность покинуть Россию, предложила ему жениться на ней. Это был поистине самоотверженный поступок, ибо он был чреват для нее жертвой и болью. У нее не было никаких иллюзий, она знала, что время тревожного счастья будет недолгим, что ей предстоит пережить драматические потрясения, что рано или поздно маленький дикарь, которого она хотела воспитать, снова станет самим собой и сбросит с себя, быть может, жестоко

* Покиньте немедленно этот бордель... и следуйте за мной (*фр.*).

и грубо тот род любовной опеки, которой ей так хотелось его окружить. Айседора страстно любила юношу-поэта, и я понял, что эта любовь с самого начала была отчаянием.

Мне вспоминается вечер, когда одновременно раскрылись и драма этих двух людей, и подлинный характер Есенина.

Я пришел, когда они были еще за столом, и застал их в каком-то странном и мрачном расположении духа. Со мной едва поздоровались. Они были поглощены друг другом, как юные любовники, и нельзя было заметить, что они находятся в ссоре. Несколько мгновений спустя Айседора мне рассказала, что слуги отравляют им жизнь, что этим вечером здесь разыгрались отвратительные сцены, которые привели их в смятение. Поскольку его жена показала себя более раздраженной, чем обычно, и утратила то замечательное хладнокровие, то чувство меры, тот ритм, который был основой и ее искусства, и самой ее натуры, что по обыкновению так хорошо воздействовало на поэта, Есенин решил ее подпоить. Никаких дурных намерений у него не было. Я все яснее читал на лице танцовщицы отчаяние, которое обычно она умела скрывать под спокойным и улыбающимся видом. Отчаяние выражалось также и в чисто физическом упадке ее сил.

Внезапно Айседора снова подобралась и, сделав над собой усилие, пригласила нас пройти в ее студию — в тот огромный зал, где находилась эстрада и вдоль стен стояли диваны с подушками. Она попросила меня прочитать только что законченный мной французский перевод «Пугачева», строки которого — это и действующие лица и толпы народа, ветер, земля и деревья. Я прочитал, хотя и неохотно, потому что боялся испортить своей робостью и неважной дикцией великолепную поэму, одновременно резкую и нежную. Айседора, очевидно, не была удовлетворена моей декламацией, потому что тотчас же обратилась к Есенину с просьбой прочитать поэму по-русски. Какой стыд для меня, когда я его услышал и увидел, как он читает! И я посмел прикоснуться к его поэзии! Есенин то неистовствовал, как буря, то шелестел, как молодая листва на заре. Это было словно раскрытие самих основ его поэтического темперамента. Никогда в жизни я не видел такой полной слиянности поэзии и ее творца. Эта декламация во всей полноте передавала его стиль: он пел свои стихи, он вещал их, выпле-

вывал их, он то ревел, то мурлыкал со звериной силой и грацией, которые пронзали и околдовывали слушателя.

В тот вечер я понял, что эти два столь несхожих человека не смогут расстаться без трагедии.

Ф. Элленс

За время пребывания Есенина и Дункан в США мне довелось их видеть еще несколько раз. Однажды Айседора Дункан выступала перед рабочими в убогом театрике, вернее, жалком клубном помещении. Перед состоятельными зрителями, которые могли ходить на дункановские вечера в обширном зале «Карнеги-холл», танцовщица куда полнее сумела раскрыть свое дарование. Но в этом клубе (обычно здесь проводились собрания членов прогрессивных организаций, куда пришли нью-йоркские труженики, танцовщице выступать было трудно — слишком тесна была сцена. Зато рабочие лучше уловили присущее искусству Дункан революционное начало, связь творчества этой актрисы с духом Октября.

По поручению газеты «Новый мир» я присутствовал в клубе — был за кулисами. Здесь же бродил Есенин. Из зала доносились музыка и восторженные аплодисменты.

Поэт показался мне даже более возбужденным, чем в тот день, когда я видел его в отеле. Он не мог спокойно ни сидеть, ни стоять. Меж тем место за сценой, остававшееся в распоряжении Есенина, было совсем маленьким — еще шаг, другой, и его увидели бы из зрительного зала. От немногих людей, которые, как и поэт, находились за кулисами, он не мог (да, видимо, и не хотел) скрыть свои чувства. А лицо Есенина говорило о том, что на душе у него было тяжело.

Впрочем, случилось мне увидеть его и совсем иным.

Однажды он читал стихи рабочим, главным образом выходцам из России, стихи о русской природе и о преобразовании России. Возможно, революционная струя в есенинской поэзии была для этой аудитории даже дороже, чем ее лирическое звучание. Понимая это, он выбирал для чтения стихи, которые позволяли слушателям лучше всего представить себе близость поэту того нового, что происходит на его родине. И тогда на лице Есенина появилось выражение счастья. Это не было простым откликом на радостный гул, которым слушатели встречали его выступление. Поэт, надо думать, почувст-

вовал: собравшимся понятно и дорого то, что творится в его душе.

Впрочем, гораздо чаще мне случалось видеть в Америке Есенина, глубоко ушедшего в свои тайные и какие-то очень горькие думы. И желание понять их суть, как и узнать причины столь активного стремления поэта,— которое я заметил во время первой встречи с ним,— подчеркнуть, что у него нет никакого интереса к Америке, не давало мне покоя. Разумеется, мне трудно было понять тогда, что отношение Есенина к Америке отчасти объяснялось двусмысленностью его положения в этой стране. Большинство американцев, если они и узнали из газет о приезде русского поэта, думали о нем лишь как о муже их соотечественницы. А сколько тягостного и даже оскорбительного было для Есенина в его тщетных попытках добиться издания его стихов на английском языке, в провале надежд на то, что наконец-то он предстанет перед американцами человеком творческим, а не просто молодым спутником Айседоры Дункан, неизвестно на что расходующим свои дни.

В «Новом журнале» рассказывается, что за год до приезда Есенина в Америку Ярмолинский совместно со своей женой, поэтессой и переводчицей Баббет Дейч, издал в переводе на английский язык сборник стихов русских поэтов. Эта антология включала и переводы нескольких есенинских произведений. Узнав об этом, поэт обратился к Ярмолинскому с просьбой издать отдельной книжкой его стихи на английском языке.

По признанию Ярмолинского, это предложение Есенина он «не принял всерьез». Его просто удивила просьба поэта. И переданные ему Есениным рукописи стихов остались лежать без движения.

Между тем Ярмолинский имел возможность привлечь к работе над стихами Есенина многих американских переводчиков, включая ту же Дейч. Осуществить желание поэта было вполне возможно. Видимо, изданию сборника есенинских стихов на английском языке помешало прежде всего то, что творчество советского поэта было чуждо супругам Ярмолинским. Когда несколько лет спустя в США приехал Маяковский, такое же безразличие, даже враждебность проявили эти люди и к нему, другому великому поэту, связавшему свою жизнь со Страной Советов.

Но все же не в обстоятельствах личной жизни Есенина таились главные причины столь удивившего меня вы-

зывающего отсутствия интереса поэта к Америке. Да и точно ли это было равнодушие?

Ответить на мучивший меня вопрос я не имел возможности на протяжении долгого времени. Я мог только удрученно строить догадки, которые сам же был вынужден позднее признать не вполне обоснованными. Но все же в ощущении, создавшемся у меня еще во время первой встречи с Есениным, что из этой страны он хочет бежать без оглядки, была доля правды.

Всю правду я понял только позднее. Но это уж не моя заслуга — вскоре после возвращения из США Есенин опубликовал в «Известиях» цикл очерков, дав ему поразительное по глубине и силе мысли название — «Железный Миргород». Читая их, я понял, что поэт был далек от безразличия к самой крупной на земном шаре арене собственнических страстей. Скорее наоборот, он был потрясен увиденным — и вовсе не просто как вчерашний крестьянин, попавший в царство машин (бытовала в свое время и такая версия). Нет, это было иное чувство — яростная неприязнь к миру буржуазной бездуховности, где человек становится жертвой индустриального кризиса и вызывающей рекламы. Конечно, это ясно всякому читателю «Железного Миргорода». Но я, смею думать, ощутил пафос этой книги с особенной остротой — ведь я видел Есенина в Америке.

М. Мендельсон

Когда белые фартуки носильщиков рассыпались вдоль перрона цепочкой белых пятнышек, встречающие, как по команде, двинулись по платформе: поезд подходил к перрону.

Мы сразу увидели их. Есенин и Дункан, веселые, улыбающиеся, стояли в тамбуре вагона. Спустившись со ступенек на платформу, Айседора, мягко взяв Есенина за запястье, привлекла к себе и, наклонившись ко мне, серьезно сказала по-немецки: «Вот я привезла этого ребенка на его Родину, но у меня нет более ничего общего с ним...»

Но чувства оказались сильнее решений.

Школа отдыхала в Литвинове. Решено было ехать туда.

Раздобыли открытую легковую машину, и обе Дункан, Есенин и я отправились в Литвиново.

По дороге нам попалось коровье стадо. Есенин, увидав стадо, вытянул шею:

— Коровы...

Потом, оглядываясь на нас, быстро заговорил:

— А вот если бы не было коров? Россия и без коров! Ну, нет! Без коровы нет деревни. А без деревни нельзя себе представить Россию.

Все шло благополучно, пока мы мчались по шоссе вдоль железной дороги, но, свернув на Литвиново, машина то и дело стала останавливаться на проселке и наконец, въехав уже в сумерках в лес, села дифером на горб колеи, а затем и совсем отказалась двигаться дальше. Стемнело окончательно. До Литвинова оставалось около трех километров, и я предложил идти пешком. Так и сделали. Идти в темноте было трудно. Неожиданно далеко впереди забрезжили какие-то розовые отблески, резко обозначились черные стволы деревьев.

Это розовое сиянье быстро надвигалось на нас и вдруг прорезало лесную тьму языками пламени, перебегавшими и плясавшими в руках невидимых гномов, несомненно несших в хрустальном гробу Белоснежку... Факелы приближались и, внезапно ринувшись прямо на нас, образовали огненный круг, шумевший, и кричавший, и осветивший радостные лица и сияющие глаза «дунканят» в их красных туниках и со смоляными факелами в руках. Они направились навстречу нам, обеспокоенные долгим отсутствием машины, везшей к ним их Айседору.

А она, как завороженная, смотрела расширившимися, счастливыми глазами на этих загорелых эльфов, окруживших ее в ночном лесу Подмосковья.

Как было хорошо идти всем вместе до Литвинова, войти в просторный дом, убранный пахучими березовыми лозами, сесть за стол, украшенный гирляндами полевых цветов, сплетенными детьми. Как хорошо было утром, когда мы не дали долго спать Айседоре и Есенину: потащили их в парк.

Взволнованно смотрела Айседора на танцующих детей, по-детски радовался их успехам Есенин, хлопая руками по коленкам и заливаясь удивленным смехом.

В Литвинове мы прожили несколько дней. Есенин и Дункан рассказывали о своей поездке. Иногда, вспоминая что-то, взглянув друг на друга, начинали безудержно хохотать.

Когда рассказывали о первом посещении берлинского

Дома искусств в «Кафе Леон», Айседора вдруг, восторженно глядя на Есенина, воскликнула:

— Он коммунист!

Есенин усмехнулся:

— Даже больше...

— Что? — переспросил я.

— В Берлине, в автобиографии, написал, что я «гораздо левее» коммунистов... Эх хватил! А вступлю обязательно!

Каждый день Есенин с удовольствием присутствовал на уроке танца, который Ирма устраивала на зеленой лужайке возле дома. Иногда уходили далеко гулять, возвращались голодные, как волки.

Начались дожди. На дорожках вытянулись, затопив все вокруг, огромные желтые лужи; настроение сразу упало. Иногда казалось, сейчас посветлеет, вырвется из туч золотой шар и зажжет на деревьях зеленые искры, но дождь затянул косой сеткой парк, белые развалины барского дома, серые сараи и намокшие, потемневшие крыши деревенских изб. Через три дня мы с зонтами молча усаживались в раздобытые экипажи, чтобы ехать на станцию.

Но в сухом, светлом и теплом вагоне все снова ожили и проговорили до самой Москвы. Радостные, оживленные, вернулись Дункан и Есенин на Пречистенку. Казалось, ничто не предвещало бурю.

Но случилось так, что через несколько дней между Есениным и Дункан произошла размолвка. Есенин исчез.

Айседора затихла и безропотно подчинилась взбунтовавшейся Ирме, которая настойчиво потребовала от меня, чтобы мы втроем немедленно отправились в Кисловодск: «Айседора серьезно больна, и ей необходимо курортное лечение».

Потрескивали ремни и хлопали сундучные крышки — Ирма хозяйничала, собирая Айседору в дорогу.

Айседора была обижена на Есенина. Ею опять овладела мысль о неизбежном конце их отношений...

Я объявил «моим дамам», что смогу выехать в Кисловодск только через три дня, а они вдвоем выедут в Минеральные Воды завтра к вечеру скорым поездом. Сам я был занят мыслью: как и где разыскать Есенина? Не знаю, было ли это сентиментальностью или отзвуком чего-то пережитого, но я буквально страдал в этот вечер за Есенина, представляя, что он почувствует, явившись через несколько дней, найдя комнаты опустевшими и уз-

нав, что Айседора где-то на Кавказе. Но главное было в другом: ведь Есенина, собственно говоря, не уберегли...

Мы, люди, жившие так близко рядом с Есениным, мы, конечно, понимали, что он большой, выдающийся поэт, но всего величия Есенина, всего его будущего значения для всей русской литературы мы еще не осознавали. Повторяю — слишком близко общались с ним, а «большое видится на расстоянье...». Но интуитивно, не только такие рядовые люди, как я, но и такие, как Маяковский, всегда старались как-то оградить его, уберечь... Так же было и в этом случае.

Я попросил дворника, швейцара и завхоза помочь мне и разослал их во все места, где только мог быть Есенин, дав задание во что бы то ни стало привезти его.

Дамы ничего об этом не знали и продолжали укладываться. Ирма заявила мне, что, если Есенин и появится, Айседора не должна его видеть. Айседора молчала, по-видимому, соглашаясь и с этим тяжелым требованием.

Первым возвратился дворник Филипп Сергеевич, имевший почему-то обыкновение разговаривать со мной, присев на корточки и подперев лицо кулаками.

— Нашел... Тверезый...— И, опустившись на корточки, удовлетворенно добавил: — Сейчас будут,— после чего последовал длинный выдох и устремленный на меня снизу вверх выжидательный взгляд.

Я пошел посмотреть, что делает Айседора, но едва я вошел в ее комнату, как кто-то прибежал с сообщением о том, что приехал Есенин.

Айседора метнулась в комнату Ирмы, и та тотчас же заперла за ней дверь. Но она забыла о двери из «гобеленового коридора».

Я встретил Есенина в вестибюле. Он выглядел взволнованным.

— Айседора уезжает,— сказал я ему.

— Куда? — нервно встрепенулся он.

— Совсем... от вас.

— Куда она хочет ехать?

— В Кисловодск.

— Я хочу к ней.

— Идемте.

Я тихо нажал бронзовую ручку и так же тихо отворил дверь. Айседора сидела на полукруглом диване, спиной к нам.

Она не услыхала, как мы вошли в комнату.



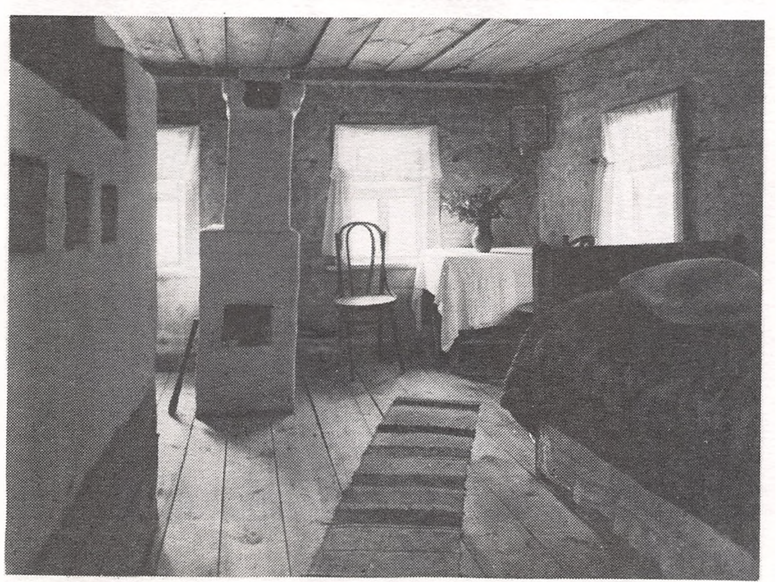


На приокских просторах.
Дом-музей С. А. Есенина.



Александр Никитич и Татьяна Федоровна Есенины — отец и мать поэта. 1905 г.





Среди односельчан. 1909 г.
В избе-времянке.



«В роще по березкам белый перезвон».





«В холмах зеленых табуны коней...»

Второклассная учительская школа в Спас-Клепиках. Здесь жил С. Есенин.



С. Есенин. 1913 г.



С Сергеем Митрофановичем Городецким.
Петроград, 1915 г.

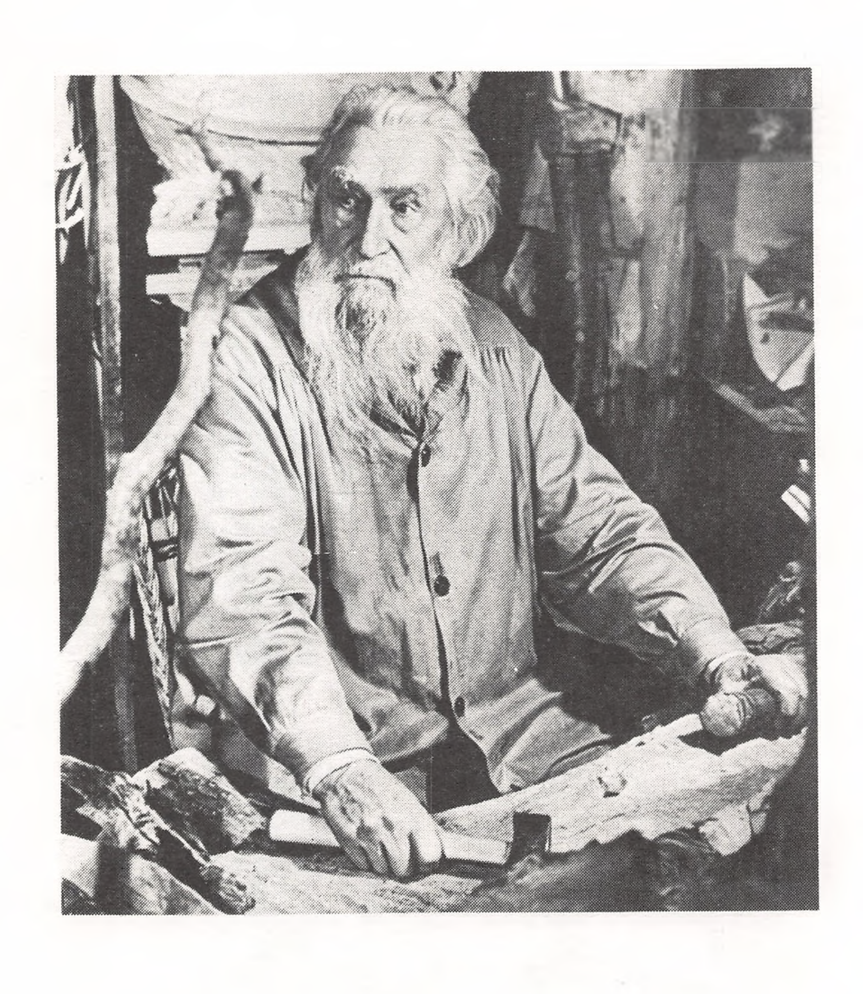


С. Есенин. 1914 г.



С. Есенин. Петроград, 1916 г.

С Николаем Алексеевичем Клюевым.
Петроград, 1916 г.



Сергей Тимофеевич Коненков.



С Айседорой Дункан и ее приемной дочерью Ирмой.
1922 г.



Зинаида Николаевна Райх
со своими детьми Костей и Таней.



Августа Леонидовна Миклашевская.



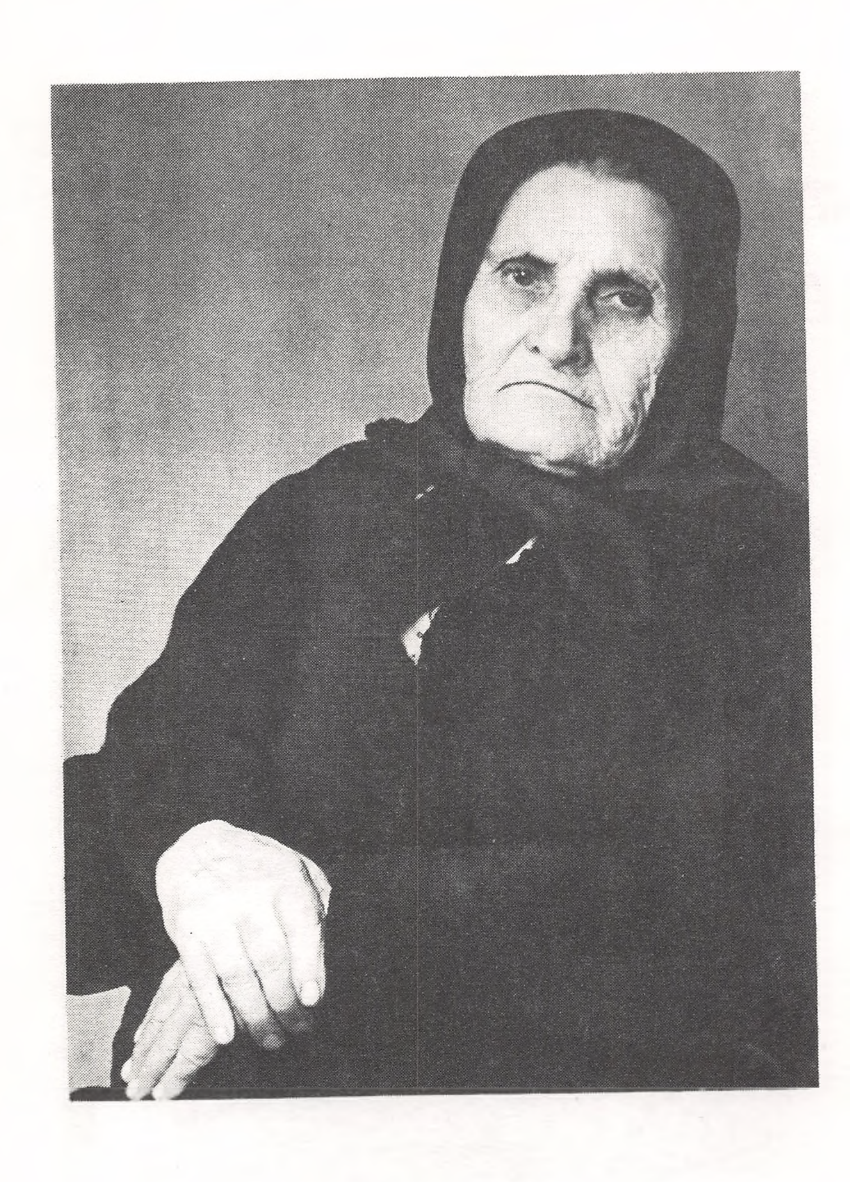




Василий Иванович Качалов.
Дмитрий Андреевич Фурманов.
В. Наседкин, А. Есенина, Е. Есенина (сидит),
А. Сахаров, С. Есенин, С. Толстая-Есенина. 1925 г.



С Петром Ивановичем Чагиным. Баку, 1924 г.



Татьяна Федоровна Есенина
(конец сороковых годов).

Есенин тихо подошел сзади и, опершись о полочку на спинке дивана, наклонился к Дункан:

— Я тебя очень люблю, Изадора... очень люблю,— с хрипотцой прошептал он.

...Было решено, что Есенин поедет в Кисловодск вместе со мной через три дня. Ему были предъявлены «твердые требования»: ночевать эти дни здесь, на Пречистенке. Он принял их, не задумываясь, беспечно улыбаясь и не сводя с Айседоры радостных глаз:

— Завтра проводим вас в Кисловодск, а там и мы с Ильей Ильичом подъедем!

На другой день мы с Есениным проводили Айседору и Ирму в Кисловодск. Айседора собиралась выступить в Минеральных Водах, а потом совершить небольшое турне по Закавказью.

В первый вечер Есенин в самом деле рано вернулся домой, рассказывал мне о непорядках в «Лавке писателей», ругал своего издателя, прошелся с грустным лицом по комнате, где все напоминало об Айседоре, поговорил со мной и о деле, владевшем его мыслями: он считал крайне необходимым, чтобы поэты сами издавали собственный журнал.

На следующий день прибежал в возбужденном состоянии и объявил:

— Ехать не могу! Остаюсь в Москве! Такие большие дела! Меня вызвали в Кремль, дают деньги на издание журнала!

Он суматошно метался от ящиков стола к чемоданам:

— Такие большие дела! Изадоре я напишу. Объясню. А как только налажу все, приеду туда к вам!

Вечером он опять не пришел, а ночью вернулся с целой компанией, которая к утру исчезла вместе с Есениным, сильно облегчившим свои чемоданы: он щедро раздавал случайным спутникам все, что попадало под руку.

На следующий день Есенин пришел проститься — чемоданы были почему-то обвязаны веревками...

— Жить тут один не буду. Перееду обратно в Богословский,— ответил он на мой вопрошающий взгляд.

— А что за веревки? Куда девались ремни?

— А черт их знает! Кто-то снял.

И он ушел. Почти навсегда.

И. Шнейдер

10 мая 1922 года Сергей уехал за границу, а в августе этого же года сгорел наш дом...

Стояла жаркая солнечная погода. Знойный ветер не приносил прохлады, а лишь поднимал волны сухого, горячего воздуха, выдувал остатки влаги из земли, палил растения, высушивал ручьи и пруды.

Пользуясь сухой погодой, крестьяне торопились с уборкой хлеба, и почти все трудоспособное население было в поле. В такие дни к полудню на селе становится тихо и безлюдно.

Тишину нарушает лишь поскрипывание колес и фырканье лошадей, медленно везущих телеги, нагруженные ржаными снопами. Все живое прячется от нестерпимо палящих лучей во дворы, в дома. Лишь куры с открытыми от жары клювами с удовольствием зарываются в раскаленную мягкую дорожную пыль или, разбросав крылья, нежатся на солнцепеке около двора.

Ребятишки толпами отправляются на речку купаться и барахтаются в воде до тех пор, пока не посинеют. В такие горячие дни на реке часто тонут.

У реки в эти часы спасается от жары и скот. Коровы, стоя по брюхо в воде, лениво жуют свою жвачку, спугивая хвостом назойливых мух и оводов. Овцы собираются в кружок и прячут свои головы друг под друга. Свиньи, вырыв носом яму поближе к воде, принимают грязевую ванну.

Вот в такой знойный день 3 августа нерадивый хозяин, сгружая в ригу снопы, обронил искру от самосада.

За несколько минут его рига превратилась в гигантский костер. Огненные языки, колеблемые ветром, метались из стороны в сторону, злобно набрасываясь на все окружающее. Густой черный дым со снопами искр и пуками горящей соломы высоко поднимался к небу и, подхваченный порывом ветра, далеко разносился вдоль села. Подгоняемые ветром пуки соломы рассыпались, падали на крыши, попадающиеся им на пути, и с шипением и свистом возникал новый очаг пожара.

Даже в тихую погоду во время пожара поднимается ветер, а в ветреную поднимается буря, разбрасывающая огонь во все стороны. Такая буря поднялась и 3 августа.

Погасить огонь люди были не в силах, и за два-три часа, шагая в шесть рядов, он уничтожил около 200 построек. Горели дома, амбары, наполненные хлебом риги.

Непрерывные удары колоколов, вопли баб, крики детей, треск и грохот разваливающихся стен и крыш, беготня людей, пытающихся спасти свои вещи и бесцельно пытающихся остановить огонь, тучи дыма, выедающего глаза и застилающего солнце, нестерпимая жара, не дающая дышать, все это представлялось мне адом.

Вещи, которые кое-кто успел вытащить из домов, горели на улице, и подойти к ним было невозможно. Огонь распространялся с такой быстротой и силой, что многие, прибежав с поля, заставали свои дома уже догорающими. Как разъяренный зверь, разбушевавшийся огонь наступал до тех пор, пока на его пути не осталось построек.

А на следующее утро, когда ночная прохлада остудила раскаленную землю, с красными глазами от слез и едкого дыма, который еще просачивался из недогоревших и потрескивающих бревен, бродили по пожарищам измученные и похудевшие за одну ночь погорельцы, собирая оставшийся после пожара железный лом: ухваты, петли и ручки от дверей и окон, изуродованные кастрюльки и миски, горелые гвозди и ножи. В хозяйстве все пригодится. Хозяйки разыскивали в стаде овец, не нашедших своего дома и ночевавших неизвестно где, собирали уцелевших и сразу одичавших кур.

В это утро по своему пожарищу бродили и мы. Вместо нашего дома остался лишь битый кирпич, кучи золы и груды прогоревшего до дыр, исковерканного и ни на что не пригодного железа.

Мы также собирали и стаскивали в одну кучу оставшиеся вынесенные из дому и на улице обгоревшие от жары вещи, среди которых были книги и рукописи Сергея (часть их находится сейчас в Институте мировой литературы).

В этом доме были проведены самые благополучные и спокойные годы жизни нашей семьи. С этим домом у нас связаны лучшие воспоминания, и, вспоминая нашу прошлую жизнь, мы всегда представляем ее себе именно в этом доме.

Это была простая деревенская изба, размером в 9 кв. аршин. Ее внутреннее расположение было удобно, а с улицы она выглядела очень красивой. Наличники, карниз и светелка на крыше были причудливо вырезаны и выкрашены белой краской; железная крыша, водосточные трубы и обитые тесом углы дома, срубленного в лапу, выкрашенные зеленой краской, делали ее нарядной.

Три передние окна выходили в сторону церкви, и в пролет между церковной оградой и поповским домом из наших окон был виден синеющий вдали лес, излучина Оки и заливные луга.

В доме у нас было чисто и уютно. Двери, перегородки, оконные рамы и наличники выкрашены белой краской, на окнах белые, с кружевными прошивками шторы.

В передней комнате, так называемом «зале», стоял посудный разборный шкаф, с деревянными дверками внизу и стеклянными наверху, стол с откидными крышками и шесть венских стульев. На стенах висели семейные портреты, похвальный лист Сергея, зеркало, часы с боем фирмы Габю, на полу веером расстелены полосатые домотканые половики.

В переднем «красном» углу висели иконы и перед ними лампада. В предпраздничные вечера ее зажигали, и, когда все вымыто и вычищено, тусклый свет от нее придавал особенный покой.

В правой стороне этой комнаты стояла голландка, или, как ее у нас называют, «лежанка». Она и рядом с ней посудный шкаф отделяли зал от спальни. В спальне стояла лишь одна большая кровать, больше ничего, пожалуй, не уставилось бы. Войти в эту комнату можно было через «зал» и через кухню. Слева от входной двери была прихожая. Здесь вполне можно было отгородить еще одну комнату, но почему-то это не было сделано. Иногда зимой в ней помещали новорожденных телят и поросят.

Этот дом, выстроенный на заработанные тяжелым трудом деньги, очень любил наш отец. Более тридцати лет, с тринадцатилетнего возраста до самой революции, отец проработал мясником у купца. Нелегка работа мясника. Нужно обладать большой физической силой, чтобы поднимать мясные туши и целыми днями махать десятифунтовой тупицей, разрубая эти туши на маленькие куски.

Исключительно честный, он был вежлив и выдержан с хозяином и покупателями, пользовался большим уважением и был назначен старшим продавцом. Дом был его единственной собственностью, куда он, прожив всю жизнь в людях, вкладывал каждую копейку. Он вез из Москвы венские стулья, часы, рамки для портретов, чайную посуду. Он надеялся спокойно дожить свою жизнь в этом доме. Так оно и случилось. Во время революции лавка купца Крылова перешла в государственную соб-

ственность, и отец остался в ней работать продавцом. Но наступила гражданская война. Начался голод, мяса не было, и лавку закрыли. В городе отцу больше делать было нечего и, он вернулся в деревню.

С приездом его в доме у нас появилась железная кровать, выкрашенная серебряной краской, низенькая, с прутиками на спинках, без матраца и сетки, светлый, покрытый лаком сундук и икона с изображением двенадцати праздников. Это было все, что смог отец нажить за долгие годы тяжелого труда. Впрочем, на дне сундука лежал один десятирублевый золотой, который отец впоследствии продал соседу, а на вырученные деньги купил лошадь.

Слабосильный, с молодых лет страдающий астмой, с детских лет переносивший житейские невзгоды, он вернулся домой больным человеком.

Нелегка жизнь для него была и в деревне. Прожив всю жизнь в городе, приезжая домой только в отпуск, он не знал крестьянской работы, а привыкать к ней в этом возрасте было уже нелегко. Он не умел ни косить, ни пахать, ни молотить. Даже лошадь запрячь не умел. Да и сил у него не было. Все сильнее и сильнее его мучила астма, он тяжело дышал, и его бил отчаянный кашель. Дважды он покупал лошадей и пытался работать на них, но, не умея выбирать их, одну он купил еле передвигающую ноги, а вторую чересчур бойкую, которая вылезала из оглобель и везла телегу задом. Да и работать отцу на лошади было трудно. Он мог лишь ухаживать за скотиной. Давал коровам и овцам корм, менял подстилку, зимой водил коров на речку поить. Животные так привыкли к нему, что больше признавать никого не хотели и без него их загнать из стада во двор было трудно.

Сознавая свою неприспособленность и слабосилие, отец чувствовал себя не на своем месте и ходил всегда грустный. Целыми часами сидел он у окна, опершись на руку, и смотрел вдаль.

Мать наша, прожившая почти всю жизнь в деревне, всегда занятая домашними делами, не могла понять, как можно сидеть вот так без дела и о чем-то думать. Заметив его, сидящего у окна, она часто потихоньку ворчала: «Опять утюпился в окно». Ее раздражала задумчивость и молчаливость отца, а он, часто отойдя от окна, вдруг запоет: «Помяни мя, господи, егда приидеши во царствии твоем...» Он не был особенно верующим и в церковь

ходил очень редко. Шутя он как-то сказал: «Что такое: как ни приду в церковь, все «Христос воскресе» поют».

Образование у нашего отца было только сельское, трехклассное, читал он в основном газеты, книги же читал редко. В творчестве Сергея отцу было не все понятно, особенно стихи периода имажинизма и маленькие поэмы революционных лет.

Однажды в разговоре с Сергеем он задал ему вопрос: «Кому нужны твои стихи? Кто их понимает?» Улыбнувшись, Сергей ответил: «Э, папаша, меня поймут через сто лет».

Отец во всем любил порядок и был очень чистоплотен. Ему не нравилось, когда трогали его вещи, вплоть до мелочей, вроде чернил или карандаша. Для каждой вещи он отводил свое место, и, если кто-нибудь перекладывал что-либо, отец очень сердился. У него был отдельный сундук, который он всегда запирал, и ключ носил в кармане. Прожив много лет среди чужих людей, у него это вошло в привычку.

Отец наш был худощавый, среднего роста. Светлые волосы и небольшая рыжеватая борода были аккуратно подстрижены и причесаны. В голубых выразительных глазах отца всегда можно было прочитать его настроение. Он не был многословным человеком, но его глаза всегда выражали то, что он думает. Он редко и кратко ругал нас и никогда не бил, если мы провинимся, но так посмотрит, что лучше бы побил.

Тяжелая жизнь наложила на эти глаза глубокий отпечаток, и в них иногда было столько грусти и тоски, что хотелось приласкать его и сделать для него что-либо приятное. Но он не был ласков, редко уделял нам внимание, разговаривал с нами как со взрослыми и не допускал никаких непослушаний. Но зато когда у отца было хорошее настроение и он улыбался, то глаза его становились какими-то теплыми, лучистыми, и в углах глаз собирались лучеобразные морщинки. Его улыбка была заражающей. Посмотришь на него улыбающегося — и невольно становится весело и тебе.

Такие же глаза были у Сергея.

Отец очень хорошо и красочно умел рассказывать разные истории или смешные случаи из жизни и при этом смеялся только глазами, в то время как слушающие покатывались от смеха.

Иногда он пел. У него был хороший слух, и мальчиком лет двенадцати-тринадцати он пел дискантом

в церковном хоре на клиросе. Теперь у него был слабый, но очень приятный тенор. Больше всего я любила слушать, когда он пел песню «Паша, ангел непорочный, не ропщи на жребий свой...». Слова этой песни, мотив, отцовское исполнение — все мне нравилось. Эту песню пела у нас и мать, пели ее и мы с сестрой, но отец эту песню пел лучше всех. Слова этой песни Сергей использовал в «Поэме о 36». В песне поется:

Может статься и случиться,
Что достану я киркой,
Дочь носить будет сережки,
На ручке перстень золотой...

У Сергея эти слова вылились в следующие строки:

Может случиться
С тобой
То, что достанешь
Киркой,
Дочь твоя там,
Вдалеке,
Будет на левой
Руке
Перстень носить
Золотой...

В 1922—1923 годах Сергей был за границей. Без его денежной помощи родители наши построить новый дом не могли. Отсутствие отцовского заработка, болезнь отца и неприспособленность к крестьянской жизни, голод 1920—1921 годов и, наконец, пожар привели наше хозяйство к сильному упадку. А Сергей из-за рубежа не мог помочь нам. В письме к Кате он писал: «Во-первых, Шура пусть этот год будет дома, а ты поезжай учиться. Я тебе буду высылать пайки, ибо денег послать очень трудно...» И в конце: «Отцу и матери тысячу приветов и добрых пожеланий. Им я буду высылать тоже посылки...»

Отец с матерью, получив страховку за сгоревший дом, купили маленькую шестиаршинную избушку и поставили ее в огороде, чтобы до постройки нового дома иметь хоть какой-нибудь, но свой угол. В этой избушке мы прожили до начала 1925 года, так как строиться стали только после приезда Сергея из-за границы.

Все здесь было бедно и убого. Почти половину избы занимала русская печь. Небольшой стол для обеда, три стула, оставшиеся от пожара, и кровать. Но стоило распахнуть маленькое оконце — и перед глазами вставала

чудесная картина. Кругом яблони и вишни. Сидя у окна, чувствуешь себя как в сказке. Отойдешь, и еще какое-то время тебя не покидает это сказочное ощущение.

Своего яблоневого сада у нас не было. В 1921 году отец купил и посадил несколько молодых яблонек, но во время пожара они все погибли, за исключением одной, которая стояла теперь перед окнами домика. Но по обе стороны нашего огорода у соседей были прекрасные многолетние сады с раскидистыми яблонями, свешивающими свои ветви на наш огород. У нас же по всему участку росли ползучие вишни, которые доставляли много хлопот нашим родителям: им нужна земля под картошку. Нам, детям, много огорчений приносила вырубка сада и вспахивание его сохой или плугом. В стихотворении «Письмо к сестре» Сергей описывает эти переживания:

Ах, эти вишни!
Ты их не забыла?
И сколько было у отца хлопот,
Чтоб наша тощая
И рыжая кобыла
Выдергивала плугом корнеплод.

Отцу картофель нужен.
Нам был нужен сад,
И сад губили,
Да, губили, душка!
Об этом знает мокрая подушка
Немножко... Семь...
Иль восемь лет назад.

Но цепкие растения с каждым годом ползли все дальше и дальше, упорно отвоевывая себе право на жизнь. Стоявший на огороде амбар кругом зарос вишневыми кустами, а за ним была уже целая вишневая роща, сквозь которую трудно было пробраться.

Непередаваемо хороши были эти сады, когда они цвели. Бывало, выйдешь из дому в сумерки или ранним утром — все бело на розовом фоне заката или утренней зари. Тишина. Залюбуешься этой красотой и забудешь о всех житейских невзгодах и заботах. Тебя охватывает какая-то грусть, не тяжелая, и нет желания уйти от нее.

Но неприятно и страшно в этих садах ненастными темными осенними ночами. Ветер, качающий деревья, не только шумит, а как-то воет, и того и гляди, что в этой тьме кромешной повстречаешься с нечистой силой.

Жили мы по-гоголевски — с чертями, колдуньями, с приметами, поверьями. Говорили, если сбросишь нож в вихревой столб пыли, то когда пронесется вихрь — нож найдешь весь в крови. Вихрь — это игра нечистой силы.

Если к тебе в дом идет колдунья,— воткни нож под крышку стола, и она ни за что не войдет.

Но колдуньи наши были не злые, а скорее веселые озорницы. Мать говорила: «Не приведи бог в полночь оказаться на перекрестке дорог, в это время они все с распущенными волосами, в длинных белых рубашках собираются и пляшут на перекрестках и, если попадешься им, защекочут насмерть. Ночью, подходя к перекрестку, читай молитву: «Да воскреснет бог и расточатся врази его». Тогда ни одна колдунья тебя не тронет. Боятся они этой молитвы».

Сергей этим сказкам, конечно, не верил, и мама рассказывала, как однажды, будучи еще совсем молодым, он захотел доказать ей, что никаких колдунов нет. Летним вечером он надел ее поддевку и отправился ночевать к соседскому амбару. У этого амбара скрещивались дороги: одна, идущая вдоль села, и другая — от церкви к Алексеевке (Алексеевка — это поселок за селом, через который проходила дорога к кладбищу). Мама уговаривала его не ходить на такое страшное дело, но никакие уговоры не помогли. А утром, на заре, когда бабы шли к коровам, он, прозябший, улыбающийся и невредимый, вернулся домой.

Вероятно, под впечатлением этих легенд Сергеем было написано стихотворение «Колдунья»:

Косы растрепаны, страшная, белая,
Бегает, бегает, резвая, смелая.
Темная ночь молчаливо пугается,
Шалями тучек луна закрывается.
Ветер-певун с завываньем кликуш
Мчится в лесную дремучую глушь.
Роща грозится еловыми пиками,
Прячутся совы с пугливыми криками.
Машет колдунья руками костлявыми.
Звезды моргают из туч над дубравами
Серьгами змеи под космы привешены,
Кружится с выогою страшно и бешено.
Пляшет колдунья под звон сосняка.
С черною дрожью плывут облака.

И как-то непонятно, зачем нашей матери нужно было запугивать нас нечистой силой. Вероятно, по традиции,

так как сама она не боялась ни чертей, ни колдунов, ни даже воров, которые в те времена очень часто забирались в дома и грабили. Живя одна с маленькими детьми, заслышав ночью подозрительные шорохи в сенях или на чердаке, вставала с постели, зажигала керосиновую лампу и выходила проверить, нет ли там кого-либо.

Как-то раз я спросила ее: «Как ты не боишься лезть на чердак, ведь тебя могут ударить по голове и убить». Она, улыбаясь, ответила: «Меня нельзя убить, я с лампой. Будет пожар».

Несколько лет в этом маленьком домике мы жили втроем: отец, мать и я. Катя жила и училась в Москве. Жизнь у нас шла тихо и однообразно, особенно зимой. Рано ложились спать, рано вставали и принимались за те же дела, что и в предыдущие дни: топили печи, ухаживали за скотиной, убирали дом, носили воду. «Грустно стучали дни, словно дождь по железу...» Редко кто из соседей заходил к нам, еще реже мои родители ходили к кому-нибудь из них. Мать не любила давать что-нибудь в долг, так как знала, что возьмут и сломают или совсем не вернут, и сама обращалась с просьбами только в крайних случаях. Я много раз слышала от нее пословицу «Ложись без хлеба, вставай без долга». Этой пословицы она и старалась придерживаться.

Она не была строга, хотя никогда и не ласкала нас, как другие матери: не погладит по голове, не поцелует, так как считала это баловством. И когда у меня были уже свои дети, она часто говорила мне: «Не целуй ребенка, не балуй его. Если хочешь поцеловать, так поцелуй, когда он спит». Нищему она не подаст больше гривенника, но если к человеку пришла беда, то она одна из первых придет к нему на помощь.

В годы гражданской войны в селе свирепствовали тиф и холера. В редком доме не было больных. Люди не ходили туда, где кто-нибудь болел, умерших в церковь не вносили, а отпевали в часовне, при закрытых гробах.

Мать наша не думала в то время о себе, она навещала больных и помогала, чем могла. Для больного у нее всегда находилось что-нибудь сладкое или кисленькое. Кому даст варенья, кому клюквы, кому сдобный сухарь. Все это она всегда берегла «про всякий случай». Сама не съест, а отдаст больным. Для них она ничего не жалела. И удивительно, как будто за ее доб-

роту, нас минула беда: в нашей семье никто не заболел в те годы.

Очень жалела мать сирот и часто кормила и обмывала их.

Живя долгие годы только с маленькими детьми, она привыкла разговаривать вслух. Ее привычка всегда смешила отца, и как-то он сказал мне: «Пойди послушай, как мать с чертом разговаривает».

Наша мать была неграмотная и всю жизнь об этом жалела. Уже будучи пожилой женщиной, она пыталась ходить в ликбез, но старческие руки плохо слушались, и, несмотря на большое желание, научилась она только расписываться и едва читать по складам.

Когда мы учились, она следила за тем, чтобы мы делали уроки, а если мы читали художественную литературу, она ворчала: «Опять пустоту листаешь. Читала бы нужную книжку, а то ерундой занимаешься». И сама же она бессознательно прививала нам любовь к литературе. С раннего детства мы слышали от нее прекрасные сказки, рассказывать которые она была большая мастерица, а когда мы подрастали, то выясняли, что часто пела она переложенные на музыку стихи Пушкина, Лермонтова, Никитина и других поэтов. Она обладала хорошей памятью, и, слушая, как разучивают стихи ее дети, она запоминала их и иногда читала вслух.

До сих пор я помню, как, сидя на донце за куделью, она читала мне стихотворение:

Вышел внук на пашню
К деду босиком,
Улыбнулся и промолвил:
— Здравствуй, дедушка Пахом..

или:

Лесом частым и дремучим
По тропинкам и холмам
Ехал всадник, пробираясь
К светлым невским берегам...

А. Есенина

1923 г.

По возвращении из-за границы Есенин перевез свое небольшое имущество в Богословский переулок, в комнату, где он обитал раньше.

Здесь он в первый раз читал своим друзьям «Москву кабацкую».

Комната долгое время оставалась неприбранной: в беспорядке были разбросаны его американские чемоданы, дорожные ремни, принадлежности туалета, части костюма.

На окне бритва и книги: «Антология новейшей русской поэзии» на английском языке и Илья Эренбург «Гибель Европы».

Есенин по адресу Эренбурга:

— Пустой. Нулевой. Лучше не читать.

Прошло два или три дня после возвращения Есенина на родину. В эти дни я почти не расставался с ним.

Вечером мы у памятника Пушкина. Берем извозчика, покупаем пару бутылок вина и направляемся к Зоологическому саду, в студию Коненкова.

Чтобы ошеломить Коненкова буйством и пьяным видом, Есенин, подходя к садику коненковского дома, заломил кепку, растрепал волосы, взял под мышку бутылки с вином и, шатаясь и еле выговаривая приветствия, с шумом ввалился в переднюю.

После вскриков удивления и объятий, после чтения «Москвы кабацкой» Коненков повел нас в мастерскую.

Сергей хвалил работы Коненкова, но похвалы эти были холодны.

Вдруг он бросается к скульптору, чтобы поцеловать ему руки.

— Это гениально! Это гениально! — восклицает он, показывая на портрет жены скульптора.

Как почти всегда, он и на этот раз не мог обойтись без игры, аффектации, жеста.

Но работа Коненкова, столь восторженно отмеченная Есениным, была, пожалуй, самой лучшей из всех его вещей, находившихся в мастерской.

«Стойло Пегаса».

Сергей показывает правую руку; на руке что-то вроде черной перчатки: чернила.

— В один присест написал статью об Америке для «Известий». Это только первая часть. Напишу еще ряд статей.

Ряда статей он, как известно, не написал. Больше не упоминал об этих статьях.

Осень.

У Есенина наступает временный перерыв в творчестве.

Он хочет заняться редактированием и переделкой старой литературы для широких читательских масс.

Встретив меня в «Стойле Пегаса», сообщает:

— Я начинаю работать над Решетниковым. Подготовляю Решетникова для Государственного издательства.

Осень. Ранним утром я встречаю Есенина на Тверской: он несет целую охапку книг: издания «Круга». Так и несет, как охапку дров. На груди. Обеими руками.

Без перчаток. Холодно.

Вечером того же дня в «Стойле Пегаса» он говорит мне:

— Я занимаюсь просмотром новейшей литературы. Нужно быть в курсе современной литературы. Хочу организовать журнал. Буду издавать журнал. Буду работать, как Некрасов.

И. Грузинов

Я встречал Есенина довольно часто в Клубе поэтов на Тверской улице, ныне улица Горького, в Книжной лавке поэтов, в проезде Художественного театра. Есть люди, видевшие Есенина в тяжелые для него и для окружающих минуты; мне посчастливилось — я никогда не видел его потерявшим человеческое достоинство. Но в одной встрече было что-то горестное. Он только что возвратился из поездки в Америку. Близость его к Айседоре Дункан, американская поездка создали нездоровую сенсацию вокруг поэта. В ту пору при Московском Камерном театре Таиров создал нечто вроде мюзик-холла — артистическое кабаре под названием «Эксцентрион». Здесь собирались актеры, художники, литераторы, новинкой был вывезенный из-за границы танец «шимми», и мы увидели грузную, в открытом голубовато-зеленом платье, немолодую женщину — Айседору Дункан, танцующую в паре с Таировым. Далеко за полночь пришел Есенин, он почему-то был во фраке, очевидно для того, чтобы поразить нас, но эта одежда воспринималась именно как маскарадный костюм; мне помнится, он всячески старался показать свое пренебрежение к этой парадной одежде. Озорно, по-мальчишески,

он вытирал фалдами фрака пролитое вино на столе, и, когда теперь, перечитывая Есенина, я нахожу строки:

> К черту я снимаю свой костюм английский.
> Что же, дайте косу, я вам покажу —
> Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий,
> Памятью деревни я ль не дорожу? —

я вспоминаю ту давно минувшую ночь и Есенина в одежде, которая на этот раз ему совсем не шла и была одета ради озорства.

Л. Никулин

После заграницы Дункан вскоре уехала на юг (на Кавказ и в Крым). Не знаю, обещал ли Сергей Александрович приехать к ней туда. Факт то, что почти ежедневно он получал от нее и Шнейдера телеграммы. Она все время ждала и звала его к себе. Телеграммы эти его дергали и нервировали до последней степени, напоминая о неизбежности предстоящих осложнений, объяснений, быть может, трагедии. Все придумывал, как бы это кончить сразу. В одно утро проснулся, сел на кровати и написал телеграмму: «Я говорил еще в Париже, что в России я уйду. Ты меня очень озлобила. Люблю тебя, но жить с тобой не буду. Сейчас я женат и счастлив. Тебе желаю того же. *Есенин*».

Дал прочесть мне. Я заметила —если кончать, то лучше не упоминать о любви и т. п. Переделал: «Я люблю другую. Женат и счастлив. *Есенин*». И послал.

Так как телеграммы, адресовавшиеся на Богословский переулок (а Сергей Александрович жил уже на Брюсовском), не прекращались, то я решила послать телеграмму от своего имени, рассчитывая задеть чисто женские струны и этим прекратить поток телеграмм из Крыма: «Писем, телеграмм Есенину не шлите. Он со мной, к вам не вернется никогда. Надо считаться. *Бениславская*».

Хохотали мы с Сергеем Александровичем над этой телеграммой целое утро. Еще бы, такой вызывающий тон не в моем духе, и если бы Дункан хоть немного знала меня, то, конечно, поняла бы, что это отпугивание, и только. Но, к счастью, она меня никогда не видела и ничего о моем существовании не знала. Поэтому телеграмма, по рассказам, вызвала целую бурю и уничтожающий ответ: «Получила телеграмму, должно быть,

твоей прислуги Бениславской. Пишет, чтобы писем и телеграмм на Богословский больше не посылать. Разве переменил адрес? Прошу объяснить телеграммой. Очень люблю. *Изадора»*.

Сергей Александрович сначала смеялся и был доволен, что моя телеграмма произвела такой эффект и вывела окончательно из себя Дункан настолько, что она ругаться стала. Он верно рассчитал, что это последняя телеграмма от нее. Но потом вдруг испугался, что она по приезде в Москву ворвется к нам на Никитскую, устроит скандал и оскорбит меня.

— Вы ее не знаете, она на все пойдет,— повторял он.

Близился срок возвращения Дункан. Сергей Александрович был в панике, хотел куда-нибудь скрыться, исчезнуть. Как раз в это время получил слезное письмо от Клюева — он, мол, учитель, погибает в Питере. Сергей Александрович тотчас укатил туда. Уезжая, просил меня перевезти все его вещи с Богословского ко мне, чтобы Дункан не вздумала перевезти их к себе, вынудить таким образом встретиться с ней. Я сначала не спешила с этим. Но как-то вечером зашла Катя. По обыкновению начав с пустяков, она в середине разговора ввернула, что завтра приезжает в Москву Дункан. Мы решили сейчас же забрать вещи с Богословского, и через час они были здесь. В четверг приехали Сергей Александрович с Клюевым и Приблудный из Петрограда...

Помню, осенней ночью шли мы по Тверской к Александровскому вокзалу. Так как Сергей Александрович тянул нас в ночную чайную, то, естественно, разговор зашел о его болезни (Есенин и Вержбицкий шли впереди). Это был период, когда Сергей Александрович был на краю, когда он иногда сам говорил, что теперь уже ничто не поможет, и когда он тут же просил помочь выкарабкаться из этого состояния и помочь кончить с Дункан. Говорил, что если я и Аня его бросим, то тогда некому помочь и тогда будет конец.

Через несколько дней я с Сергеем Александровичем всю ночь разговаривала. Говорили на самые разные темы. Я стала спрашивать о Дункан, какая она, кто и т. д. Он много рассказывал о ней. Рассказывал, как она начинала свою карьеру, как ей пришлось пробивать дорогу. Говорил также о своем отношении к ней:

— Была страсть, и большая страсть. Целый год это продолжалось, а потом все прошло и ничего не оста-

лось, ничего нет. Когда страсть была, ничего не видел, а теперь... Боже мой, какой же я был слепой, где были мои глаза. Это, верно, всегда так слепнут.

Рассказывал, какие отношения были. Потом говорил про скандалы, как он обозлился, хотел избавиться от нее и как однажды он разбил зеркало, а она позвала полицию.

— А какая она нежная была со мной, как мать. Она говорила, что я похож на ее погибшего сына. В ней вообще очень много нежности.

Во время этого разговора я решила спросить, любит ли он Дункан теперь. Может быть, он сам себя обманывает, а на самом деле мучится из-за нее. Когда я сказала, что, быть может, он, сам того не понимая, любит Дункан и, быть может, оттого так мучается, что ему в таком случае не надо порывать с ней, он твердо, прямо и отчетливо сказал:

— Нет, это вовсе не так. Там для меня конец. Совсем конец. К Дункан уже ничего нет и не может быть,—повторил опять.—Да, страсть была, но все прошло. Пусто, понимаете, совсем пусто.

Я рассказала ему все свои сомнения.

— Галя, поймите же, что вам я верю и вам не стану лгать. Ничего там нет для меня. И спасаться оттуда надо, а не толкать меня обратно.

Когда Сергей Александрович переехал ко мне, ключи от всех рукописей и вообще от всех вещей дал мне, так как сам терял эти ключи, раздавал рукописи и фотографии, а что не раздавал, то у него тащили сами. Он же замечал пропажу, ворчал, ругался, но беречь, хранить и требовать обратно не умел. Насчет рукописей, писем и прочего сказал, чтобы по мере накопления все ненужное в данный момент передавать на хранение Сашке (Сахарову):

— У него мой архив, у него много в Питере хранится. Я ему все отдаю.

С Сашкой он считался, как ни с кем из друзей, верил ему и его мнению. Вскоре, отобрав все, что можно было сдать в «архив», я отдала Сахарову. Но когда я хотела это сделать в следующий раз, Сергей Александрович сказал, что больше Сахарову ничего не давать и, наоборот, от Сашки надо все забрать и привезти сюда.

Надо сказать, что в отношении стихов и рукописей распоряжения Есенина были для меня законом. Я мог-

ла возражать ему, стараясь объяснить ту или иную ошибку, но если Сергей Александрович не соглашался с возражениями, то я всегда подчинялась и слепо исполняла его распоряжения.

Исключительные нежность, любовь и восхищение были у Сергея Александровича к беспризорникам.

Это запечатлелось в стихотворении «Русь бесприютная».

Характерный штрих. Идем по Тверской. Около Гнездниковского восемь — десять беспризорников воюют с Москвой. Остановили мотоциклетку. В какую-то «барыню», катившую на лихаче, запустили комом грязи. Остановили за колеса извозчика, задержав таким образом автомобиль. Прохожие от них шарахаются, торговки в панике, милиционер беспомощно гоняется за ними, но он один, а их много. «Смотрите, смотрите,—с радостными глазами кричит Сергей Александрович,— да они все движение на Тверской остановили и никого не боятся. Вот это сила. Вырастут — попробуйте справиться с ними. Посмотрите на них: в лохмотьях, грязные, а все останавливают и опрокидывают на дороге. Да это ж государство в государстве, а ваш Маркс о них не писал». И целый день всем рассказывал об этом государстве в государстве.

Г. Бениславская

1923 г. Есенин в Италии занимался гимнастикой, упал с трапеции, получил сильные ушибы, лечился несколько недель. В Париже, в кафе видел русских белогвардейцев, видел в одном кафе бывших высокопоставленных военных, они прислуживали ему в качестве официантов. Стал он читать при них революционные стихи, обозлились, напали на него. Хотели бить. Едва-едва убежал.

— До революции я был вашим рабом,—сказал Есенин белогвардейцам,— я служил вам. Я чистил вам сапоги. Теперь вы послужите мне.

Есенин рассказывает:

— Искусство в Америке никому не нужно. Настоящее искусство. Там можно умереть душой и любовью к искусству. Там нужна Иза Кремер и ей подобные. Душа, которую у нас в России на пуды меряют, там не нужна. Душа в Америке — это неприятно, как расстегнутые брюки.

— Видел ли ты Пикассо? Анатоля Франса?

— Видел какого-то лысого. Кажется, Анри де Ренье... Как только мы приехали в Париж, я стал просить Изадору купить мне корову. Я решил верхом на корове прокатиться по улицам Парижа. Вот был бы смех! Вот было бы публики! Но пока я собирался это сделать, какой-то негр опередил меня. Всех удивил: прокатился на корове по улицам Парижа. Вот неудача! Плакать можно, Ваня!

Есенин буквально с какой-то нежностью любил коров. Это отражается в его лирике.

1923 г. Осень. Час ночи. «Кафе поэтов», Тверская, 18. В комнате президиума Союза поэтов, в самом отдаленном углу кафе человек двенадцать: поэты и их друзья. Сымпровизировано экстренно чествование возвратившегося из-за границы Есенина в интимной обстановке. Как всегда, часам к трем ночи начинает разгораться «кафейный» скандал. Вокруг закипают пьяные страсти.

Вдруг я чувствую, что меня кто-то дергает за рукав,— Есенин.

Идем по Тверской. Есенин в пушкинском испанском плаще, в цилиндре. Играет в Пушкина. Немного смешон. Но в данную минуту он забыл об игре. Непрерывно разговариваем. Вполголоса: о славе, о Пушкине. Ночь на переломе. Хорошо, что есть городской предутренний час тишины. Хорошо, что улицы пустынны. Козицкий переулок. Есенину прямо. Мне направо. На углу останавливаемся. На прощанье целуем друг у друга руки: играем в Пушкина и Баратынского.

И. Грузинов

Возвратился он из-за границы в августе 1923 года. В личной беседе редко вспоминал про свое европейское путешествие (ездил в Берлин, Париж, Нью-Йорк). Рассказывал между прочим о том, как они приехали в Берлин, отправились на какое-то литературное собрание, как там их приветствовали и как он, вскочив на столик, потребовал исполнить «Интернационал» ко всеобщему недоумению и возмущению. В Париже он устроил скандал русским белогвардейским офицерам, за что якобы тут же был жестоко избит. Про Нью-Йорк говорил:

— Там негры на положении лошадей!

За границей он работал мало, написал несколько стихотворений, вошедших потом, в «Москву кабацкую». Большею частью пил и скучал по России.

— Ты себе не можешь представить, как я скучал. Умереть можно. Знаешь, скука, по-моему, тоже профессия, и ею обладают только одни русские.

Выглядел скверно. Производил какое-то рассеянное впечатление. Внешне был европейски вылощен, меняя по нескольку костюмов в день. Вскоре после приезда читал «Москву кабацкую». Присутствовавший при чтении Я. Блюмкин начал протестовать, обвиняя Есенина в упадочности. Есенин стал ожесточенно говорить, что он внутренне пережил «Москву кабацкую» и не может отказаться от этих стихов. К этому его обязывает звание поэта. Думается, что в большей своей части «Москва кабацкая» была отзвуком «Стойла Пегаса», тем более что в некоторых из стихотворений проскальзывают мысли, которые он тогда же высказывал и топил их в вине. За границей было переведено несколько его сборников—и это немало его радовало.

Вскоре по возвращении из-за границы он разошелся с Дункан. Переехал к себе на старую квартиру в Богословском. Назревал конфликт с имажинизмом и, в частности, с Мариенгофом.

После разрыва с Мариенгофом не пожелал оставаться в общей квартире и перекочевал временно ко мне на Оружейный.

У него не было квартиры. Мы с женой предлагали ему окончательно перебраться в нашу большую и светлую комнату, где бы он мог спокойно работать и отдыхать. Отнекивался. То собирался ехать в санаторий поправлять нервы, то говорил:

— Пойду, попрошу себе жилье. Что такое, хожу, как бездомный!

Бесприютность его очень тяготила. Не раз с обидой за себя заговаривал о своей прежней жене. Положение действительно было очень тяжелое. Вещи и рукописи были разбросаны по разным квартирам Москвы. Ночуя у меня и желая утром переодеться, он подчас бывал вынужден или одалживать необходимые ему вещи или тащиться за своими вещами в другой конец Москвы, где они были оставлены.

И. Старцев

1923 г. Вечер. За столиком в «Кафе поэтов» Есенин читает— «Дорогая, сядем рядом...».

Я спрашиваю:

— Откуда начало этого стихотворения? Из частушки или из «Калевалы»?

— Что такое «Калевала»?

— «Калевала»? Финский народный эпос.

— Не знаю. Не читал.

— Да неужели? Притворяешься?

С минуту Есенин разговаривает о каких-то пустяках и затем, улыбаясь, читает наизусть всю первую руну из «Калевалы».

В другой раз, когда речь зашла об образности русской народной поэзии, Есенин наизусть прочел большой отрывок из былины, по его мнению, самый образный. Память у Есенина была исключительная. Он помнил все свои стихи и поэмы, мог прочесть наизусть любую свою вещь когда угодно, в любое время дня и ночи. Нужно при этом иметь в виду, что стихотворные вещи его составят больше четырех томов, если собрать все написанное им.

Память на человеческие лица у Есенина была прекрасная. Вместе с тем он замечал и запоминал каждое сказанное ему слово, замечал еле уловимое движение, в особенности если оно было направлено по его адресу. В «дружеской попойке», если при этом были мало известные ему люди, он подозрительно следил, как относятся к нему окружающие.

По-видимому, не обращал никакого внимания на отношение к нему друзей и знакомых, по-видимому, пропускал мимо ушей все, что о нем говорил тот или другой человек, по-видимому, все прощал. Но это только до поры до времени. Изучив человека, припомнив все сделанное и сказанное, резко менял отношение. Навсегда. Вместе с тем прощал все обиды, материальные ущербы, оскорбления, дурные поступки, все что угодно, если знал, что данный человек в глубине души хорошо к нему относится.

И. Грузинов

Первый номер «Прожектора» вышел 15 февраля 1923 года. Он готовился долго и тщательно... Руководил новым журналом Александр Константинович Воронский, редактор толстого журнала «Красная новь»...

Уже в первые годы своего существования «Прожектор» стал как бы клубом московских писателей. Они приходили обычно к концу дня, рассаживались на диванах, на стульях, а то и на подоконнике, курили, долго и горячо спорили о литературе, о всякой всячине...

С первых же дней существования «Прожектора» туда часто стал захаживать Есенин. Одетый по-европейски, он был изящен, строен и удивительно красив; вьющиеся, с золотистым отливом волосы, голубые с небольшой синью и теплым блеском глаза, мягкий, чарующий, когда он этого хотел, голос. Интересные у него были с Маяковским отношения. Маяковский немного задирал его, хотя талант Есенина, как это видно хотя бы по стихотворению «На смерть Есенина», ценил высоко. Он знал Есенина еще по дореволюционному Петербургу, когда тот ходил в русской, вышитой рубашке, и позже писал о нем, что Есенин походил на ожившее лампадное масло.

Встречаясь с Маяковским в «Прожекторе», Есенин поглядывал на него настороженно и не очень охотно разговаривал с ним. К тому, что писал Маяковский, Есенин относился не то что пренебрежительно, но не скрывал, что это не нравится ему, а за некоторые стихи и поругивал Маяковского. Особенно не нравились ему «рекламные» стихи Маяковского. Он говорил, что тут пахнет торговлей, а не поэзией.

Оба много выступали— чаще всего в Доме печати на Никитском бульваре, пользовались большим успехом, но даже манера чтения показывала, какие разные они люди. Маяковский читал чеканно, как бы с высоты, со скупыми жестами, словно объясняя и донося до слушателя каждое слово. Есенин читал страстно и самозабвенно, бросаясь в свои стихи, как в бушующие волны, выбрасывал руки, хватался за волосы, изгибался, весь в чувстве и горении, как бы растворяясь в стихах. Потрясающе читал он «Сорокоуста», особенно те строки, где описана гонка жеребенка с поездом. С какой грустью и нежностью произносил он как свое, выстраданное:

Милый, милый, смешной, дуралей,
Ну, куда, он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?

Много лет миновало с тех пор, а я ясно вижу его перед собой — выброшенные вперед руки, полузакрытые глаза, растрепавшиеся волосы, слышу трепетный, хрипловатый голос.

К. Левин

И вот однажды, в начале августа 1923 года, когда я находился в «Стойле Пегаса» и только что собирался заказать себе обед, с шумом распахнулась дверь кафе и появился Есенин. В первую минуту я заметил только его. Он подбежал ко мне, мы кинулись в объятия друг к другу. Как бывает всегда, когда происходят неожиданные встречи друзей, хочется сказать много, но, в сущности, ничего не говоришь, а только улыбаешься, смотришь друг другу в глаза, потом начинаешь ронять первые попавшиеся слова, иногда не имеющие никакого отношения к данному моменту. Так было и на этот раз. Я не успел еще прийти в себя, как Есенин, показывая на стройную даму, одетую с необыкновенным изяществом, говорит мне:

— Познакомься. Это моя жена, Айседора Дункан.

А ей он сказал:

— Это Рюрик Ивнев. Ты знаешь его по моим рассказам.

Айседора ласково посмотрела на меня и, протягивая руку, сказала на ломаном русском языке:

— Я много слышал и очень рада... знакомить...

Вслед за Дункан Есенин познакомил меня с ее приемной дочерью Ирмой и мужем дочери — Шнейдером.

Я всмотрелся в Есенина. Он как будто такой же, совсем не изменившийся, будто мы и не расставались с ним надолго. Те же глаза с одному ему свойственными искорками добродушного лукавства. Та же обаятельная улыбка, но проглядывает, пока еще неясно, что-то новое, какая-то небывалая у него прежде наигранность, какое-то еле уловимое любование своим «европейским блеском», безукоризненным костюмом, шляпой. Он незаметно для самого себя теребил свои тонкие лайковые перчатки, перекладывая трость с костяным набалдашником из одной руки в другую.

Публика, находившаяся в кафе, узнав Есенина, начала с любопытством наблюдать за ним. Это не могло ускользнуть от Есенина. Играя перчатками, как мячиком, он говорил мне:

— Ты еще не обедал? Поедем обедать? Где хорошо кормят? В какой ресторан надо ехать?

— Сережа, пообедаем здесь, в «Стойле». Зачем куда-то ехать?

Есенин морщится:

— Нет, здесь дадут какую-нибудь гадость. Куда же поедем? — обращается он к Шнейдеру.

Кто-то из присутствующих вмешивается в разговор:

— Говорят, что самый лучший ресторан — это «Эрмитаж».

— Да, да, «Эрмитаж», конечно, «Эрмитаж»,— отвечает Есенин, как будто вспомнив что-то из далекого прошлого.

Айседора Дункан улыбается, ожидая решения.

Наконец все решили, что надо ехать в «Эрмитаж». Теперь встает вопрос, как ехать.

— Ну конечно, на извозчиках.

Начинается подсчет, сколько надо извозчиков.

— Я еду с Рюриком,— объявляет Есенин.— Айседора, ты поедешь...

Тут он умолкает, предоставляя ей выбрать себе попутчика. В результате кто-то бежит за извозчиками, и через несколько минут у дверей кафе появляются три экипажа. В первый экипаж садятся Айседора с Ирмой, во второй Шнейдер с кем-то еще. В третий Есенин и я.

По дороге в «Эрмитаж» разговор у нас состоял из отрывочных фраз, но некоторые из них мне запомнились. Почему-то вдруг мы заговорили о воротничках.

Есенин:

— Воротнички? Ну кто же их отдает в стирку! Их выбрасывают и покупают новые.

Затем Есенин заговорил почему-то о том, что его кто-то упрекнул (очевидно, только что, по приезде в Москву) за то, что он, будучи за границей, забыл о своих родных и друзьях. Это очень расстроило его.

— Все это выдумки—я всех помнил, посылал всем письма, домой посылал доллары. Мариенгофу тоже посылал доллары.

После паузы добавил:

— И тебе посылал, ты получил?

Я, хотя и ничего не получал, ответил:

— Да, получил.

Есенин посмотрел на меня как-то растерянно, но через несколько секунд забыл об этом и перевел разговор на другую тему.

По приезде в «Эрмитаж» начались иные волнения. Надо решить вопрос: в зале или на веранде? Есенин долго не мог решить, где лучше. Наконец выбрали веранду. Почти все столики были свободны. Нас окружили официанты. Они не знали, на какой столик падет наш выбор.

— Где лучше, где лучше? —поминутно спрашивал Есенин.

— Сережа, уже все равно, где-нибудь сядем,—говорил я.

— Ну хорошо, хорошо, вот здесь,— решает он, но, когда мы все усаживаемся и официант подходит к нам с меню в папке, похожей на альбом, Есенин вдруг морщится и заявляет: — Здесь свет падает прямо в лицо.

Мы волей-неволей поднимаемся со своих мест и направляемся к очередному столику.

Так продолжалось несколько раз, потому что Есенин не мог выбрать столик, который бы его устраивал. То столик оказывался слишком близко к стеклам веранды, то слишком далеко. Наконец мы подняли бунт и не покинули своих мест, когда Есенин попытался снова забраковать столик.

Во время обеда произошло несколько курьезов, начиная с того, что Есенин принялся отвергать все закуски, которые были перечислены в меню. Ему хотелось чего-нибудь особенного, а «особенного» как раз и не было. С официантом он говорил чуть-чуть ломаным языком, как будто разучился говорить по-русски.

Несмотря на все эти чудачества, на которые я смотрел как на обычное есенинское озорство, я чувствовал, что передо мной прежний, «питерский» Есенин.

Во время обеда, длившегося довольно долго, я невольно заметил, что у Есенина иногда прорывались резкие ноты в голосе, когда он говорил с Айседорой Дункан. Я почувствовал, что в их отношениях назревает перелом.

Вскоре после обеда в «Эрмитаже» я посетил Есенина и Дункан в их особняке на Пречистенке (ныне ул. Кропоткина), где помещалась студия Дункан (во время отсутствия Дункан студией руководила Ирма). Айседора и Есенин занимали две большие комнаты во втором этаже.

Образ Айседоры Дункан навсегда останется в моей памяти как бы раздвоенным. Один — образ танцовщицы, ослепительного видения, которое не может не поразить

воображения, другой — образ обаятельной женщины, умной, внимательной, чуткой, от которой веет уютом домашнего очага.

Это было первое впечатление от первых встреч, от разговоров простых, задушевных (мы обыкновенно говорили с ней по-французски, так как английским я не владел, а по-русски Айседора говорила плохо) в те времена, когда не было гостей и мы сидели за чашкой чая втроем — Есенин, Айседора и я. Чуткость Айседоры была изумительной. Она могла улавливать безошибочно все оттенки настроения собеседника, и не только мимолетные, но и все или почти все, что таилось в душе... Это хорошо понимал Есенин, он в ту пору не раз во время общего разговора хитро подмигивал мне и шептал, указывая глазами на Айседору:

— Она все понимает, все, ее не проведешь.

Дункан никогда не говорила мне в глаза, но Мариенгоф и некоторые другие передавали, что больше всех и глубже всех любит «ее Есенина» Риурик — так она произносила мое имя. Не знаю, чем я заслужил такое трогательное внимание ко мне. Первое время ни о каких литературных делах с Есениным мы не говорили, но «жизнь брала свое», и вот начали строиться разные планы.

Шли разговоры о необходимости устроить грандиозный вечер в тогдашней «цитадели поэзии» — Политехническом музее. Нашлись, конечно, и устроители, и импресарио, и администраторы. Мариенгоф настоял, чтобы вечер был устроен под «флагом имажинистов». Есенин в ту пору еще не успел окончательно охладеть к этой школе и согласился.

И вот вскоре по всему городу запестрели огромные афиши, извещающие о «вечере имажинистов», на котором приехавший из-за границы Сергей Есенин поделится с публикой своими впечатлениями о Берлине, Париже и Нью-Йорке и прочтет свои новые стихи.

...24 августа 1923 года, задолго до назначенного часа, народ устремился к Политехническому музею. Здание музея стало походить на осажденную крепость. Отряды конной милиции едва могли сдерживать напор толпы. Люди, имевшие билеты, с величайшим трудом пробирались сквозь толпу, чтобы попасть в подъезд, плотно забитый жаждущими попасть на вечер, но не успевшими

приобрести билеты. Участники пробирались с не меньшим трудом.

Но вот вечер наконец начался.

Председатель объявил, что сейчас выступит поэт Сергей Есенин со своим «докладом» и поделится впечатлениями о Берлине, Париже, Нью-Йорке. Есенин, давно успевший привыкнуть к публичным выступлениям, почему-то на этот раз волновался необычайно. Это чувствовалось сразу, несмотря на его внешнее спокойствие. Публика встретила его появление на эстраде бурной овацией. Есенин долго не мог начать говорить. Я смотрел на него и удивлялся, что такой доброжелательный прием не только не успокоил, но даже усилил его волнение. Мною овладела какая-то неясная, но глубокая тревога.

Наконец наступила тишина, и в зале раздался неуверенный голос Есенина. Он сбивался, делал большие паузы. Вместо более или менее плавного изложения своих впечатлений Есенин произносил какие-то отрывистые фразы, переходя от Берлина к Парижу, от Парижа к Берлину. Зал насторожился. Послышались смешки и пока еще негромкие выкрики. Есенин махнул рукой и, пытаясь овладеть вниманием публики, воскликнул:

— Нет, лучше я расскажу про Америку. Подплываем мы к Нью-Йорку. Навстречу нам бесчисленное количество лодок, переполненных фотокорреспондентами. Шумят моторы, щелкают фотоаппараты. Мы стоим на палубе. Около нас пятнадцать чемоданов — мои и Айседоры Дункан...

Тут в зале поднялся невообразимый шум, смех, раздался иронический голос:

— И это все ваши впечатления?

Есенин побледнел. Вероятно, ему казалось в эту минуту, что он проваливается в пропасть. Но вдруг он искренне и заразительно засмеялся:

— Не выходит что-то у меня в прозе, прочту лучше стихи!

Я вспомнил наш давнишний разговор с Есениным весной 1917 года в Петрограде и его слова: «Стихи могу, а вот лекции не умею».

Публику сразу как будто подменили, раздался добродушный смех, и словно душевной теплотой повеяло из зала на эстраду. Есенин начал, теперь уже без всякого волнения, читать стихи громко, уверенно, со своим всег-

дашним мастерством. Так бывало и прежде. Стоило слушателям услышать его проникновенный голос, увидеть неистово пляшущие в такт стихам руки и глаза, устремленные вдаль, ничего не видящие, ничего не замечающие, как становилось понятно, что в чтении у него нет соперника. После каждого прочитанного стихотворения раздавались оглушительные аплодисменты. Публика неистовствовала, но теперь уже от восторга и восхищения. Есенин весь преобразился. Публика была покорена, зачарована, и, если бы кому-нибудь из присутствовавших на вечере напомнили про беспомощные фразы о трех столицах, которые еще недавно раздавались в этом зале, тот не поверил бы, что это было в действительности. Все это казалось нелепым сном, а явью был триумф, небывалый триумф поэта, покорившего зал своими стихами. Все остальное, происходившее на вечере: выступления других поэтов, в том числе и мое,— отошло на третий план. После наших выступлений снова читал Есенин. Вечер закончился поздно. Публика долго не расходилась и требовала от Есенина все новых и новых стихов. И он читал, пока не охрип. Тогда он провел рукой по горлу, сопровождая этот жест улыбкой, которая заставила угомониться публику.

Так закончился этот памятный вечер.

Журнал имажинистов «Гостиница для путешествующих в прекрасном» начал свое существование до отъезда Есенина за границу. По его возвращении в Москву в нем были напечатаны новые стихи Есенина. Таким образом, сотрудничество продолжалось, но началось уже его охлаждение к журналу. В № 3 после больших колебаний он все же дал свою «Москву кабацкую», а в № 4 наотрез отказался сотрудничать.

Были у нас и новые сотрудники, как называл их Мариенгоф — «молодое поколение» имажинистов,— Иван Грузинов, Николай Эрдман, Матвей Ройзман. Последний славился среди нас своей кипучей энергией, он принимал деятельное участие во всех делах, связанных с изданием журнала и будущего сборника под лаконическим заглавием «Имажинисты» с четырьмя участниками: Мариенгофом, Ивневым, Шершеневичем, Ройзманом (1925).

У Есенина в ту пору назревал разрыв с Мариенгофом, и он не дал своих стихов для этого сборника.

С Есенина начала постепенно сползать искусственная позолота Запада, проявлявшаяся в какой-то странной манере держать себя, словно он так долго путешествовал по дальним странам, что отвык от родных мест и едва их узнавал (первое время он даже говорил с нарочитым акцентом). Он становился снова прежним Есениным времен 1915—1920 годов. Но все же в нем чувствовалась какая-то надломленность.

Встречи наши с Есениным продолжались, как будто в жизни его не произошло никаких перемен. А перемены все же были. Хотя он стал «прежним Есениным», но в нем не было прежней есенинской простоты и непосредственности. Он иногда задумывался, иногда смотрел рассеянно, потом как бы стряхивал с себя что-то ему чуждое и опять становился самим собой, улыбался и балагурил.

Однажды он неожиданно взял мою руку и, крепко сжав, тихо проговорил:

— А все-таки ты счастливый!

— Чем же это? — спросил я удивленно.

— Будто не знаешь?

— Не знаю...

— Ну вот тем и счастлив, что ничего не знаешь.

И быстро переменил тему разговора, так что я до сих пор и не знаю, что он имел в виду. Предполагаю, что это был порыв, когда он хотел поделиться со мной какой-то своей болью, но потом раздумал. Еще до этого странного разговора я стал замечать, что его что-то тяготит. Но пока все это было только как бы намеком на будущее признание.

Разрыв между Есениным и Мариенгофом прошел мимо меня. Или Есенин не хотел меня впутывать в свои «распри», или не хотел оказывать на меня давление, чтобы я последовал его примеру и отстранился от Мариенгофа. Есенин не был никогда ни мелочным, ни мстительным. Благородство души не позволяло ему искать союзников для борьбы с бывшими друзьями.

Р. Ивнев

Я вернулся в Москву к моменту приезда Есенина и Дункан из-за границы и отправился к нему на свидание в отведенный Дункан особняк на Пречистенке. Я его застал среди вороха дорожных принадлежностей, чемоданов, шелкового белья и одежды.

Мы обнялись, и он крикнул Дункан. Она вышла из соседней комнаты в каком-то широчайшем пестром пеньюаре. Он меня представил ей:

— Это мой друг Повицкий. Его брат делает Bier! * Он директор самого большого в России пивоваренного завода.

Я с трудом удержался от смеха: вот так рекомендация. Позднее я понял смысл этих слов. Для Дункан человек, причастный к производству алкоголя, представлял, по мнению Есенина, огромный интерес. И он, по-видимому, не ошибался. Она весело потрясла мне руку и сказала:

— Bier очень хорошо! Очень хорошо!..

Вид этой высокой, полной, перезрелой, с красным грубоватым лицом женщины, вид бывшего барского особняка — все вызывало у меня глухое раздражение. Как это все непохоже на обычную есенинскую простоту и скромность...

Когда она ушла, я зло проговорил:

— Недурно ты устроился, Сергей Александрович...

Он изменился в лице. Глаза потемнели, брови сдвинулись, и он глухо произнес:

— Завтра уезжаю отсюда.

— Куда уезжаешь? — не понял я.

— К себе на Богословский.

— А Дункан?

— Она мне больше не нужна. Теперь меня в Европе и Америке знают лучше, чем ее.

И действительно, через несколько дней он оставил Дункан и переехал к себе, в свою более чем скромную комнату в доме № 3 по Богословскому переулку.

Я его не расспрашивал о заграничных его впечатлениях, но однажды он сам заговорил:

— Мы сидели в берлинском ресторане. Прислуживали мужчины. Почти все они были русские, с явно офицерской выправкой. Один из них подошел к нам.

— Вы Есенин? — обратился он ко мне.— Мне сказали, что это вы. Как я рад вас видеть! Как мне хочется по душе поговорить с вами! Вы ведь бежали из этого большевистского пекла, не выдержали? А мы, русские дворяне, бывшие русские офицеры, служим здесь лакеями. Вот наша жизнь, вот до чего довели нас большевики.

---

* Пиво (*нем.*).

Я нежно поглядел на него и ответил:

— Ах, какая грусть! Плакать надо... Но знаете что, дворянин! Подайте мне, мужику, ростбиф по-английски, да смотрите, чтоб кровь сочилась!

Офицер позеленел от злости, отошел и угрожающе посмотрел в нашу сторону. Я видел, как он шептался с двумя рослыми официантами. Я понял, что он собирается взять меня в работу. Я взял Дункан под руку и медленно прошел мимо них к выходу. Он не успел или не посмел меня тронуть.

— Да, я скандалил,— говорил он мне однажды,— мне это нужно было. Мне нужно было, чтобы они меня знали, чтобы они меня запомнили. Что, я им стихи читать буду? Американцам стихи? Я стал бы только смешон в их глазах. А вот скатерть со всей посудой стащить со стола, посвистеть в театре, нарушить порядок уличного движения — это им понятно. Если я это делаю, значит, я миллионер, мне, значит, можно. Вот и уважение готово, и слава и честь! О, меня они теперь лучше помнят, чем Дункан.

Блестящая внешность капиталистической Америки не ввела в заблуждение Есенина.

Л. Повицкий

Осенью 1923 года в редакционную комнату «Красной нови» вошел сухощавый, стройный, немного выше среднего роста человек лет двадцати шести — двадцати семи. На нем был совершенно свежий, серый, тонкого английского сукна костюм, сидевший как-то удивительно приятно. Перекинутое через руку пальто блестело подкладкой. Вошедший неторопливо огляделся, поставил в угол палку со слоновым набалдашником и, стягивая перчатки, сказал тихим, приглушенным голосом:

— Сергей Есенин. Пришел познакомиться.

Хозяйственный и культурный подъем тогда еле-еле намечался. Люди еще не успели почиститься и приодеться. Поэтам и художникам жилось совсем туго, как, впрочем, живется многим и теперь, и потому весь внешний вид Есенина производил необычайное и непривычное впечатление. И тогда же отметилось: правильное, с мягким овалом, простое и тихое его лицо освещалось спокойными, но твердыми голубыми глазами, а волосы невольно заставляли вспоминать о нашем поле, о соломе и ржи. Но они были завиты, а на щеках слишком

открыто был наложен, как я потом убедился, обильный слой белил, веки же припухли, бирюза глаз была замутнена и оправа их сомнительна. Образ сразу раздвоился: сквозь фатоватую внешность городского уличного повесы и фланера проступал простой, задумчивый, склонный к печали и грусти, хорошо знакомый облик русского человека средней нашей полосы. И главное: один облик подчеркивал несхожесть и неправдоподобие своего сочетания с другим, словно кто-то насильственно и механически соединил их, непонятно зачем и к чему. Таким Есенин и остался для меня до конца дней своих не только по внешности, но и в остальном.

Есенин рассказал, что он недавно возвратился из-за границы, побывал в Берлине, в Париже и за океаном, но когда я стал допытываться, что же он видел и вынес оттуда, то скоро убедился, что делиться своими впечатлениями он или не хочет, или не умеет, или ему не о чем говорить. Он отвечал на расспросы односложно и как бы неохотно. Ему за границей не понравилось, в Париже в ресторане его избили русские белогвардейцы, он потерял тогда цилиндр и перчатки, в Берлине были скандалы, в Америке тоже. Да, он выпивал от скуки,— почти ничего не писал, не было настроения. Встречаясь с ним часто позже, я тщетно пытался узнать о мыслях и чувствах, навеянных пребыванием за рубежом: больше того, что услыхал я от него в первый день нашего знакомства, он ничего не сообщил и потом. Фельетон его, помещенный, кажется, в «Известиях», на эту тему был бледен и написан нехотя. Думаю, что это происходило от скрытности поэта.

Тогда же запомнилась его улыбка. Он то и дело улыбался. Улыбка его была мягкая, блуждающая, неопределенная, рассеянная, «лунная».

Казался он вежливым, смиренным, спокойным, рассудительным и проникновенно тихим. Говорил Есенин мало, больше слушал и соглашался. Я не заметил в нем никакой рисовки, но в его обличье теплилось подчиняющее обаяние, покоряющее и покорное, согласное и упорное, размягченное и твердое.

Прощаясь, он заметил:

— Будем работать и дружить. Но имейте в виду: я знаю — вы коммунист. Я — тоже за Советскую власть, но я люблю Русь. Я — по-своему. Намордник я не позволю надеть на себя и под дудочку петь не буду. Это не выйдет.

Он сказал это улыбаясь, полушутя, полусерьезно.

Еще от первого знакомства осталось удивление: о нетрезвых выходках и скандалах Есенина уже тогда наслышано было много. И представлялось непонятным и неправдоподобным: как мог не только буйствовать и скандалить, но и сказать какое-либо неприветливое, жесткое слово этот обходительный, скромный и почти застенчивый человек!

Недели через две я принимал участие в одной писательской вечеринке, когда появился Есенин. Он пришел, окруженный ватагой молодых поэтов и случайно приставших к нему людей. Он был пьян, и первое, что от него услыхали, была ругань последними, отборными словами. Он задирал, буянил, через несколько минут с кем-то подрался, кричал, что он — лучший в России поэт, что все остальные — бездарности и тупицы, что ему нет цены. Он был несносен, и трудно становилось терпеть, что он делал и говорил. Он оскорблял первых подвернувшихся под руку, кривлялся, передразнивал, бил посуду. Вечер был сорван. Писатель, читавший свой рассказ, свернул рукопись и безнадежно махнул рукой. Сразу обнаружилось много пьяных, как будто Есенин с собой принес и гам и угар. Кое-кто поспешил одеться и уйти. Тщетно пытались выпроводить Есенина. Но кто-то предложил уговорить поэта читать стихи. Есенин с готовностью взобрался на стул, произнес сначала заносчивую, бессвязную, бахвальную «речь», а потом начал читать «Москву кабацкую». Он читал на память, покачиваясь, осипшим и охрипшим от перепоя голосом, скандируя и растягивая по-пьяному слова. Но это было мастерское чтение. Есенин был одним из лучших декламаторов в России. Чтение шло от самого естества, надрыв был от сердца, он умел выделять и подчеркивать ударное и держал слушателей в напряжении. Больше же всего поражало на том вечере, что он вопреки своему состоянию ничего не забыл, не спутался, не запнулся. Память ни разу не изменила ему. Неоднократно я убеждался и позже, в последующие годы, что стихи он мог читать в самом нетрезвом состоянии почти всегда без запинок и заминок. Только в самые последние месяцы, незадолго до конца, он как будто стал сдавать. Но, может быть, это происходило оттого, что читал он еще не вполне отделанные вещи.

Окончив чтение, Есенин снова забуянил.

Пил он еще дня два. За это время к обычным протоколам милиции прибавился новый.

Морозной зимней ночью, кажется, у «Стойла Пегаса» на Тверской, я увидал его вылезающим из саней. На нем был цилиндр и пушкинская крылатка, свисающая с плеч почти до земли. Она расползалась, и Есенин старательно закутывался в нее. Он был еще трезв. Пораженный необыкновенным одеянием, я спросил:

— Сергей Александрович, что все это означает и зачем такой маскарад?

Он улыбнулся рассеянной, немного озорной улыбкой, просто и наивно ответил:

— Хочу походить на Пушкина, лучшего поэта в мире.— И расплатившись с извозчиком, прибавил: — Очень мне скучно.

Он показался мне капризным и обиженным ребенком.

Любимым прозаиком его был Гоголь. Гоголя он ставил выше всех, выше Толстого, о котором отзывался сдержанно. Увидев однажды у меня в руках «Мертвые души», он спросил:

— Хотите, прочту вам место, которое я больше всего люблю у Гоголя,— и прочитал наизусть начало шестой главы первой части.

Напомню главу в отрывке и с пропусками:

«Прежде давно, в лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувшего моего детства, мне было весело подъезжать в первый раз к незнакомому месту: все равно, была ли то деревушка, бедный уездный городишка, село ли, слободка,— любопытного много открывал в нем детский любопытный взгляд. Всякое строение, все, что носило только на себе напечатление какой-нибудь заметной особенности,— все останавливало меня и поражало...

...Теперь равнодушно подъезжаю ко всякой незнакомой деревне и равнодушно гляжу на ее пошлую наружность; моему охлажденному взору неприютно, мне не смешно, и то, что пробудило бы в прежние годы живое движение в лице, смех и немолчные речи, то скользит

теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои неподвижные уста. О моя юность! о моя свежесть!..»

Эти слова из Гоголя, думается, могли бы служить лучшим эпиграфом ко всему написанному Есениным.

Очень ценил он Клюева и считал себя его учеником. Из молодых прозаиков я удержал в памяти высокую оценку вещей Всеволода Иванова. Как будто больше всего ему у него нравилось «Дитё» и «Цветные ветра».

Иронически Есенин рассказывал о Гиппиус и Мережковском. В первые годы своей поэтической деятельности он посещал их литературные вечера.

— Попал я как-то к ним на вечер в валенках. Ко мне подошла Гиппиус и спросила:

— Вы, кажется, в новых гетрах?

— Нет, это — простые деревенские валенки...— Знала ведь, что на мне валенки...

О технике в поэзии Есенин отзывался в последние годы неодобрительно и враждебно:

— Знаем мы все эти штуки. Они думают, что все эти формальные приемы и ухищрения нам неизвестны. Не меньше их понимаем и в свое время обучились достаточно всему этому. Писать надобно как можно проще. Это трудней.

Его «простое» мастерство было высоким. Поэтический лексикон Есенина с первого взгляда незатейлив и даже беден, но проследите, что он делает в своих стихах с черемухой, с садом, с березкой: они у него всегда наши, родные и всегда выглядят по-иному. Даже избитое, шаблонное и трафаретное освежалось у него напором чувств и подкупающей искренностью.

А. Воронский

Осень 1923 года я провел в Москве и под Москвой и, когда прочел о выступлении в ЦЕКУБУ на Пречистенке группы крестьянских поэтов (Есенин, Клюев и Ганин), решил на этот вечер пойти. Всех троих исполнителями своих стихотворений слышал я тогда впервые, о Ганине же и вообще ничего не слыхал. От этого вечера в памяти остались: колоритная фигура в длинном зипуне (Клюев) — и еще ярче — кудрявая есенинская голова, с выражением несколько сонным, и его правая рука, в двух пальцах которой была зажата папироска и которою он как бы дирижировал своему музыкально модулирующему инструменту (голосу).

В такой позе он читал с эстрады постоянно. В этот раз он, может быть, еще не читал тех своих (напечатанных гораздо позднее) стихов, которые производили сильное впечатление на многих впоследствии (впоследствии слышал от него эти стихи и я), стихов о предчувствуемой поэтом близкой своей смерти:

Положите в русской рубашке
Под иконы меня умирать.

Не стихи Есенина, вообще, запечатлелись в моей памяти ярче всего из того вечера, нет,— а его импровизованная речь, с которой он неожиданно обратился к «ученой» (в большинстве) публике. Речь вот какая, настолько же неожиданная, насколько приятно прозвучавшая моему слуху. Речь — о Блоке.

— Блок,— говорил молодой поэт, предводитель послефутуристических бунтарей,— к которому приходил я в Петербурге, когда начинал свои выступления со стихами (в печати), для меня, для Есенина, был — и остался, покойный,— главным и старшим, наиболее дорогим и высоким, что только есть на свете.

(Я стараюсь передать смысл и стиль речи Есенина *точно;* эти слова врезались в память, хотя вся речь была бессвязна, как принято выражаться, гениально-косноязычна.)

— Разве можно относиться к памяти Блока без благоговения? Я, Есенин, так отношусь к ней, с благоговением.

— Мне мои товарищи были раньше дороги. Но тогда, когда они осмелились после смерти Блока объявить скандальный вечер его памяти, я с ними разошелся.

— Да, я не участвовал в этом вечере и сказал им, моим бывшим друзьям: «Стыдно!» Имажинизм ими был опозорен, мне стыдно было носить одинаковую с ними кличку, я отошел от имажинизма.

— Как можно осмелиться поднять руку на Блока, на лучшего русского поэта за последние сто лет!

Вот смысл и стиль застенчивой, обрывистой, неожиданной (не связанной ничем с программою вечера) речи Сережи Есенина. Чувствуя всю ее искренность, я полюбил молодого поэта с тех пор. Она прозвучала в унисон с опубликованною мною весной 1922 года в журнале «Жизнь искусства» статьею «Кунсткамера», где я *отплевывался,* так сказать, от московских поэтов гуртом за тот исключительно гнусный вечер «Чистосердечно о Бло-

ке!»,— афиши о котором висели тогда на улицах Москвы. Имена участников этого паскудства я не предам печати на сей раз; достаточно знаменит за всех них Герострат, в психологии коего дал себе сладострастный труд копаться один, крепко теперь, по счастью, забытый, русский стихотворец.

А вот что Есенин пылал таким негодованием по поводу этого вечера — это значительно, важно; это очень характерно для quasi * хулигана. Кстати, неужели непонятно, что не может быть «шарлатаном» (есенинское слово!) тот, который себя таким объявляет!

Один мой приятель, бывший со мною на том же «крестьянском» вечере в ЦЕКУБУ, так описывает свои впечатления (в письме ко мне после смерти поэта):

«У Есенина был франтоватый вид. Костюм и шляпа с заграничным шиком — и под шляпой слегка помятое, точно невыспавшееся слегка, простецкое русское лицо с милой добродушно-рассеянной улыбкой. По-приятельски, но без фамильярности улыбается каждому. Каждому готов сказать «ты», но иногда брови сдвигаются и он очень важен, важен как молодая мать, прислушивающаяся к движению внутри себя зачинающейся новой значительной жизни».

Это очень верно. Русский народ так и называет оленьих самок — «важенками». В Сергее Есенине было нечто «ланье», как за девятнадцать лет до того в юном Андрее Белом.

А вот и другое выступление Есенина в ту же пору — в «Стойле Пегаса». Предоставляю слово тому же письму:

«Помните кафе «Пегас»? У Есенина свое особое там было место — два мягких дивана, сдвинутых углом супротив стола, стульями отгороженного от публики. Надпись: «Ложа Вольнодумцев». Это все еще они, «орден имажинистов», как окрестили себя его друзья, от которых он уже несомненно, хоть и незаметно, но вполне удаляется. Есенин много пьет. Всех угощает. Вокруг него кормится целая стая юных, а теперь и седеющих, и обрюзгших уже птенцов. Это всё «пишущие» — жаждущие и чающие славы или уже навсегда расставшиеся с ней.

---

* Квази *(лат.)* — как будто, мнимый.

Вот он опять на эстраде. Замолкают столики. Даже официанты прекращают суетню и толпятся, с восторгом, в дверях буфетной. Он читает знаменитые стихи, где просит положить его под русские иконы — умирать. Голос срывается. Может быть, навсегда! Это предчувствие. Все растроганы и тяжело дышат. А вот он внезапно встает и через всю залу идет к незнакомому с ним поэту, известному импровизациями, сидящему в стороне. Об этом поэте, за его спиной, но достаточно громко был «пишущими» послан гнусный, ни на чем не основанный слух. Есенин подходит, опирается на его стол руками, вглядывается в него и говорит: «С таким лицом подлецов не бывает!» Обнимает, целует его,— и вот — еще одно сердце, завоеванное им навеки».

Вл. Пяст

Познакомила меня с Есениным актриса Московского Камерного театра Анна Борисовна Никритина, жена известного в то время имажиниста Анатолия Мариенгофа...

В один из вечеров Есенин повез меня в мастерскую Коненкова. Обратно шли пешком. Долго бродили по Москве. Он был счастлив, что вернулся домой, в Россию. Радовался всему, как ребенок. Трогал руками дома, деревья... Уверял, что все, даже небо и луна, другие, чем там, у них. Рассказывал, как ему трудно было за границей.

И вот, наконец, он все-таки удрал! Он — в Москве.

Целый месяц мы встречались ежедневно. Очень много бродили по Москве, ездили за город и там подолгу гуляли. Была ранняя золотая осень. Под ногами шуршали желтые листья...

— Я с вами, как гимназист...— тихо, с удивлением говорил мне Есенин и улыбался.

Часто встречались в кафе поэтов «Стойло Пегаса» на Тверской, сидели вдвоем, тихо разговаривали. Есенин трезвый был очень застенчив. На людях он почти никогда не ел. Прятал руки, они казались ему некрасивыми.

Много говорилось о его грубости с женщинами. Но я ни разу не почувствовала и намека на грубость.

Все непонятнее казалась мне дружба Сергея Есенина с Анатолием Мариенгофом. Такие они были разные.

— Анатолий все сделал, чтобы поссорить меня с Райх (жена Есенина). Уводил меня из дому, постоянно твер-

дил, что поэт не должен быть женат: «Ты еще ватные наушники надень». Развел меня с Райх, а сам женился и оставил меня одного...— жаловался Сергей.

Очень не нравились мне и многие другие «друзья», окружавшие его. Они постоянно твердили ему, что его стихи, его лирика никому не нужны. Прекрасная поэма «Анна Снегина» вызывала у них иронические замечания: «Еще понюшку туда — и совсем Пушкин!» Они знали, что Есенину больно думать, что его стихи не нужны. И «друзья» наперебой старались усилить эту боль.

«Друзей» устраивали легендарные скандалы Есенина. Эти скандалы привлекали любопытных в кафе и увеличивали доходы.

Трезвый Есенин им был не нужен. Когда он пил, вокруг него все пили и ели на его деньги.

Как-то сидели в отдельном кабинете ресторана «Медведь» Мариенгоф, Никритина, Есенин и я.

Он был какой-то притихший, задумчивый...

— Я буду писать вам стихи.

Мариенгоф смеялся:

— Такие же, как Дункан?

— Нет, ей я буду писать нежные...

Первые стихи, посвященные мне, были напечатаны в «Красной ниве»:

Заметался пожар голубой,
Позабылись родимые дали.
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить.

Мы встречались с Есениным все реже и реже.

Увидев меня однажды на улице, он соскочил с извозчика, подбежал ко мне.

— Прожил с вами уже всю нашу жизнь. Написал последнее стихотворение:

Вечер черные брови насопил.
Чьи-то кони стоят у двора.
Не вчера ли я молодость пропил?
Разлюбил ли тебя не вчера?

Как всегда, тихо прочитал все стихотворение и повторил:

Наша жизнь, что былой не была...

А. Миклашевская

ГРУЗИЯ. АЗЕРБАЙДЖАН

1924—1925

В феврале 1924 года я был в командировке в Москве по партийным делам. Вечером, накануне дня отъезда в Баку, где я в то время работал вторым секретарем ЦК Азербайджана и редактором газеты «Бакинский рабочий», нагрянул в гости к Василию Ивановичу Качалову. Познакомился здесь с Сергеем Есениным. Он с жадностью слушал мои рассказы о Баку, о том, что в этом городе еще много «золотой дремотной Азии», но она «опочила» на нефтяных вышках. Расходились шумно. В прихожей была толчея.

Рано утром меня в гостинице разбудил энергичный стук в дверь. В неожиданном раннем посетителе я узнал Сергея Есенина. Застенчиво улыбаясь, он сказал:

— Простите, но, кажется, мы вчера с вами перепутали калоши.

Оказалось, действительно так и было. И Есенин не торопился после этого уходить, и я старался удержать его. Он остался и проводил меня на вокзал. Завязалась большая дружба. Он со своей стороны скрепил ее обещанием приехать в Баку. А я на его вопрос: «А Персию покажете?» — обещал и Персию показать, а если захочет, то и Индию.

— Помните: «Корабли плывут будто в Индию»?

По буйной молодости (я был на три года моложе Есенина) это представлялось мне не таким уж трудным делом.

Шли месяцы. Я уж отчаялся ждать Есенина в Баку. Но вот 20 сентября, приехав вечером в редакцию, вижу на столе у себя записку:

«Т. Чагин!

Я приехал, заходил к Вам, но Вас не застал.

Остановился в отеле «Новая Европа» № 59.

Позвоните директору отеля и передайте, когда Вас можно видеть.

С. Есенин.

20. IX. 24.»

В тот же час Есенин был у меня. Отдав короткую дань излиянию дружеских чувств, я пожурил Есенина за то, что он так поздно приехал: ведь 20 сентября — священный для бакинцев день памяти 26 комиссаров. И если бы приехал дня на два раньше, он мог бы дать в юбилейный номер стихи. Есенин еще в Москве признавался мне, что тема гибели 26 комиссаров волнует его.

Быстро договорились поправить дело и поместить есенинские стихи по горячему следу в ближайшем номере газеты. Но их еще нет в природе. Как же быть?

Я вооружил Есенина материалами о 26 бакинских комиссарах — недостатка в них в Баку не было. Так, например, номер «Бакинского рабочего» к предшествующей годовщине с такого рода материалами был выпущен на двадцати восьми полосах. Есенин жадно набрасывается на эти материалы и запирается в моем редакторском кабинете.

Под утро приезжаю в редакцию и вижу: стихи «Баллада о двадцати шести» на столе. И творец этой жемчужины советской поэзии лежит полусонный на диване, шепча еще неостывшие строки:

Пой, поэт, песню,
Пой.
Ситец неба такой
Голубой...
Море тоже рокочет
Песнь.
26 их было,
26.

В ближайшем номере, 22 сентября, «Баллада о двадцати шести» была напечатана в «Бакинском рабочем».

Вскоре я перевез Сергея Есенина из гостиницы к себе на квартиру.

Просыпаюсь как-то утром, выхожу в соседнюю комнату, смотрю: Есенин сидит, углубившись в том избранных произведений Маркса, который он извлек из множества книг моей библиотеки. Удержавшись от напоминания о том, что «ни при какой погоде» он «этих книг,

конечно, не читал», я поинтересовался тем, что же он читает.

— Да я уже вычитал из вступительной статьи замечательные вещи,— сказал он.— Как здорово относился Маркс к Генриху Гейне! Вот как надо обращаться с поэтами! А потом,— как Маркс любил детей, даже, играючи с ними, их на себе катал.

Я посоветовал ему вчитываться дальше в самого Маркса. А он процитировал себя:

В стихию промыслов
Нас посвящает Чагин,—

и добавил:

Давай, Сергей,
За Маркса тихо сядем.

Потом усмехнулся:

— Опять наш общий друг Воронский будет брюзжать по твоему адресу: слишком форсируешь ты, мол, поворот Есенина к советской тематике.

А чуть попозже я увидел, как Есенин играл с моей шестилетней дочерью и, встав на четвереньки, катал ее на себе.

П. Чагин

20 сентября 1924 года Есенин из Тифлиса приехал в Баку. О его приезде я узнал в редакции газеты «Бакинский рабочий». Петр Иванович Чагин сказал мне, что Есенин остановился в лучшей гостинице города «Новая Европа» и будет выступать на торжественном открытии памятника 26-ти бакинским комиссарам. Я не смог освободиться от дежурства в Политотделе Каспийского военного флота, где в то время служил, и не присутствовал на митинге, который открывал С. М. Киров и где Есенин вдохновенно прочел свою «Балладу о двадцати шести».

На следующий день, 21 сентября, часов в 10 утра, я пришел в гостиницу и попросил коридорного проводить меня к Есенину. Его номер был на пятом этаже. Я постучался. Есенин открыл сам. В небольшой комнате с окнами на север были еще двое, но они тотчас ушли. Сергей Александрович, без пиджака, в расстегнутой у ворота голубой рубашке, до моего прихода делал гимнастику. Он был весел и приветлив, тотчас узнал меня

и, усадив на стул, стал расспрашивать о моих делах за те три года, что мы не виделись. Я не раз замечал, что разлука не отчуждает, а сближает. Так случилось и в этот раз. Мы не сообщались и не переписывались, и тем не менее встретились более близкими, чем расстались.

В номере отвратительно пахло мастикой, которой натирали в гостинице паркетные полы. Есенин открыл окно и сказал, что хочет куда-нибудь переселиться. Потом стал показывать привезенный из Америки эспандер — «резиновую штуку», которую растягивал, упражняя мышцы. Предложил мне попробовать, но у меня не получилось. Тут он рассмеялся и с удивительной легкостью развел руки в стороны, растягивая тугую резину. «Я давно так силу развиваю. Теперь в деревню отвезу. Пусть поупражняются». Уже тогда я заметил, что в этой еще не угасшей, почти звериной силе и ловкости появилась какая-то нервность, усталость. Внешне Есенин переменился еще больше, чем внутренне; скука во взгляде и легкие подергивания горькой улыбки напомнили мне, что Москва кабацкая позади, что сейчас он убежал от нее.

Не упоминая об Айседоре Дункан и недавнем разрыве с ней, Есенин стал рассказывать о европейских и американских впечатлениях, показывал привезенные оттуда вещи, при этом непременно называлась цена в долларах, франках или марках: «Плачено столько-то!» В этом было какое-то наивное хвастовство, чуть-чуть высокомерное, пренебрежительное любование игрушками современной цивилизации Запада.

Игрушки западной цивилизации забавляли его Помнится, однако, что в те дни Есенин рассказывал, как он рассердился на известного критика В. Л. Львова-Рогачевского, который упрекал его за строчку в стихотворении «Русь советская» — «Но некому мне шляпой поклониться».

— Этот педант уверял меня, что шляпой никто не кланяется, кланяются, мол, только головой. Не понял он, что тут все в этой шляпе!

В деревне Есенин должен был поклониться именно шляпой. Доброжелательно относившийся к нему Львов-Рогачевский не уловил существенного мотива в этом стихотворении: «Я гражданин села» и вместе с тем: «В своей стране я словно иностранец». Не случайно в «Исповеди хулигана» Есенин так настойчиво упоми-

нает о цилиндре (в который раз!) и о лакированных башмаках. Думается, особый смысл есть в признании поэта:

Каждому здесь кобелю на шею
Я готов отдать мой лучший галстук.

(«Я обманывать себя не стану»).

В залитом солнцем номере гостиницы Есенин показывал «американские штуки», радуясь им, как дикарь радуется бусам, и презирая их и не дорожа ими.

Некоторая фатоватость авторских признаний Есенина не была подражанием Мариенгофу или Шершеневичу, в его стихах звучал иной подтекст: «Мечтатель сельский — я в столице стал первоклассненший поэт» («Мой путь»).

Около двенадцати часов дня по широкой лестнице мы поднялись на крышу отеля в ресторан. Отсюда открывался вид на залитую полуденным солнцем Бакинскую бухту. В этот час в ресторане было совсем пусто.

Пока мы ожидали завтрака, Есенин говорил о новых стихах, о том, что почти все они уже пристроены в разных редакциях. И удовлетворенно отметил: «Кому у нас больше всего за стихи платят? Вот «Русский современник» только Ахматовой да мне по три рубля за строчку дает. Еще Маяковскому хорошо платят. Поэтов у нас много, а хороших почти нет!»

В этом наивном хвастовстве не было самодовольства, нет, просто ему было забавно говорить об этом; понимать его следовало примерно так: «Вот, мол, смотри, какие дураки нашлись, за стихи какие деньги платят!»

Заговорив о Маяковском, Есенин заметно помрачнел. Он очень был обижен стихотворением «Юбилейное», написанным в тот год к 125-летию со дня рождения Пушкина. Маяковский тоже сетовал на то, что «чересчур страна моя поэтами нища», и, перечисляя своих современников — Дорогойченко, Герасимова, Кириллова, Родова,— уничижительно отозвался и о Есенине:

Ну, Есенин,
мужиковствующих свора.
Смех!
Коровою
в перчатках лаечных.
Раз послушаешь...
но это ведь из хора!
Балалаечник!

Быть может, тогда эти стихи Маяковского казались Есенину самой большой обидой во всей его жизни, и он не скрывал, что они его больно ранили. Есенин всегда благоговейно относился к Пушкину, и его особенно огорчало, что именно в воображаемом разговоре с Пушкиным Маяковский так резко и несправедливо отозвался о нем, о Есенине. Как будто эти слова Пушкин мог услышать, как если бы он был живым, реальным собеседником Маяковского. Свою обиду он невольно переносил и на творчество Маяковского.

— Я все-таки Кольцова, Некрасова и Блока люблю. У них и у Пушкина только и учусь. Про Маяковского что скажешь? Писать он умеет — это верно, но разве это поэзия? У него никакого порядка нет, вещи на вещи лезут. От стихов порядок в жизни быть должен, а у Маяковского все как после землетрясения, да и углы у всех вещей такие острые, что глазам больно.

Есенин как-то весь потускнел, от утренней свежести не осталось и следа. Грустные глаза, усталая опустошенность во взгляде, горькая улыбка.

Потом стал читать свое недавно написанное в Тифлисе стихотворение про Кавказ.

Подали завтрак. Есенин попросил бутылку цинандали. Заказал кофе по-турецки. Когда выпил, слегка повеселел... Вполголоса начал читать:

Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком...

Между столиками стояли кадки с цветущими олеандрами. В большой клетке, на раскачивающемся кольце, нахохлившись, сидел зелено-розовый попугай. Есенин, обернувшись, заметил невеселую птицу и порывисто подошел к клетке. Попугай что-то болтал, это забавляло Есенина, и он тоже говорил, но вскоре вернулся к столику недовольный: «Жалкая птица, фальшивая, наши скворцы много лучше, до чего душевно и весело свистят, особенно на заре. Настоящая русская птица. Не дурачится, дело делает и жизни радуется».

Когда после завтрака спускались в номер, Есенина на лестнице остановил хозяин или арендатор гостиницы и довольно бесцеремонно напомнил, что он заплатил только за первые сутки и должен сегодня же к вечеру рассчитаться за несколько дней вперед.

— Знаю, знаю,— отвечал недовольный Есенин.— В номере мастикой воняет, повернуться негде, а ты с оплатой торопишь. В «Бакинском рабочем» деньги получу, тогда и рассчитаюсь.

Владелец гостиницы как будто согласился и хотел уже отойти от нас, но Есенин задержал его:

— А ты знаешь, милый человек, кто я, кого ты у себя принимаешь? Другой бы за честь считал... Потом бы рассказывал: «Вот в этом номере у меня поэт Есенин стоял». А ты о деньгах беспокоишься. За мной деньги не пропадут.

Хозяин гостиницы смущенно пробормотал: «Якши, якши... Я ведь так, я знаю, я своих постояльцев уважаю». И поспешил удалиться.

Потом мы отправились в редакцию «Бакинского рабочего», где Есенин передал П. И. Чагину несколько новых стихотворений и среди них «Отговорила роща золотая», которое было через два дня впервые опубликовано в этой газете. П. И. Чагин, умный, добрый человек, очень любил Есенина и многое сделал для утверждения его имени в нашей поэзии. В те дни почти в каждом номере «Бакинского рабочего» печатались новые стихи поэта.

В то время в нашей прессе уже возникло пренебрежительное слово «есенинщина». Многие критики не могли забыть «Москвы кабацкой» и наперебой упрекали Есенина в отсутствии выдержанной пролетарской идеологии. Немало вредили его репутации и многочисленные подражатели и ложные друзья.

Есенин остался диктовать машинистке свои стихи, а я ушел, договорившись встретиться на следующий день, чтобы пойти гулять. На другой день мы снова встретились в редакции. Когда я пришел, Есенин был уже там. Какой-то рабкор бранил его за то, что он не признает Демьяна Бедного. Есенин отругивался.

Кажется, тогда же произошел при мне занятный разговор Есенина о гонораре в «Бакинском рабочем». Есенин долго доказывал, что стихи его очень хорошие, что теперь так никто не пишет, а Пушкин умер давно. «Если Маяковскому за Моссельпром монету гонят, неужели мне по рублю за строчку не дадите?»

Редакция сдалась. Выходило в общей сложности немало, так как в каждом номере печаталось по два-три больших стихотворения — они потом вошли в сборник, изданный в Баку,— «Русь советская».

Получив деньги, Есенин обычно шел на почту и отправлял большую часть матери в Константиново. Много раздавал беспризорным, среди которых у него было немало друзей.

В. Мануйлов

Бурная и дерзкая молодость наша осталась позади... Пришло время воспоминаний, и я все чаще тревожу свою память, вызывая из прошлого образы друзей и собратьев. Среди них встает передо мною человек чарующей силы и неотразимого обаяния — большой русский поэт Сергей Есенин. Я будто слышу его голос, звучавший сорок с лишним лет назад:

Я — северный ваш друг
И брат!
. . . .
Поэты Грузии,
Я ныне вспомнил вас,
Приятный вечер вам,
Хороший, добрый час!..

Товарищи по чувствам,
По перу,
Словесных рек кипение
И шорох,
Я вас люблю,
Как шумную Куру,
Люблю в пирах и в разговорах.

Вижу его ясное лицо, его улыбку, проникающую в стихи, озаряющую строчки...

Взволнованным откликом крепкой любви отвечали мы ему — поэту, объявшему музыку нашего времени и нашей молодости. С незапятнанной чистотой белой березы возникает он перед моими глазами — ясный, синеглазый, добрый товарищ по чувствам, по перу.

...Итак, в сентябре 1924 года бакинский поезд привез Сергея Есенина в Тбилиси. Каждого вновь прибывшего к нам поэтического гостя первыми встречали, как правило, Паоло Яшвили и Тициан Табидзе. Паоло был гостеприимным хозяином, Тициан — подлинным Авраамом любого пиршества поэтов. И вряд ли кто из гостей мог миновать Тициана Табидзе. Он в этом отношении продолжал традицию прославленного поэта, друга и тестя Грибоедова — Александра Чавчавадзе, и знаменательно, что он по воле случая жил именно там, где ког-

да-то стоял дом Александра Чавчавадзе. И не случайно, что Сергея Есенина первым встретил как раз Тициан, мгновенно с ним крепчайше сдружившийся. Как впоследствии вспоминал Тициан Табидзе, он и Шалва Апхаидзе были первыми грузинскими слушателями Есенина, с ходу прочитавшего им недавно написанное «Возвращение на родину».

Есенин остановился сначала в гостинице «Ориант» (нынешний «Интурист»), затем несколько дней гостил в семье Тициана и, наконец, перебрался к своему другу Николаю Вержбицкому — журналисту из газеты «Заря Востока». В «Orианте» и увидел я его впервые красивым, двадцатидевятилетним, с уже выцветшими несколько кудрями и обветренным лицом, но задорно-синеглазым и по-детски улыбчивым, хотя и не без складки усталости на этой доброй и доверчивой улыбке. О нем сразу создалось впечатление, вскоре навсегда закрепившееся, как о кристально-чистом человеке подлинно рыцарской натуры, тонкой и нежной души. Душевный контакт с ним установился мгновенно, и тогда исчезли все барьеры, дружба вспыхнула, как пламя, но не для того, чтобы погаснуть, а все сильнее и сильнее разгораться. Он очень мало и плохо знал Грузию до приезда к нам, но тем ненасытнее оказалась его любознательность и жажда познания распахнувшего ему дружеские объятия края и народа, поэтической среды. Известно, какие широкие и интересные замыслы лелеял Есенин, приписавший к одному из своих тбилисских стихотворений выношенный им «тезис» о необходимости дополнить «смычку рабочих и крестьян» «смычкой разных народов». Им были задуманы переводы из грузинской поэзии, он договаривался о редактировании литературного приложения к газете «Заря Востока», он мечтал о создании особого цикла стихов о Грузии, поклявшись в стихах «твердить в свой час прощальный» о ней. Но и ему, увы, как и Маяковскому, оставшемуся «в долгу перед багдадскими небесами», не удалось осуществить многие свои такого рода обширные планы, впервые ими намеченные и осуществленные другими их собратьями из большой семьи русских советских поэтов.

Однако кроме больших и малых планов были большие и малые факты, события, происшествия, эпизоды, связанные с жизнью Сергея Есенина в Тбилиси, в своей совокупности и создавшие у него то настроение, которое продиктовало ему свое послание «Поэтам Грузии», свое

письмо к Тициану Табидзе, свое заявление московским друзьям, что время, проведенное в Грузии, было для него одним из прекраснейших в жизни.

Мы выходим из известного лагидзевского магазина фруктовых вод и видим там же, у входа, примостившегося слепого чонгуриста, напевающего самозабвенно какую-то наивную грузинскую песенку:

Ну и что же, что я черна —
Я ведь солнцем опалена!
Я такой же, как все, человек —
Богом создана и рождена!..

— Что он поет? — спрашивает Есенин.
— Библию.
— Как? — поразился он.
— Песнь песней Соломона.

И я напоминаю ему: «Черна я, но красива, как шатры Кидарские... Не смотрите на меня, что я смугла; ибо солнце опалило меня!..» А он поет это как вчерашнюю любовную песенку, не подозревая, что ей две тысячи лет.

— Как это удивительно! — и, задумавшись, долго смотрит на меня улыбаясь.

В связи с водами Лагидзе я хочу вспомнить, что особенно привлекал нас как бы кровоточащий кизиловый сок. Есенин также пристрастился к нему, и мне кажется, что по какой-то, возможно, несознательной ассоциации именно этому лагидзевскому изделию обязан своим происхождением один образ из заключительной строфы есенинского «На Кавказе»:

Прости, Кавказ, что я о них
Тебе промолвил ненароком,
Ты научи мой русский стих
Кизиловым струиться соком.

...Тициан Табидзе заинтересовал Есенина поэзией Важа Пшавела. Читал ему по-грузински и тут же делал устный подстрочный перевод. Есенин сходил с ума: волновался, метался, не находил себе места... А Тициан все подбавлял и подбавлял жару. У Есенина от восхищения на лоб лезли глаза. Он был рад совпадению своего и Важа отношения к зверю, к природе.

— Вот где спал барс! — воскликнул он.— Это я должен перевести! — поклялся Есенин.

Доживи он свой век — у нас были бы есенинские переводы Важа Пшавела. Я уже говорил, что Есенин собирался переводить грузинских поэтов.

— Я буду вашим толмачом в России,— говорил он.

Он любил бродить по тбилисским улицам. Почтительно беседовал с простым народом; расспрашивал о многом. Его с радостью встречали. Как свой человек, забредал он в тбилисские духаны, спускался в погреба. Как-то случайно я заметил его перед небольшим подвальчиком невдалеке от места, где ныне высится гостиница «Сакартвело». Он пытался вмешаться в какую-то драку. Я крикнул ему:

— Смотри, Сергей, Христофора Марло убили в кабацкой драке!

Влюбленный в русскую песню, сам отличный певец, он очень полюбил и наши напевы. Особенно нравилась ему «Урмули» (аробная). Не помню, слышал ли он божественное исполнение Вано Сараджишвили, но похороны этого «грузинского соловья» совпали с пребыванием Есенина в Тбилиси и потрясли его своей грандиозностью. Это был подлинно национальный траур. Но в тот же день был назначен есенинский вечер, и поэт был уверен, что вечер сорвется. Каково же было его удивление, когда зал Совпрофа, где он должен был читать стихи, оказался буквально переполненным. Публика восторженно приняла любимого поэта. Есенин читал великолепно. Траурный полдень и поэтический вечер этого дня надолго объединили в сознании тбилисцев два редких самородных таланта — Сергея Есенина и Вано Сараджишвили.

После чтения стихов разгорелся диспут, как это часто бывало в те годы. На этом диспуте, между прочим, выступил какой-то заезжий критик — фразер и пошляк, обвинивший поэта в пристрастии к гитаре, тальянке, гармонике, а также в «эксплуатации скандалов». Эти надоедливые укусы длились довольно долго, но Есенин выслушал все с завидным терпением. Наконец он начал отвечать ему. Поднял голову, всмотрелся в потолок и затем обратился к оппоненту (слова Есенина со стенографической точностью записал журналист Г. Бебутов), указав на лепные украшения потолка: «Вот по-

смотрите на эти инкрустации. Их много, но они, по сути дела, украшения — не главное. Я не согласен с теми, которые в моих стихах видят только то, что я сам считаю случайным и наносным». Лично я помню и не столь сдержанную реплику Есенина по тому же адресу — «Фразер и пошляк!»

...Как-то с особенной четкостью вспоминается Есенин на проспекте Руставели со своей легкой походкой, всегда гладко выбритый, в опрятном сером костюме, с тростью в руке и в кепи. Через шею перекинут полосатый шарф. Так он шествовал по нашему любимому проспекту, особенно часто встречаясь с нами именно там. Одной из причин такого «завсегдатайства» было и то, что именно на этом проспекте находились книжное издательство и редакция газеты «Заря Востока». Есенин носил туда свои стихи (ведь большинство его «болдинских» стихов публиковалось в «Заре Востока»), в Тбилиси же издал он книгу новых стихов «Страна советская». И наконец, «Заря Востока» была средоточием почти всех русских друзей Есенина в Тбилиси. Недаром он писал в одном из своих шуточных экспромтов:

Ирония! Вези меня! Вези!
Рязанским мужиком прищуривая око,
Куда ни заверни — все сходятся стези
В редакции «Зари Востока».

И газета, и тем более издательство выручали Есенина в минуты финансовых «кризисов», которые в те времена были явлением нередким. Авансы и кредиты всегда были там к его услугам. В «Заре» Есенина по-настоящему любили и ценили. Недаром собирался он стать редактором литературного приложения к «Заре Востока».

Когда скончался Есенин, газета «Заря Востока» в своем траурном объявлении назвала поэта своим «сотрудником и товарищем».

...В один из пасмурных ноябрьских дней, кажется, это было воскресенье, Паоло, Тициан, Есенин и я долго бродили по старому Тбилиси, в районе Метехской крепости и знаменитых серных бань. Потом там же пообедали и все вернулись во Дворец писателей. Все мы были навеселе. Вдруг Есенин заявил, что хочет прыг-

нуть с балкона вниз. Паоло испугался, начал умолять Сергея, чтобы он не делал этого. А тот и слушать не хотел. Тогда Паоло, разозлившись, крикнул ему:

— Пожалуйста, прыгай!

Есенин засмеялся и прыгать, конечно, не стал.

Опустились сумерки. Но нам было так хорошо вместе, что не хотелось расставаться. Решили не разлучаться и ночью. Далеко за полночь легли — Тициан в кресло, Паоло, Есенин и я — на полу, где был разостлан ковер. Под утро Есенин начал во сне плакать. Мы стали его будить, но безуспешно.

Утром, когда все мы проснулись, я спросил:

— Не сон ли дурной видел? Почему плакал?

Есенин грустно ответил:

— Да, действительно страшный сон видел. У меня две сестры — Катя и Шура. Один я о них забочусь. Помогаю как могу, всегда о них думаю. Привез я их в Москву. Сейчас они там, а кто знает, как живут... И вот вчера видел сон: им трудно, они ждут моей помощи, протягивают ко мне руки... Представляете?..

И на глазах у него выступили слезы.

— Сегодня же достану тебе денег! — воскликнул взволнованный Паоло. Он действительно мог помочь в беде товарищу. Все мы пошли в издательство «Зари Востока». Там Паоло все уладил: с Есениным заключили договор на издание книги его новых стихов и сразу же дали аванс. Помню, как Есенин послал по телеграфу деньги сестрам.

...К сожалению, мне не удалось встретиться с сестрами Есенина, чтобы рассказать им этот трогательный эпизод.

Г. Леонидзе

Четырнадцатого сентября в Тифлисе состоялась многочисленная демонстрация в честь празднования Международного юношеского дня.

Мы с Есениным стояли на ступеньках бывшего дворца наместника, а перед нами по проспекту шли, шеренга за шеренгой, загорелые, мускулистые ребята в трусиках и майках.

Зрелище было внушительное. Физкультурники с красными знаменами печатали шаг по брусчатке мостовой. Сердце прыгало в груди при взгляде на них. Я не удержался и воскликнул, схватив Есенина за рукав:

— Эх, Сережа, если бы и нам с тобой задрать штаны и прошагать вместе с этими ребятами!

Есенин вздрогнул и внимательно посмотрел мне в глаза.

По-видимому, эта моя взволнованная фраза задержалась в его сознании. И спустя полтора месяца я прочел в стихотворении «Русь уходящая»:

Я знаю, грусть не утопить в вине,
Не вылечить души
Пустыней и отколом.
Знать, оттого так хочется и мне,
Задрав штаны,
Бежать за комсомолом.

— Вспоминаешь? — спросил у меня поэт, когда эти строки появились в «Заре Востока»...

Первый вечер Есенина состоялся в одном из рабочих клубов. Сперва он прочел что-то печальное...

Этой грусти теперь не рассыпать
Звонким смехом далеких лет.
Отцвела моя белая липа,
Отзвенел соловьиный рассвет...

Переполненный зал слушал внимательно. Стояла полная тишина, навеянная музыкой печальных слов.

Поэт стоял на эстраде, красивый, задумчивый, в хорошем сером костюме, приятно сочетавшемся с его белокурыми волосами.

Голос у Есенина был негромкий, чуть хрипловатый, жесты — сдержанные. Руки двигались так, словно поддерживали у груди и поглаживали что-то круглое и мягкое. Кончив читать, поэт разводил руки, и тогда казалось, что это круглое медленно поднимается в воздух, а поэт взглядом провожает его.

Когда было прочитано три-четыре таких стихотворения, на сцену, словно сговорившись, поднялись молодые люди и стали критиковать эти стихи: одни — за «несозвучность эпохе», другие — за «богему», третьи — за «растлевающее влияние»...

Аудитория зашумела.

Тогда я, стоя возле кулис, шепнул:

— Прочти из «Гуляй-поля».

Есенин властно ступил к самому краю авансцены. Лоб его прорезала глубокая морщина, глаза потемнели.

Тихо бросив в зал: «Я вам еще прочту»,— он начал:

Россия —
Страшный, чудный звон.

В деревьях березь, в цветь — подснежник.
Откуда закатился он,
Тебя встревоживший мятежник?
Суровый гений! Он меня
Влечет не по своей фигуре.
Он не садился на коня
И не летел навстречу буре.
Сплеча голов он не рубил,
Не обращал в побег пехоту.
Одно в убийстве он любил —
Перепелиную охоту.

Слушавшие стали переглядываться и пожимать плечами: «О ком это он?.. При чем здесь перепелиная охота?»

А Есенин продолжал, постепенно повышая голос:

Застенчивый, простой и милый,
Он вроде сфинкса предо мной.
Я не пойму, какою силой
Сумел потрясть он шар земной?
Но он потряс...

Он мощным словом
Повел нас всех к истокам новым.
Он нам сказал: «Чтоб кончить муки,
Берите все в рабочьи руки,
Для вас спасенья больше нет —
Как ваша власть и ваш Совет».

. . . .

И мы пошли под визг метели,
Куда глаза его глядели:
Пошли туда, где видел он
Освобожденье всех племен...

Теперь уже всем стало ясно, что речь идет о великом Ленине. Снова наступила полная тишина. В голосе поэта зазвучала скорбь.

И вот он умер...
Плач досаден.
Не славят музы голос бед.
Из меднолающих громадин
Салют последний даден, даден.
Того, кто спас нас, больше нет.
Его уж нет, а те, кто вживе,
А те, кого оставил он,
Страну в бушующем разливе
Должны заковывать в бетон.

Для них не скажешь:
«Ленин умер!»
Их смерть к тоске не привела.

. . . .

Еще суровей и угрюмей
Они творят его дела...

Есенин кончил и умолк, потупясь.

Словно холодным ветром пахнуло в намертво притихшем зале.

Несколько секунд стояла эта напряженная тишина.

А потом вдруг все сразу утонуло в грохоте рукоплесканий. Неистово били в ладоши и «возражатели». Да и нельзя было не рукоплескать, не кричать, приминая в горле ком подступающих рыданий, потому что и стихи, и сам поэт, и его проникновенный голос — все хватало за самое сердце и не позволяло оставаться равнодушным.

У каждого жили в памяти скорбные дни января 1924 года, когда вся страна навсегда прощалась с великим вождем...

Потом просили читать еще и еще...

Многие встали с мест и обступили сцену, не сводя глаз с Есенина. Задние ряды тоже поднялись и хлынули... Несколько сот человек, потеряв волю над собой, полностью отдались то раздольным, то горестным, то жестоким, то ласковым словам, родившимся в душе поэта.

«Ну вот,— думал я, когда мы возвращались из клуба,— первая встреча поэта с Кавказом состоялась. Его приняли, поняли и, наверное, никогда не забудут...»

Есенин всю дорогу молчал.

Но когда мы поднимались по лестнице, он положил мне руку на плечо и охрипшим голосом произнес:

— Ты знаешь, ведь я теперь начал писать совсем по-другому...

Есенин перебрался на окраину города, где я снимал квартиру в доме № 15 по Коджорской улице. Здесь поэт и поселился — подальше от соблазнов, от шумных гостей, от городской сутолоки.

Коджорская улица круто изгибалась по склону горы. Сверху к ней сбегали узкие тропки, а еще выше вилось и петляло среди скал шоссе, по которому ездили в дачную местность Коджори.

С Коджорского шоссе открывался вид на весь город, расположившийся в длинном, широком, со всех сторон закрытом горами ущелье, по дну которого змеилась Кура.

Общий тон города был серовато-коричневый. По утрам его окутывала голубоватая дымка испарений.

Ночью с высокого места город казался звездным небом, опрокинутым навзничь...

В моей квартире были две комнаты и просторный балкон.

Первую, небольшую комнатку с письменным столом и огромным уральским сундуком-укладкой, покрытым ковром, я отдал Есенину. Вторая комната служила спальней мне и моей жене. На балконе, по тифлисскому обычаю, готовили пищу, пользуясь жаровней — мангалом, ели, пили и беседовали.

Перед балконом росло несколько деревьев алычи и был разбит цветник. Садик казался больше, чем он был на самом деле, потому что по стенам дома и по забору сплошным ковром вились глицинии. Их фиолетовые кисти источали сладковатый аромат, напоминающий запах белой акации.

В первый же день после переселения Есенина мы вышли погулять на шоссе и встретили чернявого армянского мальчугана лет двенадцати. Он подошел к нам, поздоровался и сказал, что моя жена, незадолго до этого уехавшая отдыхать на черноморское побережье, перед отъездом поручила ему помогать мне по хозяйству.

— Как тебя зовут? — спросил я.

— Ашот.

— Кто твой отец?

— Сапожник.

— Что же ты можешь делать?

— Все! — не задумываясь, ответил Ашот.

— Ну например?

— Могу приготовить обед... вымыть пол... отнести белье прачке... налить керосин в лампу... купить что надо в лавочке... А еще... а еще могу петь!

— Петь? — радостно воскликнул Есенин.— Так это же самое главное!

И, взяв мальчика за локти, поднял его с земли и расцеловал.

Так началась у них дружба, которая продолжалась несколько месяцев и в которой было много и смешного и трогательного.

Хозяйственная помощь Ашота оказалась очень незначительной. Она сводилась к тому, что он бегал в лавочку за покупками, неукоснительно присваивая при этом сдачу.

Днем, а часто и ночью, я оставлял их вдвоем, уходя работать в редакцию.

Ашот, по моему распоряжению, ни на минуту не оставлял Есенина, даже если тот уходил в город, а вечером рассказывал мне — что произошло за день.

Сергей постоянно повторял, что лучшего товарища ему не нужно и что он первый раз видит такого неутомимого певуна, вечно занятого каким-нибудь делом — то мастерит свистульку из катушки для ниток, то клеит змея, то из старого ножа делает кинжал.

Ашот, как всякий тифлисский мальчишка, говорил на трех языках и поэтому был очень полезен во время прогулок по городу, так как Есенин часто затевал разговоры с прохожими.

Через полмесяца вернулась жена и взяла хозяйство в свои руки. Мы зажили вчетвером. У Ашота дома была огромная семья. Мы устроили его у себя, и он спал на балконе.

Есенин довольно часто уходил вместе со мной в редакцию, где скоро стал своим человеком. Все полюбили его за простоту, спокойную веселость и незлобивое остроумие.

Конечно, кое-кому хотелось глубже покопаться в душе поэта, но он каждый раз вежливо отводил такого рода попытки.

Редакционные работники подобрались у нас хорошие. Однажды Есенин написал про них шуточное стихотворение «Заря Востока»; читая его, я всегда вспоминаю тифлисскую жизнь, веселую и ладную редакционную работу, когда мы дружным коллективом пускались на всякие газетные выдумки, привлекая к этому талантливых авторов и стремясь, чтобы печатный орган Закавказской федерации был не хуже столичных газет.

Однажды, часа в два ночи, когда я дежурил в типографии, мне сообщили, что в «проходной» сидит какой-то молодой человек в шляпе, хочет меня видеть.

Я велел пропустить.

В дверях показался Есенин.

Войдя в наборный цех, он начал как-то странно поводить носом, и на лице у него появилась довольная улыбка. А взгляд любовно скользил по наборным кассам, по печатным станкам, по талеру, на котором уже заканчивалась верстка очередной полосы газеты.

Вскоре я убедился, что Есенин довольно хорошо разбирается в типографском деле. Однако на мой вопрос —

откуда у него такие знания — он ответил как-то невнятно.

Только впоследствии я узнал, что в молодые годы Сергей работал в одной из больших московских типографий.

Потом он еще много раз навещал меня в типографии и всегда говорил, что запах типографской краски напоминает ему юность и какие-то очень приятные и интересные события.

Есенин быстро сошелся со всеми рабочими, в особенности со старым метранпажем товарищем Хатисовым, которого ласково называл «папашей».

Однажды наборщики и печатники типографии «Зари Востока» на квартире у своего товарища устраивали вечеринку (это было в годовщину Октябрьской революции) и попросили, чтобы я привел с собой «Сирожу».

Почти все рабочие были грузины и армяне.

Поэт отлично чувствовал себя в этой компании, читал стихи, плясал лезгинку, подпевал «мравалжамиер»... Одного только не мог принять — некоторых чрезмерно острых для него кавказских кушаний домашнего приготовления.

И вот интересное сопоставление.

Спустя некоторое время мы были приглашены на именины к одному журналисту. Здесь Есенина встретили почтительно-ласково, отвели ему лучшее место за столом. Все гости были из местной русской интеллигенции. Среди присутствовавших было много интересных людей. Играли на рояле, пели романсы и хоровые песни.

Сергей весь вечер просидел рассеянный, ушедший в себя, нехотя пил, вяло отвечал на вопросы, читать стихи отказался наотрез, сославшись на то, что болит горло, и задолго до конца вечера шепнул мне:

— Давай смоемся!

Выбрав подходящий момент, мы улизнули.

Выйдя на улицу, Есенин облегченно вздохнул и сказал:

— За два часа ни одного человеческого слова! Все притворяются, что они очень умные, и говорят, словно из граммофонной трубы!..

Я и потом много раз замечал, что Есенина совершенно не тянет в так называемое «образованное общество», где он не встречал открытых, непосредственных слов, задушевной беседы. А они-то главным образом и привлекали Сергея.

Мы несемся на парном фаэтоне по Коджорскому шоссе. В гору, в гору!

Трещат камни под копытами тонконогих жилистых лошадей. Залихватски машет кнутом извозчик-молоканин. Фуражка у него с лакированным козырьком, а над левым ухом вьется по ветру завитой рыжий чуб.

Отчаянный народ — тифлисские извозчики! Есенин любит их быструю и шумную езду, с гиком и посвистом...

В двух километрах от города, на голом месте, стоит «Белый духан» — небольшой одноэтажный домик в две-три комнаты. Его окружает чахлый сад, обнесенный низким каменным забором. У входа на старом покосившемся столбе висит фонарь. К фонарю привязан железнодорожный колокол, в который бьют, когда подъезжает кутящая компания.

Над дверью голубая вывеска:

«ДАРЬЯЛ»
ВИНО, ЗАКУСКИ
И
РАЗНЫЙ ГОРЯЧИЙ ПИЩ».

Прислонившись к фонарю, стоит пожилой шарманщик. У него заломленная на затылок синяя фуражка блином, белый платок на шее, синяя залатанная чоха чуть не до пят, под ней красный архалук. Широчайшие штаны забраны в пестрые шерстяные носки. На ногах крючконосые чусты из мягкой кожи.

Завидев наш фаэтон, шарманщик начинает быстро крутить ручку своего гнусавого инструмента. Мы узнаем мелодию «Сама садик я садила...».

Входим в духан. Садимся. Заказываем.

Когда известное количество вина было выпито, а шашлык съеден, Сергей Есенин хитро взглянул на меня, подозвал к себе хозяина и, загадочно двигая руками, начал с ним вполголоса о чем-то договариваться.

Тот с серьезным видом понимающе кивал головой.

В результате этих переговоров через несколько минут наш столик перекочевал на самую середину дороги.

— Зачем это? — удивился я.

— Вот чудак! — воскликнул Есенин.— Как же ты не понимаешь? Ведь здесь мы будем хозяевами не только одного столика в духане, а всего мира!.. Здесь каждый в гости будет к нам, и запируем на просторе!..

Что и говорить,— тут было хорошо.

Тифлис урчал и дымился где-то глубоко внизу, а над нами висело огромное небо, такое просторное, какое можно увидеть только с вершины горы. В небе плавали большие черные птицы, словно нарисованные тушью на голубом шелку. А выше, над ними, спешили куда-то легкие тающие облака... Могучая тишина ласково обволакивала нас и звала дружить со всем, что существует прекрасного во вселенной...

По шоссе шли люди, пригородные крестьяне. У них была горная, легкая походка и прямо поставленные сухие головы. Приятно было смотреть на их открытые загорелые лица и светлые морщинки на висках.

Подгоняемые людьми ослы и буйволы тащили в город арбы с хворостом, углем, сыром, кислым молоком в глиняных кувшинах.

Есенин подходил к каждому крестьянину и жестом предлагал сесть за наш столик и выпить стакан вина. При этом у него было такое открытое и доброжелательное выражение лица, что трудно было отказаться.

И они присаживались, поднимали к небу стаканчики, наполненные золотым вином, произносили короткие тосты, медленно выпивали, а выпив, последние капли сбрасывали на горячую землю, произнося заклинание: «Пусть твой враг будет такой же пустой, как эта чара!»

Друг каждой затейливой выдумки — толстый и рослый хозяин духана — переводил нам тосты.

Здесь были пожелания жить еще столько лет, сколько листьев на дереве, быть таким же правдивым и правильным в своей жизни, как правая рука, которую протягивают в знак дружбы и которой наносят удар врагу.

— Сколько звезд на небе, пусть столько же будет у тебя в жизни счастливых дорог! — говорил один.

— Будь чистым, светлым и прозрачным, как вода в роднике,— говорил другой.

— Пусть в знойные дни тебя всегда осеняет тенью доброе облако! — провозглашал третий.

Сергея эти простодушные тосты приводили в восхищение. Он просил меня записывать их, сам пробовал говорить в этом же роде, но у него не получалось.

Он сердился на себя и спрашивал, как капризный ребенок:

— Почему? Ведь я же поэт!

Пришлось объяснить, что тосты у грузин — традиционные. Они, как пословицы и поговорки, насчитывают тысячи лет. В них каждое слово, каждый образ отшли-

фован многовековой практикой. Создать такой тост по первому желанию, одним махом, очень трудно.

— А то, что мы ни с того ни с сего расселись среди дороги и угощаем вином каждого проходящего мимо,— добавил я,— это, наверное, представляется крестьянам странным и ненужным, потому что они привыкли к выпивке относиться прежде всего как к обряду, и каждый свой обряд сопровождают вином. Ты тоже придумал какой-то необходимый тебе сейчас обряд — обряд дружбы.

Выслушав меня, Есенин сразу остыл, даже загрустил и уже хотел снова перебраться в помещение.

Но тут я рассказал ему о гениальном китайском лирике VIII века Ли Бо (Ли Пу). Этот замечательный поэт был приглашен ко двору императора. Придворного поэта полюбила императрица. Ли Пу бежал от этой любви. Император в благодарность дал ему пятьдесят ослов, нагруженных золотом и драгоценными одеждами, которые надевались только в дни самых торжественных дворцовых празднеств.

Отъехав немного от столицы, поэт велел среди проезжей дороги накрыть стол с яствами и стал угощать проходящих и проезжавших крестьян, а угостив, на каждого надевал придворную одежду.

Когда золото было израсходовано, вино выпито, кушанья съедены, одежды розданы, Ли Пу пешком отправился дальше. Дошел до огромной реки Янцзы, поселился здесь и часто ночью на лодке выезжал на середину реки и любовался лунным отражением.

Однажды ему захотелось обнять это отражение, так оно было прекрасно. Он прыгнул в воду и утонул...

Есенина поразила эта легенда. Он просил еще подробностей о Ли Пу.

Я прочел ему отрывок из поэмы китайского лирика:

Грустная, сидела я у окна,
Наклонившись над шелковой подушкой,
Вышивая, уколола себе палец.

Капнула кровь,
И белая роза, которую я вышивала,
Сделалась красной...

Я думала о тебе —
Ты сейчас далеко, на войне,
Может быть, истекаешь кровью?..

Слезы брызнули из моих глаз...
Снова я, грустная, села к окну
И стала вышивать слезы на шелковой подушке.

Они были, как жемчуг,
Вокруг красной розы...

Спустя много месяцев, в течение которых никто из нас ни в письмах, ни в разговорах не вспоминал о Ли Пу, летом 1925 года я получил от Есенина из Москвы письмо с портретом Ли Пу (вырезка из какого-то английского журнала) — охмелевший поэт бредет куда-то, сопровождаемый юношей и девушкой. Он добродушен, счастлив и спокоен.

На портрете была надпись:

«Дорогому Коле Вержбицкому на память о Белом духане.

Жизнь такую,
Как Ли Пу, я
Не сменял бы
На другую
Никакую!

Сергей Есенин»

Но не только в этом проявилась у Есенина память о Ли Пу.

Есть у него стихотворение «Море голосов воробьиных». Там имеются такие строки:

Ах, у луны такое
Светит — хоть кинься в воду.
Я не хочу покоя
В синюю эту погоду.
Ах, у луны такое
Светит — хоть кинься в воду.

Первая и последняя фразы этой строфы непонятны, тем более что о воде в стихотворении не говорится ни слова. Но их смысл становится ясным, если связать его с легендой о Ли Пу. Видно, она глубоко запала в душу Есенина.

Это один из примеров того, как прочно овладевали поэтом некоторые образы, особенно образы неожиданные, поражающие воображение. Они для поэта до такой степени приобретали самостоятельное значение, что он, восприняв их органически и введя в свой поэтический обиход, даже не считал нужным расшифровывать.

На Коджорской улице нас часто навещал художник Илья Герасимович Рыженко.

По внешности Илья был типичный крестьянин, и было в нем что-то степное, калмыцкое. Лицо — словно вытесанное топором, глаза — зеленые, диковатые, жесты — резкие, а голос — низкий, проникновенный. В веселые минуты, обрадованный острым словцом или метким сравнением, он хохотал так, что чуть не падал со стула. Руки и пальцы у Ильи были корявые, неуклюжие, но, когда он брался за карандаш или кисть,— какие замечательные рисунки создавали они, какие тончайшие оттенки находили! Именно сказочным хотелось назвать искусство этого человека... Я никогда не забуду одну его акварель: дно кристально-прозрачного горного потока, с таинственными глубинами и разноцветными обкатанными камнями, то гладкими, то покрытыми бархатом водорослей, но явно согретыми лучом солнца, пронзившим холодную струю...

Бывая в гостях у Рыженко, Есенин подолгу рылся в его объемистых папках, расставлял этюды на стульях, на подоконнике, на столе... Смотрел, качал головой и говорил:

— У тебя, Илюша, прямо собачья любовь к природе!

— Почему же собачья? — удивлялся художник.

— Да как тебе сказать... Мне кажется, что по-настоящему любят и понимают природу только животные... И еще растения... А иные люди только притворяются, что любят,— им уже *нечем любить*. Ты тоже, по-моему, не человек, а большая, умная и добрая собака... И если тебя ласково погладить, ты растрогаешься и заплачешь собачьими слезами.

И правда, потом не раз приходилось мне видеть, как Рыженко «в открытую» плакал крупными слезами в ответ на ласковое слово, наверно потому, что в жизни таких слов немного пришлось на его долю...

Илья был прекрасный рассказчик. К тому же он всегда рассказывал только о том, что сам видел и испытал в жизни *.

Есенина в этих рассказах увлекало, как мне кажется, не одно только чередование любопытных фактов. Одновременно он прислушивался к языку Рыженко — сочному, выпуклому, многоцветному и живому. Художник хорошо знал яркую и образную народную речь и умело ею пользовался, часто давая такие меткие опре-

* В 1926 году в Тифлисе вышел сборник его рассказов и очерков из эпохи гражданской войны.

деления и характеристики, которые надолго оставались в памяти.

Иногда Рыженко, со свойственной ему прямотой, хватал Есенина за руку и говорил, пристально глядя на него своими зелеными неумолимыми глазами:

— Никто тебя, Сереженька, не выбирал печалиться и грустить о старом деревенском укладе! Да и не знаешь ты этого уклада. Небось ни разу за сохой не прогулялся!.. С богомолками по святым местам ходил!.. Про девок и про гармошку другие поэты не хуже тебя напишут, а ты лучше расскажи-ка, как в нашу деревню социализм просачивается,— вот о чем ты должен писать!.. Не бойся — березки и закаты солнца никуда не денутся, они и при социализме останутся. А вот интересно показать души крестьян, которые на глазах меняются, да еще как!.. Не углядишь этого — потом досада возьмет!

Пререканий на эту тему обычно не возникало. Есенин в ту пору был уже не на распутье. Всем было видно, что он уже избрал себе определенную дорогу. И если еще писал: «С того и мучаюсь, что не пойму — куда несет нас рок событий», то это означало лишь, что еще не вызрели у поэта новые образы, еще не выкристаллизовались формулы нового отношения к бытию.

Что касается Рыженко — крестьянина по рождению и талантливого художника,— то он всегда говорил, что легко и радостно воспринимает в изображении Есенина хорошо знакомую природу Средней России. Это доставляло большое удовольствие поэту. Он понимал, что его хвалят не за виртуозно-придуманное и не за причудливую экзотику, а за то, что идет у него прямо из сердца.

Есенин мог часами читать свои стихи в присутствии Рыженко. Но тот иногда не выдерживал и, размахивая руками, кричал:

— Баста! Хватит! Ты меня задавил образами! Дышать нечем!.. Твои стихи, Сережа, тем и хороши, что их нужно медленно прихлебывать, как хорошее вино из хрустального бокала!

Был еще один интересный человек, с которым сблизился Есенин, живя у меня,— Вениамин Петрович Попов, из донских казаков.

Окончив Московский университет, Попов отправился путешествовать в Среднюю Азию. Пробыл там около двух лет и, очарованный искусством Востока, культурой

древней Бухары, Хивы, Самарканда, уехал в Европу — искать отражения этих великолепных образцов в произведениях великих мастеров европейского средневековья. Жил в Мюнхене, в Геттингене, Дрездене. Целые дни проводил в библиотеках, картинных галереях и мастерских художников.

Во время первой мировой войны Попова задержали в Германии как военнопленного. Вернувшись в Россию, он избрал местом своего жительства Тифлис и здесь стал заниматься журналистикой.

Познакомившись с местными художниками и поэтами, он стал чем-то вроде неизбранного «арбитер элегантиарум». При обсуждении каждой новой картины или литературного произведения высказывал тонкие и часто весьма глубокие замечания, отличавшиеся безупречной объективностью и прямотой.

Это был человек небольшого роста, ладный, чуть суховатый, с красивыми прядями седоватых волос на голове и с мягкими жестами маленьких рук. Говорил он всегда медленно, взвешивая свои слова...

В комнатке Попова на Хлебной площади стояли простой деревянный стол, хромая табуретка и кровать — три доски на деревянных козлах.

Зато стены были украшены редкими произведениями искусства, среди которых вы могли увидеть старинные гравюры, чеканные блюда, миниатюры на фарфоре, статуэтки из слоновой кости, инкрустированное оружие... На книжной полке стояло не более двухсот томиков, но каждая книга была шедевром и по содержанию, и по внешнему оформлению.

Вот тут-то, на этих полках, и подвернулся мне томик — «Персидские лирики X—XV веков» в переводе академика Корша.

Я взял его домой почитать.

А потом он оказался в руках Есенина, который уже не хотел расставаться с ним.

Что-то глубоко очаровало поэта в этих стихах...

Попов не стремился к знакомству с Есениным. Но когда я сообщил ему, что поэт с наслаждением читает и перечитывает Саади, Хайяма и Руми, он зашел к нам, и мы провели интересный вечер. Вениамин без конца рассказывал о Востоке, о Персии...

Попов любил искусство с какой-то особой непреклонной требовательностью. Он принимал и утверждал в душе своей только все безупречное, никогда, ничему

и никому не делая скидок. В этом отношении он, как казалось некоторым, был даже слишком требователен. Но в ответ мы слышали от него:

— А разве вы забыли, что говорил Гёте: в смысле строгости оценок произведений искусства никогда ничего не может быть «слишком»! Только при этом условии мы будем идти вперед!

Вениамин Петрович приветствовал цельность творчества Есенина, прощая ему некоторую ограниченность, которая, по его мнению, выражалась, например, в том, что поэт, живя среди красочной природы Кавказа, словно не подпускает к себе ничего, кроме (как называл Попов) «левитановских лужков и бережков». И это была чистая правда.

Как-то вечером, за ужином, Есенин прочел нам свое первое стихотворение из будущего цикла «Персидские мотивы»:

Я спросил сегодня у менялы,
Что дает за полтумана по рублю,
Как сказать мне для прекрасной Лалы
По-персидски нежное «люблю»?..

Попов выслушал, подумал и сказал:

— А вот поверьте моему слову, Сергей Александрович, вы, конечно, и еще захотите писать про «персидское», но каждый раз (я готов голову отдать на отсечение) вы будете сворачивать на Рязань!

Это было точное предвидение...

Мы спустились в погребок. Здесь за одним из столиков сидел мой друг — журналист Шакро Бусурашвили. Это был истый тифлисец, уроженец Верхней Кахетии, изящный, как молодой гомборский медведь, упрямый, как буйвол, и лукавый, как тифлисская весна в марте. Но мечтательная душа Шакро скрадывала все эти недостатки. Кроме того, он знал каждый уголок, каждую щель этого удивительного города.

— Послушай, дружище,— сказал я.— Есенин подавлен обилием резких звуков. Ему начинает казаться, что Тифлис умеет только кричать. Скажи, где можно послушать тихую и мудрую песню?

— Идемте, я покажу вам певучее и доброе сердце Тифлиса,— сказал на это Шакро.

Мы вышли из подвальчика и пошли берегом Куры. Вскоре мы остановились перед невзрачным домом. Изнутри доносилось пение.

Шакро толкнул дверь, и мы вошли в полутемное помещение.

К правой стене был приперт двуногий стол. На тахте лежал старенький ковер с длинными подушками. В углу стояла табуретка, на ней — ведро с водой.

Среди этой бедной обстановки казались неожиданными большой портрет Шота Руставели, размашистой кистью написанный прямо на стене, и два больших букета каких-то крупных белых цветов в глиняных кувшинах.

Посреди комнаты стоял среднего роста пожилой мужчина с седоватой бородкой. Его карие глаза смотрели спокойно, умно и благожелательно.

Это был Иетим Гурджи, народный певец и народный поэт Грузии — так нам представил его Шакро.

Иетим поклонился нам и снова запел. Он пел и указательным пальцем наигрывал на трехструнном инструменте с длинным и тонким грифом — чонгури.

Перед ним на тахте, прислонившись к стене, сидели трое юношей. Они не спускали глаз со старика и, прослушав часть песни, вместе с ним повторяли ее. Если они ошибались, учитель останавливал их ударом ноги о пол и сам еще раз повторял трудное место.

Юноши заучивали с голоса собственные стихи и мелодии Иетима. Он говорил:

— Если что плохо сложилось в голове, всегда можно исправить. А напечатанное в книге — никогда.

Отсюда, из этой каморки, песни старого «молексе» разлетались во все стороны света, как пушинки одуванчика. Ветер жизни не выбирал для них ни места, ни направления — лови, кто хочет, бери и выращивай из этих крошечных семян пышные цветы любви, красоты и мудрости!

Голос у Иетима был слабый и немного дребезжал. Но в пении старика было так много сердечности и внимательной любви к каждому звуку, что нельзя было не заслушаться. Невольно хотелось вслед за ним повторять его песни, полные глубокого смысла и очарования.

Я записал одну из них. Вот она:

Посмотрите на этот мир —
Его не купишь за серебро.
Много было таких, которые погибли.

Думая завладеть им с помощью богатства,
А когда они умерли в одинокой роскоши,
Некому было даже закрыть глаза
Этим разжиревшим гордецам!
А я выбираю себе друзей
Не из тех, у кого много золота,
А из тех, кто всегда весел и бодр,
Кто верит, что счастье сбудется.
Счастье для всех!
Так поступает Иетим Гурджи,
Следуйте его примеру!

Кончив петь, старик пригласил нас сесть. Он сдержанно выразил удовольствие, узнав, что среди его гостей находится известный русский поэт. Достал из угла большой глиняный кувшин с вином, налил всем и сказал:

— Встреча двух поэтов — это встреча стали с кремнем. Она рождает свет и тепло!.. Я плохо знаю русский язык, но язык поэзии — один повсюду. Прошу моего брата прочесть что-нибудь!

И он еще раз чокнулся с Есениным.

Тот встал, долго молчал и, наконец, запел «Есть одна хорошая песня у соловушки...».

Я еще не слышал и не читал этой песни. В ней было немного слов, но слова эти и мелодия произвели на меня потрясающее впечатление.

Хозяин стоял опустив голову.

— Не надо печали! — вдруг воскликнул он и толкнул ногою дверь.— Посмотрите, как хорошо на свете!

И перед нашими глазами возникло чудесное зрелище.

Город лежал внизу. На него падали последние лучи заходящего солнца. Длинные тени от домов, скал и деревьев наполнялись синеватой мглой.

Через минуту солнце скрылось, и город погрузился во мрак. Дома и улицы на какое-то мгновение совершенно исчезли из глаз, как будто утонули в этом мраке, но потом в нем начали проступать желтые дрожащие огоньки.

А наверху замигали звезды. Их сразу появилось такое множество, что можно было подумать, будто это не звезды, а отражение огоньков, вспыхнувших внизу.

Есенин не отводил глаз от чудесной картины — Тифлис продолжал жить, бодрствовать, он все еще пел, звуча как один огромный и сложный инструмент.

На просторных балконах зашевелились тени, открылись окна навстречу вечерней прохладе.

Совсем близко из распахнувшейся двери вырвался наружу и понесся к звездному небу густой и согласный хор кейфующих людей.

Иетим Гурджи послушал, улыбнулся и сказал, обращаясь к Есенину:

— Всякая песня годится, лишь бы она шла от души!

И, помолчав, добавил:

— Царь Давид хвастался, что его песни больше всего нравятся богу. А бог посмотрел сверху, покачал головой и говорит: «Ишь ты, расхвастался!.. Каждая лягушка в болоте поет не хуже тебя! Посмотри, как она от всей души старается, хочет мне угодить!» И тогда царю Давиду стало стыдно.

Может быть, эта простодушная, но полная глубокого значения легенда вспомнилась потом Есенину, когда он писал:

Миру нужно песенное слово
Петь по-свойски, даже как лягушка.

В газете появилась заметка о том, что в Тифлисе открылся коллектор для беспризорных, откуда их будут направлять в детские дома и колонии.

Есенин захотел во что бы то ни стало посетить это учреждение. И мы отправились на Авлабар *.

В большом, невзрачном, казарменного типа помещении находилось человек пятьдесят «пацанов», задержанных на железнодорожных путях, в пустых товарных вагонах, в пещерах, вырытых по берегу реки, на улицах.

Есенин оделся как обычно: ярко начищенные желтые туфли, новая серая шляпа, хороший, только что отглаженный серый костюм. Он даже сунул в верхний левый карман какую-то цветную батистовую тряпочку.

Я не видел смысла в этом принаряживании и говорил:

— Украшайся, украшайся! Смотри, как бы «пацаны» не встретили тебя свистом и камнями. Ведь они могут принять тебя за барина, за буржуя!

— Не беспокойся! — отвечал мне Сергей, делая аккуратный пробор на голове, как раз посредине.— Поверь мне, что не всегда так бывает, что «по платью встречают».

Когда мы пришли в коллектор, Есенин смело распахнул двери и быстрым шагом вошел в довольно грязное

* Окраина Тбилиси, расположенная на высоком берегу Куры.

и неуютное помещение. Можно было подумать, что он уже не раз здесь бывал и все ему хорошо знакомо. Он сразу направился к широким и тоже не очень чистым нарам, на которых сидели и лежали полуголые, выпачканные угольной пылью, завшивевшие мальчишки в возрасте от шести до пятнадцати лет.

Я внимательно следил за каждым движением, за каждым жестом Есенина.

Он с серьезным деловым выражением лица сделал повелительное движение рукой, чтобы ему освободили место на нарах, прочно уселся, снял шляпу, велел положить ее на подоконник, подобрал одну ногу под себя и принял позу, которая удивительно напоминала обычную позу беспризорника: одновременно развязную и напряженную.

Сразу началась оживленная беседа. Она велась почти в товарищеском тоне.

Есенин начал с того, что очень правдиво рассказал, как он сам был беспризорником, голодал, холодал, но потом нашел в себе силы расстаться с бродяжничеством, подыскал работу, выучился грамоте и вот теперь — пишет стихи, их печатают, и он неплохо зарабатывает.

Кончив свой от начала до конца выдуманный рассказ, Есенин вытащил из кармана пачку дорогих папирос и стал угощать, однако не всех, а по какому-то своему выбору и без всякой навязчивости.

— А ты какие пишешь стихи? — спросил один мальчик.— Про любовь?

— Да, и про любовь,— ответил Есенин,— и про геройские дела... разные.

В разговоре он употреблял жаргонные слова, пользовался босяческими интонациями и жестами, но все это делал естественно и просто, без тени притворства.

В ответ на его «искреннее» признание ребята начали без всякого стеснения рассказывать о своих путешествиях, о не всегда благопристойных способах приобретения средств для пропитания. Внимательно слушали, когда Сергей начал объяснять им, что Советская власть никогда не даст им погибнуть, она оденет их, приютит, научит работать, сделает счастливыми людьми...

Мы пробыли в коллекторе около часа. За это время никто не позволил себе ни одной грубой шутки. А когда один совершенно голый и совершенно черный от грязи мальчишка слишком близко подсел к Есенину, на него хором закричали остальные:

— Эй, дурошлеп! Разве не видишь — у человека хорошая роба?! А ты прислоняешься!

Другой мальчуган по просьбе Есенина с большой охотой спел чистым, как слеза, за душу берущим детским голоском песню беспризорников «Позабыт, позаброшен...».

Провожали нас до дверей всей оравой и кричали вдогонку:

— Приходите еще!

Мы вышли на улицу порядочно взволнованные.

Есенин шел большими шагами и все время говорил, как-то странно заикаясь и размахивая руками. Он говорил о том, что больше с этим мириться нельзя, невозможно дальше спокойно наблюдать, как у всех на глазах гибнут, может быть, будущие Ломоносовы, Пушкины, Менделеевы, Репины!

— Надо немедленно,— громко говорил Сергей, хватая меня за локоть,— немедленно очистить от монахов все до единого монастыри и поселить там беспризорных! Нечего церемониться с попами и монахами, тем более с такими, которые убивали красных воинов!

Как раз в те дни были опубликованы в газетах материалы о «святых отцах» Ново-Афонского монастыря около Сухума, которые с винтовками боролись против Красной Армии.

— Я завтра же пойду к Миха Цхакая и скажу ему об этом! — говорил Сергей.

Спустя три дня в «Заре Востока» появились его стихи — «Русь бесприютная». Там были такие строки:

Над старым твердо
Вставлен крепкий кол.
Но все ж у нас
Монашеские общины
С «аминем» ставят
Каждый протокол.

У них жилища есть,
У них есть хлеб,
Они с молитвами
И благостны и сыты.
Но есть на этой
Горестной земле,
Что всеми добрыми
И злыми позабыты...

...Я только им пою,
Ночующим в котлах,
Пою для них,

Кто спит порой в сортире,
О, пусть они
Хотя б прочтут в стихах,
Что есть за них
Обиженные в мире.

Был Есенин и у председателя Закавказского Центрального Исполнительного Комитета — Миха Цхакая.

В ответ на эмоциональное заявление поэта старый большевик-ленинец сказал, что правительство уже нашло для беспризорных хорошие помещения, где в самом ближайшем будущем должны быть организованы трудовые колонии... А в Новом Афоне, освобожденном от монахов, будут созданы отличная здравница и совхоз...

В последние два года жизни Есенин часто говорил о своем желании написать повесть о беспризорниках, которые в те годы буквально заполонили все большие города и железнодорожные узлы. Это была его неутолимая, горестная тема.

Есенин много раз и с большим простодушием спрашивал у меня:

— Что за человек — Горький?.. Как ты думаешь — что это за человек?

И до прозрачности ясно было, что он действительно никак не может постигнуть — откуда пришла к этому всегда взволнованному художнику этакая невероятная широта мысленного охвата жизни, такая редчайшая способность все время трудиться над разрешением множества житейских и творческих вопросов...

— Когда мы встретились в Берлине, я при нем чего-то смущался,— сказал однажды Есенин.— Мне все время казалось, что он вдруг заметит во мне что-нибудь нехорошее и строго прицыкнет на меня, как, бывало, цыкал на меня дед. Да еще каблуком стукнет о пол... От Горького станется!

По свидетельству современников, в 1925 году Есенин часто выражал свое желание поехать в Италию к Горькому. В июне он написал ему письмо, где говорил об этом.

Из поэтов Есенин активно не любил Надсона. Пушкина на Кавказе начал ценить выше Лермонтова, которого до этого считал непревзойденным. У Гоголя больше всего ему нравились лирические отступления в «Мертвых душах».

— Так мог написать только истинно любящий Россию человек! — говорил он.

От Достоевского Сергей быстро уставал и признавался, что после этого писателя ему «плохо спится».

Спросил я его как-то про Блока.

Есенин пожал плечами, как бы не зная, что сказать.

— Скучно мне было с ним разговаривать,— вымолвил он наконец.— Александр Александрович взирал на меня с небес, словно бог Саваоф, грозящий пальцем... Правда, я тогда был совсем мальчишкой и, кажется, что-то надерзил ему... Но как поэт я многому научился у Блока.

Иногда, оставаясь дома и забывая обо всем на свете, мы бросали на пол широкий войлок, подушки, ставили на низенький столик блюдо с пряной кавказской зеленью и острым овечьим сыром, нарезанным тончайшими ломтиками, раскупоривали бутылку светлого гурджаанского вина и, как выражался Вениамин Попов,— «предавались Пушкину».

Попов хорошо читал. Есенин слушал внимательно и взволнованно, а в наиболее захватывающих местах вздрагивал и хватал кого-нибудь за руку.

Особенно восхищали его миниатюры, вроде «На холмах Грузии...», «Делибаш», «Предчувствие», «Воспоминание», «Дружба», «Телега жизни» и другие. Их он мог слушать без конца.

По поводу стихотворения «Дар напрасный» он однажды сказал:

— Вот небось не говорят про эту вещь: «упадочное»! А у нас, как чуть где тоскливая нотка, сейчас же начинают кричать: «упадочный», «припадочный»!

Попов по этому поводу вспомнил запись в дневнике у Гёте: «Вчера,— сказано было там,— мои дочери вернулись из театра счастливые — им удалось немного поплакать».

А мне пришла в голову такая мысль: как бы ни был прекрасен наш поэтический оркестр, но, кроме щебетания скрипок, тромбонного громогласия и веселой переклички кларнетов, хочется иногда услышать и вздох задумчивой валторны, от которого душу охватывает сладкая тревога...

Пушкину мы предавались подолгу. Некоторые вещи перечитывали по нескольку раз, отыскивая все новые и новые замечательные подробности.

В один из таких вечеров Есенин признался мне, что он именно теперь, на Кавказе, начал читать великого поэта, как он выразился, «в полную силу», стал находить в нем «что-то просветляющее».

Есенин любил всякие литературные поиски.

Он часто говорил:

— Народу свойственно употреблять в самом обыкновенном разговоре образы, потому что он и думает образно. Мы все говорим: «след простыл», «глаз не оторвать», «слезу прошибло», «намозолили глаза» и тому подобное. Даже одно такое слово, как «сплетня»,— сплошной образ: что-то гнусное, петлястое, лживое, плетущееся на хилых ногах из дома в дом... А возьмем пословицы и поговорки — ведь это же сплошная поэзия!

Вопросы формы всегда живо интересовали Есенина. Он постоянно обогащал свой словарь, часами перелистывал Даля, предпочитая первоначальное его издание с «кустами» слов; прислушивался к говору людей на улице, на рынке, сокрушался, что не знает грузинского и армянского языков.

Раз я застал его в подавленном состоянии. Он никак не мог простить себе плохой перенос в строках:

Не бродить, не мять в кустах багряных
Лебеды и не искать следа.

— «Лебеда»,— говорил он,— должна была войти в первую строку, обязательно! Но я поленился...

Мне пришло в голову такое построение:

Лебеды не мять в кустах багряных,
Не бродить и не искать следа.

Есенин подумал, потом сказал:

— Тоже не годится, слишком большое значение придается «лебеде». Ведь главное во фразе — «бродить». Второстепенное — «бродя, мять лебеду». И потом уже объяснение — зачем я это делал? «Искал след»... В общем, надо совсем переделать всю строфу!..

Н. Вержбицкий

Есенин шел в редакцию «Зари Востока» и предложил мне пойти вместе с ним. Дорога прошла у нас в оживленном разговоре.

Я скоро почувствовал себя с Есениным совсем легко и запросто стал называть его Сережей.

По дороге Есенин просил меня прочитать ему одно из моих стихотворений, и я прочел «А. С. Пушкину», которое начинается так:

Мой век — не тот, к чему таить,
Покрой есенинский мне узок...

Ему, очевидно, очень понравилась такая дерзость, потому что все стихотворение он прослушал с большим вниманием. Мы даже прошли редакцию, и, когда я кончил читать, Есенин как-то особенно живо отозвался:

— Хорошие стихи, только длинноваты... Поработайте над ними...

Я смотрел ему прямо в рот, молча соглашался с ним, а у самого в голове вертелось: «Как бы это побольше выудить от него»...

Есенин почти скороговоркой продолжал:

— А строчки «Мой век — не тот, к чему таить, покрой есенинский мне узок» определенно хороши...

Я был удивлен тому, что эти строчки он прочитал почти без запинки и не переспросил у меня ни одного слова, а ведь стихи были прочитаны мною на ходу, да еще в уличном гаме.

М. Юрин

...Грузинский период творчества С. Есенина был одним из самых плодотворных: за это время он написал чуть не треть всех стихов последнего времени, не говоря уже о качественном их превосходстве. В первый же день приезда в Тифлис он прочел мне и Шалве Апхаидзе свое «Возвращение на родину». И стихи и интонации голоса сразу показали нам, что поэт — в творческом угаре, что в нем течет чистая кровь поэта.

В этот приезд С. Есенин сознательно стремился порвать со старым образом жизни. Видно было, что кабацкая богема ему до боли надоела, но он еще не находил сил вырваться из ее оков:

И я от тех же зол и бед
Бежал, навек простясь с богемой...

Поэт благодарит Кавказ: он научил его русский стих «кизиловым струиться соком»,— и дает как бы клятву:

Чтоб, воротясь опять в Москву,
Я мог прекраснейшей поэмой
Забыть ненужную тоску
И не дружить вовек с богемой...

Ему не удалось сдержать своего слова, но зато отдельные строки из того же «На Кавказе» оказались пророческими:

А ныне я в твою безгладь
Пришел, не ведая причины:
Родной ли прах здесь обрыдать
Иль подсмотреть свой час кончины!

Кавказ, как когда-то для Пушкина, и для Есенина оказался новым источником вдохновения. В отдалении поэту пришлось много передумать, в нем происходила сильная борьба за окончательное поэтическое самоутверждение. Он чувствовал наплыв новых тем, он хотел быть «настоящим, а не сводным сыном в великих штатах СССР». Но для рождения новых тем нужно, чтобы старые темы и мотивы испепелились,— и вот именно в эту пору Есенин кончил свои крестьянские и деревенские напевы, он с кровавой болью расставался с старым своим деревенским миром, чтобы перейти к большой «эпической теме». Здесь, в Тифлисе, на наших глазах писались эти мучительные стихотворные послания «К матери», «К сестре», «К деду» и их воображаемые ответы. Все эти стихи построены на контрастах: на юге в бесснежную тифлисскую зиму поэт почти с неприязнью вспоминает рязанскую зиму:

Как будто тысяча
Гнусавейших дьячков,
Поет она плакидой —
Сволочь-вьюга!
И снег ложится
Вроде пятачков
И нет за гробом
Ни жены, ни друга!

Здесь нет возможности описать все встречи с поэтом: много в них интимного, многое лишено широкого общественного интереса, многого просто не уместить, но есть и многое важное для советской общественности — я имею в виду взаимоотношение русских и грузинских поэтов. У меня со стенографической точностью воспроизведены для подготовляемой об С. Есенине книги беседы на эту тему на банкете, устроенном в честь С. Есенина. Есенин вскоре ответил на эти беседы стихотворением «Поэтам Грузии».

В письмах ко мне из Москвы С. Есенин писал, что зима в Тифлисе навсегда останется лучшим воспомина-

нием. В следующую зиму он собирался опять засесть в Тифлисе и запасался охотничьим ружьем, чтобы ходить на кабанов и медведей. Этому не суждено было сбыться.

В Москве С. Есенин много рассказывал о тифлисской жизни. Об этом мы узнали через В. И. Качалова в его последний приезд в Тифлис (вместе с художественниками). Есенин не переставал думать о приезде в Тифлис и о встречах с друзьями. Грузинские поэты ответили ему взаимной любовью: Сандро Шаншиашвили и Валериан Гаприндашвили переводят Есенина на грузинский язык; выходит в переводе Цецхладзе поэма «Анна Снегина». Сам Есенин несколько раз собирался приняться за переводы грузинских поэтов, учитывая важность этого дела для обоюдного культурного сближения, но и этому не пришлось сбыться. Несомненно, для осуществления этого крупного культурного дела, кроме желания русских и грузинских поэтов, нужен более внушительный общественный почин.

Есенин был в Грузии в зените своей творческой деятельности, и нас печалит то, что он безусловно унес с собой еще не разгаданные напевы, в том числе и напевы, навеянные Грузией. Ведь он обещал Грузии — о ней «в своей стране твердить в свой час прощальный».

Т. Табидзе

...Был осенний, сверкающий, солнечный день в Тбилиси. Я вышла в город. В глаза мне бросилась афиша: «Вечер Сергея Есенина».

Я много слышала о нем от Тициана, знала его стихи, где есть чарующие строки и где переплетаются немыслимая нежность и буйная взволнованность, бунтарство.

С афиши улыбался Есенин своей очаровательной улыбкой.

В тот вечер он читал удивительно, вдохновенно...

В тот вечер мы с ним познакомились.

О его грандиозном успехе я говорить не буду и о том, что он создал эпоху в истории русской поэзии,— тоже. Я хочу рассказать о нем просто как о друге и человеке. Есенина я после этого вечера часто встречала. Тициан Табидзе и Есенин были очень дружны.

Читатель знает стихи Тициана, но, может быть, он не знает, как Тициан принимал гостей. У него вообще было открытое сердце, а при гостях он совсем таял. Так

встретил он и Есенина, обворожив его своею душевностью, своим большим сердцем. Живя в Тбилиси, Есенин часто бывал у нас уже как свой и близкий человек.

Раз вечером я шла домой. Проходя мимо пивной, которая находилась в подвальном этаже дома на теперешней площади Руставели, где теперь стоит громадное здание Грузугля, я вдруг услышала знакомый голос. Среди людского шума, исходящего из подвала, я узнала голос Есенина... Спустившись вниз и схватив Есенина за руку, я быстро сказала:

— Идем со мной, Сережа!

Он посмотрел и очень удивился, увидев меня в таком месте, где, должно быть, ни одна женщина не бывала. Я взяла его за руку, и он покорно последовал за мной.

Скоро пришел домой Тициан и очень обрадовался Сереже; он и сам его, оказывается, искал,— и был рад, застав Сережу у нас дома.

Когда утром Есенин вышел из комнаты Тициана, где он спал, в столовую, моя трехлетняя дочурка, увидев его,— с волосами цвета спелой ржи, как бы обсыпанного золотою пылью,— воскликнула, всплеснув ручонками:

— Окрос пули!

«Золотая монета» — в нашем доме так за ним это прозвище и осталось. Видно было, что ему это нравилось, и, играя с моей девочкой, он все заставлял ее повторять: «Окрос пули» — «Золотая монета».

Андрей Белый в своей книге «Ветер с Кавказа», написанной уже после смерти Есенина, вспоминает, что будто бы это я назвала Есенина «Золотой монетой», но нет — не я, а моя маленькая дочурка.

Есенин подружился не только с Нитой, но и с моей мамой. Как-то я заметила, что он с мамой о чем-то шепчется. Это он говорил ей:

— Мама, вы очень вкусно угощаете, а вот русский красный борщ с гречневой кашей вы не умеете делать...

Мама засмеялась и сказала, что это не мудрено сготовить,— завтра к обеду и у нас будет его любимое кушанье — борщ с кашей.

Узнав про этот разговор, Тициан сейчас же объявил, что приведет к обеду поэтов.

На другое утро Сережа что-то долго не выходил в столовую, я заглянула к нему в комнату и вижу: он лежит и кулаками вытирает глаза. Я забеспокоилась:

— Что с вами, Сережа? Вы чем расстроены?

Он ответил, что видел сон, очень плохой. Он видел во сне сестру Шуру, она плакала и жаловалась, что у нее нет денег.

— Я знаю, что у нее денег нет, и у меня тоже нет денег, чтобы ей послать, и где достать, не знаю...

Меня поразила его беспомощность, и я сказала:

— У вас же в «Заре Востока» стихи из рук рвут! Идите к Вирапу, он выдаст вам деньги.

Сережа страшно обрадовался, что я навела его на эту мысль, вскочил, оделся и побежал к редактору газеты «Заря Востока» за деньгами.

Стали собираться к обеду товарищи Тициана: Георгий Леонидзе, Сандро Шаншиашвили, Валериан Гаприндашвили, Шалва Апхаидзе, Николоз Мицишвили, Серго Клдиашвили, Лели Джапаридзе, остальных не помню. Не хватало только Сережи и Паоло Яшвили. Я стала у закусочного стола, возле буфета. Приоткрылась дверь, вбежал Сережа с блестящими глазами, золотоволосый и с большим букетом белых и желтых хризантем и осыпал ими меня и, радостный, сообщил:

— Вирап дал деньги!

Он перевел деньги сестре и был счастлив.

Появился и Паоло, посмотрел на развеселившегося Есенина и хитро улыбнулся. Я поняла: сейчас Паоло что-то натворит. И правда, он повернулся к Есенину и сказал:

— Знаешь, Сережа, я хочу тебя обрадовать. Приехала в Тбилиси Айседора Дункан, я ее встретил на Руставели, сказал ей, что ты здесь, и адрес дал. Она сюда скоро приедет.

Трудно описать, что произошло с Есениным, когда он услышал эти слова. Он побледнел. Он не мог произнести ни слова. Он стоял с минуту как громом пораженный, потом вбежал в свою комнату и стал, торопясь, укладывать вещи в чемодан. Махнув на все рукой, схватил свой чемодан и убежал. Паоло и Тициан бежали за ним и едва его догнали на улице. Паоло клялся, что он пошутил, что никакой Айседоры Дункан и в глаза не видел. Еле вернули его обратно. Есенин явно нервничал, каждый раз, когда открывали дверь, он вздрагивал и оборачивался,— он все-таки боялся, что она появится. Он готов был бежать на край света, лишь бы не встретиться с ней...

Дункан действительно появилась в Тбилиси вскоре после отъезда Сережи. Мы встречались с ней и обедали

в кафе «Париж» на Дворцовой улице. Она же была изумительная танцовщица, создавшая свою школу. Узнав, что Есенина нет в Тбилиси, она тоже уехала вскоре.

Я прочла позднее у Горького поразившие меня слова — так это было верно — о Есенине и Айседоре Дункан: «Эта знаменитая женщина, прославленная тысячами эстетов Европы, тонких ценителей пластики, рядом с маленьким, как подросток, изумительным рязанским поэтом являлась совершеннейшим олицетворением всего, что ему было не нужно».

Я уже говорила, что у нас Есенин чувствовал себя по-домашнему. Один раз, когда он жил уже в гостинице, он пришел к нам в двенадцать часов ночи. В это время и Паоло Яшвили был у нас. Необычайно творчески взволнованный, Есенин достал свое новое стихотворение и прочитал друзьям. То было известное стихотворение «Поэтам Грузии», в котором, как и в стихотворении «На Кавказе», он пел о душевном братстве русских и грузинских поэтов.

Это был необычайный поэтический вечер.

Тициан достал книгу стихов Важа Пшавела и читал Есенину по-грузински, тут же слово в слово переводя. Восторгу Есенина не было границ. В ту минуту он был похож на человека, который впервые взглянул на незнакомый мир широко раскрытыми глазами, и красота ослепила его. До этого дня Есенин не слышал о Важа Пшавела. Теперь же он слушал его строки, волновался, кипел, не мог усидеть на месте. Его очаровывала доброта, струящаяся из строчек Важа: и то, как он ласкает траву, деревья, посевы, лань — и растения и животных. Вдруг Есенин вскочил и, как будто бы отвечая Важа, прочитал стихи, в которых он, словно предчувствуя близкую смерть, сожалел о прекрасном мире:

Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать.
. . . .

Многое в поэзии Сергея Есенина перекликается с нежной любовью Важа Пшавела к лани, деревьям, птицам. Есенин и сам почувствовал это и обрадовался. Он поклялся, что переведет Важа Пшавела.

Когда вышла книга Есенина «Страна советская», он подарил ее мне, сделав на ней своей кровью надпись:

«Люби меня и голубые роги». К сожалению, эту книгу у меня украли.

Другой экземпляр он надписал Тициану: «Милому Тициану в знак большой любви и дружбы. *Сергей Есенин.* Тифлис, фев. 21—25».

...Он ходил в сером костюме, в руках держал палку с круглым набалдашником. Шел по улице важно. Но стоило ему увидеть кого-нибудь из знакомых, как он сразу преображался: лицо освещалось улыбкой, и даже его золотые волосы как бы излучали свет. Я очень любила за ним наблюдать, когда он меня не видел...

Из Тбилиси Есенин уехал в Баку.

Я отдыхала в Боржоми. Тициан сообщил мне, что Сережа звонил из Баку, что он хочет приехать к нам. По просьбе Тициана я приготовила для Сережи комнату, но Есенин, к сожалению, к нам в этот раз не приехал, он уехал прямо в Москву.

Из Москвы он прислал письмо Тициану. Он мечтал об охоте на кабанов в Саингило. Тициан ответил ему, что мы все его ждем — не дождемся. Но увы, мы больше его не увидели.

Был декабрь.

Тициан проходил мимо редакции «Зари Востока». Ему крикнули:

— Тициан! Тициан! Сергей Есенин в Ленинграде повесился!

Тициан вернулся домой ошеломленный, убитый. Мы все очень переживали эту смерть.

Н. Табидзе

Как-то мы встретились в теплый осенний день. Есенин вспоминал о тифлисских друзьях, говорил о предполагавшейся поездке в Персию (осуществить которую ему, впрочем, так и не удалось). Неподалеку от почтамта, у остывших котлов, в которых варили кир, закопченные беспризорники играли в железку. Есенин подошел к ребятам, заинтересовался игрой, дал им немного денег и пообещал навестить их через несколько дней. Он рассказывал мне потом, что подружился с ними и даже водил их в бакинские бани. Правда, тифлисские серные бани нравились ему больше бакинских, и особенно его рассердила надпись у кассы одной из бакинских бань: «Баня работает...» — «Сразу видно, что нерусский чело-

век писал. Так по-русски не говорят. Бани торгуют. По-интеллигентному можно сказать: «Бани открыты», а работают не бани, а банщики».

Есенин был очень чуток к слову, к малейшим оттенкам не только поэтической, но и повседневной бытовой речи, и если допускал в своих стихах отступления от норм современного литературного языка, то делал это сознательно, из определенных соображений, существенных для него, но не всегда понятных критикам.

В. Мануйлов

Одним из самых примечательных дней в бакинский период жизни Сергея Есенина был день 1 мая 1925 года.

Первомай того года мы решили провести необычно. Вместо общегородской демонстрации организовали митинги в промысловых и заводских районах, посвященные закладке новых рабочих поселков, а затем — рабочие, народные гулянья. Взяли с собой в машину, где были секретари ЦК Азербайджана, Сергея Есенина. Он не был к тому времени новичком в среде бакинских нефтяников. Он уже с полгода как жил в Баку. Часто выезжал на нефтепромыслы, в стихию которых, говоря его словами, мы его посвящали. Много беседовал с рабочими, которые знали и любили поэта.

Есенина на маевке встретили как старого знакомого. Вместе с партийными руководителями ходил он по лужайкам, где прямо на земле, на молодой весенней траве, расположились рабочие со своими семьями, читал стихи, пел частушки.

После этого поехали на дачу в Мардакянах, под Баку, где Есенин в присутствии Сергея Мироновича Кирова неповторимо задушевно читал новые стихи из цикла «Персидские мотивы».

Киров, человек большого эстетического вкуса, в дореволюционном прошлом блестящий литератор и незаурядный литературный критик, обратился ко мне после есенинского чтения с укоризной:

— Почему ты до сих пор не создал Есенину иллюзию Персии в Баку? Смотри, как написал, как будто был в Персии. В Персию мы не пустили его, учитывая опасности, какие его могут подстеречь, и боясь за его жизнь. Но ведь тебе же поручили создать ему иллюзию Персии в Баку. Так создай! Чего не хватит — довообразит. Он же поэт, да какой!

Огромное впечатление произвела на Есенина эта встреча с Сергеем Мироновичем. Они встречались уже второй раз. Первый раз — осенью 1924 года, на вечере в честь приезда Михаила Васильевича Фрунзе в Баку. Как и тогда, Есенин сейчас без конца выведывал у меня все подробности боевой работы Кирова в Одиннадцатой армии, в Астрахани. Признавался мне, что лелеет и нежит мечту написать эпическую вещь о гражданской войне, и чтобы обязательно в центре всего этого эпоса, который должен перекрыть и «Песнь о великом походе», и «Анну Снегину», и все написанное им, был Ленин.

— Я в долгу перед образом Ленина,— говорил Есенин.— Ведь то, что я писал о Ленине — и «Капитан земли» и «Еще закон не отвердел»,— это слабая дань памяти человека, который не то что как Петр Первый Россию вздернул на дыбы, а вздыбил всю нашу планету.

Летом 1925 года я перевез Есенина к себе на дачу. Это, как он сам признавал, была доподлинная иллюзия Персии — огромный сад, фонтаны и всяческие восточные затеи. Ни дать ни взять Персия.

Жил он здесь с женой Софьей Андреевной Толстой-Есениной и много работал.

— Вот и попал благодаря тебе,— говорил он, приводя строку из Пушкина,— «в обитель дальную трудов и чистых нег».

Как-то в сентябре 1925 года, на даче, перед отъездом Есенина в Москву, я увидел его грустно склонившим свою золотую голову над желобом, через который текла в водоем, сверкая на южном солнце, чистая прозрачная вода.

— Смотри, до чего же ржавый желоб! — воскликнул он. И, приблизившись вплотную ко мне, добавил: — Вот такой же проржавевший желоб и я. А ведь через меня течет вода даже почище этой родниковой. Как бы сказал Пушкин — кастальская! Да, да, а все-таки мы оба с этим желобом — ржавые.

В его душе уже тогда, видимо, бродили трагические, самобичующие строки «Черного человека».

В конце ноября 1925 года он прислал мне из Москвы, из больницы, письмо с рукописью «Черного человека»: «Прочти и подумай, за что мы боремся, ложась в постели?..»

В конце декабря я приехал в Москву на Четырнадцатый съезд партии. В перерыве между заседаниями Сергей Миронович Киров спросил меня, не встречался

ли я с Есениным в Москве, как и что с ним. Сообщаю Миронычу: по моим сведениям, Есенин уехал в Ленинград. «Ну что ж,— говорит Киров,— продолжим шефство над ним в Ленинграде. Через несколько дней будем там». Недоумеваю, но из дальнейшего разговора узнаю: состоялось решение ЦК — Кирова посылают в Ленинград первым секретарем губкома партии, Ивана Ивановича Скворцова-Степанова — редактором «Ленинградской правды», меня — редактором «Красной газеты».

Но, к величайшему сожалению и горю, не довелось Сергею Мироновичу Кирову продолжить шефство над Сергеем Есениным, а по сути дела, продлить животворное влияние партии на поэта и на его творчество.

П. Чагин

В июне 1925 года наш театр приехал на гастроли в Баку. Нас пугали этим городом, бакинской пылью, бакинскими горячими ветрами, нефтяным духом, зноем и пр. И не хотелось туда ехать из чудесного Тифлиса. Но вот сижу в Баку на вышке ресторана «Новой Европы». Хорошо. Пыль как пыль, ветер как ветер, море как море, запах соли доносится на шестой, седьмой этаж. Приходит молодая миловидная смуглая девушка и спрашивает:

— Вы Качалов?

— Качалов,— отвечаю.

— Один приехали?

— Нет, с театром.

— А больше никого не привезли?

Недоумеваю:

— Жена,— говорю,— со мною, товарищи.

— А Джима нет с вами? — почти вскрикнула.

— Нет,— говорю,— Джим в Москве остался.

— А-яй, как будет убит Есенин, он здесь в больнице уже две недели, все бредит Джимом и говорит докторам: «Вы не знаете, что это за собака. Если Качалов привезет Джима сюда, я буду моментально здоров. Пожму ему лапу и буду здоров, буду с ним купаться в море».

Девушка отошла от меня огорченная.

— Ну что ж, как-нибудь подготовлю Есенина, чтобы не рассчитывал на Джима.

Как выяснилось потом, это была та самая Шаганэ, персиянка.

Играем в Баку спектакль. Есенин уже не в больнице, уже на свободе. И весь город — сплошная легенда об Есенине. Ему здесь «все позволено». Ему все прощают. Вся редакция «Бакинского рабочего», Чагин, Яковлев, типографские рабочие, милиция — все охраняют его.

Кончаю спектакль «Царя Федора». Театральный сторож, тюрк, подает записку, лицо сердитое. В записке ничего разобрать нельзя. Безнадежные каракули. Подпись «Есенин».

— Где же,— спрашиваю,— тот, кто написал записку?

Сторож отвечает мрачно:

— На улице, за дверью, Ругается. Меня называет «сукин сын». Я его не пускаю. Он так всех вас будет называть.

Я поспешил на улицу, как был в царском облачении Федора, даже в мономаховой шапке. Есенин сидит на камне, у двери, в темной рубахе кавказского покроя, кепка надвинута на глаза. Глаза воспаленные, красные. Взволнован. Страшно обижен на сторожа. Бледный, шепчет сторожу: «Ты не кацо — кацо так не поступают». Я их с трудом примирил и привел Есенина за кулисы, в нашу уборную. Познакомил со Станиславским. У Есенина в руке несколько великолепных чайных роз. Пальцы раскровавлены. Он высасывает кровь, улыбается:

— Это я вам срывал, об шипы накололся, пожалуйста,— поднес нам каждому по два цветка.

Следом за ним, сопя и отдуваясь, влез в уборную босой мальчик-тюрк, совсем черный, крошечный, на вид лет восьми, с громадной корзиной какого-то провианта, нужного Есенину, как потом оказалось, для путешествия в Персию. В эту ночь под утро он с компанией должен был улететь в Тегеран. Я ушел на сцену кончать последний акт «Царя Федора». Возвращаюсь в уборную — сидят трое. Станиславский, сощурив глаза, с любопытством рассматривает и внимательно слушает. Есенин уже без всякого звука хриплым шепотом читает стихи:

Вот за это веселие мути,
Отправляясь с ней в край иной,
Я хочу при последней минуте
Попросить тех, кто будет со мной,—

Чтоб за все за грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать
Положили меня в русской рубашке
Под иконами умирать.

А в уголке на корзине с провиантом сидит мальчик-тюрк и тоже как будто внимательно слушает, задумчиво ковыряя в носу.

В. Качалов

...Однажды с утра мы отправились на прогулку по старым кварталам Баку, еще сохранившим восточный облик. Узкие улочки бакинской крепости, Ханский дворец, высокие минареты восхищали Есенина. Он был увлечен Востоком и сожалел, что мало читал о его истории, плохо представляет себе сущность мусульманства. Расспрашивал меня про суннитов и шиитов, про жестокую резню и самоистязания в священный день Шахсей-вахсей, которые я видел в 1922 году. Потом мы вышли к Девичьей башне и поднялись на ее верхние ярусы.

Наша прогулка завершилась посещением Кубинки, шумного азиатского базара. Мы заглядывали в так называемые «растворы» — лавки, в которых крашенные хной рыжебородые персы торговали коврами и шелками. Наконец мы зашли к одному старику, известному любителю и знатоку старинных персидских миниатюр и рукописных книг. Он любезно принял русского поэта, угощал нас крепким чаем, заваренным каким-то особым способом, и по просьбе Есенина читал нам на языке фарси стихи Фирдоуси и Саади. Уже под вечер мимо лавки прошел, звеня бубенцами, караван из Шемахи или Кубы, заметно похолодало и наступило время закрывать лавку, а мы все сидели и рассматривали удивительные миниатюры, украшавшие старинную рукопись «Шахнаме».

Как-то вечером небольшая компания моих друзей-студентов предложила отправиться на морской бульвар, к пристани, взять парусную лодку и выйти в море, чтобы показать Есенину огни ночного Баку. Мы долго ждали, пока Сергей Александрович освободится, наконец стали спускаться по лестнице, и тут, на беду, встретился хозяин гостиницы и начались бесконечные препирательства Есенина с ним по поводу неоплаченных счетов. Сергей Александрович убеждал его, что он большой поэт, которому «все надо даром давать, лишь бы он только согласился взять». «Я тебе, милый человек, откровенно говорю: я не какой-нибудь интеллигент, чтобы скромности строить. И не буржуй, не нэпман я, а ты с меня шкуру дерешь! Один я такой. Да я в Москву буду жало-

ваться! У буржуев в Европе все дешевле!» Хозяин махнул рукой и сделал уступку. Однако, к нашему огорчению, участвовать в прогулке на парусной лодке Есенин наотрез отказался. «Я воды боюсь,— сказал он.— Мне цыганка говорила, чтобы луны и воды боялся, я страшной смертью умру». И Есенин показал мне свою левую руку, на которой я увидел глубокую, прямую и чистую линию Солнца, перерезанную у кисти линией Сатурна. Я стал уверять, что море сегодня спокойное, но все напрасно. Однако позднее я узнал, что однажды с группой сотрудников «Бакинского рабочего» Есенин все же выходил в море на паруснике, носившем курьезное название «Ай да Пушкин, ай да молодец!».

Есенину уже порядком надоели публичные выступления, но все же удалось уговорить его еще раз выступить в университете. В назначенный вечер самую большую аудиторию до отказа заполнили студенты и преподаватели. А Есенина не было. Как один из устроителей, я побежал за ним в гостиницу, благо она находилась неподалеку. Как ни в чем не бывало, вернувшись с дружеского обеда, Есенин крепко спал в своем номере. Разбудить его не было никакой возможности. Пришлось объявить собравшимся об отмене вечера из-за внезапной болезни поэта. Пошумели, поулыбались и разошлись.

Приближалось время возвращения Есенина к грузинским друзьям в Тифлис. Свободного вечера для студенческой аудитории найти так и не удалось. Вечер в университете состоялся позднее, в один из следующих приездов Есенина в Баку.

Впрочем, 3 октября, в день своего рождения, Есенин все же выступил в клубе имени Сабира. Я долго хранил записочку к администратору: «Прошу пропустить тов. Мануйлова на сегодняшний вечер моих стихов. *Сергей Есенин.* 3/X—24». Вечер был шумный и многолюдный и прошел с большим успехом. Особенно запомнилось со всеми характерными есенинскими интонациями чтение стихотворений «Возвращение на родину» и «Русь советская». Но как графически передать его лукавую иронию, а может быть, и чуть-чуть пренебрежительную насмешку, иногда даже озорство, звучавшее в едва уловимых модуляциях его голоса? Все это будто сейчас звучит в слуховой памяти:

Ах, милый край!
Не тот ты стал,
Не тот.

Да уж и я, ка-нешно, стал не прежний.
Чем мать и дед грустней и безнадежней,
Тем веселей сестры смеется рот.
Ка-нешно, мне и Ленин не икона,
Я знаю мир...
Люблю мою семью...
Но отчего-то все-таки с поклоном
Сажусь на деревянную скамью.
«Ну, говори, сестра!»
И вот сестра разво-о-одит,
Раскрыв, как Библию, пузатый «Капитал»,
О Марксе,
Енгельсе...
Ни при какой погоде
Я этих книг, ка-нешно, не читал.

В зависимости от настроения и обстоятельств одни и те же стихи Есенин читал по-разному. В клубе Сабира в концовке «Возвращения на родину» не столько чувствовалось сожаление, сколько поддразнивание, подзадоривание некоторых требовательных критиков, сидевших в первых рядах. И вряд ли, конечно, следовало принимать всерьез чуть вызывающие интонации Есенина. Мы знаем, какое восхищение титанической деятельностью В. И. Ленина испытывал Есенин в те годы, еще при жизни Владимира Ильича, и в скорбные дни 1924 года. Об этом благоговейном отношении поэта к В. И. Ленину и его памяти свидетельствует прежде всего поэма о Ленине и стихотворение «Капитан земли».

Когда же речь шла о Демьяне Бедном, Есенин иной раз с подчеркнутым лукавством особо выделял псевдоним «Бедный», превращая его в эпитет:

С горы идет крестьянский комсомол,
И под гармонику наяривая рьяно,
Поют агитки Бе-едного Демьяна,
Веселым криком оглашая дол.

(«Русь советская»)

Едва ли не накануне отъезда, около 6 октября, Есенин читал стихи в небольшой узкой комнате литературных сотрудников «Бакинского рабочего». Народу было много. Сидели на стульях, столах, подоконниках, стояли в дверях. А Есенин, ни на кого не глядя, облокотившись на редакционный стол, совсем тихо, вполголоса читал свои недавно написанные стихи. Раньше я никогда не слышал, чтобы он читал так, замкнувшись в себе, как бы только для себя. Тут были и уже знакомые нам, не-

давно напечатанные стихи, но они звучали как-то иначе, по-новому. Ни озорства, ни улыбки уже не было.

Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать,
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать.

Милые березовые чащи!
Ты, земля! И вы, равнин пески!
Перед этим сонмом уходящих
Я не в силах скрыть моей тоски.

Или:

Этой грусти теперь не рассыпать
Звонким смехом далеких лет.
Отцвела моя белая липа,
Отзвенел соловьиный рассвет...

В комнате стояла настороженная тишина. Никто бы не решился прервать Есенина каким-нибудь вопросом. Конечно, никто по окончании чтения не аплодировал. Мы не понимали причины глубокой депрессии Есенина, но все чувствовали, как ему трудно, в каком он состоянии.

Когда молча расходились, один из молодых журналистов обратился к Сергею Александровичу и стал в неумеренно восторженных выражениях сравнивать его с Пушкиным. Есенин не на шутку рассердился:

— Да ты о Пушкине понятия не имеешь! Пушкин был один из самых образованных писателей в Европе. Языки знал. Работать над стихами умел. А что я? Конечно, талантливый человек. Но невежественный. Работать над стихами так и не научился. До Пушкина мне, брат, далеко.

Есенин любил Пушкина больше всех поэтов в мире. И не только его поэзию, прозу, драматургию, он любил Пушкина-человека. Это был самый светлый, самый дорогой его идеал. Есенин ценил Тютчева, Фета, Полонского. «Песня цыганки» Полонского была одной из самых любимых песен Есенина. Строфа:

Вспоминай, коли другая,
Друга милого любя,
Будет песни петь, играя
На коленях у тебя! —

по своему настроению была близка Есенину и получила отклик в его стихотворении 1925 года «Цветы мне говорят — прощай...»:

И, песне внемля в тишине,
Любимая с другим любимым,
Быть может, вспомнит обо мне,
Как о цветке неповторимом.

Помнится, Сергей Александрович несколько раз по разным поводам вспоминал свою встречу с холодноватым и сдержанным Блоком — «самым петербургским поэтом». Есенин не отрицал, что в раннюю пору на него оказал значительное воздействие Клюев, впрочем, его отношение к Клюеву было сложным и противоречивым. И еще любил Есенин Лермонтова. Самым любимым стихотворением Лермонтова в последние годы было «Завещание» («Наедине с тобою, брат, хотел бы я побыть...»). Есенин, слегка перефразировав известные слова Лермонтова «Пускай она поплачет... Ей ничего не значит!», повторил их в своем стихотворении «Сыпь, тальянка, звонко, сыпь, тальянка, смело!..» (1925):

Пусть она услышит, пусть она поплачет.
Ей чужая юность ничего не значит.

Я не раз видел черновики стихов Есенина, написанные на бланках редакции «Бакинского рабочего» и даже на бланках ЦК Коммунистической партии Азербайджана. Ему доставляло особое удовольствие писать стихи на официальных бланках. И не только потому, что бумага была действительно хорошая, в этом чувствовалось какое-то почти детское бахвальство: «Вот на каких ответственных бланках я пишу стихи! Каково!» А вместе с тем тут проявлялась и наивная скромность Есенина, как будто стихи становились значительнее от того, что они написаны на этих бланках!

Чагин знал эту его слабость и охотно баловал Есенина. Однажды я наблюдал такой эпизод: в кабинет Чагина, когда он о чем-то беседовал с Есениным, вошел не то заведующий хозяйством редакции, не то кладовщик и принес Петру Ивановичу стопку свежих бланков, на которых сверху было напечатано: «Редактор газеты «Бакинский рабочий» и т. д. Есенин просительно взглянул на Чагина.

— Ну-ну, возьми малость,— улыбнулся Петр Иванович и протянул Сергею Александровичу десятка полтора бланков.

— Добрая бумага! — Есенин пощупал бланки и, бережно согнув пополам, положил во внутренний карман пиджака.

В двадцатых числах февраля 1925 года Есенин по пути из Тифлиса в Москву заезжал на несколько дней в Баку. Он вез с собой поэму «Анна Снегина» и несколько стихотворений, вошедших потом в цикл «Персидские мотивы». В этот его приезд мы увиделись только мельком в редакции «Бакинского рабочего».

В этот последний год своей жизни Есенин еще несколько раз бывал в Баку, но больше мы не встретились.

Однажды он посетил мою университетскую приятельницу Елену Борисовну Юкель. Вот ее рассказ об этой встрече:

«Хотя я родилась в России, свое детство я провела в Персии, в провинции Хоросан, в городе Сабзеваре. Полюбила восточную музыку: персидскую, тюркскую, арабскую. Стихи любимых поэтов пела на мотивы известных песен, иногда сочиняла мотивы сама. Живя в Баку, я стала сочинять мотивы к русским стихам восточного содержания на восточный лад. Тогда этого еще никто не делал, и мне не у кого было учиться.

Когда появились «Персидские мотивы» Есенина, я сочинила мотив на стихотворение «Шаганэ ты моя, Шаганэ». Моя университетская подруга Ксения Колобова была знакома с Есениным и однажды, когда он был в Баку, привела его ко мне домой.

Есенин был немного навеселе и принес еще с собой пива, которое сам же и выпил. Песню о Шаганэ слушал раз восемь, так ему понравилось. Улыбка у Сергея Александровича была обаятельная и располагала к нему. Я похвасталась, что у меня есть песни на слова и других русских поэтов, и хотела их спеть. Но Сергей Александрович как будто обиделся и сказал, что он и сам известный поэт и чужих песен ему не надо. И попросил спеть «Шаганэ» еще и еще».

В. Мануйлов

Весной 1924 года я приехал на Кавказ и поселился в Батуме, где начал работать фельетонистом в местной газете «Трудовой Батум»...

Еще в начале октября 1924 года я написал Есенину — приглашал приехать в Батум. Об этом он сообщил из Тифлиса Галине Бениславской: «Из Батума получил приглашение от Повицкого. После Персии заеду».

В Персию попасть ему не удалось, а в Батум он приехал в начале декабря.

Приезд Сергея Есенина я отметил в «Трудовом Батуме» 9 декабря статьей о его творчестве. Он ответил мне стихотворением «Льву Повицкому», напечатанным в той же газете 13 декабря. Оно бросает свет на душевное состояние поэта в 1924—1925 годах.

ЛЬВУ ПОВИЦКОМУ

Старинный друг,
Тебя я вижу вновь
Чрез долгую и хладную
Разлуку.
Сжимаю я
Мне дорогую руку
И говорю, как прежде,
Про любовь.

Мне любо на тебя
Смотреть.
Взгрустни
И приласкай немного.
Уже я не такой,
Как впредь —
Бушуйный,
Гордый недотрога.

Перебесились мы.
Чего скрывать?
Уж я не я.
А ты ли это, ты ли?
По берегам
Морская гладь —
Как лошадь
Загнанная, в мыле.

Теперь влюблен
В кого-то я,
Люблю и тщетно
Призываю,
Но все же
Точкой корабля
К земле любимой
Приплываю.

Есенин по приезде в Батум остановился в местной гостинице. Через несколько дней я заехал за ним, чтобы перевезти его к себе. Я жил недалеко от моря, в небольшом домике, окруженном зеленью и фруктовым садом.

Шумная жизнь вечно праздничного Тифлиса, отголоски которой привезли «провожатые» Есенина — Верж-

бицкий и Соколов, была уже не по душе ему. Он готовился к серьезной работе, и Батум дал ему такую возможность. Это видно из его деловой переписки с Галиной Бениславской, которая была все последние годы жизни Есенина как бы его «личным секретарем».

В первом же письме из Батума Есенин передал Галине Бениславской привет от меня. С нею я виделся в Москве один-два раза, но уже заочно числился в ее друзьях, и Есенин аккуратно передавал ей мои приветы. Ему понравился покой и неприхотливый уют моего жилища, и он пожертвовал ради него удобствами комфортабельного номера в гостинице. Он вынес свои чемоданы из номера, и мы собрались уже выйти, как вдруг на нас с громкой руганью накинулся заведующий гостиницей — старик армянин:

— Не пущу чемоданы, заплати деньги!

— Я вам объяснил,— ответил Есенин,— деньги я получу через два-три дня, тогда и заплачу!

— Ничего не знаю! Плати деньги! — кричал на всю гостиницу рассвирепевший старик.

Есенин тоже повысил голос:

— Я — Есенин! Понимаешь или нет? Я сказал — заплачу, значит, заплачу.

На шум вышел из соседнего номера какой-то гражданин. Постоял с минуту, слушая шумную перебранку, и подошел к заведующему:

— Сколько Есенин вам должен?

Тот назвал сумму.

— Получите! — И неизвестный отсчитал старику деньги.

Старик в изумлении только глаза вытаращил.

Есенин поблагодарил неизвестного и попросил у него адрес, по которому можно вернуть деньги. Тот ответил:

— Мне денег не нужно. Я — редактор армянской газеты в Ереване. Пришлите нам в адрес газеты стихотворение — и мы будем в расчете.

Есенин пообещал и сердечно попрощался с неожиданным спасителем. Думается, что в связи с участием последнего Есенин через несколько дней после переселения в мою квартиру писал Чагину: «Я должен быть в Сухуме и Эривани». Обе предполагаемые поездки не состоялись.

Случаи, подобные происшедшему в гостинице, бывали часто в жизни Есенина, особенно в Москве. При мне однажды в «Праге» у Есенина не хватило пятидесяти

рублей на уплату по счету. И сейчас же из-за соседнего столика поднялся совершенно незнакомый нам гражданин и вручил эту сумму Есенину.

Стоило ему при каких-нибудь затруднительных обстоятельствах назвать себя: «Я — Есенин», как сейчас же кем-нибудь из публики оказывалась ему необходимая помощь. Кстати, эту гордость именем Есенина он отмечал и у своей маленькой Танюши — дочери, воспитывавшейся в семье Зинаиды Николаевны Райх.

Он мне однажды с довольной улыбкой сказал:

— Знаешь, когда мою Танюшу спрашивают, как ее фамилия, она отвечает: «Не кто-нибудь, а Есенина!»

Конечно, приезд Есенина в Батум вызвал всеобщее внимание. Его останавливали на улице, знакомились, приглашали в ресторан. Как всегда и везде, и здесь сказалась теневая сторона его популярности. Он по целым дням был окружен компанией веселых собутыльников.

Я решил ввести в какое-нибудь нормальное русло дневное времяпрепровождение Есенина. Я ему предложил следующее: ежедневно при уходе моем на работу я его запираю на ключ в комнате. Он не может выйти из дома, и к нему никто не может войти. В три часа дня я прихожу домой, отпираю комнату, и мы идем с ним обедать. После обеда он волен делать что угодно. Он одобрил этот распорядок и с удовлетворением сообщил о нем Галине Бениславской в письме от 17 декабря: «Работается и пишется мне дьявольски хорошо... Лева запирает меня на ключ и до 3 часов никого не пускает. Страшно мешают работать».

Спустя три дня Есенин снова пишет Бениславской: «Я слишком ушел в себя и ничего не знаю, что я написал вчера и что напишу завтра. Только одно во мне сейчас живет. Я чувствую себя просветленным, не надо мне этой глупой шумливой славы, не надо построчного успеха. Я понял, что такое поэзия... Я скоро завалю Вас материалом. Так много и легко пишется в жизни очень редко».

Есенин засел за «Анну Снегину» и скоро ее закончил. Довольный, он говорил:

— Эх, если б так поработать несколько месяцев, сколько бы я написал!

Он мне прочел «Анну Снегину» и спросил мое мнение. Я сказал, что от этой лирической повести на меня повеяло чем-то очень хорошо знакомым, и назвал имя

крупнейшего поэта шестидесятых годов прошлого столетия.

— Прошу тебя, Лёв Осипович, никому об этом не говори!

Эта простодушно-наивная просьба меня рассмешила. Он тоже засмеялся.

— А что ты думаешь — многие и не догадаются сами...

До поры до времени нам удавалось сохранять установившийся распорядок дня, и Есенин писал Галине Бениславской: «Я один. Вот и пишу, и пишу. Вечерами с Левой ходим в театр или ресторан. Он меня приучил пить чай, и мы вдвоем с ним выпиваем только 2 бутылки вина в день. За обедом и за ужином. Жизнь тихая, келейная. За стеной кто-то грустно насилует рояль, да Мишка лезет целоваться. Это собака Лёвина».

Известно, что Есенин любил животных. Здесь он часто возился с моим Мишкой, обязательно брал собаку с собой, хотя она доставляла ему неприятности. Однажды она заупрямилась и не захотела перейти мост, считая этот мост небезопасным. Пришлось Есенину взять ее на руки и перенести по мосту. Рукам Есенина она смело доверялась.

В саду при нашем домике были и мандарины и бананы. Есенин смотрел на всю эту экзотику с умилением и сообщал Галине, как мы поглощали мандарины: «Мы с Левой едим их прямо в саду с деревьев. Уже декабрь, а мы рвали вчера малину».

Должен признаться, по ночам, когда хозяйка домика уходила на покой, мы потихоньку пробирались в сад. Хозяйка, по-видимому, вела счет своим мандаринам и утром поглядывала на нас с укоризной.

К несчастью, вскоре после того, как была закончена «Анна Снегина», установленный нами распорядок дня был нарушен и затем окончательно сломан.

Одно время нравилась ему в Батуме «Мисс Оль», как он сам ее окрестил. С его легкой руки это прозвище упрочилось за ней. Это была девушка лет восемнадцати, внешним видом напоминавшая гимназистку былых времен. Девушка была начитанная, с интересами и тяготением к литературе, и Есенина встретила восторженно.

Я получил от местных людей сведения, бросавшие тень на репутацию как «Мисс Оль», так и ее родных. Сведения эти вызывали предположения, что девушка и ее родные причастны к контрабандной торговле с Тур-

цией, а то еще, может быть, и к худшему делу. Я об этом сказал Есенину. Он бывал у нее дома, и я ему посоветовал присмотреться внимательнее к ее родным. Повидимому, наблюдения его подтвердили мои опасения, и он к ней стал охладевать. Она это заметила и в разговоре со мной дала понять, что я, очевидно, повлиял в этом отношении на Есенина. Я не счел нужным особенно оправдываться. Как-то вскоре вечером я в ресторане увидел за столиком Есенина с «Мисс Оль». Я хотел пройти мимо, но Есенин меня окликнул и пригласил к столу. Девушка поднялась и, с вызовом глядя на меня, произнесла:

— Если Лев Осипович сядет, я сейчас же ухожу.

Есенин, иронически улыбаясь прищуренным глазом, медленно протянул:

— Мисс Оль, я вас не задерживаю...

«Мисс Оль» ушла, и Есенин с ней порвал окончательно.

Частенько он чудачил. Вот случай из множества подобных.

Приморский бульвар. Солнечно, тепло, хотя декабрь на дворе. Бульвар полон гуляющих. Появляется Есенин. Он навеселе. Прищуренно оглядывает публику и замечает двух молодых женщин, сидящих на скамейке. Он направляется к ним, по пути останавливает мальчика — чистильщика сапог, дает ему монету и берет у него сапожный ящик со всеми его атрибутами. С ящиком на плечах он останавливается перед дамами на скамейке, затем опускается на одно колено:

— Разрешите мне, сударыни, почистить вам туфли!

Женщины, зная, что перед ними Есенин, смущены и отказываются. Есенин настаивает. Собираются любопытные, знакомые пытаются увести его от скамейки, но безуспешно. Он обязательно хочет почистить туфли этим прекрасным дамам. Я был в это время на другом конце бульвара. Мне сообщили о случившемся. Я подошел и увидел его стоящим на коленях. Толпа любопытных росла. Я понял, что обычной просьбой, мягким словом тут ничего не сделаешь. Нужны крайние средства.

Нарочито громко я обратился к Есенину:

— Сергей Александрович, последний футуристик не позволит себе того, что вы сейчас делаете!

Он молча встал, снял с себя ящик и, не глядя на меня, направился к выходу с бульвара.

Два дня он со мной не разговаривал. Когда мы помирились, он сокрушенно, с глубоким укором сказал:

— Как ты мог меня так оскорбить!

В Батуме Есенин в основном закончил «Персидские мотивы». В Персии он никогда не был и весь материал для этого цикла стихов почерпнул в Баку и в Батуме. Еще 10 декабря газета «Трудовой Батум» напечатала два первых стихотворения цикла «Улеглась моя былая рана...», «Я спросил сегодня у менялы...».

Сергей Александрович познакомился в Батуме с молодой армянкой по имени Шаганэ. Это была на редкость интересная, культурная учительница местной армянской школы, прекрасно владевшая русским языком. Интересна была и младшая ее сестра Катя, тоже учительница. У нее было прекрасное лицо армянской Суламифи. Она знала стихи Есенина и потянулась к поэту всей душой. Есенин, однако, пленился ее сестрой, с лицом совершенно нетипичным для восточной женщины. Есенина пленило в ней и то, что:

Там, на севере, девушка тоже,
На тебя она очень похожа...

Внешнее сходство с любимой девушкой и ее певучее уменьшительное имя вызывали у Есенина большое чувство нежности к Шаганэ. Свидетельство этому — стихи, посвященные ей в цикле «Персидские мотивы».

В феврале 1925 года Сергей Александрович начал собираться в дорогу. Он говорил, что у него в Москве большие дела: готовится издание первого тома его стихов, надо позаботиться и о сестренке:

— Ей в Москве нечего делать, она только избалуется там. Разве можно в Москве учиться? Я тебе пришлю ее сюда. Пусть живет у тебя и учится. Она у меня золотой человек.

И он с восторгом заговорил о младшей сестре, о ее способностях, о любви ее к литературе. Он не первый раз рассказывал о ней с нежностью, с большой братской любовью.

Мы расстались.

Больше я Есенина не видел.

Л. Повицкий

Сергей и его друг Повицкий были дома. Они сидели у непокрытого стола за пустым чаем. В комнате было неуютно, сыро. Встретил нас Сергей Александрович приветливо, предложил чаю. Отказались. Внешность Есенина не показалась мне примечательной, обыкновенный золотистый паренек... Но когда он, по нашей просьбе, стал читать свои стихи, то заворожил меня задушевностью, теплотой, тембром чуть глуховатого голоса (этот голос и сейчас, более чем через сорок лет, звучит у меня). Какие стихи он читал, не помню, но поразили они меня и своеобразием языковым, и грустью, которая была разлита в каждом... Запомнилось одно стихотворение — это «Письмо к матери», после которого он сразу, обратившись ко мне, сказал, как бы оправдываясь или отвечая, очевидно, на давно мучившую его мысль:

— Видите ли, образ женщины-матери для меня ясен, но черты новой советской женщины пока еще в моем представлении не вырисовываются.

И он посмотрел на меня своими ясными голубыми глазами, ожидая ответа.

— Впоследствии, конечно, вырисуются... Подождите.

Тут я с ним распрощалась и пригласила Сергея Александровича к себе. Он жил очень близко от нас.

Сергей Есенин, когда приходил к нам, то очень ненадолго. Сядет, пристально смотрит, но куда-то вдаль, словно что-то видит, но не то, что перед ним. Был неговорлив. Посидит, помолчит и уходит. Слушает тебя, но словно не слышит. Приходил и обычно приговаривал: «Прихожу к вам, как к своим сестрам». Его действительно тянуло к нам, так как мы всегда принимали его тепло, просто и сердечно, а главное, ни с какой стороны, несмотря на свою молодость, не претендовали на него.

Приглашала я его и на домашние музыкальные вечера, устраиваемые Е. К. Селезневой, пианисткой, свекровью моей сестры Ольги. В концертах принимали участие, кроме самой Селезневой, Д. Н. Лекгер, скрипач, ее зять (ныне заведующий кафедрой по классу скрипки Львовской консерватории), Нейштадт — пианист (умер) и, кажется, Цветаев — пианист. Но ни Бах, ни Бетховен, ни Чайковский, ни Скрябин не трогали сердце поэта. Как сейчас, вижу его напряженно сидящую фигуру на краешке дивана, с глазами, устремленными к выходу.

Молча, посидев с полчаса, он незаметно исчезал. По-видимому, его манили больше звуки родной тальянки.

Батуми — город небольшой, и я часто встречала его на улице и всегда слышала от него одну и ту же тоскующую фразу: «В Москву хочу, все мне здесь опостылело... Черного хлебушка хочу... русского хлебушка...»

Пальмы, магнолии, олеандры, снежные вершины и грозные зимой волны Черного моря не манили его, он тянулся к своим нежным березкам и снежным полям, к сестрам, матери, рязанскому раздолью.

Незадолго до отъезда С. А. из Батуми в местном театре был организован литературный суд над футуристами, на котором Есенин должен был выступить обвинителем. Выступление футуристов было довольно удачное. Читали хорошие стихи Маяковского. Выступали рабочие, которые говорили, что чтение даже лучших стихов Маяковского им непонятно и что Пушкин им ближе, роднее и т. д. Ждали Есенина. Его все не было. Когда уже иссякло терпение и выступающих и публики, раздались быстрые и четкие шаги С. А. между рядами кресел. Перепрыгнув через рампу, Есенин стал по левую сторону сцены — против футуристов. Быстро и молча вытащил из-за пазухи маленькую собачонку, поставил ее прямо против футуристов. Собачка несколько раз пронзительно тявкнула прямо на «подсудимых», и Сергей Александрович тут же подхватил ее. Занавес поспешно задернули... В публике раздался смех, аплодисменты. Есенин тут же вышел, тем же путем и так же поспешно, как и вошел.

...Навсегда у меня осталось в памяти, что, с кем бы он ни встречался, где бы он ни был, ему было скучно, он отсутствовал, погруженный в себя...

Но вот однажды встречаю его оживленным, радостным... Весело, пожимая мне руку, говорит:

— Еду, еду, Анна Алексеевна, еду в Москву, стосковался... домой, домой!

У меня мелькнула мысль, не было ли его пребывание в Батуми вынужденным. Однако я ничего не спросила, от души поздравила его и пожелала счастливого пути...

А. Лаппа-Старженецкая

Ранней весной 1925 года мы встретились в Баку. Есенин собирался в Персию: ему хотелось посмотреть сады Шираза и подышать воздухом, каким дышал Саади. Вид у Есенина был совсем не московский: по дороге в Баку, в вагоне у него украли верхнее платье, и он ходил в обтрепанном с чужих плеч пальтишке. Ботинки были неуклюжие, длинные, нечищеные, может быть, тоже с чужих ног. Он уже не завивался и не пудрился. Друзей, бережно и любовно относившихся к нему, у него было довольно. Жил он у тов. Чагина, следившего за его лечением, но показался в те дни одиноким, заброшенным, случайным гостем, неведомо зачем и почему очутившимся в этом городе нефти, копоти и пыли, словно ему было все равно куда приткнуться и причалить.

Мы расстались на набережной. Небо было свинцовое. С моря дул резкий и холодный ветер, поднимая над городом едкую пыль. Немотно, как древний страж веков, стояла Девичья башня. Море скалилось, показывая белые клыки, и гул прибоя был бездушен и неприютен. Есенин стоял, рассеянно улыбался и мял в руках шляпу. Пальтишко распахнулось и неуклюже свисало, веки были воспалены. Он простудился, кашлял, говорил надсадным шепотом и запахивал то и дело шею черным шарфом. Вся фигура его казалась обреченной и совсем ненужной здесь. Впервые я остро почувствовал, что жить ему недолго и что он догорает.

На загородной даче, опившийся, он сначала долго скандалил и ругался. Его удалили в отдельную комнату. Я вошел и увидел: он сидел на кровати и рыдал. Все лицо его было залито слезами. Он комкал мокрый платок.

— У меня ничего не осталось. Мне страшно. Нет ни друзей, ни близких. Я никого и ничего не люблю. Остались одни лишь стихи. Я все отдал им, понимаешь, все. Вон церковь, село, даль, поля, лес. И это отступилось от меня.

Он плакал больше часа.

«Пусть вся жизнь за песню продана»,— это из последних его стихов.

Озорное в нем было. Только в обычном, то есть в трезвом состоянии оно походило на остроумную шутку. Рассказывают, что совсем незадолго до своей смерти он навестил своего старого приятеля. Заметив теплящуюся

перед иконами лампадку, он вынул папиросу и, не найдя спичек, попросил разрешения прикурить от «божьего огонька». Хозяин предложил ему этого не делать и ушел зачем-то в другую комнату, возможно, за спичками. Есенин поднялся, прикурил от лампадки, а потом попросил своего знакомого, с которым пришел, потушить ее:

— Вот увидишь — не заметит, честное слово. Это он так, задается.

Приятель возвратился и в самом деле не заметил, что лампадка потушена.

В одно из более ранних посещений он принес ему же в подарок... живого петуха.

Иногда он говаривал по поводу своих заграничных скандалов: «Ну, да, скандалил, но ведь я скандалил хорошо, я за русскую революцию скандалил». И повторял рассказ о том, как в Берлине на вечере белых писателей он требовал «Интернационал», а в Париже стал издеваться над врангелевцами и деникинцами, в отставке ставшими ресторанными «шестерками». И там и здесь его били.

Некоторые шутки его в последнее время были странны и непонятны. Явившись как-то ко мне навеселе, он принес с собой пачку коробок со спичками, бросил их на стол и сказал улыбаясь:

— Иду и думаю: чего бы купить в подарок. Понимаешь, оказывается, воскресенье, все закрыто. Вот нашел на лотке только спички, бери — пригодятся. Или лучше: отдай своей дочурке, пусть поиграет.

Есенин был дальновиден и умен. Он никогда не был таким наивным ни в вопросах политической борьбы, ни в вопросах художественной жизни, каким он представлялся иным простакам. Он умел ориентироваться, схватывать нужное, он умел обобщать и делать выводы. И он был сметлив и смотрел гораздо дальше других своих поэтических сверстников. Он взвешивал и рассчитывал. Он легко добился успеха и признания не только благодаря своему мощному таланту, но и благодаря своему уму.

О нашем «мужичке» он иногда говорил с хитрецой и с намеками: не так, мол, просто, товарищи коммунисты: около мужичка вам придется попыхтеть да попыхтеть, не все у вас с ним благополучно. Возвратившись из родной деревни, он жаловался, что город обижает деревню: за сапоги и несколько аршин мануфактуры и за налоги идет весь урожай. Обижают крестьян и местные

власти. Он собирался идти к М. И. Калинину искать заступы. Но основное впечатление было иное: после этой поездки Есенин некоторое время ходил притихший и как будто потерявший что-то в родимых краях.

— Все новое и непохожее. Все очень странно.

Впрочем, об этом лучше рассказал сам поэт в своих стихах.

В последние два года Есенин все собирался поехать в деревню и как следует пожить там. Он знал, что болен, и казалось, что болезни своей он серьезно боялся. Он тосковал по простой и несложной жизни, по простым людским отношениям и простым вещам. Хорошо бы заняться житейским, обычным, каждодневным, явственным и ощутимым, чтобы был сад, липы, разговоры о сенокосе, об урожае, чтобы был вечер тихий и благостный. Или уехать куда-нибудь, в Ленинград, что ли, и зажить по-новому, работать регулярно, заняться журналом, романом, повестью, сидеть дома, изредка видеться с друзьями. У него был замысел — написать повесть в восемь — десять листов. Тема — уличные мальчики бездомные и беспризорные, дети-хулиганы. Однажды он показал мне несколько листков из этой повести, правда, было всего две-три страницы, но через некоторое время Есенин сознался, что «не пишется» и «не выходит».

Писатель Никитин сказал в личном разговоре: «Сережа жил в последнее время с зажмуренными глазами, зажмурившись, он пьянствовал и скандалил». Это очень верно и метко. Он часто жмурился, особенно в нетрезвом состоянии.

И я сам, опустясь головою,
Заливаю глаза вином,
Чтоб *не видеть* в лицо роковое,
Чтоб подумать на миг об ином.

Это «иное» было простое, интимное, личное, а кругом было сложное, запутанное, общественное и далекое. И он знал, что возврата нет. Когда его убеждали по-серьезному взяться за лечение, он с неизменной своей улыбкой ссылался на то, что вот ему нужно подготовить для Госиздата собрание своих сочинений и тогда он возьмется как следует за лечение. Потом оказалось, что никакой серьезной работы над этим собранием он не проделал. И в отговорки свои он едва ли верил.

Перед последним отъездом в Ленинград я спрашивал его по телефону, зачем он едет туда, но внятного ответа не получил. Правда, он был нетрезв.

О самоубийстве со мной Есенин никогда не вел разговора. Я думал, что жить Есенину оставалось мало, но никогда не предполагал, что он может наложить на себя руки: он очень любил жизнь. Надо еще раз сказать, что Есенин был очень скрытен.

А. Воронский

...Однажды весной 1928 года в Ленинграде я шел по Троицкому (ныне Кировскому) мосту на Петроградскую сторону. Почти на середине моста я повстречался с С. М. Кировым, который шел мне навстречу. В нескольких шагах за ним по мостовой медленно двигалась его машина. В Баку я дважды докладывал Кирову по вопросам, связанным с моей работой в Политотделе Каспийского военного флота. И, конечно, я поздоровался с Сергеем Мироновичем. Память на людей у Кирова была поразительная. Он остановил меня и предложил, если не спешу, немного вернуться и проводить его. Я с радостью согласился. Киров направлялся в Смольный после краткого дневного отдыха дома. Помнится, он сказал, что часто ходит пешком, чтобы немножко размяться и подышать воздухом.

Вспомнили Баку, его друга П. И. Чагина, которого Киров привлек к работе в ленинградских издательствах. Зашел разговор о Есенине. Сергей Миронович очень тепло вспоминал своего тезку и с горечью сказал, что, если бы тогда в начале сентября 1925 года удалось задержать Есенина и Софью Андреевну на два-три осенних месяца в Баку, может быть, декабрьской катастрофы не случилось бы.

— Уж мы за ним доглядели бы! — сказал Сергей Миронович.

Однако судьба распорядилась иначе...

В. Мануйлов

МОСКВА. ЛЕНИНГРАД

1924—1925



мер Ленин, и тяжело упала эта потеря на сыновнюю душу Сергея Есенина. Получив пропуск из «Правды», он несколько часов простоял в Колонном зале, не сводя глаз с дорогого лица. Вместе с народом, бесконечной вереницей идущим мимо гроба, и зародились скорбные и полные животворной силы ямбы его «Ленина»:

И вот он умер...
Плач досаден.
Не славят музы голос бед.
Из меднолающих громаден
Салют последний даден, даден,
Того, кто спас нас, больше нет.

Сын российской деревни, он относился к Ленину именно так, как мог относиться к нему русский крестьянин эпохи великой революции: Ленин спас русское крестьянство от помещичьего и царского гнета. Но у Есенина тема Ленина взята шире: Ленин спас русский народ от гнета капитализма и иностранного империалистического господства.

Произведение Есенина «Ленин», хотя и является всего лишь фрагментами ненаписанной поэмы «Гуляй-поле», это едва ли не самая высокая вершина всего творчества его. Позже придет Маяковский и, благодаря глубокому проникновению в произведения Ленина и в биографию его, вылепит монументальный образ великого учителя пролетариата, создателя первого в мире социалистического государства, национальную гордость русского народа.

Есенин, изображая Ленина, на первый план поставил те его черты, о которых мы слышали от всех, кто близко знал Владимира Ильича:

Сплеча голов он не рубил,
Не обращал в побег пехоту.
Одно в убийстве он любил —
Перепелиную охоту.

Изображая Ленина, Есенин сознательно отказывается от всякого стремления к монументальности. Чтобы усугубить свою иронию по поводу банальных и ходульных изображений героя, он к слову «в масках» («Мы любим тех, что в черных масках») подбирает рифму: «на салазках». «Застенчивый, простой и милый» — таким видит он Ленина, и тем сильнее действие его неожиданных, проникнутых восхищением, слов:

Я не пойму, какою силой
Сумел потрясть он шар земной?
Но он потряс...

В Ленине Сергей Есенин подчеркнул скромность, доброту, доступность, любовь к детям. Но, показав эти черты, поэт не принизил образа великого учителя. И хотя смерть Ленина — это величайшее всенародное горе, Есенин понимает:

Его уж нет, а те, кто вживе,
А те, кого оставил он,
Страну в бушующем разливе
Должны заковывать в бетон.

Для них не скажешь:
«Ленин умер!»
Их смерть к тоске не привела.
. . . .
Еще суровей и угрюмей
Они творят его дела...

Сейчас, оглядываясь в прошлое, поражаешься, с какой точностью поэт передал настроение миллионов людей России в те дни, когда мы осиротели.

«Ленин жил! Ленин жив! Ленин будет жить!» — твердили тогда и стихи и плакаты. Такой ритм отбивало каждое сердце.

Но если настроение рабочего класса и революционной молодежи было видно явно, более скрыты и затаенны были те глубокие сдвиги, которые после смерти Ленина происходили в среде интеллигенции, даже в тех слоях ее, которые находились далеко от партии. Многие большие ученые, выдающиеся деятели искусств в те дни впервые задумались о судьбах России, о том, что не случайно народ избрал ленинский путь, и о том, что

иной путь для народа просто немыслим. А что происходило в те дни с советским крестьянством, об этом с чуткостью большого художника рассказал Есенин и в «Возвращении на родину», и в «Руси советской», и во многих других своих стихотворениях.

Мы в тот период довольно часто встречались с Сергеем Есениным на квартире одного из наших общих знакомых. Эта уютная квартира каждым летом становилась пристанищем многочисленных приятелей хозяина. Здесь останавливался приезжавший из Ленинграда Иван Петрович Флеровский, большевик-журналист, видный участник Октябрьской революции в Петрограде. Сюда во время XIII съезда партии, летом 1924 года, приходили коммунисты, делегаты Закавказья. Часто бывали здесь и мы, молодые литераторы, примыкавшие к «напостовскому направлению».

Кажется, все тем же летом 1924 года мы вдвоем с Есениным сидели однажды за столом в этой квартире. Вопреки общепринятым представлениям о Есенине, мы... пили чай! Вдруг в комнату вошел Безыменский и, увидев нас, сидевших вдвоем в пустой комнате, словно остолбенел. В то время мы с Безыменским, оставаясь друзьями, несколько разошлись во взглядах на литературу. С Есениным же Безыменского разделяла принадлежность к различным направлениям поэзии. И я сказал, чтобы прекратить неприятную паузу:

— А вот и Саша Безыменский...

Есенин со свойственной ему легкой грацией быстро вскочил и с доброжелательной улыбкой протянул руку Безыменскому. Но в том крепком рукопожатии, которым ответил ему Безыменский, возможно, что и в улыбке, несколько принужденной, Есенин почувствовал что-то непростое и демонстративное. И Сергей сказал, многозначительно, хитро прищурившись:

— Тяжело пожатье каменной десницы.

Впоследствии Безыменский запечатлел эту встречу в одном из своих стихотворений.

О дружеских отношениях Есенина с коммунистами сказано мало, почти ничего. Глубокими и сердечными отношениями был, например, связан Есенин с П. И. Чагиным, тогда редактором «Бакинского рабочего». А ведь, не зная о них, многого не поймешь в том, что происходило тогда с Есениным.

Да и немудрено, это были годы, когда Сергей не переставал раздумывать над судьбой России, над судьбой

крестьянства русского. Он не умел и не любил осмысливать события теоретически. Когда он, имея в виду произведения Карла Маркса, сказал в стихотворении:

Ни при какой погоде
Я этих книг, конечно, не читал...—

это было сущей правдой. Есенин смолоду не был охотником до теоретических книг. Но с большой охотой и интересом, особенно после смерти Ленина, слушал он разговоры на текущие политические темы.

Летом 1924 года Есенин уехал в деревню. Вернувшись, он пришел к нашему общему знакомому. Там в то время как раз собралось много гостей, было весело и шумно.

Сергей мигнул мне, и мы вышли в соседнюю комнату. Это была спальня, с большим шкафом, зеркальная дверца которого была полуоткрыта и качалась. Разговор этот особенно запомнился мне потому, что я видел нас обоих, отраженных в этом движущемся стекле.

— Знаешь, я сейчас из деревни,— понижая голос, зашептал он.— Вот раньше, когда, бывало, я приезжал в деревню, то орал отцу, что я большевик, случалось, обзывал его кулаком,— так больше из задора... А теперь приехал, что-то ворчу насчет политики: то неладно, это не так... А отец мне вдруг отвечает: «Нет, сынок, эта власть нам очень подходящая, вполне даже подходящая...» Ты знаешь, чтобы из него такие слова вывернуть, большое дело надо было сделать. А все Ленин! Знал, какое слово надо сказать деревне, чтобы она сдвинулась. Что за сила в нем, а? А я что-то не то орал... пустяки.

И все, что он мне тут же рассказал о деревенских делах, потом, словно процеженное, превратилось в его знаменитых стихах о деревне и в «Анне Снегиной» в чистое и ясное слово поэзии.

Я никогда не видел Есенина обряженным в мужицкую одежду, назвать его «мужиковствующим» никак нельзя было — его социальная природа проявлялась непроизвольно и порой неожиданно.

Так, в разговоре о впечатлениях своей заграничной поездки он рассказал вдруг о встрече с русским белоэмигрантом, служившим официантом в ресторане и на вопрос Есенина чванливо назвавшим свой полный титул и тот гвардейский полк, где он в царское время служил офицером. И Есенин, в самом тоне этого ответа почувствовавший оскорбление своего плебейского чувства соб-

ственного достоинства, назвался: «А я поэт Сергей Есенин, рязанский мужик, и ты мне сейчас прислуживаешь!»

Конечно, это было невеликодушно по отношению к поверженному врагу, но с какой непосредственностью в этой грубой выходке сказалось то, что Есенин, при некоторой идейной сумятице, чувствовал себя сыном революции, ясно сознававшим, где его враги и где его друзья.

Ю. Либединский

Я помню встречу в день осенний —
Седое небо,
Дождь косой,
Взял об руку меня Есенин —
Тревожный, грустный,
Сам не свой.

Сырую на Тверском бульваре
Носило по ветру листву.
Он мне сказал:
— Еще не стар я,
А будто
Двести лет живу.

Я голосу Руси внимаю:
Меня опередила Русь,
Но, думаю,
Родному краю
И я
На что-то пригожусь.

Мы шли.
Встал Пушкин перед нами.
Есенин,
Шляпу сняв,
Сказал:
— И смерть не властна
над стихами,
Но славе нужен пьедестал.

А я люблю
Того, живого,
Кто плакал от любви не раз,

Того, кто
От тоски дворцовой
Бежал к вершинам на Кавказ.

Он шел,
И были губы сжаты,
Легла морщинка меж бровей.
Таким
Сквозь годы и сквозь даты
Остался он
В душе моей.

А. Гатов

Первые годы после революции, приезжая к себе домой, Есенин был весь какой-то просветленный. Пробыв обычно несколько дней с домашними, он наведывался ко мне в школу «на огонек». Ходил по школе, вспоминая ребячьи похождения, забредал в свой класс. С любовью рассказывал о своих первых учителях Лидии Ивановне и Иване Матвеевиче Власовых.

Твердого распорядка дня Сергей Александрович не придерживался. Любил он и один побродить по лугам, и вместе с артелью порыбачить на Оке. А то пропадет: день, другой его нет. Укроется в своем любимом амбарчике (он и сейчас сохранился за домом Есениных) и пишет. Работал он, когда приезжал в Константиново, с увлечением. Здесь им были написаны многие замечательные стихи. Часто напишет новое стихотворение, просит послушать. Хорошо помню, как он читал отрывки из «Поэмы о 36».

Много в нем было энергии. Любил он веселую шутку, любил нашу русскую песню. Помнится, в 1924 году как-то вечером я сидел и играл на рояле (был у нас в школе инструмент, конфискованный в революцию у каких-то помещиков). Смотрю, кто-то лезет в окно. Ба, Есенин! Спрашиваю: «Ты чего это, брат, в окно? Или дверь забыл, где находится?» А он смеется: «Так от моего дома окно ближе, чем дверь». Потом подсел ко мне. Попросил играть, а сам запел... Пел он негромко, как бы для себя, но вкладывал в песню всю душу. В этот вечер он долго пробыл у нас. Настроение у него было хорошее. Играл с моим сыном Александром. Взял его на руки и долго пестовал. В шутку сказал ему: «Вот подра-

стешь к будущему году, я приеду, и мы с тобой около берез побегаем». (Сыну моему тогда шел седьмой месяц.)

При встречах мы часто засиживались с Есениным допоздна. Он расспрашивал о жизни односельчан, о школе, вспоминал годы, проведенные в Константинове...

С. Соколов

В начале июля в здании Сестрорецкого курзала был назначен литературный вечер. Собрались все ленинградские поэты, в том числе и Есенин. Всю дорогу в вагоне он был весел и по-мальчишески сидел на подножке, подставляя свежему ветру растрепанные пушистые волосы. Добродушно огрызался на замечания кондуктора, соскакивал на остановках, рвал в ближайшей канавке жалкие болотные цветы.

Вечер открывался вступительным словом Ильи Садофьева, который был избран нами «хозяином». Начались выступления поэтов. Их было много, но публика оказалась терпеливой. Она ждала Есенина. И вот, когда подошла его очередь, оказалось, что Есенина нет на месте. Срочно пришлось разыскивать его по всему парку. Всем была известна манера Сергея исчезать совершенно неожиданно и в самый неподходящий момент. Но успокоил нас Садофьев: «В каком бы состоянии ни был Сергей, а про то, что надо читать стихи, он никогда не забудет».

И действительно, когда уставшая ждать публика начала выказывать нетерпение, Есенин, нетвердо держась на ногах, слегка покачиваясь, появился за кулисами. Его уговаривали «поостыть немного», но без всякого результата. Вырвавшись из дружеских рук, он ринулся на ярко освещенную сцену. Зал затих мгновенно. Мы беспокойно наблюдали из-за кулис, что будет дальше.

Есенин шел, с трудом передвигая ноги, направляясь прямо к рампе, и, казалось, еще движение — и он перешагнет в пустоту оркестра. Но он остановился на самой грани и привычным, хотя и нетвердым жестом провел рукой по закинутым назад волосам. Мутноватым и как бы невидящим взглядом смотрел он в глубь зала и молчал. Пауза начинала мучительно затягиваться.

— Да верните же его назад! — прошептал кто-то в отчаянии из-за кулис. Есенин недовольно покосился

в ту сторону и снова тряхнул головой. Наконец он начал.

Первые строки дошли до всех путано, неясно, но по мере того как следовала строфа за строфой, голос Есенина обретал уверенность и гибкость. Он читал, как всегда, самоупоенно и трезвел с каждой минутой. Движения становились уверенными, точными, есенинский жест вновь был свободным и широким. Закончил он в необычайном подъеме и захватил весь зал. Долго не умолкали аплодисменты, крики, а Есенин стоял улыбаясь, и лицо его вновь было юным и свежим.

В этот вечер он прочел весь свой цикл «Возвращение на родину» — и это было поистине незабываемое чтение. Когда он возвращался, разгоряченный, счастливый, со спутанными на лбу потными волосами, мы дружной толпой обступили его, жали ему руки.

День этот завершился беспечным товарищеским ужином. Есенин пил мало, но шумно участвовал в общем веселье. Мы так засиделись, что едва не опоздали на последний поезд.

В вагоне народу было немного. Все разбрелись по кучкам и продолжали беседу. Мы очутились с Сергеем на одной скамье, несколько поодаль от других. Где-то за нами скупо горел единственный фонарь, едва очерчивая смутные фигуры дремлющих пассажиров.

После недавней веселости Есенин вдруг впал в элегический тон и, чуть склонясь ко мне, положив руку на мое колено, говорил, покачиваясь в такт движению поезда. Стук колес почти заглушал его тихий голос:

— Ты вот спрашиваешь, что делал я за границей? Что я там видел и чему удивился? Ничего я там не видел, кроме кабаков да улиц. Суета была такая, что сейчас и вспомнить трудно, что к чему. Я уже под конец и людей перестал запоминать. Вижу — улыбается рожа, а кто он такой, что ему от меня надо, так и не понимаю. Ну и пил, конечно. А пил я потому, что тоска загрызла. И, понимаешь, началось это с первых же дней. Жил я сперва в Берлине, и очень мне там скучно было...

Париж — совсем другое дело. В Париже жизнь веселая, приветливая. Идешь по бульварам, а тебе все улыбаются, точно и впрямь ты им старый приятель. Париж — город зеленый, только дерево у французов какое-то скучное. Уж и так и сяк за ним ухаживают, а оно

стоит надув губы. Поля за городом прибранные, расчесанные — волосок к волоску. Фермы беленькие, что горничные в наколках. А между прочим, взял я как-то комок земли — и ничем не пахнет. Да и лошади все стриженые, гладкие. Нет того, чтобы хоть одна закурчавилась и репейник в хвосте принесла! Думаю, и репейника-то у них там нет.

— Ну а люди?

— Да что люди! Разве ты поймешь, что они про тебя думают? Любезны очень, так и рассыпаются, а все не русская душа. Ну, а про наших эмигрантов и говорить нечего. Они все конченые, выдуманные. Даже и шипят на нас не талантливо, по-жабьи. Один из них — рыхлый такой толстяк — спрашивает меня: «А правда, что вы пастухом были?» — «Правда, говорю, что же тут удивительного? Всякий деревенский парнишка в свое время пастух».— «Ну, тогда понятно, что вы большевиком стали. Вы, значит, их действия одобряете?» — «Одобряю», говорю. И взяла меня тут такая злость, что наговорил я ему такого... И вообще скажу тебе — где бы я ни был и в какой бы черной компании ни сидел (а это случалось!), я за Россию им глотку готов был перервать. Прямо цепным псом стал, никакого ругательства над Советской страной вынести не мог.

И они это поняли. Долго я у них в большевиках ходил. А потом перебрались мы с Айседорой в Нью-Йорк. Америки я так и не успел увидеть. Остановились в отеле. Выхожу на улицу. Темно, тесно, неба почти не видать. Народ спешит куда-то, и никому до тебя дела нет — даже обидно. Я дальше соседнего угла и не ходил. Думаю — заблудишься тут к дьяволу, и кто тебя потом найдет? Один раз вижу — на углу газетчик, и на каждой газете моя физиономия. У меня даже сердце екнуло. Вот это слава! Через океан дошло.

Купил я у него добрый десяток газет, мчусь домой, соображаю — надо тому, другому послать. И прошу кого-то перевести подпись под портретом. Мне и переводят:

«Сергей Есенин, русский мужик, муж знаменитой, несравненной, очаровательной танцовщицы Айседоры Дункан, бессмертный талант которой...» и т. д. и т. д.

Злость меня такая взяла, что я эту газету на мелкие клочки изодрал и долго потом успокоиться не мог. Вот тебе и слава! В тот вечер спустился я в ресторан и крепко, помнится, запил. Пью и плачу. Очень уж мне назад, домой, хочется. И тут подсаживается ко мне какой-то

негр. Участливо так спрашивает меня. Я ни слова не понял, но вижу, что жалеет. Хорошая у нас беседа пошла.

— Постой, как же вы с ним говорили? Ведь ты же английского языка не знаешь.

— Ну уж так, через пятое в десятое. Когда человек от души говорит, все понять можно. Он мне про свою деревню рассказывает, я ему про село Константиново. И обоим нам хорошо и грустно. Хороший был человек, мы с ним потом не один вечер так провели. Когда уезжать пришлось, я его все в Москву звал: «Приедешь, говорю, родным братом будешь. Блинами тебя русскими накормлю». Обещал приехать.

В Америке только он мне и понравился. Да мы недолго там и пробыли. Скоро нас вежливо попросили обратно, и все, должно быть, потому, что мы с Дунькой не венчаны. Дознались какие-то репортеры, что нас черт вокруг елки водил.

А когда вернулись в Европу, тут уж новый туман пошел. Я прямо с ума спятил. Не могу смотреть на все иностранное. С души воротит. Домой хочу. Хоть бы березу корявую, думаю, увидеть. Так бы ее в грудь и поцеловал, так бы и обнял покрепче!

О последних этапах жизни Есенина за границей, о темных и громких его скандалах мне уже было коечто известно и не хотелось возвращать его к этим грустным воспоминаниям. Да и сам он помрачнел в эту минуту и глубже прижался в угол, плотнее надвинув на лоб шляпу.

— Ты извини,— сказал он добродушно,— устал я сегодня. Попробую подремать немного.

Минут десять мы сидели молча. Вагон успокоительно покачивало. Свечка в фонаре догорала.

Есенин вдруг вздрогнул и потянулся мягким, кошачьим движением.

— Нет,— сказал он,— не могу заснуть. Уж лучше стихи читать!

Он снова наклонился ко мне и прочел около десятка стихов, которых я никогда не слышал от него с эстрады. Читал он тихо, необычайно проникновенно, подолгу задумываясь и снова продолжая. Все это вместе было горькой повестью его скитаний, бесприютного одиночества и болезненно острой любви к родной стороне. И за каждым словом стояло трагическое сознание невозможности вернуться к утраченному, быть снова молодым, веселым, беспечным. Постепенно Есенин от размеренной

речи перешел к легкому напеву, и последнее, что я услышал от него, прозвучало как старая русская песня:

Годы молодые с забубенной славой,
Отравил я сам вас горькою отравой.

Я не знаю: мой конец близок ли, далек ли,
Были синие глаза, да теперь поблекли...

Поезд замедлил ход и застучал по стрелкам. Подходили к Финляндскому вокзалу. Нас встретила пустая привокзальная площадь. Была бледная северная ночь. В ее холодной ясности отчетливо виднелись каждый булыжник на мостовой, каждая трещина дома. Спящие окна чуть отсвечивали белесой пустотой. Дворники дремали у ворот. Уже давно отошли последние трамваи.

Попрощались. «А где же Есенин?» — спросил кто-то.

И тут все увидели, как несколько в стороне он стоял перед клячей уныло спящего на козлах извозчика и, стащив тугую перчатку, задумчиво трепал ее челку. Он говорил что-то шепотом, чуть наклоняясь к настороженно поднятому лошадиному уху.

В середине лета 1924 года случилось так, что нам с Есениным надо было ехать вместе в Детское Село. Санаторий научных работников пригласил Есенина почитать стихи, а я должен был сделать небольшой доклад о его творческом пути. Я долго отказывался от несвойственной мне роли докладчика, но Сергей сам настойчиво принялся меня упрашивать:

— Критиков я не очень люблю, они меня путают, и чувствуешь себя перед ними всегда в чем-то виноватым. А ты ведь не критик. Стихи мои знаешь вон еще с каких пор, а об остальном мы по дороге договоримся.

Но по дороге договариваться нам не пришлось. Как только в окне вагона показались очертания Пулковской горы, обоих нас охватили давние царскосельские воспоминания. Мы вернулись к годам нашей литературной юности, припомнили прежних товарищей, первые успехи и неудачи. Есенин оживился, но ненадолго. Глубокая задумчивость опять охватила его. Лицо посерело, словно от непреодолимой усталости.

За ним вообще после возвращения из-за границы стали замечаться некоторые странности. Он быстро переходил от взрывов веселья к самой черной меланхолии,

бывал непривычно замкнут и недоверчив. Сколько раз говорил он, что жизнь опережает его и что он боится оказаться лишним, остаться где-то в стороне. Он ясно понимал трагичность своего положения, но с каким-то непонятным упорством держался за прежние иллюзии и с некоторым вызовом подчеркивал иногда свои пристрастия к старой — дедовской и отцовской — деревне, хотя и считал себя «самым яростным попутчиком» Советской страны.

Тягостным было для него и то, что, несмотря на всю свою славу, он чувствовал себя бесконечно одиноким. Из чувства гордости он никому не позволил бы жалеть себя, но со свойственной ему чуткостью не мог не понимать, что именно такое отношение все чаще и чаще встречает на своем пути. Начинала сказываться и давняя пресыщенность беспокойной известностью и всеобщей литературной жизнью.

В вагоне мы много говорили о Москве, и меня удивило, что на этот раз он отзывался о многих своих московских приятелях с оттенком горечи и даже некоторого раздражения. Тем охотнее возвращался он к беспечальным временам юности, когда еще никому не ведомым парнем приехал в Петроград в поисках литературной славы.

Вот что рассказывал он мне о своей первой встрече с Александром Блоком:

«Блока я знал уже давно, но только по книгам. Был он для меня словно икона, и еще в Москве я решил: доберусь до Петрограда и обязательно его увижу. Хоть и робок был тогда, а дал себе зарок: идти к нему прямо домой. Приду и скажу: вот я, Сергей Есенин, привез вам свои стихи. Вам только одному и верю. Как скажете, так и будет.

Ну, сошел я на Николаевском вокзале с сундучком за спиной, стою на площади и не знаю, куда идти дальше,— город незнакомый. А тут еще такая толпа, извозчики, трамваи — растерялся совсем. Вижу, широкая улица, и конца ей нет: Невский. Ладно, побрел потихонечку. А народ шумит, толкается, и все мой сундучок ругают. Остановил я прохожего, спрашиваю: «Где здесь живет Александр Александрович Блок?» — «Не знаю,— отвечает,— а кто он такой будет?» Ну, я не стал ему объяснять, пошел дальше. Раза два еще спросил — и все неудача. Прохожу мост с конями и вижу — книжная лавка. Вот, думаю, здесь уж наверно знают. И что ж ты

думаешь: действительно раздобылся там верным адресом. Блок у них часто книги отбирал, и ему их с мальчиком на дом посылали.

Тронулся я в путь, а идти далеко. С утра ничего не ел, ноша все плечи оттянула. Но иду и иду. Блока повидать— первое дело. Все остальное — потом. А назавтра, надо сказать, мне дальше ехать. Пробирался я тогда на заработки в Балтийский порт (есть такое место где-то около Либавы) и в Петрограде никак дольше суток оставаться не рассчитывал. Долго ли, коротко ли — дошел до дома, где живет Блок. Поднимаюсь по лестнице, а сердце стучит, и даже вспотел весь. Вот и дверь его квартиры. Стою и руки к звонку не могу поднять. Легко ли подумать,— а вдруг сам Александр Александрович двери откроет. Нет, думаю, так негоже. Сошел вниз, походил около дома и решил наконец — будь что будет. Но на этот раз прошел со двора, по черному ходу. Поднимаюсь к его этажу, а у них дверь открыта, а чад из кухни так и валит.

Встречает меня кухарка. «Тебе чего, паренек?» — «Мне бы,— отвечаю,— Александра Александровича повидать». А сам жду, что она скажет «дома нет» и придется уходить несолоно хлебавши. Посмотрела она на меня, вытирает руки о передник и говорит: «Ну ладно, пойду скажу. Только ты, милый, выйди на лестницу и там постой. У меня тут, сам видишь, кастрюли, посуда, а ты человек неизвестный. Кто тебя знает!»

Ушла и дверь на крючок прихлопнула. Стою. Жду.

Наконец дверь опять настежь. «Проходи, говорит, только ноги вытри!»

Вхожу я в кухню, ставлю сундучок, шапку снял, а из комнат идет мне навстречу сам Александр Александрович.

«Здравствуйте! Кто вы такой?»

Объясняю, что я такой-то и принес ему стихи. Блок улыбается.

«А я думал, вы из Шахматова. Ко мне иногда заходят земляки. Ну пойдемте!» — и повел меня с собой.

Не помню сейчас, как мы тогда с ним разговор начали и как дело до стихов дошло. Памятно мне только, что я сижу, а пот с меня прямо градом, и я его платком вытираю.

«Что вы? — спрашивает Александр Александрович.— Неужели так жарко?»

«Нет,— отвечаю,— это я так». Хотел было добавить,

что в первый раз в жизни настоящего поэта вижу, но поперхнулся и замолчал.

Говорили мы с ним не так уж долго. И такой оказался хороший человек, что сразу меня понял. Почитал я ему кое-что, показал свою тетрадочку. Поговорили о том о сем. Рассказал я ему о себе.

«Ну хорошо,— говорит Александр Александрович,— а чаю хотите?»

Усадил меня за стол. Я к тому времени посвободнее стал себя чувствовать. Беседую с Александром Александровичем между делом — не замечая как — всю у него белую булку съел. А Блок смеется.

«Может быть, и от яичницы не откажетесь?»

«Да, не откажусь»,— говорю и тоже смеюсь чему-то.

Так поговорили мы с ним еще с полчаса. Хотелось мне о многом спросить его, но я все же не смел. Ведь для Блока стихи — это вся жизнь, а как о жизни неведомому человеку, да еще в такое короткое время, расскажешь?

Прощаясь, Александр Александрович написал записочку и дает мне.

«Вот, идите с нею в редакцию (и адрес назвал): по-моему, ваши стихи надо напечатать. И вообще приходите ко мне, если что нужно будет».

Ушел я от Блока ног под собою не чуя. С него да с Сергея Митрофановича Городецкого и началась моя литературная дорога. Так и остался я в Петрограде и не пожалел об этом. И все с легкой блоковской руки!»

Так беседовали мы с Есениным всю дорогу, и время пролетело для нас незаметно. Поезд подошел к перрону. Мы вышли на широкую привокзальную улицу, осененную свежей листвой старых дубов, свидетелей моего детства. Сколько раз бегал я здесь маленьким мальчишкой, собирая желуди, стреляя ими из рогатки по грузным, неповоротливым воронам! Многое напомнили они и Сергею о той поре, когда в солдатской шинели возвращался он из Петрограда и бегом торопился поспеть в свой госпиталь к вечерней поверке.

Мы шли не торопясь мимо дачек, спрятанных в чащах садов, по узким плитам тротуаров. Вот и санаторий ЦКУБУ— двухэтажный деревянный особняк, почти весь закрытый с улицы густо разросшейся сиренью. Тяжелые гроздья осыпали нас своими лепестками, когда мы проходили в калитку. Сергей сорвал ветку, хлопнул ею себя по рукаву и заметил с горькой усмешкой:

— А «счастья» и здесь все-таки не найдешь! Нет — ищи не ищи!

Нас поджидали. На просторной застекленной веранде вокруг длинного стола собралось немало отдыхающих — всё петроградские научные работники и литераторы. Преобладали люди седовласые, почтенные. Несколько особняком держалась кучка молодежи, раскрасневшейся, оживленной после только что покинутой партии крокета. Низкое солнце пронизывало широкие стекла и жидким золотом расплывалось по полу. Из сада тянуло предзакатной свежестью, сырым запахом земли и цветочных клумб. Неистово перекликались воробьи. Нас окружили веселые лица. На синей скатерти появилось огромное блюдо тяжелой и сочной павловской клубники. Есенин отбросил в сторону шляпу, взъерошил волосы, снял пиджак и в белой рубашке с широко распахнутым воротом стал похож на мальчика-подростка, приехавшего домой на каникулы. С веселыми прибаутками болтал он с хозяевами, нещадно поглощал клубнику, передразнивал забежавшую из комнат собачонку, рисовал что-то цветными карандашами в тетрадке двенадцатилетней девочки с толстыми косами, и ни единой тени недавнего горького раздумья не было на его внезапно помолодевшем лице. Как-то сразу, с первой же минуты, нашел он нужную свободу и непринужденность.

Зашло солнце. Сгущались сумерки. Сад потемнел и расширился до бесконечности. За общей беседой не заметили, как наступила ночь и около вынесенной на стол лампы закружились, заплясали мелкие мотыльки.

— Глядите, какая луна! — сказал кто-то в глубине комнаты.

Из-за деревьев медленно поднимался оранжевый, постепенно бледнеющий диск. Еще сильнее запахло клумбами, потянул легкий туман.

Сергей встал и погасил лампу. Бледный свет вошел на веранду, положив на полу длинные, переплетающиеся тени. Все разместились на ступеньках крыльца. Луна поднималась все выше и выше. Тяжелой и пряной духотой обвевало дыхание сирени. Лягушки тянули долгую серебряную трель с ближнего пруда.

Есенин сел на одной из ступенек и просто, без всякого предисловия, начал читать стихи. Это была исключительно лирика — мягкая и бестревожная, как и этот вечер. Кто-то положил Сергею на колени тяжелую росистую гроздь, сломленную с соседнего куста сирени.

Есенин читал тихо, без всякого жеста, и каждое его слово приобретало от этого особую выразительность. В белесом отсвете северной ночи чуть поблескивали его глаза.

Мы разошлись поздно. Проходя по влажным, похрустывающим дорожкам сада, Есенин вдруг схватил мою руку и приложил ее к своему сердцу: «Слышишь, как ровно бьется? Ей-богу, мне сейчас восемнадцать лет. Я все забыл—и ничего не было».

Мне показалось, что в его глазах блеснуло что-то похожее на слезу. Но он тут же рассмеялся, поднял камешек и высоко пустил его в сияющую, трепещущую ночными шорохами тишину.

Для ночлега нам отвели комнату с двумя кроватями в первом этаже. Мы еще долго разговаривали, прежде чем погасить свечу. Но нужно было и спать. Сразу же после раннего завтрака нам предстояло возвращаться в Петроград. Засыпая, я еще видел, как Есенин сидел на подоконнике и глядел на сонную, залитую бледным туманом улицу.

Утром меня разбудил стук в дверь. Есенина в доме не было. Не нашли его и в саду. По своему обыкновению, он пропал бесследно, так и не прикоснувшись к завтраку. Пришлось извиниться и отправиться на поиски.

Как и следовало ожидать, я нашел Сергея за столиком вокзального буфета, и нашел вовремя. Он уже затевал очередной скандал с директором ресторана. Большого труда стоило мне увлечь его на перрон и уговорить сесть в поезд. Движение вагона несколько успокоило его, и он рассказал мне события этого утра:

— Проснулся я ни свет ни заря и открыл окошко. Проклятая сирень так и лезет в лицо. Сколько ее тут — уму непостижимо! Посмотрел я, посмотрел — и потянуло меня на волю. Вылез из окошка прямо на улицу. Иду — ни души. Только грачи возятся в гнездах. И захотелось мне повидать Пушкина, сказать ему: «Доброе утро!» Первому в этот день прийти к его скамейке в лицейском саду.

Прохожу Московской улицей и вижу вывеску: «Фотограф». Ага, думаю, это-то мне и нужно! А час еще ранний, окна и двери закрыты. Стучу, барабаню — никакого толку. Наконец открывается форточка, а в ней заспанная узкая рожа с козлиной бородкой... «Вам кого? Зачем так стучите?»

Оказывается, сам фотограф. Еле умолил его пойти со мной, даже треногу на своем горбу волочил. А он идет и ругается: «Сумасшедший человек!» — «Ну да,— отвечаю,— сумасшедший! Я Есенин».— «А, Есенин! Ну тогда понятно!» Впрочем, что ему оставалось делать? Я ему вперед все деньги свои отдал.

Ну ладно. Пришли. Залез я на памятник, сел рядом с Пушкиным на скамейке, обнял его за плечо и говорю: «Сними меня с Сашей. Мы друзья».

Фотограф даже плюнул. Ехидный был старикашка.

«Да меня за такую фотографию в милицию поволокут!»

«Ничего, говорю, не поволокут. Отругаемся!»

А старикашка опять за свое:

«Так-то так. Снимок действительно любопытный. Сюжет, достойный объектива! Да вот неудобно, свету мало. В такую рань меня подняли. Придется большую экспозицию дать. С минуту посидеть спокойно можете?»

«Ладно,— отвечаю ему,— постараюсь. Ты вот лучше Сашу попроси. Он непоседа».

Щелкнул старичок грушей. Готово! Соскочил я на траву и хотел его обнять, а он, дурак, подхватил свою треногу и бегом.

«В пятницу,— кричит,— зайдете!»

Посидел я еще немножко, поклонился Саше и пошел шататься по паркам. Однако скоро надоело, тоска стала забирать. Вот люблю деревья, а долго с ними не могу — всю душу переворачивает. Стоит каждое, думает и на тебя смотрит: «Ну и дурной же парень, чего даром по свету мечется». И пошел я на вокзал, туда, где людей побольше. Выпил там, конечно. За Сашу. Кто его знает, когда опять увидимся!

Есенин последнее время мало говорил о литературе, и если уж заходил разговор, охотнее всего обращался ко временам давно прошедшим.

Пушкина он читал наизусть с упоением. От некоторых стихов Лермонтова готов был плакать и неподражаемо умел напевать вполголоса на какой-то собственный мотив его «Завещание»:

Наедине с тобою, брат,
Хотел бы я побыть,
На свете мало, говорят,
Мне остается жить.

Любил Есенин и Кольцова :«У этого и сердце и песня! Жаль только — робок уж очень. Каждому в пояс кланяется. Так и вижу его в узко застегнутом сюртучке, с гладко приглаженными височками. «Да-с, Виссарион Григорьевич! Нет-с, Виссарион Григорьевич!» Но зато уж и пел — на всю степь русскую. И незачем было ему в Москву поучаться ездить, разные философские «думы» писать. Места своего от робости не знал человек. А парень хороший, душевный».

Особенной любовью Есенина пользовался А. К. Толстой, даже во всех своих оперных, костюмерных балладах на былинные русские темы. Помнится, однажды завязался у нас по этому поводу дружеский спор.

— Нет! — кричал Есенин.— Не прав Чехов, когда говорит, что Толстой как надел боярскую шубу на маскараде, так и забыл ее снять, выйдя на улицу. Это не шуба, это душа у него боярская. Он своей Руси не выдумывал. Была, должно быть, такая.

Широкого он сердца человек! Ему бы тройку, да вожжи в руки, да в лунную ночь с откоса, по Волге,— так, чтобы только колокольчики да снежная пыль кругом!

Есть такая штучка у Толстого, «Сватовство»:

По вешнему по складу
Мы песню завели,
Ой ладо, диди-ладо!
Ой ладо, лель-люли! —

так я за эту штучку сердце отдам! А «Алеша Попович»! А «Садко»! Помнишь, там на дне, у царя водяного, готов Садко от всех сокровищ отказаться

За крик перепелки во ржи,
За скрып новгородской телеги!

А то, что он был выдумщик и мечтатель, это совсем не плохо. Поэту надо тосковать по несбыточному. Без этого он не поэт.

Книжную, опосредствованную поэзию Есенин недолюбливал, или, лучше сказать, не понимал ее. Его пугала всякая философская подоснова, и в особенности там, где все это сочеталось с мотивами пейзажа.

— Ну да,— говорил он,— природа, все это прекрасно. Но к чему мудрить над этим? Береза — она береза и есть. К чему ей свою душу навязывать, да еще с уни-

верситетским образованием? Умнее она от этого не станет.

С символистами и акмеистами у него были старые счеты. В молодости Есенин, несомненно, прошел через увлечение символизмом и, как ни отрицал этого впоследствии, стихи первых лет революции выдавали его с головой, но сам он предпочитал отказываться от этого родства.

— Ну к чему они мне? Я этот «символизм» еще в школе мальчишкой постиг. И знаешь откуда? Из Библии. Школу я кончал церковноприходскую, и нас там этой Библией, как кашей, кормили. И какая прекрасная книжища, если ее глазами поэта прочесть! Мне понравилось, что там все так громадно и ни на что другое в жизни не похоже. Было мне лет двенадцать — и я все думал: вот бы стать пророком и говорить такие слова, чтобы было и страшно, и непонятно, и за душу брало. Я из Исайи целые страницы наизусть знал. Вот откуда мой «символизм». Он у меня своим горбом нажит.

Вс. Рождественский

Это было на палубе дачного парохода, в Финском заливе, в виду приближавшихся зеленых берегов Петергофа. Мы сидели тесным кружком под душным, туго натянутым тентом. Море было гладким, точно вылитым из стекла, и сверкало ослепительно. Деловито шлепали пароходные колеса, с мягким шорохом рассыпалась волна, разрезаемая на ходу. Острый ветерок тянул со стороны Кронштадта. Есенин, только что вернувшийся из-за границы, с расстегнутым воротом белой рубашки, загорелый, веселый, непривычно оживленный, прислонясь к борту, читал свои стихотворения — одно за другим и, лихо встряхивая курчавой головой, словно бросал кому-то вызов молодости и силы. В этот вечер он был особенно в ударе, и все, кто слушал, не могли оторвать от него глаз. Но особенно поразило меня лицо Толстого. Ранее рассеянный и несколько апатичный, грузно сидевший на палубной скамье, сейчас он весь был полон внимания и даже подался вперед всем своим телом. Пальцы его все быстрее и настойчивее отбивали такт на правом колене. Вдруг Толстой резко сдвинул на затылок заграничную шляпу и тыльной стороной руки отер со лба внезапно выступивший пот. Потом встал, грузно шагнул к Есенину и крепким жестом тряхнул его

за плечи. Широкая улыбка озарила его мясистое, гладко выбритое лицо.

— Вот это стихи! — сказал Алексей Николаевич и тяжело перевел дыхание.— Ну молодец! Да с тебя, видно, ни в каких заграничных водах родной песни не смоешь, русская ты косточка! Ну скажи, как ты там думал без нашей березы, без вот этого облака прожить?! Не проживешь! Все это нам на роду загадано, и от своей земли не уйти никуда. Всюду она найдет тебя, голубчик мой!

Он широко обнял несколько смущенного Есенина и трижды, по-русски, поцеловал его.

Вс. Рождественский

Самыми яркими впечатлениями от встречи с Есениным было чтение им стихов.

Он тогда ни на кого не глядел, глаза устремлялись куда-то в сторону, свисала к груди голова, тряслись волосы непокорными вьюнами, а губы уставлялись детским капризным топничком. И как только раздавались первые строчки, будто запевал чуть неслаженный музыкальный инструмент, понемногу звуки вырастали, исчезала начальная хрипотца — и строфа за строфой лились жарко, хмельно, страстно... Я слушал лучших наших артистов, исполнявших стихи Есенина, но, конечно, никто из них не передавал даже примерно той внутренней и музыкальной силы, какая была в чтении самого поэта. Никто не умел извлекать из его стихов нужные интонации, никому так не пела та подспудная непередаваемая музыка, какую создавал Есенин, читая свои произведения. Чтец это был изумительный. И когда он читал, сразу понималось, что чтение для него самого есть внутреннее, глубоко важное дело.

Забывая о присутствующих, будто в комнате оставался только он один и его звеневшие стихи, Есенин громко, и жарко, и горько кому-то говорил о своих тягостных переживаниях, грозил, убеждал, спорил... Расходясь и расходясь, он жестикулировал, сдвигал на лоб шапку, на лице выступал тончайший пот, губы быстро-быстро шевелились...

Первый раз я слушал его весной 1924 года. Он пришел под хмельком. Мы собирались уже уходить с работы. Он принес стихотворение «Письмо матери», напечатанное в третьей книжке «Красная новь» за 1924 год.

Кто-то попросил его прочитать. Держа в руке листок и не глядя в него, он начал читать. Лица его не было видно. Он стоял спиной к окну. Слушали Казин, Когоут, Казанский и я. Помню, как по спине пошла мелкая, холодная оторопь, когда я услышал:

Пишут мне: что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

Я искоса взглянул на него: у окна темнела чрезвычайно грустная и печальная фигура поэта. Есенин жалобно мотал головой:

Будто кто-то мне в кабацкой драке
Саданул под сердце финский нож.

Тут голос Есенина пресекся, он, было видно, трудно пошел дальше, захрипел... и еще раз запнулся на строчках:

Я вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему наш белый сад.

Дальше мои впечатления пропадают, потому что зажало мне крепко и жестоко горло, таясь и прячась, я плакал в глуби огромного нелепого кресла, на котором сидел в темнеющем простенке между окнами.

Он кончил. Помолчали. В дверях мигал светлыми, слегка желтевшими глазами Казанский, Когоут с неподвижным своим лицом тушевал карандашом на какой-то нужной казенной бумаге, Казин серьезно и мечтательно вслушивался в слова, подняв кверху свой нос щипком.

— Ну, каково? — быстро спросил Есенин.

У меня, может быть, некстати, подвернулось одно слово:

— Вкусно!

Есенину оно понравилось, он несколько раз повторил его. Через год, когда мы познакомились поближе, он, рассказывая мне о новых своих вещах, всегда смеясь, шутил:

— Кажется, опять получилось вкусно.

Вскоре он читал другую свою вещь:

Годы молодые с забубенной славой,
Отравил я сам вас горькою отравой.

Остановились мы у стола машинистки «Красной нови». Были — Воронский, Казанский и я.

— Хочешь, прочитаю новое стихотворение? — обратился Есенин к Воронскому.

— Ну,— буркнул Воронский.

У Есенина была перевязана марлей рука около кисти. Он только что вышел из больницы. До того говорили: Есенин глубоко и опасно разрезал чем-то руку.

Мы затаились. Особенно мне запомнился Воронский.

Он выглядывал из-под светлых стеклышек пенсне с какой-то удивленной тревогой, улыбка пришла сразу и не сходила с лица, он хорохорился, храбрился, скрывал свои чувства и переживания, но они были явны в той жадности внимания, с какой он смотрел на поэта. Каюсь, никогда не мог без спазм в горле слушать чтение Есенина. И на этот раз, отвернувшись к шкафу, хлебал я редкие слезы и протирал глаза.

— Взял я кнут и ну стегать по лошажьим спинам...—

в величайшем возбуждении, тряся забинтованной рукой, кричал Есенин:

Бью, а кони, как метель, шерсть разносят в хлопья.
Вдруг толчок... и из саней прямо на сугроб я.

Встал и вижу: что за черт — вместо бойкой тройки...
Забинтованный лежу на больничной койке.

И заместо лошадей по дороге тряской
Бью я жесткую кровать мокрою повязкой.

Нет, это было совершенно необыкновенно, это потрясало, это выворачивалась раненая душа поэта!

Синие твои глаза в кабаках промокли.

Сорвался вдруг голос Есенина, он закашлялся и устало вытер платком лоб.

— Ты мне дай его,— взволнованно сказал Воронский.

Стихи были напечатаны рядом с «Письмом матери» в той же книжке «Красной нови».

В мае—июне месяце 1924 года Литературно-художественный отдел перевели с Большого Успенского переулка в Главное управление Госиздата на Рождественку.

Перед отъездом — в комнатах был уже разгром — зашел Есенин, трезвый, веселый, свежий. Он собирался уезжать из Москвы.

— До осени,— говорил он,— буду писать прозу. Напишу повесть, листов десять. Хочется. Я ведь писал прозой.

— Это «Яр»-то?

— Да. И еще. Воронскому привезу ее осенью. Для «Красной нови». И сюжет... и все у меня есть.

— Не забудь привезти стихов,— пошутил я.

— И стихи будут. Сначала в деревню к себе съезжу. У нас там охота хорошая. Денег надо свезти на сенокос матери. Потом поеду на юг.

В дальнейшем я встречал Есенина в Госиздате мельком в конце 1924 года и в первой половине 1925 года, обычно в крестьянском отделе или в коридорах, у кассы. При первой же встрече зимой я спросил:

— А как, Сергей Александрович, повесть?

Он заулыбался и, будто извиняясь, ответил:

— Ничего не вышло. Да и заболел я.

И. Евдокимов

По существу, у меня нет воспоминаний. Последний раз отец навестил нас с сестрой Татьяной за четыре дня до своей смерти, а мне тогда было неполных шесть лет. А что может рассказать даже о самых ярких впечатлениях человек четырех-, пяти-, пусть шестилетнего возраста? Конечно, это не воспоминания, а только что-то вроде «туманных картин» «волшебного фонаря», также оставшегося где-то в детстве.

Но в последние годы, когда родных, друзей и знакомых, выступающих на вечерах, почти не осталось — время ведь вещь неумолимая,— я как-то от общих слов, которые мне все же приходилось говорить по просьбе слушателей, перешел к рассказу об этих «туманных картинах».

Их совсем немного...

Самое первое, что сохранила память,— это приход отца весной 192..., а вот какого точно — не знаю, года. Солнечный день, мы с сестрой Таней самозабвенно бегаем по зеленому двору нашего дома. Теперь этого дома нет. Его снесли в 50-х годах. Тогда в белом, купеческого «покроя» здании располагались ГЭКТЕМАС (Государственные экспериментальные театральные мастер-

ские), позднее — училище Театра имени народного артиста республики В. Э. Мейерхольда, второго мужа нашей матери — Зинаиды Николаевны Райх.

Вдруг во дворе появились нарядные, «по-заграничному» одетые мужчина и женщина. Мужчина — светловолосый, в сером костюме. Это был Есенин. С кем? Не знаю. Нас с сестрой повели наверх, в квартиру. Еще бы: первое, после долгого перерыва свидание с отцом! Но для нас это был, однако, незнакомый «дяденька». И только подталкивания разных соседок, нянь, наших и чужих, как-то зафиксировали внимание — «папа». Самое же слово было еще почти непонятно. В роли «папы» выступал досель Всеволод Эмильевич Мейерхольд, хотя воспитывали нас смело, тайн рождения не скрывали, и мы знали, что Мейерхольд — «папа второй», ненастоящий, а «первый папа» был для нас незримой личностью, имя его изредка произносилось взрослыми в разговорах.

Есенин сел с нами за прямоугольный детский столик, говорил он, обращаясь по большей части к Тане. После первых слов, что давно забыты, он начал расспрашивать о том, в какие игры играем, что за книжки читаем. Увидев на столе какие-то детские тоненькие книжицы, почти всерьез рассердился.

— А мои стихи читаете?

Помню общую нашу с сестрой растерянность. И наставительное замечание отца:

— Вы должны читать и знать мои стихи...

Потом, когда появились обращенные к детям стихи «Сказка о пастушонке Пете», помню слова матери о том, что рождение их связано именно с этим посещением отца, который приревновал своих детей к каким-то чужим, не понравившимся ему стихам. Да, наверно, это было так.

Когда он ушел, толпившиеся внизу соседки срочно принялись выяснять, что он принес нам в подарок. Однако подарков, к общему негодованию, не было. А тем, кто особенно возмущался, мать дала категорическое разъяснение: «Есенин подарков детям не делает. Говорит, что хочет, чтобы любили и без подарков». И, пожалуй, они были правы. Впрочем, мать не придерживалась этого правила и часто баловала нас подарками.

Четко осталась перед мысленным взором сцена, когда в нашей столовой между отцом и матерью происхо-

дил энергичный деловой разговор. Он шел в резких тонах. Содержания его я, конечно, не помню, но обстановка была очень характерная: Есенин стоял у стены, в пальто, с шапкой в руках. Говорить ему приходилось мало. Мать в чем-то его обвиняла, он защищался. Мейерхольда не было. Думаю, что по инициативе матери. Несколько лет спустя, прочитав строки:

Вы помните,
Вы все, конечно, помните,
Как я стоял,
Приблизившись к стене,
Взволнованно ходили вы по комнате
И что-то резкое
В лицо бросали мне,—

я наивно спросил маму: «А что, это о том случае написано?» Мать улыбнулась. Вероятнее всего, характер разговора, его тональность были уже как-то традиционны при столкновении двух таких резких натур, какими были мои отец и мать.

В памяти сохранилось несколько сцен, когда отец приходил посмотреть на нас с Таней. Как все молодые отцы, он особенно нежно относился к дочери. Таня была его любимицей. Он уединялся с ней на лестничной площадке и, сидя на подоконнике, разговаривал с ней, слушал, как она читает стихи.

Домочадцы, в основном родственники со стороны матери, воспринимали появление Есенина как бедствие. Все эти старики и старушки страшно боялись его — молодого, энергичного, тем более что, как утверждала сестра, по дому был пущен слух, будто Есенин собирается нас украсть.

Таню отпускали на «свидание» с трепетом. Я пользовался значительно меньшим вниманием отца. В детстве я был очень похож на мать — чертами лица, цветом волос. Татьяна — блондинка, и Есенин видел в ней больше своего, чем во мне.

Последний приход отца, как я уже сказал, состоялся за несколько дней до рокового 28 декабря. Этот день описан многими. Отец заходил к Анне Романовне Изрядновой, еще куда-то. Уезжал в Ленинград всерьез. Наверное, ехал жить и работать, а не умирать. Зачем иначе ему было возиться с огромнейшим, тяжеленным сундуком, набитым всем его скарбом. Это деталь, по-моему, существенная.

Отчетливо помню его лицо, его жесты, его поведение в тот вечер. В них не было надрыва, грусти. В них была какая-то деловитость... Пришел проститься с детьми. У меня тогда был детский диатез. Когда он вошел, я сидел, подставив руки под лампочку, горевшую синим светом, которую держала няня.

Отец недолго пробыл в комнате и, как всегда, уединился с Татьяной.

Хорошо помню дни после сообщения о смерти отца. Мать лежала в спальне, почти утратив способность реального восприятия. Мейерхольд размеренным шагом ходил между спальней и ванной, носил воду в кувшинах, мокрые полотенца. Мать раза два выбегала к нам, порывисто обнимала и говорила, что мы теперь сироты.

Но в детстве смерть близких воспринимают своеобразно. Верят на слово тому, что человека больше не увидят, но как это может быть — еще не осознают. Так и мы с сестрой. Помню, что тоже плакали, но, наверное, из-за того, что плакала мама. Потом был Дом печати (ныне — Центральный дом журналистов), Таня читает стихи... Какие-то тетеньки и дяденьки поочередно подходят и что-то говорят с сочувствием. Еще непонятный мир: Ваганьковское кладбище. Деловитые, краснощекие могильщики. Земля, что заставили кинуть в яму детской рукой. И где-то без логической связи — настольная лампа в маминой спальне. Бутылка вина. Мать как-то спокойнее, тише. Говорит, что завтра — Новый год. Ее младшая сестра — наша тетка Александра Николаевна — куда-то собирается на встречу этого Нового года.

Вот, пожалуй, и все, что я помню сейчас. Возможно, кое-что еще сохранялось в памяти в больших подробностях, когда мне было 20, 25, 30 лет. Как-то я записал все, что помнил. Но записи эти затерялись где-то в моих домашних архивах.

Конечно, позднее я неоднократно расспрашивал мать об отце. Она рассказывала сдержанно. Не раз разговаривал об отце с Софьей Андреевной Толстой. Она принимала меня довольно тепло. Просила прочесть стихи, которые я в то время изредка писал.

Много рассказывала об отце и матери, об их продолжавшихся, несмотря на разрыв, встречах большая подруга матери Зинаида Вениаминовна Гейман. Когда она умерла, оказалось, что после нее остались толстые

тетради дневниковых записей. В этих записях довольно много о Есенине и Райх, об их жизни в 1918 году.

Довольно забавен был рассказ деда, отца матери, о ее замужестве. В тихий Орел, где тогда жили родители матери, в грозовое лето 1917 года пришла телеграмма: «Выхожу замуж, вышли сто. Зинаида». Отец и мать, незадолго до этого познакомившиеся, отправились в путешествие. Им было тогда 22 и 23 года. Даже неполных.

«В конце лета приехали трое в Орел,— рассказывал дед.— Зинаида с мужем и какой-то белобрысый паренек. Муж — высокий, темноволосый, солидный, серьезный. Ну, конечно, устроили небольшой пир. Время трудное было. Посидели, попили, поговорили. Ночь подошла. Молодым я комнату отвел. Гляжу, а Зинаида не к мужу, а к белобрысенькому подходит. Я ничего не понимаю. Она с ним вдвоем идет в отведенную комнату. Только тогда и сообразил, что муж-то —белобрысенький. А второй— это его приятель, мне еще его устраивать надо». Дед, как все деды, любил солидность и основательность. Мальчишеский вид Сергея Александровича его обескуражил.

Рассказывала мне об отце и Анна Романовна Изряднова — его первая любовь, мать его первого сына — Юры, погибшего в 1938 году. Удивительной чистоты была женщина. Удивительной скромности. После того как я остался один, Анна Романовна приняла в моей судьбе большое участие. В довоенном 1940 и в 1941 годах она всячески помогала мне — подкармливала меня в трудные студенческие времена. А позднее, когда я был на фронте, неоднократно присылала посылки с папиросами, табаком, теплыми вещами. Наиболее интересное из ее рассказов уже известно.

К. Есенин

За несколько месяцев до приезда Сергея в Ленинград в 1924 году мне пришлось слышать его голос, записанный на валике диктофона в Институте истории искусств. Насколько чужим казался этот голос, настолько блестящей была его читка монолога Хлопуши с отчаянным, ударяющим криком: «Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть!» Только в напористых «р» и в знакомом «о», звучащем иногда как глухое, упря-

мое «у», узнал я прежнего Сережу и представил себе его буйно взмахивающую голову.

Наконец весной появились на улицах афиши, возвещающие о его приезде; на них огромными буквами — «Есенин» и рекламный зазыв в духе московских имажинистов. С волнением пошел я в зал бывшей Городской думы увидеть Сергея, живого и нового. Работа, как назло, задержала меня, я пришел в разгар вечера и остановился у дверей около усиленного наряда милиционеров. Не забуду моего первого впечатления.

На скамье, над сгрудившейся у эстрады толпой, освещенный люстрой ярче, чем другие, кудрявый, с папироской в руке, с закинутой набок головой, раскачиваясь, стоял и что-то говорил совершенно прежний, желтоволосый рязанский Сергунька. Не сразу разобрал я, что он пьян, между тем это должно было бросаться в глаза. Голос его звучал сипло, и в интонациях была незнакомая мне надрывная броскость. В зале было неспокойно, публика шумела, слышались выкрики: «Довольно вашей ерунды! Перестаньте разговаривать! Читайте стихи, стихи!»

На большой скамье, по обеим сторонам кидавшего в толпу плохо слышные, отрывистые, по-пьяному заумные фразы Сергея, сидели, по-видимому, ленинградские имажинисты; они шептались, ерзали, неловко улыбались и имели вид ожидающих скандала администраторов этого зрелища. А кто-то из них, то сходя под ропот публики со скамьи, то снова на нее поднимаясь, непременно хотел говорить.

Помню фразу: «Блок и я — первые пошли с большевиками!»

Наконец, когда дело подошло, казалось, вплотную к скандалу, он сам крикнул: «Я буду читать стихи!»

И начал «Москву кабацкую».

Читал он прекрасно, с заражающим самозабвением. И чем дальше, тем ярче, осязательнее ощущалась происшедшая в его поэзии и в нем самом болезненная перемена. То «лирическое волнение», которое в ранние годы только светилось и бродило в нем мальчишеской мечтательностью и удалью, те вызовы миру, которые в дни революции так зрели и крепли в кипении здоровых сил,— теперь замутились и мучительно слились с горестной затравленностью. Теперь стихи его ударяли по сердцам лихостью отчаяния, бились безысходной неж-

ностью и безудержной решимостью защищать кулаками и кровью свое право на печаль, песню и гибель.

Даже усталая сиплость его голоса, этот пропитой, ломкий, внезапно уходящий в жалостное замирание звук помогли ему переплеснуть лиризм этой песни в зал. Его упрямые жесты рукой, держащей погасшую папироску, знакомые, резкие, завершающие движения его золотой головы ни на минуту не казались актерскими, но придавали ему вид воистину поющего, *осененного* поэта.

Необыкновенно хорошо прочел он свои «Годы молодые...»: от прежнего молодецкого размаха первых выкриков особенной нежной скорбью притушились последние строки:

...эх ты, златоглавый!..
Отравил ты сам себя горькою отравой!
Мы не знаем, твой конец близок ли, далек ли...
Синие твои глаза... в ка-ба-ках... промокли!..

На этом, махнув угловато рукой, он сошел со скамьи и, не глядя на публику, быстро прикурил от чьей-то папиросы. По-видимому, вино взяло свое, он устал и читать до нового возбуждения больше не мог. Ему рукоплескали шумно, восторженно. Поэт в глазах требовательного обывателя заслонил пьяного скандалиста. Было что-то невыразимо грустное в этой не праздничной победе нового Есенина и в обстановке, среди которой она произошла.

Его увели, объявили перерыв. В артистическую комнату ломились многие, меня долго не пускали, грубо отказываясь сказать обо мне Есенину. Его охраняли, как знаменитого артиста. Недавнее настроение скандала еще висело в воздухе. Наконец, когда я, отчаявшись и решив ждать у дверей его выхода, в третий раз прокричал, что я его старый друг, меня впустили. Я увидел Сергея посреди большой комнаты, у стола с бутылкой и стаканами.

С моргающей улыбкой, точно неуверенный, я ли это, он взглянул на меня и пошел мне навстречу с протянутыми руками. Мы долго не умели ничего сказать, кроме: ну, какой ты? покажись! вот ты какой! — но казалось, что шести лет разлуки не было. Новее всего во внешнем облике Сергея было для меня его очень бледное (я не понял, что запудренное) лицо. Но улыбка была та же, никакого Парижа! Да и пьян он в эти мину-

ты словно уже не был, вероятно, новая бутылка привела его в равновесие.

Он стал быстро водить меня под руку по комнате, любовно перебирая кое-какие дорогие ему имена из нашего прошлого: от кого-то ему были известны мелкие подробности моей жизни. В нем был некоторый лоск, своего рода изящество, модный пиджак сидел на нем прекрасно, но чем-то неуловимым: то ли неизменным рязанским акцентом и междометиями, то ли вот этой манерой заботливо закручивать вокруг горла теплый шарф — он больше походил на раннего весеннего Сергуньку, больше даже, чем на женатого Сергея дней революции и на того московского денди, каким успел стать. Он звал меня ехать куда-то компанией по окончании вечера и при этом все оглядывался на бывших в комнате лиц, которые, очевидно, должны были его сопровождать. (Познакомил он меня только с державшимся отдельно «старшим своим другом» Устиновым.) Не знаю почему, я предпочел перенести наше свидание на другой день. Он дал мне адрес дома № 1 на Гагаринской, но, видимо, не мог ручаться, что будет именно там. «Тебе там скажут... ты уж найдешь...»

В этой неопределенности и неуверенности я реально ощутил, что «нового» Сергея кружат новые, посторонние мне вихри, в ритм которых я не могу попасть. Во мне зародилось чувство, что в будущем нам уже не придется попросту «быть вместе», как раньше, и остается, несмотря на старинную близость,— только случайная перекличка друг с другом и украденные у наших разных жизней встречи. Это впечатление не оказалось пустой мнительностью.

...Его долго не отпускали. Молодежь толпой взобралась на эстраду и окружила его. Помню его стоящим на стуле, уже в шубе, с меховой шапкой в руках, сникшего, совсем охрипшего среди возбужденных юных лиц.

Прощальные стихи он прочел, точно в полусне, опять опьянев, почти перейдя на шепот. Те строфы, которые в печати пестрели многоточием за «непринятые в обществе» слова, прозвучали грустно-грустно, чистейшим и трогательным «есенинским» лиризмом.

Наконец кто-то надел ему на голову шапку и его увели, почти неся на руках *.

* В эти же дни состоялось еще одно выступление Сергея, более интимное, в Доме самодеятельного (будущего агит) театра. Вся атмосфера вечера была не похожа на думскую. В памяти присут-

На другой или на третий день мне удалось застать его на Гагаринской. Меня провели по коридору огромной квартиры в комнату, где он временно поместился с одним из приятелей-собутыльников, по-видимому, далеким от литературных интересов. Там было шумно. У накрытого стола с горячей закуской и вином сидело несколько человек. Тут, кроме основного жильца комнаты, были два-три молодых поэта и старый знакомец — эпический А. П. Чапыгин, пришедший читать Сереже какой-то свой драматический опыт из древненародного быта. На диване — еще не пьяный, очень белый и весь сияющий, в русской рубашке — Сергей, еще больше похожий на прежнего (не в первый и не в последний раз я ловил себя на этом неуверенном сравнении).

По его радости и ласке, по тому, как он засуетился, окружавшее его незнакомое мне общество решило, что я желанный гость. Хотя Сергей и рекомендовал меня как «бывшего поэта», я, видимо, помешал их беседе. Меня стали со всех сторон предупредительно угощать. Но Сергей первый стал на сторону моего трезвенничества, узнав, что у меня через час спектакль. Разговор за вином велся на темы общего характера. Потихоньку Сергей сказал мне, что на этот раз нам, видно, не придется как следует поговорить, и торопливо стал хвалить своих новых «товарищей». Видимо, он рад был

ствующих он остался светлым, и Сергей сам был им очень доволен. Публика была не уличная, не обывательская, «приятная», преобладала театральная молодежь нового призыва. Прихода Есенина ждали долго. В 10 ч. вечера друзья под руки провели его по залу между рядами; он был в шубе, с волосами подобными нимбу, в руках цилиндр. Его встретили овацией, он радостно улыбался во все стороны. («Боже мой, боже мой, да ведь это ангел с разбитыми крыльями»,— неожиданно сказал один молодой красный драматург). Кажется, он был совсем трезв (вино, однако, было приготовлено за кулисами). Его дружеское, «родственное» отношение к собравшимся соответствовало приему, он только раз, да и то мягко, возразил против раздававшихся из зала нападков на окружавшую его группу имажинистов, пояснив, что они — его товарищи и он очень просит их не обижать. Его спутники, не смущаясь ничем, заполнили своими крайне крикливыми декларациями и стихами солидную часть вечера. Тут и произошла заминка. Публика стала настойчиво и сердито вызывать «*одного* Есенина». Тогда Сергей тоже сказал свое слово. Начав с защиты друзей, он — вольно или невольно — опроверг многое из сказанного ими. Его выводы были таковы: напрасно меня считают крестьянским поэтом («вот Клюев на меня обижается!»), напрасно «вот они все, хоть они и друзья мне» считают меня своим. «Я не крестьянский поэт и не имажинист, я просто поэт». Читал он очень много, все что мог, с повторениями. Вечер превратился в настоящую бурю восторга по его адресу.

чувствовать себя их главой и покровителем. Он говорил, что все они «хорошие» и нуждающиеся, что им обязательно следует помочь изданием их книг, что они на него надеются и что он постарается достать для всего этого денег *.

Он решил окончательно переехать в Питер, который ему всегда был роднее, чем истрепавшая его Москва. Тут, думалось ему, можно начать новое издательское дело, а главное, можно спокойно работать. Нешумливые, пустоватые еще в то время улицы, просторные ленинградские квартиры поражали его. С наивным размахом он спрашивал, можно ли прожить здесь хорошо при ежедневном бюджете в 50 р., на который он, продавая себя Госиздату, в увлечении рассчитывал.

Когда я уходил, все молодые поэты были достаточно пьяны. Сережа, сам трезвый, пошел проводить меня до ворот, прося прийти на другой день попозже, и обещал никого не принимать.

Не умею обобщить всего, что он рассказал мне о себе следующим вечером и ночью; передам отрывочно то, что запомнилось. И на этот раз мы были с ним наедине лишь урывками, потому что хозяин комнаты выходил только по поводу ужина и за вином, которого было порядочно, но, по мнению Сергея, все не хватало.

В продолжение часов десяти — до рассвета — я видел его поочередно и трезвым, и очень пьяным, и вновь прояснившимся, особенно милым и нежным. Его рассказ лился непрерывно, он не успел даже прочесть ничего из стихов, и я сам о них не думал. Наш город продолжал радовать его и обещать новую жизнь. Он решил обосноваться здесь, у хорошего приятеля (по московским годам и перепалкам) в трех комнатах, которые скоро освободятся. Он звал меня на время моего летнего одиночества переехать к нему и, сам решив за меня этот вопрос, заботливо спрашивал, не стеснит ли меня, если через некоторое время он будет не один, потому

* В один из ближайших за этим дней, узнав о моих материальных затруднениях, он моментально пришел ко мне на помощь и, не имея денег под рукой, поспешил занять, настаивая, чтобы я взял больше, чем требовалось. «Ты лучше на днях еще возьми, у меня будут. Только не отдавай, пожалуйста. Понимаешь, эта мелочь меня не устроит, мне ведь надо больше, мне надо много денег...»

что «какая-нибудь женщина» наверное появится. Но в дальнейшем ему хотелось зажить иначе и поставить некоторый предел своей богемной обстановке. Он мечтал перевести сюда учиться своих сестер. Ему особенно хотелось показать мне младшую сестренку, наружность и душу которой он очень хвалил. «Тебе, именно тебе, она непременно понравится, я уж знаю»,— повторял он с гордостью.

...Про Запад он рассказывал беспорядочно и сбивчиво, перебрасываясь от смешной наивности к острым наблюдениям, точно радуясь тому, что он не принял Европы и она не приняла его. Но проскальзывала тут и уязвленность, неприятная ему самому. Я почти не помню сейчас отдельных поведанных им эпизодов, часто интересных только тем, что их трагикомическим, а иногда и трагическим участником был он — Сергей Есенин, русский поэт. Точно отталкиваясь от всего бесплодно пережитого там, он с заносчивостью говорил, что все это, «всю Европу» пришлось ему видеть с птичьего полета, «с аэроплана». Но взволновала его, кажется, больше всего Америка. К ней была в нем ненавидящая зависть. Заграничные встречи не принесли ему ни одной приятной минуты, ни один из эмигрировавших литературных знакомых его не приветил. Он не скрывал, что возвращение его на родину было бегством от Запада и от любви.

...Мое недоверчивое удивление по поводу его близости с Айседорой Дункан вызвало с его стороны целый ряд теплых и почти умиленных слов об этой женщине. Ему хотелось защитить ее от всякой иронии. В его голосе звучало и восхищение, и нечто похожее на жалость. Его еще очень трогала эта любовь и особенно ее чувствительный корень — поразившее Дункан сходство его с ее маленьким погибшим сыном.

— Ты не говори, она не старая, она красивая, *прекрасная* женщина. Но вся седая (под краской), вот как снег. Знаешь, она настоящая русская женщина, более русская, чем все там. У нее душа наша, она меня хорошо понимала...

Но безграничные безумства Дункан, ревнивой и требовательной, не отпускавшей от себя Сергея ни на минуту, утомили его, он говорил, что, как вор, бежал от нее на океанском пароходе, ожидая погони, чувствуя, что не в силах более быть с нею больше под одной крышей.

...Из моментов этой эпопеи мне ярко запомнился один. Есенин и Дункан в Берлине. Айседора задумывает большую поездку по Греции, выписывает учениц своей школы, находившейся в это время, кажется, в Брюсселе. Те приезжают — веселой большой компанией — с места до места в автомобилях. Наутро — завтрак. За столом Сергей пытается поговорить с одной из хорошеньких учениц: легонький флирт. Айседора, заметив это, встает, вся красная, и объявляет повелительно: «В Афины не едем. Все — в автомобили, едете назад». Так Сергей и не побывал в Греции.

...На Москву он был, видимо, сердит. Тамошняя скандальная слава не удовлетворяла его; за спиной осталось много теснящего и раздражающего. Московских собратьев, не внушавших на расстоянии никакой симпатии, он защищал, но не без улыбки. У него, за исключением редких, жестоких и часто несправедливых минут, все в его личном кругу были «хорошие люди». И теперь, не меньше чем в юности, он казался завороженным этой щемящей нежностью к людям, этой рассеянной слепотой, уживающейся с зоркостью резкого ума. В жизни его дружба и товарищество продолжали занимать почетное место, они поддерживали и облегчали его.

...С женщинами, говорил он, ему по-прежнему трудно было оставаться подолгу. Он разочаровывался постоянно и любил периоды, когда удавалось жить «без них»; но зато, если чувственная волна со всеми ее обманами захлестывала его на время, то опять-таки по-старому — «без удержу». Обо всем этом говорил он попросту, по-мужски, и смеясь, но без грусти и беспокойства.

...В одну из тихих минут задумался он о не оставленной еще надежде жениться на хорошей, верной девушке, которую все не удается встретить. Но это так — только мелькнуло. Больше всего было воспоминаний. Со мной надежнее, чем с другими, мог он, ничего не объясняя, говорить о прошлом, о той полосе его личной жизни, которая началась у меня на глазах в октябрьские дни и, видимо, не переставала все эти шесть лет его мучить. И, отбрасывая эту язвящую его тему, он за новым стаканом возвращался к ней опять, то с болью укоряя, оплевывая самого себя, то с нарочитой бранью обвиняя других, то рассказывая, как он был жесток и груб, то ударяя кулаком по столу и уверяя, что

«нельзя, нельзя было иначе». И буйствуя, и успокаиваясь, он настаивал на том, что *это* в его жизни было первое и главное, то, что не сможет никогда забыть.

Еще раньше заметил я черную повязку на его левой руке, но только теперь он показал мне скрытый под нею шрам и объяснил мне подробно, как он порезался, пробив рукою подвальное окно, как истекал кровью на незнакомой лестнице в чужой квартире, как долго лежал он, прикованный к постели с рукою под прессом... Но на вопрос, почему именно он, пьяный, соскочил с извозчика и ринулся в окошко, он ответил мельком, глядя в сторону: «Так, испугался... пьян был». Я не понял тогда, что в этом сказалась его начинавшаяся болезнь.

Когда я попытался попросить его во имя разных «хороших вещей» не так пьянствовать и поберечь себя, он вдруг пришел в страшное, особенное волнение. «Не могу я, ну как ты не понимаешь, не могу я не пить... Если бы не пил, разве мог бы я пережить *все, что было?..»* И заходил, смятенный, размашисто жестикулируя, по комнате, иногда останавливаясь и хватая меня за руку.

Чем больше он пил, тем чернее и горше говорил о том, что все, во что он верил, идет на убыль, что его «есенинская» революция еще не пришла, что он совсем один. И опять, как в юности, но уже болезненно сжимались его кулаки, угрожавшие невидимым врагам и миру, который он облетел в один год и узнал «лучше, чем все». И тут, в необузданном вихре, в путанице понятий закружилось только одно ясное повторяющееся слово:

— Россия! Ты понимаешь — Россия!

В этом потоке жалоб и требований был и невероятный национализм, и полная растерянность под гнетом всего пережитого и виденного, и поддержанная вином донкихотская гордость, и мальчишеское желание драться, но уже не стихами, а вот этой рукой... С кем? Едва ли он мог на это ответить, и никто его не спрашивал.

То, что он говорил мне вот так, мечась и мучась в приглушающих голос стенах комнаты с розовой двуспальной постелью и бутылками, слышали, вероятно, многие, как на этот раз слышал я и молчавший в кресле его приятель. Это, видимо, и было то, что прощали *одному Есенину,* и чувствовалось, что он давно перегорает в этой тягостной свободе выпадов и порывов, что на него и теперь смотрят с улыбкой, не карая, щадя

его, как больного, как поэта и — опять, опять! — как «кудлатого щенка».

В подобном состоянии он, вероятно, и начинал свои скандалы, которых я никогда не видел. Но здесь, в комнате, он на моих глазах постепенно успокоился и, выпив, заулыбался. Я постарался перевести разговор на менее больную тему.

Такой длительной и «раскрывающей» встречи у нас больше не было, хотя я и старался часто заглядывать к Сергею. На некоторое время он уезжал в Москву и опять вернулся — все еще без вещей, «постояльцем» с чемоданом... Ему казалось, что он живет тихо, реже пьет и может хорошо работать. Но мне он представлялся окруженным плотным кольцом не то профессиональных, не то собутыльнических связей, вереницей случайных друзей, которые и здесь наперебой помогают ему «расшатываться и пропадать». Не напоить Есенина, не напиться с ним казалось почти неприличным.

Часто говорили мне, приоткрыв дверь: «Вы к Есенину? Еще с третьего дня не возвращался». А однажды один из поэтов, вообще очень развязный, а на этот раз очень пьяный, загородил мне дорогу и уверял, что Есенина видеть «никак, никак нельзя». На какое препятствие намекал он, я так и не разузнал. В другой раз сам Сергей, услышав мой голос, успел опровергнуть заявление, что его нет дома, и, хотя это случилось в час, когда он действительно работал, не позволил мне уйти. Почти каждый раз он провожал меня домой по улицам, не надевая шапки, крепко ухватив меня под руку, милый и ласковый, но сам так и не собрался посмотреть мою новорожденную «ляльку» (так он издавна называл маленьких детей), а мне не верилось, что его прельщает семейственность, и я не решался звать его к себе.

...И опять проблеском — трезвая, ясная собранность, в свете которой являлся из этого тумана живой и настоящий Сережа... Таков был один вечер, тоже «без денег и вина», но приятный. Сергей в библиотеке Сахарова, очень тихий, деловитый, разбирающий книги, влезая на лесенку. Перелистывал, когда я вошел, Глеба Успенского, но, отложив его в сторону, заговорил о тяге своей к настоящим классикам, к магистрали русской литературы. Его лицо было серьезно, он совсем не шутил, на лбу — морщинки, в глазах — еще новая для меня зрелость. Он весь был погружен в созерцание своего большого писательского дела. Показывая мне кор-

ректуры собрания своих стихов (тогда предполагалось два тома), он оценивал их как завершенный этап. Имена Пушкина и Гоголя мелькали в его четких замечаниях. К стыду моему, я не сумел разглядеть тогда его культурного роста, давно перешедшего за грани знакомого мне ребячества.

При встречах с ним, благодаря их прерывистости и обстановке, в которых они происходили, я «обалдевал». Меня все больше наполняло неосознанное, но тяжелое ощущение всей стихийной зыбкости его *человеческой* судьбы, которая казалась мне важнее его поэзии и которую еще нечем было мерить.

Незадолго до отъезда он утром, едва проснувшись, читал мне в постели только что написанную им «Русь советскую», рукопись которой с немногими помарками лежала рядом на ночном столике. Я невольно перебил его на второй строчке: «Ага, Пушкин?» — «Ну да!» — и с радостным лицом твердо сказал, что идет теперь за Пушкиным.

В это утро, в маленькой неуютной «комнате по коридору» с гостиничной кроватью и трюмо, он казался очень больным. Я разбудил его своим приходом в 11 часов. Не одеваясь, он выпил натощак остаток со дна вчерашней бутылки и поскорее велел приятелю купить «рябиновой и еще чего-нибудь...». Его томила тревога, он поеживался и, привставая на постели, порывисто сжимал мне руку. Он опять говорил, что у него «все, все отняли», что новое, чужое ему «повсюду, понимаешь, повсюду», что у него нет сил терпеть и видеть свое одиночество.

— Не могу, Володя, не могу!..

Его голые руки дрожали мелкой дрожью, в расширенных глазах стояли слезы. Но принесенное вино опять его успокоило, он стал читать стихи, ушел в них, присмирел, и неизвестно было, где для него настоящая правда — в этой лихорадочной тоске и беспредметной подозрительности или в лирической примиренности его стихов о новой, здоровеющей родине...

Мы не простились с ним как следует («Так я и не увидел тебя перед отъездом»,— написал он мне через полгода). Уехал он с безалаберной экстренностью, на день раньше, чем думал, намереваясь через две недели ликвидировать дела в Москве и перевезти сюда все свои вещи и обосноваться тут надолго. Но обещаемого со дня на день его возвращения я так и не дождался.

В. Чернявский

1924 г.

Летний день. Нас четверо. Идем к одному видному советскому работнику. Хлопотать о деле.

Жарко. Есенин не пропускает ни одного киоска с водами. У каждого киоска он предлагает нам выпить кваса.

Я нападаю на него:

— У тебя, Сергей, столько раз повторяется слово «знаменитый», что в собрании сочинений оно будет на каждой странице. У Игоря Северянина лучше: тот раза два или три написал, что он гений, и перестал. А знаешь, у кого ты заимствовал слово «знаменитый»? Ты заимствовал его, конечно бессознательно, из учебника церковной истории протоиерея Смирнова. Протоиерей Смирнов любит это словечко!

Дальше я привожу из Есенина целый ворох церковнославянских слов.

Он долго молчит. Наконец не выдерживает, начинает защищаться.

В ожидании приема у советского работника продолжаем прерванный разговор.

— Раньше я все о мирах пел,— заметил Есенин,— все у меня было в мировом масштабе. Теперь я пою и буду петь о мелочах.

Лето. Пивная близ памятника Гоголю.

Есенин, обращаясь к начинающему поэту, рассказывает, как Александр Блок учил его писать лирические стихи:

— Иногда важно, чтобы молодому поэту более опытный поэт показал, как нужно писать стихи. Вот меня, например, учил писать лирические стихи Блок, когда я с ним познакомился в Петербурге и читал ему свои ранние стихи.

Лирическое стихотворение не должно быть чересчур длинным, говорил мне Блок.

Идеальная мера лирического стихотворения двадцать строк.

Если стихотворение начинающего поэта будет очень длинным, длиннее двадцати строк, оно, безусловно, потеряет лирическую напряженность, оно станет бледным и водянистым.

Учись быть кратким!

В стихотворении, имеющем от трех до пяти четверостиший, можно все сказать, что чувствуешь, можно выразить определенную настроенность, можно развить ту или иную мысль.

Это на первых порах. Потом, через год, через два, когда окрепнешь, когда научишься писать стихотворения в двадцать строк,— тогда уже можешь испытать свои силы, можешь начинать писать более длинные лирические вещи.

Помни: идеальная мера лирического стихотворения — двадцать строк.

В журнале группы имажинистов «Гостиница для путешествующих в прекрасном» пропагандировался и выдвигался на первый план Таиров и Московский Камерный театр.

Есенин был недоволен таким положением вещей.

На собраниях группы имажинистов и в частных беседах он говорил:

— Во-первых, вы меня ссорите с Мейерхольдом, с которым я ссориться не намерен; во-вторых, я нахожу, что театр Мейерхольда интереснее театра Таирова.

В дальнейшем, когда рознь в группе имажинистов обозначилась отчетливее, он заявлял:

— В журнале, где выдвигают Таирова и нападают на Мейерхольда, я участвовать не желаю. В журнале, который я организую в дальнейшем, будет пропагандироваться театр Мейерхольда.

Брюсовский пер., д. 2а, кв. 27.

Вечер. Есенин на кушетке, в цветном персидском халате, в туфлях. Берет с подоконника «Голубые пески» Всеволода Иванова. Перелистывает. Бросает на стол. Снова, не читая, перелистывает и с аффектацией восклицает:

— Гениально! Гениальный писатель!

И звук «г» у него, как почти всегда, по-рязански.

Иван Рукавишников выступает в «Стойле Пегаса» со «Степаном Разиным».

Есенин стоит близ эстрады и внимательно слушает сказ Ивана Рукавишникова, написанный так называемым напевным стихом.

В перерывах и после чтения «Степана Разина» он повторяет:

— Хорошо! Очень хорошо! Талантливая вещь!

«Стойло Пегаса». Я прочел книгу Александра Востокова «Опыт о русском стихосложении», изданную в 1817 году. Встретив Есенина, я делился с ним прочитанным, восторгался редкой книгой.

Книга была редкой не только по содержанию, но и по внешнему виду: на ней был в качестве книжного знака фамильный герб одного из видных декабристов.

Я привел Есенину мнение Пушкина о Востокове: «Много говорили о настоящем русском стихе. А. Х. Востоков определил его с большою ученостью и сметливостию».

Я сообщил ему, что первого русского стихотворца звали также Сергеем: Сергей Кубасов, сочинитель «Хронографа», по свидетельству Александра Востокова, первый в России написал в XVI веке русские рифмованные стихи.

Темами нашей беседы в дальнейшем, естественно, были: формы стиха, эволюция русского стиха.

Между прочим, Есенин сказал:

— Я давно обратил внимание на переносы в стихе. Я учился и учусь стиху на конкретном стихотворном материале. Переносы предложения из одной строки в другую в первый раз я заметил у Лермонтова. Я всегда избегал в своих стихах переносов и разносок. Я люблю естественное течение стиха. Я люблю совпадение фразы и строки.

Я ответил, что в стихах Есенина в самом деле мало переносов и разносок, в особенности если иметь в виду его песенную лирику; в этом отношении он походит на наших русских песнотворцев и сказочников: по мнению Востокова, переносы и разноски заимствованы нашей искусственной книжной поэзией от греков и римлян.

В одной из моих тетрадок сохранилась выдержка из книги Востокова, относящаяся к нашему разговору. Привожу ее полностью:

«Свойственные греческой и римской поэзии, а с них и в новейшую нашу поэзию вошедшие разноски слов

(inversions) и переносы из одного стиха в другой (enjambements) в русских стихах совсем непозволительны: у русского песнотворца или сказочника в каждом стихе полный смысл речи заключается, и расположение слов ничем не отличается от простого разговорного».

И. Грузинов

Последняя встреча. Я был на одном литературном вечере, кажется — «Никитинские субботники», когда вдруг с испугом говорят, что на вечер врывается и скандалит пьяный Есенин. Я сейчас же вышел. Есенин был, как мне показалось, трезвый, с Казиным, и пригласил меня в «Стойло Пегаса». Помню, мы сидели там до закрытия, слушали цыганский хор. После закрытия мы всю ночь ходили по Тверской. Говорили мы в ту ночь, конечно, о том, что нам было и есть всего дороже,— о стихах.

Я с удовлетворением отозвался о некоторых последних его вещах.

— Ага! Ты наконец понял! Погоди, я скоро еще не то напишу!

Затем он, по обыкновению, стал говорить, что Россия, вся Россия — его, а не моя и не Казина, а тем более не Маяковского. Я «уступил» ему Россию. Он плакал, мы целовались. Я смутно, но понимал, что ему больно, что в нем что-то творится, что-то происходит, а что?..

С нами был какой-то человек, не литератор, но близкий приятель Есенина.

— Куда ты сегодня спать пойдешь? — спросил он Есенина.

— А, право, не знаю! — как бы раздумывая, ответил Есенин.— Пойдем хоть к тебе.

— Да разве у тебя своей квартиры нет? — спросил я.

— А зачем она мне? — просто ответил Есенин.

«Беспризорный Есенин»,— подумал я.

Н. Полетаев

Училась я в Кузьминском, в Рязани, а с 1924 года — в Москве, где окончила педагогический институт. В Москве я осталась жить и работать, а летнее время проводила в своем родном Кузьминском. В наше село и в соседнее Константиново наведывался известный певец Григорий Степанович Пирогов, уроженец села Новоселки, которое находится в семи километрах от Кузьмин-

ского. Мой отец, рослый и сильный, обладал мощным голосом, любил петь народные песни, а при случае мог и сплясать, например, на многолюдных вечерах у священника Ивана Смирнова. Пение Григория Пирогова и моего отца восторженно слушали сельские жители и потом говорили: «Хороши голоса, что и толковать! А наш-то, Василий Иванович, пожалуй, и знаменитому певцу не уступит!»

Предполагаю, даже уверена, что и Есенин слышал их пение.

В. Калашникова

Смерть поэта А. Ширяевца весной 1924 г. впервые и по-настоящему сблизила меня с Есениным. Эта смерть вызвала глубокую и искреннюю печаль у всех знавших поэта. Особенно горячо отозвался на смерть Ширяевца Есенин. Он принял самое энергичное участие в организации похорон. Помню, в день смерти Ширяевца в Доме Герцена шел литературный вечер, устроенный какой-то группой. Неожиданно в зале появляется Есенин. Его просят прочесть стихи. Он соглашается, но предварительно произносит слово о Ширяевце, в котором рисует его как прекрасного поэта и человека. Затем читает несколько своих последних стихотворений, в том числе «Письмо к матери». Стихи были прочитаны с исключительной силой и подъемом.

На второй день мы встретились с ним на похоронах Ширяевца. Есенин шел грустный и опечаленный. Немного пасмурный майский день, изредка выглянет солнышко и озарит печальную картину — скромный катафалк и небольшую толпу людей. Есенин идет в светло-сером костюме, теплый ветерок шевелит его светлые волнистые волосы, голова опущена. А впереди уже виднеются ворота Ваганьковского кладбища, те самые, через которые он сам потом проплыл на руках друзей... Я иду рядом с Есениным.

— А кто из нас раньше умрет, ты или я? — неожиданно спрашивает меня Есенин.

— Не знаю, Сережа...

— Наверно, я,— я скоро умру. Ты обязательно приходи меня хоронить, слышишь? Ну, а если ты умрешь раньше, то я обязательно приду.

Что-то детское и наивное было в этих словах, приобретших сейчас особый смысл и значение... Но вот гроб

опущен в могилу. Начались прощальные речи. Неожиданно эти речи приняли полемический характер, ораторы стали пререкаться и спорить. Это было нелепо. Вдруг над самой могилой Ширяевца, в свежей весенней зелени берез громко запел соловей. Ораторы умолкли, взоры всех обратились вверх к невидимому певцу, так чудесно и своевременно прекратившему ненужные споры. Есенин стоял светлый и радостный и по-детски улыбался.

Есенин заметно увядал физически. Лицо его, прежде светлое и жизнерадостное, подернулось мглистыми, пепельными тенями. Голос потерял свою первоначальную чистоту и звонкость, стал хриплым и заглушенным. Както по-новому глядели немного выцветшие глаза. Он стал производить впечатление человека, опаленного каким-то губительным внутренним огнем.

Вскоре после смерти Ширяевца я сидел с Есениным в одном из московских ресторанов. С нами был еще поэт В. Казин. Есенин был печален. Говорил о своей болезни, о том, что он устал жить и что, вероятно, он уже ничего не создаст значительного.

— Чувство смерти преследует меня. Часто ночью во время бессонницы я ощущаю ее близость... Это очень страшно. Тогда я встаю с кровати, открываю свет и начинаю быстро ходить по комнате, читая книгу. Таким образом рассеиваешься.

Потом неожиданно он стал читать на память мое стихотворение «Мои похороны», которое начинается так:

Под звон трамваев я умру
В сурово-каменном жилище,
Друзья потащат поутру
Меня на дальнее кладбище...

Несколько удивленный, я спросил Есенина:

— Откуда у тебя такая память на стихи?

— Не знаю, запомнилось почему-то мне это стихотворение.

Затем Есенин прочитал два варианта стихотворения на смерть Ширяевца. В этот вечер мы долго не расставались.

Однажды в пассаже ГУМа встречаю Есенина, с ним поэт В. Наседкин. Куда-то торопятся, почти бегут.

— Не знаешь ли, где здесь продают «русскую горькую»? Еду к себе в деревню на свадьбу.

Я указал им магазин. Есенин схватил меня под руку.

— Проводи нас. Да, кстати, не поедешь ли ты с на-

ми в деревню? Поедем, будет весело, на станции нас встретят с лошадьми и гармошками. Погуляем!

Я отказался. Тогда он неожиданно переменил разговор:

— Ты знаешь, то, что я говорил о Клюеве,— неправда. Клюев — мой учитель, и я его очень люблю и ценю... Заходи ко мне, пожалуйста. Нам надо с тобой поговорить, тащи с собой и Михаила Герасимова.

Прощаясь, Есенин сказал:

— Знаешь, я думаю жениться, надоела мне такая жизнь, угла своего не имею.

При последних встречах я замечал, что Есенина крепко волнуют какие-то вопросы. Он пытался о них говорить. Это были вопросы о советской власти, о революции и о близких нам людях. Хотел высказаться точно и определенно, но выходило у него как-то туманно и неясно.

Однажды я спросил:

— Ты ценишь свои революционные произведения? Например, «Песнь о великом походе» и другие?

— Да, конечно, это очень хорошие вещи, и они мне нравятся.

В. Кириллов

В последние встречи мои с Есениным он выглядел необыкновенно приподнятым и возбужденным. Таким он запомнился мне на пушкинских торжествах, когда, прочтя свое стихотворное обращение к великому поэту, стоял у самого подножия пушкинского памятника. Возбуждение еще не покинуло его. Глаза лихорадочно блестели. Улыбнувшись мне своей прежней сияющей есенинской улыбкой, он сказал: «Камни души скинаю». С некоторых пор это выражение сделалось условным на нашем с ним языке. Стоял тихий весенний вечер. На площади Страстного монастыря продавали цветы.

М. Бабенчиков

В конце мая 1924 года Сергей снова приехал в деревню. Теплый воскресный день уже подходил к концу. Группой в несколько человек мы спускались с горы к перевозу. В воскресные дни в хорошую погоду мы ходили к коровам раньше, чем в будние. Хорошо наше подгорье, и приятно идти по нему не торопясь.

На полдороге к реке нас догоняет новая группа соседок, и одна из них, обращаясь ко мне, говорит:

— Шура, сейчас приехал ваш Сергей. На паре!

От неожиданности я останавливаюсь и не знаю, что мне делать. В этот момент я пожалела о том, что у нас две коровы. Одну подоить легко было бы попросить кого-нибудь, а двух — это сложнее, можно опоздать в последнюю лодку и долго просидеть на том берегу.

К счастью, одна из Катиных подруг сама предложила мне подоить коров. Она поняла мое состояние, так как знала, что Сергей не был дома уже около трех лет, а его приезд для нас большой праздник. Я с радостью передала ей ведро и бегом поднялась в гору. По дороге я подумала: «Значит, приехала и Катя». Поднявшись в гору, я не увидела пары лошадей. В голове молниеносно пронеслась мысль: «А вдруг это ошибка. Вдруг не они приехали, а кто-то другой».

Но, вбежав в дом, я застаю радостную суматоху, и мать уже со щепками и спичками в руках хлопочет у самовара. Так всегда, едва поздоровавшись с приехавшими, она торопится ставить самовар.

Сергей и Катя приехали не одни. Вместе с ними был мужчина лет тридцати — тридцати пяти, полный, круглолицый, с маленькими смеющимися глазами — Сахаров.

С Александром Михайловичем Сахаровым у Сергея была дружба в течение нескольких лет. Встречались они и в Москве, и в Ленинграде, где жил Сахаров. Александр Михайлович был издательским работником, и в 1922 году в петроградском издательстве «Эльзевир» он издал пьесу Сергея «Пугачев».

Позже, когда я жила в Москве, я видела Александра Михайловича у нас в доме довольно часто, и он запомнился мне, как человек спокойный, с медлительными движениями, любящий пошутить. Но все это я узнала позже, а сейчас мне было не до него. Я так рада приезду Сергея и Кати, что вижу только их и бросаюсь им на шею то одному, то другому.

— А ну-ка, покажись, покажись! Ух, какая ты стала! — восклицает Сергей и, немного отступив, улыбаясь, начинает меня рассматривать и удивляться.

Это понятно: он уехал, когда мне было десять лет, теперь мне тринадцать. За эти годы я очень выросла. Я смущаюсь под пристальным взглядом Сергея, а тут

еще Катя, которая тоже не была дома целый год, говорит ему:

— Вот видишь, какая вымахала.

По-видимому, у них был разговор обо мне.

На мое счастье, меня выручает мать, поручая принести из сеней углей для самовара, достать чистое полотенце, дать гостям умыться. Приказаний много, и я охотно их выполняю.

Катя тоже занята делами. Она распаковывает чемоданы, накрывает на стол. Задача ей выпала нелегкая — рассадить шесть человек за нашим маленьким столиком.

Пока закипает самовар, мужчины сидят, курят, делятся новостями. Новостей много, есть что рассказать и о чем расспросить друг друга. Отца интересует жизнь в Москве, за границей. Сергея — жизнь односельчан.

Со времени его последнего приезда сильно изменился облик села, и особенно изменилась жизнь в нашей семье. Никогда еще не жили мы так бедно, как теперь, после голода и пожара, и отец с матерью как-то неловко чувствуют себя перед приехавшим гостем. Но Сергей, любивший свою родину «до радости и боли», счастлив, что снова дома, среди родных, и его не смущают ни эта бедность, ни эта теснота. Лишь позже с большой болью он пишет в стихотворении «Возвращение на родину»:

Как много изменилось там,
В их бедном, неприглядном быте.
Какое множество открытий
За мною следовало по пятам.

Отцовский дом
Не мог я распознать...

Да, в таком доме мы еще никогда не жили, но, на наше счастье, уцелел амбар, и теперь Сергей там может спать. Но мать мучает вопрос: где же уложить спать гостя?

За разговорами, за чаем не заметили, как прошел вечер. И задача матери решилась легко: мужчины решили спать в риге на сене.

Забрав все овчинные шубы и ватные поддевки, Сахаров, Сергей и отец ушли на ночлег. И, читая строки из поэмы «Анна Снегина»:

Беседа окончена...
Чинно
Мы выпили весь самовар.
По-старому с шубой овчинной
Иду я на свой сеновал.

Иду я разросшимся садом,
Лицо задевает сирень.
Так мил моим вспыхнувшим взглядам
Состарившийся плетень...—

я вспоминаю наши вишневые заросли, маленькую избушку и тот теплый тихий майский вечер, в который мы были так счастливы.

Об этой вечерней беседе идет речь в этих строках. Мимо нашего плетня, сплетенного неумелыми руками отца, проходил Сергей с овчинной шубой в руках на сеновал, и вместо сирени лицо его задевали наши цветущие вишни.

В этот свой приезд Сергей прожил дома всего лишь несколько дней. Вместе с Сахаровым он уехал в Москву, а оттуда — в Ленинград. Июнь и июль Сергей жил в Ленинграде и за это время написал там поэму «Песнь о великом походе».

Летний зной, городская сутолока, напряженная работа — от всего этого Сергей устал, и его снова потянуло в Константиново. 26 июля он пишет Гале Бениславской в Москву: «Дней через 6—7 я приезжаю в Москву. Еду в Рязань (имелось в виду Константиново) с Никитиным. Уж очень дьявольски захотелось поудить рыбу...»

И в начале августа Сергей снова в Константинове.

По неизвестным причинам Н. Н. Никитин (ленинградский писатель) с Сергеем не приехал, а нашим гостем на этот раз был молодой, лет двадцати, коренастый, широкоплечий, с черными глазами и густыми черными волосами поэт Иван Приблудный.

Он был бесшабашный, озорной, находчивый весельчак, умеющий и посмеяться, и пошутить, и спеть. Но всего лучше он читал стихи. Особенно хорошо у него получались «Гайдамаки» Шевченко и «Петух» собственного сочинения. Читал он как-то удивительно просто, жестикулируя правой рукой или изредка поправляя черную шапку волос, но в его хрипловатом голосе было столько выразительности, что трудно забыть такое чтение. Был он, как говорится, без роду, без племени, но в его внешности и поведении было много цыганского. Его безобидное озорство иногда удивляло. Идем с ним по улице, спокойно разговариваем. Вдруг он становится на руки и идет на руках или, увидев впереди двух молоденьких девушек, идущих навстречу, поравнявшись с ними, резко бросается в сторону, и те от неожиданности шарахаются в другую. Пройдя несколько шагов, он огля-

нется, улыбнется им и продолжает путь как ни в чем не бывало.

Живя у нас в деревне, он исходил все окрестности, пропадая целыми днями. Ночами он тоже где-то бродил. В это время стояли чудесные лунные ночи.

Однажды, возвращаясь под утро домой, он увидел начинающийся пожар. Заснувшее село как будто вымерло, а он, не зная о существовании веревки, привязанной к колоколу для набата, и найдя закрытым вход на колокольню, стал собирать около церкви камни и бросать их в колокол. Правда, его удары мало походили на набат, но людей он все-таки разбудил.

В этот свой приезд Сергей спал в амбаре. Ему снова нужно было работать, а в риге нельзя было курить, опасно зажигать лампу. Работал Сергей очень много. Я помню, как часами, почти не разгибаясь, сидел он за столом у раскрытого окна нашей маленькой хибарки. Условия для работы были очень плохие. По существу, их не было совсем. Мы старались не мешать Сергею, но так как дом наш был слишком мал, а амбар служил кладовой, где хранили и платье, и продукты, то поневоле нам приходилось его беспокоить.

И, несмотря на трудности, он упорно работал над «Поэмой о 36».

Здесь же им было написано стихотворение «Отговорила роща золотая...».

В работе над этим стихотворением у него была замечательная помощница — наша рязанская природа, с пролетающими в поля косяками журавлей, с костром рябины красной, стоящей перед нашим боковым окном.

Работа, работа, работа... Лишь изредка Сергей устраивает себе отдых, ходит ловить рыбу на Оку. Для этой цели он привез с собой много удочек, поразивших меня колокольчиками, привязанными к тонкому кончику каждой из удочек. При малейшем прикосновении колокольчики издавали нежный серебряный звон. Я сначала не могла понять, что это такое, и когда Сергей объяснил мне, что это удочки, я стала просить его взять и меня с собой на рыбалку.

— А ты что, тоже хочешь ловить рыбу? — удивленно спросил он и засмеялся: — Ну что ж, пойдем.

И вот мы втроем: Сергей, Катя и я, переехав реку, направляемся к Макарову углу.

Макаров угол — это место, где Ока давно, еще в XVIII веке, изменив течение, оборвала один из своих

поворотов и образовала угол. Из оборванного Окой поворота образовалась Старица, а часть его заволокло песком и избавило наших крестьян от второй переправы, через которую раньше нужно было переезжать в луга.

Дорога уводит нас далеко вправо от избранного нами места лова. Но ничего не поделаешь, лежащее поперек луга озеро Тишь только в одном месте прерывается и дает возможность перебраться через него. Дорога здесь вся изрыта коровьими копытами, и идти по ней очень трудно. Ил, высохший на солнце, больно колет ноги. К счастью, озеро узкое, и, перебравшись через него, на гладкую дорогу ступаешь, как на мягкий ковер.

Впереди коса с маленькими озерками, с высокими валами чистого речного песка, нанесенного сюда в половодье, в котором по щиколотку утопают ноги, с частыми, еле проходимыми зарослями ежевики, черемухи, шиповника, смородины, хвороста.

Жарко идти по чистому, ровному лугу, но, войдя в косу, тебя обдает новой волной еще более горячего воздуха от раскаленного песка, и от такой жары по всему телу проходит приятная дрожь.

Густо заселена коса трудолюбивыми веселыми пернатыми жильцами. Каждый год половодьем смывает их затейливые домики, но, как только сойдет полая вода, проснутся от долгого зимнего сна жуки и мошки, они уже здесь и снова с пением принимаются за строительство. От зари до зари слышатся их разнообразные звонкие песни, а в мае — июне по ночам коса оглашается соловьиными трелями. И как будто аккомпанируя всем пернатым певцам, день и ночь дружно трещат кузнечики.

Пройдя косу, минут через десять мы у обрывистого берега реки. В летнем безмолвии спокойно несет свои воды Ока. На ее гладкой поверхности отражаются израненные хлопотливыми ласточками отвесные берега, задумчиво склоненные над водой кустарники, бездонное голубое небо, позолоченное яркими солнечными лучами.

Маленькая пичужка, сидя на ветке куста, как будто поражаясь красотой природы и безмолвием, звонко и долго твердила: «Удивительно, удивительно», да и на противоположной стороне реки, в прибрежных зарослях кустарника, как будто предвидя нашу неудачную рыбалку, кто-то еще из пернатых давал нам совет: «Купить, купить».

Сергей рассмеялся и задал пичуге вопрос: «А где? — И тут же храбро добавил: — Ничего, сами наловим...»

В Макаров угол, подальше от села, обычно ходили настоящие рыболовы. Вот и мы с Сергеем, как заправские рыбаки, переезжали на лодке Оку и приходили сюда же. Но от правил заправских рыбаков мы отступали. Мы не вставали на заре и не ждали вечернего клева. Вечерами Сергей чаще всего работал, очень поздно ложился спать и поэтому поздно вставал. Уходили из дому мы часов в девять-десять, добирались до места и рыбачить начинали уже почти в полдень. Не могли мы похвастаться и хорошим уловом. Ерш, окунь, плотва — вот основная наша добыча. Но мы не унывали, с радостью вытаскивали очередного ершишку или окунька и довольны были тем, что по количеству их у нас было много. Я должна была опускать в садок пойманную рыбу и вести счет.

И вот онажды нам повезло. Наконец-то попалась большая хорошая рыба. Это был голавль, примерно на четыреста — пятьсот граммов. Дрожащими руками Сергей стал снимать голавля с крючка, а я побежала за садком. Прибежав с садком, я не успела его еще раскрыть, а Сергей уже выпустил из рук голавля. Рыба, упавшая в воду, на несколько секунд замерла, не веря тому, что она на свободе, затем стремительно ушла в глубину реки. Такой неудачи ни Сергей, ни я не ожидали, и он вдруг вскипел: «Вот дурная, что ж ты наделала? Лезь вот теперь за ней». А я даже не пыталась оправдываться, что вина-то не только моя, и растерянно стояла в воде, держа в руках раскрытый садок.

Сергей был так огорчен, что разбудил Катю, которая не любила терпеливо сидеть с удочкой и обычно, пока мы ловили, спала в прибрежных кустах. Рассказывая ей о случившемся, он обвинял во всем меня. А через короткое время он уже весело подшучивал надо мной. Однако вину с меня он не снял. Это был единственный случай, когда Сергей накричал на меня. Вот теперь, спустя уже много лет, я вспоминаю и удивляюсь умению Сергея и выдержке, которые он проявлял, воспитывая нас. Ведь сам-то он был еще так молод. Я не помню случая, чтобы он когда-нибудь меня обидел. И если я делала что-нибудь не так, он обычно, как и в этот раз, восклицал: «Вот дурная, что ж ты наделала?» — и терпеливо объяснял мне мои ошибки.

У Сергея я многое переняла. Он рано научил меня любить книги. Каждое лето он приезжал домой в деревню, но не отдыхать, а работать. Чемоданы, привезенные

им, в основном были заполнены книгами. Сидя за столом, с керосиновой лампой, он читал целыми ночами до самого рассвета. Уезжая из деревни, он не брал с собой привезенные книги, и таким образом у нас дома собиралась своя библиотека, благодаря которой еще девочкой десяти — двенадцати лет я знала очень много стихов Некрасова, Никитина, Пушкина, Кольцова, Тютчева, Фета, Майкова и многих других. Из писателей я особенно любила Гоголя. Он был мне близок и понятен.

Почти все свое свободное время теперь Сергей проводил с Катей и со мной. Часто вечерами выбирались мы со своего огорода, шли на село, за церковь на гору. Хорошо на горе тихим лунным вечером. На западе частыми зарницами освещается темное ночное небо, внизу серебрится река, а за покрытыми туманом лугами чернеет вдали лес.

Особенно мы любили смотреть вечером на проходящие пассажирские пароходы. На темной свинцовой поверхности воды пароходные огни отражаются как в зеркале.

Пароход, идущий вдали, то скрывается за кустами, растущими на берегах, то за поворотом Оки или за горами, то вновь появляется, и мерный стук его колес становится все слышнее и слышнее. Перед Кузьминским шлюзом, пройдя наш перевоз, пароход подает свисток, звук которого как-то торжественно и победоносно разносится по лугам, по широкой реке, по береговым ущельям и где-то вдали замирает.

Глядя на уходящий пароход, испытываешь такое же манящее чувство, как при виде улетающего вдаль косяка журавлей.

После долгого трудного дня спокойно спит все село. В редком доме виднеется тусклый свет керосиновой лампы. Лишь неугомонная молодежь, собравшись около гармониста, где-то в другом конце села поет «страдание» да ночной сторож лениво стучит колотушкой.

Ходим мы обычно от церкви до Питеряевки и обратно. Питеряевка — это маленький поселок, или, вернее, улица в конце села, расположенная за оврагом, на дне которого небольшая плотина. Дома на Питеряевке стоят вдоль плотины, поперек села. В этом конце села тише.

После пожара, произошедшего в 1922 году, дотла уничтожившего этот конец села, дома выстраиваются медленно, и здесь еще их немного. То тут, то там, на месте, где должен стоять дом, чернеет еще подпольная

яма или стоит сруб, как у нас. Над некоторыми ямами дома больше не выстроятся, так как из-за перенаселенности многим погорельцам отвели усадебные участки за селом, на Новом поселке, и некоторые из них уже построились там. На Новом поселке отводятся усадьбы и молодоженам, отделившимся от своих родителей.

Над уснувшим селом величаво плывет луна, освещая его своим бледным светом. Блестящими монетами рассыпались по светлому небу звезды, их немного, и кажется, что они совсем близко. Дорога и тропинки, освещенные луной, на близком расстоянии видны отчетливо, но дальше серыми змейками уползают в ночной сумрак.

Недолго ходим мы по селу молча или разговаривая. Привыкшим жить и работать с песней трудно не петь в такой вечер, и обычно Сергей или Катя начинают тихонько, «себе под нос», напевать какую-либо мелодию. А уж если запоет один, то как же умолчать другим. Каждый из нас знает, что поет другой, и невольно начинает подпевать.

Поем мы, как говорят у нас в деревне, «складно». У нас небольшие голоса, да мы и не стараемся петь громко, так как наши песни требуют от исполнителей больше чувства, а не силы. Мы поем лирические песни и романсы, грустные, как, например, «Ночь» Кольцова, у которой грустный мотив и такое же грустное содержание. Разве можно спеть громко такие слова из романса «Нам пора расставаться», как «О друг мой милый, он не дышит боле. Он лежит убитый на кровавом поле...»

Поем мы и переложенные на музыку в то время стихи Сергея: «Есть одна хорошая песня у соловушки», «Письмо к матери», поем «Вечер черные брови насопил», мотив к которому мы подобрали сами.

Иногда, напевшись вволю, мы с Катей начинаем озорничать. Зачинщицей всегда бывает она: начнет петь какое-нибудь грустное стихотворение Сергея на веселый мотив, вроде плясового. Я, конечно, не отстаю от нее и подпеваю. Сергей сначала смеется, а потом начинает сердиться.

Ближе к полуночи расходимся спать, но Сергей еще долго читает. А утром снова каждый за своим делом.

Иногда, оторвавшись от работы, Сергей обсуждал с родителями дальнейшую их жизнь. Выяснял, что им нужно, что требуется от него. Необходимо было решить, что же делать со мной, так как я дважды кончала от нечего делать четвертый класс и год уже не училась.

В том, что я должна учиться дальше, не было сомнений, но у Сергея не было своей комнаты.

Однажды, обсуждая вопрос обо мне с матерью, он решил отдать меня в балетную школу Дункан, вероятно потому, что там был интернат, и долго вертел меня из стороны в сторону, рассматривая мои ноги.

Мать не возражала. Ей было трудно разобраться, хорошо это или плохо. Сам Сергей пошел не по тому пути, который ему указывали, а по другому, не знакомому ей. Но она видела, что путь, избранный им, вывел его на широкую дорогу, и целиком доверила меня Сергею.

Раннее осеннее московское утро. Мирно спят еще жители города. Негустой, сероватый туман, смешанный с сизым дымом, освещенным лучами багрового солнца, сиреневым покрывалом повис над городом. Тихо. Медленно, будто нехотя, слегка покружившись в воздухе, падают с деревьев желтые листья и спокойно ложатся на серые камни булыжной мостовой. Важно, не торопясь, как-то по-хозяйски бродят по мостовой жирные сизые голуби и серым облачком с громким азартным чириканьем торопливо перепархивают с места на место стайки озорных воробьев.

В тишине гулко раздаются редкие твердые шаги отца и частые торопливые мои. У нашего отца удивительная походка, он идет как будто не торопясь, но догнать его трудно.

В это октябрьское утро 1924 года отец привез меня в Москву учиться.

А. Есенина

1924 год, разгар нэпа. Поздний летний вечер. Есенин вместе со мной приехал в один из кварталов Москвы, который не славился своей безопасностью. По улицам и переулкам брели разные люди, одни о чем-то споря, другие со смехом, видимо, выпившие. Тут были всякого рода подонки, продажные женщины, воры, бездомники и беспризорники. Они направлялись к Ермаковке. Так называлась московская ночлежка. Когда и мы с Есениным вошли туда же, мне вспомнилась надпись над вратами дантовского ада: «Оставь надежду всяк сюда входящий».

«Есенин... Есенин... Есенин» — послышался мне шепот. Я оглянулся. У обитателей Ермаковки наморщенные лица. В глазах светится холодное любопытство. Не-

которые смотрят недружелюбно. Есенин чувствует это. Он идет по проходу между нарами, сутулясь, как писал о себе в одном из стихотворений, будто сквозь строй его ведут.

На Есенине заграничное серое пальто, заграничная серая шляпа с заломом, обычный, как всегда, белый шелковый шарф. Но вскакивает он на первые попавшиеся ему нары, и с него будто разом сдувает всю благоприобретенную «Европу».

Он начинает чтение «Москвы кабацкой». Этим он, очевидно, задумал «купить» своих новых слушателей. Но чем надрывнее становился его голос, тем явственнее вырастала стена между хозяевами и гостем-поэтом. На лице Есенина появилась синеватая бледность, он растерялся, а ведь он говорил, что ни к одному из своих выступлений он не готовился так, как к этому, никогда так не волновался, как отправляясь на эту встречу.

А ведь сюда его никто не приглашал. Здесь его вообще «не ждали». И когда он начал читать свой «кабацкий цикл», слушатели посматривали на Есенина одни с недоумением, другие неодобрительно.

Сейчас я думаю, что такой прием со стороны ермаковцев психологически совершенно понятен. Как могли они воспринять, да еще в стихах, весь тот «бытовой материал», где все так было близко им и в то же время, очевидно, ненавистно...

Шум и гам в этом логове жутком,
Но всю ночь напролет, до зари,
Я читаю стихи проституткам
И с бандитами жарю спирт.

Есенин мнет свой белый шарф, голос его уже хрипит, а «бандиты» и «проститутки» смотрят на Есенина попрежнему бесстрастно. Не то что братья-писатели из Дома Герцена, в ресторане-подвальчике. Положение осложнялось. Все мрачнее становились слушатели.

И вдруг Есенин, говоря по-современному, резко поворачивает ручку штурвала.

Он читает совсем иные стихи — о судьбе, о чувствах, о рязанском небе, о крушении надежд златоволосого паренька, об отговорившей золотой роще, о своей «удалой голове», о милых сестрах, об отце и деде, о матери, которая выходит на дорогу в своем ветхом шушуне и тревожно поджидает любимого сына — ведь когда-то он

был и «кроток» и «смиренен»,— и о том, что он все-таки приедет к ней на берега Оки.

> Не такой уж горький я пропойца,
> Чтоб, тебя не видя, умереть.

Что сталось с ермаковцами в эту минуту! У женщин, у мужчин расширились очи, именно очи, а не глаза. В окружавшей нас теперь уже большой толпе я увидел горько всхлипывающую девушку в рваном платье. Да что она... Плакали и бородачи. Им тоже в их «пропащей» жизни не раз мерещились и родная семья, и все то, о чем не можешь слушать без слез. Прослезился даже начальник Московского уголовного розыска, который вместе с нами приехал в Ермаковку. Он «сопровождал» нас для безопасности. Он был в крылатке с бронзовыми застежками — «львиными мордами» — и в черной литераторской шляпе, очевидно, для конспирации.

Никто уже не валялся равнодушно на нарах. В ночлежке стало словно светлее. Словно развеялся смрад нищеты и ушли тяжелые, угарные мысли. Вот каким был Есенин... С тех пор я и поверил в миф, что за песнями Орфея шли даже деревья.

Второе превращение Сергея Есенина случилось в этот же вечер, после Ермаковки, у него на квартире.

Было поздно. Я приехал к нему ночевать. Сестра Есенина Катя радушно встретила нас и собралась готовить ужин.

— Погоди...— закричал ей Есенин.— Мы сперва должны принять ванну... Мы были знаешь где... Мы могли там подцепить черт знает что...

Утром за завтраком он сказал мне:

— Я долго, очень долго не мог вчера заснуть... А как ты? Ты помнишь, что сказал Лермонтов о людях и поэте:

> Взгляни: перед тобой играючи идет
> Толпа дорогою привычной;
> На лицах праздничных чуть виден след забот,
> Слезы не встретишь неприличной.

— Хорошо, что мы вчера встретили людей не праздных, а сраженных жизнью. Не с праздничными лицами, но все-таки верящих в жизнь... Никогда нельзя терять надежду, потому что...

Он намеревался прибавить еще что-то, однако, по своему обычаю, отделался лишь жестом.

Н. Никитин

1924 г. Лето. Угол Тверской и Триумфальной-Садовой. Пивная. Тусклый день. Два-три посетителя. На полу окурки, сырые опилки. Искусственные пальмы. На столиках бумажные цветы. Половые в серых рубахах. Подпоясаны кожаными ремнями. У каждого на левой руке грязноватая салфетка. Половые заспанные — в этой пивной торговля до 2 часов ночи. Ночью на эстраде артисты, хор цыган. Здесь выступает лучшая цыганская танцовщица — Маруся Артамонова.

Никому нет никакого дела до поэзии. И как-то странно, что только мы, чудаки или одержимые, спорим об искусстве, о стихах. Сидим втроем за парой пива, в углу, у окна: Есенин, А. М. Сахаров, я. Есенин читает новую поэму «Гуляй-поле». Тема поэмы: Россия в гражданскую войну. Есенин читает долго, поэма была почти вся сделана, оставалось обработать некоторые детали. Есенин утверждал, что через несколько дней поэма будет готова полностью.

По прочтении поэмы, обращаясь ко мне, с детским задором:

— Что мне литература?.. Я учусь слову в кабаках и ночных чайных. Везде. На улицах. В толпе.

Показывая на Сахарова:

— Вот этот человек сделал для меня много. Очень много. Он прекрасно знает русский язык.

Снова обращаясь ко мне:

— Я ломаю себя. Давай мне любую теорию. Я напишу стихи по любой теории. Я ломаю себя.

Он стоял в позе оратора и, по своему обыкновению, энергично размахивал руками.

Осень 1924 г. Вечер. Со мною поэт X. Идем по Тверской. Вдруг я замечаю, что с нами идет кто-то третий. Оглядываюсь: поэт Чекрыгин. Из сумрака переулка вынырнул он неслышными шагами. Идем по направлению к Советской площади. Видим — едет мимо нас на извозчике молодой человек. На вид интеллигентный рабочий, в кепке и черном пиджаке. Молодой человек соскакивает с извозчика и подбегает к нам.

— Ба! Да это Есенин! Да как же это так? Почему же мы его не узнали?

Очень просто: волосы, сверх обыкновения, коротко подстрижены, костюм необычный, наверное, чужой. Он только что с вокзала, приехал из деревни, прямо маль-

чик: тоненький, обветренный. Совершенно мальчишеский вид и разговаривает как-то по-другому. Чуть-чуть навеселе. Расцеловались.

Жил в деревне, ловил рыбу. С места в карьер начал рассказывать о своей деревенской жизни. Размахивает руками, говорит громко, на всю улицу. Сразу видно, что все приключения деревенской жизни украшает и преувеличивает.

Ходил ловить рыбу, с сестрой. Сестра у него такая, какой в мире нет. Леща поймал на удочку. Такого леща, что с берега никак нельзя вытащить. Лезет в воду сестра. Полез в воду сам. «Тяну леща к себе, а он тянет к себе...» Брат у него. Сила! Такого силача нигде нет. Не говори ему поперек. Убьет. Рассказ повторяется снова и снова. Брат, сестра, лещ. Сестра, лещ, брат. Лещ, сестра, брат.

Зашли в погребок «Мышиная нора» на Кузнецком. Низкая комната. Есенин читает новые стихи, написанные в деревне, «Отговорила роща золотая...»

И. Грузинов

На Пречистенке, в теперешнем Доме ученых, был организован вечер крестьянских поэтов. В центре программы — выступление Есенина. Профессорская и академическая Москва хотела послушать поэта.

Все участники вечера были в сборе. Они сгрудились вокруг Есенина в соседнем маленьком зале, отделенном дверью от зала выступлений. Вечер открыли и предоставили первое слово Есенину. Он вышел в зал, поднялся на эстраду. Его встретили рукоплесканиями. Постепенно зал притих. Ждали стихов, приготовились слушать их. А Есенин совершенно неожиданно вместо чтения своих стихов заговорил о Блоке — заговорил беспорядочно, расхаживая вдоль эстрады и жестикулируя. Несколько минут недоуменного молчания — разразились нетерпеливые голоса:

— Довольно о Блоке!.. Читайте стихи!.. Мы хотим слушать ваши стихи, Сергей Александрович!

— Мои стихи!..— растерянно остановился Есенин, с улыбкой не очень уверенной, слабой, но такой подкупающей, милой по-детски.

Он приблизился к краю эстрады и сделал паузу.

— Хорошо, я буду читать свои стихи,— согласился он.

И мгновенно, весь собравшись, начал читать. Куда девался только что делавший зигзаги человек? Перед собравшимися стоял П О Э Т.

Есенин читал, как всегда, наизусть. Он великолепно помнил свои стихи. Читал выразительно, просто, с большим мастерством, без завываний, выталкивая с силой слова. Читал последние стихи из «Москвы кабацкой» и другие. Всех захватил он своим чтением. Сгладилось впечатление неловкости от начала вечера, забыто было беспорядочное выступление. Всех покорил своим волшебством чудесный талант поэта. Да и сам он преобразился.

Это был другой человек! Перед нами был тот, кого мы любили за его песенный дар...

Он читал много. А его вновь и вновь просили читать еще и еще. Расходились взволнованные и упоенные чудесным лирическим поэтом...

П. Зайцев

Осенью 1924 года Сергей жил на Кавказе, а Катя временно жила у Гали Бениславской в Брюсовском переулке (теперь улица Неждановой), так как комната в Замоскворечье, которую она снимала у бывших сослуживцев нашего отца, была занята приехавшей к ним дочерью с ребенком. В эту комнату мы с Катей поселились лишь осенью 1925 года.

От Казанского вокзала к Чистым прудам мы идем пешком. Здесь, в Архангельском переулке (ныне Телеграфный), в доме № 7 помещался детский дом, заведующей которого была П. Г. Беликова, крестница нашего отца и какая-то дальняя наша родственница. У нее-то я и должна была жить до тех пор, пока освободится комната, которую снимала Катя.

Напившись у крестницы чаю и немного отдохнув, отец провожает меня к Гале и Кате. Первый раз в жизни я еду в трамвае.

Через несколько дней после приезда в Москву меня устроили в школу.

У крестницы отца я прожила недолго. Кате не понравились условия, в которых я жила, и меня тоже взяли в Брюсовский переулок.

Два больших восьмиэтажных корпуса «А» и «Б», носящие название «дома «Правды», стояли во дворе дома

за номером 2/14 друг против друга. В основном в этих домах жили работники газет «Правда» и «Беднота».

Квартира, в которой жила Галя, находилась на седьмом этаже. Из широкого венецианского окна Галиной комнаты в солнечные дни вдалеке виднелся Нескучный сад, лесная полоса Воробьевых гор, синевой отливала лента реки Москвы и золотились купола Ново-Девичьего монастыря. От домов же, расположенных на ближайших узких улицах и переулках, мы видели лишь одни крыши.

Соседи у Гали были молодые, всем интересующиеся, особенно литературой. Очень любили здесь стихи и удачные новинки декламировались прямо на ходу. Стихи вплетались в жизнь. Например, кто-то куда-то торопится, запаздывает и вдруг начинает читать строчки из «Повести о рыжем Мотэле» Иосифа Уткина:

И куда они торопятся,
Эти странные часы?
Ой, как
Сердце в них колотится!
Ой, как косы их усы!..

Или, рассказывая о каких-либо неудачах, добавляли строчки из той же поэмы:

Так что же?
Прикажете плакать?
Нет так нет!..

При встрече со мной часто декламировали строчки из «Крокодила» Чуковского. Эту сказку вся квартира знала почти наизусть, а Галя очень любила Блока, и часто от нее можно было услышать: «Что же ты потупилась в смущеньи» — или какие-либо строки из поэмы Блока «Двенадцать» вроде: «Стоит буржуй, как пес голодный, и в воротник упрятал нос»...

Но главное место у нас занимали стихи Сергея. В это время он очень часто присылал нам с Кавказа новые стихи. Ему там очень хорошо работалось.

И хотя не было с нами Сергея, жизнь наша тесно была связана с его интересами, с его успехами. Благодаря его письмам, новым стихам, которые он присылал нам, он как бы незримо присутствовал с нами. Галя и Катя вели его литературно-издательские дела в Москве, и он часто давал им письменные указания, где, как и что нужно напечатать, как составить вновь издающийся сборник.

В связи с изданием книг Сергея к нам домой часто заходили разные издательские работники.

25 декабря 1924 года Галя писала Сергею: «От Вас получили из Батума 3 письма сразу. Стихотворение «Письмо к женщине» — я с ума сошла от него. И до сих пор брежу им — до чего хорошо...»

Галина Артуровна Бениславская, или просто Галя, как звали ее мы, была молодая, среднего роста, с густыми длинными черными косами и черными сросшимися бровями над большими зеленовато-серыми глазами.

Галя была еще совсем маленькой, когда разошлись ее родители, и девочку удочерили ее тетя по матери — Нина Поликарповна Зубова и ее муж Артур Казимирович Бениславский.

Отец у Гали был француз, мать — грузинка.

В 1917 году Галя закончила в Петербурге гимназию и поступила в Харьковский университет на естественное отделение. Но закончить университет ей не удалось, так как в 1919 году Харьков был захвачен белогвардейцами, и Галя, бросив занятия в университете, перешла фронт и приехала в Москву. Некоторое время она работала в ВЧК, а затем поступила в редакцию газеты «Беднота».

В 1920 году на одном из литературных вечеров в Политехническом музее Галя познакомилась с Сергеем, и у них завязалась дружба.

В это время Сергей жил с А. Мариенгофом в Богословском переулке (ныне ул. Москвина), где они занимали две комнаты.

2 мая 1922 года Сергей женился на американской балерине Айседоре Дункан, приехавшей в Россию по приглашению А. В. Луначарского и организовавшей в Москве балетную школу. 10 мая 1922 года Сергей и Дункан уехали за границу, где они пробыли до августа 1923 года.

В то время, когда Сергей был за границей, Мариенгоф женился на актрисе Камерного театра — А. Б. Никритиной. Вместе с ними жили мать Никритиной и их ребенок.

Вернувшись из-за границы, Сергей разошелся с Дункан, но жить ему было негде, стеснять Мариенгофа он не хотел.

Тогда Галя предложила Сергею поселиться временно у нее, хотя в это время с ней жила ее подруга — Назарова Аня.

Вот так оказались и мы с Катей в Брюсовском переулке.

Но сам Сергей у Бениславской жил недолго. С конца декабря до конца января или начала февраля Сергей лечился в больнице на Б. Полянке.

В один из февральских вечеров, возвращаясь домой, он поскользнулся на узком, покатом, обледеневшем тротуаре у дома № 4 по Брюсовскому переулку и, падая, выбил оконное стекло полуподвального этажа. При падении он старался защитить лицо и очень сильно порезал запястье левой руки. Рана была большая и глубокая, были повреждены связки. Пришлось лечь в Шереметевскую больницу (ныне институт им. Склифосовского). После лечения в Шереметевской больнице Сергея перевели в Кремлевскую больницу, где он пролежал до конца марта.

Шрам от этого пореза остался у Сергея до конца его жизни, и он забинтовывал руку черной шелковой лентой.

После смерти Сергея в своих воспоминаниях о нем Мариенгоф этот несчастный случайный порез объяснял как попытку Сергея к самоубийству.

Начиная с апреля 1924 года Сергей все время в разъездах. То он в Ленинграде, то в Константинове. Осенью же он уехал на Кавказ и прожил там всю зиму. Лишь в конце февраля он приезжал на один месяц в Москву и жил вместе с нами.

Жили мы мирно, и каждый из нас занимался своими делами. По утрам я готовила уроки, днем уходила в школу, а вечером читала или Галя помогала мне решать задачи, так как вначале я отставала от класса по арифметике.

Бывали случаи, когда Галя приносила домой из редакции «Бедноты», где она работала, много писем, присланных читателями. «Беднота» была ежедневной крестьянской газетой, которая доступным языком доводила до широких крестьянских масс новые политические вопросы, касающиеся перестройки деревни, широко освещала все нужды и запросы крестьян, завоевала к себе большое уважение и доверие и получала от читателей массу писем. Писем и отделов, в которые они направлялись, было так много, что разместить их на столе было трудно, и Галя обычно располагалась с ними на полу, а я с удовольствием помогала ей читать их. Прочитав письмо, я коротко рассказывала Гале содержание его, и она красным или синим карандашом в верхнем углу

письма ставила номер отдела, в который оно направлялось.

Зимой 1924 года из Ленинграда к Гале приезжала в гости ее тетя — Нина Поликарповна, у которой Галя воспитывалась. Нина Поликарповна привезла в подарок Гале деревянную коробку, которую в детстве Галя очень любила и называла ее «Мечта». Коробка эта была очень красивая, на верхней крышке и по бокам ее были выжжены и раскрашены зимние деревенские пейзажи и мчащаяся лихая тройка, а внутри она была обтянута красным атласом. Кроме этой коробки, Нина Поликарповна подарила Гале старинную тюлевую штору и маленький пузатый самовар.

Все эти вещи нам очень пригодились. Коробку приспособили под косметические принадлежности, а когда в конце февраля 1925 года Сергей приехал с Кавказа, из этого самовара мы пили чай, так как у нас не было большого чайника.

Теперь стала широко известна фотография, на которой Сергей сфотографирован с мамой за этим самоваром. Снимок был сделан в Брюсовском переулке в марте 1925 года. Мама тогда приезжала навестить нас, и Сергей читал ей поэму «Анна Снегина», над которой он в то время работал. Она, как всегда, слушала чтение Сергея с затаенным дыханием, не перебивая его, ни о чем не расспрашивая. Неграмотная, она отлично понимала стихи сына и многие из них запоминала во время его чтения.

В эту зиму постепенно заменялась и Галина мебель. Были куплены шесть венских стульев, обеденный стол, платяной шкаф, приобреталась новая посуда.

Живя в одиночестве, Галя мало беспокоилась о домашнем уюте, и обстановка у нее была крайне бедна. Вместо обеденного — стоял кухонный столик, письменный — заменял ломберный, на котором была бронзовая, на черной мраморной подставке настольная лампа. Стояла еще покрытая плюшем василькового цвета тахта с провалившимися пружинами, за что получила прозвище «одер», шведская железная кровать с сеткой, две тумбочки, два старых венских стула и табуретка. Но чистота всегда была идеальная.

Теперь хозяйство наше постепенно налаживалось, но, для того чтобы вести его по-настоящему, ни у кого не было ни времени, ни умения. Пришлось взять прислугу Ольгу Ивановну.

Ольга Ивановна в прошлом много лет проработала у издателя И. Д. Сытина. Была она строгая, постарше своих хозяек и, видя их неопытность и нерасчетливость, по-матерински отчитывала их. В шутку Катя с Галей прозвали ее «мамкой».

Гале очень нравилась эта семейная жизнь. Только теперь она поняла, что такое семья для человека, и поняла Сергея, у которого очень сильно было чувство кровного родства. Он любил нас с сестрой, любил своих детей, всюду возил с собой их фотографии. Его всегда тянуло к своей семье, к домашнему очагу, к теплу родного дома.

В декабре 1924 года Галя писала Сергею на Кавказ: «Что Вы писали насчет того, что если будете в Питере, то жить удобнее у Соколова, а не у Сашки? Это тот Соколов, который в «Стойле» бывал? Он или другой?

Впрочем, не это важно. Важно вот что: Вам нужно иметь свою квартиру. Это непременно. Только тогда Вам будет удобно, а Сашка, Соколов и т. д.— это Вас не может устроить. Вы сами это знаете, и я сейчас особенно поняла. Не с чужими и у чужих, а со своими Вам надо устроиться: уют и свой уют — великая вещь...»

Сергея всегда тяготила семейная неустроенность, отсутствие своего угла, которого он, в сущности, так и не имел до конца своей жизни. Зато много было рано свалившихся на него забот о близких ему людях.

С переездом в деревню отца Сергею пришлось взять на свое иждивение Катю, которая в это время училась в Москве, быть ее наставником. А ведь этому «наставнику» и самому-то было двадцать три — двадцать пять лет. Но он исключительно добросовестно о ней заботился.

Уехав в 1922 году за границу, почти в каждом письме к своим друзьям, оставшимся в Москве, он просит о том, чтобы ей помогли. Ровно через месяц после отъезда из России он просит Шнейдера * в письме из Висбадена найти Катю и помочь ей. 13 июля 1922 года он пишет Шнейдеру из Брюсселя: «К Вам у меня очень и очень большая просьба: с одними и теми же словами, как и в старых письмах, когда поедете, дайте, ради бога, денег моей сестре. Если нет у Вас, у отца Вашего или еще

* Илья Ильич Шнейдер — журналист и театральный работник. В то время был переводчиком у Дункан. Вместе с Дункан в 1922 году он должен был поехать в Америку, но его поездка не состоялась.

у кого-нибудь, то попросите Сашку и Мариенгофа, узнайте, сколько дают ей из магазина.

Это моя самая большая просьба. Потому что ей нужно учиться, а когда мы с Вами зальемся в Америку, то оттуда совсем будет невозможно помочь ей...»

В этом письме речь идет о книжной лавке художников слова, открытой осенью 1919 года группой имажинистов на кооперативных началах на Б. Никитской улице (ныне ул. Герцена), рядом с консерваторией, в доме № 15. В Москве в те годы группами поэтов и писателей на кооперативных началах было открыто несколько таких книжных магазинов, причем для рекламы часто поэты и писатели торговали книгами сами.

Осень и зима 1924 года. Сергей на Кавказе, очень много работает и в то же время он думает и беспокоится о нас. 12 декабря он пишет Гале: «...Я очень соскучился по Москве, но, как подумаю о холоде, прихожу в ужас. А здесь тепло, светло, но нерадостно, потому что я не знаю, что со всеми вами. Напишите, как, где живет Шура? Как Екатерина и что с домом?..»

В это время наши родители строили новый дом, а я приехала в Москву учиться, и Сергей беспокоился, что мне негде жить.

И так все время. Бесконечные заботы о нас с сестрой, о деньгах, которыми он должен был обеспечить всех близких. Почти в каждом письме к Гале давались указания, где можно и нужно получить для нас деньги, или высылались новые стихи с тем, чтобы их напечатать где-либо и получить за них для нас гонорар.

В том же 1924 году Сергей взял из деревни в Москву и нашего двоюродного брата Илью. Илья был сыном брата нашего отца. Ему было лет двадцать, родители у него умерли. Теперь Илья учился в рыбном техникуме, жил в общежитии, но больше всего находился у нас, был привязан к Сергею и стал, в сущности, членом нашей семьи. В общежитие он уходил ночевать, да и то только потому, что у нас в Брюсовском уже негде было лечь.

Словом, все мы являлись для Сергея обузой, и немалой. Но он безропотно нес этот крест. И если, случалось, срывался, то в таких случаях, как правило, роль громоотвода выполняла Катя.

Характер у Сергея был неровный, вспыльчивый. Но, вспылив, он тотчас же отходил — сердиться долго не мог.

Сергей был опрятным человеком, по утрам подолгу полоскался в ванной и очень часто мыл голову. Любил хорошо одеваться, и его нельзя было застать неряшливо одетым в любое время дня. Эту же черту любил и в других людях, особенно в окружающих его. Ему доставляло удовольствие смотреть на Катю, когда она была хорошо одета. Он любил ее, а Катя в те годы была недурна собой, стройная, и внешностью ее Сергей был доволен.

У нас никогда не было лишних похвал, таких слов, как «милочка», «душенька», а слово «голубушка» чаще произносилось в минуты раздражения. Но вот подойдет Сергей и мимоходом, молча положит свою руку к тебе на шею или на плечо и от прикосновения этой руки становилось так тепло, как не было нам тепло ни от каких ласковых слов.

Он был человеком очень общительным, любил людей, и около Сергея их всегда было много. Любил поделиться с близкими людьми своими мыслями, своими новыми стихами, подчас и теми, над которыми еще работал. Я очень хорошо помню приезд Сергея с Кавказа в Москву в конце февраля 1925 года. С его приездом от нашей тихой жизни не осталось и следа. Редкий день теперь проходил у нас без посторонних людей. Сергей прожил в Москве всего лишь один месяц, но за этот месяц у нас перебывало столько людей, сколько к другому не придет и за год.

В основном это были поэты и писатели, с которыми Сергей дружил в последние годы: Петр Орешин, Всеволод Иванов, Борис Пильняк, Василий Наседкин, Иван Касаткин, Владимир Кириллов и многие другие писатели, издатели, художники, артисты.

Вокруг Сергея всегда царило оживление. Все жили с ним одними интересами. Если это поход в театр или кино, то идут все, кто в этот момент присутствует, если это вечеринка, то все веселятся, если это деловой разговор, то в нем принимают участие все кто есть.

Вечерами у нас было шумно и весело. Читали стихи, рассуждали о литературе, пели песни, чаще всего русские народные, которые Сергей очень любил.

Обычно запевалами были мы с Катей. Почти все песни, которые мы пели, были грустные, протяжные. Сергей любил песню «Прощай, жизнь, радость моя...»

и часто заставлял нас с сестрой петь ее. Но еще чаще мы пели песню:

Это дело было
Летнею порою.
В саду канарейка
Громко распевала.
Голосок унывный
В лесу раздается.
Это, верно, Саша
С милым расстается.
Выходила Саша
За новы ворота,
Простояла Саша
До самой полночи.
Говорила Саша
Потайные речи:
— Куда, милый, едешь,
Куда уезжаешь.
На кого ж ты, милый,
Сашу покидаешь.
— На людей, на бога.
Вас на свете много.
Не стой предо мною,
Не обливай слезою,
А то люди скажут,
Что я жил с тобою.
— Пускай они скажут,
Я их не боюся.
Кого я любила,
С тем я расстаюся.

Как и в деревне, пели мы «Ночь» Кольцова и старинный забытый романс, который всем слушающим очень нравился, и о нем я упоминала ранее:

Нам пора расстаться,
Мы различны оба.
Твой удел — смеяться,
Мой — страдать до гроба.

Вы не понимали
Ни моей печали,
Ни моей печали,
Ни моих страданий.

Прочь, прочь. Ни слова.
Не буди, что было.
В жизни я другого,
Не тебя любила.

О друг мой милый,
Он не дышит боле.
Он лежит убитый
На кровавом поле.

Свой край спасая,
Не боясь разлуки,
Он стоял, рыдая,
Молча жал мне руки.

Вы не понимали
Ни моей печали,
Ни моей печали,
Ни моих страданий.

Знатоки и любители русской народной песни находились и среди наших гостей.

Сергей был очень подвижным человеком, был горазд на всевозможные выдумки, умел и любил шутить. Дома он часто шутил над Катей и особенно надо мной. Ему доставляло большое удовольствие смутить меня чем-нибудь, например: у меня были непослушные волосы. Катя с Галей забирали мои вихры на затылок и плели из них косичку, которая вплеталась в общую косу, подбирающую все остальные волосы. При такой прическе уши у меня всегда были открыты. И вот как-то утром за завтраком Сергей, глядя на меня, вдруг по-озорному улыбнулся и проговорил: «Ну-ка, поверни немного голову, посмотри в окно». Видя его лукавую улыбку, я сразу поняла, что он что-то заметил у меня, над чем можно посмеяться, и неохотно повернула голову в сторону окна.

А Сергей вдруг раскатисто захохотал.

— Да у тебя же разные уши,— еле проговорил он, громко смеясь.

Я не особенно поверила ему. Галя с Катей, ежедневно заплетая мне косы, никогда не замечали, что уши мои разные, но цели своей Сергей все-таки достиг, за столом все хохотали, и я была очень смущена.

После завтрака, посмотрев в зеркало, я убедилась, что Сергей прав, уши у меня действительно немного разные по форме, но такую разницу мог заметить только Сергей.

Очень трудно нам было жить в одной комнате. Особенное неудобство доставляла я. Мне нужно было готовить уроки, а заниматься негде, да и вечерами ежедневное мое присутствие при гостях было неуместно.

В одной квартире с нами жила молодая женщина-врач — Надежда Дмитриевна Юдина. Она была одинокая, вечерами редко уходила из дому и часто звала меня к себе.

Вначале я готовила у нее уроки, а затем она занималась со мной раскрашиванием картинок. Рисовать мы

с ней обе не умели и обычно сводили контуры с какой-либо картинки из книги или журнала и затем раскрашивали красками. Но раскрашивали мы довольно неплохо.

Из нашей комнаты в комнату соседей была дверь. Эта дверь была завешена огромным шелковым шарфом. Однажды, придя из школы, я увидела, что к шарфу, висевшему на двери, приколоты все мои рисунки и длинный лист бумаги с надписью синим карандашом: «Выставка А. Есениной», а ниже на другом листе красным карандашом извещалось: «Все продано».

Оказалось, что, пока я была в школе, Сергей нашел все мои рисунки и устроил эту выставку. Я была очень удивлена и смущена от сознания, что обманула его: ведь он, вероятно, счел эти картинки не переведенными, а рисованными мною. Я хотела разъяснить это Сергею, но он ходил по комнате такой довольный своей выдумкой, что мне жаль было разочаровывать его.

Надпись к этой «выставке» сохранилась.

Но все шутки, смех и веселье бывали в дни и часы отдыха. Во время работы Сергея мы, чтобы не мешать ему, уходили из комнаты. Часами он сидел за ломберным столиком или за обеденным столом. Устав сидеть, он медленно расхаживал по комнате из конца в конец, положив руки в карманы брюк или положив одну из них на шею. На столе он не любил беспорядка и лишних вещей, и если это был обеденный, то на чистой скатерти лежали только лишь бумага, его рукопись, карандаш и пепельница. Сам он сосредоточен, и, если войдешь к нему в комнату,— он смотрит на тебя, а мысли его где-то далеко, он весь напряжен, губы сомкнуты, и на щеках ходят желваки.

Очень много Сергей читал. Он следил за всеми литературными новинками. На ломберном столе, на тумбочке у нас всегда лежали последние номера журналов «Красная новь», «Красная нива», «Прожектор», альманах «Круг».

Иногда к нему приходили начинающие поэты, и он подолгу с ними разговаривал.

Были у нас и трудные дни. Они бывали, когда Сергей встречался со своими «друзьями». Катя и Галя всячески старались оградить Сергея от таких «друзей» и в дом их не пускали, но они разыскивали Сергея в издательствах, в редакциях, и, как правило, такие встречи оканчивались выпивками.

Вина Сергей выпивал мало, он очень быстро хмелел, а захмелев, становился раздражительным, неспокойным. Один же Сергей никогда не пил. Лишь изредка, по какому-либо случаю в доме у нас появлялась бутылка кахетинского или цинандали, которую распивали все вместе.

Оберегая Сергея от встреч с такими «друзьями», Катя и Галя старались по возможности одного Сергея не выпускать из дома. Когда же почему-либо они не могли пойти с ним — ходила я. Однажды днем, возвращаясь с Сергеем домой из издательства «Красная новь», находящегося в Кривоколенном переулке, мы шли мимо Иверских ворот и увидели в руках молодого вихрастого парня маленького рыжего щенка. То ли от холода, то ли от страха щенок дрожал всем своим маленьким телом, озираясь, поворачивал голову, слушая непривычные для него выкрики рядом стоящих с ним китайцев, ломаным русским языком рекламирующих свои товары: «А вот, не бьется, не ломается, вечно кувыркается» — или оглашающих проезд визгом надуваемых резиновых шариков: «Уйди, уйди, уйди».

Перепуганный щенок с удовольствием убежал бы отсюда, но сильные руки хозяина крепко держали его, поворачивая из стороны в сторону. Предлагая каждому проходящему: «Не надо ли собачку? Купите породистую собачку».

— С каких же это пор, парень, дворняжки стали считаться породистыми? — спрашивает проходящий мимо рабочий.

— Это дворняжка? Да у какой же дворняжки ты встречал такие отвислые уши? Понимал бы ты, так не говорил бы чего не следует.— И, протягивая Сергею щенка, проговорил: — Купи, товарищ, щеночка. Ей-богу, породистый. Смотри, какие у него уши. Разве у дворняжек такие бывают? Недорого продам, всего за пятерку. Деньги нужны, и стоять мне некогда.

Сергей остановился. В его глазах показалась какая-то грусть. Он осторожно погладил голову и спину дрожащего щенка. Почувствовав нежное прикосновение теплой руки, щенок облизнулся, заскулил и стал тыкаться носом в рукав Сергеева пальто.

Выражение лица у Сергея моментально переменилось. Вместо грусти в его глазах и на всем лице сияла озорная улыбка.

— Давай возьмем щенка,— обратился он ко мне.

— А где же его мы будем держать-то? Ведь здесь нет ни двора, ни сарая.

— Вот дурная. Да ведь породистых собак держат в комнатах. Ну и у нас он будет жить в комнате.

— А вместе с этой собакой нас с тобой из комнаты не погонят? — робко предупреждала я о возможном недовольстве нашей покупкой со стороны Гали и Кати.

Снова пробежала по лицу его тень грусти, но тут же он снова улыбнулся и стал успокаивать меня:

— Ну, а если погонят, так мы его кому-нибудь подарим. Это будет хороший подарок. Возьмем.

И, уплатив пять рублей, Сергей бережно взял из рук парня дрожащего щенка, расстегнул свою шубу и, прижав его к своей груди, запахнул полы. Так он и нес его до самого дома.

Войдя в комнату, осторожно опуская щенка на пол и по-озорному улыбаясь, он говорил: «Идем мимо Иверских. Видим: хороший щенок, и недорого. Хорошую собаку купить теперь не так просто, а эта — настоящая, породистая. Смотрите, какие у нее уши».

Он был немножко неспокоен, понимая, что, живя вчетвером в одной комнате, трудно держать собаку, и, чтобы оправдать нашу покупку, торопился доказать ее породистое происхождение. Но сказать, какой она породы, он так и не мог. К его удивлению, щенка встретили дома хорошо. Все понимали, что принес его Сергей не потому, что он породистый, а просто ему было жаль щенка.

Вот так и появился у нас рыжий щенок, которому Сергей даже имя свое дал, и звали мы его Сережка.

Сергей был очень доволен своей покупкой и показывал его всем, кто к нам заходил, расхваливая пса на все лады.

Но прошло несколько дней, и Сережка стал вести себя как-то странно. Он скулил и лапами теребил свои длинные, отвислые уши. Когда же стали выяснять причину беспокойства пса, то выяснилась сразу и его порода: он был чистокровной дворняжкой, а уши у него отвисли потому, что были пришиты. Долго мы смеялись над этим жестоким, но остроумным жульничеством, и Сергей хохотал до слез.

Рос Сережка бестолковым, но удивительно игривым. Мы все его очень полюбили, и Сергей, иногда оторвав-

шись от работы, тоже любил поиграть с ним. К лету он уже был большим псом, но научить его ничему не удалось. Люди для него и свои и чужие были одинаковы, и не было смысла держать в комнате такую собаку.

Тогда Галя отправила его к своим знакомым в Тверскую губернию. Но и там его не смогли продержать долго. Он был очень озорной и дурашливый, играя, однажды откусил у коровы хвост, за что был изгнан из Тверской губернии.

Что же с ним делать? Прогнать? Пристрелить? На это никто не мог решиться. Он принадлежал Сергею, а Сергея в это время уже не было в живых. И решено было переселить его в Константиново.

Приняв собаку, отец и мать назвали его Дружок. Много неприятностей он доставлял им своей необузданной резвостью. С его появлением трудно стало загонять овец во двор, врассыпную разбегались куры. На цепь его посадить было невозможно, он не привык к ней, отказывался есть и выл дни и ночи не переставая. Так и бегал он свободно по селу, гоняясь за овцами, курами, свиньями, вызывая их поиграть с ним.

Но перепуганные животные мчались от него во весь дух к себе во двор, а рассерженная хозяйка бежала со скандалом к нам в дом. Отец с матерью терпеливо выслушивали справедливые жалобы, сочувствовали, но сделать ничего не могли. Собака была Сергея, и они полюбили ее за ее игривый, беззлобный характер.

Так и жил Сережка-Дружок у них года два. Однажды, бегая по селу, он захотел поиграть с человеком, который нес заряженное ружье. Человек не понял его намерений и пристрелил его.

А. Есенина

Конец февраля.

Захожу в Брюсовский к Г. А. Бениславской. В комнате передвигают что-то. Здесь же сестры Есенина — Катя и Шура. На угловом столике последний портрет Есенина (с П. И. Чагиным) и свежая, развернутая телеграмма.

— Завтра приедет Сергей,— говорит Катя в ответ на мой любопытный взор, обращенный на телеграмму.

Эта весть обрадовала и напугала меня. С той поры, как я приобрел тонкую тетрадочную книжку стихов

«Исповедь хулигана», я полюбил Есенина как величайшего лирика наших дней. Новая встреча с ним, после годичной разлуки, мне казалась счастьем. Но почти этого же я испугался. Мне тогда часто думалось, что рядом с Есениным все поэты «крестьянствующего» толка, значит, и я, не имели никакого права на литературное существование.

На другой день Катя, Галя и я отправляемся на Курский вокзал встречать Есенина. Подходит поезд. Вдруг, точно откуда-то разбежавшись, на ходу поезда, в летнем пальто, легко спрыгивает Есенин.

Через полминуты из того же вагона, откуда спрыгнул Есенин, шел его бакинский товарищ (брат П. И. Чагина) с чемоданами в руках. Выходим на вокзальную площадь. Вечереет, падает теплый, голубоватый снежок.

После утреннего чая, на следующий день, Есенин достает из чемоданов подарки, рукописи, портреты.

— А вот мои дети...— показывает он мне фотографическую карточку.

На фотографии девочка и мальчик. Он сам смотрит на них и словно чему-то удивляется. Ему двадцать девять лет, он сам еще походит на юношу. Выглядел он очень хорошо, хвалился, что Кавказ исправил его.

Из Баку он привез целый ворох новых произведений: поэму «Анна Снегина», «Мой путь», «Персидские мотивы» и несколько других стихотворений.

«Анну Снегину» набело он переписывал уже здесь, в Москве, целыми часами просиживая над ее окончательной отделкой. В такие часы он оставался один, и телефон выключался.

Друзьям он охотнее всего читал тогда эту поэму. Поэма готова. Я предложил ему прочитать ее в «Перевале». Есенин согласился. В 1925 г. это было его первое публичное выступление в Москве.

Поместительная комната Союза писателей на третьем этаже была набита битком. Кроме перевальцев, «на Есенина» зашло много «мапповцев», «кузнецов» и других. Но случилось так, что прекрасная поэма не имела большого успеха. Кто-то предложил обсудить.

— Нет, товарищи, у меня нет времени слушать ваше обсуждение. Вам меня учить нечему, все вы учитесь у меня,— сказал Есенин.

Потом читал «Персидские мотивы». Эти стихи произвели огромное впечатление. Есенин снова владел всей аудиторией.

На три дня из деревни к Есенину приехала мать. Есенин весел, все время шутит — за столом сестры, мать. Семья, как хорошо жить семьей!

Круг знакомых, в котором Есенин вращался в то время, небольшой, преимущественно писательский.

На вечеринке, устроенной в день рождения Гали, в числе гостей были Софья Андреевна Сухотина (урожденная Толстая), Б. Пильняк и ленинградская поэтесса М. Шкапская.

Наибольшее внимание за этот вечер Есенин уделял Софье Андреевне.

Из Баку Есенин привез несколько новых песенок, которые он как новинки охотно исполнял перед гостями. Через некоторое время звучание этих песенок появилось в творчестве Есенина.

В первой половине марта Есенин заговорил об издании своего альманаха. Вместе составляли план. Часами придумывали название и наконец придумали:

— Новая пашня?

— Суриковщина.

— Загорье?

— Почему не Заречье?

— Стремнины?

— Не годится.

— Поляне.

— По-ля-не... Это, кажется, хорошо. Только... вспоминаются древляне, кривичи...

Остановились на «Полянах». На другой день о плане сообщили Вс. Иванову. Поговорили еще. Редакция: С. Есенин, Вс. Иванов, Ив. Касаткин и я — с дополнительными обязанностями секретаря.

Альманах выходит два-три раза в год с отделами прозы, стихов и критики. Сотрудники — избранные коммунисты-одиночки и «попутчики».

Прозаиков собирали долго. По замыслу Есенина, альманах должен стать вехой современной литературы,

с некоторой ориентацией на деревню. Поэтов наметили скорей: П. Орешин, П. Радимов, В. Казин, В. Александровский и крестьянское крыло «Перевала».

Пошли в Госиздат к Накорякову. «Основной докладчик» — Есенин. Я знал, что Есенин говорить не умеет, поэтому дорогой и даже в дверях Госиздата напомнил ему главные пункты доклада.

Но... ничего не помогло. Вместо доклада вышла путаница. Накоряков деликатно, как будто понимая все сказанное, задал Есенину несколько вопросов. Но с альманахом ничего не вышло. Есенин через две недели опять уехал на Кавказ, поручив Вс. Иванову и мне хлопотать об издании.

На троицын день (кажется, 7 июня) Есенин поехал к себе на родину, в село Константиново.

Вернувшись из Константинова, Есенин ушел от Г. А. Бениславской. И на время перевез ко мне в комнату свои чемоданы. Недели через две Есенин решил переехать к Софье Андреевне и как-то нерешительно, почти нехотя, стал он перебираться к ней, но чемоданы его и книги долго еще стояли у меня в комнате.

Вскоре Есенин уехал на Кавказ вместе с С. А. Толстой, но в этот раз он вернулся с Кавказа скорее, чем всегда.

Перед отъездом на Кавказ Есенин ездил в свое Константиново. Из деревни, прямо с вокзала, он заехал в «Красную новь». Мне и еще кому-то из «перевальцев», случайно бывшим в редакции, он прочитал свои новые стихи, написанные на родине:

Каждый труд благослови, удача!
Рыбаку — чтоб с рыбой невода,
Пахарю — чтоб плуг его и кляча
Доставали хлеба на года.

Это стихотворение он написал на Оке, два дня пропадая с рыбацкой артелью на рыбной ловле.

Квартира С. А. Толстой в Померанцевом переулке, со старинной, громоздкой мебелью и обилием портретов родичей, выглядела мрачной и скорее музейной.

Комнаты, занимаемые Софьей Андреевной, были с северной стороны. Там никогда не было солнца. Вечером мрачность как будто исчезала, портреты уходили в тень от абажура, но днем в этой квартире не хотелось приземляться надолго. Есенин ничего не говорил, но работать стал больше ночами. Новое местожительство, видимо, начинало тяготить Есенина.

Примерно в первой половине сентября он попросил Галю купить ему квартиру. Квартира была найдена, и задаток оставлен. Но через несколько дней задаток Софья Андреевна взяла обратно. Повлиять на Есенина в некоторых случаях было очень легко.

Приблизительно в то же время такая же история получилась с санаторием Мосздрава.

Нервы Есенина были расшатаны окончательно. Нужно было лечиться и отдыхать. Несколько дней Галя и Екатерина хлопотали в Мосздраве о путевке. Наконец путевка получена. Санаторий осмотрен; все хорошо, но в последний момент Есенин ехать не захотел. Софья Андреевна пожелала ехать вместе с Есениным, но для нее не было путевки. Есенин воспользовался этой возможностью не ехать в санаторий.

Как-то в конце лета я встретился в «Красной нови» с одним из своих знакомых, и по давней привычке запели народные песни. Во время пения в редакцию вошел Есенин. Пели с полчаса, выбирая наиболее интересные и многим совсем неизвестные старинные песни. Имея своим слушателем такого любителя песен, как Есенин, мы старались вовсю.

Есенин слушал с большим вниманием. Последняя песня «День тоскую, ночь горюю» ему понравилась больше первых, а слова

В небе чисто, в небе ясно,
В небе звездочки горят.
Ты гори, мое колечко,
Гори, мое золото...

вызвали улыбку восхищения.

Позже Есенин читал:

Гори, звезда моя, не падай,
Роняй холодные лучи.

Но настроение этого и другого стихотворения («Листья падают, листья падают») мне показалось странным. Я спросил:

— С чего ты запел о смерти?

Есенин ответил, что поэту необходимо чаще думать о смерти и что, только памятуя о ней, поэт может особенно остро чувствовать жизнь.

Жизнь Есенина была строго распределена. Неделя делилась на две половины. Первая половина недели иногда затягивалась на больший срок — это пора работы. Вторая половина — отдых и встречи. Вот эти-то встречи часто и выбивали из колеи Есенина.

Первую половину недели до обеда, то есть до пяти часов вечера, Есенин обыкновенно писал или читал. Писал он много. Однажды в один день он написал восемь стихотворений, правда, маленьких. «Сказка о пастушонке Пете» написана им за одну ночь.

В рабочие дни Есенин без приглашения никого не принимал.

Последние месяцы Есенин был необычайно прост. Говорил немного и как-то обрывками фраз. Подолгу бывал задумчив.

Случайно сказанное кем-нибудь из родных неискреннее слово его раздражало.

Помню, на какой-то вопрос Есенина один молодой поэт затараторил так, как будто читал передовицу. Есенин остановил его и предложил говорить проще:

— Ты что, не русский, что ли, оскабливаешь каждое слово?

Сказано это было так, что поэт (очень самолюбивый) только «отряхнулся», сказал себе под нос «и правда» и заговорил другим языком.

Октябрьский вечер. На столе журналы, бумаги. После обеда Есенин просматривает вырезки. Напротив с «Вечеркой» в руках я, Софья Андреевна сидит на диване. Светло, спокойно, тихо. Именно тихо. Есенин в такие вечера был тих.

Через бюро вырезок Есенин знал все, что писалось о нем в газетах.

О книге стихов «Персидские мотивы», вышедшей в мае в издательстве «Современная Россия», в провинциальных газетах печатались такие рецензии, что без смеха их нельзя было читать.

Заслуживающей внимание была одна вырезка со статьей Осинского из «Правды». Но и она была обзорной: о Есенине лишь упоминалось.

О поэме «Анна Снегина», насколько помнится, не было за полгода ни одного отзыва. Она не избежала судьбы всех больших поэм Есенина.

Есенин с горькой, едва заметной улыбкой отодвигал от себя пачку бумажек с синими наклейками.

В начале осени как-то вечером я жаловался на самого себя. Есенин лежал на диване, а я сетовал на трудности, на неуверенность. Есенин, словно раздумывая о чем-то, спокойно заметил:

— Стели себя, и все пойдет хорошо. Стели чаще и глубже.

После одной читки стихов Есениным я искренне удивился его плодовитости. Довольный, Есенин улыбался.

— Я сам удивляюсь,— молвил он,— прет черт знает как. Не могу остановиться. Как заведенная машина.

Осенью Есенин закончил «Черного человека» и сдавал последние стихи в Госиздат для собрания сочинений. Еще раньше, отбирая материал для первого тома, он заметил, что у него мало стихов о зиме.

— Теперь я буду писать о зиме,— сказал он.— Весна, лето, осень как фон у меня есть, не хватает только зимы.

Появились стихи: «Эх вы, сани! А кони, кони!..», «Снежная замять дробится и колется...», «Слышишь — мчатся сани...», «Снежная замять крутит бойко...», «Синий туман. Снеговое раздолье...», «Свищет ветер, серебряный ветер...», «Мелколесье. Степь и дали...», «Голубая кофта. Синие глаза...» и три стихотворения, не увидевшие света, написанные им в клинике.

Над «Черным человеком» Есенин работал два года. Эта жуткая лирическая исповедь требовала от него колоссального напряжения.

То, что вошло в собрание сочинений,— это один из вариантов. Я слышал от него другой вариант, кажется, сильнее изданного. К сожалению, как и последние три зимних стихотворения, этот вариант «Черного человека», по-видимому, записан не был. И вообще, сочиняя стихи, Есенин чаще заносил на бумагу уже совсем готовое, вполне сложившееся, иногда под давлением необходимости сдавать в журналы.

Есенин обладал огромной памятью. Он мог читать наизусть целые рассказы какого-нибудь понравившегося ему писателя, хотя за последний год память немного сдала, случалось, что стихи забывались.

Не помню обстановки, были вдвоем. Есенин заговорил о творчестве.

Теперь трудно даже приблизительно восстановить его отдельные слова или выражения. Лишь осталась в памяти его мысль.

Есенин говорил о том, что для поэта живой разговорный язык, может быть, даже важнее, чем для писателя-прозаика. Поэт должен чутко прислушиваться к случайным разговорам крестьян, рабочих и интеллигенции, особенно к разговорам, эмоционально окрашенным. Тут поэту открывается целый клад. Новая интонация или новое интересное выражение к писателю идут из живого разговорного языка.

Есенин хвалился, что этим языком он хорошо научился пользоваться.

Осенью 1923 года Есенин также говорил, что его дружба с «логовом жутким» ему необходима для творчества. Возможно, это не полно, но ясно, что без этого знакомства стихов о «Москве кабацкой» не было бы.

В конце осени Есенин опять думал о своем журнале. С карандашами в руках, втроем, вместе с Софьей Андреевной, мы несколько вечеров высчитывали стоимость бумаги, типографских работ и других расходов.

Друзей действительных и друзей в кавычках у Есе-

нина было огромное число. Редкий из писателей и поэтов с ним не был знаком.

Как правило, Есенин со всеми прост и деликатен. Если кто-нибудь говорил ему плохое о знакомом, он, слегка хмельной, считал своим долгом заступиться за оговоренного. А когда ему доказывали, что N. все-таки плох, Есенин терялся и делал вид, что никак не может поверить этому.

Похоже было — на людей Есенин смотрел через какие-то свои, им самим сделанные розоватые очки. Люди у него все хорошие, порядочные. Но чувствовалось, что где-то глубоко у него затаено другое, которому Есенин сознательно не давал ходу.

Пожалуй, наибольшее дружеское расположение Есенин питал к Петру Орешину. Их связывало многое и в прошлом и в настоящем.

Очень хорошо относился к Ив. Касаткину, уважал А. Воронского.

Был близок с Вс. Ивановым, Б. Пильняком, И. В. Вардиным, Л. Леоновым, Ив. Вольновым, М. Герасимовым, П. Радимовым, В. Александровским, Вл. Кирилловым и с некоторыми другими.

Одним из лучших современных писателей Есенин считал Вс. Иванова.

После долгой размолвки, примерно за месяц до клиники, Есенин первым помирился с Мариенгофом, зайдя к нему на квартиру.

Дня через два после примирения Есенин сказал мне:

— Я помирился с Мариенгофом. Был у него... Он неплохой.

Последние два слова он произнес так, как будто прощал что-то.

Очень ценил Н. Клюева, которого всегда называл своим учителем.

Из классиков своим любимым писателем называл Гоголя.

Толстого как моралиста не любил, но от некоторых его художественных произведений приходил в восторг.

В. Наседкин

Рапповцы считали себя вправе распоряжаться не только мыслями Есенина, но и чувствами его,— он смеялся над ними, и ему была приятна мысль вести их за собой магией стиха:

— А я их поймал!

— В чем?

— Это они — хулиганы и бандиты в душе, а не я. Оттого-то и стихи мои им нравятся.

— Но ведь ты хулиганишь?

— Как раз ровно настолько, чтобы они считали, что я пишу про себя, а не про них. Они думают, что смогут меня учить и мной руководить, а сами-то с собой справятся, как ты думаешь? Я спрашиваю тебя об этом с тревогой, так как боюсь, что они совесть сожгут; мне ее жалко: она и моя!

Шутит он со мной, что ли? Пожалуй что и нет!

— Мне нравятся люди дела, а не только слова. Это — самый опасный род мещан. Я советовал бы тебе отказаться. Ведь поприобучить человека к пакостям легко.

— Да я ничего...

Он пристально взглянул на меня:

— Ну, раз ты ничего, то и я — ничего.

— Знаешь, я записывал слова; складывал в письменный стол, брал их оттуда; сооружал сравнения. Ну, а затем плюнул. Зачем подчиняться случайности?

Он посмотрел в пространство.

— А ты знаешь, как называется гладкая лента воды в море или река, освещенная солнцем?

— Нет.

— Лоса. «Лоса», созвездие Большой Медведицы, которая в воде — полосе воды — отражается: «Лоса в лосах!» — И добавил поговорку: — Хотелось лося, да не удалося. Правда, красиво?

Я не нашел в этом ничего красивого, но смолчал. Подумав, он сказал не с грустью, а с задором:

— А я никогда не был на море.

Потом продолжал:

— Есть очень красивое слово — водомоина. А есть еще красивей — водоросина, воде рост! Я — бунтовщик и крамольник, это-то пора бы понять!

Был такой поэт, скажем, Дмитрий Псарев, и был, скажем, хирург Наум Иванович М.

Поэт сутуловат, плечи большие, длинные ступни, волнистые волосы, ему около тридцати, но на вид мож-

но дать и сорок. Холодные темные глаза под тонкими бровями, словно случайно попавшими на это грубое лицо.

— Холоден, резок, в поэзии несчастлив, но женщины его любят, а ему бы нужна только слава!

— Жалко тебе его, Сережа?

— Жалко.

— Стихи его любишь?

— Стихи-то средние. А просто жалко — из соседней губернии он. Жалость необъяснима.

А поэт болен. Есенин томится, как бы помочь товарищу. Решает, что надо идти к Воронскому, уговорить, чтобы тот вмешался и именно этот хирург М. сделал бы нужную поэту операцию. Пошел к хирургу один — «посоветоваться»,— горло, оно у него действительно больное. Стал пробовать читать стихи и зачаровал. Тот сделал операцию Псареву сам: он спас человека.

Есенин спросил меня тогда:

— Можно ли стихом спасти человека?

Пьесу «Бронепоезд» я написал в своей собственной трехкомнатной квартире в полуподвале дома на Тверском бульваре. Квартира была сумрачная и пасмурная. Я оклеил ее очень дорогими моющимися обоями, потратив на это все деньги, спал на полу, а рукописи писал на фанерке, которую держал на коленях. Когда Есенин впервые пришел ко мне в эту квартиру и увидел меня на полу перед печкой, он сказал:

— Когда узнал, что ты переехал на собственную квартиру, я испугался. Писатель не должен иметь квартиры. Удобнее всего писать в номере гостиницы. А раз ты спишь на полу, то ты, значит, настоящий писатель.

Поэт должен жить необыкновенно.

Ничего не было в квартире. Я смущался. А он пришел в восторг и сел на полу, перед печью:

— Боже, как хорошо! Мотя, беги за Костей в Дом Герцена.

Он лежал на спине, читал стихи.

Есенин ищет идеала в писателях. Он — рассудителен, развит и понимает, насколько далеко до идеала.

— Да, есть благородные помыслы, даже душевные движения, но этим все и кончается. А нужен подвиг! Подвиг!

Вс. Иванов

В начале двадцатых годов в моем родном городе Твери было создано Литературно-художественное общество имени И. С. Никитина. Председателем этого общества был избран мой друг — местный поэт Матвей Дудоров, племянник Спиридона Дрожжина.

Это было в 1924 году, вскоре после смерти самобытного поэта Александра Ширяевца, и наше Никитинское общество решило отметить это горестное событие большим литературным вечером. Мне, как члену правления общества, лично знавшему многих московских поэтов, было поручено пригласить на наш вечер тех столичных писателей, кто был связан узами дружбы с Александром Ширяевцем.

Пользуясь своим знакомством с Есениным, я уговорил его приехать на наш концерт. Есенин не мог не откликнуться: Ширяевец был его большим другом, его памяти Сергей Александрович посвятил прекрасные стихи:

Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать...

Есенин сдержал обещание и в назначенный для концерта день — 9 июня 1924 года — приехал, захватив с собой на концерт Петра Орешина, Сергея Клычкова и Николая Власова-Окского.

Они приехали около трех часов дня.

Не торопясь пообедали у меня. Я жил тогда на улице Урицкого, на втором этаже дома № 17. Узнав, что у меня есть маленький сын, Сергей попросил жену показать его. Она провела Есенина в спальню, где в кроватке спал двухлетний Игорь. Поэт долго смотрел на спящего ребенка, а потом осторожно поцеловал его в голову.

По свидетельству жены, в эту минуту на глазах Сергея появились слезы, и, обращаясь к ней, целуя у нее руку, поэт с тихой грустью сказал:

— А я своих детей растерял по свету.

Есенин, видимо, очень любил детей, но сложная судьба лишила его настоящего семейного счастья.

Несколько позже этот грустный мотив прозвучал в его стихах («Письмо от матери»):

Но ты детей
По свету растерял,
Свою жену
Легко отдал другому,
И без семьи, без дружбы,
Без причал
Ты с головой
Ушел в кабацкий омут.

Вечер должен был состояться в кинотеатре «Гигант» (ныне Дом офицеров). Кроме москвичей, на вечере предполагалось участие и молодых тверских поэтов — членов Никитинского общества. Распорядителем вечера был в афише объявлен Матвей Дудоров. Открылся вечер небольшим докладом Сергея Клычкова о самобытном творчестве рано умершего Ширяевца.

Первым на сцену вышел Есенин. Он был встречен громом аплодисментов и приветственными возгласами. Это ободрило всех нас, устроителей концерта, и, видимо, понравилось самому поэту. Восторженная встреча показала, что и наши горожане, особенно молодежь, знают и любят поэзию Есенина.

На этом вечере поэт был, как говорят, в ударе. Он читал изумительно, неподражаемо.

В первом отделении концерта Есенин читал стихи: «Мы теперь уходим понемногу...», «Русь советская», «Возвращение на родину», «Письмо матери», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Все живое особой метой...», «Дорогая, сядем рядом...».

Но публика не отпускала его со сцены: аплодисменты, шум, крики «бис».

Из-за кулис я видел многих знакомых, которые сидели в первых рядах. Эти люди в буквальном смысле слова плакали от восторга. Я видел возбужденное лицо старика профессора педагогического института М. П. Миклашевского, который, несмотря на почтенный возраст, видимо, не стеснялся своих восторженных слез.

Все первое отделение было отдано москвичам. Во втором выступали поэты-тверяки, а в конце вечера, как говорят, «под занавес», опять вышел Есенин. Он читал стихи «Мне грустно на тебя смотреть...», «Пускай ты выпита другим...» и многие другие.

Вечер непозволительно затягивался.

Молодежь в зрительном зале сошла со своих мест, приблизилась к рампе, чтобы лучше рассмотреть Есенина.

Вечер кончился очень поздно. По окончании, как это было раньше принято, поэты пошли, несмотря на очень поздний час, группой сфотографироваться к Е. Я. Элленгорну, в его художественную студию, в любое время открытую для служителей искусства.

А затем все участники концерта были приглашены ужинать в ресторан «Кукушка», который тогда находился в городском саду, на берегу Волги. Сейчас на месте того деревянного здания построен кинотеатр «Звезда».

Надо оговориться, что приезд Есенина в старую Тверь в 1924 году был не первым. За год до этого, в 1923 году, поэт, правда проездом, тоже был в нашей Твери. Точную дату первого приезда установить не удалось, но по некоторым данным можно предположить, что это было в августе.

После разрыва с Дункан Есенин в начале августа 1923 года вернулся из-за границы в Москву. У него не было тогда в Москве комнаты, и друзья посоветовали обратиться за содействием к Михаилу Ивановичу Калинину. Председатель ВЦИКа в это время отдыхал у себя в деревне, в селе Верхняя Троица Кашинского района.

Есенин уговорил американского писателя Альберта Риса Вильямса, друга покойного Джона Рида, поехать в Тверскую губернию к всесоюзному старосте.

Добравшись поездом до Твери, путешественники переночевали в гостинице. А на следующий день Есенин достал где-то тройку лошадей, и с бубенцами под дугой, по старому русскому обычаю, они помчались в Верхнюю Троицу.

Е. Шаров

«...Он пишет. Он не пишет. Он не может писать. Отстаньте. Что вы называете писать? Мазать чернилами по бумаге?.. Почем вы знаете, пишу я или нет? Я и сам это не всегда знаю». Эта дневниковая запись Александра Блока исчерпывающе применима к Есенину.

Взять хотя бы годы нашего знакомства — 1923, 1924, 1925 годы,— за это короткое время Есенин написал «Двадцать шесть» и «Песнь о великом походе», «Анну Снегину», «Ленин» и «Русь советскую».

Каждое из этих произведений хорошо по-своему, и каждое вошло в историю советской литературы, стало нашей классикой. Эти произведения следует давать читать школьникам. А сколько замечательных стихов, небольших и блестяще отграненных, сверкающих, как драгоценные камни, создано за эти три года!

Правда, во многих из этих стихотворений — и чем ближе к концу Есенина, тем явственнее — слышим мы и болезненный надрыв, и ту особенную тоску, которую правильно называют смертной,— тоску, являющуюся симптомом подкрадывающейся душевной болезни. После трагической гибели поэта и до настоящего времени много писали о глубоких противоречиях в творчестве Сергея Есенина. При личном общении с поэтом наличие этих противоречий замечалось, что называется, невооруженным глазом. Ведь эти противоречия не были выдуманы поэтом, а являлись глубоким и серьезным отражением в его душе действительных явлений жизни, они были источником движения и развития его поэзии, достигшей именно в последние годы его жизни необычайной яркости и изобилия. Но садоводам известны случаи, когда после обильного цветения и плодоношения фруктовое дерево высыхает на корню.

Такое время изобильного цветения и плодоношения пережил Есенин в последние годы своей жизни.

Но при этом вид у него был всегда такой, словно он бездельничает, и только по косвенным признакам могли мы судить о том, с какой серьезностью, если не сказать — с благоговением, относится он к своему непрерывающемуся, тихому и благородному труду.

Так, однажды у него вырвалось:

— Зашел я раз к товарищу,— и он назвал имя одного литератора,— и застаю его за работой. Сам с утра не умывался, в комнате беспорядок...

И Сергей поморщился. Я вопросительно взглянул на него, и он, видимо, отвечая на мой невысказанный вопрос, сказал:

— Нет, я так не могу. Я ведь пьяный никогда не пишу.

Жил Есенин в одном из переулков Тверской улицы, квартира его была высоко,— впрочем, в те годы проблема лифта для нас не существовала, и взбежать на девятый этаж ничего не стоило. Не очень часто, но я бывал у него дома. Жил он тесно,— кажется, к нему именно

тогда приехали из деревни сестры,— в комнате были какие-то друзья его, шел громкий разговор.

У Есениных тогда было молодо и весело. Та же озорная сила, которая звучала в стихах Сергея, сказывалась в том, как плясала его беленькая сестра Катя. Кто не помнит, как в «Войне и мире» вышла плясать «По улице мостовой» Наташа Ростова! Но в том, как плясала Катя Есенина, в ее взметывающихся белых руках, в бледном мерцании ее лица, в глазах, мечущих искры, прорывалось что-то иное: и воля, и сила, и ярость...

Младшая сестра Шура, если я не ошибаюсь, появилась в квартире у Сергея несколько позже. В ней, хотя она была совсем девочка, сказывалось то разумно-рассудительное начало, которое подмечено у Есенина: «И вот сестра разводит, раскрыв, как библию, пузатый «Капитал»...» — что-то совсем юное и уже очень новое, советское сказывалось в этой девочке. Такими были в те годы комсомолки, приезжавшие из маленьких городков и деревень учиться в Москву.

Самого же Сергея запомнил я с гитарой в руках. Под быстрыми пальцами его возникает то один мотив, то другой, то старинная деревенская песня, то бойкая частушка, то разухабистая шансонетка. А то вдруг:

...О друг мой милый,
Мы различны оба,
Твой удел — смеяться,
Мой — страдать до гроба...

Всей песни в памяти моей не сохранилось, но были там еще слова:

...Он лежит убитый
На кровавом поле...

— Это у нас в деревне пели, а, слышишь, лексика совсем не деревенская, занесено из усадьбы, наверное. Это, думается мне, перевод из Байрона, но очень вольный и мало кому известный...— И, прищурив глаза, несколько нарочито, манерно, прекрасно передавая старинный колорит песни, он повторил:

...Твой удел — смеяться,
Мой — страдать до гроба...

И тут же, словно не желая вдаваться в разговор слишком серьезный, вдруг ударил по струнам и лихо за-

пел какие-то веселые куплеты. Он напевал их и сам при этом весело хохотал, показывая красивые зубы.

Серьезные разговоры всегда возникали внезапно, как бы непроизвольно поднимались из глубины души.

— ...Вот есть еще глупость: говорят о народном творчестве, как о чем-то безликом. Народ создал, народ сотворил... Но безликого творчества не может быть. Те чудесные песни, которые мы поем, сочиняли талантливые, но безграмотные люди. А народ только сохранил их песни в своей памяти, иногда даже искажая и видоизменяя отдельные строфы. Был бы я неграмотный — и от меня сохранилось бы только несколько песен,— с какой-то грустью говорил он.

Сергей с охотой и в прекрасной манере читал стихи, написанные другими поэтами:

...Соловьи на кипарисах, и над озером луна;
Камень черный, камень белый, много выпил я вина...—

отчетливо выделяя каждое слово этого стихотворения Гумилева, словно любуясь им, выговаривал он. Блока почитал он как учителя своего — и об этом говорил не раз. Множество стихов Блока он знал наизусть и произносил их в своей особой манере, отчетливо и поэтически.

Гармоника, гармоника!
Эх, пой, визжи и жги!
Эй, желтенькие лютики,
Весенние цветки!..—

произнес он, делая ударение на рифме.

— Неправильная рифма, верно? Ассонанс? А ведь такого рода неправильные рифмы коренятся в самой природе нашего языка — здесь и бойкость и лихость, а?

Но некоторые стихотворения Блока он разбирал критически, обращая особенное внимание на отдельные эпитеты.

— Блок — интеллигент, это сказывается на самом его восприятии,— говорил он с горячностью.— Даже самая краска его образа как бы разведена мыслью, разложена рефлексией. Я же с первых своих стихотворений стал писать чистыми и яркими красками.

— Это и есть имажинизм? — спрашивал я.

— Ну да,— говорил он недовольно.— То есть все это произошло совсем наоборот... Разве можно предположить, что я с детства стал имажинистом? Но меня всегда тянуло писать именно такими чистыми, свежими кра-

сками, тянуло еще тогда, когда я во всем этом ничего не понимал.

И он тут же прочел — я услышал тогда впервые это маленькое стихотворение:

Там, где капустные грядки
Красной водой поливает восход,
Клененочек маленький матке
Зеленое вымя сосет.

— Это я написал еще до того, как приехал в Москву. Никакого имажинизма тогда не было, да и Хлебникова я не знал. А сколько лет мне было? Четырнадцать? Пятнадцать? Нет, не я примкнул к имажинистам, а они наросли на моих стихах. Александр Блок — это мой учитель. Но я не могу принять его рефлексии, его хныканья полубарского, полународнического.

Память моя вперемежку с серьезными разговорами сохранила мелочи, забавные и выразительные пустяки.

Мы приходим в знакомый и дружественный нам дом. Входная дверь открыта, но в квартире, похоже, никого нет. Лето, и легкий ветер бродит из комнаты в комнату. В спальной на постели спит красивая девушка-армянка, мы оба знакомы с ней. Сергей сделал мне знак, чтобы я молчал, тихонько подошел к ней, поцеловал ее в губы — и тут же, мгновенно, утащил меня за портьеру, к окну, откуда открывался с восьмого или девятого этажа неправдоподобно широкий горизонт с подмосковными темно-зелеными лесами и Москвой-рекой, поблескивающей в синей дымке.

— Ты погоди. Что сейчас будет...— прошептал он.

Девушка поднялась на постели и, не совсем проснувшись, вопросительно и взволнованно оглядела комнату. Сергей громко заговорил со мной, делая вид, что мы продолжаем какой-то разговор. Она взглянула на меня, на него... Игра ее нежного девичьего лица вся была открыта и озорно отражалась на его лице.

В комнату кто-то вошел.

— Не может угадать. А кто же поцеловал все-таки? — посмеиваясь, сказал тихонько Сергей.

Она быстро взглянула на него и улыбнулась.

Серьезные разговоры вспыхивали непроизвольно и неожиданно быстро, как молния, и запоминались на всю жизнь.

— Сережа, у тебя вот сказано:

Мальчик такой счастливый
И ковыряет в носу.

Ковыряй, ковыряй, мой милый,
Суй туда палец весь,
Только вот с эфтой силой
В душу свою не лезь.

Ведь слово «эфтой» — это все-таки оборот не литературный, вульгаризм.

Он оставляет мою аргументацию без всякого внимания.

— А как иначе ты скажешь? С «этою» силой? — спрашивает он, смеется, и разговор прекращается, чтобы возобновиться спустя несколько дней.

— Помнишь, ты говорил о нарушении литературных правил? — напоминает он.— Ну, а тебе известны эти строки:

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд,
И руки особенно тонки, колени обняв...

— Гумилев?

— Мастер, верно? А ведь тут прямое нарушение грамматики. По грамматическим правилам надо бы сказать: «И руки, которыми ты обняла свои колени, кажутся мне особенно тонкими». Ну, что-то в этом роде: «обняв» или «обнявшие»? Но «обнявшие колени» — ничего не видно, а «колени обняв» — сразу видишь позу...— И у него на лице такое же озорное выражение, с которым он подкрадывался к спящей девушке, чтобы ее поцеловать...

Через много лет после смерти поэта один литературный брюзга с целью доказать, что Есенин был не более чем безграмотный самоучка, привел известные строчки:

Остался в прошлом я одной ногою,
Стремясь догнать стальную рать,
Скольжу и падаю другою.

— Падаю ногою? Разве можно так сказать? — негодовал он.— Ведь это у него от небрежности, от неграмотности!

И тогда мне вспомнился давний наш разговор о Гумилеве. Есенин жил в стихии языка, как ласточки живут в стихии воздуха, и то, что ученым воронам могло казаться нарушением правил языка, было виртуозным

владением им. Чтобы так «нарушать» правила языка, надо в совершенстве им владеть.

Иногда на Сергея находила какая-то детская, прямо ребячья веселость и дурашливость. Как-то я ближе к вечеру зашел к нему.

— Вот и хорошо,— сказал он весело.— Пойдешь с нами вместе к Мейерхольду смотреть «Мандат». Ты видел?

«Мандата» я еще не видел. Сергей наряжался перед зеркалом, примерял цилиндр и, похохатывая, рассказывал мне вкратце о том, что, видимо, больше всего интересовало его в «Мандате».

— Деревенскую девку нарядили, понимаешь, царицей, посадили в сундук, наша обывательская белогвардейщина вся с ума сошла, все ей кланяются,— царская дочь Анастасия вернулась на царствование в Москву!..— весело говорил он.

Не знаю, прочел ли он «Мандат», или уже видел его, или ему рассказывали о спектакле. Сестры тоже собирались, младшая, серьезная Шура, все пыталась урезонить брата, которому, видно, как-то особенно хорошо было в этот летний городской вечер.

Мы шли по людной Тверской. «Есенин! Есенин!» — кричали кругом. Хохот, веселые аплодисменты... Уже на Садовой-Триумфальной Сергей повернулся, сорвал с моей головы летнего образца красноармейский шлем и надел на меня свой цилиндр. В военной гимнастерке и цилиндре я выглядел забавно, в этом было что-то карнавальное. Мне тоже стало весело, и так приятно было слушать, как Шура Есенина о чем-то рассуждает, стараясь казаться совсем взрослой.

Когда мы пришли в театр, первое действие уже шло, нас спешно рассаживали. Спектакль был тоже весь озорной и веселый. Вертелась граммофонная пластинка, церковные псалмы звучали из жерла старомодного граммофона, одурелая старуха крестилась на граммофон и била земные поклоны.

— С этим мандатом, маменька, я всю Россию переарестую! — кричал худенький подросток Гулячкин, которого играл Эраст Гарин, и публика смеялась, не чувствуя всего зловещего смысла гулячкинской угрозы.

В антракте Катя Есенина подошла к нам и сказала озабоченно:

— Сергей пропал куда-то!

Я уже сейчас не помню, почему нужно было искать Сергея,— как будто он раньше никогда не пропадал! Но Шура и Катя Есенины пошли искать его, я сопровождал их.

— Он наверняка у своего дружка, у художника Якулова,— сказала Катя.

Якулов жил где-то поблизости, чуть ли не на Триумфальной площади, рядом с театром. Высокого роста, черноусый и худощавый, в какой-то пестрой куртке, как будто только что сошедший с картины какого-то «левого» художника, он встретил нас, таинственно посмеиваясь:

— Если найдете, будет ваш...

Но искать негде. Большая комната, если мне не изменяет память, мастерская Якулова, пуста. Посредине лежит ковер, свернутый в огромную трубку,— так свертывают ковры, когда уезжают на дачу.

И вдруг ковер стал медленно развертываться. Все быстрей, быстрей, совсем развернулся, и вот Сергей, весь взъерошенный, вскочил и здесь же, на ковре, исполнил какую-то буффонную пляску; сестры висли на нем, визжа от удовольствия.

— А я знал, что вы сюда придете.

— Почему ты ушел из театра? Ведь интересно!

— На сцене интересно, а в публике скучно!

Ю. Либединский

В один из ясных июньских дней ленинградский Литфонд организовал прогулку в Петергоф морем. С этой целью был откуплен рейс одного из пароходов. Предполагалось устроить в пользу Литфонда выступление писателей с участием недавно вернувшихся из-за границы А. Н. Толстого и С. Есенина. Это начинание, заранее возвещенное афишами, имело большой успех. Задолго до отхода палуба была переполнена любителями литературы. По трапу один за другим поднимались приглашенные писатели и их семьи. Вскоре все участники были в сборе. Не хватало одного Есенина. Наш администратор обнаруживал признаки крайнего беспокойства. До отплытия оставались считанные минуты, и он, толстый, комически важный человек, с резвостью ребенка бегал вдоль борта, вглядываясь в каждого проходящего по набережной. Наконец у него вырвался вздох облегчения. В глубине улицы показался Есенин, сопровождаемый

своими приятелями, ленинградскими имажинистами. Двое из них тащили довольно объемистый ящик. Когда они поднимались по трапу со своей ношей, в ящике отчетливо звякнуло бутылочное стекло.

— Сергей Александрович! К чему это? На пароходе есть буфет.

— Буфет буфетом, а я хочу в свое удовольствие. Чудесное пиво. Приглашаю.

Администратор только рукой махнул.

Пароход отчалил. Медленно пробирался он среди каких-то баржей на середину Невы и только там дал полный ход. Стал отходить вправо берег Васильевского острова с большим собором, Морским корпусом. Прошли строгие дорические колонны Горного института. Затянутая дымом, мутно обрисовывалась тяжелая громада старинного завода. Пароход неторопливо, но старательно шлепал колесами. За поворотом потянул свежий ветерок со взморья, раздувая легкие летние платья, играя кормовым флагом. Солнце сверкало на медных поручнях, прыгало слепящими шариками на спинах глянцевитых, тяжело переваливающихся волн. Все шире и шире расходились берега, и уже где-то сзади смутно маячили подъемные краны Лесного порта. Есенин сидел, опираясь локтями на поручни, и, положив на скрещенные пальцы подбородок, пристально и бездумно смотрел на дымную панораму удаляющегося города.

Кто-то из приятелей подошел к нему с только что откупоренной бутылкой пива.

— Отстань! — недовольно повел плечом Сергей.— Я пить не буду!

— Как не будешь?

— А вот так! — почти зло улыбнулся Есенин.— Не буду — и все. И вообще не приставай. Уходи, пока я тобою палубу не вытер.

Приятель что-то хмыкнул в ответ и отошел в сторону. А Есенин взъерошил и без того спутанные волосы и, ни к кому не обращаясь, процедил сквозь зубы:

— Дурак! Стоит ли пить в такое утро!

И радостно одними ноздрями втянул в себя воздух.

Уже с полчаса, как пароход шел по ровной, спокойной глади Финского залива.

Стая белых чаек вилась за кормой. Волнистым треугольником расходился теряющийся из глаз след. Монотонно похлопывали колеса.

Администратор решил, что пора начинать обещанный литературный концерт. Он хлопотливо собирал участников, что было далеко не легким делом, потому что все разбрелись кто куда по палубе и каютам.

Подбежал он и к Есенину.

Сергей долго отказывался и не дал себя уговорить.

Программа шла, постепенно оживляясь,— особенно после мастерского чтения А. Н. Толстым сатирических рассказов, живописующих быт российской эмиграции в Париже. Завязалась очень оживленная общая беседа. Вспомнили и о Есенине. Бросились искать его по пароходу. Но он словно в воду канул. Наконец вспотевший, запыхавшийся администратор, проходя мимо приподнятой створки матросского кубрика, услышал звуки баяна и знакомый голос. Заглянув сверху в полутемное помещение, он увидел, что на одной из коек, окруженный свободными от вахты матросами и кочегарами, сидел Есенин. Он сбросил свой модный пиджак, расстегнул ворот рубашки и старательно выводил на баяне всем знакомый деревенский мотив. Он пел свои стихи с необычайным увлечением и жаром. Голос звучал приятной хрипотцой, как всегда выговаривая русское «г» с мягким придыханием. Пропев строфу, Есенин бойко разливался в переборах, очевидно тут же сочиняя все свои вариации. Чувствовалось, что баян был для него любимым и привычным делом.

Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя? иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.

Понемногу на палубе столпилась публика, покинувшая салон. Все стояли молча, боясь проронить хотя бы слово. А Есенин, не чувствуя над собой уже прискучившего любопытства, изливал душу в горячем затейливом напеве.

После этого он охотно выступил и на палубе, и хорошее настроение не покидало его до самого Петергофа.

Вс. Рождественский

Однажды при мне Есенин вошел в редакцию «Звезды», а прежде чем попасть в кабинет главного редактора, надо было миновать обширную проходную комнату, где обычно можно было застать и работников журнала,

и его сотрудников, и участников — писателей, поэтов, критиков: для многих из них редакция стала своего рода клубом, где они собирались и обсуждали проблемы и новости литературной жизни и куда заходили почти каждый день, если только было время.

Не могу припомнить, находился ли еще кто-нибудь из посетителей в этой проходной комнате. На одном из письменных столов запросто сидел Женя Панфилов, с которым мы оживленно обсуждали текущие дела и события, но вот двери редакции отворились, и на пороге появился Есенин, поражавший в то время какой-то особой элегантностью наряда, совершенно непохожего на тот небрежный и простоватый, какой был привычен для нас.

Проходя мимо Панфилова в кабинет главного редактора, Есенин поздоровался с молодым поэтом и неожиданно приостановился возле него: вероятно, они познакомились у Ильи Садофьева, с которым в то время Есенин дружил.

— А вы написали хорошую поэму «Рабфаковка»,— сказал Есенин Панфилову, а тот настолько растерялся, услышав этот одобрительный отзыв большого поэта, весьма требовательного и придирчивого к стихам собратьев по перу, что не сумел сказать в ответ ни одного слова; только лицо его побагровело от смущения. А Есенин, не услышав от Панфилова ответа, постоял несколько секунд возле него и пошел в кабинет главного редактора.

Сейчас, конечно, почти никто уже, кроме очень немногих ленинградцев старшего поколения, не помнит эту поэму Панфилова и не знает одобрительного отзыва Есенина о ней. Но ведь, значит, что-то было в ней, если она привлекла внимание Есенина и вызвала у него очень добрый отклик. Жаль, что впоследствии о Евгении Панфилове почти совсем забыли, а ведь в первой половине двадцатых годов он почитался, и вполне справедливо, талантливейшим из молодых ленинградских поэтов.

Б. Соловьев.

Помню, как Маяковский пытался привлечь к сотрудничеству Сергея Есенина. Мы были в кафе на Тверской, когда пришел туда Есенин. Кажется, это свидание было предварительно у них условлено по телефону. Есенин

был горд и заносчив: ему казалось, что его хотят вовлечь в невыгодную сделку. Он ведь был тогда еще близок с эгофутурней — с одной стороны, и с крестьянствующими — с другой. Эта комбинация была сама по себе довольно нелепа: Шершеневич и Клюев, Мариенгоф и Орешин. Есенин держал себя настороженно, хотя явно был заинтересован в Маяковском больше, чем во всех своих вместе взятых сообщниках. Разговор шел об участии Есенина в «Лефе». Тот с места в карьер запросил вхождения группой. Маяковский, полусмеясь, полусердясь, возразил, что «это сниматься, оканчивая школу, хорошо группой». Есенину это не идет.

— А у вас же есть группа? — вопрошал Есенин.

— У нас не группа, у нас вся планета!

На планету Есенин соглашался. И вообще не очень-то отстаивал групповое вхождение.

Но тут стал настаивать на том, чтобы ему дали отдел в полное его распоряжение. Маяковский стал опять спрашивать, что он там один делать будет и чем распоряжаться.

— А вот тем, что хотя бы название у него будет мое!

— Какое же оно будет?

— А вот будет отдел называться «Россиянин»!

— А почему не «Советянин»?

— Ну это вы, Маяковский, бросьте! Это мое слово твердо!

— А куда же вы, Есенин, Украину денете? Ведь она тоже имеет право себе отдел потребовать. А Азербайджан? А Грузия? Тогда уж нужно журнал не «Лефом» называть, а — «Росукразгруз».

Маяковский убеждал Есенина:

— Бросьте вы ваших Орешиных и Клычковых! Что вы эту глину на ногах тащите?

— Я глину, а вы — чугун и железо! Из глины человек создан, а из чугуна что?

— А из чугуна памятники!

...Разговор происходил незадолго до смерти Есенина. Так и не состоялось вхождение Есенина в содружество с Маяковским.

От того же времени остался в памяти и другой эпизод.

Однажды вечером пришел ко мне Владимир Владимирович взволнованный, чем-то потрясенный:

— Я видел Сергея Есенина,— с горечью, и затем горячась, сказал Маяковский,— пьяного! Я еле узнал его. Надо как-то, Коля, взяться за Есенина. Попал в болото. Пропадет. А ведь он чертовски талантлив.

Н. Асеев

Однажды, приехав в Ленинград, он прочитал мне только что написанную «Анну Снегину». Строфы звонко раскатывались по большой комнате бывшей барской квартиры двухэтажного особняка у Невы на Гагаринской улице.

И вот эта поэма словно прокатилась мимо меня по паркету. Есенин кончил, а я молчал.

— Ну и молчи! — сердито буркнул он.

Вечером мы снова встретились, гуляли по набережной Невы, неподалеку от Зимней канавки. Есенин любил это место. Оно ему напоминало пушкинские времена.

Я попытался объяснить свое молчание после «Анны Снегиной», но Есенин мгновенно перебил меня жестом.

— Да ладно... Не объясняй. Чего там... На твоем лице я вижу больше, чем ты думаешь. И даже больше, чем скажешь.

— Ну, я еще ничего не сказал! Не торопись. А если хочешь, так выслушай...

Есенин приготовился слушать.

Я говорил, что «Снегина» хорошая поэма, что Есенин не может написать дурно. Но что фон ее эпический. И вот это обстоятельство все меняет. Говорил я главным образом о том, что мне многое ново в поэме. Например, картины революции в деревне. Что по всем строфам и в ряде сцен рассыпаны социальные страсти.

— Этого раньше у тебя не было. Здóрово даны образы... Но ведь Оглоблин Прон все-таки недописан. Как его расстреляли деникинские казаки, дошедшие до Криушей... А как он умирал? Разве это не важно? Как мужики из-за земли убили «офицера Борю», мужа Анны?

В общем у меня был свой взгляд на поэму. Я чувствовал за ней большой классический роман в стихах.

Есенин метнулся в мою сторону.

— «Евгения Онегина» хочешь? Так, что ли?.. «Онегин»?

— Да.

Может быть, эти мои мысли были абсурдны. Быть может, кое-что я уже прибавил сейчас, ведь воспоминания не протокол. Но я твердо помню, что мы долго разговаривали на гранитной набережной, гуляя взад и вперед. Мне помнится, как я говорил, что «Снегина» стала бы шедевром, если бы...

Критика в общем признала ее и до сих пор считает одним из лучших революционных произведений Есенина. Возможно, она и права, и я субъективен. Но в тот вечер мы еще не знали, что скажут критики, и руководствовались лишь своими мнениями.

Помню, как Есенин стал задумчив. Он умел слушать, а не только соглашаться с благожелательными, эмоциональными, вкусовыми оценками.

Мы вернулись на квартиру на Гагаринской. В передней на подоконнике были небрежно брошены черный плащ, черный мятый цилиндр. При мне Есенин никогда не надевал этого наряда. Я тут же вспомнил литературное общество «Колос» и «кафтанчик»...

Есенин перехватил мой взгляд, иронически усмехнулся.

— Привез зачем-то из Москвы эту дрянь! Цилиндр надеть, конечно, легче, чем написать «Онегина». Ты прав... Но... Нет уж... Что делать? Пусть останется в «Снегиной» все так, как было.

На искренности всегда держались наши отношения. Не помню, чтобы он лицемерил, чтобы своим товарищам он говорил дежурные любезности.

Кстати, он с откровенностью проявлял свое отношение к Маяковскому. Таким же откровенным был с ним и Маяковский. Они, конечно, не были друзьями, они были полярны, но через год после смерти Есенина, помоему, лишь один Маяковский высказал истинное отношение к поэту Есенину в стихотворении «Сергею Есенину». Мне подчас кажется, что стихи «Сергею Есенину» — не стихи... Это воистину —

В горле
горе комом...

Н. Никитин

Вечер.

Есенин лежа правит корректуру «Москвы кабацкой»,

— Интересно!

— Свои же стихи понравились?

— Да нет, не то! Корректор, дьявол, второй раз в «рязанях» заглавную букву ставит! Что ж он думает, я не знаю, как Рязань пишется?

— Это еще пустяки, милый! Вот когда он пойдет за тебя гонорар получать...

— Ну, уж это нет! Три к носу, не угодно ли?

Пальцы левой руки складываются в комбинацию. Кончив корректуру, он швыряет ее на стол и встает с дивана.

— Знаешь, почему я — поэт, а Маяковский так себе — непонятная профессия? У меня родина есть! У меня — Рязань! Я вышел оттуда и, какой ни на есть, а приду туда же! А у него — шиш! Вот он и бродит без дорог, и ткнуться ему некуда. Ты меня извини, но я постарше тебя. Хочешь добрый совет получить? Ищи родину! Найдешь — пан! Не найдешь — все псу под хвост пойдет! Нет поэта без родины!

— Хорошие стихи Володя читал нынче. А? Тебе — как? Понравились? Очень хорошие стихи! Видал, как он слово в слово вгоняет? Молодец!

Есенин не идет, а скорей перебрасывает себя в другой конец комнаты, к камину. Кинув папиросу в камин, продолжает, глядя на идущую от нее струйку дыма:

— Очень хорошие стихи... Одно забывает! Да не он один! Все они думают так: вот — рифма, вот размер, вот — образ, и дело в шляпе. Мастер. Черта лысого — мастер! Этому и кобылу научить можно! Помнишь «Пугачева»? Рифмы какие, а? Все в нитку! Как лакированные туфли блестят! Этим меня не удивишь. А ты сумей улыбнуться в стихе, шляпу снять, сесть — вот тогда ты мастер!..

— Они говорят — я от Блока иду, от Клюева. Дурачье! У меня ирония есть. Знаешь, кто мой учитель? Если по совести... Гейне — мой учитель! Вот кто!

Вернулся Есенин. Он помутнел и как-то повзрослел.

— Милый! Да ты никак вырос за три недели!

— Похоже на то. В деревне был... С Сашкой...

— Пил?

— Нет. Немного. Стихи хочешь слушать? «Возвращение на родину». Посвящается Сашке.

После чтения:

— Слушай! А ведь я все-таки от «Москвы кабацкой» ушел! А? Как ты думаешь? Ушел? По-моему, тоже! Здорово трудно было!

И помолчав немного:

— Это что! Вот я поэму буду писать. Замеча-а-тельную поэму! Лучше «Пугачева»!

— Ого! А о чем?

— Как тебе сказать? «Песнь о великом походе» будет называться. Немного былины, немного песни, но главное не то! Гвоздь в том, что я из Петра большевика сделаю! Не веришь? Ей-богу, сделаю!

Какой-то дурак из стихотворцев, отведя меня в сторону (мы были в редакции «Красной нови») и, очевидно, желая доставить мне удовольствие, сказал:

— Знаете, я вам очень сочувствую! Дружба с Есениным — неблагодарная вещь!

Вспоминаю. Было это еще в Ленинграде. Есенин среди бела дня привел меня в кавказский погребок на Караванной и угостил водкой. Это была первая настоящая водка в моей жизни, а потому через час я был «готов». Когда я наконец продрал глаза, был уже вечер. Есенин сидел рядом со мной на диване и читал газету. Нетронутая рюмка водки стояла перед ним на столе.

Подмосковная дача.

Хозяин — Тарасов-Родионов.

В числе гостей — Березовский, Вардин, Анна Абрамовна Берзинь, позднее — ненадолго — Фурманов.

Есть такая песня:

Умру я, умру я.
Похоронят меня.
И никто не узнает,
Где могила моя.

Вардину очень нравится эта песня, но он никак не может запомнить слов. Он бродит по садику и поет:

Умру я, умру я.
Умру я, умру я.

Умру я, умру я.
Умру я, умру-у!..

Есенин ходит за ним по пятам и, скосив глаза, подвывает.

Спать лезем на сеновал — Есенин, Вардин и я. Сена столько, что лежа на спине можно рукой достать до крыши.

Первое, что мы видим, проснувшись поутру: почтенных размеров осиное гнездо в полуаршине над нами.

А лестницу от сеновала на ночь убрали.

Хорошо, что мы спим спокойно.

В. Эрлих

Часто говорят про поэтов «он не от мира сего», и при этом рисуется слащавый образ с длинными волосами и глазами, устремленными в небеса — в мечтах и грезах, мол, живет. Не знаю, как вообще полагается поэтам. Знаю одно — Сергей Александрович не был таким слащавым мечтателем с неземными глазами, но вместе с тем трудно передать, насколько мучительно было для него это добывание денег. Его гордость не мирилась с неудачами, с получением отказа. Поэтому, направляясь в редакцию, он напрягал все нервы, чтобы не нарваться на отказ. Для этого нужно было переводить свою психику на другой регистр.

Говорят, пишут, вспоминают про него — какой он был хитрый, изворотливый, как умел войти в душу всесильного редактора, издателя и пр. Но при этом забывают случаи, когда Сергей Александрович пасовал, неудачно отстаивал свои интересы, как, например, с продажей своих сочинений Госиздату, когда он, почти не глядя, собирался подписать договор и, только благодаря сестре, Екатерине Александровне, и поэту Наседкину (в этом отношении очень практичному и бывалому), получил от Госиздата 10 тысяч вместо 6 тысяч, на которые он уже почти согласился.

Такая же история была с «Анной Снегиной» (или «Персидскими мотивами» — точно не помню). Я условилась с частным издателем И. Берлиным продать ему эту вещь за 1000 рублей. Предупредила об этом Сергея Александровича. Пришел Берлин к Сергею Александровичу и опять завел разговор об этом издании. В конце разговора предлагает за книжку не 1 тысячу

рублей, а всего 600 рублей. И Сергей Александрович робко, неуверенно и смущенно соглашается. Пришлось вмешаться в разговор и напомнить о том, что уже условлено за эту вещь 1000 рублей. Тогда Сергей Александрович неопределенно заявляет:

— Да, мне все-таки кажется, что шестьсот рублей мало. Надо бы больше!

Выпроводив поскорее Берлина, чтобы переговоры о гонораре вести без Сергея Александровича, возвращаюсь в комнату.

— Спасибо вам, Галя! Вы всегда выручаете! А я бы не сумел и, конечно, отдал бы ему за шестьсот. Вы сами видите — не гожусь я, не умею говорить. А вы думаете, не обманывали меня? Вот именно, когда нельзя — я растеряюсь. Мне это очень трудно, особенно сейчас. Я не могу думать об этом. Потому и взваливаю все на вас, а теперь Катя подросла, пусть она занимается этим! Я буду писать, а вы с Катей разговаривайте с редакциями, с издателями!

Одно он знал и понимал: за стихи он должен получать деньги. Заниматься же изучением бухгалтеров и редакторов — с кем и как разговаривать, чтобы не водили за нос, а выдали, когда полагается, деньги,— ему было очень тяжело, очень много сил отнимало.

Нам пришлось жить втроем (я, Катя и Сергей Александрович) в одной маленькой комнате, а с осени 1924 года прибавилась четвертая — Шурка. А ночевки у нас в квартире— это вообще нечто непередаваемое. В моей комнате — я, Сергей Александрович, Клюев, Ганин и еще кто-нибудь, в соседней маленькой холодной комнатушке на разломанной походной кровати — кто-либо еще из спутников Сергея Александровича или Катя. Позже, в 1925 году, картина несколько изменилась: в одной комнате — Сергей Александрович, Сахаров, Муран и Болдовкин, рядом в той же комнатушке, в которой к этому времени жила ее хозяйка,— на кровати сама владелица комнаты, а на полу: у окна — ее сестра, все пространство между стенкой и кроватью отводилось нам — мне, Шуре и Кате, причем крайняя из нас спала наполовину под кроватью.

Ну а как Сергею Александровичу трудно было с деньгами — этого словами не описать. «Прожектор», «Красная нива» и «Огонек» платили аккуратно. Но в журналы сдавались только новые стихи, а этих денег не могло хватить. «Красная новь» платила кошмарно.

Чуть ли не через день туда приходилось ездить (а часто на трамвай не было), чтобы в конце концов поймать тот момент, когда у кассира есть деньги. Вдобавок не раз выдавали по частям, по 30 руб., а долги тем временем накапливались, деньги нужны в деревне, часто Сергей Александрович просил выслать. Положение было такое, что иногда нас лично спасало мое жалованье, а получала я немного, рублей 70. Всего постоянных «иждивенцев» было четверо (мать, отец и две сестры), причем жили в разных местах, родители — в деревне, сестры — в Москве, а сам Сергей Александрович — по всему СССР.

Еще хуже положение было во время пребывания Сергея Александровича в Москве. Расходы увеличивались в десять раз, и мы изнемогали от вечного добывания денег. Вместе с тем было ясно, что это бремя нельзя взваливать на Сергея Александровича. Иногда бывало, у Сергея Александровича терпение лопалось, он шел сам в какую-либо редакцию, но кончалось это плачевно. Нанервничавшись от бесконечного ожидания денег или попав в компанию «любителей чужого счета», он непосредственно из редакции попадал в пивную или ресторан. В конце концов приезжал ночью пьяный и без денег. Вместе с тем уходить и оставлять его одного дома тоже было страшно: зайдет какой-нибудь из этих забулдыг или по телефону вытащит и не знаешь, в какой пивной или где еще искать.

Правда, уже с лета 1924 года (после санатория и больницы) мы за ним не ходили, объяснив, что если раньше бегали и искали его каждый вечер по всем «святым местам», то это потому, что надо было его какими бы то ни было чудесами в целости сохранить до санатория, а вообще так бегать — это значит вконец испортить его. И он все вожжи распустит в надежде, что Галя или Катя выручат.

В добывании денег была еще осложнявшая все сторона. Получение гонорара во многих редакциях — это не то что получение жалованья на службе: обязаны выдать такого-то числа, и все. Нет, гонорар у них выдается почти как милость, потому что, при хронической нехватке денег, любезность бухгалтера и редактора — выдать их сегодня, а не через неделю. Вот тут, если придешь и пустишь слезу,— скорее получишь. Но ни я, ни Катя не умели приходить с жалобным видом, да если бы кто-нибудь из нас и сумел, то воображаю, как

Сергей Александрович, с его гордостью, был бы взбешен. А когда приходишь с независимым видом, то ох как трудно иногда выцарапать этот гонорар. Редакторов тут, конечно, винить не приходится — на их попечении слишком много более нуждающихся. И всех удовлетворить им трудно. Никогда в жизни до этого и после я не знала цены деньгам и не ценила всей прелести получения определенного жалованья, когда, в сущности, зависишь только от календаря.

Сергей Александрович очень страдал от своей бездеятельности. Нечем стало жить. Много, очень много уходило и ушло в стихи, но он сам говорил, что нельзя ему жить только стихами, надо отдыхать от них. Отдыхать было не на чем. Оставались женщины и вино. Женщины скоро надоели. Следовательно — только вино, от которого он тоже очень хотел бы избавиться, но не было сил, вернее, нечем было заменить, нечем было заполнить промежутки между стихами.

— Не могу же я целый день писать стихи. Мне надо куда-то уйти от них, я должен забывать их, иначе я не смогу писать,— не раз говорил он в ответ на рассуждения, что нельзя такое дарование губить вином.

Ясно — не мог он работать в каком-либо учреждении завом, но, думаю, многие помнят, как он носился с идеей организовать журнал, как он цеплялся за эту мысль. Помню, Сергей Александрович восторженно мечтал об этом журнале. Тогда не удалось это осуществить. Есенин уже был болен, его надо было поставить на ноги, а потом привлечь к работе в каком-либо журнале. Ясно, что сам он, конечно, не смог бы организовать. Не знаю, в чем вина — в обычной есенинской неудачливости (у него всегда так складывалось, что при всяких обстоятельствах, при самой большой, иногда неправдоподобной удаче, для себя лично он получал лишь плохие и вредные результаты этой удачи). Ну так вот, в этом ли невезении вина, или вина в том, что никто из имевших возможность поддержать его по-настоящему до конца и не заинтересовался.

Конечно, большую роль сыграла здесь болезнь. Благодаря обостренному восприятию он осознал и благодаря этому же не мог спокойно разобраться, «где нас горько обидели по чужой и по нашей вине». Вот эти

границы чужой и собственной вины смешались. Ему надо было помочь разобраться, и был бы выход из тупика, и было бы чем жить.

Г. Бениславская

В 1924 и 1925 годах я стала видеть Есенина в своей квартире, которая находилась при школе. Обычно он приезжал в Константиново летом и непременно навещал моего мужа. Однажды к нам вместе с Есениным пришел его друг Сергей Брежнев с сестрой Анной. Пили чай, потом стали петь «Выхожу один я на дорогу», «Вечерний звон» и другие песни. Руководил пением мой муж, а когда запели «Вечерний звон», Есенин подошел к роялю и пытался изобразить колокольный звон. Помню, Сергей Брежнев пел песню «У врат обители святой». Есенин внимательно слушал и был грустным.

Сергей Александрович любил рыться в нотах моего мужа, выбирал что-нибудь и просил его сыграть на рояле. У мужа был сборник гимнов. Есенин попросил Сергея Николаевича исполнить один из них. «Боже, царя храни»? — спросил, улыбаясь, тот. Есенин резко ответил: «Хватит! Наслушались. Мотив знакомый».

Слушая музыку, Есенин засиживался у нас допоздна. Иногда он напевал песни на свои стихи, и Сергей Николаевич аккомпанировал ему. Я до сих пор помню мелодию на слова стихотворения «Есть одна хорошая песня у соловушки...». Задушевно и трогательно пел эту песню Есенин.

Очень любил он слушать частушки и не раз просил мужа позвать кого-нибудь из жителей села, знавших много частушек. Как-то пришли к нам крестьяне Петр Андреевич Хохряков и Федор Иванович Вавилов. Много было спето частушек. Есенин не только жадно слушал певцов, но и записывал частушки в тетрадку.

У нас в квартире хранилось много вещей из дома Лидии Ивановны Кашиной, предназначенных для кружка культпросвета, проводившего свою работу в школе. Есенин нежно касался вещей рукой и пояснял, где что находилось в доме Кашиной: кожаный диван, кресло, рояль, круглый стол, высокое трюмо... Вообще, надо заметить, что жесты Есенина были необыкновенно выразительны, и когда он говорил, а особенно читал стихи, то как будто завораживал слушавших и голосом, и мимикой, и сиянием глаз. Память у него была просто уди-

вительная. Читал он нам «Песнь о собаке», «Русь уходящую», что я хорошо запомнила. Он не отказывался читать стихи, если его об этом просили, и читал, жестикулируя, вдохновенно, волнуя до слез...

Как-то по-особенному любил он детей. Был у нас восьмимесячный сын Александр. Есенин, узнав его имя, сказал: «Это же полный тезка Пушкина — Александр Сергеевич!». Однажды вечером он увидел его спящим и, уходя от нас, обещал на следующий день прийти к нему. Действительно, на другой день он пришел к нам и сказал: «Давайте мне вашего сына». Я держала сына на руках и с недоумением посмотрела на Есенина. Он весело улыбнулся: «Не беспокойтесь: я с такими справляюсь хорошо». Есенин взял у меня сына, и мы все вместе пошли на прогулку. Нес он моего Сашу бережно, умело, и мальчик чувствовал себя спокойно.

Мы пришли на бывшую усадьбу Кашиной, где к нам присоединилась Анна Брежнева. Есенин, гуляя по саду, вспоминал, как все было здесь раньше. Он рассказывал, где и какие росли цветы: сирень, жасмин, татарская жимолость... Говорил, что в парке было множество птиц, зимой — особенно снегирей. Галки жили в дуплах огромных деревьев. Весной пели скворцы и соловьи, стаи голубей гнездились на соседней церкви...

Последний раз я видела Есенина летом 1925 года, когда он приехал на свадьбу своего двоюродного брата Александра Ерошина. На свадьбе этой я не была, а на другой день от сторожихи школы Евдокии Семеновны Хряковой узнала, что к школе идет Есенин. Но когда открылась дверь, то я увидела красивую девушку и сразу догадалась, что это был нарядившийся в женскую одежду Есенин.

Он спросил, не удивил ли меня женским костюмом, и я ответила, что это давний обычай — ходить ряжеными после свадьбы — и ничего в этом странного нет. Есенин поинтересовался, где Сергей Николаевич, и, узнав, что тот сейчас в Кузьминском, обещал мне зайти к нам вечером. Но вечером Есенин к нам не пришел, и я его больше никогда не видела.

А. Соколова

...В 1924—1925 годах Есенина можно было довольно часто встретить на ленинградских улицах и в редакции журнала «Звезда», где он публиковал свои поэмы и ку-

да заходил, чтобы побеседовать с главным редактором журнала — И. М. Майским. А самого Есенина я незадолго до того слышал в битком набитом зале бывшей городской Думы на Невском, возле Гостиного двора, где состоялся вечер поэта. Но на этом вечере он выступал не один, как объявлялось в афише, а вместе со своими друзьями — ленинградскими имажинистами, почти никому не известными и еще почти ничего не создавшими в литературе.

А Есенин начал выпускать их на трибуну одного за другим, но совсем не для того собралась аудитория, чтобы слушать их, что она и давала понять со всею очевидностью и определенностью, бросая в адрес выступавших острые замечания и язвительные реплики. Есенина это явно раздражало и сердило, он начал пререкаться с аудиторией, с теми, кто без каких-либо стеснений выражал свое недовольство происходящим, и мне казалось одно время, что вечер вот-вот может сорваться.

И вдруг с Есениным что-то произошло: он словно бы махнул рукой на бестолковый спор, завязавшийся между ним и некоторыми не слишком-то вежливыми слушателями, не желавшими выслушивать его спутников, сидящих в президиуме и часто выходивших на трибуну со своими стихами.

— А теперь я прочитаю вам свои стихи...— так, насколько помнится мне, промолвил Есенин, и аудитория, только что недовольно шумевшая, сразу стихла; все присутствующие затаили дыхание, словно в ожидании чего-то чудесного. Есенин с необыкновенным подъемом, словно полностью забыв о недавних пререканиях со слушателями, читал свои стихи — и самые последние из написанных, и те, что были созданы в прежние годы, в начале его творческого пути,— но мне больше всего запомнилось и запало в сердце одно — «Разбуди меня завтра рано...», запомнилось, может быть, потому, что именно его поэт прочел с таким страстным подъемом и захватывающим чувством, словно оно являлось самым знаменательным и вещим в его жизни и его творчестве, словно именно в нем была предрешена и предсказана вся его дальнейшая, такая сложная и трудная судьба.

Есенин читал это стихотворение так, словно исповедовался перед нами в самых сокровенных раздумьях и переживаниях, делился опытом всей своей жизни,

раскрывал свою судьбу, явленную перед нами уже не только в юношеском предчувствии, но уже и сбывшуюся наяву:

Разбуди меня завтра рано,
О, моя терпеливая мать!
Я пойду за дорожным курганом
Дорогого гостя встречать...—

и здесь само пробуждение представлялось уже не обычным и повседневным действием, совершаемым в определенный час каждым человеком, а словно бы началом какой-то новой жизни, одно предчувствие которого наполнило сердце восторгом и торжеством.

Я услышал и навсегда запомнил голос, какой остался для меня самым полным и дивным воплощением поэзии из тех, что мне лично довелось непосредственно услышать, ибо подобного ему я никогда больше уже не слышал, хотя и был свидетелем выступлений и многих поэтов и многих артистов. И все же мне не пришлось больше слышать ничего похожего по глубине самого чистого и совершенного лиризма, чуждого каким бы то ни было посторонним признакам и приметам, по степени полного растворения самого художника в сиянии и потоке этого лиризма, словно бы несущего его к каким-то чудесным и еще самому ему неведомым берегам. Да, казалось, все растворилось в этом нарастающем сиянии, оно все ширилось, все более властно захватывало замерших слушателей. А когда по всему притихшему залу послышалось:

Разбуди меня завтра рано,
Засвети в нашей горнице свет...—

то казалось, с тем светом, какой возжжен доброй материнской рукой, начинается и новое бытие человека, впервые ждущего встречи со всеми людьми, какие живут в родной стране, и готового полностью разделить с ними все самые сокровенные думы, чаяния, упования... И разве могут они сами не раскрыться перед ним до конца и не принять его в свой внутренний мир?

Не этим ли чувством порождались такие сердечные и лишенные какой бы то ни было самонадеянности стихи, оправданные впоследствии всем будущим поэта:

Говорят, что я скоро стану
Знаменитый русский поэт...

И хотя сказано это было с уверенностью и уже сбылось наяву, не слышалось в произносимых словах никакого тщеславия, скорее предчувствие того, что не так-то просто и нелегко нести на себе бремя славы,— и звучали эти слова не только как чистый голос поэта, но и как зов самой жизни, несущейся стремительным и неотвратимым потоком; а сколько в нем будет всего — и радостного и горестного!

Да, он будет знаменитым и не только потому, что мастерски владеет стихами и целиком растворяется в потоке их высокого и чистого лиризма, а и потому, что полностью раскрывается в своих самых сокровенных чувствах и стремлениях перед людьми, причастными к его творениям, и словно бы уводит их в тот прекрасный и нетленный мир, где все пронизано светом и гармонией, радостью, вызванной приближением того, всем дорогого гостя, который примчится с шапкой-месяцем на челе. Поэт обращался к любимой матери, облик которой словно сливается со всем немеркнущим светом родной земли:

Воспою я тебя и гостя,
Нашу печь, петуха и кров,
И на песни мои прольется
Молоко твоих рыжих коров,—

рыжих, вероятно, в отблесках того солнца, в котором поэт ожидает своего «дорогого гостя». Здесь и мать, оставаясь живой, близкой, с давних лет самой любимой, вместе с тем оказывалась в явном родстве с этим дорогим гостем, со всеми стихиями земли и неба, словно бы воплощала их. Вот почему именно она и призвана засветить тот свет, который будет простираться не только по родной и с детства знакомой горнице, но и по всему миру, неотъемлемой частью которого почувствовал себя поэт, и с такою полнотой и щедростью делился этим чувством и с нами, своими слушателями.

Я не знаю, так ли это было воспринято и тою широкой аудиторией, перед которой Есенин возглашал эти стихи, но каждый из присутствующих ответил на них бурными аплодисментами и восторженным ликованием, и буря оваций еще долго гремела вслед за ними. Полностью забылись все недоразумения и пререкания, еще так недавно вспыхивавшие между поэтом и его слушателями, осталось только огромное и благодарное чувство, с которым, судя по всему, не смогли справить-

ся даже те, кто еще так недавно бросал в лицо поэту дерзкие и насмешливые слова, словно пытаясь обозлить и обескуражить его.

Есенинская лирика победила всех присутствующих здесь, это было совершенно очевидно и произошло потому, что поэт не только прочел дивные стихи, словно бы приобщившие всех слушателей к какому-то особому, им открытому и навсегда родному ему, гармонически совершенному миру, пронизанному самой сердечной теплотой, но и исполнил эти стихи так, словно и сам целиком растворился в этом мире, являлся его вдохновенным и неповторимым глашатаем.

Такого полного растворения в стихии лиризма, такой захватывающей ее мощи, такого совершенного исполнения я с тех пор не слышал никогда. Это чтение стихов самим Есениным стало для меня одним из тех огромных, неповторимых и неподвластных забвению событий внутренней моей жизни, равных и подобных которому мне впоследствии не пришлось пережить и испытать, хотя с тех пор и минуло чуть ли не полвека.

Б. Соловьев

До ранней весны 1925 года я никогда не встречался с Есениным, не видал его лица. Не видал даже его портретов. Почему-то представлялся он мне рослым, широкоплечим, широконосым, скуластым, басистым. И слыхал о нем, об его личности очень немного, почти не имел общих знакомых. Но стихи его любил давно. Сразу полюбил, как только наткнулся на них, кажется, в 1917 году в каком-то журнале. И потом во время моих скитаний по Европе и Америке всегда возил с собой сборник его стихов. Такое у меня было чувство, как будто я возил с собой — в американском чемодане — горсточку русской земли. Так явственно, сладко и горько пахло от них родной землей.

«Приведем к вам сегодня Есенина»,— объявили мне как-то Пильняк и Ключарев. Это было, по-моему, в марте 1925 года. «Он давно знает вас по театру и хочет познакомиться». Рассказали, что в последние дни он шибко пил, вчера особенно, а сегодня с утра пьет только молоко. Хочет прийти ко мне почему-то непременно трезвым. Часам к двенадцати ночи я отыграл спектакль, прихожу домой. Небольшая компания моих друзей и Есенин уже сидят у меня. Поднимаюсь по ле-

стнице и слышу радостный лай Джима, той самой собаки, которой потом Есенин посвятил стихи. Тогда Джиму было всего четыре месяца. Я вошел и увидал Есенина и Джима — они уже познакомились и сидели на диване, вплотную прижавшись друг к другу. Есенин одною рукой обнял Джима за шею, а в другой держал его лапу и хриплым баском приговаривал: «Что это за лапа, я сроду не видал такой». Джим радостно взвизгивал, стремительно высовывал голову из-под мышки Есенина и лизал его лицо. Есенин встал и с трудом старался освободиться от Джима, но тот продолжал на него скакать и еще несколько раз лизнул его в нос. «Да постой же, может быть, я не хочу больше с тобой целоваться. Что же ты, как пьяный, все время лезешь целоваться!» — бормотал Есенин с широко расплывшейся детски лукавой улыбкой. Сразу запомнилась мне эта его детски лукавая, как будто даже с хитрецой улыбка.

Меня поразила его молодость. Когда он молча и, мне показалось, застенчиво подал мне руку, он показался мне почти мальчиком, ну, юношей лет двадцати. Сели за стол, стали пить водку. Когда он заговорил, сразу показался старше, в звуке голоса послышалась неожиданная мужественность. Когда выпил первые две-три рюмки, он сразу заметно постарел. Как будто усталость появилась в глазах; на какие-то секунды большая серьезность, даже некоторая мучительность застывали в глазах. Глаза и рот сразу заволновали меня своей огромной выразительностью. Вот он о чем-то заспорил и внимательно, напряженно слушает оппонента: брови слегка сдвинулись, не мрачно, не скорбно, а только упрямо и очень серьезно. Чуть приподнялась верхняя губа — и какое-то хорошее выражение, лицо пытливого, вдумчивого, в чем-то очень честного, в чем-то даже строгого, здорового парня,— парня с крепкой «башкой».

А вот брови ближе сжались, пошли книзу, совсем опустились на ресницы, и из-под них уже мрачно, тускло поблескивают две капли белых глаз — со звериной тоской и со звериной дерзостью. Углы рта опустились, натянулась на зубы верхняя губа, и весь рот напомнил сразу звериный оскал, и весь он вдруг напомнил готового огрызаться волчонка, которого травят.

А вот он встряхнул шапкой белых волос, мотнул головой — особенно, по-своему, но в то же время и очень по-мужицки — и заулыбался широкой, сочной,

озаряющей улыбкой, и глаза засветились «синими брызгами», действительно стали синие.

Сидели долго. Пили. О чем-то спорили, галдели, шумели. Есенин пил немного, меньше других, совсем не был пьян, но и не скучал, по-видимому, был весь тут, с нами, о чем-то спорил, на что-то жаловался. Вспоминал о первых своих шагах поэта, знакомстве с Блоком. Рассказывал и вспоминал о Тегеране. Тут же прочел «Шаганэ». Замечательно читал он стихи. И в этот первый вечер нашего знакомства, и потом, каждый раз, когда я слышал его чтение, я всегда испытывал радость от его чтения. У него было настоящее мастерство и заразительная искренность. И всегда — сколько я его ни слышал — у него, и у трезвого и у пьяного, всегда становилось прекрасным лицо, сразу, как только, откашлявшись, он приступал к первому стихотворению. Прекрасное лицо: спокойное (без гримас, без напряжения, без аффектации актеров, без мертвой монотонности поэтов), спокойное лицо, но в то же время живое, отражающее все чувства, какие льются из стихов. Думаю, что, если бы почему-нибудь не доносился голос, если бы почему-нибудь не было его слышно, наверно, можно было бы, глядя на его лицо, угадать и понять, что именно он читает.

Джиму уже хотелось спать, он громко и нервно зевал, но, очевидно, из любопытства присутствовал, и, когда Есенин читал стихи, Джим внимательно смотрел ему в рот. Перед уходом Есенин снова долго жал ему лапу: «Ах ты, черт, трудно с тобой расстаться. Я ему сегодня же напишу стихи. Приду домой и напишу».

Компания разошлась. Я сидел и разбирался в своих впечатлениях. Все в нем, Есенине, ярко и сбивчиво, неожиданно-контрастно. Тут же на глазах твоих он меняет лики, но ни на секунду не становится безличным. Белоголовый юноша, тонкий, стройный, изящно, ладно скроен и как будто не крепко сшит, с васильковыми глазами, не страшными, не мистическими, не нестеровскими, а такими живыми, такими просто синими, как у тысячи рязанских новобранцев на призыве — рязанских, и московских, и тульских,— что-то очень широко русское. Парижский костюм, чистый, мягкий воротничок, сверху на шее накинуто еще шелковое сиреневое кашне, как будто забыл или не захотел снять в передней. Напудрен. Даже слишком — на бровях и ресни-

цах слой пудры. Мотнул головой, здороваясь, взметнулись светло-желтые кудри рязанского парня и дешевыми духами парикмахерского вежеталя повеяло от них. Рука хорошая, крепкая, широкая, красная, не выхоленная, мужицкая. Голос с приятной сипотцой, как будто не от болезни, не от алкоголя, а скорее от темных сырых ночей, от соломы, от костров в ночи. Заговорил этим сиплым баском — сразу растаяла, распылилась, как пудра на лице, испарилась, как парикмахерский вежеталь, вся «европейская культура», и уже не лезут в глаза ни костюм, ни кашне на шее, ни галстук парижский. А выпил стакан красного, легкого вина залпом, но выпил, как водку, с привычной гримасой (как будто очень противно) и — ох, Рязань косопузая пьет в кабаке. Выпил, крякнул, взметнул шапкой волос и, откашлявшись, начал читать:

Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.

И кончил тихо, почти шепотом, почти молитвенно:

Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвесть и умереть.

Ох, подумал я, с какими иными «культурами» общается этот напудренный, навежеталенный, полупьяный Есенин, в какие иные миры свободно вторгается эта наша «косопузая Рязань».

Прихожу как-то домой — вскоре после моего первого знакомства с Есениным. Мои домашние рассказывают, что без меня заходили трое: Есенин, Пильняк и еще кто-то, Тихонов, кажется. У Есенина на голове был цилиндр, и он объяснил, что надел цилиндр для парада, что он пришел к Джиму с визитом и со специально ему написанными стихами, но так как акт вручения стихов Джиму требует присутствия хозяина, то он придет в другой раз. И все трое молча ушли. Молча — и «нам показалось,— добавили мои домашние,— что все трое как будто слегка пошатывались».

В. Качалов

После долгой разлуки встретился я с Есениным, помнится, летом 1925 года. Был я тогда на охоте за Окой, в лугах. Любил побродить с ружьишком... Иду это,

окрест посматриваю и вижу в отдалении две женские фигуры. А когда ближе подошел, то одна женщина, как-то несуразно одетая, бросилась ко мне, готовая обнять. «Вот так новость!» — думаю. И вдруг слышу звонкий, веселый голос: «Иван, дружище! Давно же мы не виделись!». Тут-то я и узнал Есенина. Оказалось, накануне был он на свадьбе у своих дальних родственников Ерошиных, а на другой день, соблюдая старый обычай, ходил по селу ряженым, таким и увидел я его в лугах.

Подошла к нам и незнакомая мне молодая женщина с длинными косами. После я узнал, что это была Галя Бениславская.

Идем мы втроем по лугам к Оке, беседуем, а навстречу нам крестьянин на коне верхом. Поднял руку Есенин и остановил его. Попросил дать лошадь — Галя прокатиться захотела. А у самого бумажные деньги в руке. «Заплачу»,— сказал.

Подсадил Сергей Галю на коня, и понеслась она по лугам, как настоящая наездница.

Галя скоро вернулась, и Есенин сунул деньги в руки довольному мужику. А как подошли к Оке — сели они, Есенин и Галя, в лодку и уплыли от меня... Навсегда уплыли...

— О чем же вы беседовали с Есениным?

— Он вспоминал о школьной жизни, а я — о ловле раков и всяких шалостях в детстве. Спросил, как у него идут дела. Он помрачнел, ничего не сказал, и беседа наша нарушилась. Лучше бы не спрашивать...

И. Копытин

В июне 1925 года Есенин зачастил в Литературно-художественный отдел Госиздата. Кажется, он вернулся тогда из Баку. Пошли слухи о женитьбе его на С. А. Толстой. И неизменно при этом повторяли: на внучке Толстого. Наконец он мне и сам сказал:

— Евдокимыч *, я женюсь. Живу я у Сони. Это моя жена. Скоро будет свадьба. Всех своих ребят позову да несколько графьев. Народу будет человек семьдесят. А Катя — сестра — выходит замуж за поэта Наседкина.

---

* Так он называл меня почти с первой встречи.

Почему-то больше всех хлопотала и волновалась о свадьбе А. А. Берзинь, считавшаяся близким другом Есенина. Чаще всего с нею он и заходил ко мне в то время. Шли переговоры о новой книжке стихов Есенина под названием «Рябиновый костер». Литературно-художественный отдел заключил договор на эту книжку. Договор заключили спешно, чтобы иметь какой-либо повод выдать ему из кассы сто рублей денег. Впоследствии этот договор аннулировали, когда заключили договор на трехтомное «Собрание стихотворений».

Наблюдая в этот месяц Есенина,— а приходил он неизменно трезвый, живой, в белом костюме (был он в нем обаятелен), приходил с невестой и три раза знакомил с ней,— я сохранил воспоминание о начале, казалось, глубокого и серьезного перелома в душе поэта. Мне думалось, что женится он по-настоящему, перебесился — дальше может начаться крепкая и яркая жизнь. Скептики посмеивались:

— Очередная женитьба! Да здравствует следующая!

А он сам как-то говорил:

— С Соней у меня давно, давно... давнишний роман. Теперь только женимся.

Скептики оказались правы: в середине месяца он приходил два раза пьяный, растерзанный. Досужие языки шептали:

— Вчера сбежал от невесты! Свадьбы не будет!

И уже приходили колебания — делаемый им шаг становился случайным.

Незадолго перед этими днями Литературно-художественный отдел выпустил его книжку «Березовый ситец». Двенадцатого июня он пришел в отдел за авторскими экземплярами в сопровождении А. А. Берзинь, пошатываясь, ухмыляясь, тускло глядя. Меня зачем-то вызвали в другой отдел. Когда через некоторое время я вернулся, Есенина уже не было, но мне кто-то передал от него книжку с надписью красными чернилами:

«Сердце вином не вымочу,
Милому Евдокимочу,
Пока я тих,
Эта книга и стих.

С. Есенин

1925, 12/VI».

Сердце было вымочено через полгода.

В середине июня 1925 года в Литературно-художественном отделе Госиздата возникла мысль об издании «Собрания стихотворений» Сергея Есенина. Неоднократно до того мне приходилось беседовать с поэтом об издании. Однажды он пришел довольно рано.

— Евдокимыч, я насчет моего «Собрания». Мы с тобой говорили в прошлый раз. У меня, понимаешь, свадьба, я женюсь. Вместе со мной в один день сестра выходит замуж за Наседкина. Нельзя ли мне сразу получить тысячи две денег. Только надо скоро.

Я его осведомил, что едва ли можно будет сделать так скоро, как он предполагает: договор на большую сумму, необходимо будет получить согласие высших органов Госиздата и, конечно, поставить дело на «формальные» колеса, подать заявление, сговориться об условиях и т. д.

Дня через два он появился с Наседкиным и под мою диктовку наспех написал следующее заявление:

«В Литературный отдел Госиздата

Сергея Есенина.

Предлагаю литерат. отд. издать собрание моих стихотворений в количестве 10 000 строк, по рублю за строку, с единовременной выдачей в 2000 рублей и остальные с ежемесячной выдачей по 1000 руб., начиная с 1 августа 1925 г. по 1 апреля 1926 г. сроком издания на 2 года, тиражом не более 10 000 т. Мое собрание стихотворений и поэм никогда не издавалось. *Сергей Есенин.* 17/VI-25».

Все условия его были приняты, кроме одного: единовременной выдачи двух тысяч рублей. Летние месяцы — время обычного затишья в книгопродавческой деятельности — были трудными, и Госиздат вынужден был сводить свои расходы до минимума. Через неделю, 30 июня, был подписан договор: поэт обеспечивал свою жизнь на много месяцев вперед. С июля началась выдача денег, по тысяче рублей ежемесячно. Факт заключения договора с Есениным по высшей ставке — рубль за строку, никому из других поэтов не назначаемой, свидетельствовал о той высокой оценке есенинского творчества, какая была в Государственном издательстве. Кроме того, Госиздат договорился с поэтом о печатании всех его вновь написанных стихотворений от-

дельными книжками после предварительного их распубликования Есениным в периодической печати. Как общее правило, стихи на рынке идут плохо — эпоха наша полуравнодушна к стихам,— и даже стихи Есенина, например «Березовый ситец», шли медленно, тем не менее Госиздат почел своей обязанностью издать его «Собрание стихотворений».

Надо было видеть ту редкую радость, которая была в синих глазах Есенина, когда дело закончилось во всех инстанциях.

— Евдокимыч,— говорил он,— я написал тысяч пятнадцать строк. Я, понимаешь, отберу самое лучшее, тысяч десять. Этого довольно: будет три тома. Понимаешь, первое мое «Собрание». Надо издать только хорошо. Я теперь примусь за работу.

Обращение Есенина ко мне объяснялось тем, что главным образом мне пришлось иметь с ним дело в оформлении разных деталей: заведующим отделом Н. И. Николаевым мне это было поручено особо.

Уже вскоре Есенин принес первую партию стихотворений, затем другую. Рукопись была в хаотическом состоянии. Я засмеялся, засмеялся и он.

— Это ничего,— смеясь, говорил Есенин,— я, понимаешь, как-нибудь зайду, мы с тобой вместе и разберемся.

У него не было никакого плана издания, рукопись была неудобна для набора, в разных местах попадались одни и те же стихотворения, поэмы мешались с ранними стихотворениями и наоборот, истрепанные лоскутки старых газет лежали рядом с переписанными от руки стихотворениями, конечно, без знаков препинания,— словом, смешение почерков, разных машинок, газет, вырезок из журналов, полная неразбериха...

Отложили до более благоприятного случая. А летом внезапно, не сказавшись, Есенин исчез — в Баку. Прождали месяца два. В августе мне поручили написать ему письмо. Ухмыляясь и стремясь быть строгим и официальным, я послал ему письмо, в котором напомнил о невозможности производить набор по его оригиналам, об отсутствии всякого плана издания, и просил подумать его, в каком виде он хочет издать «Собрание стихотворений». Тут же указал несколько возможных видов издания: хронологический, по циклам, по родам и видам поэзии. Ответ получил по телеграфу: «Приезжаю» (31/VIII). Скоро он появился

в Москве. После жена Софья Андреевна рассказывала, что письмо его встревожило и явилось поводом уехать из наскучившего ему Баку, отменив назначенную поездку в Тифлис и Абас-Туман.

По возвращении он несколько раз был вместе с женой в отделе, и мы втроем, усевшись тут же за стол, работали над распланированием стихотворений.

— Я, понимаешь, Евдокимыч, хочу так,— заговорил он, появившись в первый же раз после приезда,— я обдумал... В первом томе — лирика, во втором — мелкие поэмы, в третьем — крупные. А? Так будет неплохо. Тебе нравится?

— Как ты хочешь,— отвечал я,— это твое дело. Мы тебе не будем подсказывать никакого другого способа, лишь бы можно было скорее приступить к работе.

Остановились на распределении по родам и видам поэзии. Есенин унес из отдела свою непричесанную груду стихотворений, еще более растрепавшуюся, так как за время его отсутствия она неоднократно была читаема в отделе разными лицами.

Недели через полторы стихи вернулись в более налаженном виде, но — увы — и в таком обличье посылать их в типографию не представлялось возможным: рукопись была не пронумерована, без оглавления, на одном листе соединялось по несколько стихотворений без начала и конца, кое-где было по несколько дат, зачеркнутых и перечеркнутых и опять восстановленных, не соблюдена строфичность, тексты не сверены после машинистки и т. д.

Нетрудно было рассердиться на другого, но на этого обаятельного человека, серьезно и детски синевшего глазами над тобой, было свыше человеческих сил рассердиться.

— Теперь, кажется, совсем хорошо,— торопливо суетился он у стола,— тут вот — лирика, тут — поэмы. Я еще подбавлю. Соня переписывает.

Тогда и условились еще раз-два просмотреть рукопись вместе со мной в отделе...

Поэт мельком заходил ко мне, раздраженно бормотал о каких-то и от кого-то обидах, собирался куда-то уезжать, а потом внезапно поднимался, сулил зайти — и не заходил. При таком его состоянии работа над изданием была немыслима.

Вдруг как-то позвонила жена по телефону: и на второй, на третий день он пришел вместе с ней.

Мы уселись за стол. Я выложил стихотворения. Есенин исхудал, побледнел, руки у него тряслись, на лице его, словно от непосильной работы, была глубочайшая усталость, он капризничал, покрикивал на жену, был груб с нею... И тотчас, наклоняясь к ней, с трогательной лаской спрашивал:

— Ты как думаешь, Соня, это стихотворение сюда лучше?

А потом сразу серчал:

— Что же ты переписала? Где же то-то, понимаешь, недавно-то я написал? Ах ты!..

И так мешались грубость и ласка все время.

В отделе было душно и жарко. На лбу у него был пот, влажные руки он вытирал о пиджак.

— Сережа, ты разденься,— подсказал я,— тебе будет удобнее.

А в душе думалось: вот он выйдет сейчас потный на улицу, простынет — и чахотка доделает свое дело. В эти осенние месяцы я много раз слышал рассказы о чахотке у поэта, об этом даже писал какой-то неловкий репортер одной из московских газет, сообщая о своем свидании в Италии с Максимом Горьким, который будто бы сказал:

— У Есенина горловая чахотка. Тут уж ничего сделать нельзя.

Общее настроение отражалось и на мне.

Он скинул пальто и кашне и, будто всегда делал так, подал их жене, а та, словно всегда раздевала его, взяла и спокойно положила на соседний свободный стол. Не скрою, я испытывал неловкость.

Есенин торопливо, умело и знакомо шабаршился в рукописи, видимо, помня каждое стихотворение, где оно лежало, и складывал их грудкой. Листки расползались, он сердился, хватал их... Сделали первый том. Начали определять даты написания вещей. Тут между супругами возник разлад. И разлад этот происходил по ряду стихотворений. Есенин останавливал глаза на переписанном Софьей Андреевной произведении и ворчал:

— Соня, почему ты тут написала четырнадцатый год, а надо тринадцатый?

— Ты так сказал.

— Ах, ты все перепутала! А вот тут надо десятый. Это одно из моих ранних... Нет! Не-е-т! — Есенин задумывался.— Нет, ты права! Да, да, тут правильно.

Но в общем у меня получилось совершенно определенное впечатление, что поэт сам сомневался во многих датах. Зачеркнули ряд совершенно сомнительных. Долго обсуждали — оставлять даты или отказаться от них вовсе. Не остановились ни на чем. Проработали часа полтора-два. И сделали два тома. Есенин перескакивал от одного тома к другому, переделывал по нескольку раз, быстро вытаскивая листки из грудки и перекладывая их, снова нумеровали, снова ставили даты, писали шмуцтитула и уничтожали их. Я записывал в каждом томе, чего недоставало и что хотел поэт донести потом: он диктовал. Остановились над поэмой «Страна негодяев». Есенин перелистал ее, быстро зачеркнул заглавие и красным карандашом написал: «Номах».

— Это что? — спросил я.

— Понимаешь, надо переменить заглавие. Номах это Махно. И Чекистов, ты говорил, я согласен с тобой, выдуманная фамилия. Я переменю. И вообще я в корректуре кое-что исправлю.

— А мне жалко названия «Страна негодяев»,— сказал я.— «Номах» очень искусственно.

Впоследствии он опять восстановил название «Страна негодяев».

Собирались и еще и еще. Есенин несколько раз приносил новые стихотворения, но уже небольшими частями, проставлял некоторые даты, а главную, окончательную проверку по рукописям откладывал до корректуры.

И не дождался, не захотел корректировать!

Планирующие органы Госиздата наметили сдачу в производство «Собрания стихотворений» в ноябре с тем, чтобы начиная с января выпускать его по одному тому в месяц. В конце ноября все три тома были сданы в набор. В каждое свое посещение Есенин неизменно начинал разговор о своих стихах, спрашивал о корректурах, нетерпеливо ожидал их. Портрет, напечатанный в первом томе, он принес сам и хотел непременно поместить его. Выбрал он и формат книжек и не хотел никакого иного.

Последний раз он принес большое стихотворение «Сказка о пастушонке Пете, его комиссарстве и коровьем царстве». Был он под сильным хмельком. Мы все скопились в одно место. Есенин громко и жарко читал, размахивая листками.

— Это мое первое детское стихотворение,— кончив, сказал он.

Все улыбались и хвалили стихи. А когда он ушел, многие сразу запомнили и твердили отдельные строфы. Первое «Собрание стихотворений» Есенина, таким образом, сделано им самим. От временного невнимания к нему, вызванного больным состоянием поэта, он постепенно перешел буквально к страстному интересу, постоянно говорил о нем и даже мечтал с трепетом времен «Радуницы» — первой книги поэта.

— Понимаешь, Евдокимыч,— как-то тревожно похрипывал он,— будет три толстых книжки. Ты только каждое стихотворение пусти с новой страницы, как вот Демьяна Бедного печатаете. Не люблю я, когда стихи печатают как прозу.

И он быстро перебирал пальцами, будто листал будущие тома своих стихотворений.

И. Евдокимов

Вторично в Москве моя встреча с Есениным произошла на квартире у Галины Бениславской (в Брюсовском переулке) в день Парижской коммуны — 18 марта 1925 года. В этот день мы, трое односельчан — я, Клавдий Воронцов и Сергей Брежнев, приехав в Москву, решили навестить Есенина. Предварительно позвонили ему по телефону. К телефону подошла Екатерина Александровна. На мой вопрос, дома ли Есенин, она сказала, что его дома нет, и поинтересовалась кто его спрашивает. Когда же узнала, что звонят константиновские, то попросила подождать минутку. Через некоторое время к телефону подошел Есенин. Он очень обрадовался нам и велел немедленно приезжать и обязательно захватить с собой гармошку. При всем желании гармошки нам разыскать не удалось, мы приехали без нее. Есенин встретил нас в коридоре. Обнимая, провел в комнату и начал хлопотать вместе с сестрами, как бы лучше угостить земляков.

Пока мы сидели, подошли Леонид Леонов, Всеволод Иванов и какие-то дамы. В необычной для нас обстановке мы почувствовали себя немного стесненными. Это быстро заметил Есенин и все внимание уделил землякам, стремясь сделать наше пребывание у него по-домашнему простым. Есенину в тот вечер очень хотелось попеть и послушать гармошку. Он позвонил кому-то, и вскоре гармошку привезли. Долго в этот вечер мы пели русские песни и наши рязанские частушки.

Последний раз мы встречались с Есениным летом 1925 года. В один из погожих дней мы отправились веселой компанией в Кузьминское, на шлюз. Были тут и однокашники Есенина по Константиновской школе, и наши учителя, и просто отдыхающие дачники. Шумная процессия растянулась по дороге. Есенин приотстал. Я подошел к нему, и всю дорогу до шлюза мы шли вместе. Есенин был сосредоточен и, как мне показалось, чем-то удручен. Какие-то заботы и грустные думы одолевали его.

Разговор зашел о литературе, о писательской среде. Есенин заговорил о недоброжелательном отношении к его творчеству со стороны некоторых критиков и части писательской среды. «Все травят меня, донимают мелочными укусами, не дают спокойно работать. Что я им сделал?» — говорил он. Потом заспорили о поэзии. Я в то время был увлечен Надсоном и с восторгом говорил о его стихах и даже процитировал:

Тяжелое детство мне пало на долю.
Из прихоти взятый чужою семьей,
По темным углам я наплакался вволю,
Изведав всю тяжесть подачки людской.

Есенин слушал внимательно, а потом сказал:

— Ты брось свои затеи с Надсоном. Это сплошное слюнтяйство. Читай побольше Пушкина. Это наш учитель. Я ведь тоже когда-то шел не той дорогой. Теперь же я вижу, что Пушкин — вот истинно русская душа, вот где вершины поэзии.

Было немного странно смотреть на этого до глубины души русского человека, шагающего в модном заграничном костюме по пыльной деревенской дороге.

И еще осталось от этой беседы ощущение того, что жизнь нашего земляка в столице не из легких.

В Кузьминском мы пробыли до вечера. Возвращались домой всей гурьбой. Есенин дурачился вместе с нами, пел частушки. Чувствовалось, что в эту минуту грустные думы отлегли у него от сердца.

Запомнилась еще одна встреча в этот приезд Есенина. Как-то под вечер мы сидели у Клавдия Воронцова. Пришел и Есенин. Мы попросили его почитать стихи. Он охотно согласился, ибо такими просьбами односельчане его редко донимали. Как это ни покажется сейчас странным, но так получалось, что Есенин, стихи которого уже тогда переводились на иностранные языки,

в своем родном селе был как поэт мало известен. Все здесь смотрели на него как на односельчанина, наезжающего летом погостить из города. Нам, местным учителям, даже не пришло в голову шире познакомить константиновцев с поэзией Есенина. Ни разу не устроили мы и литературного вечера, когда он бывал в селе. Говорить об этом теперь приходится с болью, сожалением и грустью. Кто знает, может быть, видя такое «внимание» к своему творчеству со стороны нас, односельчан, Есенин временами с грустью думал о том, что:

Моя поэзия здесь больше не нужна,
Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен.

С. Соколов

Весной 1925 года Крученых предложил издательству «Современная Россия», в котором я работал, книгу, направленную против Есенина. Заглавие книги было следующее: «Почему любят Есенина». «Современная Россия» отказалась печатать книгу Крученых, так как Есенин был сотрудником издательства — две книги Есенина вышли в «Современной России», к тому же доводы критика были неосновательны.

Летом, придя в издательство, Крученых встретил там одного из друзей Есенина — А. М. Сахарова. Узнав о книге Крученых, Сахаров стал доказывать, что выступление злостного критика не повредит Есенину; напротив, прибавит поэту лишнюю крупицу славы. Сахаров обещал переговорить по этому поводу с Есениным. Через некоторое время выяснилось, что Есенин ничего не имеет против выступления недоброжелательного критика, ничего не имеет против, если книга Крученых выйдет в «Современной России».

Разговоры о книге Крученых тянулись до осени. «Современная Россия», несмотря на согласие Есенина, считала книгу Крученых негодной.

В ноябре Крученых зашел в «Современную Россию», встретил там Есенина и спросил, как он относится к факту напечатания книги, направленной против него? Есенин сказал, что он не имеет никакого морального права вмешиваться в личное дело Крученых; критика, разумеется, свободна; это настолько очевидно, что не стоит и разговаривать.

Есенин и я направляемся ко мне на квартиру. Крученых следует за нами. Является Александровский. Есенин в хорошем настроении. Достает бутылку портвейна. Начинает подшучивать над Крученых:

— Крученых перекрутил, перевернул литературу.

— Напишите это и подпишитесь! — засуетился Крученых. Стал оглядываться по сторонам, ища бумаги, обшарил карманы, полез в портфель и быстро вынул необходимые канцелярские принадлежности. Услужливо положил бумагу на книгу, чтобы удобнее было писать.

Крученых во что бы то ни стало хотел получить письменное согласие на печатание книги, направленной против Есенина.

Есенин начал возмущаться:

— При чем тут согласие, что за вздор? При чем тут подписка? Что это — подписка о невыезде, что ли?

Крученых продолжал просить. Есенин, саркастически ухмыляясь, написал под диктовку Крученых эту фразу.

Есенин не спеша налил портвейн. Выразительно обнес Крученых. Подчеркнул этот жест. Крученых подставил рюмку.

Есенин, негодуя, крикнул:

— Таких дураков нам не надо!

Назревало недоразумение. Буря вот-вот должна была разразиться. Крученых учел обстановку. Спешно собрал свои канцелярские принадлежности и юркнул в дверь.

1925 г. Осень. Ноябрь. Встречаю Есенина в Столешниковом переулке:

— Вечно ты шатаешься, Сергей! Когда же ты пишешь?

— Всегда.

Цитирую:

— Осужден я на каторге чувств...

— Вертеть жернова поэм,— заканчивает Есенин, цитируя себя.

1925 г. Осень. Я купил два старинных кресла ампир. Огромные, как троны. Из красного дерева, с золото-зеленым бархатом, с бронзовыми крылатыми сфинксами и амурами. Есенин, приходя ко мне, обычно садился в одно из этих кресел за маленьким восьмиугольным столиком, против меня. Раздевался он редко. Иногда снимал только шапку. В последнее время я привык ви-

деть его в шубе с бобровым воротником, в бобровой шапке.

В таком наряде, широко и выразительно размахивающий руками при разговоре, этот замечательный человек был похож на молодого древнерусского боярина, вернее — на великолепного разбойничьего атамана. Темной осенней ночью в дремучем лесу снял он с боярина шубу и бобровую шапку.

В такой одежде на золото-зеленом фоне сияла его когда-то светло-золотая, а теперь тускнеющая испепеленная голова. Глядя на него, сидящего в огромном кресле, освещенного зеленым и золотым, я иногда вспоминал его «Москву кабацкую» — стихи, относящиеся к нему самому, к его внешности:

Тех волос золотое сено
Превращается в серый цвет.

Запрокинулась и отяжелела
Золотая моя голова.

1925 г. Ноябрь. В полдень приходит ко мне Есенин. Есенин возбужден. В шубе с бобровым воротником и в бобровой шапке. Непрерывно говорил. Был оживлен чрезвычайно.

— Знаешь ли ты, упрямый. Я ломаю себя. Когда истощаются средства, то, знаешь ли, как можно писать стихи? Дай бумаги!

Разрезали бумагу на мелкие квадратики. Начали играть в примитивную стихомашину.

— Глагол — пустяк, глагол подразумевается, глагол будет найден после. Пиши существительные, я буду писать прилагательные,— заметил Есенин.

Стали наугад соединять его прилагательные с моими существительными. Игра была неудачной. Я намеренно, в шутку, подбирал существительные, ничего не имеющие общего с есенинским поэтическим словарем. Я действовал, как человек, бросающий под вертящийся мельничный жернов вместо зерен булыжник.

Насколько мне известно, Есенин прибегал иногда к способу писания стихов посредством примитивной стихомашины. У него была небольшая сумка, куда он складывал слова, написанные на отдельных бумажках, он тряс эту сумку, чтобы смешать бумажки, затем вынимал несколько бумажек. Комбинация из слов, полу-

ченных таким путем, давала первый толчок к работе над стихом.

Этим способом писания стихов поэт хотел расширить рамки необходимого, хотел убежать из тюрьмы своего мозга, хотел многое предоставить стечению обстоятельств, игре случая. Этот способ писания стихов напоминает игру в счастье, гаданье по билетикам, которые вынимает сидящий в клетке уличный попугай.

Разумеется, к искусственному способу писания стихов Есенин относился несерьезно; это была только забава, и притом на короткий срок. Припоминаю, что лет пять назад я несколько раз говорил с Есениным об устройстве стихомашины. В то же время я изложил Валерию Брюсову свой проект стихомашины. Я предлагал устраивать вечера стихомашины для публики. Валерий Брюсов заметил, что мой проект напоминает «великое искусство» Луллия. Известно, что Раймунд Луллий (1234—1315) изобрел систему «великого искусства», состоящую в логико-механическом методе расположения понятий по определенным местам и определенным способом, для того чтобы таким путем, то есть путем различной перестановки и сочетания понятий, находить чисто умозрительным способом все, что можно сказать о предмете. Между прочим, Джордано Бруно увлекался «искусством» Луллия.

После неудачной игры в стихомашину Есенин прочел новое стихотворение. Оно было строгое, безукоризненное. Зная, что в последнее время Есенина часто пилили за неудачные стихи, я заметил, что напрасно его враги и друзья в кавычках нападают на него, позволяют себе упрекать его в упадке сил, позволяют делать намеки на то, что будто бы он исписался; последнее стихотворение показывает, что он движется вперед, это пушкинские стихи.

Есенин заговорил о форме стиха: о концовых созвучиях.

— Стихия и Россия нельзя рифмовать. А между тем наши предшественники, например Блок, почти все время так рифмовали. Сочетание разнородных согласных их не коробило, у них не так тонок слух, их удовлетворяли одинаково звучащие гласные. У нас концовые созвучия должны быть иные, согласные должны быть или одинаковы, или близки друг к другу по звучанию. Вот у меня: проси я — Россия.

Дальше Есенин предложил обсудить следующий вопрос.

Какую из рифмуемых строчек следует ставить первой — короткую ли с окончанием на гласный или удлиненную согласными звуками?

Я дал примеры: тренькать — деревенька, голубым — на дыбы, скорее — канареек, перестать — уста, Руси — колесить.

Есенин утверждал, что строчку с кратким окончанием следует ставить второй, так, по его мнению, лучше звучит. Я не совсем соглашался с Есениным: такая расстановка рифмуемых строк, может быть, в большинстве случаев звучит лучше, но бывает и обратно; по-видимому, здесь нужно учитывать другие элементы стиха. В доказательство своего мнения я привел примеры из народных песен и отрывки из современных поэтов, а также отрывки из стихов Есенина.

Есенин прервал спор:

— Я тебя разыграю.

Это означало, что Есенин начинает игру в «хохотушку». Странная игра в хохотушку возникла во время военного коммунизма. Полуголодные поэты собирались в комнате одного из своих товарищей, уславливались: можно говорить в глаза друг другу что угодно — правду и ложь, насмешливое, злое, отвратительное, грубое,— никто не имеет права обижаться. Число приглашаемых на хохотушку определялось заранее, человек пять-шесть. Подбор участников был строгий. Иногда заранее намечалась и жертва: будем изводить такого-то. Кто-нибудь из участников доставал чаю. Настоящий китайский чай в голодное время был редкостью, поэтому он действовал как хорошее возбуждающее средство, как легкий опьяняющий напиток. Женщин на хохотушку не приглашали: при них игра становилась невозможной. Пригласили однажды поэтессу, игру пришлось прекратить. Игра в хохотушку — это своеобразный «пир во время чумы».

Есенин в хохотушках участвовал редко. В характере этого великого лирика отсутствовала саркастическая соль. У него не было ни одного едкого сатирического стихотворения. Юмористические стихи его, написанные по случаю, всегда пресны.

Есенин начал игру. Он нападал. Я защищался, намеренно давая ему козыри в руки, чтобы подогреть игру. Я не принял брошенного вызова: я знал, что Есе-

нин болен, и не хотел играть на нервах больного человека. Под конец игра приняла вид насмешливой литературной беседы. Говорили быстро, перебивая друг друга, одновременно.

Есенин понял, что я намеренно не принимаю вызова, не затрагиваю его больные места. Это тронуло его. Он встал, привлек меня к себе. Обнялись и крепко поцеловались. Он собрался уходить. Я провожал его. Он снова в коридоре квартиры продолжал игру. Я защищался. Вышли на площадку лестницы. Снова обнялись и расцеловались.

1925 г. В Доме печати был вечер современной поэзии. Меня просили пригласить на вечер Есенина. Я пригласил и потом жалел, что сделал это: я убедился, что читать ему было чрезвычайно трудно. Поэтов на вечере было много — в программе и сверх программы. Есенину долго пришлось ждать очереди в соседней комнатке. Его выступление отложили к концу. Опасались, что публика, выслушав Есенина в начале вечера, не захочет слушать других поэтов и разойдется. Есенин читал новые, тогда еще не опубликованные стихи из цикла «Персидские мотивы» и ряд других стихотворений. Голос у него был хриплый. Читал он с большим напряжением. Градом с него лил пот. Начал читать — «Синий туман. Снеговое раздолье...». Вдруг остановился — никак не мог прочесть заключительные восемь строк этого вещего стихотворения:

Все успокоились, все там будем,
Как в этой жизни радей не радей,—
Вот почему так тянусь я к людям,
Вот почему так люблю людей.

Вот отчего я чуть-чуть не заплакал
И, улыбаясь, душой погас,—
Эту избу на крыльце с собакой
Словно я вижу в последний раз.

Его охватило волнение. Он не мог произнести ни слова. Его душили слезы. Прервал чтение. Через несколько мгновений овладел собой. С трудом дочитал до конца последние строки.

Это публичное выступление Есенина было последним в его жизни. Есенин прощался с эстрадой.

1925 г. Ноябрь. В кресле, против меня, Есенин.

Есенин возбужден. Глаза сверкают. Его возбуждение невольно передается и мне. Действует как гипноз.

Мною овладевает нервное веселье. Вскинув правую руку, как деревенский оратор:

— Напиши обо мне некролог.

— Некролог?

— Некролог. Я скроюсь. Преданные мне люди устроят мои похороны. В газетах и журналах появятся статьи. Потом я явлюсь. Я скроюсь на неделю, на две, чтобы журналы успели напечатать обо мне статьи. А потом я явлюсь.

Вскрикивает:

— Посмотрим, как они напишут обо мне! Увидим, кто друг, кто враг!

И. Грузинов

В поисках прохлады присели здесь на скамью под липой Есенин с Бабелем. Сидел с ними и я.

Утром Бабель по телефону предложил мне зайти за ним к концу дня, то есть ровно в пять часов, в редакцию журнала «Красная новь», где печатались тогда из номера в номер его рассказы. Поднимаясь по плохо отмытой мраморной лестнице старомосковского трехэтажного особняка в Успенском переулке, я прошмыгнул мимо закончивших занятия работников журнала. С портфелем в руке спускался А. Воронский, за ним В. Казин и С. Клычков. В опустевшей редакции оставались чего-то не договорившие Бабель с Есениным. Есенин сидел на письменном столе, он болтал ногами, с них спадали ночные туфли. Бабель стоял посредине комнаты, протирал очки. Он вообще часто протирал очки. Есенин уговаривал Бабеля поделить какие-то короны. Вникнув в их разговор, я разобрал:

— Себе, Исаак, возьми корону прозы,— предлагал Есенин,— а корону поэзии — мне.

Ласково поглядывавший на него Бабель шутливо отнекивался от такой чести, выдвигая другие кандидатуры. Представляя меня Есенину, он пошутил:

— Мой сын.

Озадаченный Есенин, всматриваясь в меня, что-то соображал. Выбравшись на улицу, мы завернули в пивную у Мясницких ворот. Сейчас на этом месте павильон станции метро. Пил Есенин мало и только пиво марки Корнеева и Горшанова, поданное на стол в обрамлении семи розеток с возбуждающими жажду закусками — сушеной воблой, кружочками копченой колбасы,

ломтиками сыра, недоваренным горошком, сухариками черными, белыми и мятными. Не дал Есенин много пить и разыскавшему его пареньку богатырского сложения. Паренька звали Иван Приблудный — человек способный, но уж чересчур непутевый. С добрым сердцем, с лицом и силой донецкого шахтера, он ходил за Есениным, не очень им любимый, но и не отвергаемый.

Покинув пивную, пошли бродить. Шли бульварами, сперва по Сретенскому, затем по Рождественскому, где тогда еще был внизу Птичий рынок, и, потеряв по дороге Приблудного, поднялись к Страстному монастырю. Здесь и присели под липой, у кирпичной стены, за которой после революции поселился самый разнообразный народ. На Есенина оглядывались,— кто узнавал, а кто фыркал: костюм знатный, а на ногах шлепанцы.

Есенин, ездивший год назад в Америку, рассказывал Бабелю о нью-йоркских встречах. Скандаливший на прошлой неделе в ресторане Дома Герцена, он был сейчас задумчив, кроток. Бабеля позабавил «грозный» приговор, вынесенный Правлением старого Союза писателей. Оно запретило Есенину посещать в течение месяца ресторан. Зашла речь и об ипподроме. Бабель в те дни изучал родословную Крепыша и рассказывал Есенину об этой знаменитой лошади, что-то еще говорил о призерах бегового сезона. Пролетел со стороны Ходынского поля самолет, и Бабель рассказал про свой недавний полет над Черным морем со старейшим, вроде Уточкина и Российского, авиатором Хиони. Слушая, Есенин раза два с недоумением на меня посмотрел. Наконец проговорил:

— Сын что-то у тебя большой.

За стеклами очков смеялись глаза Бабеля. Засмеялся и Есенин. Детей у Бабеля тогда еще не было, а у Есенина — двое. Есенин сказал, что собирается в гости к матери, спросил про близких Бабеля: жива ли мать, жив ли отец. С разговором об отце вспомнился и старый кот, которого гладил его чудак отец, сидя на стуле посреди тротуара на Почтовой улице. Может, потому еще вспомнился кот, что Есенин недавно опубликовал стихотворение, в котором было чу́дно сказано о животных:

...И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове...

Есенинские стихи Бабель читал и про себя, и вслух. Читал ему свои стихи и Есенин, привязавшийся к Бабелю, полюбивший его. И любил он еще вот это есенинское: «Цвела — забубенная, росла — ножевая, а теперь вдруг свесилась, словно неживая».

На скамье у Страстного монастыря Есенин тоже свесил голову, но очень живую, прекрасно-задумчивую. До того успокоенным и добрым было в тот день его лицо, что показалось просто ерундой, что голову эту называли — пускай даже сам Есенин — забубенной и неживой. На скамье сидели два тридцатилетних мудреца, во многом схожие в этот час — познавшие, но попрежнему любознательные; не к месту было бы говорить о пресыщении.

Скажут: разные же люди! Еще бы! Из неукротимых неукротимый, временами вспыльчивый и даже буйный Есенин и рядом с ним тихий, обходительный, сам великолепно довершивший свое воспитание Бабель...

Не повлияла ли философическая сдержанность Бабеля на Есенина? Но то, что произошло вскоре, в ночь есенинской свадьбы, показало обратное. По воле Сергея Есенина Бабель сделался вдруг кутилой. Тогда не верили, не поверят и сейчас, а он между тем вернулся домой под утро, без бумажника и паспорта и вообще до того закружившийся в чаду бесшабашного веселья, что совершенно ничего не помнил. Бабель посмеивался:

— В первый и последний раз.

Есенин был единственным человеком, сумевшим подчинить Бабеля своей воле. Не помня ничего о том, что ели, пили и говорили, куда поехали и с кем спорили, Бабель все же на годы запомнил, как читал, вернее, пел в ту ночь свои стихи Есенин.

Отчего же мне так немного запомнилось из беседы под липой у монастыря, хотя сидели они долго, несколько часов? Ослабела память? Нет, разговор таких людей запомнился бы навсегда. Или я не соображал, какие таланты сошлись за беседой? Соображал! Причина проще — оба подолгу молчали. Подошла девчонка-цыганочка, затрясла плечами. Бабель полез за мелочью в карман, сунул какую-то монету девчонке и Есенин. Оба сделали это поспешно, торопясь поскорей отделаться от не порадовавшей их сценки. Цокали вдали извозчичьи пролетки. Так громко цокали, что заглушали звон проносившейся вдоль бульвара «Аннушки». «И догорал закат улыбкой розовой», как

писал, вспоминая с умилением свою юность, профессор Устрялов в журнале «Россия». Журнал читал человек, подсевший на скамью с намерением поговорить с Есениным. Узнав известного поэта, он затеял разговор о поэзии, но Есенин не отвечал, и тот недовольно поднялся. Когда ушел, стали гадать, что за человек.

— Совслуж,— сказал Бабель.

— А не нэпман? — спросил Есенин.— Может, сам Яков Рацер? Тот ведь тоже любит поэзию.

Яков Рацер публиковал в газетах стихотворные объявления, рекламировавшие его «чистый, светлый уголек», который «красотою всех привлек»...

Не так уж чадил угар нэпа, как тогда писали некоторые или как это изображалось на сцене. На виду у всех развивалась страна, заводы восстанавливались, пускались в ход электростанции. Заметили вскоре и сменовеховцы, что отступление-то приостановилось и появились признаки наступления. Комиссары гражданской войны взялись за хозяйство. В то время я два раза слышал от Бабеля:

— Я за комиссаров.

Это когда кто-нибудь рядом вдруг заноет, туда ли мы идем, не катимся ли. Отправившись, по совету Горького, «в люди», Бабель ушел в революционный народ, в среду коммунистов, комиссаров. Он сказал о Багрицком, что тому не пришлось с революцией ничего в себе ломать, его поэзия была поэзией революции. Таков был и сам Бабель, всегда стоявший за Ленина.

За Ленина стоял и Есенин, видел его силу глазами деревенской бедноты, своих изрядно переменившихся земляков. Естественные образы тех лет — Ленин фабричного обездоленного люда, мужицкий Ленин, Ленин индусского мальчика Сами...

Как же Есенину было не понять защитника бедноты? Ему, который сумел так хорошо пожалеть и жеребенка: «Ну куда он, куда он гонится?» и который «зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове», естественно было отзываться на страдания ближнего и дальнего. Баллада о двадцати шести бакинских комиссарах так же лилась из его сердца, как письмо матери, до сих пор волнующее миллионы русских и нерусских сыновей. Один видный советский работник, подружившийся с Есениным на Кавказе, рассказал ему о своем брате, которому белые выкололи

глаза. Никто потом не подтрунил над Есениным и не упрекнул его в неточности, когда он однажды, плача, стал вспоминать своего брата, которому белые выкололи глаза. Боль за чужого брата, проникнув в сердце Есенина, уже не оставляла его, сделалась болью за собственного брата. Может быть, натянуто? Но, во-первых, так бывает с людьми, способными страдать чужими страданиями, и, во-вторых, перечитайте стихи Есенина. Не раз вы встретитесь в них с тем, как умела отзываться его душа.

Два тридцатилетних мудреца, написал я, сидели в закатный час на скамье у Страстного монастыря. Умея познавать, они, и не сделавшись еще стариками, много познали — отсюда и мудрость, и горечь, которая вызовет у Есенина жалобу: «Сам не знаю, откуда взялась эта боль» — и побудит Бабеля написать грустный рассказ-исповедь «У Троицы». Как я теперь понимаю, это была драма постарения, сожаление о суетных днях жизни, «змеи сердечной угрызенья»...

В тот летний вечер, когда Есенин с Бабелем, казалось бы, спокойно подводили итоги прожитой юности, совершенно невозможно было предвидеть, что Есенина одолеет видение Черного человека, заноет растравленной раной та часть его души, которая его самого ужасала. Верилось, что покончено и с оравой оголтелых собутыльников и с бесшабашностью, грубостью «Москвы кабацкой». А потом узналось, что с поэмой о Черном человеке он дошел до последних своих дней. ...Он часто водил Бабеля в чайную в Зарядье, недалеко от Красной площади. По рассказам Бабеля, Есенин в Зарядье — это веселый, любознательный человек, с одинаковой охотой выслушивающий любителей соловьиного пения, содержателей бойцовых петухов или покаянные речи охмелевших посетителей чайной. Мысль о самоубийстве не могла зреть в его голове, да и в стихах он задумывался о смерти по-пушкински: «И чей-нибудь уж близок час». У Есенина это сказано так: «Я не знаю: мой конец близок ли, далек ли». Когда Бабель услыхал о самоубийстве Есенина, на лице его сделалось то выражение растерянности, какое бывает у очень близорукого человека, неведомо где позабывшего свои очки. Таким оно было только в первые минуты, и уже не растерянность отражало оно несколько времени спустя, а возмущенное недоумение теми несправедливостями судьбы и несовершенством законов жизни на земле,

которое он по-своему, через тысячелетия после «Экклезиаста», ощутил у Троицы на Самотечной. Такими же были глаза Бабеля, когда он узнал о самоубийстве Маяковского...

В одной своей пьесе английский драматург Пристли поставил третий акт впереди второго. Действие еще будет развиваться, а мы уже знаем финал. Знаем, что этот обнищал, а тот умер, но второй акт идет после третьего, и на сцене снова живые, обнадеженные люди. И тревога за них, любовь к ним оттого сильнее... Так вижу я и скамью под липой у Страстного монастыря и на скамье Есенина с Бабелем. Они счастливы — сперва оттого, что нашли прохладу, а потом оттого, что их коснулись лучи заходящего солнца. Бабель — в шерстяной толстовке хорошего покроя, Есенин — в светло-сером костюме и ночных туфлях. Оба молоды и знамениты — круглоголовый, золотистоволосый Есенин и похожий то на Грибоедова, то на Робеспьера, снова вернувшийся «из людей» Бабель. Молодые головы полны мыслей, великолепных словосочетаний, созвучий, так много лет жизни и работы впереди, а мне, как бы все еще продолжающему сидеть на скамье рядом с ними, известно, как в драме Пристли, их будущее. Скамья в памяти осталась — простая, зеленая, на витых чугунных ножках, хотя нет давно ни липы, ни Страстного монастыря, и если попытаться определить место, то скамья окажется посередине асфальтированной площади...

С. Гехт

1925 г.

Лето.

По возвращении с Кавказа Есенин сообщал о романе, который он будто бы начал писать. Но, по-видимому, это было только предположением. К прозе он не вернулся.

Намерение его осталось невыполненным.

Лето.

Я с Есениным у одного из наших общих знакомых. Он мечтает отпраздновать свою свадьбу: намечает — кого пригласить из друзей, где устроить свадебный пир.

Бывает так: привяжется какой-нибудь мотив песни или стихотворный отрывок, повторяешь его целый день. К Есенину на этот раз привязался Демьян Бедный:

Как родная меня мать
Провожала,
Тут и вся моя родня
Набежала.

Он пел песню Демьяна Бедного, кое-кто из присутствующих подтягивал.

— Вот видите! Как-никак, а Демьяна Бедного поют. И в деревне поют. Сам слышал! — заметил Есенин.

— Не завидуй, Сергей, Демьяном станешь! — ответил ему кто-то из присутствующих.

И. Грузинов

На берега Невы приехал А. Я. Таиров с Камерным театром. Он позвонил мне из гостиницы «Англетер» и сказал, что ждет меня к обеду, на котором будет и Айседора Дункан. Мне очень захотелось пойти. Я никогда в жизни ее не видел. Но у меня сидел Есенин, и я сказал Таирову об этом.

— Хочешь прийти с ним? Ради бога, не надо. Не зови его, будет скандал. Изадора и он совсем порвали друг с другом.

Между прочим, все близкие Дункан, и Есенин тоже, всегда называли ее Изадорой... Это было ее настоящее имя.

Есенин, сидевший рядом с телефоном, очевидно, слышал весь мой разговор с Таировым и стал меня упрашивать взять его с собой. Я протестовал. Но в конце концов все вышло так, как он хотел.

В номере Таирова Есенин не подошел к Айседоре Дункан. Этому способствовало еще то, что кроме Таирова, А. Г. Коонен и Дункан за обеденным столом сидели некоторые актеры и актрисы Камерного театра. Среди них и затерялся Есенин.

Я смотрел на Дункан. Передо мной сидела пожилая женщина, как я понял впоследствии — образ осени. На Изадоре было темное, как будто вишневого цвета, тяжелое бархатное платье. Легкий длинный шарф окутывал ее шею. Никаких драгоценностей. И в то же время мне она представлялась похожей на королеву Гертруду из «Гамлета». Есенин рядом с ней выглядел маль-

чиком... Но вот что случилось. Не дождавшись конца обеда, Есенин таинственно и внезапно исчез. Словно привидение. Даже я вначале не заметил его отсутствия. Неужели он приезжал лишь затем, чтобы хоть полчаса подышать одним воздухом с Изадорой?..

Быть может, нам кое-что подскажет отрывок из его лирики тех лет:

Чужие губы разнесли
Твое тепло и трепет тела.
Как будто дождик моросит
С души, немного омертвелой.

Ну что ж! Я не боюсь его.
Иная радость мне открылась.
. . . .
Так мало пройдено дорог.
Так много сделано ошибок.

Быть может, и этот роман был одной из его ошибок. Быть может, он приезжал в «Англетер», чтобы еще раз проверить себя, что кроется под этой *иной радостью,* о которой он пишет... Во всяком случае, я верю в то, что эта глава из жизни Есенина совсем не так случайна и мелка, как многие об этом думали и еще думают.

Н. Никитин

В последний год есенинской жизни — дело было в 1925 году — он как-то зашел в «Прожектор» и застал там Воронского и Леонида Леонова. Воронский очень обрадовался Есенину, которого любил, долго жал ему руку, пытливо и беспокойно вглядывался в лицо и стал говорить о последних стихах Есенина, утверждая, что в них намечается хороший, верный сдвиг.

— Ваша «Анна Снегина» — чудесная вещь,— говорил он. Сколько там у вас простоты, сколько нежности, как мягко и верно изображена наша русская природа...— И, сняв очки, прочел наизусть:

«Село, значит, наше — Радово,
Дворов, почитай, два ста.
Тому, кто его оглядывал,
Приятственны наши места.»

— «Приятственны наши места...»,— повторил он, надевая очки.— Прекрасное, прекрасное начало, и вся

поэма глубоко тронула меня. И как это удачно получилось, Сергей Александрович, что мы сегодня с вами встретились, я вот хочу написать о вас и о Леониде Максимовиче. Сейчас мы вас вместе сфотографируем с ним для моей статьи. Кстати, над чем вы сейчас работаете?

Тут он взял Есенина под руку и отвел к окну. Он глядел на красное, припухшее лицо поэта ласково и вместе с тем сурово. Видимо, он волновался.

Мой стол стоял вблизи окна, и мне было хорошо слышно, что говорил Воронский.

— Вы не сердитесь на меня, Сергей Александрович,— тихо начал он, не отпуская руки Есенина, который сделал легкое движение, как бы желая высвободить свою руку,— ведь я от души к вам как литератор и старший товарищ и друг. Не приходила вам в голову такая простая мысль, что работа ваша, стихи ваши... превосходные стихи, добавлю,— это не только ваше личное, это и народное достояние, и вы перед народом, который ваши стихи любит и ценит, ответственны. И надо вам, Сергей Александрович, голубчик вы мой, работать и себя беречь. Вот скажите мне, родной, может быть, мы вместе подумаем по-хорошему, вдруг вам куда-нибудь поехать в тихое место, отдохнуть, набраться сил и со свежей головой поработать, силы свои развернуть, а? Ну как, согласны?

И, близко наклонившись к Есенину, глядел ему в глаза, все не отпускал его руку. Есенин смотрел в окно. Я видел, как у него дрогнула шея, как судорожно повел он головой и вдруг зашептал что-то на ухо Воронского и тот, отшатнувшись от него, тоже зашептал:

— Ну зачем же так мрачно? Зачем, дорогой вы мой, дорогой... Черные это мысли, ненужные, нездоровые. Вам сейчас только писать и писать — ведь молоды вы совсем, вам еще тридцати нет, сила у вас какая — чудесная сила. Бросьте вы гадкие эти мысли, бросьте...

Есенин только махнул рукой, не ответил Воронскому. Видно было, как тяжело пришелся ему этот разговор. Он подошел к столу, где лежала почта — то, что в редакциях зовут самотеком: стихи и рассказы неизвестных авторов,— бегло просмотрел несколько стихотворений и как-то горько пробормотал, зябко поводя плечами:

— Пишут... Ишь ты, пишут.

Было тяжело на него смотреть: волосы были желты, как колосья созревшей ржи, воспаленные глаза, охваченные красными ободками, глядели неверно и тускло, движения и походка развинченные. И все же даже в эти, такие тяжелые для него дни он любил жизнь, беззаветно был предан поэзии и тем, кто ее создавал. Как-то в редакции он застал начинающего поэта, принесшего свои стихи. Есенин ласково посмотрел на него, попросил позволения прочесть его стихи. Стихи были плохо сделаны, но в них говорилось о деревне, и видно было, что автор хорошо знал ее.

— Ты откуда? — спросил Есенин и, услышав, что поэт живет недалеко от Зарайска, весь загорелся, обнял парня за плечи.

— Земляк! Да ведь это совсем близко от нас — я-то Рязанского уезда. Ну, садись, поговорим о твоих стихах...

И душевно, ласково стал разбирать стихи — голос был мягкий, глаза глядели тепло. Прощаясь с пареньком, он долго не выпускал его руку и убеждал:

— Ты пиши, непременно пиши о том, что видишь и знаешь, переделывай и не бойся, что плохо: поработаешь и получится как надо. Пиши, милый...

Очень хорош был он в эти минуты — прост и ясен, и мне подумалось: «Вот это и есть настоящий Есенин...»

Пришел фотограф Савельев. Есенин вяло улыбнулся, подошел к Леонову. Снимок этот был напечатан в «Прожекторе». Леонов в широкой блузе, с папиросой в руке смотрит на зрителя. Есенин, полусидя на столе, смотрит на Леонова. Снимок иллюстрировал статью Воронского о Леонове и Есенине.

В последний раз я видел Есенина незадолго до его отъезда в Ленинград, откуда он вернулся уже в гробу. В бобровой шапке и шубе, он был очень хорош издали и казался бодрым, шутил и смеялся...

К. Левин

ИЗ ПИСЬМА К А. М. ГОРЬКОМУ

Москва, 15 июня 1926 г.

Глубокоуважаемый и дорогой Алексей Максимович, посылаю Вам копию письма моего мужа к Вам.

Оригинал хранится у меня. Копию я сняла точную,

соблюдая его орфографию. Если Вы захотите, я с верным случаем перешлю Вам оригинал.

Вы видите, что письмо было написано еще летом. Отправка его была связана с отправкой Вам книг. Вот все это — о судьбе книг и письма — я должна и хочу рассказать Вам.

В июне прошлого года Д. К. Богомильский передал Сергею, что Вы спрашиваете о нем и хотите иметь его книги. Его это очень обрадовало и взволновало. Он сейчас же написал Вам письмо и стал собирать для Вас свои книги. У самого у него никогда их не было. В магазинах почти все было распродано, надо было разыскивать, а посылать только часть — не хотелось. Одну книжку — «Персидские мотивы» — он надписал Вам. Но после его смерти я не могла найти ее, чтобы послать Вам. Если найду, то сейчас же вышлю Вам.

Так затянулась отправка письма и книг. Мы вскоре уехали на Кавказ. А когда вернулись, то Сергей несколько раз говорил, что не стоит теперь посылать эти книжки, а лучше дождаться выхода полного собрания в Госиздате. Эти книги вышли в Госиздате уже после его смерти. Исполняя его волю, я послала Вам I и II том (через Екатерину Павловну) и по выходе III и IV пошлю и их.

И еще мне хотелось сказать Вам, что почти ни о ком и никогда Сергей не отзывался с таким огромным уважением и любовью, как о Вас. Он очень, очень часто вспоминал о Вас, мечтал, что Вы приедете в Россию, и одно время (осенью) постоянно говорил о Вашем приезде. Почему-то он думал, что Вы приедете весной. Говорил о том, что хотел бы с Вами работать в журнале.— Накануне своего отъезда в Ленинград, за пять дней до смерти, он опять стал вспоминать Вас и много мне о Вас рассказывал. О том, как Вы ему чемодан подарили (он был с ним до конца), о своем разговоре с Вами, когда Вы его упрекали за то, что он пьет, а он Вам объяснял, почему он пьет. Помните ли Вы этот разговор? — И опять то же чувство бесконечного уважения и любви. С этим разговором о Вас у меня связаны последние воспоминания о живом Сереже.

И опять он говорил, ахая и огорчаясь, что надо, надо послать книги и что вот — до сих пор не послали!

Вот это все главное, что я хотела сказать Вам. Дорогой Алексей Максимович, я знаю, что Вы любили Сережу, и поэтому я надеюсь, что Вам дорог и нужен

мой рассказ и Вы поймете, почему я решилась писать Вам. Может быть, когда-нибудь судьба приведет встретиться и на словах я Вам смогу рассказать многое о нем, что в письме не укладывается. Еще забыла Вам написать, что Сережа собирался за границу и во всех разговорах о загранице он непременно говорил о том, что поедет к Вам.

С. Толстая-Есенина

Осень. Есенин и С. А. Толстая у меня.

Даю ему новый карандаш.

— Люблю мягкие карандаши,— восклицает он,— этим карандашом я напишу строк тысячу!

Мысль о создании журнала до самой смерти не покидает Есенина. На клочке бумаги он набрасывает проект первого номера журнала:

«1. Статью.
2. Статью.
3. Конч. о живописи.
Репродукции.
Ес.
Нас.
Груз.
Рецензии».

— Я непременно напишу статью для журнала. Непременно. Я знаю твою линию в искусстве. Мы не совпадаем. Я напишу иначе. Твоя статья будет дополнять мою — и обратно,— мечтает Есенин и просит достать ему взаймы червонец. Два дня или три назад он получил гонорар в Госиздате, сегодня уже ни копейки нет.

Для первого номера журнала предполагалось собрать следующий материал: статья Д. Кончаловского о современной живописи; репродукции с картин П. Кончаловского, А. Куприна, В. Новожилова; стихи Есенина, Грузинова, Наседкина.

Проект журнала составлялся спешно. В ближайшее время решили собраться еще раз, чтобы составить подробный план журнала и приступить к работе по его изданию.

И. Грузинов

Осенью у Пильняка сидим. Спорит, и очень убедительно, с Пастернаком о том, как писать стихи так, чтобы себя не обижать, себя не терять и в то же время быть понятным.

А вот и конец декабря в Москве. Есенин в Ленинграде. Сидим в «Кружке». Часа в два ночи вдруг почему-то обращаюсь к Мариенгофу:

— Расскажи, что и как Сергей.

— Хорошо, молодцом, поправился, сейчас уехал в Ленинград, хочет там жить и работать, полон всяких планов, решений, надежд. Был у него неделю назад, навещал его в санатории, просил тебе кланяться. И Джиму — обязательно.

— Ну,— говорю,— выпьем за его здоровье.

Чокнулись.

— Пьем,— говорю,— за Есенина.

Все подняли стаканы. Нас было за столом человек десять. Это было два — два с половиной часа ночи с 27 на 28 декабря. Не знаю, да, кажется, это и не установлено, жил ли, дышал ли еще наш Сергей в ту минуту, когда мы пили за его здоровье.

— Кланяется тебе Есенин,— сказал я Джиму под утро, гуляя с ним по двору. Даже повторил: — Слышишь, ты, обалдуй, чувствуешь — кланяется тебе Есенин.

Но у Джима в зубах было что-то, чем он был всецело поглощен — кость или льдина,— и он даже не покосился в мою сторону.

Я ничем веселым не был поглощен в это полутемное, зимнее, морозное утро, но не посетило и меня никакое предчувствие или ощущение того, что совершилось в эту ночь в ленинградском «Англетере».

Так и не почувствовал, по-видимому, Джим пришествия той самой гостьи, «что всех безмолвней и грустней», которую так упорно и мучительно ждал Есенин. «Она придет,— писал он Джиму,— даю тебе поруку,

И без меня, в ее уставясь взгляд,
Ты за меня лизни ей нежно руку
За все, в чем был и не был виноват».

В. Качалов

После того как Софья Андреевна вышла замуж за Есенина, я как-то был приглашен к ним. Странно было увидеть Сергея в удобной, порядливой квартире, где все

словно создано для серьезного и тихого писательского труда. Там у нас произошел один из самых серьезных и страстных разговоров о пути крестьянства. По обыкновению, Сережа непосредственно в разговоре не участвовал, он слушал, как я спорил с одним из его друзей.

Друг его открыто выражал неверие в возможность социалистической переделки деревни, он приводил факты, свидетельствующие о возрастании веса кулачества в экономике деревни, предвещал дальнейший расцвет кулачества и видел в нем весьма осязательную угрозу пролетарской диктатуре.

Я, опираясь на одну из последних работ Ленина — «О кооперации» (1923 год) — и на недавние постановления правительства и партии, говорил о возможности другого, кооперативного, социалистического пути развития. Слово «колхоз» еще не было произнесено, но оно носилось в воздухе. Речь шла о «переходе» «к новым порядкам путем возможно более *простым, легким и доступным для крестьянина»* (курсив В. И. Ленина). Именно эта сторона процесса больше всего интересовала Есенина,— он вставлял в наш диалог вопросы о том, что предстоит пережить крестьянству при переходе к социализму, насколько мучительно отзовется на крестьянине этот процесс перехода, какими душевными изменениями ознаменуется для крестьянина этот переход.

В начале разговора Сергей сидел на другом краю стола, рядом с женой, возле самовара, потом перешел на наш конец. Он взял низенькую скамеечку и сел так, чтобы были видны наши лица. Помимо логических доказательств ему нужно было еще что-то.

Мне очень хотелось, чтобы он всегда жил так — тихо, сосредоточенно. Писателю его масштаба, его величины таланта следовало бы жить именно так. Но не помню, в этот ли раз или в другой, когда я зашел к нему, он на мой вопрос, как ему живется, ответил:

— Скучно. Борода надоела...

— Какая борода?

— То есть как это какая? Раз — борода,— он показал на большой портрет Льва Николаевича,— два — борода,— он показал на групповое фото, где было снято все семейство Толстых вместе с Львом Николаевичем.— Три — борода,— он показал на копию с известного портрета Репина.— Вот там, с велосипедом,— это четыре борода, верхом — пять... А здесь сколько? — Он подвел меня к стене, где под стеклом смонтировано было не-

сколько фотографий Льва Толстого.— Здесь не меньше десяти! Надоело мне это, и все! — сказал он с какой-то яростью.

Я ушел в предчувствии беды.

Ю. Либединский

В последний раз я видел Есенина в Москве, в июне 1925 года, в квартире Софьи Андреевны Толстой, на Остоженке в Померанцевом переулке.

Софью Андреевну я знал и раньше, познакомился с ней еще в 1921 году совершенно независимо от моего знакомства с Есениным. Она в моем представлении была прочно связана с музеем Л. Н. Толстого, с Ясной Поляной.

Я приехал в столицу ненадолго на Пушкинские торжества и тотчас позвонил Софье Андреевне, к которой у меня было какое-то поручение от наших общих знакомых из Баку, людей толстовского круга. Она пригласила меня в тот же вечер к себе, сказав, что приготовила приятный сюрприз. Я не знал тогда еще о ее сближении с Есениным и о том, что он уже живет в ее квартире.

Когда я пришел к Софье Андреевне в десятом часу вечера, мне открыла двери ее мать Ольга Константиновна. «Ах, милый,— сказала она,— а у нас дым коромыслом, такая беда! Проходите, проходите, они там...» — и указала на комнату, примыкавшую к прихожей.

В небольшой столовой было накурено. Уже пили. Тут я сразу увидел Есенина и все понял. «Вы знакомы?» — спросила улыбаясь Софья Андреевна и указала на Есенина. Оказалось, это и был обещанный сюрприз.

Читали стихи. Говорили о стихах. Кроме Сергея Александровича, тут были поэт Василий Наседкин, И. Бабель и еще один не известный мне молодой человек. На диване лежал Всеволод Иванов, молча слушавший разговор за столом.

Когда, по-видимому, уже не в первый раз Есенин стал вспоминать свои детские годы в деревне, Бабель, хорошо знавший эти воспоминания, начал подсказывать ему, как все это было, и очень потешно передразнивал его, а затем стал изображать в лицах, как Есенин продает сразу десяти издательствам одну и ту же свою книгу, составленную из трех ранее вышедших, как издатели скрывают друг от друга «выгодную» сделку, а через некоторое время прогорают на изданной ими книге всем

давно известных стихов. Конечно, в этом рассказе многое было преувеличено, но рассказывал он эту историю артистически и всех очень смешил.

Есенин пил много. На смену пустым бутылкам из-под стола доставались все новые, там стояла целая корзина. Устав рассказывать о своих неладах с отцом, о любви к деду и к матери, о сестрах, о драках и о первой любви, Есенин заговорил о присутствующих. Добродушно посмотрел на дремавшего после кутежа накануне Всеволода Иванова и на Василия Наседкина, который с увлечением поедал шпроты и деловито крякал, сказал о Приблудном: «Вот гляди, замечательная стерва и талантливый поэт, очень хороший, верь мне, я всех насквозь и вперед знаю». Приблудный в спортивном костюме, с оголенной могутной грудью, сидел на диване, что-то напевая.

Потом Есенин заговорил обо мне и о моих стихах. Сказал, что я «славный парень», что я «очень умный» — «умнее всех нас!» — и что ему «иногда бывает страшно» со мной говорить. А вот стихи я пишу, по его мнению, «слишком головные». Я возражал ему, не соглашался насчет «головных стихов», сомневался по части ума, но Есенин настаивал на своем и начинал сердиться — он не любил, когда ему противоречили.

В этот вечер Есенин много читал, и особенно мне запомнилось, как он, приплясывая, напевал незадолго до того написанную «Песню»:

Есть одна хорошая песня у соловушки —
Песня панихидная по моей головушке,

Цвела — забубенная, росла — ножевая,
А теперь вдруг свесилась, словно неживая.

Думы мои, думы! Боль в висках и темени.
Промотал я молодость без поры, без времени.

Как случилось-сталось, сам не понимаю,
Ночью жесткую подушку к сердцу прижимаю...

Разгульный и лихой мотив этой песни напомнил мне, как в Баку Есенин читал мне отрывки из «Песни о великом походе», которую тогда писал. Читал нараспев, под частушки: «Эх, яблочко, куды катишься...» Я высказал тогда опасение, что вещь может получиться монотонной и утомительной, если вся поэма будет выдержана в таком размере. Есенин ответил: «Я сам этого боялся, а теперь вижу, что хорошо будет...»

Теперь увидел я совсем другого Есенина, и горькое предчувствие неотвратимой беды охватило, вероятно, не только меня.

Я отцвел, не знаю где. В пьянстве, что ли? В славе ли?
В молодости нравился, а теперь оставили.

Потому хорошая песня у соловушки —
Песня панихидная по моей головушке.

Цвела — забубенная, была — ножевая,
А теперь вдруг свесилась, словно неживая.

В окнах уже проступал ранний июньский рассвет. Все приумолкли, но не спешили расходиться. Есенин подсел к Софье Андреевне и стал говорить о том, как они вот-вот поедут в Закавказье, в Баку и в Тифлис, где их ждут хорошие и верные друзья, а часть лета они проведут на Апшеронском полуострове, где спелые розоватые плоды инжира падают на горячий песок.

Всеволод Иванов уснул на диване. Я попрощался с погрустневшей хозяйкой. Есенин, прощаясь, подарил мне только что вышедшую свою маленькую книжечку стихов «Березовый ситец» с надписью: «Дорогому Вите Мануйлову с верой и любовью. *Сергей Есенин*».

Сам не зная, почему я это сделал, я поцеловал Есенина в шею, чуть пониже уха. Мне казалось, что никогда я не любил его так, как в эту минуту. Это редко со мной бывает — но мне хотелось плакать. И снова горькое предчувствие, что нам не суждено увидеться еще.

Лето 1925 года Есенин с Софьей Андреевной провел около Баку. Я был в это время в Новочеркасске и, когда в двадцатых числах сентября вернулся в Баку, уже не застал их.

27 сентября 1925 года я написал Сергею Александровичу письмо с просьбой прислать стихи для задуманного моими друзьями-поэтами из Ростова журнала «Жатва».

«Дорогой Сергей Александрович,— писал я.— Очень досадую на то, что я не застал вас в Баку, приехав сюда через несколько дней после Вашего отъезда. У меня было к Вам поручение от моих ростовских друзей, которое исполняю хотя бы письменно.

Группа литераторов Ростова, при участии москвичей (Казин, Тренев, Серафимович) и ленинградцев (Рождественский, м. б. Клюев), в конце октября издают первый № краевого литературного журнала «Жатва». Об-

ложку рисует Сарьян. Большая просьба к Вам — дать в первый же №-р свое имя в качестве сотрудника и 2-3 стихотворения. К сожалению, на первых порах материальное положение редакции таково, что гонорар, предложенный Вам, очень невелик — всего по одному рублю за строку...

Если Вы поддержите новое литературное начинание и решите стихи в журнал дать, пошлите их, пожалуйста, прямо на адрес: Ростов-Дон, Старопочтовая, 125, Михаилу Матвеевичу Казмичову. Это секретарь редакции. Очень интересный поэт, только теперь начинающий появляться в печати.

Вчера в редакции «Бакинского рабочего» Сеня Файнштейн при мне получил письмо Софьи Андреевны с Вашими стихами. Джавадян собирается их тиснуть в пятницу 2 октября на 4-х колонках. Сеня сегодня выезжает в Крым и будет в Москве в первых числах ноября.

Не знаю, получила ли Софья Андреевна мою открытку из Новочеркасска. Мне очень жаль, что перед отъездом из Москвы я не успел забежать к ней, как это было условлено, проститься...

Есть в Баку Лена Юкель. Она переложила на персидские напевы «Глупое сердце, не бейся...», «Гелии» и еще несколько других Ваших персидских мотивов. Ее песенки звучат еще лучше уже известных Вам, жаль, что Вы не можете их послушать хотя бы по радио, а записать на ноты азиатские мелодии невозможно.

На всякий случай мой адрес: Баку. Лютеранский пер., 5...

Не забывайте ветреного и горячего Баку!

Крепко любящий Вас *Витя*».

Не получив ответа, я снова написал 9 ноября:

«Дорогой Сергей Александрович! Месяц тому назад я просил Вас дать несколько стихотворений для ростовского журнала «Жатва» — пока никакого ответа нет, тем не менее обращаюсь к Вам с вторичной просьбой уже несколько по иному поводу. «Жатва», еще не родившись, переродилась в бакинский «Норд» — с иными задачами. Там был журнал сожительствующий с краеведением, экономикой и пр. «Норд» — затея ветреная, сиречь поэтическая... Дали уже материал из знакомых Ваших: Тихонов, Рождественский, Кс. Колобова, некий Виктор Мануйлов и проч.— все из литературной моло-

дежи, м. б., Вам еще неведомые — но ребята добрые и веселые.

Ни на какие Гизы не рассчитываем, т. к. печатаем на свой счет — с деньгами дрянь: все идет на внешний вид издания — гонораров никому предложить не можем. Это не доходная «Жатва», кстати несжатая.

Ежели у Вас есть свободные стихи и охота порадовать молодежь своим добровольным и сердечным участием — дайте нам для «Норда» что-либо «Есенинское».

Привет Софье Андреевне.

У нас сейчас здесь Вс. Иванов.

Ваш *В. Мануйлов*».

Но и на это письмо ответа не было. Правда, через общих друзей до меня доходили приветы Сергея Александровича и просьбы простить за молчание. Я узнал, что 18 сентября 1925 года в Москве Есенин и Софья Андреевна Толстая зарегистрировали свой брак. Доходили слухи, что Есенин болен и находится в клинике профессора Ганнушкина. Есенинские стихи в «Бакинский рабочий» присылала жена, и я понял, что Сергею Александровичу было в ту пору не до наших литературных затей.

В. Мануйлов

В сентябре 1925 года пришел с большим белым свертком в 8 часов утра, не здороваясь, обращается с вопросом:

— У тебя есть печь?

— Печь, что ли, что хочешь?

— Нет, мне надо сжечь.

Стала уговаривать его, чтобы не жег, жалеть будет после, потому что и раньше бывали такие случаи: придет, порвет свои карточки, рукописи, а потом ругает меня — зачем давала. В этот раз никакие уговоры не действовали, волнуется, говорит: «Неужели даже ты не сделаешь для меня то, что я хочу?»

Повела его в кухню, затопила плиту. И вот он в своем сером костюме, в шляпе стоит около плиты с кочергой в руке и тщательно смотрит, как бы чего не осталось несожженным. Когда все сжег, успокоился, стал чай пить и мирно разговаривать. На мой вопрос, почему рано пришел, говорит, что встал давно, уже много работал.

...Видела его незадолго до смерти. Сказал, что пришел проститься. На мой вопрос: «Что? Почему?» — говорит: «Смываюсь, уезжаю, чувствую себя плохо, наверное, умру». Просил не баловать, беречь сына.

А. Изряднова

Вначале двадцатых годов отделом художественной литературы Госиздата заведовал Н. Д. Мещеряков, я был его заместителем, а политическим редактором — прославленный автор «Чапаева» Дмитрий Андреевич Фурманов. В отделе работали также три других писателя: Сергей Буданцев, Иван Евдокимов и Тарас Родионов.

Мысль о выпуске первого собрания сочинений Есенина родилась у нас. Никто не сомневался, что издание мгновенно разойдется: Есенин был необыкновенно популярен, его лирику любили, его стихами зачитывались. И неудивительно, что наше решение нашло всеобщую поддержку.

Сообщили об этом Есенину.

Он встретил эту весть с нескрываемой радостью, поэт был горд и счастлив.

Началась подготовка к изданию.

Произведения, которые Есенин публиковал в альманахах, журналах и газетах, стихи, выходившие отдельными изданиями, подобрать было нетрудно. Значительно сложнее оказалось собрать неопубликованные вещи, чтобы самые лучшие из них включить в собрание.

Есенин приходил к нам, держа в руках либо туго набитый портфель, либо сверток, перевязанный веревкой. Он приносил свои неопубликованные произведения. Это были рукописи, написанные иногда на кусках оберточной бумаги, в ученических тетрадях, на обложках старых книг.

Он вываливал рукописи на стол, прямо охапками, и мы сразу же начинали их разбирать, нередко обсуждая каждое стихотворение. Руководил всем этим Дмитрий Андреевич Фурманов. Несколько раз принимал участие в обсуждениях и Валерий Яковлевич Брюсов. Бывало, тут же Есенин рассказывал, при каких обстоятельствах было написано то или иное стихотворение.

Фурманов с большим тактом, любовно и бережно подходил к каждой строке, написанной рукой Есенина. Порой он не сразу высказывал Есенину свое мнение

о некоторых его стихах, опасаясь, как бы первое впечатление не оказалось ошибочным. Тогда Дмитрий Андреевич уносил эти стихи домой, чтобы прочитать их в спокойной обстановке.

Свои предложения о замене строфы, строчки, даже слова Дмитрий Андреевич делал в форме дружеского мягкого совета.

— Вот посмотрите,— говорил он Есенину.— Не находите ли вы возможным заменить это слово?.. Мне кажется, оно какое-то не ваше, не есенинское...

Есенин внимательно слушал, иной раз соглашался, иногда возражал, но чаще от него слышалось короткое:

— Подумаю...

Бывали случаи, когда Есенин, примостившись на уголке какого-нибудь стола, исправлял стихи, причем делал это охотно и быстро. Но бывало и так: услышав замечание Фурманова, Есенин через несколько дней возвращался к нему и предлагал совершенно новую редакцию не только строфы, но даже целого стихотворения.

Так, в тесном содружестве автора и работников отдела родилось первое собрание сочинений Есенина. Мы не ошиблись: издание мгновенно разошлось и еще более укрепило славу Есенина, славу одного из лучших лирических поэтов нашего времени.

Н. Накоряков

В августе месяце Литературно-художественный отдел перевели по тому же коридору во втором этаже в самый конец. В двух маленьких комнатах, загроможденных шкафами и столами, с дурным архаическим отоплением (устаревшая Амосовская система), с переполнением комнат служебным персоналом и приходящей публикой, было тяжело и душно. И завели: не курить в комнатах. В коридоре у дверей поставили маленький, для троих, деревянный диванчик. На этом диванчике, пожалуй, редкий из современных писателей не провел несколько минут своей жизни.

И почти каждое посещение Есенина тоже начиналось с этого диванчика. Он приходил, закуривал — и выходил в коридор. Всю осень он бывал довольно часто. И как-то случалось так, что чаще всего я встречал его на диванчике, замечая издали в коридоре знакомую фигуру. Вид его был неизбежно одинаков: расстегнутое

пальто, шапка или шляпа, высоко сдвинутые кверху, кашне, наклон головы и плеч вперед, размахивающие руки... Какое-то глубочайшее удальство было в нем, совершенно естественное, милое, влекущее. Никакой позы и позировки. И еще издали рассиневались чудесные глаза на белом лице, будто слегка посеревший снег с шероховатыми весенними выбоинками от дождя. Связных воспоминаний я не сохранил, потому что не записывал, не было в этом нужды, казалось, и без записи все запомнится надолго. И все не запомнилось: память оказалась коварна, кое-что она упорно подсказывает, но без должной убедительности. И то, в чем я не уверен, я не пишу. Некоторые моменты запомнились настолько ярко, будто они были сейчас, и я слышу его веселый и негодующий, и капризный, и отчаянный голос. Эти чисто фрагментарные, мозаичные моменты были таковы.

Как-то в октябре он горько и жалобно кричал на диванчике:

— Евдокимыч, я не хочу за границу! Меня хотят отправить лечиться к немцам! А мне противно! Я не хочу! На кой черт! Ну их немцев! Тьфу! Скучно там, скучно! Был я за границей — тошнит меня от заграницы! Я не могу без России! Я сдохну там! Я буду волноваться! Мне надо в деревню, в Рязанскую губернию, под Москву куда-нибудь, в санаторий. Ну, их к ...! Этот немецкий порядок аккурат-вокурат мне противен!

— А ты не езди,— отвечал я, хотя в душе думал противоположное.

— Не поеду! — решительно махнул рукой пьяный поэт.— Я давно решил.

На глазах у него были слезы.

— Меня уговаривают все — и Берзина и Воронский. Они не понимают — мне будет там хуже. Я околею там по России. Ах, Евдокимыч, если бы ты знал, как я люблю Россию! Был я в Америке, в Париже, в Италии — скука, скука, скука! Я люблю Москву. Москва очень хороша ночью, когда луна... Днем не люблю Москву. В деревню я хочу на месяц, на два, на три! Вот тут мы с Воронским поедем дня на четыре в одно место... Это хорошо! За границей мне ничего не написать, ни одной строчки!

В то время, как я слышал, родственники проектировали отправить его в Германию в какой-то особенно оборудованный санаторий. Но он, кажется, действительно отказался ехать.

В другой раз он приходил трезвый и принес несколько стихотворений в первый том «Собрания». Разгозор коснулся литературы. Улыбаясь и лучась глазами, Есенин говорил:

— Люблю Гоголя и Пушкина больше всего. Нам бы так писать!

Кто-то, не помню, из бывших при этом писателей сказал:

— Ты в последнее время совсем пишешь под Пушкина.

Есенин не ответил. А кто-то другой добавил:

— Пушкинские темы, рифмы, а выходит по-своему, по-есенински... Выходит здорово, захватывает прозрачностью и свежестью!

Тогда же разговор перекинулся на «попутчиков» и «напостовцев». Писатели тут были одни «попутчики». Есенин внимательно слушал разговор, принявший довольно жестокий характер в оценках отдельных писателей, он больше молчал, будто высматривая что-то за льющимся потоком зряшных фраз. Только один раз он невесело, морщась, сказал:

— Ну-у их! Лелевич писал обо мне, а мне смешно!

Несколько раз он на этом же диванчике рассказывал мне о младшей своей сестре Шуре, всегда с неизменной любовью и словно бы с каким-то удивлением. В разное время он меня раз пять знакомил с ней, держа у ней на плече руку и заглядывая сверху в глаза. Смеялась молодая девушка, смеялся я.

Есенин редко приходил один, а всякий раз с новыми людьми... По большей части эти люди молчали, глаза у них заискивающе бегали, или эти люди были чванливы, грубо подчеркивая свою близость к знаменитому поэту. Чрезвычайно редко приходили с ним люди, которые могли держаться естественно.

Около половины декабря Есенин пришел в сопровождении нового незнакомого человека. Я знал, что он находится в психиатрической клинике, куда, как рассказывала тогда же жена Софья Андреевна, он захотел сам. Должно быть, видя мое удивление на лице, Есенин с обычной своей милейшей улыбкой сказал:

— А я из клиники вышел на несколько часов, потом опять обратно. Вот и доктор со мной. Мне, понимаешь, Евдокимыч, там нравится. Я пришел поговорить с тобой об одном деле.

Встретились мы на знакомом диванчике. Я не понял, какой его доктор сопровождает, и, по правде сказать, принял это как шутку. Доктор остался сидеть на диванчике, а мы вошли в комнату и сели к моему столу. Как будто бы Есенин был немного пьян. Он наклонился ко мне и почему-то, мне показалось, стесняясь, сказал:

— Понимаешь, Евдокимыч, я не хочу никому давать моих денег — ни жене, ни сестре, никому...

— Ну, и не давай,— говорю я.— Что тебя это беспокоит?

Обычно ежемесячные выплаты по тысяче рублей приходилось выдавать по доверенностям Есенина то жене, то двоюродному брату Илье Есенину. До женитьбы поэта на С. А. Толстой деньги получала сестра его Е. А. Есенина. В целях сохранения денег, когда приходил за ними поэт в нетрезвом состоянии, мы считали своим долгом денег ему не выдавать. Под благовидным предлогом я быстро сходил в нижний этаж, в финансовый сектор, предупреждал наших товарищей по работе, в кассе деньги Есенину не выдавать, или брал из кассы уже выписанный ордер. В случаях настойчивости поэта затягивали выдачу до 3 часов дня, затем выдавали ему чек в банк, когда там в этот день уже прекращались операции. В последнем случае была надежда, что поэт наутро протрезвится и деньги не пойдут прахом. Но еще в начале осени я договорился с поэтом, чтобы он сам вообще не ходил за деньгами, не отвлекался от работы... Есенин, смеясь, согласился и поручил получать деньги брату Илье, который и ходил за ними с тех пор. Иногда этот порядок нарушался: приходили с его доверенностями жена, знакомые. Почти всегда эти выдачи выражались в нескольких десятках рублей, а по растерянному виду получателей казалось, что где-то за стенами бушевал поэт и требовал денег или занемогал, и деньги были нужны на докторов и на лекарства.

— Вот, Евдокимыч,— продолжал Есенин,— кто бы ни пришел с моей запиской, ты не давай. Я навыдавал их, не знаю и кому. Я к тебе скоро зайду. Мы это оформим.

В это время доктор заглянул в дверь. Есенин заторопился и, приветливо улыбаясь ему, сказал:

— Я сейчас, сейчас!

Потом повернулся ко мне и с серьезным видом сказал:

— Мне долго нельзя. Мне пора домой. Я на три часа вышел.

Провожая его до дверей, я спросил:

— Ты долго там думаешь отдохнуть? Смотри, как ты уже окреп! Посвежел!

— Не-е-т,— вдруг раздраженно бросил Есенин,— мне надоело, над-д-д-оело! Я скоро совсем выйду!

И остановился в раскрытых дверях:

— Ты получил от Кати письмо к тебе? Я послал из клиники. Там и стихи в «Собрание».

— Нет.

— Она принесет тебе... Я ей скажу. Я ей скажу. Когда мне корректуру дашь?

— Скоро. Все тома уже сданы в набор.

Есенин, улыбаясь, толкнул шире дверь — и вышел.

А 21 декабря он пришел снова, совершенно пьяный, злой, крикливый, и опять заговорил о том же.

Я предложил ему подать заявление, и он под мою диктовку, клюя носом, трудно написал:

«Лит. отдел Госиздата.

Прошу гонорар за собрание моих стих<отворений>, начиная с декабря 25 г., выдавать мне лично. Настоящим все доверенности, выданные мною разным лицам до 1-го (первого) декабря, считать недействительными.

С. Есенин. 19—21/XII—25 г.»

Я не мог удержаться от смеха, когда Есенин, написав цифру 1, вдруг остановился, придвинулся ближе к бумаге и тщательно вписал в скобках (первого). Он тоже засмеялся, вертя в руках ручку, не державшуюся в нужном положении.

В десять часов утра 23 декабря я пришел на службу. Секретарь отдела сказал:

— Здесь с девяти часов Есенин. Пьяный. Он уезжает в Ленинград. Пришел за деньгами. Дожидался вас.

Столь необычно раннее появление Есенина, он всегда появлялся во второй половине дня, уже встревоживало.

Не скрою: мне было нехорошо. Я не любил визитов Есенина в таком состоянии, тяготился ими, всегда стремился выпроваживать его из отдела. Когда он умер, я корил себя, мне было жалко, что я это делал, но, к несчастью, это было непоправимо.

В тревоге и ожидании я сел на диванчик. Скоро в глубине длинного госиздатского коридора показался Есенин. Пальто было нараспашку, бобровая шапка вы-

соко сдвинута на лоб, на шее густой черного шелка шарф с красными маками на концах, веселые глаза, улыбка, качающаяся грациозная походка... Он был полупьян. Поздоровались. И сразу Есенин, садясь рядом и закуривая, заговорил:

— Евдокимыч, я вышел из клиники. Еду в Ленинград. Совсем, совсем еду туда. Надоело мне тут. Мешают мне. Я развелся с Соней... с Софьей Андреевной. Поздно, поздно, Евдокимыч! Надо было раньше. А Катька вышла замуж за Наседкина. Ты как смотришь на это?

И Есенин близко наклонился ко мне.

— Что же,— ответил я,— это твое личное дело. Тебе лучше знать. Я не знаю...

— Да, да,— схватил он меня за руку.— Это мое дело. К черту! И лечиться я не хочу! Они меня там лечат, а мне наплевать, наплевать! Скучно! Скучно мне, Евдокимыч!

Веселое, приподнятое и бесшабашное настроение прошло у Есенина. Не уверен твердо, боюсь, что последующие события обострили во мне это впечатление, но мне кажется, он тогда печально и безнадежно как-то вгляделся в меня. Я отнесся легко к этой фразе, приписывая ее случайному душевному состоянию, и даже отшутился.

— Не тебе одному скучно. Всем скучно.

— Скучно, скучно мне! — продолжал восклицать Есенин, недовольно мотая головой и глядя в пол.— Да, да,— вдруг опять он заговорил,— ты получил письмо?

— Нет.

— Ах! Я же ей, Катьке, дал снести: там стихи в «Собрание». Что же она не несет! Я ей скажу... Она принесет. Евдокимыч, я еду в Ленинград: мне надо денег.

— Деньги выписаны, Сережа,— сказал я.

Есенин лукаво и недоверчиво улыбнулся, чуточку выждал, хитро взглянул на меня и растерянно, вполголоса, выговорил:

— Я спрашивал. В кассе говорят — нет ордера. Ты забыл спустить в кассу?

И опять улыбка, ожидающая и недоверчивая. Я тоже усмехнулся на его недоверие.

— Видно, много тебя, Сережа, обманывали,— серьезно говорю я,— и ты перестал верить, когда тебя не обманывают?

— Нет, нет, я тебе верю,— заторопился с ответом Есенин.— Значит... мне выдадут?

— Конечно. Но ты очень рано пришел. Деньги же выдают в два часа дня. Ты бы куда-нибудь сходил.

Поэт задумался и спохватился, сдвигая на глаза шапку:

— Верно. Мне надо сходить к Воронскому проститься. Люблю Воронского. И он меня любит. Я пойду в «Красную новь». Там мне тоже надо получить деньги. Раньше, понимаешь, Евдокимыч, у тебя нельзя получить?

— Я с удовольствием бы, Сережа, но это от меня не зависит. Раз денег нет в кассе, что же делать!

— Ну, хорошо. Я подожду.

Была в Есенине редкая в литературных кругах уступчивость в денежных делах. Современный писатель чаще всего неотвязно настойчив в получении гонорара, криклив, жалок. Тяжелое материальное положение извиняет эту писательскую черту, но в Есенине эта покорливость обстоятельствам была обаятельной. Он соглашался ждать, а те, которые ему отказали, вдруг сами, по своему почину, начинали волноваться, устраивать, бегать, просить, убеждать, даже лгать, лишь бы выдать ему деньги. Думаю, что черта эта у Есенина была органической, а не правильным психологическим расчетом. Поступил так и я на этот раз. Попытка оказалась неудачной: в кассе были гроши.

Поэт подождал меня на диванчике и нетерпеливо спросил:

— Ну, что, можно?

Я развел руками и сел рядом.

— Ты мне корректуры вышли в Ленинград,— погрустнев, сказал Есенин.— Ты говорил, стихи в наборе?

— Да. Сдали в ноябре. Уже идет набор: не сегодня завтра будут гранки. А куда тебе выслать? Ты где там остановишься?

Есенин немного подумал.

— Я тебе напишу. Как устроюсь, так и напишу. Я тебе буду писать часто. Да, я тебе вышлю точный адрес. Остановлюсь я... у Сейфуллиной... у Правдухина... у Клюева. Люблю Клюева. У меня там много народу. Ты мне поскорее высылай корректуру.

— Как только придут из типографии, в тот же день и направлю тебе. Ты внимательно погляди на даты. Помнишь, ты в некоторых сомневался?

— Я... я все сделаю. Вот Катька не принесла тебе письма, я там послал семь новых стихотворений: «Стихи о которой». Не поздно их будет в первый том, в самый конец? *

— Нет, но надо скорее. Пока гранки, вставить можно. Ты будешь читать корректуру, вместе с ней и вышли эти стихи.

— Хорошо. Я пришлю. Стихи, кажется, неплохие. Я в клинике написал.

— А как твоя поэма «Пармен Крямин»?

При распределении стихотворений по томам для издания Есенин обещал доставить поэму «Пармен Крямин», в которой, по его тогдашним предположениям, должно было быть 500 строк. Я о ней и напомнил теперь.

— Я ее вышлю, только дам другое заглавие. Пармен, пожалуй, нехорошо. В Ленинграде я допишу ее. Она не готова. Тут мне мешают. Напишу четыре строчки, кто-нибудь придет... В Ленинград я совсем, навсегда...

— Даты не позабудь.

— Нет, нет! И даты — все проставлю. Раз «Собрание», надо по-настоящему сделать. Я помню все стихи. Мне надо остаться одному. Я припомню. А денег ты никому, кроме меня, не давай...

— Будем высылать тебе в Ленинград.

— Надо бы биографию в первый том,— обеспокоенно сказал Есенин.— Выкинь ты к черту, что я там сам написал! Ложь все, ложь все! Если можно, выкинь! Ты

---

* Письмо было доставлено мне Е. А. Есениной только в конце апреля 1926 года. «Стихи о которой» переданы не были, почему и не вошли в первый том «Собрания», как того хотел поэт. Написано оно на листке из блокнота карандашом. Если не ошибаюсь, это, кажется, последнее предсмертное письмо, написанное С. А. Есениным. Несмотря на некоторую шутливую интимность письма, считаю необходимым привести его полностью.

«Милый Евдокимыч! Привет тебе и тысячу пожеланий за все твои благодеяния ко мне. Дорогой мой! Так как жизнь моя немного перестроилась, то я прошу тебя, пожалуйста, больше никому денег моих не выдавать, ни Илье, ни Соне, кроме моей сестры Екатерины. Было бы очень хорошо, если б ты устроил эту тысячу между 7—10 дек., как ты говорил. Живу ничего. Лечусь вовсю. Скучно только дьявольски; но терплю, потому что чувствую, что лечиться надо, иначе мне не спеть, как в твоем «Сиверко», «пил бы да ел бы, спал бы да гулял бы». На днях пришлю тебе лирику «Стихи о которой». Если не лень, черкни пару слов с Екатериной. Я ведь теперь не знаю, чем пахнет жизнь. Жму руку.

Твой *С. Есенин.* 6/XII 1925 г.»

скажи заведующему Николаеву. Напиши ты, Евдокимыч, мою биографию!

— Как же написать — ведь я совершенно не знаю, как ты жил. Ты теперь уезжаешь в Ленинград. Тут надо бы о многом расспросить тебя, а где же теперь?

Есенин сумрачно задумался — и вдруг, оживляясь и злобясь на что-то, закричал, мне казалось, с похвальбой и презрением:

— Обо мне напишут, напи-и-шут! Много напи-ишут! А мою автобиографию к черту! Я не хочу! Ложь, ложь там все! Любил, целовал, пьянствовал... не то... не то... не то!.. Скучно мне, Евдокимыч, скучно!

— Тебя, кажется, хорошо знает Касаткин? — спросил я.— Вот бы кому написать.

Настроение Есенина было чрезвычайно неустойчивое: от мрачности он быстро переходил в самое благодушное состояние.

— Да, Касаткин,— весь заулыбался он нежнейшим вниманием к этому имени.— Да, да. Люблю его. Ты не знаешь, какой это парень... дядя Ваня... Мы с ним давно-о... давно-о! Давнишний мой друг! Черт с ней, с биографией. Обо мне напишут, напи-и-шут!

В это время я обратил внимание на его полупьяное, но очень свежее лицо и, помню, ясно подумал о том, что он поправился в клинике.

Есенин заметил мой взгляд и, улыбаясь, сказал:

— Тебе нравится мой шарф?

Он подкинул его на ладони, оттянул вперед и еще раз подкинул.

— Да,— говорю,— очень красивый у тебя шарф!

Действительно, шарф очень шел к нему, гармонично как-то доканчивая белое и бледное лицо поэта. Шарф кидался в глаза тончайшим соединением черного тона шелка с красными маками, спрятавшимися в складках, будто выставлявшими отдельные лепестки на волнистой линии концов. Я потрогал его рукой.

Продолжая радостно улыбаться, Есенин заметил:

— Это подарок Изадоры... Дункан. Она мне подарила.

Поэт скосил на меня глаза.

— Ты знаешь ее?

— Как же. Лет двенадцать назад я бывал на ее выступлениях здесь, в Москве.

— Эх, как эта старуха любила меня! — горько сказал Есенин.— Она мне и подарила шарф. Я вот ей

напишу... позову... и она прискачет ко мне откуда угодно...

Он опять погладил шарф несколько раз.

— Я поеду совсем, совсем, навсегда в Ленинград,— твердил он дальше,— буду писать. Я еще напишу, напишу! Есть дураки... говорят... кончился Есенин! А я напишу... напишу-у! Лечить меня, кормить... и так далее! К черту!

— А ты гляди, Сережа, как набрался сил,— взглянув на него, сказал я,— клиника здорово тебе помогла. Посидел бы еще с месяц, окреп бы совсем для работы. Лицо у тебя стало свежее, спокойное.

Помню, он внимательно всмотрелся в меня и, будто завидуя и будто спрашивая у меня, сказал:

— Мне бы твое здоровье, Евдокимыч!

Я засмеялся.

— Это видимость одна, Сережа. У меня целая коллекция болезней. Вид — обманчив.

— Ну да! — недоверчиво протянул Есенин.— А, может быть! Я ничего не говорю! Может быть!

И. Евдокимов

В середине июня 1925 года Сергей переехал на квартиру Софьи Андреевны Толстой в Померанцевом переулке.

В 1925 году Софье Андреевне было двадцать пять лет. Выше среднего роста, немного сутуловатая, с небольшими серовато-голубыми глазами под нависшими бровями, она очень походила на своего дедушку — Льва Николаевича; властная, резкая в гневе и мило улыбающаяся, сентиментальная в хорошем настроении. «Душка», «душенька», «миленькая» были излюбленными ее словами и употреблялись ею часто, но не всегда искренне.

С переездом Сергея к Софье Андреевне сразу же резко изменилась окружающая его обстановка. После квартиры в Брюсовском переулке, где жизнь была простой, но шумной, здесь в мрачной музейной тишине было неуютно и нерадостно. В Померанцевом все напоминало о далекой старине: в массивных рамах портреты толстовских предков, чопорных, важных, в старинных костюмах, громоздкая, потемневшая от времени мебель, поблекшая, поцарапанная посуда, горка со множеством художественно раскрашенных пасхальных яичек и —

как живое подтверждение древности — семидесятипятилетняя горбатенькая работница Марфуша, бывшая крепостная Толстых, прослужившая у них всю свою безрадостную жизнь, но сохранившая старинный деревенский выговор: «нетути», «тутати».

Серый, мрачный шестиэтажный дом. Сквозь большие со множеством переплетов окна, выходившие на северную сторону, скупо проникал свет. Вечерами лампа под опущенным над столом абажуром освещала людей, сидящих за столом, остальная же часть комнаты была в полумраке.

Квартира была четырехкомнатная. В одной из комнат жила жена двоюродного брата Сони с двумя маленькими детьми, которых редко выпускали в коридор, чтобы не шумели. Другую комнату занимала двоюродная тетя Сони, женщина лет пятидесяти, которая ходила всегда в старомодной длинной расклешенной юбке и в белой блузке с высоким воротом. Она почти не выходила из своей комнаты, и, бывая в этой квартире в течение нескольких месяцев, я лишь раза два слышала, как Соня с этой тетей обменялись несколькими фразами на французском языке.

В этой квартире жили люди кровно родные между собой, но внутренне чужие друг другу и почти не общались.

Иногда к Соне приходила ее мать — Ольга Константиновна — красивая брюнетка с проседью, с черными, как маслины, глазами. Говорила она мало и тихим голосом, как будто боясь спугнуть устоявшуюся здесь тишину.

Сергей очень любил «уют, уют свой, домашний», о котором писала ему Галя, где каждую вещь можно передвинуть и поставить как тебе нужно, не любил завешанных портретами стен. В этой же квартире, казалось, вещи приросли к своим местам и давили своей многочисленностью. Здесь, может быть, было много ценных вещей для музея, но в домашних условиях они загромождали квартиру. Сергею здесь трудно было жить.

Перебравшись в квартиру к Толстой, оказавшись с ней один на один, Сергей сразу же понял, что они совершенно разные люди, с разными интересами и разными взглядами на жизнь. И чуть ли не в первые же дни женитьбы он пишет Вержбицкому:

«Милый друг мой, Коля!

Все, на что я надеялся, о чем мечтал, идет прахом. Видно, в Москве мне не остепениться. Семейная жизнь не клеится, хочу бежать. Куда? На Кавказ!

До реву хочется к тебе, в твою тихую обитель на Ходжорской, к друзьям...

С новой семьей вряд ли что получится, слишком все здесь заполнено «великим старцем», его так много везде, и на столах, и в столах, и на стенах, кажется, даже на потолках, что для живых людей места не остается. И это душит меня...»

В первой половине июля Сергей уезжает в деревню, или, как мы говорили, «домой». Дома он прожил около недели. В это время шел сенокос, стояла тихая, сухая погода, и Сергей почти ежедневно уходил из дома, то на сенокос к отцу и помогал ему косить, то на два дня уезжал с рыбацкой артелью, километров за пятнадцать от нашего села ловить рыбу. Эта поездка с рыбаками и послужила поводом к написанию стихотворения «Каждый труд благослови, удача!..», которое было написано там же, в деревне.

Вернувшись из деревни, под впечатлением этой поездки он написал стихи: «Я иду долиной. На затылке кепи...», «Спит ковыль, равнина дорогая...» и «Я помню, любимая, помню...».

Находясь в деревне, Сергей написал стихотворение «Видно, так заведено навеки...», относящееся к событиям, связанным с его жизнью с С. А. Толстой.

Кольцо, о котором говорится в этом стихотворении, действительно Сергею на счастье вынул попугай незадолго до его женитьбы на Софье Андреевне. Шутя, Сергей подарил это кольцо ей. Это было простое медное кольцо очень большого размера, и носить такое кольцо было трудно. Но Софья Андреевна сжала его и надела между двумя своими кольцами. Красоты в этом кольце не было никакой, однако проносила она его много лет.

В конце июля Сергей и Соня уехали на Кавказ и вернулись в начале сентября.

Не таким вернулся Сергей с Кавказа, каким он вернулся весной. Тогда он приехал бодрым, помолодевшим, отдохнувшим, несмотря на то, что много работал. Трудно перечесть все, что им было написано за несколько месяцев пребывания там. Но работа не утомила его, а,

наоборот, прибавила энергии. Теперь он вернулся таким же, каким и уехал: усталым, нервным.

У Софьи Андреевны же было как-то тихо и чуждо. Вечера мы проводили одни, без посторонних людей, только свои: Сергей, Катя, Соня, я и Илья. Чаще других знакомых к нам заходил Наседкин и коротал с нами вечера. В то время он ухаживал за Катей, к нему хорошо относился Сергей, и Наседкин был у нас своим человеком. Даже 18 сентября, в день регистрации брака Сони и Сергея, у нас не было никого посторонних. Были все те же— Илья и Василий Федорович.

В этот вечер за ужином немного выпили вина, а затем играли в какие-то незатейливые игры. Одной из этих игр была «буриме». Игра эта заключалась в следующем: давались рифмующиеся попарно четыре или восемь слов. Нужно было составить стихотворение, окончанием каждой строки которого должно было быть одно из данных слов.

После первой попытки мы установили, что игра нам не удалась, и, посмеявшись, мы прекратили ее. Софья Андреевна со свойственной ей манерой все собирать часть этой игры сохранила в своем архиве.

Осенью 1925 года Сергей очень много работал. Он уставал и нервничал. Отношения с Соней у него в это время не ладились. И он был рад, когда мы, сестры, приходили к нему. С Катей он мог посоветоваться, поделиться своими радостями и горестями, а ко мне относился как к ребенку, ласково и нежно.

В один из сентябрьских дней Сергей предложил Соне и мне покататься на извозчике. День был теплый, тихий.

Лишь только мы отъехали от дома, как мое внимание привлекли кошки. Уж очень много их попадалось на глаза.

Столько кошек мне как-то не приходилось встречать раньше, и я сказала об этом Сергею. Сначала он только улыбнулся и продолжал спокойно сидеть, погруженный в какие-то размышления, но потом вдруг громко рассмеялся. Мое открытие ему показалось забавным, и он тотчас же превратил его в игру, предложив считать всех кошек, попадавшихся нам на пути.

Путь от Остоженки до Театральной площади довольно длинный, особенно когда едешь на извозчике. И мы принялись считать. Это занятие нас всех развеселило,

а Сергей увлекся им, пожалуй, больше, чем я. Завидев кошку, он вскакивал с сиденья и, указывая рукой на нее, восклицал: «Вон, вон еще одна!»

Мы так беззаботно и весело хохотали, что даже угрюмый извозчик добродушно улыбался.

Когда мы доехали до Театральной площади, Сергей предложил зайти пообедать. И вот я первый раз в ресторане. Швейцары, ковры, зеркала, сверкающие люстры — все это поразило и ошеломило меня. Я увидела себя в огромном зеркале и оторопела: показалась такой маленькой, неуклюжей, одета по-деревенски и покрыта красивым, но деревенским платком. Но со мной Соня и Сергей. Они ведут себя просто и свободно. И, уцепившись за них, я шагаю к столику у колонны. Видя мое смущение, Сергей все время улыбался, и, чтобы окончательно смутить меня, он проговорил: «Смотри, какая ты красивая, как все на тебя смотрят...»

Я огляделась по сторонам и убедилась, что он прав. Все смотрели на наш столик. Тогда я не поняла, что смотрели-то на него, а не на меня, и так смутилась, что уж и не помню, как мы вышли из ресторана.

А на следующий день Сергей написал и посвятил мне стихи: «Ах, как много на свете кошек, нам с тобой их не счесть никогда...» и «Я красивых таких не видел...».

Однажды Сергей встретил меня с довольной улыбкой и сразу же потащил в коридор к вешалке.

— Пойди посмотри, какое я пальто купил,— говорил он, натягивая пальто на себя.

Я осмотрела Сергея со всех сторон, и пальто мне не понравилось. Я привыкла видеть брата в пальто свободного покроя, а это было двубортное, с хлястиком на спине. Пальто такого фасона только входили в моду, но именно фасон-то мне и не нравился.

— Ну и пальто! Ты же в нем похож на милиционера,— не задумываясь, высказала я свое удивление.

— Вот дурная! Ты же ничего не понимаешь,— с досадой ответил он.

Разочарованный, Сергей вернулся в комнату и о пальто не сказал больше ни слова.

С этим пальто у меня связано еще одно воспоминание. Это было уже в октябре. Все чаще и чаще шли дожди. В такую пору я однажды явилась к Сергею в сандалиях. У него были Сахаров и Наседкин. Я почувствовала себя неудобно и тихонько уселась на диване, стараясь убрать под него ноги. Но мое необычное пове-

дение не ускользнуло от внимания Сергея, и он, приглядевшись ко мне, понял, почему я притихла.

— Подожди, подожди. Почему ты ходишь в сандалиях? Ведь уже холодно!

Пришлось сознаться, что ботинки, которые мне купили весной, стали малы.

— Так чего ж ты молчала? Надо купить другие.

И, словно обрадовавшись появившейся причине выбраться из дома, он предложил пойти всем вместе и купить мне ботинки.

Возражений не было, мы отправились в магазин «Скороход» в Столешниковом переулке. Из магазина я вышла уже в новых «румынках» на среднем каблуке. Довольная такой обновкой, я шла не чуя под собой ног.

Настроение было у всех хорошее, никому не хотелось возвращаться сразу домой, и мы решили немножко погулять. Спускаясь вниз по Столешникову переулку, все подшучивали надо мной, расхваливали мои ботинки. Катя с Сахаровым разыгрывали влюбленных. Так с шутками и смехом мы дошли до фотоателье, и тут кто-то предложил зайти сфотографироваться. В таком настроении мы и сфотографировались. Сахаров обнимает Катю, а мы с Сергеем играем в «сороку».

Было сделано несколько снимков, на одном из которых Сергей в шляпе и в том пальто, о котором шла речь выше. Эти снимки оказались последними в жизни Сергея.

А. Есенина

В начале октября 1925 года, в последний год своей жизни, Сергей Есенин увлекался созданием коротких стихотворений. 3 октября были написаны «Голубая кофта. Синие глаза...» и «Слышишь — мчатся сани...». В ночь с 4 на 5 октября он продиктовал мне подряд семь шести- и восьмистрочных стихотворений. На другой день по этой моей записи Есенин сделал небольшие поправки.

При жизни автора были напечатаны «Сочинитель бедный, это ты ли...» и «Вечером синим, вечером лунным...». Подготавливая собрание своих стихотворений, Есенин включил в него стихотворения: «Снежная замять крутит бойко...» и «Не криви улыбку, руки теребя...». Первый том собрания, в который вошли эти вещи, появился, когда поэта уже не было в живых. Остальные стихи того цикла автор печатать не хотел, так как они его не удовлетворяли.

Осенью 1925 года, вскоре после возвращения в Москву из поездки на Кавказ, где Есенин работал главным образом над продолжением цикла «Персидских мотивов», он несколько раз говорил о том, что хочет написать цикл стихов о русской зиме. Необычайное многообразие, яркость, величавость, сказочная, фантастическая красота нашей зимы, которую с детства любит всякий русский человек, увлекали Есенина, глубоко любившего свою родную страну, пробуждали в нем высокие поэтические настроения, рождали новые прекрасные образы и сравнения.

С. Толстая-Есенина

Он читал нам последнюю свою, предсмертную поэму. Мы жадно глотали ароматичную, свежую, крепкую прелесть есенинского стиха, мы сжимали руки один другому, переталкивались в местах, где уже не было силы радость удержать внутри.

А Сережа читал. Голос у него знаете какой — осипло-хриплый, испитой до шипучего шепота. Но когда он начинал читать — увлекался, разгорался, тогда и голос крепчал, яснел, он читал, Сережа, хорошо. В читке его в собственной, в есенинской, стихи выигрывали.

Сережа никогда не ломался, не кичился ни стихами своими, ни успехами — он даже стыдился, избегал, где мог, проявленья внимания к себе, когда был трезв. Кто видел его трезвым, тот запомнит, не забудет никогда кроткое по-детски мерцание его светлых голубых глаз.

И если улыбался Сережа, тогда лицо его становилось вовсе младенческим: ясным и наивным.

Разговоров теоретических он не любил, он их избегал, он их чуть стыдился, потому что очень-очень многого не знал, а болтать с потолка не любил. Но иной раз он вступался в спор по какому-нибудь большому, положим, политическому вопросу. О, тогда лицо его пыталось скроиться в серьезную гримасу, но гримаса только портила наивное, не тронутое большими вопросами борьбы лицо его.

Сережа хмурил лоб, глазами старался навести строгость, руками раскидывал в расчете на убедительность, тон его голоса гортанился, строжал. Я в такие минуты смотрел на него, как на малютку годов семи-восьми, высказывающего свое мнение, ну, к примеру, по вопросу о падений министерства Бриана. Сережа пыжился, ту-

жился, видимо, потел — доставал платок, часто-часто отирался. Чтобы спасти, я начинал разговор о ямбах...

Преображался, как святой перед пуском в рай, не узнать Сережу: вздрагивали радостью глаза, весь его корпус опрощался и облегчался, словно скинув с себя путы или камни, голос становился тем же обычным, задушевным, как всегда, без гортанного клекота. И Сережа говорил о любимом: о стихах.

Потом поехали мы гуртом в Малаховку к Тарасу Родионычу: Анна Берзина, Сережа, я, Березовский Феоктист — всего человек шесть — восемь. Там Сережа читал нам последние свои поэмы: ух, как читал!

А потом на пруду купались — он плавал мастерски, едва ли не лучше нас всех. Мне запомнилось чистое, белое, крепкое тело Сережи — я даже и не ждал, что оно так сохранилось, это у горького-то пропойцы!

Он был чист, строен, красив — у него ж одни русые кудельки чего стоили! После купки сидели целую ночь— Сережа был радостный, все читал стихи.

Д. Фурманов

Последняя встреча с Сергеем Александровичем Есениным состоялась у меня за несколько дней до его отъезда в Ленинград в 1925 году.

Придя ко мне, Есенин был грустен и чем-то удручен.

— Что с тобой?— спросил я его.

— Плохо пишется,— ответил Сергей.

Я не стал его допрашивать больше о настроении, а предложил чаю или по стаканчику легкого вина — рислинга.

Когда я назвал слово «рислинг», Сергей лукаво улыбнулся и сказал:

— Это слово напомнило мне Питер... Альбомы далеко? Дай-ка я их перелистаю.

Я подал ему альбомы.

— Михаил, какое прекрасное начало поэмы «Возмездие» Александра Александровича Блока! Она ведь автобиографична.

Сергей передал мне альбом, а сам пошел к книжному шкафу, спрашивая: «На какой полке книги с автографами?»

— На третьей от верха.

Сергей долго стоял у книг, перебирая их, ища что-то.

— Твоя «Радуница» тоже там, книги стоят хроноло-

гически, по годам,— заметил я и принялся в альбоме рисовать, как рисуют в минуту ожидания. Рисовал большим пером, чернилами. На рисунке получился обрыв, на котором росли две березки, справа — река.

Сергей вернулся от шкафа и проговорил:

— А ну, покажи, что натворил?

— Березки как будто,— передавая ему альбом, сказал я. Сергей взял из подставки карандаш и на рисунке написал:

«Это мы с тобой.
С. Е.».

Затем вдруг Сергей заторопился уходить, проговорив:

— Проводи меня.

И мы пошли. Это была моя последняя встреча с поэтом.

М. Мурашев

В 1925 году мне было четырнадцать лет, но в семье меня считали еще ребенком. Такое отношение ко мне было особенно у Сергея. Я помню, как, написав поэму «Черный человек» и передавая рукопись Кате, он сказал ей: «Шуре читать эту вещь не нужно».

Оберегая меня, от меня скрывали разные неприятности, и я многого не знала. Не знала я и того, что между Сергеем и Соней идет разлад. Когда я приходила, в доме было тихо и спокойно, только немножечко скучно. Видела, что Сергей чаще стал уходить из дома, возвращался нетрезвым и придирался к Соне. Но я не могла понять, почему он к ней так относится, так как обычно в таком состоянии Сергей был нетерпим к людям, которые его раздражали. И для меня было совершенной неожиданностью, когда после долгих уговоров сестры Сергей согласился лечь в клинику лечиться, но запретил Соне приходить к нему.

26 ноября Сергей лег в клинику для нервнобольных, помещавшуюся на Б. Пироговской улице, в Божениновском переулке. Клиника эта скорее походила на санаторий: внизу в вестибюле стояли цветы, всюду чистота, на натертых паркетных полах лежали широкие ковровые дорожки. Отношение врачей к Сергею было очень хорошим. Ему отвели отдельную светлую комнату на втором этаже, перед окном которой стояли в зимнем уборе большие деревья. Кроме того, ему разрешили ходить в своей пижаме, получать из дома обеды. Иногда обеды

ему носила Катя, но в основном это была моя обязанность.

С первых же дней пребывания в клинике Сергей начал работать. Без работы, без стихов он не мог жить.

В один из воскресных дней зашли навестить Сергея Мариенгоф и Никритина. Я впервые видела их, так как долгое время Сергей с Мариенгофом были в ссоре и лишь незадолго до того, как Сергей лег в клинику, они помирились. Сергей не ждал их прихода, был смущен и немного нервничал. Разговор у них как-то не вязался, и Сергей вдруг стал жаловаться на больничные порядки, говорил, что он хочет работать, а в такой обстановке работать очень трудно.

Лечение в клинике было рассчитано на два месяца, но уже через две недели Сергей сам себе наметил, что не пробудет здесь более месяца. Здесь же он принял окончательное решение не возвращаться к Софье Андреевне и уехать из Москвы в Ленинград.

7 декабря он послал телеграмму своему другу — ленинградскому поэту В. Эрлиху: «Немедленно найди две-три комнаты. 20 числах переезжаю жить Ленинград. Телеграфируй. *Есенин*».

По его планам в эти две-три комнаты вместе с ним должны были переехать и мы с Катей.

19 декабря Катя и Наседкин зарегистрировали свой брак в загсе и сразу же сообщили об этом Сергею. Сергей был очень доволен этим сообщением, он уважал Василия Федоровича и сам всегда советовал сестре выйти за него замуж.

И тогда же ими всеми вместе было принято решение, что и Наседкин поедет в Ленинград и будет жить вместе с нами. Там же, в Ленинграде, было решено отпраздновать и их свадьбу.

Под предлогом каких-то дел 21 декабря Сергей ушел из клиники. Случаи, когда по делам Сергея выпускали из клиники, были и раньше, но выпускали его с врачом, и он в тот же день возвращался в клинику обратно. Но на этот раз он не вернулся. Не пришел он и домой. Дома было тревожно, ждали его каждую минуту.

Два дня Сергей ходил по редакциям и издательствам по делам и проститься с друзьями. Вечерами же был в Доме Герцена.

23 декабря под вечер мы сидели втроем у Софьи Андреевны: она, Наседкин и я. Часов в семь вечера пришел Сергей с Ильей. Сергей был злой. Ни с кем не здо-

роваясь и не раздеваясь, он сразу же прошел в другую комнату, где были его вещи, и стал торопливо все складывать как попало в чемодан. Уложенные вещи Илья, с помощью извозчиков, вынес из квартиры. Сказав всем сквозь зубы «до свидания», Сергей вышел из квартиры, захлопнув за собой дверь.

Мы с Софьей Андреевной сразу же выбежали на балкон. Был теплый, тихий вечер. Большими хлопьями, лениво кружась, падал пушистый снег. Сквозь него было видно, как у парадного подъезда Илья и два извозчика устанавливали на санки чемоданы. Снизу отчетливо доносились голоса отъезжающих... После того как были размещены на санках чемоданы, Сергей сел на вторые санки. У меня вдруг к горлу подступили спазмы. Не знаю, как теперь мне объяснить тогдашнее мое состояние, но я почему-то вдруг крикнула:

— Сергей, прощай!

Подняв голову, он вдруг улыбнулся мне своей светлой, милой улыбкой, помахал рукой, и санки скрылись за углом дома. Мне стало как-то невыносимо тяжело в опустевшей квартире.

Через день у меня наступили каникулы, и мы с Катей уехали домой в деревню.

А. Есенина

Пятница <25 декабря 1925 г.>.

Проснулись мы часов в шесть утра.

Первое, что я услышал от него в этот день:

— Слушай, поедем к Клюеву!

— Поедем.

— Нет верно, поедем?

— Ну да, поедем. Только попозже. Кроме того, имей в виду, что адреса его я не знаю.

— Это пустяки! Я помню... Ты подумай только: ссоримся мы с Клюевым при встречах кажинный раз. Люди разные. А не видеть его я не могу. Как был он моим учителем, так и останется. Люблю я его.

Часов до девяти лежа смотрели рассвет. Окна номера выходили на Исаакиевскую площадь. Сначала свет был густой синий. Постепенно становился реже и голубее. Есенин лежа напевал:

Синий свет, свет такой синий...

В девять поехали. Пришлось оставить извозчика и искать пешком. Мы заходили в десятки дворов. Десят-

ки дверей захлопывались у нас под носом. Десятки жильцов орали, что никакого Клюева, будь он трижды известный писатель (а на последнее Есенин очень напирал в объяснениях), они не знают и знать не хотят. Номер дома, как водится, был благополучно забыт. Пришлось разыскать автомат и по телефону узнать адрес.

Подняли Клюева с постели. Пока он одевался, Есенин взволнованно объяснял:

— Понимаешь? Я его люблю! Это мой учитель. Ты подумай: учитель! Слово-то какое!

Несколько минут спустя:

— Николай! Можно прикурить от лампадки?

— Что ты, Сереженька! Как можно! На вот спички!

Закурили. Клюев ушел умываться, Есенин, смеясь:

— Давай подшутим над ним!

— Как?

— Лампадку потушим. Он не заметит! Вот клянусь тебе, не заметит.

— Нехорошо. Обидится.

— Пустяки! Мы ведь не со зла. А так, для смеха.

Потушил.

— Только ты молчи! Понимаешь, молчи! Он не заметит.

Клюев действительно не заметил.

Сказал ему Есенин об этом и просил у него прощения уже позже, когда мы втроем вернулись в гостиницу. Вслед за нами пришел художник Мансуров.

Есенин читал последние стихи.

— Ты, Николай, мой учитель. Слушай.

Учитель слушал.

Когда Есенин кончил читать, некоторое время молчали.

Он потребовал, чтобы Клюев сказал, нравятся ли ему стихи.

Умный Клюев долго колебался и наконец съязвил:

— Я думаю, Сереженька, что, если бы эти стихи собрать в одну книжечку, они стали бы настольным чтением для всех девушек и нежных юношей, живущих в России.

Ничего другого, по совести, он не мог и сказать.

Есенин помрачнел.

Ушел Клюев в четвертом часу. Обещал прийти вечером, но не пришел.

Пришли Устиновы. Елизавета Алексеевна принесла самовар. С Устиновыми пришел Ушаков и старик писа-

тель Измайлов. Пили чай. Есенин снова читал стихи, в том числе и «Черного человека». Говорил:

— Снимем квартиру вместе с Жоржем. Тетя Лиза (Устинова) будет хозяйка. Возьму у Ионова журнал. Работать буду. Ты знаешь, мы только праздники побездельничаем, а там — за работу.

Воскресенье.

С утра поднялся галдеж.

Есенин, смеясь и ругаясь, рассказывал всем, что его хотели взорвать. Дело было так.

Дворник пошел греть ванну. Через полчаса вернулся и доложил: «Пожалуйте!»

Есенин пошел мыться, но вернулся с криком, что его хотели взорвать. Оказывается, колонку растопили, но воды в ней не было — был закрыт водопровод. Пришла Устинова.

— Сергунька! Ты с ума сошел! Почему ты решил, что колонка должна взорваться?

— Тетя Лиза, ты пойми! Печку растопили, а воды нет! Ясно, что колонка взорвется!

— Ты дурень! В худшем случае она может распаяться.

— Тетя Лиза! Ну что ты, в самом деле, говоришь глупости! Раз воды нет, она обязательно взорвется! И потом, что ты понимаешь в технике!

— А ты?

— Я знаю!

Пустили воду.

Пока грелась вода, занялись бритьем. Брили друг друга по очереди. Елизавета Алексеевна тем временем сооружала завтрак.

Стоим около письменного стола: Есенин, Устинова и я. Я перетираю бритву. Есенин моет кисть. Кажется, в комнате была прислуга.

Он говорит:

— Да! Тетя Лиза, послушай! Это безобразие! Чтобы в номере не было чернил! Ты понимаешь? Хочу написать стихи, и нет чернил. Я искал, искал, так и не нашел. Смотри, что я сделал!

Он засучил рукав и показал руку: надрез.

Поднялся крик. Устинова рассердилась не на шутку.

Кончили они так:

— Сергунька! Говорю тебе в последний раз! Если повторится еще раз такая штука, мы больше незнакомы!

— Тетя Лиза! А я тебе говорю, что, если у меня не будет чернил, я еще раз разрежу руку! Что я, бухгалтер, что ли, чтобы откладывать на завтра!

— Чернила будут. Но если тебе еще раз взбредет в голову писать по ночам, а чернила к тому времени высохнут, можешь подождать до утра. Ничего с тобой не случится.

На этом поладили.

Есенин нагибается к столу, вырывает из блокнота листок, показывает издали: стихи.

Говорит, складывая листок вчетверо и кладя его в карман моего пиджака:

— Тебе.

Устинова хочет прочесть.

— Нет, ты подожди! Останется один, прочитает.

Вслед за этим пошли: ванна, самовар, пиво (дворник принес бутылок пять-шесть), гусиные потроха, люди. К чаю пришел Устинов, привел Ушакова. Есенин говорил почти весело. Рассказывал про колонку. Бранился с Устиновой, которая заставляла его есть.

— Тетя Лиза! Ну что ты меня кормишь? Я ведь лучше знаю, что мне есть! Ты меня гусем кормишь, а я хочу косточку от гуся сосать!

К шести часам остались втроем: Есенин, Ушаков и я.

Устинов ушел к себе «соснуть часика на два». Елизавета Алексеевна тоже.

Часам к восьми и я поднялся уходить. Простились. С Невского я вернулся вторично: забыл портфель. Ушакова уже не было.

Есенин сидел у стола спокойный, без пиджака, накинув шубу, и просматривал старые стихи. На столе была развернута папка. Простились вторично.

На другой день портье, давая показания, сообщил, что около десяти Есенин спускался к нему с просьбой: никого в номер не пускать.

В. Эрлих

24 декабря 1925 года, утром в десять-одиннадцать часов к нам почти вбежал в шапке и шарфе сияющий Есенин.

— Ты откуда, где пальто, с кем?

— А я здесь остановился. Сегодня из Москвы, прямо с вокзала. Мне швейцар сказал, что вы тут, а я хотел

быть с вами и снял пятый номер. Пойдемте ко мне. Посидим у меня, выпьем шампанского. Тетя, ведь это по случаю приезда, а другого вина я не пью *.

Пошли к нему. Есенин сказал, что он из Москвы уехал навсегда, будет жить в Ленинграде и начнет здесь новую жизнь — пить вино совершенно перестанет. Со своими родственниками он окончательно расстался, к жене не вернется — словом, говорил о полном обновлении своего быта. У него был большой подъем. Вещи он оставил сначала у поэта В. Эрлиха и ждал теперь его приезда с вещами.

Есенин попросил у меня поесть, а потом мы с ним поехали вечером покупать продовольствие на праздничные дни. Есенин рассказывал о том, что стихов больше не пишет, а работает много над большой прозаической вещью — повесть или роман. Я попросила мне показать. Он обещал показать через несколько дней, когда закончит первую часть. Рассказывал о замужестве своей сестры Кати, подшучивал над собой, что он-то уж избавлен от всякой женитьбы, так как три раза был женат, а больше по закону не разрешается.

Первый день прошел в воспоминаниях прошлого и в разговорах о ближайшем будущем. Поэта Эрлиха мы просили искать общую квартиру: для нас и Сергея Александровича.

Я сначала не соглашалась на такое общежитие **, но Есенин настаивал, уверяя, что не будет пить, что он в Ленинград приехал работать и начать новую жизнь.

В этот день мы разошлись довольно поздно, а на другой день (26 декабря) Есенин нас разбудил чуть свет, около пяти часов утра. Он пришел в красном халате, такой домашний, интимный. Начались разговоры о первых шагах его творчества, о Клюеве, к которому Есенин хотел немедленно же ехать. С трудом его уговорили немного обождать, хотя бы до полного рассвета. Часов в семь утра он уехал к Клюеву.

Днем, в одиннадцать-двенадцать часов, в номере Есенина были Клюев, скульптор Мансуров и я. Мы сидели на кушетке и оживленно беседовали. Сергей Александрович познакомил меня с Клюевым:

— Тетя, это мой учитель, мой старший брат.

Я недолго была у Сергея Александровича. Как потом

* Сергей Александрович редко пил шампанское, как дорогое вино.

** В 1919 г. Есенин жил в одной квартире с Устиновым.

передавали, они сумели поспорить, но разошлись с тем, чтобы на другой день встретиться. Есенин назавтра говорил, что он Клюева выгнал. Это было не совсем так.

В тот день было немного вина и пива. Меня, помню, поразил один поступок Есенина: он вдруг запретил портье пускать кого бы то ни было к нему, а нам объяснил, что так ему надо для того, чтобы из Москвы не могли за ним следить.

Помню, заложив руки в карманы, Есенин ходил по комнате, опустив голову и изредка поправляя волосы.

— Сережа, почему ты пьешь? Ведь раньше меньше пил? — спрашивала я.

— Ах, тетя, если бы ты знала, как я прожил эти годы! Мне теперь так скучно!

— Ну, а твое творчество?

— Скучное творчество! — Он остановился, улыбаясь смущенно, почти виновато.— Никого и ничего мне не надо — не хочу! Шампанское, вот веселит, бодрит. Всех тогда люблю и... себя! Жизнь штука дешевая, но необходимая. Я ведь *«божья дудка»*.

Я попросила объяснить, что значит «божья дудка».

Есенин сказал:

— Это когда человек тратит из своей сокровищницы и не пополняет. Пополнять ему нечем и неинтересно. И я такой же.

Он смеялся с горькой складочкой около губ.

Пришел Г. Ф. Устинов с писателем Измайловым и Ушаковым, подошел Эрлих. Есенин читал свои стихи. Несколько раз прочел «Черного человека» в законченном виде, значительно сокращенном.

Разбирали вчерашний визит Клюева, вспоминали один инцидент. Н. Клюев, прослушав накануне стихи Есенина, сказал:

— Вот, Сереженька, хорошо, очень хорошо! Если бы их собрать в одну книжку, то она была бы настольной книгой всех хороших, нежных девушек.

Есенин отнесся к этому пожеланию неодобрительно, бранил Клюева, но тут же, через пять минут, говорил, что любит его. Вспоминая об этом сегодня, Есенин смеялся.

27-го я встретила Есенина на площадке без воротничка и без галстука, с мочалкой и с мылом в руках. Он подошел ко мне растерянно и говорит, что может

взорваться ванна: там будто бы в топке много огня, а воды в колонке нет.

Я сказала, что, когда будет все исправлено, его позовут.

Я зашла к нему. Тут он мне показал левую руку: на кисти было три неглубоких пореза.

Сергей Александрович стал жаловаться, что в этой «паршивой» гостинице даже чернил нет, и ему пришлось писать сегодня утром кровью.

Скоро пришел поэт Эрлих. Сергей Александрович подошел к столу, вырвал из блокнота написанное утром кровью стихотворение и сунул Эрлиху во внутренний карман пиджака.

Эрлих потянулся рукой за листком, но Есенин его остановил:

— Потом прочтешь, не надо!

Позднее мы снова сошлись все вместе. Я была не все время у него, то выходила, то снова приходила. Вечером Есенин заснул на кушетке. За ужином Есенин ел только кости и уверял, что только в гусиных костях есть вкус. Все смеялись.

В этот день все очень устали и ушли от него раньше, чем всегда. Звали его к себе, он хотел зайти — и не пришел.

28-го я пошла звать Есенина завтракать, долго стучала, подошел Эрлих — и мы вместе стучались. Я попросила наконец коменданта открыть комнату отмычкой. Комендант открыл и ушел. Я вошла в комнату: кровать была не тронута, я к кушетке — пусто, к дивану — никого, поднимаю глаза и вижу его в петле у окна. Я быстро вышла.

Е. Устинова

Я с удовольствием смотрел на эволюцию Есенина: от имажинизма к ВАППу. Есенин с любопытством говорил о чужих стихах. Была одна новая черта у самовлюбленнейшего Есенина: он с некоторой завистью относился ко всем поэтам, которые органически спаялись с революцией, с классом и видели перед собой большой и оптимистический путь.

В этом, по-моему, корень поэтической нервозности Есенина и его недовольства собой, распираемого вином и черствыми и неумелыми отношениями окружающих.

В последнее время у Есенина появилась даже какая-то явная симпатия к нам (лефовцам): он шел к Асееву, звонил по телефону мне, иногда просто старался попадаться.

Он обрюзг немного и обвис, но все еще был по-есенински элегантен.

Последняя встреча с ним произвела на меня тяжелое и большое впечатление. Я встретил у кассы Госиздата ринувшегося ко мне человека с опухшим лицом, со свороченным галстуком, с шапкой, случайно держащейся, уцепившись за русую прядь. От него и двух его темных (для меня, во всяком случае) спутников несло спиртным перегаром. Я буквально с трудом узнал Есенина. С трудом увильнул от немедленного требования пить, подкрепляемого помахиванием густыми червонцами. Я весь день возвращался к его тяжелому виду и вечером, разумеется, долго говорил (к сожалению, у всех и всегда такое дело этим ограничивается) с товарищами, что надо как-то за Есенина взяться. Те и я ругали «среду» и разошлись с убеждением, что за Есениным смотрят его друзья — есенинцы.

Оказалось не так. Конец Есенина огорчил, огорчил обыкновенно, по-человечески. Но сразу этот конец показался совершенно естественным и логичным. Я узнал об этом ночью, огорчение, должно быть, так бы и осталось огорчением, должно быть, и подрассеялось бы к утру, но утром газеты принесли предсмертные строки:

В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

После этих строк смерть Есенина стала литературным фактом.

В. Маяковский

Не будем винить только его. Все мы — его современники — виноваты более или менее. Это был драгоценный человек. Надо было крепче биться за него. Надо было более по-братски помочь ему.

А. Луначарский

Было туманное колючее раннее утро, более похожее на сумерки. Все кругом скрипело от мороза, а в гулких пустынных комнатах Госиздата люди сидели в шубах и валенках. Я только что поднялся в верхний этаж Дома

книги, как на столе затрещал телефон. Никого из сотрудников поблизости не было. Трубку взял оказавшийся рядом литературовед П. Н. Медведев. По выражению лица я увидел, что произошло что-то необычайное: звонили из гостиницы «Англетер», сообщали о том, что ночью в своем номере повесился С. А. Есенин. Просили сказать это друзьям. Мы ринулись к выходу. Почти не обмениваясь ни словом, бежали мы по Невскому и Морской к мрачному зданию гостиницы на Исаакиевской площади.

Начиналась метель. Сухой и злой ветер бил нам в лицо.

Дверь есенинского номера была полуоткрыта. Меня поразили полная тишина и отсутствие посторонних. Весть о гибели Есенина еще не успела облететь город.

Прямо против порога, несколько наискосок, лежало на ковре судорожно вытянутое тело. Правая рука была слегка поднята и окостенела в непривычном изгибе. Распухшее лицо было страшным,— в нем ничто уже не напоминало прежнего Сергея. Только знакомая легкая желтизна волос по-прежнему косо закрывала лоб. Одет он был в модные, недавно разглаженные брюки. Щегольской пиджак висел тут же, на спинке стула. И мне особенно бросились в глаза узкие, раздвинутые углом носки лакированных ботинок. На маленьком плюшевом диване, за круглым столиком с графином воды, сидел милиционер в туго подпоясанной шинели и, водя огрызком карандаша по бумаге, писал протокол. Он словно обрадовался нашему прибытию и тотчас же заставил нас подписаться как свидетелей. В этом сухом документе все было сказано кратко и точно, и от этого бессмысленный факт самоубийства показался еще более нелепым и страшным.

Обстановка номера поражала холодной, казенной неуютностью. Ни цветов на окне, ни единой книги. Чемодан Есенина, единственная его личная вещь, был раскрыт на одном из соседних стульев. Из него клубком глянцевитых переливающихся змей вылезали модные заграничные галстуки. Я никогда не видел их в таком количестве. В белесоватом свете зимнего дня их ядовитая многоцветность резала глаза неуместной яркостью и пестротой.

В окне мелькал косой летящий снег, и на фоне грязновато-белого неба темная глыба Исаакия казалась огромным колоколом, медленно раскачивающимся в холодном тумане.

Комната понемногу наполнялась людьми. Осторожный шепот пробегал по ней. Передавались подробности, ставшие несколько часов позднее известными всему городу. В первые минуты много было противоречивого, неясного, тем более что Есенин не оставил никакой объясняющей записки, кроме известного четверостишия: «До свиданья, друг мой, до свиданья,//Милый мой, ты у меня в груди...»

Через сутки тело Есенина, усыпанное цветами, лежало в маленькой комнатке тогдашнего Союза писателей на Фонтанке. Все кругом было строго, торжественно. Один за другим проходили прощавшиеся, иногда подолгу задерживаясь около гроба. Газеты называли Есенина талантливейшим лириком эпохи, печатали его неизданные стихи, окружали его имя уже ненужной ему теперь славой. Москва готовила торжественные похороны. Я глядел на строгое, вновь помолодевшее лицо Сергея. Теперь он был почти таким, как при жизни, только суровая складка неизгладимо легла между бровями.

Было много цветов. Были речи. Кто-то положил в изголовье несколько тоненьких книжек — стихи его молодости...

Вс. Рождественский

Москва с плачем и стенанием хоронила Есенина. В скорби о нем соединилась вся, тогда разделенная на группы и враждебные направления, советская литература. Вряд ли есть поэт-современник, не посвятивший памяти Есенина хотя бы несколько строк. Стихотворение Маяковского возвышается над всеми прочими стихами, посвященными памяти Есенина, как достойный памятник собрату. Тогда еще состоявшее почти поголовно из юношей, пролетарское писательское движение выразило свое отношение к Сергею Есенину в хорошей статье Владимира Киршона, вышедшей тогда отдельной книжкой и по настоящее время представляющей известный интерес,— она вошла в однотомник Киршона, изданный в Гослитиздате.

Перед тем как отнести Есенина на Ваганьковское кладбище, мы обнесли гроб с телом его вокруг памятника Пушкину. Мы знали, что делали,— это был достойный преемник пушкинской славы.

Ю. Либединский

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ ВОСПОМИНАНИЙ[1]

Александрова Нина Осиповна (псевдоним Грацианская), поэтесса. Воспоминания «Есенин в Ростове» впервые опубликованы в 1926 г.— 251—254, 288; I(1).

Асеев Николай Николаевич (1889—1963). «Воспоминания о Маяковском» впервые опубликованы в 1961 г.— 516—518; I(2).

Бабенчиков Михаил Васильевич (1890—1957), искусствовед, преподавал в художественных учебных заведениях. Воспоминания «Сергей Есенин» впервые опубликованы в 1926 г.— 131—140, 289—294, 466; I(1).

Бениславская Галина Артуровна (1897—1926), работала в Чрезвычайной комиссии (1919—1923), потом — до конца своей жизни — в редакции газеты «Беднота». Застрелилась на могиле Есенина 3 декабря 1926 г. Воспоминания о Есенине написаны в 1926 г., в отрывках публиковались во многих работах.— 334—337, 522—526; I(2).

Вержбицкий Николай Константинович (1889—1973), писатель, журналист. Во время пребывания Есенина в Тифлисе и Батуме (конец 1924 — начало 1925) работал в редакции газеты «Заря Востока» (Тифлис). Воспоминания «Встречи с Есениным» впервые опубликованы в 1958 г.— 371—393; I(2).

Вольпин Валентин Иванович (1891—1956), поэт, переводчик, библиограф. Воспоминания «О Сергее Есенине» впервые опубликованы в 1926 г.— 270—274; I(1).

Воронский Александр Константинович (1884—1943), литературный критик, прозаик, журналист. Редактировал журналы «Красная новь» и «Прожектор». Ему посвящена поэма «Анна Снегина». Воспоминания «Памяти Есенина» впервые опубликованы в 1926 г.— 350—354, 419—422; I(2).

[1] Вначале указаны страницы этой книги (до точки с запятой), потом — источник (римской цифрой).

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТОВ

I(1), I(2). С. А. Есенин в воспоминаниях современников. В 2-х т. М., «Художественная литература», 1986 (Серия литературных мемуаров).

II. «...И тебе я в песне отзовусь...» (Сб. материалов). М., «Московский рабочий», 1986.

III. Е. Лундберг. Записки писателя. 1917—1920. Изд-во писателей в Ленинграде, 1930.

IV. Журн. «Дон», 1971, № 1, январь.

V. И. Нестьев. Звезды русской эстрады. Изд. 2-е, доп. М., «Советский композитор», 1974.

VI. Репин. Художественное наследство. Т. 2. М.—Л., Изд-во Академии наук СССР, 1949.

VII. В. Рождественский. Страницы жизни. Из литературных воспоминаний. М.— Л., «Советский писатель», 1962.

VIII. Поэты о Есенине. М., «Книга», 1985.

IX. Альм. «Наш современник», 1961, № 4.

X. «Литературная Россия», № 15 (1159), 12 апреля 1985.

XI. М. Юрин. Записки подававшего надежды. Огиз, «Молодая гвардия», 1931.

XII. Лауреаты России. Автобиографии российских писателей. М., «Современник», 1973.

XIII. С. Есенин. Плеск голубого ливня. 2-е изд. М., «Молодая гвардия», 1978.

XIV. Журн. «Русская литература», 1970, № 2.

XV. Журн. «Наш современник», 1959, № 4.

СОДЕРЖАНИЕ

Ж 71 Жизнь Есенина / Сост., вступ. ст. и прим. С. П. Кошечкина.— М.: Правда, 1988.— 608 с., 8 л. ил.

Книга представляет собою хронологический рассказ родных, друзей, знакомых Сергея Есенина о жизни поэта, истоках его патриотической лирики, о связях художника с видными писателями-современниками. Среди авторов воспоминаний: Е. и А. Есенины, М. Горький, Н. Тихонов, С. Городецкий, Вс. Рождественский, П. Чагин, В. Качалов А. Миклашевская и другие.

Ж $\frac{4702010200-1610}{080(02)-88}$ 1610—88 84 Р7

ЖИЗНЬ ЕСЕНИНА

Составитель
Сергей Петрович Кошечкин

Редактор
Т. В. Лодяная

Оформление художника
С. Н. Оксмана

Художественный редактор
Н. Н. Каминская

Технический редактор
К. И. Заботина

ИБ 1610

Сдано в набор 29.10.87. Подписано к печати 31.06.88.
Формат 84×108 1/32. Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Усл. печ. л. 32.76. Усл. кр.-отт. 34,02. Уч.-изд. л. 35,03.
Тираж 500 000 экз. (1-й завод: 1—250 000).
Заказ 60. Цена 2 р. 50 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.
Отпечатано в типографии издательства «Радянська Донеччина» Донецкого обкома Компартии Украины. 340118, Донецк, Киевский проспект, 48.